ЖОРЖ САНД

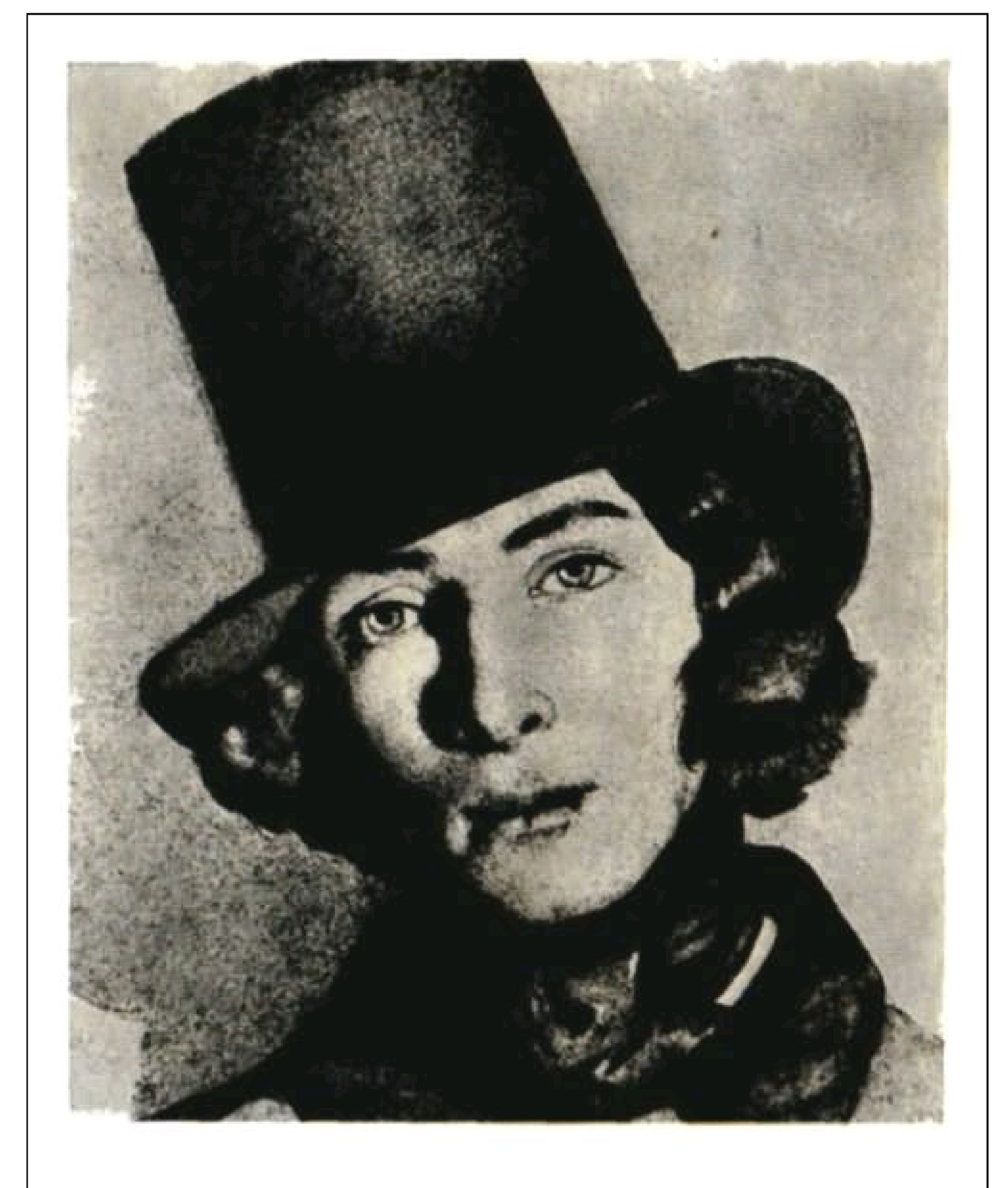


Андре Моруа

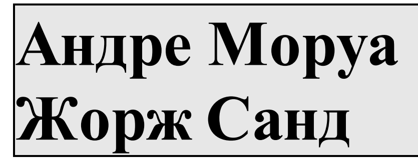
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Захватывающий биографический роман Андре Моруа посвящен жизнеописанию французской писательницы Авроры Дюдеван (1804–1876), произведения которой печатались под псевдонимом Жорж Санд. Ее творчество было широко известно русскому читателю еще в позапрошлом веке, высокую оценку давали ему Белинский и Чернышевский. История жизни Жорж Санд — это история женщины, которая по своему происхождению стояла на грани двух различных классов общества, а по своему воспитанию — на рубеже двух столетий: XVIII с его рационализмом и XIX с его романтизмом.



Жорж Санд в мужском костюме.
Портрет Делакруа.


Андре Моруа
Жорж Санд

Часть первая
Аврора Дюпен

Женщина!.. Гляньте-ка, филистеры, чего только в ней не навешано,
и то, и се, и невесть что, руками разведешь — ну, и создание!

Поль Клодель



История жизни Жорж Санд — это история женщины, которая по своему происхождению стояла на грани двух различных классов общества, а по своему воспитанию — на рубеже двух столетий: XVIII с его рационализмом и XIX с его романтизмом; которая, потеряв в детстве отца, хотела заменить его своей любимой матери и потому держалась по-мужски; которая усвоила мужские манеры тем легче, что чудак наставник воспитывал ее мальчишкой и заставлял носить мужской костюм; которая в семнадцать лет оказалась независимой владелицей поместья и дома в Ноане и всю жизнь бессознательно пыталась вернуть себе райское блаженство своей вольной юности; которая никогда не соглашалась признать в мужчине господина и требовала от любви того, что потом нашла в материнстве: возможность покровительствовать существам более слабым; которая, не признавая мужского авторитета, боролась за освобождение женщины, за ее право самой распоряжаться своим телом и своими чувствами; которая оказала на нравы своего времени благотворное и глубокое влияние; которая, будучи католичкой, всегда была христианкой и верила в мистическое единение со своим богом; которая стала социалисткой — так же, как осталась христианкой, — по благородству своей души; которая в 1848 году бросилась в революционное движение и после его поражения сумела сохранить свой престиж, не отрекаясь от своих убеждений; которая, нарушая все условности как в личной, так и в общественной жизни, внушала, однако, уважение к себе своим талантом, упорным трудом и мужеством; которая сумела, преодолев свои страсти, обрести в доме своего детства утраченное ею блаженство юных лет; и которая, наконец, нашла в ясной, деятельной матриархальной старости то, что она так тщетно искала в любви, — счастье.

Глава первая
Короли, полководцы, монахини, комедиантки

Объяснять человеческие характеры наследственностью слишком опрометчиво. Какая-то черта далекого предка вдруг проявляется в пятнадцатом поколении. У какого-то талантливого человека дети — посредственности. В какой-то семье нотариуса рождается Вольтер. Но, изучая историю предков Жорж Санд, биограф неизбежно придет к выводу, что ей предстояла необычная и высокая судьба. В других семьях можно найти в роду одну, две, три выдающиеся личности. Предки Жорж Санд — все из ряда вон выходящие люди. Там перемешались все: короли с монахинями, знаменитые воины с девчонками из театра. Как в сказках, все женщины носят имя Авроры; все имеют сыновей и любовников, и сыновья всегда на первом месте; внебрачные дети падают градом, но их признают, превозносят, воспитывают по-королевски. Все они мятежники, все обаятельны, все жестоки и нежны. «Этой породе людей, грубой и сильной, — говорит Морас, — Жорж обязана некоторыми яркими чертами своего физического склада, грубостью в жизни, бесстыдной смелостью в поступках и какой-то неутолимой жадностью в любви». В этой фамильной хронике есть что-то от изысканной комедии, от героической поэмы и от «Тысячи и одной ночи».

Кёнигсмарки, германо-шведская семья, прославились в те времена, когда какой-нибудь офицер, выслужившийся из рядовых, мог переходить от одного королевского двора к другому и стать командующим тех армий, против которых еще вчера сражался. Кёнигсмарки появились на европейской арене в эпоху Тридцатилетней войны. Основателем этой династии был коварный и жестокий фельдмаршал Жан-Кристоф де Кёнигсмарк, бурбон, грабитель и распутник. Вслед за ним все мужчины этого клана проявили себя как герои, авантюристы и соблазнители; женщины были либо святыми, либо очаровательными грешницами. Аврора де Кёнигсмарк, жившая в конце XVII века, была божественно хороша собой; она была сестрой знаменитого Филиппа де Кёнигсмарка, убитого в 1694 году по приказанию курфюрста Ганновера, в будущем короля Англии Георга I. Убийство было совершено из ревности. Узнавая о причинах смерти брата, Аврора встретилась с Фридрихом-Августом, курфюрстом Саксонии, позднее королем Польши. Темноглазая, ласковая, заразительно веселая, с чисто французским складом ума, Аврора была обворожительна. Август Саксонский увлекся ею, насколько это было ему доступно, то есть довольно низменно. Та или другая женщина, ему было все равно, лишь бы она была изящна и снисходительна. Он не понял нежной, возвышенной души Авроры, но у него в 1696 году родился от нее сын и был назван при крещении Морисом графом Саксонским.

Отношения между любовниками оборвались еще перед рождением сына и никогда не возобновлялись. Брошенная Аврора решительно и победоносно обосновалась в протестантском аббатстве Кедлимбург и превратила его, к священному ужасу монахинь, в отель Рамбуйе, в некий двор любви. Там в честь Петра Великого она дала знаменитый праздник, на котором появилась в виде музы и читала стихи своего сочинения; она очаровала в этот день, кроме Петра Великого, еще и аббатису, которая по старости и глухоте приняла ее за святую. Аккомпанируя себе на клавесине, она пела итальянские арии, и шведская королева прозвала ее «мой шведский соловей». Она носилась на почтовых лошадях из Дрездена в Вену и из Берлина в Стокгольм. Она умерла в 1728 году, разоренная ювелирами, портнихами, аптекарями и своим нежно любимым сыном Морисом, на которого она возлагала большие честолюбивые надежды.

Морис Саксонский очень походил на мать: то же красивое лицо, тот же высокий лоб. Честный, искренний, по натуре мягкий, он испытывал грусть, целуя медальон с изображениями отца и матери, — чувство, понятное многим внебрачным детям. С самого юного возраста в нем

ясно определилось влечение к военному делу. Отец воспитывал его сурово. По его приказанию Морис совершил путешествие по Европе пешком, с военным снаряжением за спиной, и питался, тоже по приказанию отца, только супом и хлебом. В тринадцать лет на поле битвы он получил первый офицерский чин и в этом же возрасте соблазнил девчонку-ровесницу, которая и забеременела от него. Распутство он унаследовал от своего отца. О любовных похождениях Мориса — с принцессой де Конти, с Адриенной Лекуврер, с мадам Фавар и герцогиней де Буйон — говорил весь Париж. Сын короля, он мучительно хотел заставить всех забыть о том, что он незаконный сын, и поэтому был одержим желанием державной власти. Так, он вздумал стать герцогом Курляндским. Его мать, Аврора де Кёнигсмарк, и его любовница, Адриенна Лекуврер, желая ему помочь, продали свои драгоценности. Он решил жениться на вдове последнего курляндского герцога, Анне Иоанновне, будущей русской царице, и почти достиг цели, как вдруг совершил неосторожность: ввел во дворец свою молодую любовницу. Разоблаченный, он должен был отказаться от погони за несбыточной мечтой. Любовь стоила ему короны.

Но то было время, когда любовь и слава прекрасно уживались вместе. Кончилось тем, что Морис Саксонский вступил в армию французского короля и вскоре даже породнился с ним, выдав замуж за дофина свою племянницу Мари-Жозефину Саксонскую. Эта Мари-Жозефина впоследствии стала матерью трех королей: Людовика XVI, Людовика XVIII и Карла X. Как в карточной игре «брелан», у нее были на руках три короля. Протестанту графу Саксонскому было чрезвычайно важно укрепить свое положение в католическом королевстве. Он вел эти брачные переговоры тем же способом, как и свои сражения, — «с барабанным боем, с зажженным фитилем», написав для успешного завершения дела самые восхитительные письма с самой невозможной орфографией. У этого необразованного солдата была, склонность к размышлениям. Он оставил «Мысли или заметки о военном искусстве», написанные очень живо и смело.

> *Аксиома*: больше мертвых — меньше врагов. Вывод: убивать и самому избегать смерти… «Двенадцать солдат, чтобы занять незначительный пост? С чего вы взяли? Разве что это были двенадцать генерал-лейтенантов…» Легче всего дать плохое распоряжение, но надо уметь вовремя переменить его на хорошее; ничто не ошеломляет сильнее противника; он уже настроился на что-то, уже приготовился; когда он атакует, все не так, как он ожидал…

Это — прообраз сражения при Торрес-Ведрасе. В своих «заметках», подобно всем философам того века, он выступает сторонником реформ и, овладев искусством уничтожения людей, пытается учить, как надо способствовать их размножению: «Браки должны продолжаться не более пяти лет и могут возобновляться только при том условии, если у супругов за это время не был рожден ребенок». Примечательно, что такая мысль пришла в голову прадеду Жорж Санд.

У Мориса Саксонского была вполне заслуженная им счастливая судьба — он быстро стал маршалом Франции. Этот победитель продолжал любить женщин, и женщины любили его. «Известно, — говорит Мармонтель, — что наряду с великодушием и гордостью маршал Саксонский отличался игривым нравом. Не только по своим вкусам, — но и по убеждению, он хотел, чтобы в его армии царила радость, уверяя, что французы побеждают тогда, когда их ведут в наступление весело, и больше всего они боятся скуки на войне…» Он содержал при своих войсках труппу комедианток, послушных любому его капризу. Спектакли давались ежедневно, причем со сцены сообщалось о сражении, назначенном на следующий день:

У нас не будет завтра представленья,
хотя сердит директор, без сомненья.
Хоть видеть вас — нет лучшей из утех,
но тут мы всем готовы поступиться,
мы о веселье думаем для тех,
кому победа над врагами снится.

«Репутация Мориса Саксонского, как ценителя женского пола, была общеизвестна», и именно о нем подумали супруги Рento, парижские буржуа, предки супругов Кардиналь, когда в 1745 году твердо решили извлечь выгоду из замечательной красоты своих дочерей — Мари и Женевьевы. Мари было семнадцать лет, Женевьеве — около пятнадцати. Рвение этих превосходных родителей было полностью удовлетворено: Мари в продолжение многих лет пользовалась расположением маршала; он подарил ей отель в Париже, и в этом отеле сестры стали называться, девицами де Верьер. У Мари и маршала в 1748 году родилась дочь Мари-Аврора, унаследовавшая красоту своих родителей. Это было ее единственное наследство.

Мари де Верьер, не более добродетельная, чем все знатные дамы того времени, последовательно бросалась в объятия — сначала сына откупщика господина д’Эпине, потом писателя Мармонтеля, который взялся научить ее правильной дикции. Вернувшись из путешествия по Саксонии, маршал «узнал одновременно о драматических упражнениях своей подопечной и о том, как она применяла свои познания на практике». Маршал был самолюбив: когда в 1750 году он умер, оказалось, что и мать и дочь были вычеркнуты из его завещания. Все, что Мари де Верьер могла вручить дочери как семейную реликвию, заключалось в табакерке, подаренной маршалу королем после победы при Фонтенуа, в печати для писем и в портрете Авроры де Кёнигсмарк.

«Девица Аврора, внебрачная и единственная дочь маршала Саксонского», упала к ногам племянницы героя, дофины, с прошением о пенсии. На полях этого прошения было написано: король жалует девице Авроре пособие в восемьсот ливров до тех пор, пока она находится в монастыре по выбору дофины. Дофина выбрала женский монастырь Сен-Сир, где девица Аврора и воспитывалась, как подобало отпрыску знатной семьи. В 1766 году дофина, не видя возможности вернуть Аврору матери, решила выдать ее замуж, но слова — «внебрачная дочь», «отец и мать неизвестны» — отпугивали желательных претендентов на руку девушки. Аврора очень страдала от этого унизительного положения и в своем вторичном прошении в парламент умоляла, чтобы к ее имени было прибавлено: внебрачная дочь маршала Франции графа Мориса Саксонского и Мари Рento.

Парламент утвердил посмертное признание отцовства, и подходящий жених был найден. Все, что пишет Жорж Санд в «Истории моей жизни» по поводу первого замужества своей бабки и что вслед за ней повторяют все биографы, — вымысел, весьма далекий от действительности. Жорж Санд представляет жениха как незаконного сына Людовика XV, графа де Орн; брак, по ее словам, был фиктивным, так как муж был убит на дуэли через три недели. Здесь нет ни слова правды. Жених был пехотным капитаном 44 лет, звали его Антуан де Орн. В честь замужества своей дочери Мари де Верьер устроила роскошный праздник в своем «домике для веселых пикников» в деревне Отейль. На этом вечере Аврора познакомилась со своим сводным братом, кавалером де Бомон, сыном герцога де Буйон, одного из любовников Мари де Верьер.

По случаю женитьбы Орн получил звание королевского наместника в Селесте, иначе говоря, место коменданта этого городка; но отъезд молодоженов в Эльзас состоялся только через пять месяцев после свадьбы. По прибытии в Селесту королевский наместник и его жена не

были встречены (как это рассказывает Жорж Санд) пушечным салютом; им не подносили на золотом блюде ключи от города, но «оба они были полны радости и надежд». Они приехали в понедельник; во вторник господин де Орн «почувствовал удушье»; в пятницу, несмотря на сделанное ему кровопускание, он умер. Юная вдова еще раз бросилась к ногам Людовика XV с мольбой разрешить ей оставить место мужа за собой, но, конечно, эта просьба была нелепой. Разве могла женщина занять такую должность? Кроме того, Аврора потеряла свою покровительницу — дофина умерла в 1767 году. Аврора поселилась в монастыре и оттуда снова обратилась с просьбой:

> *Аврора де Орн — герцогу Шуазель, военному министру.* Я — дочь маршала Саксонского, узаконенная постановлением Парижского парламента, лишившаяся отца в самом раннем детстве… Я убеждена, что министр, который руководит военными делами с такой мудростью, великодушием и блеском… не допустит, чтобы дочь маршала Саксонского прозябала в нищете…

Герцог остался равнодушен к этой просьбе. Спустя четыре года, когда Шуазель попал в немилость, Аврора обратилась к новому министру: «Я — дочь маршала Саксонского, узаконенная постановлением Парижского парламента… не имея возможности платить за пребывание в монастыре, где меня приютили, я вынуждена была уйти оттуда». Она действительно нашла убежище у своей матери Мари де Верьер, жившей вместе с сестрой Женевьевой в прекрасном отеле на шоссе д’Антен на средства богатых покровителей. У девиц де Верьер был очень приятный дом, там бывало высшее общество, ставились спектакли. Господин д’Эпине, давая прекрасный пример постоянства в незаконной любви, был одним из верных друзей дома. Мать Авроры, хотя и не первой молодости, сохраняла еще красоту; имея любовные связи с такими просвещенными людьми, как Мармонтель или поэт Колардо, она писала письма, которые и сейчас поражают лаконичностью стиля и точностью мысли.

Господин д’Эпине, генеральный откупщик податей, имел основания быть недовольным своей женой, знаменитой госпожой д’Эпине, той самой, которую прославили Дидро, Руссо и Гримм; она любила другого финансиста — Клода Дюпен де Франкёй. Последний, замечательный музыкант, предложив госпоже д’Эпине давать ей уроки композиции, превратил их в уроки любви. Единственной местью господина д’Эпине было приглашение, сделанное им своему сопернику: пойти с ним к девицам де Верьер; и Дюпен стал любовником младшей из сестер — Женевьевы. Наказание оказалось приятным. У сестер де Верьер Дюпен де Франкёй очень часто встречал племянницу Женевьевы, Аврору де Орн; он был восхищен ее талантами и обхождением. Молодая вдова, воспитанная в Сен-Сире в духе госпожи Ментенон, держала себя, как дама высшего общества, была талантливой актрисой и превосходной музыкантшей. В отеле на шоссе д’Антен в любительском спектакле, режиссером которого был критик Гарп, она сыграла Колетту из «Деревенского прорицателя»; кроме того, пела в операх Гретри и Седэна. Обладая верным и тонким музыкальным вкусом, она особенно любила музыку Порпора, Гассе, Перголезе. Она пользовалась большим успехом, но, живя разумом, а не чувством, никогда не поддавалась соблазнам этой очень свободной среды. Нельзя сказать, что ею руководило чувство глубокой веры; единственной ее религией был деизм Вольтера.

> Но это была женщина с умом твердым и проницательным, считавшая образцом совершенства главным образом гордость и уважение к себе самой. Она не признавала кокетства; она не нуждалась в нем, выделяясь среди женщин и без него; вызывающие манеры оскорбляли ее представления о достоинстве, с которым надо держать себя.

Сквозь легкомысленную эпоху, сквозь испорченный мир она прошла, не потеряв ни одного пера из своих крыльев; и, осужденная непонятной судьбой — не познать любви в браке, она разрешила великую проблему: обрести спокойствие духа и пройти жизненный путь, не зная клеветы и недоброжелательства…

Ее близкими друзьями были Бюффон, часто посещавший салон Верьер, и обаятельный Дюпен де Франкёй, которого она звала папой. Представитель главного откупщика податей в Берри господин Дюпен (или дю Пен) участвовал, кроме того, еще и в прибылях суконных мануфактур в Шатору — словом, он был очень богатым человеком.

В то время многие женщины блистали умом, но Аврора де Орн была среди них одной из самых примечательных. Вот письмо, написанное ею одному поклоннику, — оно дает представление о ее притягательной прелести:

Сударь, вы хотите обучать меня философии, а между тем я с тех пор, как помню себя, поклонница школы Платона… Если моя наружность и возраст внушают вам недоверие к моим словам, постарайтесь преодолеть его, как я преодолела самолюбие, говоря вам об этом. Я необычайно восприимчива к чувству дружбы и отдаюсь ей всецело; там, где это мне кажется необходимым, я ставлю границы и всегда помню о них; но я боюсь того, из-за кого я потеряю голову, и стану все время сомневаться, не сделала ли я слишком много для него или слишком мало… Я всегда была окружена людьми гораздо старше меня и как-то незаметно приспособилась к их возрасту. Я недолго была молодой, быть может, я от этого проигрываю, но зато я более рассудительна…

В 1775 году, сорока семи лет от роду, умерла Мари де Верьер, умерла так же легко, как и жила. Счастье возможно и при беспутстве. Господин д'Эпине, бывший ее любовником в продолжение 25 лет, искренне оплакивал ее, а потом стал жить с ее сестрой. Аврора рассудила, что жизнь в доме тетки стала для нее тяжелой, и вернулась — еще раз — в монастырь. Старый друг, Дюпен де Франкёй часто навещал ее, и, несмотря на свой возраст, сумел ей понравиться. В 1778 году он просил ее руки и получил согласие. Мари-Авроре было 30 лет; Дюпену де Франкёй — 62 года. Она была вдовой уже 12 лет и вела добродетельный образ жизни.

Они были очень счастливы. Впоследствии, уже старухой, госпожа Дюпен говорила своей внучке Авроре — нашей Жорж Санд:

Старый человек любит сильнее, чем молодой, и невозможно не любить того, кто любит вас так преданно. Я его называла — мой старый муж или папа. Он настаивал на этом, а меня он звал не иначе, как дочь моя, даже в обществе. К тому же разве в наше время кто-нибудь был стар? Это революция привела в мир старость. Ваш дедушка, дочь моя, был красив, элегантен, выхолен, изящен, надушен, весел, приятен, привлекателен и неизменно в ровном расположении духа до своего смертного часа. В молодости он, наверно, был слишком очарователен и не мог бы вести тихую семейную жизнь; быть может, я не была бы столь счастливой, живя с ним, у меня было бы слишком много соперниц. Я убеждена, что мне достался лучший период его жизни и что никакой молодой человек не сумел бы дать молодой женщине столько счастья, сколько он давал мне. Мы не расставались никогда, и ни разу я не испытала около него чувства скуки. Он был неиссякаемым источником ума, знаний, талантов. У него был счастливый дар — он всегда занимался чем-нибудь интересным для других и для себя

самого. Днем он музицировал со мной; он восхитительно играл на скрипке, а делал скрипки для себя он сам, так как был мастером струнных инструментов, не считая того, что был часовщиком, архитектором, токарем, художником, слесарем, декоратором, поваром, поэтом, композитором, столяром, и к тому же изумительно вышивал гладью. Трудно сказать, чего он только не умел делать… К сожалению, он промотал все свое состояние, увлекаясь разнообразными профессиями и производя всякие опыты, но я была ослеплена им, и мы разорялись самым приятным образом на свете! Вечерами, когда мы не бывали приглашены в гости, он занимался рисованием, а я развлекалась тем, что расщипывала на нитки кусок парчи; и мы читали по очереди вслух; или же к нам приходили милые друзья, и в приятной беседе мы наслаждались его тонким и разносторонним умом. Некоторые мои подруги сделали более блестящие партии, и, несмотря на это, все они твердили мне постоянно, что мой старый муж вызывает у них чувство зависти ко мне.

Да, в наше время умели жить и умели умирать!.. Ни у кого не было несносных болезней. Если мучила подагра, то все равно были на ногах, не делая страдальческого лица; болезни было принято скрывать, этого требовало хорошее воспитание. Не было деловых забот, которые портят семейную жизнь и притупляют ум. Умели разоряться незаметно для окружающих, как хорошие игроки, которые проигрывают, скрывая волнение и досаду. Хоть полумертвые, а все же не пропускали охоты. Считали, что лучше умереть на балу или в театре, чем в своей постели, лежа между четырьмя канделябрами, в окружении отвратительных людей в черном. Были философами, не выставляли пуританство напоказ; если даже оно и было, его скрывали. Были добродетельными, но, чувствуя склонность к этому, не разыгрывая из себя педанта или недотрогу. Радовались жизни, и, когда приходило время расстаться с ней, не старались отбить у других вкус к ней. Прощальными словами моего старого мужа были пожелания, чтобы я жила как можно дольше и сделала свою жизнь счастливой. Выказать столько сердечного благородства — это лучший способ заставить жалеть о себе!..

Супруги Дюпен с одинаковым интересом занимались литературой и музыкой. Оба они преклонялись перед Руссо и принимали его у себя. Большую часть года они проводили в Шатору, куда их призывали официальные обязанности. Там они жили в княжеской роскоши в старинном замке Рауль. Их любовь к музыке, их траты на благотворительные дела, на прихлебателей обошлись им в 7–8 миллионов ливров того времени. И когда в 1788 году господин Дюпен умер, обнаружился большой беспорядок в делах, как личных, так и служебных. После уплаты всех долгов у госпожи Дюпен осталась рента в 75 тысяч ливров в год. Это было то, что она называла разорением.

Глава вторая
Революция и империя

Во время революции жители страны делятся на три категории: на тех, кто не может не быть революционером; на тех, кто не может не быть враждебным революции, и на тех, кто разрывается на части, так как, принадлежа к классу, над которым нависла угроза, они на него же таят обиду. Именно к этой группе относилась и госпожа Дюпен де Франкёй. По своей близости к королевскому двору, по воспитанию, по богатству она была аристократкой; но, болезненно переживая незаконное происхождение в двух поколениях, она чувствовала себя униженной, оскорбленной и считала, что двор обходится с ней невеликодушно. И в доме матери и в доме мужа она встречалась с философами и энциклопедистами; она преклонялась перед Вольтером и Руссо, она ненавидела камарилью королевы. Первые дни революции она восприняла как возмездие своим врагам и как триумф своих идей.

Овдовев, она поселилась в 1789 году в Париже, на улице Руа-де-Сесиль, вместе с одиннадцатилетним сыном Морисом и его воспитателем, «аббатом» Дешартром. Дешартр, который не был рукоположен в духовный чин, как только позволило приличие, снял галстучек со спускающимися язычками — знак духовного сословия, — и стал просто гражданином Дешартром. Это была в высшей степени своеобразная фигура — очень образованный человек, с приятной внешностью, но педант, пурист и невероятно самодовольный. При этом, безрассудно храбрый, восхитительно бескорыстный, «он обладал всеми высокими свойствами души в сочетании с невыносимым характером». Морис, такой же благородный по натуре, как и его воспитатель, горячо привязался к своему смешному и возвышенному душой учителю. Морис был красив, как девочка, фатальной красотой Кёнигсмарков: у него были бархатные темные глаза Кёнигсмарков, их влечение к музыке и поэзии, их врожденный вкус. Мать и сын обожали друг друга.

Когда на смену революции Мирабо пришла революция Дантона, госпожа Дюпен перестала хлопать в ладоши. Она даже проявила неосторожность, подписавшись на 75 тысяч ливров в фонд помощи эмигрировавшим принцам. Она решила уехать из Парижа, ей казалось, что Берри, где она была так счастлива со своим мужем, будет ей надежным убежищем; 23 августа 1793 года она приобрела у графа де Серенн, владения которого не были конфискованы, поместье Ноан — между Шатору и Ла Шатром, заплатив 230 тысяч ливров. Когда-то в Ноане стоял феодальный замок, купленный в XIV веке «дворянином Шарлем де Виллалюмини, щитоносцем». От этого замка сохранилась только одна башня, на которой ворковали голуби. Новый замок представлял собой большой дом, простой и удобный, в стиле Людовика XVI, расположенный «на краю сельской площади, обычный деревенский дом, без всякой роскоши». Своим фасадом замок выходил на маленькую, осененную столетними вязами площадь городка. Госпожа Дюпен совсем уж было собралась отбыть в эту еще мирную провинцию, как вдруг, совершенно неожиданно, оказалась в большой опасности.

В надежде «затеряться во время шквала» она переменила свой парижский адрес и переехала на улицу Бонди. Владельцем дома был камердинер графа Артуа, старик Аммонен. При его помощи она спрятала «позади большой птичьей клетки, в туалетной комнате, в кирпичной, обшитой панелью стене» свою серебряную посуду и драгоценности. 5 фримера (25 ноября 1793 года) некий Вилар донес Революционному комитету, в секцию Бонконсей, об этом запрещенном по закону тайнике. В результате обыска гражданка Дюпен была арестована и заключена в монастырь Английских августинок, ставший «английским арестным домом по улице Фоссе-Сен-Виктор». Это было ужасным ударом для ее сына и для Дешартра не только потому, что они

были разлучены с ней, но главным образом потому, что ей могла грозить самая страшная участь. Террор был в разгаре, а Дешартр знал, что в тайнике, на котором стоят печати Комитета общественной безопасности, находятся бумаги, весьма дискредитирующие госпожу Дюпен, и среди них расписка в получении денег для графа Артуа. Проявив настоящее мужество, Дешартр пробрался ночью вместе с Морисом в туалетную комнату, взломал печати и сжег опасные документы. Такая храбрость зачеркивает все смешные стороны характера. Для Мориса эти события были уроками жизни. Суровая юность сделала из него человека «несравненной правдивости, смелости и доброты».

Гражданин Дешартр, а в особенности юный гражданин Дюпен, старались — и не безуспешно — привлечь на свою сторону членов секции Бонконсей в деле арестантки Дюпен. Она сама, крупная специалистка по прошениям, обратилась к Комитету общественной безопасности с прекрасно написанным заявлением:

> Граждане республиканцы, будьте милосердны к матери, страдающей в разлуке с сыном, с ребенком, которого она вскормила, с которым никогда не расставалась и которого она воспитала для отечества… Во время позорного бегства тирана гражданин, живший в одном доме со мной, спросил меня, не боюсь ли я за мои ценные вещи, и предложил — если я доверяю ему — спрятать мою серебряную посуду в надежном месте. Я согласилась. Я считала, что в такое тяжелое время нельзя пользоваться предосудительной роскошью… Мой образ жизни, неизменный при всех обстоятельствах, начиная с первого дня Революции, мое искреннее желание общего блага ставят меня вне всяких подозрений. У меня нет ни одного родственника, любой степени родства, который бы эмигрировал. При моих средствах я могла три года назад уехать в любую страну, но моей независимой натуре внушала отвращение самая мысль дышать воздухом, отравленным рабством…

Наконец пришел термидор. Гражданка Дюпен была освобождена и даже получила свидетельство о проявленной ею гражданской доблести по рекомендации ее старого лакея Антуана — одного из тех, кто участвовал во взятии Бастилии. В октябре 1794 года она, наконец, смогла устроиться вместе со своим сыном в Ноане. От ее громадного состояния, уничтоженного инфляцией и принудительными займами, ей осталась рента в 15 тысяч ливров. В продолжение четырех лет с помощью Дешартра она продолжала пополнять образование Мориса. Какую карьеру ему избрать? Он мечтал о военной: она его отговаривала. После террора госпожа Дюпен была настроена враждебно, если не против принципов революции, то против ее эксцессов. Она не отреклась ни от Вольтера, ни от Руссо, но она предпочла бы видеть Мориса на службе ограниченной монархии, монархии, уважающей завоеванные народом права. В Париже царствовал Баррас; там, как и прежде, честные люди ходили пешком, а негодяев носили в носилках. «Негодяи были другие, вот и все!»

Последнее изречение принадлежало Морису, который скептически (что было естественно в эпоху, следующую за переворотом), наблюдал, как некоторые революционеры — для сохранения своего положения — готовы сговариваться со «щеголями», как звали тогда роялистов. Сам же Морис утешал себя мыслью, что он не принадлежит к людям, извлекающим выгоду из нового режима. На некоторое время он занялся скрипкой и участвовал в любительском оркестре в Ла Шатре. А в 1798 году, близко сойдясь с кружком молодых людей обоего пола — из семей Дюверне, Латуш, Папе, Флёри, — стал играть в комедиях, обнаружив «врожденный и неотразимый талант». Но бездействие тяготило его. Тщетно мать говорила ему, что, став солдатом республики, он будет служить дурному делу; он считал, что всякое дело хорошо, если

защищаешь свою родину; он знал, что его мать — настоящая патриотка и в глубине души гордится победами французов в Джемаппе и Вальми не меньше, чем и при Фонтенуа, Року и Лауфельде. «Как? Пойти простым солдатом?» — говорила она. Когда Морис был представлен Ла Туру д'Овернь, самому храброму солдату Франции, тот спросил его: «Неужели внук Мориса Саксонского боится идти в поход?» — «Конечно, нет!» И Морис поступил на военную службу.

То было время, когда французы считали, что освобождают Европу и при этом пользуются всеобщей любовью. Морис Дюпен в Кельне завоевывал женские сердца и посвящал мать в свои любовные дела. Хотя госпожа Дюпен, скорее по отсутствию темперамента, чем по убеждению, и была добродетельной, все же она была женщиной XVIII века и легко прощала любой разврат, если он был хорошего тона. Морис, верный морали своих предков, перед отъездом из Ноана сделал ребенка молодой женщине, работавшей у них в доме. Ребенок этот не был признан и потому носил фамилию матери: Шатирон. Но госпожа Дюпен заботилась о своем незаконном внуке Ипполите. Его поместили к кормилице, жившей в соседней деревне. Госпожа Дюпен сообщала о нем Морису: «Ноан, 6 брюмера VIII года… В маленьком домике все в порядке. Малыш — великан. Он прелестно смеется. Я вожусь с ним целыми днями: он меня уже знает…»

Письма Мориса были живы и поэтичны. Когда он бывал в театре и слушал арию, которую певала его мать, он писал ей: «Вдруг я очутился на улице Руа-де-Сесиль, в твоем светло-сером будуаре, рядом с тобой. Просто удивительно, как музыка погружает в воспоминания! Как духи. Когда я вдыхаю запах твоих писем, мне кажется, что я в Ноане, в твоей комнате, и сердце бьется при мысли, что я увижу тебя, увижу, как ты открываешь ящики твоего бюро, и оттуда доносится запах чудных духов…» Госпожа Дюпен жаждала мира; ее сын — войны, чтобы стать офицером: «Если отличиться в каком-нибудь сражении, могут дать чин на поле битвы. Какое счастье! Какая слава!»

В 1800 году в Милане адъютант Морис Дюпен, с желтым султаном на каске, опоясанный красным шарфом с золотой бахромой, встретил в комнате своего начальника очень красивую смеющуюся девушку — видимо, она скрашивала осенние дни этого старого воина. Ее звали Антуанетта-Софи-Виктория Делаборд:

> Я называю ее всеми тремя данными ей при крещении именами, потому что в ее бурной жизни эти имена последовательно сменялись… В детстве предпочитали имя Антуанетты — так звали королеву Франции, Во время завоеваний империи, естественно, взяло верх имя Виктории. А мой отец, женившись на ней, всегда звал ее Софи…

Софи-Виктория Делаборд была дочерью птицелова; некоторое время он держал кофейню с бильярдом, а потом занялся продажей чижей и щеглят на набережных Парижа. У Софи была трудная молодость, как у многих бедных девушек в эпоху переворотов.

> Моя мать, — писала впоследствии Жорж Санд, — была родом из всеми презираемого бродячего цыганского племени. Она была танцовщицей, даже хуже этого — статисткой в самом ничтожном театрике на бульваре, но внезапно любовь богача помогла ей выбраться из этой гнусной среды; правда, следующее падение было еще ниже. Ей было уже за тридцать лет, когда мой отец увидел ее впервые, и среди какого ужасного общества! Мой отец был великодушен! Он понял, что это красивое создание еще способно любить…

От предыдущего своего любовника Софи-Виктория родила дочь Каролину, жившую при ней

в Италии. Вопреки всем правилам иерархии Софи сменила генерала на лейтенанта, покорив его своей пылкой нежностью. Легкую любовь Морис изведал, волочась за немками-монахинями и за дамами в Ла Шатре; эта прелестная смелая женщина научила его очарованию романической любви. Он поделился с матерью своим счастьем: «Как отрадно быть любимым, иметь добрую мать, верных друзей, красивую любовницу, немного славы, породистых лошадей и врагов на поле битвы!» Кажется, что слышишь Фабрицио из стендалевского романа.

Любовь оказалась прочной и с одной и с другой стороны. Это внушило госпоже Дюпен живейшее беспокойство. Конечно, она была последовательницей Руссо, но все же к цинизму «Любовный связей» относилась более терпимо, чем к страсти «Новой Элоизы». Отказавшись во имя целомудрия от чувственных наслаждений, она перенесла на сына любовь страстную и ревнивую. Когда в 1801 году Морис приехал в Ноан, он поместил свою любовницу в гостиницу Тэт Нуар в Ла Шатре. Дешартр, который никогда не знал любви, не мог понять жгучей силы этого чувства и из преданности к матери решил выгнать из Ноана любовницу сына. В гостинице разыгрались неистовые сцены. У Софи-Виктории не было недостатка ни в темпераменте, ни в красноречии, она яростно огрызалась в ответ на оскорбительные нападки Дешартра, а Морис избил бы до полусмерти своего наставника, если бы не воспоминание о его бесстрашной преданности во время террора. Но этот случай открыл влюбленным, что госпожа Дюпен очень боится брака, о котором они до того и мечтать не смели: это случается часто: «опасность навлекают на себя тем, что о ней слишком много думают, — угроза становится предсказанием».

> *Морис Дюпен — своей матери, май 1802 года:* Передай Дешартру, что, по его характеру педанта, рассуждениям аптекаря и нравственности евнуха, он достойный преемник господина де Пурсоньяка как морально, так и физически…

После этого законного взрыва Морис бросился в объятия матери и даже своего бывшего учителя; эти три существа слишком любили друг друга, чтобы поссориться надолго; но свою любовницу он не предал. Госпожа Дюпен, хотя и считала себя стоящей выше предрассудков, продолжала все же утверждать, что неравный брак ведет к разногласиям. Ее сын со свойственным солдату здравым смыслом не мог понять, при чем тут неравный брак.

> *Морис Дюпен — своей матери, прериаль IX года (май — июнь 1801 года):* Давай, мамочка, обсудим дело. Почему мое влечение к той или другой женщине может быть оскорбительным для тебя и опасным для меня? Почему это влечение должно тебя тревожить и вызывать слезы?.. Я уже не маленький и хорошо разбираюсь в дорогих мне людях. Я согласен, что, говоря языком Дешартра, некоторые женщины девки и твари. Я их не люблю и не ищу… Но никогда эти гнусные слова не могут относиться к любящей женщине. Любовь очищает все. Любовь облагораживает самые презренные существа — и уж тем более существа, виновные только в том, что они были брошены в жизнь беспомощными, нищими и одинокими. Чем же виновата женщина, оставленная на произвол судьбы?..

Между тем Франция менялась. «В Бонапарте уже угадывался Наполеон». Морис был в Шарлевиле при генерале Дюпоне; эти два республиканца не очень-то любили Повелителя. Дюпон говорил: «Не знаешь, с какого боку к нему подойти, у него бывают такие настроения, что и не подступишься». Карьеры делались в передних. Маренго ушло в прошлое. «Вот что получается, когда правит один человек… Ведь ты не делала из меня придворного шаркуна, моя дорогая мама, и я не привык обивать пороги у власть имущих…» Она не делала из него ни

придворного шаркуна, ни льстеца, но ей хотелось, чтобы он получал повышения и не был бы так постоянен в любви. Логика была не самым сильным местом у этой милой дамы.

В 1804 году Софи-Виктория, беременная, навестила капитана Дюпена в лагере, стоявшем в Булони. Поняв, что приближается срок родов, она решила вернуться в Париж, и Морис поехал с ней, чтобы узаконить будущего ребенка; они поженились 5 июня 1804 года в мэрии 2-го округа. Новобрачная была безумно счастлива; она давно мечтала об этом союзе, но не верила в него. До последней минуты она предлагала Морису отказаться от брака, она видела, что ее возлюбленный мучается угрызениями совести и страхом перед матерью. По окончании церемонии Морис сразу же уехал в Ноан, «надеясь признаться во всем». Но не смог; с первых же его слов госпожа Дюпен залилась слезами и «с нежным коварством» повторяла: «Ты любишь другую женщину больше, чем меня, значит ты меня разлюбил!.. Ах, зачем я не погибла, как другие, в девяносто третьем! У меня не было бы соперницы в твоем сердце!» И Морис промолчал.

Вечером 1 июля 1804 года, первого года империи, в Париже Морис импровизировал на своей кремонской скрипке, и под эти звуки Софи-Виктория, в прелестном розовом платье танцевала контрданс; почувствовав легкую боль, она вышла в соседнюю комнату. Через минуту послышался голос ее сестры Люси: «Морис, скорей сюда! У вас родилась дочь!» — «Мы назовем ее Авророй, — сказал Морис, — это имя моей любимой матери… ее сейчас нет с нами, она не может благословить девочку, но когда-нибудь она сделает это». Тетушка Люси, женщина опытная, провозгласила: «При ее рождении звучала музыка, а мать была в розовом платье, — ее ждет счастье».

Все становится известным. Госпожа Дюпен узнала о браке. Сначала она попыталась объявить его недействительным, но на этот раз столкнулась с непреклонной волей сына, который сказал ей в самом блестящем стиле Руссо: «Не упрекай меня: я таков, каким сделала меня ты». А Софи-Виктория считала, что брак в мэрии — это не замужество, и потому она нисколько не виновата перед «этой гордой знатной дамой», которая к ней плохо относится: ведь она не подстрекала своего мужа идти наперекор желаниям матери. Нужно сознаться, что упорство госпожи де Франкёй в непризнании уже совершенного брака было бессмысленным и жестоким; но, с другой стороны, для нее, так страстно привязанной к своему единственному сыну, так уверенной в его блестящем будущем, сознание, что Морис женат на какой-то «потаскушке» и будет жить на чердаке, было невыносимо тяжелым. Она запретила сыну говорить с ней об этой женщине и отказалась видеть ее. Пришлось прибегнуть к сцене, достойной кисти Грёза, чтобы обманом положить ей на колени внучку. И тут она узнала темные бархатные глаза Кёнигсмарков. Она была покорена: «Бедное дитя! Она ни в чем не виновата! Кто ее принес сюда?» — «Ваш сын, мадам. Он внизу». Морис вихрем ворвался в комнату и со слезами на глазах обнял мать. Растроганность своего рода политика: она дает возможность признать свою ошибку, не теряя достоинства.

Через некоторое время был совершен церковный брак, и госпожа Дюпен присутствовала на этой церемонии. Но отношения между ней и невесткой остались натянутыми. Лучшей чертой характера Софи-Виктории была ее гордость: «Чувствуя себя с головы до ног плебейкой, она считала, что она благороднее всех аристократов мира». Ненавидя интриги, она держалась настолько замкнуто, что это исключало всякую возможность даже холодного отношения к ней. И она и ее муж были счастливыми только у себя дома. «От них я унаследовала, — говорит Санд, — эту скрытую нелюдимость, из-за которой люди казались мне невыносимыми, а свой home[1] необходимым…» Они оставили ей в наследство еще и ужас перед высшим светом, предрассудки которого принесли им столько горя.

Глава третья
Детские годы Авроры

> Когда моя мать уехала в Италию, меня поместили к одной женщине в Шайо, она отучила меня от груди. Мы с Клотильдой прожили у этой доброй женщины до двух или трех лет. По воскресеньям нас возили в Париж на ослике — каждую в особой корзинке — вместе с капустой и морковью, которую продавали на рынке…

Клотильда Марешаль была двоюродной сестрой маленькой Авроры Дюпен и дочкой тетушки Люси. Отцовская родня отказалась признать Аврору, и она до четырех лет знала только родственников матери и очень привязалась к ним. Отец, солдат империи, в представлении ребенка был каким-то блестящим видением, разукрашенным золотом; в перерывах между двумя сражениями он появлялся, чтобы обнять ее и исчезнуть опять. Уже гораздо позже, перечитав письма Мориса Дюпена, она поняла, как сильно похожа на него. И ей радостно было открывать в образе потерянного ею отца художника, воина и бунтаря, считавшего родовую аристократию нелепой выдумкой, а бедность лучшим уроком жизни; тогда она стала гордиться своим сходством с ним.

> Мне передался характер моего отца, конечно, не в полной мере, но все же… Если бы я была мальчиком и жила на двадцать лет раньше, я знаю, я чувствую, что поступала бы всегда, как мой отец.

А в свою мать Аврора с самых ранних лет была в полном смысле этого слова влюблена. У Софи-Виктории был резкий язык и тяжелая рука, но веселость, очарование и какая-то врожденная поэтичность искупали все. Женщина необразованная, она обладала «магическим ключом», который помог ей передать дочери свое — пусть примитивное, но глубокое — чувство красоты. «Посмотри, как красиво!» — говорила она и с врожденным вкусом парижской гризетки редко ошибалась. Целыми днями она стряпала, вязала, шила на своем чердаке по улице Гранж-Бательер. Усадив Аврору между четырьмя стульями на незажженную жаровню, она давала ей книжки с картинками: это были изображения мифологических богов или иллюстрации к евангелию. Простодушно, наивно она объясняла девочке содержание этих картинок, рассказывала ей волшебные сказки, заставляла учить наизусть басни, а по вечерам, перед сном, повторять за ней слова молитвы. Аврору было легко занять. Она могла часами слушать рассказы, сидя на жаровне, будто на треножнике, с остановившимся взглядом, с полуоткрытым ртом, или слушать музыку, доносившуюся из соседней мансарды, — это играл сосед-флейтист на флажолете. Всегда потом она тосковала по этой жизни, полной ласки, очарования и бедности.

В 1808 году полковник Дюпен жил в Мадриде, он был адъютантом Мюрата. Он примирился в душе с Наполеоном; он по-прежнему ставил ему в упрек его любовь к льстецам — черту, недостойную великого человека; но, несмотря на все, он любил его, «Я его совершенно не боюсь, — говорил полковник Дюпен, — поэтому я чувствую, что он лучше того, кем он хочет казаться». До безумия ревнивая, Софи-Виктория боялась кокетства испанских красавиц и на восьмом месяце беременности поехала к мужу, взяв с собой маленькую Аврору. Дорога шла через враждебную страну и была очень трудной. У Авроры остался от всего этого путешествия в памяти только дворец Годои в Мадриде и крошечная адъютантская форма, в которую ее нарядили, к большому удовольствию Мюрата.

Морис Дюпен — своей матери, Мадрид, 12 июня 1808 года: Сегодня утром Софи разрешилась от бремени толстым мальчишкой… Аврора чувствует себя хорошо. Я куплю коляску, засуну всех в нее, и мы направимся в Ноан… Моя дорогая матушка, эта мысль переполняет меня радостью!..

Он ожидал какого-то небывалого счастья от этой первой встречи всех своих любимых и близких в родном доме. Но путь в Ноан был тяжел. Коляска ехала по полям сражений, с неубранными еще трупами; дети страдали от лихорадки и голода; они набрались в грязных харчевнях вшей, заболели чесоткой. У Авроры был жар, она лежала в коляске безжизненным комочком и пришла в сознание только во дворе Ноана. Ее встретила бабушка, которую она почти не знала; она с удивлением разглядывала ее бело-розовое лицо, завитой белый парик и маленький кружевной чепчик с кокардой. Госпожа Дюпен де Франкёй, властная и сердечная, послала свою сноху отдыхать после дороги, а девочку отнесла к себе в спальню и положила на свою кровать. Бабушкина кровать была похожа на похоронные дроги, у нее были такие же султаны из перьев по четырем углам и кружевные подушки. Аврора, никогда в жизни не видавшая такой красоты, решила, что попала в рай.

Бабушка отскребла детей дочиста и выловила всех вшей; Дешартр, в панталонах до колен и в белых чулках, произвел детям докторский осмотр. Аврора быстро поправилась, а новорожденный умер. Несколько дней спустя Морис, вывезший из Испании великолепную горячую лошадь Леонардо, разбился насмерть при выезде из Ла Шатра, наскочив ночью на груду камней. Сколько горя! И вот неожиданный случай свел вместе двух женщин с совершенно разными характерами, с разными привычками: «одна из них (бабушка) — светлая блондинка, серьезная, спокойная, сдержанная, благовоспитанная, покровительственно добрая; другая (мать) — брюнетка, бледная, пылкая, неловкая и застенчивая с людьми высшего света, но всегда готовая вспылить, ревнивая, страстная, сердитая и робкая, злая и добрая в одно и то же время…»

Бабушка внимательно присматривалась к матери — она спрашивала себя, за что ее сын мог так любить эту женщину. Но вскоре она его поняла. Это была артистическая натура: Софи-Виктория могла написать прелестное письмо, не зная орфографии, спеть арию, не зная сольфеджио, нарисовать что-нибудь, не имея представления о принципах рисования; у нее были руки феи, создававшие восхитительные шляпки, платья, руки, исправлявшие расстроенный клавесин. «Она бралась за все и все делала хорошо… Но у нее было отвращение к ненужным вещам; она тихо говорила: это игрушки старой графини…» В своей критике она бывала блистательна, говорила на развязном жаргоне парижского уличного мальчишки, и можно представить себе, какое удовольствие получала Аврора, слушая эти «едкие и живописные выражения».

На расстоянии между матерью и бабушкой не было любви; но, очутившись вместе, они не могли не понравиться друг другу, так как обе были женщинами с громадным обаянием. При ссорах Аврора становилась на сторону матери, хотя та и бранила ее и поколачивала. От бабушки она не снесла бы и сотой доли такой суровости. Она видела, что живущие по соседству «старые графини» относятся презрительно к ее матери, и ей захотелось мужественно защитить ее. Видя, в какое горе повергла ее мать смерть мужа, она старалась утешить ее своей преданной любовью. Вскоре Аврора научилась читать и погрузилась в мир сказок Перро и госпожи д’Оной. Товарищем ее игр был Ипполит Шатирон, ее сводный брат, ребенок из «маленького домика», толстый, угрюмый мальчуган; подчас он забавлял ее, уверяя, что был в прежней жизни собакой, и потому груб и сейчас; были еще друзья в деревне: Урсула, Пьерро, Розетта, Сильвен. Вместе с ними она носилась по чудесному парку и проникалась той страстной любовью к земле, какой она осталась верна в продолжение всей своей жизни.

«Я и тогда уже пылко любила, — говорит она, — я всегда любила поэзию сельской жизни». Она любила громадных, медленно бредущих быков с низко опущенным лбом; телеги с сеном, деревенские сборища, крестьянские свадьбы, посиделки, на которых мяльщик конопли рассказывал старинные легенды. Она вмешивалась во все работы в имении: ухаживала за ягнятами, кормила кур. Мать поощряла ее в этом, играла с ней в ее маленьком садике, сооружала для нее гроты из ракушек, водопады. Бабушка страдала, видя, что у ее внучки появляются манеры «деревенской девчонки». Она привязалась к этой девочке, предвидя ее незаурядный ум. Невольно она называла ее Морис и говорила о ней «мой сын». Получилось так, что и мать и бабушка, каждая по-своему, заставляли ее сожалеть, что она не мальчик: для своей матери она хотела быть защитником, а госпожа Дюпен хотела как бы воскресить в ней своего сына.

Чтобы сделать из внучки достойную наследницу Ноана, госпожа Дюпен де Франкёй решила вырвать ее из «семьи птицеловов». Аврора знала, что «старые графини» смотрят на нее критическим взором. Одна из них, госпожа де Пардайян, обращалась к ней всегда со словами «моя бедняжка!» и изрекала: «Будь доброй, тебе многое придется прощать». При Авроре часто говорилось, что неравный брак Мориса навлек на нее трудную судьбу. Мечтой бабушки было превратить ее в девицу, «привлекательную внешне, тщательно одетую и изящную в обращении».

> По понятиям бабушки, ребенку нужно прививать с самого раннего возраста изящество, манеру ходить, садиться, здороваться, стягивать с руки перчатку, держать вилку, указывать на какой-нибудь предмет; наконец, искусство в совершенстве владеть своим лицом и жестами, с тем чтобы, войдя в привычку, это стало бы второй натурой ребенка. Моя мать находила все это очень смешным, и мне кажется, что она была права…

Конфликт между двумя женщинами особенно разросся на религиозной почве. Мать простодушно и горячо верила в бога. Француженка, дитя своего века, она бессознательно привносила романтическую поэзию в свои религиозные чувства. Бабушка, женщина прошлого века, признавала только отвлеченную религию философов. Она питала, по ее словам, «большое уважение к Иисусу Христу»; по ее приказанию внук Ипполит ходил к причастию, но ведь причащал-то его добряк кюре из церкви Сен-Шартье, аббат Монпеиру, вера которого была чисто формальной. Аврора с ее страстной жаждой чудесного восхищалась горячей верой матери, и ее огорчало, когда бабушка с точки зрения здравого смысла высмеивала чудеса, которые Авроре были так дороги.

> С одинаковым интересом я читала о чудесах древнего мира — еврейского и языческого. Мне просто хотелось верить в них, и больше ничего. Но бабушка время от времени, кратко и сухо, взывала к моему разуму, и я опять отходила от веры, но я мстила за пережитое огорчение тем, что про себя не отвергала ничего…

Разрыв отношений между матерью и бабушкой был неизбежен. Госпожа Дюпен не желала принимать у себя сводную сестру Авроры, Каролину Делаборд, которая родилась до связи Мориса с Софи; мать же отказывалась бросить ребенка, у которого не было на свете ни одного близкого человека, кроме нее. Софи-Виктория мучилась вопросом: «Где будет Аврора счастливее — в Ноане или со мной?» Несмотря на мольбы Авторы, она считала, что не имеет права лишать ее блестящего воспитания и пятнадцати тысяч ливров дохода. К тому же они могут видеться с дочерью каждую зиму в Париже. Аврора жестоко страдала. «Моя мать и бабушка

рвали мое сердце на клочки». Ее любовь к матери обрела мучительную силу запретного чувства. Авроре казалось, что мать бросает ее в мир, который сама же научила ее презирать. Она много плакала.

И все же после отъезда матери из Ноана она наслаждалась полной свободой. Дешартр обучил ее естественным наукам и латыни; бабушка сделала из нее превосходную музыкантшу и привила ей свою любовь к литературе. Аврора прочла «Илиаду», «Освобожденный Иерусалим». Писала сочинения о сельской жизни — в них впервые обнаружилось ее дарование. Но, как и все человечество, она задумывалась над вопросами религии, а ее не учили ни одной из них. В прочитанных книгах ей встречались и Юпитер и Иегова. Ей хотелось другого бога — более человечного. Хотя ей и приказали пойти в церковь к первому причастию, с ней никогда не говорили о Христе. А ей нужно было любить, нужно было понять: «Зачем я существую? Зачем Ноан? Зачем весь этот свет? Зачем есть злые? Зачем старые графини?» Человек бросает в мир свои вопросы, а он отражает их в виде мифов. Ребенку необходимо сознание, что он не одинок, что его поддерживает какая-то волшебная сила. И Аврора создала себе своего собственного бога; он был сама нежность, сама доброта; она назвала его Корамбе. Она воздвигла в гуще кустарника алтарь из мха и ракушек и приносила туда птичек и жуков — не для того, чтобы приносить их в жертву богу, а для того, чтобы выпускать их на свободу. Но для того чтобы выпустить, надо прежде поймать, а это причиняло птицам и жукам мучения. Из этого ясно, что корамбеизм, как всякая религия, был полон тайн.

Империя погибала. Мария-Аврора Саксонская не жалела об этом; но Софи-Виктория Делаборд, подобно старой гвардии, хранила верность Наполеону. Опять повод для разногласий между двумя женщинами. Аврора, приезжая с бабушкой в Париж, радовалась, что вновь видит в крохотной квартирке своей матери обстановку, знакомую с детства, — вазы с бумажными цветами, жаровню, на которой она подолгу сидела, впервые погружаясь в мир фантазии. Но ей не всегда разрешали ходить к матери, ей запрещали играть со сводной сестрой Каролиной. Каждый раз бывали сцены, слезы. «Потерпи, — говорила мать, — я скоро открою магазин мод, возьму тебя к себе, и ты будешь мне помогать». Эта обманчивая мечта, в которую не очень верила и сама Софи-Виктория, привела Аврору в восторг, и она начала припрятывать свои скромные драгоценности, чтобы в один прекрасный день продать их и убежать. Горничная бабушки, мадемуазель Жюли, особа черствая, не любившая Аврору, раскрыла эту наивную тайну. «Вы хотите вернуться на ваш жалкий чердак?» — презрительно спросила она и доложила об этом бабушке, у которой только что был первый удар.

Последовала тягостная сцена. Старуха поставила внучку на колени возле своей кровати и рассказала ей о своей собственной жизни, потом о жизни своего сына и, наконец, о жизни своей снохи, которую она обличила в безнравственном поведении как в прошлом, так и в настоящем. Все это было преподнесено без всякой жалости и снисхождений. Но пришлось во имя справедливости по отношению к Софи Делаборд говорить и «о причинах ее несчастий: об одиночестве и нищете с 14-летнего возраста; о тлетворном влиянии развратных богачей, пользующихся бедностью девушек и лишающих их невинности; о беспощадной суровости общественного мнения». Пришлось сказать также о том, что Морис Дюпен был преданно любим в течение восьми лет. И тут бедная бабушка, вдохновляемая ненавистью к невестке, а также считая своим долгом предостеречь внучку, договорилась до громких фраз, вроде: Софи-Виктория — «погибшая женщина», а Аврора — «ребенок, который в ослеплении готов ринуться на дно».

Эти разоблачения вызвали неистовый взрыв. Аврора забросила учение, стала бунтовать. «Дочь моя, — сказала ей бабушка, — вы потеряли рассудок… Мы едем в Париж. Я решила поместить вас в монастырь». Аврора обрадовалась: она надеялась, что увидит в Париже мать, а в



монастыре начнет вести новую жизнь. Она вошла в монастырь без жалоб и без отвращения.

Глава четвертая
Дьявол в кропильнице

Вера как любовь. Ее находишь тогда, когда меньше всего ждешь.

Жорж Санд

Женский Августинский монастырь английского религиозного братства, основанный в Париже во время притеснения Кромвелем католиков, мало-помалу перевоспитывал пылкую, живую девочку, какой стала Аврора в Ноане благодаря свободе сельской жизни и семейным ссорам. В Париже она вновь встретилась со своей матерью. Она пришла к ней, к своей мамочке, как обычно, с восторгом, со страстным желанием найти в ней те добродетели, в которых отказывали ей несправедливые люди. Перед ней стояла безучастная женщина, у которой где-то, вне этого дома, была своя, заново начатая, свободная жизнь: она одобрила мысль о вступлении Авроры в монастырь, но в таких выражениях, которые глубоко ранили девочку.

Важное обстоятельство: в переходном возрасте любовь Авроры к своей легкомысленной и очаровательной матери была так сильна, что никакое другое чувство не могло ее вытеснить. Впоследствии она напишет: «О мать моя! Почему вы не любите меня, меня, которая так вас любит?» Она, правда, научится — раз уж так пришлось — обходиться в жизни без своей равнодушной матери, она привыкнет не советоваться с ней, но никогда не сможет отказаться от нее. Навсегда сохранит она пристрастие к этому немного вульгарному остроумию. И если в продолжение всей своей жизни Санд с особым удовольствием шокировала «высший свет», если при всех переворотах она была всегда на стороне народа, то только потому, что она с неизменной нежностью думала о чердаке Софи-Виктории. Сама она, конечно, будет объяснять свои поступки более рационально, но в ее сердце навсегда останется горечь разлуки с самым любимым на свете человеком, и это надолго определит ее восприятие окружающего.

Уже в 14 лет она устала быть «яблоком раздора» между двумя женщинами, которых она хотела бы одинаково любить. Монастырь показался ей чудесным оазисом в жестоком мире. Монастырь хранил на себе чисто английский отпечаток; все монахини были англичанками, и Аврора, прожив рядом с ними, приобрела привычку, сохранившуюся у нее и в дальнейшем пить чай, говорить и даже иногда думать по-английски. У монахинь были прекрасные, немного чопорные манеры. Это заведение так же ценилось Сен-Жерменским предместьем, как и монастырь Сакре-Кёр и аббатство, и товарками у Авроры были девочки самых знатных семейств Франции. Старшие и младшие ходили в одинаковых платьях из тонкой темно-красной саржи; монастырь с его угодьями походил на большую деревню, сплошь заросшую виноградом и жасмином; кроме двух священников, аббата де Вилель и аббата де Премор, девочки не видели ни одного мужчины. Вот «обещание», составленное для них аббатом де Премор и списанное Авророй Дюпен:

> Ежедневно я буду вставать в один и тот же час… отдавая сну только то время, которое необходимо для поддержания здоровья, и никогда не буду оставаться в кровати по лености… Я старательно буду воздерживаться от пустых фантазий, бесполезных мыслей и не буду предаваться мечтам, от которых я могу покраснеть, если их прочтут в моем сердце… Я всегда буду избегать встреч наедине с людьми другого пола; я им не разрешу никогда даже самой легкой вольности при любом их возрасте и звании. Если мне сделают предложение хотя бы с самыми честными

намерениями, я тотчас же извещу об этом моих родителей. Я постараюсь быть доброй и снисходительной к тем, кто будет прислуживать мне, но никогда не позволю им ни малейшей фамильярности, никогда не буду говорить с ними по секрету о моих огорчениях или радостях…

Что касается Авроры, то наставление, относящееся к «лицам другого пола», было совершенно излишним. Она не думала о мужчинах. В монастыре девочки делились на три группы: смиренные, набожные и тихони; чертенята, непокорные и шалуньи; между этими двумя группами — дурочки, пассивные, малоподвижные, как стоячее болото. В первый год Дюпен была сущим дьяволенком, замешанным во все безумные экспедиции на крыши и в погреба. Подруги прозвали ее записной книжкой, потому что она все время делала заметки в записной книжке или somebread[2]; набожные звали ее Madcap[3] или Mischievous[4], так как она всегда проказничала. Вообще же подруги ее любили. Вначале ее считали апатичной и тихой, «тихим омутом». На нее находила порой сумрачная рассеянность, когда она размышляла о необычной домашней обстановке в их семье. Но потом жизнь показала, что Аврора участвует в общем веселье и что в опасных случаях на нее можно положиться, что она способна даже на героизм. С ней можно было легко пойти на «поиски жертвы», заключенной где-то в подземелье, — это было любимой, полной романтики игрой в монастыре.

Чертенята писали на переплетах своих книг: Spelling Book[5], The garden of the Soul[6] либо инициалы избранных друзей (ISFA — ИСФА — было волшебное слово «Дюпен» и означало Изабелла-Софи-Фанелла-Анна), либо шуточные исповеди:

Увы! Мой милый отец Вилель, я часто пачкалась чернилами, тушила свечку пальцами, набивала живот репой, как говорится в высшем свете, где я воспитывалась; я шокировала молодых леди в нашем классе своей нечистоплотностью… Я засыпала на уроках закона божия, я храпела на мессе, я говорила, что вы некрасивы… За эту неделю я сделала по крайней мере 15 грубых ошибок по-французски и 30 по-английски; я сожгла в печке свои башмаки и наполнила смрадом класс. Это мой грех, это мой грех, это мой тягчайший грех…

На форзаце одной английской книги Аврора написала следующий текст, по-детски смешной и вызывающий:

«Эта почтенная и интересная книжка принадлежит моей достойной уважения особе: Дюпен, или знаменитому маркизу де Сен-Люси, генералиссимусу французской армии монастыря, великому воину, искусному полководцу, бесстрашному солдату, увенчанному в битвах дубовыми и лавровыми листьями, защитнику орифламы.

Анна де Вим — маленький котенок. Изабелла Клиффорд — is charming[7].

Долой англичан! Смерть собакам-англичанам! Да здравствует Франция! Я не люблю Веллингтона.

Забавные овечки, дорогие малыши, мне очень жаль вас, но я счастлива, что я уже не в младшем классе. Доброй ночи!

Женский английский монастырь, 1818»

Первый год в интернате был для Авроры временем искренности, мужества и бунта. Она была настоящим чертенком, доходила «в своем возбуждении до какой-то отчаянности, до опьянения своими собственными шалостями». Несчастливые дети очень часто — от обиды, как

будто назло кому-то — становятся трудными детьми. Аврора тогда не была ортодоксальной католичкой, да и не могла ею быть, так как была воспитана «лишенным сана» наставником и бабушкой-вольтерьянкой. Она выполняла религиозные обряды по обязанности, из приличия, после первого своего причастия она уже больше никогда не выполняла этого обряда. Она верила в бога и в вечную жизнь, но без всякого страха, а с уверенностью, что в последнюю минуту придет прощение и спасение от грехов. Ее хорошими качествами были преданность в дружбе и настоящая влюбленность в искусство: она играла на арфе, увлекалась рисованием, а в ее записной книжке встречались то белые стихи, то проза. Когда она перешла в старший класс и получила отдельную келью, она очень талантливо описала ее:

> Спустившись с небес, вы увидите в первом этаже комнату, не круглую, не квадратную, но в которой вы можете сделать шесть шагов — при условии, что они будут очень маленькими. Рядом сточный желоб, каждую ночь — кошачьи концерты. Моя кровать, без полога, помещается в самом широком месте комнаты, то есть у стены… Я сказала «без полога», но я не смею жаловаться: он мне просто не нужен. Стык балки и косой крыши — прямо над моей головой, так что, вставая с постели, я каждое утро разбиваю себе лоб… Окно, составленное из четырех маленьких стеклышек, выходит на длинный ряд крыш, крытых черепицей… Обои в келье, по-видимому, были когда-то желтыми. Но какого бы цвета они ни были, интересно то, что они сплошь измазаны именами, афоризмами, стихами, глупостями, размышлениями, числами, — все это оставили здесь после себя все жившие в этой комнате. Та, которая поселится после меня, получит полное удовольствие, потому что я оставлю ей романы, целые поэмы — пусть разбирает мой почерк на стене — и очень забавные рисунки, вырезанные ножом на подоконнике…

Многие монахини выбирали из числа воспитанниц «дочку» и матерински заботились о ней. На второй год своего пребывания в монастыре Авроре очень захотелось, чтобы ее «удочерила» самая прелестная, самая милая, самая интеллигентная из всех монахинь Мария-Алисия. Мать Алисия была очень красива. В ее больших голубых глазах с черными ресницами, в этих «зеркалах чистоты», отражалась ее возвышенная душа; несмотря на грубое монашеское одеяние — длинное платье с нагрудником, — ее фигура была полна грации; голос у нее был чудесный, Аврора, как ребенок, влюбилась в нее и храбро подошла к ней с просьбой удочерить ее. «Вас? — сказала мать Алисия. — Но вы же самый отъявленный чертенок в монастыре!» Воспитанница настаивала: «Попробуйте все-таки, кто знает? Может быть, я исправлюсь ради вас». Матери Алисии пришлось согласиться. Аврора, надеявшаяся найти, наконец, мать в этой чудной женщине, мать, которую она тщетно искала в своей родной матери и даже в бабушке, привязалась к госпоже Алисии неистово, мучительно. Подруги заметили, что она очень изменилась. «You are low spirited today, Dupin? What is the matter with you?»[8]. На деле же ей было просто необходимо поклоняться какому-нибудь существу, находить в нем совершенство и непрерывно служить ему, как она служила Корамбе. Это воображаемое божество приняло черты серьезного и чистого облика Марии-Алисии.

Аврора начала читать жития святых. Стоицизм мучеников, их безграничное мужество находили отзвук в сердце Авроры, В монастыре, на хорах в капелле, висела картина Тициана, изображавшая Христа на Масличной горе.

> Листая в церкви жития святых, я все чаще останавливала взгляд на этой картине; было лето, заходящее солнце уже не светило во время нашей молитвы, но это

произведение искусства было для меня сейчас не столько объектом созерцания, сколько объектом размышлений; глядя на эту громадную, безликую толпу, я невольно задавала себе вопрос: в чем смысл агонии Христа, что за тайна этого добровольного мученичества, — и во мне росли предчувствие чего-то более великого и более глубокого, чем то, что мне объясняли; мне становилось бесконечно грустно, сердце обливалось кровью от жалости, от какого-то неведомого мне страдания…»

На другой, менее красивой картине был изображен блаженный Августин, стоящий под смоковницей: на чудесном луче были начертаны знаменитые слова: «Tolle, lege»[9]. Блаженному Августину, сыну святой Моники, послышалось, что они раздались из листвы дерева. Это «Tolle, lege» заставило Аврору перечитать евангелие, но воспоминание о насмешках бабушки-вольтерьянки как бы удержало ее: «Я осталась холодна, читая об агонии и смерти Иисуса». Значит, ей суждено остаться на всю жизнь дьяволенком. Ей было 15 лет: дикие фантазии ребенка сменились у девушки ожиданием чего-то неясного и важного. Однажды она грустно бродила по крытой галерее монастыря, глядя, как, подобно призракам, «мимо нее скользили ревностные монахини, стремясь тайно от всех излить свою душу у ног бога любви и покаяния». И вдруг ей захотелось посмотреть на них вблизи, и она вошла в церковь. Ночью церковь была полна очарования. Боковой придел освещался только маленькой серебряной лампадой, горевшей в алтаре. В открытое настежь окно вливался аромат жимолости и жасмина.

Мне показалось, что звезда, как бы вписанная в витраж, затерянная в необъятном пространстве, внимательно смотрела на меня. Пели птицы; вокруг были покой, очарование, благоговейная сосредоточенность, тайна, о которой я никогда не имела представления… Не знаю, что меня вдруг потрясло так сильно… У меня закружилась голова… Мне показалось, что какой-то голос шепнул мне на ухо: «Tolle, lege». Слезы потоком хлынули из глаз… Я поняла, что это любовь к богу… Словно стена рухнула между этим очагом беспредельной любви и пламенем, дремавшим в моей душе…

Мистицизм, непосредственная связь с божественной волей, которую она ощущала в себе самой, — вот отныне ее религия, и она ей останется верна до конца. В вопросах веры или любви женщина с радостью «рабски вбирает в свое сердце волны той любви, что нисходят свыше». Сопротивление разума с этого дня кончилось. «Как только сердце было захвачено, рассудок был изгнан решительно, с какой-то фанатической радостью. Я приняла все, поверила всему без борьбы, без страдания, без сожаления, без ложного стыда. Краснеть за то, что обожаешь? Полноте!»

Так как она была человеком крайностей, она приняла это обращение в новую веру за свое призвание и стала думать о вступлении в монастырь. Но она решила — это было в ее характере — войти туда послушницей, исполняющей самые унизительные обязанности: подметать помещение, ухаживать за больными. Если Аврора совмещала в своей душе элементы и святой и грешницы, то это была хозяйственная святая. «Между кастрюлями ходит господь», — говорила святая Тереза. «Я буду служанкой, — думала Аврора, — буду работать до полной потери сил, буду подметать кладбище, выносить мусор, все буду делать, что мне прикажут… пусть один господь бог будет свидетелем моих мучений, его любовь вознаградит меня за все…»

Ее духовник, аббат де Премор, старый, умный иезуит, проповедовал возвышенную и здоровую мораль. Он был тронут, когда. Аврора пришла к нему для исповеди и примирения с небом; но он осудил в кающейся девушке ее мистические настроения и мысли о возможности слияния с богом. Житейски мудрый аббат считал нежелательным, чтобы человек заранее

предавался мыслям о лучшем мире, забывая о своем долге нравственности в этом. «Конечно, если бы не он, — напишет Санд в пятьдесят лет, — я сейчас была бы либо сумасшедшей, либо монахиней». Ведь набожность девушки превратилась в страсть. «Это полное слияние с божеством я воспринимала, как чудо. Я буквально горела, как святая Тереза; я не спала, не ела, я ходила, не замечая движений моего тела…» Аббат де Премор побранил ее за то, что она в своем увлечении мистицизмом тает, как свеча, и забывает о своих обязанностях по отношению к людям. «Вы стали грустной, мрачной, какой-то исступленно-восторженной, — сказал он ей, — ваши подруги не узнают вас… Берегитесь, если вы не изменитесь, вы заставите возненавидеть благочестие и бояться его… Ваша бабушка пишет, что мы вас воспитываем в духе фанатизма. Вы даже не замечаете, что под личиной смирения много гордости в вашем раскаянии… В наказание я велю вам вернуться к играм, к невинным развлечениям, свойственным вашему возрасту…»

Она повиновалась. Покой воцарился в ее мыслях. После шести месяцев умерщвления плоти и отрешенности от окружающего она спустилась вновь на землю, стала сочинять комедии и играть в них: восстановила в памяти «Мещанина во дворянстве», которого она читала в Ноане; стала зачинщицей всех игр в монастыре и объектом неимоверного увлечения как монахинь, так и своих шаловливых подруг, но в глубине души не изменила своего решения; и, как она говорила потом, конечно, постриглась бы в монахини, если бы не то обстоятельство, что бабушка, которая сильно ослабела и тревожилась за судьбу своей экзальтированной внучки, не позвала ее настойчиво в Ноан: «Дочь моя, я должна выдать тебя скорее замуж, я скоро умру». Старая дама говорила о приближении смерти с истинно философским спокойствием; она умрет в отчаянии, сказала бабушка, если Аврора останется одна, беззащитная, под опекой своей недостойной матери. Итак, надо было покинуть монастырь, который стал для Авроры раем.

Она вернулась в суетный мир с тревожным предчувствием, с твердым намерением опять искать прибежища в монастыре, как только сможет это сделать, не подвергая опасности жизнь бабушки. Английскому монастырю она была обязана большими и счастливыми переменами в себе. Благородная учтивость монахинь, изучение правил хорошего тона выработали у нее очаровательные манеры, которые в продолжение всей ее жизни придавали вид благовоспитанности даже самым ее невероятным вольностям. Но главное, что она приобрела, — это чувство серьезности и глубины. Бабушка еще раньше украсила ее ум изяществом XVIII века: Ноан научил ее понимать поэзию природы; новая вера привила ей любовь к другим, а не только к себе. «Экзальтированная набожность благотворно действует на душу, потому что она по крайней мере совершенно убивает самолюбие, и если в некоторых отношениях она притупляет ум, то зато она очищает душу от множества ничтожных и мелочных интересов…» Как некоторые английские поэты образной силой своих описаний обязаны чтению Старого завета, так и Аврора Дюпен бессознательно привносила в свою прозу серьезную доброту госпожи Алисии и величественную простоту евангелия.

Глава пятая
Наследница Ноана

После выхода из монастыря Аврора вместе с бабушкой провела несколько дней в Париже. Мысль о вынужденном замужестве ужасала Аврору. Неужели ей, как героине мольеровской комедии, представят какого-нибудь старого хрыча и скажут: «Дочь моя, скажите «да» или вы нанесете мне смертельный удар». Но вскоре она успокоилась. У старинной бабушкиной подруги госпожи де Понкарре была на примете «партия». Аврора, даже не видя жениха, сказала, что он урод; госпожа де Понкарре ответила, что она дурочка, а жених красив. Но больше об этом речи не было. Вскоре мадемуазель Жюли уже укладывала вещи для отъезда в Ноан, и Аврора слышала, как бабушка сказала: «Она еще слишком молода, надо отложить эти разговоры на год».

Девушка надеялась, что Софи-Виктория приедет в Ноан, чтобы отпраздновать ее возвращение, но Софи была настроена вызывающе и решительно: «Ни за что! Я вернусь в Ноан только после смерти моей свекрови!» Тщетно Аврора, полная христианского милосердия, убеждала в необходимости взаимного прощения. Получив отказ, дочь смиренно предложила остаться с матерью в Париже, но и тут потерпела поражение. «Мы увидимся гораздо скорее, чем некоторые думают», — ответила ужасная Софи-Виктория. Эти намеки на близкую смерть бабушки были мучительными для Авроры. «Софи — дикая мать, — в свою очередь, сказала госпожа Дюпен де Франкёй, — она относится к своим детям, как птица к своим птенцам… Когда у них отрастают крылья, она перелетает на другое дерево и гонит их прочь ударами клюва». Святая Аврора поняла, что она бессильна перед этой обоюдной ненавистью, и уехала с бабушкой в Берри.

В огромной голубой коляске они приехали весной 1820 года в Ноан. Деревья были в цвету, пели соловьи, откуда-то издалека доносилось классическое и торжественное, протяжное пение хлебопашцев. Аврора взволновалась, увидя вновь знакомый старый дом, но все же с сожалением вспоминала монастырский колокол и госпожу Алисию. На окне своей комнаты она написала карандашом, по-английски элегию, которую можно и сейчас там прочесть:

> Уходи, ущербное солнце! Скрой свои бледные лучи за дальними деревьями. Звезда вечерняя — Венера пришла и возвещает конец дня. Наступает вечер и приносит грусть на землю. О дивный свет! С твоим возвращением природа вновь обретет свою веселость и красоту, но радость не поселится никогда в моей душе…

Такая меланхолия была данью моде; на самом же деле Аврора испытывала горячее чувство радости от сознания своей почти полной независимости. Старая владелица замка после удара очень ослабела. Она еще по-прежнему спускалась в столовую в часы еды, прямая, изящная в своем темно-лиловом стеганом платье, со слегка подкрашенными щеками, с бриллиантами в ушах, но она тихо угасала. За исключением редких взрывов старческого раздражения, она почти не вмешивалась в жизнь Ноана. Эпоха Реставрации и преклонный возраст слегка сгладили ее вольтерьянство. Но она осталась философом XVIII века и вела дружеские споры со своей внучкой, которая, сама о том не подозревая, стала последовательницей Шатобриана.

С удивлением услышала Аврора, как детские подруги — Фаншон, Урсула Жосс, Мари Окант — называют ее мадемуазель. Впервые она поняла замкнутость господ и с грустью вспомнила о братских отношениях, какие были в монастыре. Даже приезжавший в отпуск ее сводный брат Ипполит слегка оробел перед этой красивой девушкой в розовом летнем платье. Он был теперь унтер-офицером, гусаром и, посадив Аврору верхом на лошадь, объяснял ей

простой принцип верховой езды: «Все сводится к двум вещам: упасть или не упасть. Держись хорошенько! Вцепляйся в гриву, если хочешь, но не выпускай поводья из рук и не падай…» И Аврора стала ездить на Колетте, рослой кобыле с мягкими движениями, выполнявшей все, что от нее требовали. Аврора и Колетта стали неразлучными. Через неделю они скакали через любые изгороди и канавы. «Тихий омут» из английского монастыря оказался смелее гусара.

Своей монастырской подруге, дочери префекта Анжера, Эмилии де Вим, которая уже начала выезжать в свет, Аврора описывала свою деревенскую жизнь: «Кто это может мне писать? Эмилия необычайно заинтригована. Да ну же, моя дорогая, вспомните вашу монастырскую подругу…» Она не написала ей, что красивый молодой человек из Сомюрского военного училища — ее сводный брат Ипполит; судя по ее письму, это был Ипполит де Шатирон, обучавший ее верховой езде на английский манер. С госпожой де Понкарре и ее дочерью Полиной она занималась итальянским языком и музыкой.

> На рояле всегда лежат три — четыре раскрытые партитуры, на каждом кресле валяются дуэты и романсы. И все-таки мы вспоминаем тебя, ты бы могла заменить госпожу де Понкарре, которая так талантливо аккомпанирует нам. Мы ставили комедию; я играла Колен, Полина — Люсетту. Невероятно сентиментально, и это нас безумно смешило. В общем было очень хорошо. Мы пляшем бурре…

Некий господин де Лаку, «человек, драгоценный в деревне», предложил им свою арфу и читал вместе с ними «Освобожденный Иерусалим».

> Дни проходят в том, что я, развались в кресле, вышиваю или рисую, а Ипполит читает мне вслух; или же он перевертывает все вверх дном, разбивает все, что попадается ему под руку; я браню его, а кончается тем, что я так же впадаю в детство, как и он; бабушка ворчит, говорит, что мы ей страшно надоели, и смеется вместе с нами…
>
> *Январь 1821 года:* Ипполит уехал, так что мы в полном одиночестве. Я сокращаю день тем, что поздно встаю, завтракаю; час — два уходит на разговоры с бабушкой; потом поднимаюсь к себе и занимаюсь чем-нибудь: играю на арфе, на гитаре, читаю, не отходя от камина… перебираю в уме воспоминания, пишу каминными щипцами на золе; спускаюсь к обеду, и, когда бабушка садится за свою партию в карты с господином Дешартром, бывшим воспитателем моего отца, а за ним и Ипполита, я поднимаюсь опять к себе и набрасываю кое-какие мысли в зеленую записную книжку, почти целиком уже заполненную…

Ее разговоры с бабушкой стали нежными и интимными. Несмотря на перенесенный удар, госпожа Дюпен де Франкёй в светлые промежутки была все той же замечательной женщиной и по образованию, и по прямоте, и по мужеству в серьезных вещах. Иногда она разыгрывала из себя простушку или важную даму, но Аврора не обращала на это внимания. Они как бы поменялись местами: внучка была матерински заботлива и снисходительна. Бабушка, понимая, что Авроре придется скоро выйти замуж, разговаривала с ней вполне доверительно. Хотя она жила в эпоху очень легких нравов, у нее никогда не было любовника.

> Я часто признавалась молодым женщинам, которые меня торопили с выбором любовника, что неблагодарность, эгоизм и грубость мужчин вызывают во мне отвращение; они смеялись мне прямо в лицо, услышав это, и уверяли меня, что не все

похожи на моего старого мужа и что мужчины владеют секретом заставить женщину прощать им недостатки и пороки… Когда я слышала от моих подруг такие грубые разговоры о чувствах, я испытывала унижение от мысли, что и я женщина…

> Я не претендую на то, что бог создал меня из какой-то другой глины, чем все остальное человечество. Теперь, когда я стала уже бесполым существом, я думаю, что я была такой же женщиной, как и все, но просто мне не пришлось встретить мужчину, которого я бы настолько полюбила, что смогла бы найти хоть немного поэзии в особенностях чувственной жизни…

Эти речи относительно «чувственной жизни» отнюдь не примиряли молодую девушку с мыслью о замужестве. Из разговоров старых графинь она поняла, что она богатая наследница, но никак не хорошая партия для молодого человека с блестящей будущностью из-за ее жалкой матери и внебрачных рождений в их роду. Люди, которые просили ее руки, были немолоды; один генерал империи, пятидесяти лет, с громадным шрамом через все лицо; барон де Лаборд, бригадный генерал, вдовец, сорока лет. По просьбе де Лаборда его родственник написал виконтессе де Монлевик, жившей по соседству с Ноаном:

> Мадам, Вы мне говорили, что по близости с вашим поместьем имеется превосходная партия: мадемуазель Дюпен, которая получит, насколько я помню, от 20 до 25 тысяч ливров ренты… Господин барон де Лаборд, мой двоюродный брат, имеет сейчас от 8 до 9 тысяч ливров… Он доказал, что может быть хорошим мужем, это во всех отношениях великолепный человек. Хотя ему сорок лет, но физически в нем нет ничего, что могло бы оттолкнуть молодую девушку… Я забыл еще прибавить, что от первого брака детей у него нет…

Эта откровенная сделка вызвала отвращение у Авроры. Госпожа де Монлевик ответила ему полным описанием (похожим на генеалогию породистого животного) «своей молоденькой соседки, отпрыска неудачного брака, сообщив о ее происхождении и состоянии»:

> Аврора, которую я видела в этом году несколько раз, — брюнетка, с хорошей фигурой, приятной наружностью; она умна, очень образованна, музыкантша: поет, играет на арфе, на рояле; рисует, хорошо танцует, ездит верхом, охотится, при этом у нее прекрасные манеры… Ее состояние исчисляется примерно в 18–20 тысяч ливров ренты; оно должно перейти в ее пользование с минуты на минуту…

Этот брак не состоялся так же, как и никакой другой. Аврора Дюпен находилась в ином положении, чем большинство молодых девушек того времени; томимые одновременно пробуждающимися чувствами, желанием вырваться из семейной неволи и страхом перед жизнью, они пылко призывали Прекрасного принца, который освободил бы их, хозяина, который командовал бы ими. Аврора же царствовала в Ноане; свободная и счастливая, жила она около своей бабушки; к тому же она все еще считала монастырь своим призванием. Старый Дешартр, ставший мэром Ноана, брал ее с собой на охоту и посоветовал ей надевать мужской костюм, чтобы легче гоняться за зайцами. Она это делала с большим удовольствием: в рабочей блузе или в рединготе, в брюках она чувствовала себя увереннее, она походила на мужчину. По ее мнению, это придавало ей в глазах сверстниц особый авторитет:

> *Аврора Дюпен — Эмилии де Вам, май 1821 года:* Тебе не случалось бродить в мужском сюртуке, фуражке, с ружьем через плечо в поисках несчастного зайца и, не

найдя его, — а это бывает часто — приносить домой жалких воробьев, над печальной судьбой которых чувствительная горничная будет лить слезы!.. Тебя не учил гусарскому мастерству Ипполит!.. Когда ты скажешь ему на уроке верховой езды, что боишься лошади, он, чтобы подбодрить тебя, влепит такой удар арапником твоей лошади, что она, по выражению бабушки, пойдет стоя…

Дешартр посвящал ее в тайны управления поместьем. Впоследствии, из дипломатических соображений, она будет утверждать, что материальное положение никогда ее не интересовало. На самом же деле в ней всю жизнь сидела беррийская крестьянка, которая даже в своей расточительности знала счет деньгам. Про другого романтика эпохи, Байрона, говорили, что основной чертой у него является здравый смысл. Эта черта обнаружится и у Авроры Дюпен, когда возраст страстей останется у нее позади. Всегда ее желанием будет вернуть чисто мужскую независимость, вкус к которой привили ей Ноан и Дешартр. Всегда сохранится у нее этот здравый смысл, который дается близостью к житейской действительности и работой. Слишком свободная мысль, несмотря на все усилия, не летит вперед. Ей, как птице, нужно сопротивление среды. Деятельность открывает границы, которые должен поставить себе ум.

После второго удара госпожа Дюпен де Франкёй осталась прикованной к постели; тогда Дешартр передал молодой девушке все права по имению и потребовал, чтобы она сама вела все расчеты; вообще он стал обходиться с ней как с вполне взрослым человеком. Это был лучший способ добиться, чтобы она действительно стала взрослой. «Великий человек», как с любовной насмешкой называла Аврора Дешартра, был в деревне аптекарем, доктором и даже хирургом; он пожелал, чтобы Аврора научилась помогать ему. И она привыкла к виду крови, к зрелищу страданий. Ее милосердие стало действенным. С этих пор она навсегда утратила чувство брезгливости к человеческому телу, она говорила о нем свободно, мужественно, профессионально. Впоследствии ее возлюбленные поставят ей в укор отсутствие стыдливости. Развратника может обмануть и сбить с толку спокойствие больничной сиделки.

Не считая Дешартра, она встречалась в Ла Шатре с несколькими молодыми людьми. Она часто заезжала в своих прогулках верхом в этот маленький городок, узкие улицы которого «извиваются между неровными кровлями, поросшими мхом». В низеньких домах с дверьми, украшенными гвоздиками, в особняках с резными чугунными решетками она встречалась с сыновьями тех людей, которые были друзьями ее отца. Это были: Шарль Дюверне, гигант Флёри, маленький Гюстав Папе — он был еще моложе Авроры. Чаще всего она виделась с одним юношей, будущим доктором, по имени Стефан Ажассон де Грансань. Он был красив, похож на тех сеньоров, сжигаемых внутренних огнем, каких писал Греко, происходил из знатного старинного рода, но был беден, так как, имея девять братьев и сестру, мог унаследовать в будущем только ничтожную часть родового имения своих предков. Дешартр, принимавший участие в этом студенте-дворянине, представил его Авроре и посоветовал ей брать у него уроки анатомии и остеологии.

В комнате Авроры появился скелет; радостно появился и молодой человек и стал обучать эту прелестную девушку. У нее были густейшие черные волосы, глаза андалузки, цвет лица «испанского табака» и необыкновенно гибкая фигура. Естественно, что очень скоро профессор влюбился; она остановила его признания, сказав, что такие натуры, как он и она, должны заниматься «Мальбраншем и подобными ему», но никак не глупейшими любезностями. По правде говоря, Аврора охотно вышла бы за него замуж, но она знала, что ни граф де Грансань, ни госпожа Дюпен де Франкёй не разрешат этого: один — из кастовой спеси, из страха породниться с дочерью Софи-Виктории, другая — из-за бедности Стефана, из-за его репутации «смутьяна». Аврора была несовершеннолетней и должна была считаться с несогласием обоих

семейств. Вскоре Стефан стал писать не иначе, как «с откровенностью резкой и холодной». Она по-прежнему ходила в мужском костюме, что приводило иногда к забавным недоразумениям: когда она останавливалась перед каким-нибудь старинным готическим замком и начинала рисовать его, оттуда показывалась разбитная девица и строила глазки «этому молодому человеку».

> *Аврора Дюпен — Эмилии де Вим, июль 1821 года:* Она уставилась на меня своими умильными глазками, а я, приняв самый любезный вид, изо всех сил расшаркивалась перед ней; это имело у нее большой успех…

Ночные прогулки верхом, фуражка, брюки, голубая полотняная блуза, части скелета, валяющиеся на креслах, — это романическое поведение шокировало весь благонамеренный Берри. Духовник Авроры, кюре в Ла Шатре, тщательно собрав все сплетни, спросил девушку: «Не влюбилась ли она в кого-нибудь?» Аврора, привыкшая в монастыре к деликатной чуткости аббата де Премор, принципиально никогда не задававшего на исповеди вопросов, вспыхнула от оскорбленной гордости, повернулась и ушла из исповедальни. Ей было безразлично мнение Ла Шатра. «Несут вздор дураки», — сказала она спокойно. Ее мать, услышав в Париже все эти сплетни, сделала ей очень строгий выговор. Ответное письмо Авроры доказывает ее природное дарование писателя: она сумела сказать все очень сильно, но с удивительным тактом.

> *Аврора — Софи-Виктории Дюпен, 18 ноября 1821 года: Я* прочитала — внимательно и почтительно — письмо, которое вы были добры написать мне; я не позволила бы себе ни малейшего возражения на ваши упреки, если бы не ваше требование немедленного ответа… По вашему мнению, матушка, господин Дешартр заслуживает порицания за то, что он предоставил мне полную свободу; прежде всего беру на себя смелость заметить, что у господина Дешартра нет и не может быть никакого рода власти надо мной, и единственное его право — давать мне дружеские советы… Господин де Грансань сказал вам, что у меня воинственный характер; чтобы поверить такому смелому заявлению, вам, дорогая матушка, пришлось бы думать, что господину де Грансань основательно известен мой характер; я не считаю себя настолько интимно связанной с ним, чтобы он мог судить о моих достоинствах или недостатках… Он сказал вам правду, что давал мне уроки в моей комнате: а как по-вашему — где бы я могла принимать моих посетителей? Мне кажется, что бабушку — больна ли она или спит — очень бы обеспокоили такие визиты… Вы хотите, чтобы во время моих прогулок я опиралась на руку моей горничной или няни, по-видимому, для того, чтобы я не упала; конечно, в детстве помочи мне были очень нужны… но мне 17 лет, и я умею ходить…

У нее еще сохранилась привязанность к матери, но никакого уважения, кроме чисто внешнего.

Несмотря на, казалось бы, твердый тон этого письма, подчас она остро чувствовала свое одиночество. Не было у нее исповедника, чтобы руководить ею, — ведь к аббату Монпеиру, старому, доброму кюре в Сен-Шартье, она не могла обратиться: «Он был для меня слишком близким другом». По воскресеньям, после обедни, она всегда завтракала у него; потом они на одной лошади ехали в Ноан; там он обедал и проводил весь вечер. «Аврора — совершенное дитя, я любил ее всегда», — говорил он; а она: «Будь он на 60 лет моложе, я бы его заставила танцевать, если бы захотела». Старый друг, когда над ним берешь верх, не может быть

руководителем. И поэтому она вынуждена была у кровати парализованной бабушки искать истину в одиночестве. В Дешартре она разочаровалась: «Он обладал большими познаниями, но был с головы до ног полон противоречий и не имел ни капли здравого смысла». Аббат де Премор был далеко. В монастыре «Подражание» было ее настольной книгой, но ведь «Подражание» — это «книга для монастырской жизни, гибельная для тех, у кого не хватило сил порвать с обществом людей». А юная владелица Ноана оказалась насильно брошенной в суетную жизнь. У нее были общественные обязанности; она перевязывала раны и растирала в ступке лекарства; вместе с красавцем Ажассон де Грансань она постигала новые для нее знания. Она искала христианства, приспособленного к современной жизни, и нашла Шатобриана. Благодаря «Гению христианства» она почувствовала, что ее набожное смирение снова озаряется обаянием романтической поэзии.

Герсон? Шатобриан? Значит, в лоне церкви существуют две противоположные истины? И еще один повод для мучительной тревоги и сомнений: бабушка при смерти. Что делать — объяснить ей всю опасность ее положения, постараться переубедить ее в отношении религии или дать ей умереть с миром? Аврора написала аббату де Премор, он посоветовал молчать. «Сказать вашей бабушке, что она серьезно больна, — это значит убить ее… Ваше чувство подсказало вам правильно, вы должны молчать и просить бога, чтобы, он сам ей помог. Никогда не сомневайтесь, когда вам подсказывает сердце. Сердце не может обмануть…» Санд подчеркивает эту фразу — долгие годы она будет служить ей мерилом нравственного. «Читайте поэтов, — написал ей снисходительный иезуит, — все они религиозны. Не бойтесь философов, все бессильны против веры». Успокоенная, она воскликнула своей мятущейся душе: «Вперед! Вперед!»

И тут начались метания от одной идеи к другой. Она поднималась в свою комнату в десять часов вечера и часто читала до трех часов ночи. Ее мучили противоречия, которые разъединяют великих людей, и «она старалась объединять все эти разнородные понятия, которые вспыхивали в ее возбужденном мозгу, подобно тому, как вспыхивали в ее комнате яркие огни очага и тусклые отблески луны; опьяненная поэтической набожностью, она надеялась, что легко откажется от философов; но она начала любить их, и через них бог казался ей таким великим, как никогда раньше». Шатобриан, вместо того чтобы укрепить ее в католицизме, как она надеялась, открыл ей «бездонную глубину исследования». Перечитывая после «Гения христианства» «Подражание» — тот самый экземпляр, подаренный матерью Марией-Алисией, с надписью «Авроре Дюпен», сделанной обожаемой рукой, — она ужаснулась. Или прав был Герсон, и ей предстояло отказаться от природы, семьи, разума; или же, выбирая между небом и землей, надо было выбрать землю. На что Шатобриан отвечал: «Только в красоте земли, природы и любви вы найдете элементы силы и жизни для того, чтобы воздать хвалу богу…»

Герсон убеждал: «Будем грязью и пылью»; Шатобриан: «Будем пламенем и светом», «Подражание» приказывало ничего не проверять; «Гений христианства» — проверять все.

> Я была совершенно растеряна. Носясь по утрам на Колетте, я целиком соглашалась с Шатобрианом. При свете моей лампы — с Герсоном, и вечером я стыдила себя за утренние мысли…

Учение Шатобриана, призывавшего на защиту христианства «все волшебство ума и все сочувствие сердца», увлекало ее. Она стала изучать Мабли, Локка, Кондильяка, Монтескье, Бэкона, Боссюэ, Аристотеля, Лейбница, Паскаля, Монтеня и поэтов: Данте, Вергилия,

Шекспира, без всякой системы. Лейбниц казался ей выше всех, потому что она ничего не поняла в нем. Что значили для нее монады, заранее установленная гармония и всякие прочие тонкости? Она еще больше укреплялась в своей вере, видя, что и этот великий ум посвятил себя поклонению божественной мудрости: «Стараться любить бога, понимая его, и стараться понимать его, любя, стараться верить тому, чего не понимаешь, но стараться понять, чтобы сильнее верить, — в этом весь Лейбниц…» Дешартру, занимавшемуся с ней философией, она швыряла в лицо книгу, крича: «Великий человек, не мучьте меня! Это слишком длинно. Я тороплюсь любить бога».

Жажда знаний? Да, но прежде всего потребность любви. И в это время она нашла Руссо — его «Эмиля», — исповедание веры савойского священника. Это было поистине озарение! Это была та духовная пища, которой она так жаждала. Его язык казался ей лучшей музыкой. «Для меня он звучал, как Моцарт; я понимала все». Все было общим у нее с автором «Эмиля» — душевная растроганность, страсть к искренности, любовь к природе. Он научил ее, что жить нужно согласно законам природы, слушаться голоса своих страстей и, главное, любви. Это у Руссо она научилась говорить языком добродетели о сердечных порывах. Лейбниц и Руссо, требовательный философ и любимый товарищ, остались навсегда ее учителями. Но чтобы понять ее до конца, к ним нужно еще прибавить третьего и заметить, что начиная с этого времени она много читала Франклина. Примечательно, что налет филистерства в этой практической мудрости не только не отталкивал ее, но даже нравился ей.

Была ли она в то время еще католичкой? Позже, когда она писала историю своей жизни, она ответила: «Не думаю». Это самозащита женщины зрелого возраста, которая, порвав с церковью, хочет уверить себя, что она осталась верна своей юности. В 1821 году она признавала свою преданность матери Алисии и аббату де Премор. Однако ей казалось, что подлинное христианство, которое требует абсолютного равенства и братства, она нашла только у Руссо, Любить и жертвовать собой — вот каков был, по ее убеждению, закон Христа. Она верила в бога; она верила в бессмертие души, в провидение и особенно в любовь. Но, сама того еще ясно не понимая, она была сторонницей имманентной школы. Она уже не верила больше в бога себялюбивого, сверхчувственного, который мог со стороны наблюдать борьбу человечества. «Я предпочитаю думать, что бог не существует, чем считать его равнодушным». Ее мятущаяся душа порой становилась на сутки атеистичной, но это проходило сразу же, потому что во всем она чувствовала присутствие божества.

> Если божественно все и даже материя, если сверхчеловечно все и даже человек, значит, бог во всем, я его вижу, я касаюсь его; я знаю, что он един, потому что я люблю его, потому что я всегда знала и ощущала его, потому что он во мне в той же малой степени, как малозначительна я сама. Из этого не следует, что я бог, но я происхожу от него и должна вернуться к нему…

В общем она, как в памятные дни «Tolle, lege» возвращалась к вере в сверхчеловеческую связь между своей душой и богом. Она потому и восхищалась Руссо, что он давал ей «неистощимую пищу для этого внутреннего душевного трепета, этого непрерывного божественного восторга».

Попробуем представить себе эту девушку — пылкую и мечтательную, мальчишески-озорную и мистически набожную, — когда она скачет на лошади через луга, любуясь их сменяющимся разнообразием, встречными стадами, наслаждаясь сладостным шумом воды, плещущейся под ногами лошади; или же в ее комнате вечером, когда она, затопив хворостом камин (она всегда зябнет), смотрит в окно на неподвижные высокие сосны, на почти полную

луну, блистающую в чистом небе. Это очень примечательная личность, «томимая божественными вопросами», жаждущая подвигов и самопожертвования. Она философ, так как хочет быть философом. Она поэт, хотя еще и не сознает этого. Она прячет под подушкой тетради, потому что она начала писать. Например, портрет Праведника. «Праведник не имеет пола: по воле бога он может быть либо мужчиной, либо женщиной; но законы морали одинаковы для всех, будь то генерал армии или мать семейства…» Это требование, чтобы мужской и женский пол были равны, надо запомнить.

> У Праведника нет богатства, нет дома, нет рабов. Его слуги для него друзья, если они этого достойны. Его жилье принадлежит любому бродяге, его кошелек и одежда — всем бедным, его время и знания — всем, кто пожелает… Праведник прежде всего правдив, и это требует от него высшей силы, так как мир — это не что иное, как ложь, обман и суетность, предательство и предрассудки…

Она говорила дальше: «Праведник горд, но не тщеславен». Это довольно точное изображение того, чем она сама хотела быть. Гордой? Без сомнения. Она себя чувствовала сильной, презирала мнение толпы, с удовольствием находила в своем сердце презрение отца к условностям, в своем уме — неизменную рассудительность бабушки. Дешартр учил ее благоразумной осторожности, напоминая ей священные слова: горе человеку тому, им же соблазн приходит[10]. Тщетно! То, что свет называет соблазном, говорила она, совсем не то, что называл соблазном Христос. Благоразумие? «Совесть, вот что я признаю своим единственным судом и считаю, что имею полное право пренебрегать благоразумием, если мне нравится переносить хулу и гонения, неизбежно связанные с выполнением опасного и трудного долга…» Воспитанная по-мальчишески, она была по-мужски честолюбива; воспитанная христианкой, она надеялась в конце концов стать человеком праведным.

> Это своеобразная декларация моих прав человека, как я, будучи еще девчонкой, называла ее тогда; это наивная смесь религиозной ереси и набожной пошлости, однако, заключает в себе изложение установившихся взглядов, план жизни, выбор решения, тяготение к добросовестно выбранному нравственному облику. Пусть приблизительно, но это даст тебе понятие о том, каковы были несбыточные мечты моей юности, и среди чувств, навеянных недавно прочитанным евангелием, ты найдешь какое-то упрямое противодействие, подсказанное рождающейся гордостью, врожденным своеволием, неясную мечту о человеческом величии, соединенную с более глубокими христианскими стремлениями…

Глава шестая
Молодая девушка познает мир

Удивительная свобода Авроры, столь необычная для «молодой особы» того времени, ставшая причиной ее громадной уверенности в себе, объяснялась постоянно менявшимися условиями ее жизни. Аврора всегда была в полной зависимости от бабушки, а сейчас бабушка уже не могла осуществлять свою власть. Оставался Дешартр, но этот добряк был без ума от своей воспитанницы. К сожалению, болезнь бабушки к концу года стала заметно прогрессировать. Она потеряла память, она все время дремала, но никогда не спала. Аврора проводила около нее почти каждую ночь, читая Рене и Лару. В результате — меланхолическое настроение. Ее преследовали мысли то о самоубийстве, то о монастыре, но никогда о замужестве. Единственный человек, интересовавший ее, Стефан, обратился к атеизму и материализму. «Между нами легла пропасть». Аббат де Премор советовал Авроре не добиваться от бабушки, чтобы она выполнила свой религиозный долг:

> Молитесь неустанно, и какова бы ни была кончина вашей бедной бабушки, уповайте на бесконечную мудрость и милосердие. Ваша обязанность перед бабушкой состоит в одном: продолжайте заботиться о ней самым нежным образом. Видя вашу любовь, ваше смирение и, если можно так выразиться, тактичность в вопросах веры, быть может, она пожелает вознаградить вас, исполнив ваше тайное желание, и согласится причаститься святых тайн…

И действительно, то, на что надеялся снисходительный и мудрый аббат, совершилось. Арльский архиепископ, незаконный сын дедушки Дюпена и госпожи д’Эпине, в благодарность за то, что госпожа Дюпен когда-то хорошо отнеслась к нему, внебрачному сыну ее собственного мужа, пришел к умирающей, чтобы спасти ее душу. «Я знаю, вам это покажется смешным, — сказал он, — конечно, вы не верите, что вас ждет проклятие, если вы не исполните моей просьбы; но я верю в это, и право, вам ничего не стоит доставить мне радость».

К великому удивлению внучки, старая дама не протестовала: «Я согласна: видимо, смерть в самом деле близка. Ну что ж! Я понимаю, что тебя мучает совесть; если я умру, не примирившись с церковниками, ты будешь упрекать себя в этом или они будут упрекать тебя. Я не хочу, чтобы в твоей душе был разлад с совестью или чтобы у тебя был разлад с друзьями. Я убеждена, что не совершаю ни подлости, ни лжи, соглашаясь на обряд, который в час разлуки с любимыми служит неплохим примером. Пусть у тебя будет спокойно на сердце, я знаю, что делаю». Она велела пригласить своего доброго старого кюре из Сен-Шартье и пожелала, чтобы Аврора присутствовала при ее исповеди — благородной и до конца искренней. Старый аббат на своем крестьянском наречии сказал ей: «Моя дорогая сестра, мы будем все прощены, потому что всеблагий господь нас любит и хорошо знает, что, когда мы раскаиваемся, это значит, что мы его любим». Архиепископ, слуги и работники поместья — все собрались в комнате бабушки во время ее предсмертного причастия.

Она умерла в первый день рождества 1821 года. Последние ее слова были обращены к Авроре: «Ты теряешь своего лучшего друга». На своем смертном ложе, свежая, розовая, в кружевном чепчике на голове, она была царственно-величавой, прекрасной в своем спокойствии и, больше чем когда-либо, дочерью маршала Саксонского. Убитый горем Дешартр — на него просто жалко было смотреть — возымел вдруг некую романтическую, но мрачную идею. Подготовляя в семейном склепе место для нового погребения, он вскрыл гроб отца Авроры и

холодной ночью привел девушку на маленькое кладбище в глубине парка. Голова Мориса Дюпена была отделена от скелета. Подняв ее, Дешартр дал поцеловать ее дочери Мориса. Аврора была настолько потрясена всей обстановкой, что приняла это как нечто естественное.

«Ты теряешь своего лучшего друга», — сказала ей бабушка. Она теряла также и свою единственную защиту против злобы и алчности. Семнадцатилетняя девушка, богатая наследница — в Париже у нее был отель де Нарбонн, в Берри — имение Ноан и к тому же солидная рента, — представляла собой большой соблазн для претендентов на ее руку. Бабушка очень мудро выбрала ей в качестве опекуна графа Рене де Вильнев, внука ее собственного мужа; по планам бабушки, Аврора должна будет жить в Шенонсо; госпожа де Вильнев будет вывозить ее в высший свет вместе со своей дочерью Эммой (будущей графиней де ла Рош Эймон); Аврора будет жить в деревне, так как она всегда говорила: «Я никогда не могла бы жить в городе, я бы умерла там с тоски. Я обожаю уединение…» Супругам де Вильнев это предложение бабушки было приятным, но при одном условии: что их маленькая родственница порвет окончательно с «ужасной средой» своей матери и забудет навсегда про «походный брак» своего отца. Господин де Вильнев, приехав в Ноан, очаровал Аврору; он был мил, весел, читал наизусть массу стихов; она обрадовалась такому опекуну.

Но покойная бабушка недооценила неистовую натуру Софи-Виктории. Узнав о смерти своей свекрови, Софи мгновенно пустилась в путь вместе со своей сестрой — тетушкой Люси Марешаль. Наконец-то Ноан был открыт для Софи! Аврора встретила мать с большой нежностью; вначале обоюдным ласкам не было конца. Но потом дурные воспоминания взяли верх, и у госпожи Морис Дюпен вырвалась наружу вся ее ненависть к умершей. Аврора буквально оторопела от непристойной брани Софи-Виктории, но, верная принципу смирения, противопоставила этому буйному шквалу только спокойствие и почтительность. «Не то делаешь, — учила ее тетка, — тебе надо так же кричать и беситься, как она». Но это было против нравственных правил Авроры. Вскрытие завещания довело стареющую фурию до белого каления. Только она одна, заявила Софи-Виктория, является естественной и законной опекуншей своей дочери и никому этого права не уступит.

Аврора подчинилась беспрекословно. У нее уже не было прежней влюбленности в мать — ненависть Софи к покойной бабушке внушала ужас Авроре, — она послушалась из чувства долга. Она надеялась, что Софи-Виктория поместит ее опять в монастырь или по крайней мере оставит в Ноане; но ее увезли в Париж. Перед отъездом Аврора выдала Дешартру расписку в полном расчете по хозяйственным делам в имении, хотя этот «великий человек», будучи очень плохим управляющим, и недополучил восемнадцати тысяч арендных денег. К ужасному негодованию Софи, Аврора поклялась, что получила их; она надеялась, что бог простит ей эту ложь.

В Париже супруги Вильнев совсем отошли от нее. Они считали, что «авантюристка» — человек не их круга, и им не хотелось ни выслушивать ее оскорбления, ни делить с ней Аврору. Их равнодушие доставило Авроре много тяжелых минут, она начала уже привязываться к ним. Но разве она решилась бы «попрать ногами дочернее уважение» и дать право считать, что она признает «прирожденное неравенство и деление на касты»? Таким великодушным поведением она полностью отдала себя во власть матери-тиранки. А Софи, находившаяся в климактерическом периоде, была в невероятно возбужденном состоянии, доходящем до бреда, до полусумасшествия. Она не могла примириться с наступающей старостью и жаждала бурных ощущений. Она клялась, что «покончит со скрытностью» своей дочери, вырывала у нее из рук книги, упрекала ее в порочности и распущенности. Когда она бывала в хорошем настроении, она вновь становилась обаятельной, но такие проблески были очень редкими. «Правда, я привожу в бешенство всех, стоит мне показаться… — говорила она тогда, — но я не могу быть другой… у

меня слишком много мыслей в голове…»

Весной 1822 года она озлобилась до сумасшествия. Она хотела принудить Аврору выйти замуж за человека, одна мысль о котором была девушке ненавистна.

> *Дневник Авроры:* Я до конца сохранила хладнокровие и неоспоримое превосходство. Выглядела я очень плохо, чувствовала себя ужасно. Но не потеряла силы воли, была тверда, как алмаз… Мне уже давно начали угрожать лишением свободы. На это я отвечала только: «Вы не будете так жестоки». Меня пробовали напугать, привезли к порогу темницы… Пришли монахини, открыли решетку, провели по узким мрачным закоулкам монастыря, отворили дверь кельи — эта келья мне показалась похожей на ту, которую описывает Грессе в своей «Обители».
>
> «Вы хотели вернуться в монастырь, — сказали мне, — вы надеялись, что будете опять наслаждаться свободой, попав туда, где вас воспитали, где вам привили ваши дурные наклонности. О конечно, вас бы там приняли. Вам бы простили все ваши недостатки, извинили бы ваши проступки, скрыли бы от всех ваше поведение. Здесь вам будет лучше. Мы предупредим общину на ваш счет; здесь будут остерегаться вашего красноречия. Приготовьтесь к мысли, что вам придется прожить в этой келье до вашего совершеннолетия, то есть три с половиной года. Не вздумайте взывать к помощи законов; никто не услышит ваших жалоб; и ни ваши защитники, ни вы сами никогда ни узнаете, где вы находитесь…»
>
> Но потом — то ли устыдились такого деспотического поступка, то ли побоялись возмездия закона, то ли меня просто хотели напутать, — от этого плана отказались.

Какой урок жизни для наивной молодой девушки! Она считала себя такой сильной, такой могущественной, когда царила в Ноане! Теперь она поняла, что быть несовершеннолетней — это значит быть рабой. Она заболела: от беспрерывно подавляемых вспышек гнева у нее начались спазмы желудка, который отказался принимать пищу; она стала надеяться, что умрет от истощения. К счастью, Софи-Виктория устала от этой борьбы. В апреле 1822 года она вместе с Авророй поехала погостить на несколько дней к бывшему полковнику стрелкового полка Джемсу Ретье дю Плесси, товарищу Мориса Дюпена по оружию.

Сорокалетний Джемс и двадцатисемилетняя Анжела Ретье дю Плесси жили в своем поместье дю Плесси, вблизи Мелён: это были добрые, широкие люди. Их пятеро маленьких детей весело резвились в большом парке; Аврора, для которой не было радости жизни без цветов и деревьев, нашла здесь если не поэтичную природу Ноана, то, во всяком случае, красивую растительность и зрелище занятых своей работой крестьян. К концу первого же дня Софи-Виктории все это надоело, и она решила уехать. Она меняла свое местопребывание с той же быстротой и легкостью, как цвет волос. Заметив, что это решение огорчило Аврору, госпожа дю Плесси предложила ей остаться на неделю. Мать согласилась, быть может, даже с коварной мыслью скомпрометировать свою непокорную дочь. У дю Плесси бывали в гостях молодые офицеры, и Софи показалось, что тут царят довольно свободные нравы.

Супруги дю Плесси отнеслись к Авроре с нежностью; она быстро подружилась с детьми и стала общей радостью в доме: Софи, по-видимому, совершенно забыла о дочери. Дю Плесси приютили у себя Аврору не на неделю, а на несколько месяцев, заказали ей туалеты, так как у нее ничего не было, и вообще относились к ней, как к родной дочери. Она обожала своего «папу Джемса» и «маму Анжель». Деревенский воздух вернул ей аппетит. Глядя на эту счастливую семейную жизнь, она изменила свое отношение к мысли о замужестве. Была и еще одна причина, по которой она почувствовала необходимость в защитнике. Как мы уже говорили, у дю

Плесси бывало очень много молодых военных, которым Софи-Виктория не преминула охарактеризовать свою дочь как «молодую особу, чрезвычайно оригинальную и ветреную, чтобы не сказать больше». И молодые военные принялись слишком развязно надоедать Авроре. «У госпожи Анжель, доброй и великодушной, не хватило, однако, рассудительности, чтобы уберечь меня от окружающих опасностей…» По поведению же самой Авроры, непринужденному, живому, легкомысленному, можно было думать, что она поощряет эти ухаживания, на самом же деле они ее раздражали до крайности.

Она часто с грустью думала о том, что жить в свете одинокой женщине, не имеющей защитника, трудно. Как-то вечером в Париже, сидя с супругами дю Плесси на террасе кафе Тортони, она услышала, что Анжела говорит своему мужу: «Посмотри, Казимир!» Худощавый молодой человек, с веселым выражением лица, довольно элегантный, с военной выправкой, подошел к их столику, чтобы пожать им руки и ответить на заискивающие вопросы о своем отце, полковнике бароне Дюдеване, очень любимом и уважаемом в семье дю Плесси. Молодой человек шепотом задал вопрос об Авроре и вспомнил, что его отец был другом полковника Дюпена. В свою очередь, Аврора расспросила об этом молодом человеке. Он был внебрачным ребенком барона времен империи и служанки Августины Сулэ, но отец признал его своим сыном. Его семья владела рентой от 70 до 80 тысяч ливров и поместьем в Гильери, в Гаскони. Спустя несколько дней Казимир Дюдеван появился в Плесси и стал по-товарищески принимать участие в детских забавах. Казалось, что он проявляет особый интерес к делам Авроры, часто он давал ей полезные советы.

> Ты был моим покровителем, добрым, честным, бескорыстным, который никогда не говорил мне о любви, но думал о моем богатстве и очень умно старался предостеречь меня от разных бед, которые мне угрожали. Я была очень благодарна тебе за эту дружбу и очень скоро стала смотреть на тебя, как на брата; мы гуляли, целыми часами проводили время вместе; мы играли, как дети, и ни разу мысль о любви или браке не смутила наших невинных отношений. Я тогда написала своему брату: «У меня появился здесь друг, которого я очень люблю, я прыгаю о ним и смеюсь, как, бывало, с тобой». Ты ведь знаешь, каким образом благодаря нашим общим друзьям нам пришла в голову мысль пожениться. Среди тех, кого мне прочили, П… я невыносила, К… мне был ненавистен, остальные — многие из них — были богаче тебя. А ты был добр, в моих глазах это единственное существенное достоинство. Встречаясь с тобой ежедневно, я узнавала тебя все лучше и лучше и оценила все твои хорошие качества; никто не любит тебя так нежно, как я…

Она была искренна. В своей зеленой тетрадке она написала: «Неслыханное счастье» и «Невыразимая радость». Так сладостно было найти, наконец верного друга. Она его не считала красивым, нос у Казимира был немного длинноват, но она с радостью проводила с ним целые часы подряд. Подобно всем молодым девушкам, которые чувствуют себя одинокими и беззащитными, она влюбилась в него, как в олицетворение мужественности. Этот новый претендент понравился ей еще и потому, что не делал официального предложения через родных, а просил руки у нее самой. К тому же она была уверена, что он женится на ней не ради денег — ведь когда-нибудь он будет гораздо богаче ее. На самом же деле материальное положение Казимира было не так просто. Он, правда, был единственным сыном, но был рожден внебрачно, и поэтому не имел прав на наследство отца. Последний давал ему только 60 тысяч франков, как приданое, а все свое состояние завещал жене, баронессе Дюдеван, с тем чтобы она впоследствии передала все фамильное богатство Казимиру. Тем не менее, пока Казимир был холостым, он

жил в доме отца; женившись, он должен был бы примириться с более скромными условиями жизни в Ноане. Его никак нельзя было упрекнуть, что его брак с Авророй — дело корысти.

Несмотря на это, подозрительная Софи-Виктория не упустила такого прекрасного случая проявить свою власть. Она была очарована красивой внешностью отца Казимира, благовоспитанного и любезного старого полковника. «Я дала согласие, — заявила она своей дочери, — но могу еще взять назад свое слово. Я еще не решила, нравится ли мне Казимир. Он некрасив. А я мечтала ходить под руку с красивым зятем». Недели через две она, как снег на голову, свалилась в Плесси с новыми открытиями: «Казимир — авантюрист и служил гарсоном в кафе!» Кто ей рассказал такую чушь? Аврора предположила, что это ей приснилось. Потом мать потребовала раздельного владения имуществом, но Аврора нашла это оскорбительным для Казимира. Вопрос о браке снова был подвергнут обсуждению, потом снова решен положительно, потом снова отведен. Так продолжалось до конца лета. Госпожа Дюпен никак не могла привыкнуть к носу Казимира и продолжала в своих разговорах с дочерью обливать грязью своего будущего зятя. Наконец 10 сентября 1822 года Аврора и Казимир повенчались и уехали из Парижа. В Ноане их радостно встретил Дешартр.

Часть вторая
Госпожа Дюдеван

Желание, конечно, ниже любви и, может быть, даже не является путем к любви.

Алэн



Глава первая
Супружеская жизнь

Это было странное ощущение — вернуться в Ноан и делить с мужчиной громадную кровать госпожи Дюпен де Франкёй, похожую на похоронные дроги, с четырьмя султанами из перьев по углам. Но Аврора хотела найти в супружестве счастье. «Я была тогда невинной», — скажет она потом. Да, конечно, она была невинной и притом насквозь пропитанной монастырской моралью.

> *Аврора Дюдеван — Эмилии де Вим:* По-моему, один из супругов должен совершенно отречься от себя, пожертвовать не только своей волей, но и своими мнениями; должен смотреть на все глазами другого, любить все, что любит другой, и т. д… Какая мука, какая горькая жизнь, если соединяются с тем, кого ненавидят!.. Но зато какой неисчерпаемый источник счастья, когда покоряешься тому, кого любишь. Каждое самоотречение — новая радость; приносишь в одно и то же время жертву богу и супружеской любви, выполняешь долг и получаешь счастье… Но как нужно любить мужа, чтобы понять это, и делать все, чтобы медовый месяц никогда не кончался. До того, как я соединилась с Казимиром, у меня, как и у тебя, было весьма печальное представление о браке, и если я его изменила, то только в отношении своего замужества…

Была ли она вполне искренна? Разве признается молодая женщина подруге-девушке в своем разочаровании? Да, в сущности, Аврора и сама точно не знала о своих чувствах. Выйдя замуж в сентябре, она уже в начале октября поняла, что беременна, и впала в то блаженное оцепенение, какое обычно бывает при нормальной беременности. Гордость мужа, если он не чудовище, делает его заботливым и ласковым с женщиной, которая ждет от него ребенка. И Казимир в эту зиму 1822/23 года был необычайно предупредителен к жене. Своему корреспонденту в Париже, Карону, он давал сотни поручений. Аврора захотела получить песни Беранже; «Не забудьте выполнить это поручение, ведь это желание моей беременной жены! Берегитесь, если она не будет довольна!» Аврора потребовала конфет: «У нее невероятный аппетит, и если вы не удовлетворите ее обжорство, она может наброситься на вас; мой совет вам — пусть вас засахарят, как лимонную цедру…»

Как видно из этих писем, господин Дюдеван шутил грубовато и вульгарно. Но его жена не жаловалась на это… Вольные разговоры ей не нравились, но грубые шутки ее смешили. Истомленная беременностью, она без сожаления отказалась от чтения и вообще от интеллектуальной жизни. Стояла снежная зима. Страстный охотник, Казимир проводил дневные часы в поле или в лесу. Мечтательно прислушиваясь к первым толчкам ребенка, Аврора занималась шитьем детского приданого. Ей никогда раньше не приходилось шить. Теперь она со всей пылкостью своей натуры накинулась на это занятие, удивляясь, как это легко и как много «мастерства и выдумки» можно вложить в него при помощи ножниц. Всю жизнь потом она находила непобедимое очарование в рукоделии, которое успокаивало ее всегда возбужденный ум.

В своем неизменном голубом фраке с золотыми пуговицами старик Дешартр продолжал работать в Ноане. Казимир любезно оставил за ним должность управляющего, но с нетерпением ждал, когда же, наконец, «великий человек» удалится от дел. Под управлением старого

наставника поместье приносило ничтожный доход, едва превышавший пятнадцать тысяч франков в год. Из этой суммы Аврора еще посылала матери три тысячи и выплачивала пенсию некоторым старым слугам. На то, что оставалось, они могли вести лишь очень скромный образ жизни. И все же зима «промелькнула, как один день», если не считать шести недель, которые Аврора, по предписанию Дешартра, должна была пролежать без движения в кровати. Это было с ней впервые. Ее кровать была покрыта зеленым полотном; по углам укрепили большие еловые ветви, и она жила в этой искусственной рощице, в окружении зябликов, реполовов и воробьев. Внучка птицелова находила удовольствие в этом поэтическом обществе.

Когда пришло время родов, она поехала вместе с мужем в Париж; они устроились там в меблированной квартире на улице Нёвде-Матюрэн в гостинице «Флоренция». Там 30 июня 1823 года родился у нее сын Морис Дюдеван, толстый, очень живой ребенок. Дешартр, решивший, наконец, оставить свою должность, приехал посмотреть на новорожденного. Суровый, важный, он распеленал младенца и осмотрел его с ног до головы, «чтобы убедиться, нет ли какого-нибудь изъяна», после чего распрощался по своему обыкновению чрезвычайно сухо. Аврора была в безумном восторге от сына и решила кормить его сама. Софи-Виктория одобрила это. Госпожа Морис Дюпен — госпоже Дюдеван: «Значит, ты решила сама кормить. Прекрасно; это в порядке вещей, хвалю тебя…» Но она была обижена на зятя: боясь влияния на Аврору этой дерзкой и безнравственной женщины, он не допускал ее к дочери: «Почему он отстраняет меня? Если бы я не сделала матери, он не смог бы теперь сделать себе сына…»

После того как Дешартр отрекся от должности, управляющим Ноана стал Казимир; супруги должны были провести в имении осень и зиму. Новый хозяин, как все новые хозяева, переменил все по-своему. Порядка стало больше, прислуга обманывала меньше; траву пололи старательнее, дорожки в парке подметали тщательнее. Казимир продал старых лошадей, велел пристрелить старых собак. «Ноан был усовершенствован, но разрушен». Наследнице поместья все эти преобразования внушали неизъяснимую печаль. В этом прилизанном парке она не находила, как бывало раньше, «те тенистые запущенные уголки, где она мечтательно бродила в дни юности». В конце концов Ноан был ее родным домом, а ее лишили права голоса, и это было очень тяжело. Неужели она освободилась от семейных распрей для того, чтобы стать рабой мужа? Она узнала, что по отношению к женщинам закон очень суров. Для любого их действия требовалось разрешение мужа. Измена женщины наказывалась заточением, измена мужа снисходительно допускалась. Девушкой Аврора думала, что в замужестве она найдет то спокойствие и душевный мир, которые приходят вместе с доверием. Но сальные шуточки Казимира и его друзей, соседних дворянчиков, ясно показали ей, что духовная любовь им незнакома.

Сбросив с себя оцепенение, она с радостью снова взялась за книги.

> *Аврора Дюдеван — Эмилии де Вим: Я* живу по-прежнему уединенно, если можно считать себя одинокой, живя вдвоем с обожаемым мужем. Когда он на охоте, я работаю, играю с маленьким Морисом или читаю. Сейчас я перечитываю моего любимого автора Монтеня, читаю его «Опыты»… Мой дорогой Казимир — самый энергичный человек на свете. С трудом я урываю по вечерам час — два для книги. Но я где-то читала такую мысль; для того чтобы любовь супругов была совершенна, надо иметь одинаковые принципы при несхожих вкусах…

Если бы несхожие вкусы могли быть залогом счастья, то она должна была бы быть необыкновенно счастливой. Она пробовала давать мужу книги; ему делалось скучно, он начинал дремать, книги валились у него из рук. Она ему говорила о поэзии, о нравственных началах; он

никогда не слышал имен тех авторов, которые она называла, и считал ее романтичной дурочкой. Когда она описывала ему свое волнение, трепет, религиозный пыл, он, пожимая плечами, говорил, что эта экзальтация была «естественным следствием раздражительного характера, поддающегося случайному болезненному настроению». Она попробовала увлечь его музыкой; он убегал при первом звуке рояля. Он интересовался только облавами, попойками и политикой в местном масштабе.

Иногда чувственное наслаждение скрепляет такие союзы, которые представляют загадку для ума и для сердца. «Я даю им ночи, которые примиряют их с днями». Но и тут Аврору постигло глубокое разочарование. Начитавшись книг, она ждала сентиментальной любви; физическая любовь была для нее неожиданностью и не дала удовлетворения. Для женщины наслаждение — это дело воображения. Ей нужно, особенно при первом опыте, чувствовать себя любимой, а также восхищаться своим партнером. Мужчина типа Казимира, чувственный эгоист, ожидает, что, покорная днем, хозяйка дома неожиданно превратится ночью в алькове в экстатическую влюбленную. Этого не могло быть и не было. «Замужество хорошо только до брака», — говорила Аврора. В свою очередь, Казимир нашел ее слишком холодной: «Ты отталкиваешь меня, когда я тебя ласкаю, — говорил он ей, — мне кажется, что твои чувства невозможно разбудить…»

Такие размолвки быстро забывались. Она по-прежнему ценила в муже его хорошие качества. Он был честен, способен на настоящую привязанность, был превосходным отцом. Как хорошие друзья, супруги подписывали свои письма вместе: «Два Казимира». Когда Дюдеван бывал в отъезде и Аврора не могла его сопровождать, он писал ей нежные письма. На расстоянии, в письмах, чувственный муж превращался снова в бесплотного любовника, о котором мечтала когда-то девственница.

> *Казимир — Авроре:* Встаю с постели, и первая мысль о моей милочке… Прощай, дорогой ангелочек; прижимаю тебя к сердцу и миллион раз целую прелестные щечки, чтобы утереть слезы, льющиеся из обожаемых глаз…
>
> Ты сердишься на меня, любовь моя, что я тебе не писал из Парижа. Я еще из Шатору писал тебе, что у меня не было минутки свободной. Меня очень тронуло, что тебя так огорчил мой отъезд. Будь уверена, что я искренне разделяю это горе и по приезде буду так мил с тобой, что ты будешь вознаграждена за все твои страдания, да, да, мой ангелочек… Почему ты не развлекаешься, мой дорогой ангелочек?.. Я считаю каждую минуту, которую провел вдали от тебя. Прощай, любовь моя. Прижимаю тебя к сердцу и дорогого малютку тоже.

По вечерам в Ноане оба Казимира играли в пикет, причем выигрыш откладывался для покупки паштета из гусиной печенки от Шеве. Или же Аврора заказывала Карону: «четыре маленькие коробочки с коралловым зубным порошком, бутылку розового масла, бутылку рома для Казимира, локоть широкого левантина, чтобы сшить передник без шва, абрикосы в водке…» и гитару.

Казалось бы, обычная жизнь молодых помещиков. Но вдруг весной 1824 года, как-то утром, за завтраком, Аврора «неожиданно залилась слезами». Казимир впал в ярость: не было в данный момент никаких неприятностей, которые объяснили бы этот взрыв отчаяния. Аврора извинилась, призналась в том, что на нее часто находит мучительная тоска, сказала, что, наверно, у нее помутился рассудок. Несомненно, атмосфера этого дома, где все полно воспоминаний о бабушке, угнетает ее, решил Казимир. Кстати, ему самому не очень нравилось здесь. Они сговорились со своими друзьями, что приедут погостить на некоторое время в

Плесси, с условием, что будут платить за свое пребывание.

Там, среди молодого, веселого общества, где ставили спектакли, где было много молодых девушек, в Авроре опять забила ключом ее веселость. Она блистала, мужчины восхищались ею, и Казимир почувствовал укол ревности. Надо сказать, что Аврора при всей своей невинности была прирожденной кокеткой. Ее красивые глаза, способность вносить оживление в общество кружили многим голову; ей это нравилось. Казимир стал беспокоен и резок. Как-то, ребячась, она бросила в кого-то горсть песка, и несколько песчинок попали в чашки с кофе: Казимир приказал ей прекратить это баловство; она не послушалась и бросила еще одну горсть; такое оскорбление, нанесенное публично авторитету мужа, задело Казимира за живое. Он дал ей легкую пощечину. В то время этот инцидент, казалось, не произвел на нее особого впечатления. Когда он уехал в Ноан — посмотреть, что там делается, — она писала ему так же нежно, как всегда.

> *Аврора — Казимиру, 1 августа 1824 года:* Мой милый друг моя любовь, как мне грустно, что я пишу тебе, вместо того чтобы соворить с тобой, как грустно не быть рядом с тобою и думать, что это только первый день нашей разлуки! Какой долгой кажется мне разлука и какой одинокой я себя чувствую! Я надеюсь, что ты не часто будешь покидать меня, мне так трудно без тебя, я никогда не привыкну к этому. Просто не понимаю, что со мной сегодня делается… Я еще не пришла в себя от волнения и слез. Но ты не беспокойся, мой ангел; я все сделаю, чтобы не расхвораться и, конечно, чтобы не заболел наш дорогой малыш. Но нельзя, чтобы такие дни, как сегодня, повторялись часто! Я не могу не плакать, когда вспоминаю момент твоего отъезда… Боже мой! Скорее бы суббота, ведь ты вернешься в субботу!.. Покойной ночи, любовь моя, мой дорогой, голубчик мой. Иду спать и плакать, одна в своей постели…

> *Плесси, четверг 19 августа 1824 года:* Теперь меня будит малыш, ведь нет моего ангела, чтобы охранять мой сон… Когда ты вернешься, я буду спать как убитая в твоих объятиях. Твой сын капризничает… Никогда я так не скучала по тебе, никогда еще мне так не хотелось, не было нужно быть рядом с тобой, быть в твоих объятиях!.. Было бы очень хорошо, если бы ты вернулся к балу, в день святого Людовика; я великолепно к нему подготовилась, то есть сшила изумительное платье из крепа, присланного Кароном. Впрочем, я думаю, что, выехав в понедельник, ты приедешь в среду слишком усталым и едва ли захочешь идти на бал. Может быть, тебе и в самом деле лучше выехать во вторник? Как ты думаешь, мой ангел? Решай сам… Прощай, мой ангел, моя любовь, жизнь моя. Я тебя люблю, обожаю, целую от всего сердца, обнимаю тебя тысячу раз…

> *Июнь 1825 года:* Одиннадцать часов вечера. Я уже в постели, а тебя нет со мной… В прошлую ночь мне было так холодно, что я почти заболела… С нетерпением жду пятницы…

Не нужно принимать буквально все то, что пишется. Этим тоном госпожа Дюдеван отчасти хотела польстить своему господину и повелителю. В действительности же оба боялись теперь остаться наедине друг с другом в Ноане. Не говоря ни слова, они оба, по обоюдному молчаливому согласию, избегали объяснения. Она старалась смотреть на все глазами мужа и, чтобы добиться этого, насиловала себя. Отсюда происходило недовольство самой собой и

вообще всем на свете. Где жить? В Париже? Их доходов на это не хватало. Они сняли павильон в Ормессоне. Унылый пейзаж, с садами и высокими деревьями, был очень своеобразен. Авроре понравилось это уединенное место, и она с сожалением оставила его после того, как Казимир поссорился с садовником. Но так как грусть все время возвращалась к ней, тягостная, непреодолимая, она отправилась к своему бывшему духовнику, аббату де Премор.

Он очень изменился, говорил таким слабым голосом, что она едва понимала его. И все же он утешал ее так же ласково, так же убедительно. «Он доказал мне, что меланхолия, которой я предалась, представляет большую опасность для души, что она открывает дорогу дурным впечатлениям и располагает к слабости. Какое было бы счастье, если бы я могла следовать его советам и вновь обрести мою веселость и мужество!..» Но аббату де Премор не удалось вернуть ей ни того, ни другого. Слишком умный, слишком снисходительный, слишком человечный, старый иезуит не мог излечить ту болезнь, причина которой была ему ясна. Аврора, жаждала абсолютной веры. Земная жизнь не дала ей того, на что она надеялась; ей хотелось прибегнуть к верованиям своей юности. Аббат посоветовал ей искать уединения в знакомом ей монастыре. Настоятельница монастыря, госпожа Эжени, дала свое согласие. Одобрил это и Казимир: «Мой муж не был религиозным человеком, но ему нравилось, что я верующая». Он, без сомнения, надеялся, что вера, которой сам он не исповедовал, успокоит его жену и даст спокойствие ему самому. Монахини были по-матерински добры к Авроре. Она ежедневно ходила молиться в ту церковь, где когда-то услышала призыв бога. Не совершила ли она ошибки, избрав мирскую суету, которая не дала ей счастья? «У вас прелестное дитя, — сказала ей добрая мать Алисия, — этого достаточно для счастья на этом свете. Жизнь коротка». Аврора подумала, что жизнь коротка для монахинь, но людям пламенным, чувствительным, у которых каждый день полон скорби и усталости, жизнь кажется долгой. Она призналась в метафизических сомнениях. «Полноте! — сказала ей мать Алисия, — главное, что вы любите бога и он это знает». В скором времени Аврора снова подпала под очарование тихой монастырской жизни, и ей захотелось продлить свое пребывание в монастыре. Но настали холода, она стала зябнуть; малыш заболел, ей надо было вернуться домой. Какая безделица может повлиять на важное решение.

Глава вторая
Платоническая любовь

«Материнство, конечно, дает невыразимое счастье, но это счастье в любви или в браке надо выкупать такой ценой, что я бы никому этого не посоветовала». Она заплатила за это счастье своим телом, Аврора с ужасом воспринимала чувственную сторону брака. Позднее она решится описать все, что она испытала в первые месяцы своего замужества. Когда ее брат Ипполит в 1843 году будет выдавать замуж свою дочь Леонтину, Аврора предостережет его от опасности, хорошо известной ей самой.

> Не позволяй своему зятю грубо обойтись в брачную ночь с твоей дочерью. Слишком часто, особенно у хрупких женщин, это служит причиной ослабления организма и тяжелых родов; мужчины никак не могут понять, что это развлечение для нас является мукой. Скажи ему, чтобы он проявил осторожность в своих наслаждениях и подождал, пока его жена понемногу с его помощью начнет понимать их и сможет ответить ему. Ничего нет страшнее, чем испуг, страдание и отвращение невинного ребенка, оскверненного грубым животным. Мы воспитываем дочерей, как святых, а потом случаем, как кобылок…

Через всю свою юность Аврора пронесла возвышенные мечты о любви в духе Руссо; снизиться до грубого вожделения она не могла. Брачная постель — это жестокая арена правды, где романтическая мечта разом исчезает. Казимир, человек примитивный, смотрел на любовь очень просто; в своей холостой жизни он привык к свободным нравам; он надеялся вызвать в своей жене приятные ощущения, похожие на те, которые он так легко испытывал. Он потерпел неудачу и долго не знал об этом. Она согласилась дарить ему наслаждения, которые сама не могла разделять: но когда он, беспечный, грубый, засыпал, — она часами плакала. «Страсть к наслаждениям стала для нее муками Тантала. Ее омывала прохладная, благодатная вода, но она не могла утолить своей жажды; перед ней на высокой ветке, до которой не доставали ее руки, висел соблазнительный плод, но она не могла утолить своего голода. Одна лишь любовь дает подлинное ощущение жизни; она не испытала любви, она хотела ее испытать любой ценой».

Другие женщины в таком тупике искали бы любовника. У Авроры же сохранилась большая привязанность к мужу; она хотела сделать его счастливым, служить ему, слить их обе жизни в одну. Но он, по-видимому, не придавал никакой цены сокровищам, которые она так щедро предлагала.

> Мне, девятнадцатилетней, избавленной от забот и действительного горя, имеющей превосходного мужа и прелестного ребенка, окруженной всем, что удовлетворяло мои вкусы, — мне уже надоела жизнь! Ах! Такое душевное состояние очень легко объяснимо. Приходит время, когда чувствуешь необходимость любви, исключительной любви! Нужно, чтобы все происходящее имело отношение к объекту любви. Хотелось, чтобы в тебе были и прелесть и дарования для него одного. Ты не замечал этого во мне. Мои знания оказались ненужными, ведь ты не разделял их со мной. Я не признавалась в этом сама себе, но я это чувствовала; я тебя сжимала в моих объятиях; я была любима тобой, и все же чего-то необъяснимого не хватало моему счастью…

Вот что ей хотелось сказать. Она отважилась на это только после своей супружеской драмы.

Беременность, роды, послеродовый церковный обряд отдалили объяснение между супругами; после возвращения в 1825 году в Ноан стало ясно, что счастливая жизнь кончилась. Аврора жаловалась на сердцебиения, на головные боли; она кашляла и была уверена, что у нее чахотка. Крайне раздраженный, убежденный в том, что эти болезни существуют только в ее воображении, Казимир ругал ее «дурой, идиоткой». Добило ее печальное известие о том, что в Париже умер ее старый учитель Дешартр. Догматик, прожектер, чересчур уверенный в себе, он стал спекулировать, ссужать деньги неизвестным людям. Разоренный, слишком гордый для того, чтобы жаловаться, он избрал смерть стоика. Ненавидевшая его Софи-Виктория ликовала: «Наконец-то Дешартра нет в живых!» Но Аврора, потеряв своего «великого человека», почувствовала себя вдвойне осиротевшей. Кто у нее остался из близких? Брат Ипполит? Это было животное той же породы, что и Казимир, прожигатель жизни, интересующийся только вином и женщинами. Совершенно неожиданно он сделал прекрасную партию, женившись на мадемуазель Эмилии де Вильнев и поселился очень близко от Ноана в замке де Монживре. Как сосед, он был приятен, но было ясно, что пьянство «погубит этот очаровательный ум». Что касается Софи-Виктории, то она писала дочери только тогда, когда ей хотелось пожаловаться на свою судьбу или похвастать чем-нибудь.

> *Госпожа Морис Дюпен — Авроре Дюдеван:* Вы вышли замуж, дочь моя, в день погребения вашего отца, вы веселились в день святого Мориса, в день именин вашего отца, и я уверена, что у вас в голове даже мысли не было о вашей несчастной матери. Постарайтесь же быть когда-нибудь хорошей женой, сестрой и матерью, раз вы не смогли быть хорошей дочерью…
>
> Какой мерзкий недостаток — ревность! К счастью, я им больше не страдаю, но от этого мне не веселее, и я ничего не имела бы против вернуть то время, когда я ревновала. А вдруг мне придет в голову такая фантазия — о боже, что я говорю? В моем возрасте! Послушай, Аврора, ты должна побранить свою мать. Вот что значит говорить о замужестве…
>
> *6 января 1824 года:* Я получила пенсию за три месяца, и четыре страницы глупостей, над которыми я посмеялась, и новогоднее поздравление, которое меня порадовало… Мой адрес: Отель де ла Майен, улица Дюфо, № 6, спросить госпожу де Ноан-Дюпен…

Простолюдинка присваивает себе имя старой графини! Какой радостью было в этом душевном одиночестве принять в Ноане двух монастырских подруг и их отца. Эти девушки — Джен и Эме Базуэн — должны были уехать в июне в Котре; Казимир хотел провести лето у своего отца в Гильери. Было решено, что супруги Дюдеван, прежде чем направятся в Гасконию, остановятся на время в Верхних Пиренеях. «Прощай, Ноан, — писала Аврора, — быть может, я тебя не увижу никогда». Она была уверена, что близка к смерти, а у нее не было никакой другой болезни, кроме острого желания любви. Иногда Казимир очень неумело старался ее утешать, но бывали у него и моменты раздражительности и нетерпеливости. Когда они проезжали через Перигё, он устроил жене несправедливую, бурную сцену; горько плача, она долго бродила по старым улицам города. И вот, наконец, перед ними поднялись черные горы мрамора и сланца, потом разверзлась бездонная пропасть, и в глубине ее ревел горный ручей. «Мне это показалось и грандиозным, и восхитительным».

В Котре она обняла Джен и Эме. Отель, в котором они жили, был подчеркнуто прост и

непомерно дорог. На следующий же день Казимир отправился в горы, на охоту: «Он стреляет орлов и серн. Он встает в два часа утра и возвращается в полночь. Его жена жалуется на это. А ему, по-видимому не приходит в голову, что настанет время, когда она будет радоваться этому…» В Котре веяло ветром фронды. Аврора подружилась с молодой дамой из Бордо Зоэ Леруа, сделала ее своей наперсницей и, значит, врагом Казимира. Госпожа Дюдеван записала в своем дневнике: «Брак прекрасен для любовников и пригоден для святых… Брак — это высшая цель любви. Когда в нем исчезла любовь или ее не было никогда, остается принесение себя в жертву. Хорошо, если другой понимает, что это жертвоприношение… Видимо, нет среднего пути между силой великих душ, порождающей святость, и спокойной тупостью ничтожных существ, порождающей бесчувственность. Конечно, есть средний путь: это отчаяние…»

Был еще один путь — ребячество. Она была еще так молода. Бегать, карабкаться по деревьям, ездить верхом — все это ее радовало: «Я так не избалована с самого моего рождения! У меня никогда не было матери, сестры, чтобы осушить мои слезы…» Когда молодая женщина с красивыми глазами ищет родственную душу, она ее находит. Родственная душа Авроры Дюдеван называлась Орельеном де Сез. Двадцатишестилетний де Сез, человек с благородной душой, любивший поэзию, был товарищем прокурора в бордоском суде. В Пиренеи он приехал с семьей своей невесты, но сразу же был покорен обаянием Авроры, ее цыганской красотой, выражением ее больших глаз, молящих и вопрошающих, ее умом и образованностью, а также ее грустью, прячущейся за внешним возбуждением. Охотник за пиренейскими сернами и орлами отдал своей жене распоряжение следовать за ним и время от времени встречаться с ним то в Люзе, то в Баньере. Орельен де Сез сопровождал ее; их путь лежал среди снегов, мимо горных ручьев, мимо мест, где водились медведи; он поддерживал ее на выступах, нависавших над пропастями. Эме Базуэн бранила ее за то, что она совершает такие прогулки в отсутствие мужа. «Я не вижу в этом ничего плохого, потому что он поехал вперед, а я иду туда, куда он велел. Эме не понимает, что бывает необходимость заглушить свою боль, забыть… «Что забыть?» — говорит она мне. Не знаю… Все забыть, главным образом забыть, что существуешь…»

Орельен де Сез влюбился с первого взгляда. Кто бы не влюбился? Когда он признался в этом, Аврора сказала ему, что он должен вернуться к невесте. Он объявил, что «он совсем не увлечен этой женщиной, очень красивой, но неумной».

> *Орельен де Сез — Авроре Дюдеван:* Ваши достоинства, ваша душа, ваши способности, ваше искреннее простодушие, связанное с высоким умом, ваши глубокие знания — все это я люблю в вас. Будь вы некрасивы, я все равно любил бы вас…

Сначала она его сурово оттолкнула — она хотела остаться верной мужу. Но потом ее взволновало то, что в светском любезном и остроумном человеке скрывается впечатлительное, романтическое сердце.

> *Аврора Дюдеван — Орельену де Сез, 10 ноября 1825 года:* Боже! Какое это было счастье! Какое понимание друг друга! Какое очарование было для меня в самом общем разговоре на совершенно посторонние темы! С каким величайшим наслаждением я слушала, когда вы рассказывали о самых ничтожных вещах! Мне казалось, что, выходя из ваших уст, они становятся интересными. Никто не говорит так, как вы, ни у кого нет вашего произношения, вашего голоса, вашего смеха, вашего склада ума, вашей способности видеть вещи со своей точки зрения и вашего умения выражать свои мысли, — ни у кого, кроме вас. Какую радость вы мне доставили, Орельен, когда, провожая меня и Зоэ в Медузу, вы сказали мне: «Я не просто счастлив, я еще и

> довολен. Вы не только приводите меня в восторг, вы еще и нравитесь мне, вы мне подходите…»
>
> Он просил у нее одного — доверия, дружбы, больше ничего. По той радости, с какой я внимала ему, я поняла, что он гораздо дороже мне, чем я решилась бы сознаться в этом самой себе; я испугалась за спокойствие своей жизни, но его чувства были так чисты, так я была уверена в чистоте своих чувств, что я не могла счесть их преступными…

Как-то, катаясь вместе с ней на лодке по озеру Гоб, он заговорил о любви: «Что такое добродетель — в том смысле, какой вы ему придаете? Условность? Предрассудок?» Она вспомнила, что ее мать и тетка Люси говорили: «Все это не имеет никакого значения». А вдруг они были правы… Кончиком перочинного ножа он вырезал на деревянной обшивке лодки три буквы, заметив, что их имена начинаются одинаково [11]. Она еще не хотела сознаться, что любит его, и притворилась, что сердится. Ее сердце билось от радости, но Орельен не понял притворства. Обескураженный, он молчал три дня. Она пришла в отчаяние. Зоэ Леруа она призналась, что если Орельен не сможет остаться только братом или другом для нее, если он будет продолжать настаивать, она должна будет «принести себя в жертву. Бог простит ей». Орельен уехал в Гаварни; она увлекла за собой туда и Казимира, который чувствовал какое-то смутное беспокойство и бранил ее за капризы. Но разве можно остановить женщину, бегущую за любовью?

Как-то на балу, ночью, ей удалось провести час наедине с господином де Сез. Он объяснился: он не хотел быть соблазнителем; он был виноват, что стал ухаживать за замужней женщиной; он постарается ее забыть. Но, подобно многим женщинам, она предпочитала все оставить как есть. Она предложила нежную дружбу. Была теплая ночь, в их уединенном уголке было темно: он обнял ее.

> Без сомнения, если бы я уступила его первому порыву, мы согрешили бы. Ночью наедине с женщиной, давшей ему понять, что она любит его, кто может управлять своими чувствами, заставить их умолкнуть? Но, вырвавшись сразу же из его объятий, я стала умолять его отпустить меня. Напрасно успокаивал он меня, клялся своей честью; я настаивала, что мы должны уйти оттуда, и он подчинился молча…

Подымаясь по довольно крутому откосу, он обнял ее и, перед тем как покинуть ее, «запечатлел огненный поцелуй на ее шее». Она убежала и через некоторое время столкнулась с Казимиром: «Ты говорил со мной резко. Конечно, я заслужила это, но все-таки это было мучительно. Если бы я не понимала, насколько мне нужно сохранить хладнокровие, я уверена, что упала бы без чувств, так велик был страх, который ты мне внушал…» Чистота первых проступков:

> Это было в Лурдской пещере, на краю глубокой пропасти — там он прощался со мной; наше воображение было потрясено ужасным впечатлением от этого места. «Здесь, перед лицом этой величественной природы, — сказал он, — прощаясь с тобой я хочу тебе дать торжественную клятву любить тебя всю жизнь, любить, как мать, как сестру, и уважать тебя, как я уважаю их». Он прижал меня к своему сердцу — это было единственной вольностью, которую он себе позволил в отношении меня…

Она ощущала безумный наплыв счастья. «Пиренеи, Пиренеи, разве мы оба сможем когда-

нибудь забыть вас?..» Наконец она нашла великую и прекрасную душу, свободный и справедливый ум, человека, на которого она могла смотреть, как на образец, как на своего руководителя. Казимир увез ее в Гильери, к барону Дюдевану — там они должны были провести несколько месяцев. Это был маленький гасконский замок, крытый черепицей, с пятью окнами по фасаду, с двумя строениями по бокам. Этот «сельский домик», несмотря на богатство своих хозяев, был обставлен гораздо скромнее, чем дом в Ноане, Молодая чета Дюдеван помещалась в двух комнатах нижнего этажа — зимними ночами к дому подходили волки и грызли двери. Поначалу Авроре показался очень уродливым этот пейзаж — сосны, песок, пробковые дубы, покрытые лишаями. Соседи-гасконцы оказались превосходными людьми, менее образованными, чем беррийцы, но «бесконечно добрее, чем они». Она очень сошлась с родителями мужа, которые кормили ее до отвала фаршированными пулярдками, жирными гусями и трюфелями, к большому вреду для ее печени, которая всегда была не из лучших.

Что до ее сердца, то оно было в Бордо! Она чувствовала, что разрывается на части. Казимир, боясь потерять ее, стал милым, нежным и добрым. Она упрекала себя в том, что изменилась в отношении к нему. «Орельена я люблю больше, — говорила она себе, — но предпочитаю Казимира». Позже она рассказала мужу о том, что происходило у нее в душе: «Я была глубоко несчастна. Из-за того, что я должна была тщательно скрывать от тебя мое душевное состояние, твои ласки были мне мучительны. Я боялась, что ты почувствуешь фальшь, если я буду отвечать тебе на них, а ты считал меня холодной!..» Ей бы хотелось опуститься на колени перед Казимиром, целовать ему руки, просить у него прощения. Но, вернув спокойствие своей душе, она бы сделала несчастным своего мужа… Значит, нужно было порвать со своим другом? Что бы она ни сделала, она бы привела в отчаяние или Казимира, или Орельена. Она прошла через все душевные муки, которые доставляют женщинам такое жгучее и сладостное наслаждение.

В октябре супруги Дюдеван, приглашенные Зоэ в Ла Бред, проезжали через Бордо. Орельен пришел навестить их в отель, и Аврора, воспользовавшись моментом, когда Казимир оставил их наедине, стала убеждать Орельена в неизбежности разрыва. Разговор взволновал обоих. Почти в обмороке, она наклонилась к нему, и внезапно вошедший муж увидел, что ее голова на плече у Орельена. Аврора была неопытна и правдива. Бросившись к ногам Казимира, она умоляла его пощадить ее, потом потеряла сознание. Несчастный Казимир, отнюдь не приспособленный к драмам, не знал, как ему повести себя. Ему не хотелось вызвать шум, он боялся осуждения света. «Мне показалось, — писала она, — что в нем борются два чувства: желание поверить мне и ложный стыд перед возможным бесчестьем».

Для Авроры, все еще богобоязненной и верной, положение было ужасным. В своей невинности она считала себя преступницей: «Гнев, но главным образом горе моего мужа, мысль, что никогда я не увижу вас больше!.. Я стиснула зубы. Я ничего не видела кругом, мне казалось, что я умираю…» Впрочем, Казимир был ошеломлен не меньше ее. «Главное, нельзя привлекать внимание общества к тому, что произошло», — произнес он наконец. «Ты все еще сомневаешься во мне? — вскричала она, — посмотри мне в глаза!» — «Это правда, они ничего не могут скрыть. Когда я вошел так неожиданно в комнату, взгляд у тебя был смущенный, виноватый. Я сразу же прочел в нем мой позор и мое несчастье». — «Вернее, мое раскаяние и мое отчаяние; но ваша честь мне дороже жизни и — никогда…» — «Я верю этому, да, я верю тебе, я не могу примириться с мыслью, что ты можешь обмануть…»

На следующий день поездка в Ла Бред вместе с Орельеном и Зоэ Леруа все же состоялась. Во время поездки, а также а вечером в Бордо, при выходе из Большого театра, влюбленные смогли обменяться несколькими словами. Оба они прочли «Принцессу Клевскую» и «Новую Элоизу» и верили в благородство супружества втроем, если отсутствует ложь. Было принято такое решение: они останутся братом и сестрой; они будут любить друг друга; никакой плотской

связи между ними не будет. Так будет спасена честь Казимира. «Этой зимой мы вдвоем будем заботиться о том, чтобы он был счастлив и спокоен. Он выказал столько благородства и доброты, что мы обязаны все сделать для того, чтобы в его сердце была полная уверенность в нас…»

И для Авроры наступило время экзальтации. Она вернулась в Гильери и через посредство Зоэ стала переписываться с Орельеном. Она вела для него дневник; в нем она не без фатовства рассказывала о своем детстве, перечисляла все свои победы в Гильери — все ухаживали за ней, начиная с соседей по имению, местных заносчивых дворян и кончая кюре Канделоттом, который, краснея до ушей, тихонько передавал ей свои стихи. Но чаще всего она без конца перечитывала те несколько писем, которые она получила от Орельена. Любовные письма воскрешают в нашей памяти счастливые минуты, и мы переживаем их вновь. Прошлое благодаря им становится настоящим, еще более совершенным и милым. Аврора считала, что она вправе читать их, не испытывая при этом ни мучений, ни угрызений совести. Ведь она принесла в жертву свое счастье. Орельен и она будут любить друг друга вечно, но никогда не будут принадлежать один другому. Их опьяняло собственное величие духа.

В мыслях они не расставались! Скакала ли она на своей Колетте по вересковым полям, слушала ли старинные гасконские легенды или готовилась ко сну, Орельен был все время рядом с ней. Все ее мысли были полны им. Наконец-то она встретила человека, способного любить без эгоистических желаний, целомудренно и нежно. А вокруг было несносное веселье. Развратные гасконцы смаковали любовную тему, придавая ей непристойный характер, они гордились тем, что презирают красивые чувства. «О эти жалкие люди! Они понятия не имеют о невинности, о чистоте, о постоянстве в любви!» Разве не обязана она быть благодарной Орельену, что он помог ей удержаться на стезе добродетели! Тем более что, по ее собственному признанию, будь он настойчивее, она отказалась бы навсегда от добродетели, лишь бы не потерять его.

> На свете нет ни одного мужчины, который способен продолжительное время довольствоваться только душой женщины. Орельен, конечно, надеется на победу. Если он пошел на то, чтобы отсрочить ее, значит он уверен что добьется своего. Если будет нужно уступить ему, я умру; если я откажусь, я потеряю его сердце!..

Но он поклялся, что пощадит ее. «Вы, Орельен, вы меня уговариваете сопротивляться вам, не боясь доставить вам горе, ангел мой!..» Видя такое ангельское отношение, она приходила к мысли о вечной жизни: «Не правда ли, Орельен, есть лучший мир, вы верите в него?» Всесильный бог сумеет возродить ничтожную пылинку, способную на такую любовь. «Он соединит нас тогда навеки там, где покой, там, где нежность будет законной и где счастье вечно…» А увидятся ли они в этом ничтожном мире? Это зависит от Казимира. Раз они ему поклялись, что любовь их останется целомудренной, должен же он в таком случае разрешить им встречаться, писать друг другу? «Я знаю, Казимир, у тебя возвышенная душа, ты благороден, ты великодушен, ты доказал мне это, я знаю это сама…»

По совету Орельена она написала для своего мужа «Исповедь» на восемнадцати листах:

> Увы! В каком я ужасном состоянии! Когда я уже готова покаяться, открыть тебе мое душевное смятение, я чувствую, что меня останавливает что-то необъяснимое; я начинаю приводить доказательства, они правдоподобны, но холодны, не передают моего истинного состояния. Как объясню я, что удерживает меня, что приводит в оцепенение? Конечно, не черствая бесчувственность злого сердца, а порыв гордости, и я то соглашаюсь с ним, считая это чувство благородным, то раскаиваюсь в нем, потому

что оно внушено человеческой гордыней… Ты много раз требовал от меня объяснений, доказательств; я не могла на это решиться: не только потому, что мне трудно признать себя виновной, — я боялась ранить тебя. Пришлось бы резать по живому месту, входить в подробности, которые могли бы тебя больно задеть, быть может, вызвать негодование в тебе; кроме того, нужно было бы сказать тебе, что ты немного виноват передо мной; виноват — не то слово: у тебя были самые добрые намерения, ты был всегда так добр, благороден, внимателен, заботлив, но, сам не зная этого, ты был невольно виноват. Ты был, если я решусь так сказать, невинной причиной того, что я сбилась с пути…

Потом она говорила о своей печальной жизни, из которой после брака ушло все, что могло бы украсить ее. Она совсем оставила музыку, потому что один звук фортепьяно обращал его в бегство.

Когда мы разговаривали, особенно о литературе, поэзии или о нравственном совершенстве, ты даже не знал имен писателей, о которых я говорила, и ты называл мои рассуждения глупыми, а чувства экзальтированными и романтическими. Я перестала говорить об этом, я испытывала настоящее горе от сознания, что наши вкусы никогда не сойдутся…

Она с благодарностью признавала, что он был очень добр; что он истратил на удовлетворение капризов своей жены тридцать тысяч франков в золоте, то есть половину полученного от отца приданого. Он ее любил, ласкал, но между ними никогда не было глубокой духовной близости. Отсюда ее отвращение и слезы. После чего она, как ей казалось, откровенно рассказала ему о своих отношениях с Орельеном и о том, что он был тронут благородным поведением Казимира.

«Аврора, — сказал он мне, — я буду говорить вам только то, что он мог бы слышать и одобрить. Мы вместе с вами будем думать о его счастье; мы в это вложим всю нашу заботу; если какая-нибудь дурная мысль придет нам в голову, мы с ужасом отбросим ее; если мы почувствуем, что возвращаемся к прошлому, мы сейчас же вспомним, как он сказал вам: «Ты можешь теперь меня обманывать, я доверяю тебе». Разве можно злоупотребить таким доверием? Аврора, я хочу побранить вас, вы недостаточно любите своего мужа; вы никогда мне не говорили о нем. Я не представлял такого величия души. Я люблю его от всего сердца…» Я улыбалась от радости. «Теперь вы узнали его, — ответила я, — и я, я тоже его знаю, я люблю его, люблю и раскаиваюсь в своих заблуждениях…»

Отныне все должно было стать легким. Казимир, ангел доброты, узнав лучше Орельена, полюбит его как брата.

Холодные существа, с их узким кругозором, не смогут постигнуть такой великой, такой красивой мысли и скажут: вот, нелепая выдумка, неестественная, романтическая, немыслимая. Конечно, они не могут думать иначе. Но для нас, мой друг, мой добрый Казимир, это не так. Послушай меня, пойми меня, подумай! Тебя никто никогда не учил отдавать отчет в твоих чувствах, они были в твоем сердце, бог вложил их в твою душу. Твой ум не был развит, но твоя душа осталась такой, какой создал ее бог, вполне достойной моей души. До сегодняшнего дня я не знала тебя, я

считала тебя неспособным понять меня; еще недавно я не решилась бы написать тебе такое письмо; я бы боялась, что, прочитав его, ты бы сказал: «Моя бедная жена сошла с ума!» Сегодня я с наслаждением открываю перед тобой мою душу; читай в ней; я уверена, что ты поймешь меня, что ты одобришь меня…

Она до такой степени была уверена в этом, что составила хартию их будущей супружеской жизни:

Пункт первый: Этой зимой мы не поедем в Бордо. Раны еще слишком свежи, и я чувствую, что нельзя требовать от тебя такого доверия… Так что мы поедем, куда ты захочешь, ты будешь решать вопрос, где мы будем зимой, — в Париже или в Ноане; я подчинюсь без сожаления.

Пункт второй: Я клянусь тебе, я обещаю тебе никогда не писать Орельену тайно от тебя. Но ведь ты позволишь мне писать ему раз в месяц… Я тебе буду показывать все его письма и все мои ответы. Я ручаюсь тебе перед богом, что не скрою от тебя ни строчки.

Пункт третий: Если мы поедем в Париж, мы будем брать совместные уроки языков. Ты приобретешь знания, будешь участвовать в моих занятиях. Это доставит мне колоссальное удовольствие. В то время как я буду рисовать или работать, ты будешь читать мне вслух, и время будет проходить восхитительно… Я не требую от тебя, чтобы ты любил музыку. Я буду тебе докучать ею как можно реже. Я буду играть в то время, когда ты гуляешь…

Пункт пятый: А если мы будем зимой в Ноане, мы прочитаем много полезных книг из нашей библиотеки, которые тебе еще неизвестны. Ты будешь мне рассказывать о них. Мы будем обсуждать их вместе. Ты выскажешь мне свои впечатления, я тебе — свои: все наши мысли, все радости — все будет общим.

Пункт шестой: Никогда не должно быть с твоей стороны ни досады, ни гнева; с моей — горя. Если ты все-таки когда-нибудь вспылишь — не скрою, меня это очень огорчит, но я скажу тебе об этом очень мягко, и ты тотчас же придешь в себя. Когда мы будем говорить о прошлом, то без скорби, без горечи, без недоверия. Раз теперь ты уже знаешь все, ведь эти чувства не могут появиться у тебя? Раз мы теперь счастливы, зачем нам жалеть, что в прошлом это у нас было? Может быть, именно эти события сблизили нас, соединили вновь? Может быть, именно благодаря им ты мне дороже, чем когда-либо? Не будь их, я не ценила бы так тебя? И ты не знал бы, что тебе надо сделать для моего счастья.

Пункт седьмой: Наконец, мы будем счастливы, безмятежны, мы изгоним сожаления, горькие мысли. Мы будем соперничать в том, кто из нас ведет себя более безукоризненно…

Последний пункт: В будущем году мы проведем зиму в Бордо, если ты найдешь это возможным и если позволят дела. Если нет, мы отложим этот план. Но ты позволишь мне надеяться на это в будущем?

Вот мой план. Прочти его внимательно, обдумай и дай мне ответ, Я не считаю, чтобы он мог тебя оскорбить. Я с тревогой буду ждать твоего решения. С этой минуты я буду жить надеждой.

Прочитав это удивительное послание, Казимир почувствовал, что в нем борются различные чувства: боязнь разочаровать жену, угрызение совести, что он сделал ее такой несчастной, и

страх очутиться в смешном положении. После одного богатого возлияниями обеда он поделился своими горестями с Ипполитом, жившим в ноябре 1825 года в Шатору. Циник по натуре, Ипполит не был способен к возвышенным чувствам. Он написал Авроре письмо, полное упреков. Она его резко отчитала:

> Ты относишься ко мне с презрением, по твоим словам, у меня все недостатки плохой жены. Кто же тебе это сказал? Во всяком случае, не Казимир; нет, пусть весь свет это говорит, я все равно не поверю…

У братьев и сестер более трезвое и суровое суждение друг о друге, чем у мужей и жен. Ипполиту был симпатичен его зять, тем более что они были собутыльниками. Он упрекал Аврору в том, что из-за нее Казимир болен и несчастлив. А Казимиру он советовал быть построже с женой. Но Казимир отказывался слушать советы милого пьяницы. У него тоже закружилась голова от романтики: он хотел подняться так высоко, чтобы его жене не пришлось краснеть за него. Страдание возвышает душу; несчастье — путь к чувствительности; сердце мужает в беде. Вечный муж внезапно почувствовал желание принести себя в жертву.

> *Казимир — Авроре, 13 ноября 1825 года:* Мой милый ангел, ты даже не представляешь, какие я сегодня видел сны. Расскажу о двух из них, вернее, второй сон был продолжением первого. Не знаю — где, но я был вместе с моим отцом. Он спрашивает меня: «Почему ты грустен, Казимир? У тебя горе?» — «О нет, мой бог! — отвечаю я. — Но я устал от жизни, я хочу умереть». — «Прекрасно, друг мой, прекрасно, очень хорошо, это благородное чувство, — вскричал он, — такое чувство воспламеняет воображение, воспитывает душу и побуждает на поступки, великие и благородные». Он очень много говорил на эту тему. Наконец, я сказал ему: «Прощайте, отец мой, прощайте». Я уехал — куда-то, куда — не знаю. Но вдруг я очутился в Париже, на обеде, где собрались наши летние знакомые и парижские друзья. Я вошел в столовую, вижу Станислава и тебя рядом с ним, ты лежишь на какой-то доске, бледная, с искаженным лицом, при последнем издыхании… Мне кажется, что меня все покинули. Мне не лучше и сейчас; мысли смешались. Голову сдавило обручем; мысли туманные, считать не могу… Не знаю, откуда у меня все эти мрачные мысли. Больше всего я сожалею о том времени, когда ты меня бранила. Ты плакала, моя кошечка. У меня был обиженный вид, но на самом деле я был доволен. Ты любила меня, моя дорогая, ты часто мне говорила это. Брани меня, как тогда… Я бегу от своей комнаты, как от чумы; стоит мне зайти туда, как я ощущаю страшную тяжесть на сердце. И ни одной души, которая сочувствовала бы моему горю, ни одного сердца, которое могло бы понять меня. О человек! Ты состоишь только из надменности и зависти! Но я замолкаю. Я слишком вознесся. Я боюсь упасть.

В Ноане в библиотеке он взял «Мысли» Паскаля и честно пытался прочесть книгу, ведь этого хотела его жена: «Я бесконечно сожалею, что из-за свойственной мне лености я раньше не читал этой книги, которая, насколько я мог понять, возвышает душу и учит думать и рассуждать…» В каждом письме, адресованном в Гильери, он твердил о своей великой любви. Успехи и победы Авроры привели его к мысли, что он гораздо ниже ее. Составившееся о ней в Бордо мнение одновременно удивило его и наполнило гордостью: «Ты пользуешься здесь блестящей репутацией; только и разговору, что о твоем выдающемся уме… Суди сама, как я горжусь этим… Я важничаю, сама понимаешь…» Вместе с книгами появился и английский

словарь: «Я отказываюсь от охоты; я никуда не буду ходить один; я буду всю жизнь рядом с тобой…» Но все горе в том, что в супружеской жизни правильные решения почти всегда приходят тогда, когда они уже не могут помочь.

Казимир не был «обманут», но он потерял уважение своей жены. С понятной иронией она сравнивала его жалкие в их неумелой нежности и патетичности письма с лирическими излияниями Орельена. В Гильери она обращалась с мужем свысока, снисходительно. Как-то за столом после тяжеловесной шуточки Казимира она наклонилась к нему и сказала ему вполголоса, но так, чтобы услышали другие: «Ну и глуп же ты, мой милый! Но все равно я люблю тебя таким, как ты есть». Самое преступное в браке не измена, а предательство.

Роли переменились. В то время как Казимир стал тревожным и задумчивым, Аврора, найдя счастье, нашла и здоровье. Вынеся из своего супружеского опыта отвращение к любви «естественной и совершенной», она надеялась найти спасение в великой платонической любви, но, боясь, что это слово может испугать мужчину, поддерживала в Орельене мысль, что речь идет о спокойной, святой дружбе. Только в своих мечтах она отдавалась ему: «Я эгоистично таила про себя свою страсть; я не позволяла тому, кто был объектом моей странной любви, разделять со мной тончайшие наслаждения моей мысли…» Когда ее муж с полным доверием к ней согласился сопровождать ее в Бордо — это было в феврале 1826 года, — она встретилась вновь с Орельеном. Без сомнения, она была очаровательной кокеткой, так как сумела надолго привязать его к себе. «Я любила эти сладострастные страдания, на которые меня обрекала моя тайная борьба». Зрелище желания ей было настолько же сладостным, насколько было тягостным обладание. Она сознавала свою власть над Орельеном, знала, что одним взглядом, одним пожатием руки она могла заставить «биться его сердце».

И вот в один из этих дней в Бордо, где ее так чествовали, появился неожиданно Казимир, бледный как смерть, и, войдя в комнату Зоэ Леруа, сказал: «Он умер». Аврора, решив, что он говорит о сыне, упала на колени. «Нет, нет, умер ваш свекор!» — вскричала Зоэ. «Материнская любовь свирепа; я ощутила неистовый приступ радости; но он блеснул и пропал, как молния. Ведь я по-настоящему любила моего старого папу; я залилась слезами…» Молодая пара тотчас же уехала в Гильери. Полковник умер от внезапного приступа подагры. Невестка горячо обняла свою свекровь, свекровь была холодна как лед. Баронесса Дюдеван была светской женщиной, но у нее не было ни обаяния, ни нежности. По завещанию барона она осталась единственной наследницей всего состояния мужа, что было справедливым, так как Казимир был внебрачным сыном барона; и хотя она была очень богата, она ничего не выделила своему пасынку из отцовского наследства. Не оставалось ничего другого, как навсегда порвать с этой «бесплодной и горькой судьбой». Казимир и Аврора уехали в Ноан, решив, несмотря на прошлые неудачи, окончательно обосноваться там. Экономика определяет политику, будь это даже в области чувств. Аврора — Карону: «Мы очень скряжничаем в этом году. Строим овины, это разорительно; наследство тоже не обогатило нас…»

Глава третья
Первый шаг

Ноан: маленькая деревенская площадь в тени столетних вязов; двор с цветущей акацией и сиренью; посыпанные песком дорожки; поросли белого бука; большая комната в нижнем этаже; пение птиц; божественные ароматы.

> *Аврора Дюдеван — Зоэ Леруа:* Как радостно очутиться снова под родной крышей, среди своих близких, своих животных, своих вещей! Здесь все мне дорого… Здесь я вспоминаю всю мою жизнь. Каждое дерево, каждый камень наводит на воспоминание о каком-нибудь событии в моей жизни. Вы понимаете, мой друг, с каким удовольствием вдыхаю я этот воздух, которого мне так не хватало…

С удовольствием? Может быть. Конечно, ей было приятно опять встретиться со своими старыми слугами, опять вернуться к своим медицинским занятиям, быть в деревне аптекарем, иногда даже доктором, изготовлять мази, сиропы, ставить горчичники, пускать кровь, играть в саду со своим мальчиком, который зовет ее «мама Оло», не в силах выговорить «Аврора», слушать при лунном свете «маленьких лягушек, тянущих одну ноту, но на разные тона, лягушек, которые собираются по ночам на лугу, чтобы спеть луне свою песню».

В этом Ноане, полном шорохов и цветов, все шло не так уж хорошо. Она очень любила своих беррийцев, но они не были такими веселыми, как гасконцы; чтобы не поддаваться своей природной вялости, многие из них пьянствовали. Ее брат Ипполит, живший совсем близко от Ноана, в замке Монживре, напивался часто так, что валился с ног, а Казимир подражал ему, без сомнения, для того, чтобы забыть свое горе. Несмотря на взаимные обещания, отношения супругов не улучшились.

Имение было постоянной причиной ссор. Аврора управляла им в отсутствие мужа; это было время жатвы 1826 года. Но ведь это было ее собственное маленькое царство, и она хотела царствовать в нем безраздельно. Принц-консорт дал согласие на один год. То была плачевнейшая неудача. Он ей разрешил израсходовать десять тысяч франков. Она истратила четырнадцать тысяч и потеряла свой пост, испытав большое огорчение. Переписка с Орельеном продолжалась (Казимир был даже иногда посредником, когда ездил в Бордо), и невидимый любовник был при ней и днем и ночью.

> Отсутствующее существо, с которым я непрерывно общалась, с которым я всегда делилась всеми моими размышлениями, мечтаниями, которому я рассказывала о моих скромных достоинствах, к которому была направлена моя платоническая страсть, существо действительно прекрасное, но которое я еще приукрашала несвойственными человеческой природе совершенствами, — словом, человек, которого за год я видела лишь в течение нескольких дней, иногда нескольких часов, человек такой же романтичный, как и я, ничем не смущавший ни моей веры, ни совести, — вот кто был поддержкой и утешением моего одиночества в мире действительности…

Бордо и Ноан обменивались подарками. Она вязала для Орельена кошелек, вышивала помочи; он посылал ей баскский берет, книги. Письма Орельена были или шутливыми, или серьезными, но не любовными. Не имея права говорить о любви, он рассуждал о политике и, будучи монархистом, спорил с наследственным бонапартизмом и инстинктивным

либерализмом дочери Мориса Дюпена. Она писала ему чаще, чем он, и упрекала его иногда в молчании; тогда в ответ он жаловался на краткость ее писем. На самом же деле, несмотря на несколько посещений Бордо с разрешения великодушного Казимира, эта любовь без любви чахла.

Политика, разъединявшая влюбленных, сблизила на какое-то время супругов. Казимир, как и Аврора, был либералом; оба они поддерживали в Ла Шатре кандидата оппозиции Дюри-Дюфреня, республиканца, «человека редкого прямодушия, приятного и благожелательного ума, с отпечатком элегантности времен Директории; маленький паричок, серьги, лицо живое и тонкое — словом, якобинец, обходительнейший и воспитаннейший». Для поддержки его кандидатуры супруги Дюдеван переехали временно в Ла Шатр, сняли дом, давали обеды и балы. Аврора встретила там своих друзей детства: Казимир, вначале недоверчивый, мало-помалу стал относиться к ним терпимо, так как они разделяли его убеждения; светловолосый Шарль Дюверне, «молодой человек, полный меланхолических мечтаний»; «гигант Флёри», по прозвищу Галл, «человек с колоссальными лапами, устрашающей бородой, со свирепым взглядом, человек-ископаемое, человек-первобытный»; Алексис Дютей, весь в оспинках, блестящий адвокат, остроумный собеседник и весельчак, развлекавший Аврору в дни сплина; поэтический Жюль Неро, прозванный Мальгашем, потому что он побывал на Мадагаскаре, последователь Руссо и Шатобриана, как и госпожа Дюдеван.

Вся эта сумасшедшая орава бегала при свете луны по дорогам, по лесам, по улицам, будила обывателей, спугивала влюбленных или ходила на балы рабочих, чтобы сплясать там бурре. Бывало, что Аврора, воспользовавшись тем, что Казимир захрапел, удирала ночью из Ноана вместе со своим братом. Скакала до Ла Шатра, чтобы пропеть серенаду под окном Алексиса Дютея. Или уезжала на заре, чтобы вместе с Неро, который был естествоиспытателем, изучать растения, минералы, насекомых. Одна осень была посвящена изучению грибов, другая — изучению мха и лишаев. Тень Руссо витала над этими двумя собирателями лекарственных трав. Совершенно закономерно, что товарищи по играм или по изысканиям влюблялись в красивую молодую женщину в брюках и в блузе, обращавшуюся с ними по-товарищески. Дютей был женат, но ухаживал, впрочем безуспешно. Беззубый и женатый Мальгаш тоже надеялся на удачу. Он был отвергнут. «Жестокая женщина», смеясь над ними, рассказывала Казимиру о всех объяснениях в любви. «У меня было сердце, нечувствительное к любви, и я не могла бы полюбить ни его, ни кого-либо другого». Однако она признавалась Мальгашу, что ее сердце было задето: это не удержало госпожу Неро от «глупого письма», в котором содержались упреки в ханжестве, кокетстве и во всем том, что кончается на «во».

И в самом деле, она все более и более находила удовольствие в том, чтобы возбуждать желания, которые никак не собиралась удовлетворять. Местные дворяне и буржуа Ла Шатра осуждали ее вызывающую и свободную манеру поведения. Разве не госпожа Дюдеван настаивала, чтобы на балах в Ла Шатре собирались люди самых различных классов общества?.. Разве не она заставила супрефекта господина де Периньи пригласить учителя музыки и его жену? «Ну, это в духе госпожи Дюдеван», — говорили люди, когда узнавали о новой шалости. Она все это знала и считала провинциалов глупыми и злыми. Тем более что этот провинциальный городок казался ей очень безнравственным: «мужчины проводили ночи в кабачках, напивались, предавались всякого рода разгулу. Женщины, даже лучшие из них, были неслыханно легкомысленны».

Несправедливые нападки и дурные примеры наталкивали молодую женщину на вольности; до сих пор она была неосторожна, но целомудренна. Письма Орельена, приходившие реже, чем раньше, и ставшие менее нежными, плохо охраняли ее от искушений.

Отсутствующий человек, я бы могла даже сказать — невидимый человек, который был третьей ипостасью моего существования (бог, он и я), устал от стремления к возвышенной любви… Его страсть нуждалась в какой-либо иной пище, чем восторженная дружба и переписка… Я чувствовала, что становлюсь для него тяжелой цепью или служу только развлечением для ума… Я еще долго продолжала любить его, молчаливо и грустно… С той минуты, как я приняла решение, у нас никогда не было ни объяснений, ни упреков…

Какое решение? Она еще колебалась. В 1827 году, во время поездки в Овернь, она вела дневник, который не был опубликован, но он очень характерен для нее:

Что делать? Идет дождь. А мне никогда еще так не хотелось пойти гулять. Сегодня я какая-то взбалмошная. Притворяюсь красивой женщиной. А! Какая я женщина? Красивая — того меньше. Это было хорошо десять лет назад… Не написать ли мне кому-нибудь? Ну, например, моей матери…

О мать моя, что я вам сделала? Почему вы меня не любите? А ведь я добра. Я добра, вы это прекрасно знаете. У меня бывают ужасные вспышки гнева. Во мне сотни недостатков, но в глубине души я добра… Моя милая мать, вы легкомысленны, но не злы. Нет, вы совсем не злы. Вы просто чудачка… А что, если мне пожаловаться самой себе? Если я расскажу себе самой свою историю? О, это идея! Будем писать мемуары…

Дальше следовало то, что стало впоследствии «Историей моей жизни». Двадцатитрехлетняя женщина говорила о своей преждевременной старости:

Сердце, — грустно скажет она в заключение, — останется чистым, как зеркало… оно было пылким, оно было искренним, но оно было слепым; его не смогли омрачить, его разбили. Я уезжаю в Пиренеи… Что я слышу? Уже обед?

И звонок к обеду остановил эту первую попытку.

В этих записях был уже виден талант, в них были и шутливость, и отчаяние. От надежды на духовное перерождение своего мужа она отказалась. Опечаленный потерей жены, неспособный завоевать ее снова, сознающий свое ничтожество перед ней, Казимир пил все больше и больше. Она чувствовала, что Орельен отдаляется от нее. Он дал Авроре клятву в том, что будет уважать ее, но никак не в том, что не будет искать удовольствий на стороне. Он сам разрушил пьедестал, на который Аврора хотела его возвести.

Орельен — Авроре, 15 мая 1828 года: Вы придумали некий идеал разума, мудрости; в своем воображении вы создаете существо, наделенное этими свойствами, и, создав его в своей фантазии, вы говорите: это такой-то. Нет, нет, у меня нет установившихся или обдуманных взглядов на все. Сказать вам правду? Разрушить идол одним ударом? У меня, к моему стыду, нет окончательных взглядов ни на что…

Значит, удержать мужчин без плотской связи с ними невозможно? Она приходила к этому убеждению. Быть любимой, не отдаваясь, быть в одно и то же время роковой женщиной и амазонкой, безупречной женой и обожаемой любовницей — это только красивая мечта, невыполнимая в действительности.

Она вновь встретилась с тем самым Стефаном Ажассон де Грансань, с которым когда-то в

своей девичьей комнате занималась сентиментальной остеологией. Он стал настоящим ученым, а его лицо, окаймленное бородой, было таким же красивым, хотя и не по возрасту постаревшим: «Он еще борется со смертью за остаток своей увядшей молодости, которая будет цвести уже недолго. Наполовину чахоточный, наполовину безумный, он приехал сюда в надежде на выздоровление». Ее взволновал вид этих впалых щек, этих мутных глаз, сгорбленной фигуры. Все в нем ее притягивало. Он пробудил в ней первые любовные волнения; он обладал большими познаниями, а она любила познавать; он себя называл атеистом, и она, сама верующая, была потрясена такой смелостью; она видела, что он тяжело болен, и ей нравилось ухаживать за больным. В 1827 году он жил в Париже, где поступил в естественноисторический музей, чтобы сотрудничать с Кювье. Латинист, эллинист, натуралист, он свободно переводил научные труды великих писателей Греции и Рима. Он написал эрудированное, но лишенное таланта предисловие к «De Natura Rerum»[12] Лукреция. Порой Авроре казалось, что она, наконец, нашла учителя, которого искала. Вскоре в Ла Шатре решили, что она компрометирует себя своими отношениями со Стефаном. Когда Стефан уезжал из Берри, Ипполит Шатирон, поселившийся в Париже со своей молодой женой Эмилией де Вильнев, принимал его у себя и писал о нем Авроре:

> *Ипполит Шатирон — Авроре Дюдеван:* Мне кажется, что в основном все его болезни происходят от беспорядочной жизни. Это настоящий мот; когда у него есть деньги, он помогает всем друзьям, его кошелек открыт для всех… Не знаю человека лучше его! По образованию и уму он гораздо выше, чем все думают; это блестящая башка! Он, несомненно, скоро добьется известности, если найдет на это время, и будет недурно зарабатывать…

> *Другое письмо Ипполита. — Авроре:* Наш Друг Стефан после новых безрассудств опять болен. Он работал ночами; поднялся жар. Я пробовал читать ему нотации… кончилось тем, что он стал уверять, что я более сумасшедший, чем он сам…

> *Аврора — Ипполиту:* Меня очень удручает то, что ты пишешь о Стефане. Он не думает ни о своем здоровье, ни о своих делах и не жалеет ни своего тела, ни кошелька. Но хуже всего то, что он сердится, когда ему дают разумные советы, считает своих лучших друзей педантами и зажимает им рот. Я все это знала еще до того, как ты мне написал, меня уже не раз выпроваживали таким же образом… Мне бы очень хотелось разлюбить его, так как это постоянный повод для огорчений — видеть, что он идет по плохому пути и всегда отказывается это признать. Но своих друзей надо любить до конца, что бы они ни делали, не в моей натуре отнимать любовь, если я ее уже подарила… Конечно, моя привязанность к нему всегда будет вызывать недовольство, и хотя никто не решается высказать мне это открыто, я вижу осуждение на лицах тех людей, которые вынуждают меня защищать его… Стефан всегда будет мне дорог, каким бы несчастным он ни был. Он и сейчас уже несчастлив, и чем несчастнее он будет, тем меньше он будет видеть участие к себе; это закон общества. Но я по крайней мере постараюсь облегчить, сколько смогу, все его невзгоды. Когда все отвернутся от него, я буду с ним… Тех, кого любишь, не обвиняешь ни в чем…

Осенью 1827 года в отсутствие Казимира Стефан приехал домой. Он привез в свой родной Берри воздух Парижа и новейшие идеи. Аврора часто виделась с ним и написала о нем мужу с чисто женским искусством — сказать правду, скрыв ее под видом незначительности.

Аврора — Казимиру, Ноан, 17 октября 1827 года: После твоего отъезда, друг мой, я почти не оставалась одна. Я видела Стефана, его брата, Жюля Неро, Дютея, Шарля, Урсулу — она узнала от Стефана (который уехал в Марш), что я заболела, и сегодня явилась ухаживать за мной. У меня была очень бурная лихорадка…

19 октября 1821 года: Чувствую себя гораздо лучше. Еще не ем ничего, но сплю хорошо, осложнения не будет. Я боялась, что заболею серьезно, но потом поняла, что это обычное нездоровье… Все время хочу спать, ложусь рано… Совсем забыла дать тебе на фасон гамашу. Если Стефан вернется вовремя, передам через него. Но где он, что он делает? Бог его знает. А он считает, что никто не имеет права спрашивать о его планах, Как я тебе говорила, я видела его на этой неделе, он уехал вместе с братом в Гере… Они поехали охотиться… Вдали от тебя я грустна, несчастна, сама не своя. В общем будь свободен, будь счастлив и люби меня. Никто не оценит это так, как я. Сообщи мне время твоего приезда, если хочешь, чтобы я послала встречать тебя в Шатору…

Письмо сердечное, но, как только Казимир вернулся в Ноан, она уехала в Париж с Жюлем де Грансань и там встретилась со Стефаном.

Аврора — Казимиру, Париж, 8 декабря 1827 года: Сегодня я завтракала у моей матери. Ипполит сказал ей, что прошло уже два дня с моего приезда. У нее было сильное желание рассердиться на меня. Но когда я ей объяснила, что в эти дни мне надо было отдыхать, неподвижно лежать, чтобы хоть немного прийти в себя, она успокоилась и была ко мне так мила, как только можно… Ипполит привел и представил ей Стефана под его настоящим именем; она приняла его очень любезно, несмотря на всякий вздор, который ей рассказывали… Мне придется провести здесь еще и следующую неделю, но в конце концов, что бы ни случилось, я уеду. Стефан говорит, что он вернется вместе с нами, но я на это твердо не рассчитываю, ведь у него семь пятниц на неделе…

Вздор — это были сплетни о романе между Авророй и Стефаном; эта связь ни у кого уже не вызывала сомнения. Аврора путешествовала со Стефаном, была при нем всегда в Берри, следовала за ним в Париж; впоследствии потомки Стефана обнаружили, что любовники обменивались пылкими письмами. Письма, которые в это же самое время Аврора посылала Казимиру, носят явный отпечаток преувеличенной нежности, свойственной женщинам, знающим за собой вину. В письме от 13 декабря она просила, чтобы Казимир не приезжал за ней; Стефан взялся сопровождать ее в Берри. Предлогом для пребывания в Париже служила необходимость консультироваться с врачами; она была у самых знаменитых докторов, все нашли ее вполне здоровой.

В сущности, все ее болезни были болезнями души. Возвратясь в Ноан, она впала в тоску и печаль. Она была мрачна, как преступница. Зоэ Леруа: «Я больше не прошу у вас прежней любви. Я не стою ничьей дружбы. Как раненое животное, умирающее в своей норе, я не буду искать сочувствия и помощи у своих ближних…» Почему такое внезапное самоуничижение у существа такого гордого? Она вернулась беременной, может быть, от Стефана. Соланж родилась 13 сентября 1828 года, так что зачатие совпадало с пребыванием в Париже. Аврора уверяла, что ребенок родился раньше срока в результате испуга, который она пережила из-за маленькой дочери Ипполита, Леонтины Шатирон, упавшей с лестницы в Ноане. Но сохранились ли какие-

нибудь иллюзии на этот счет у Казимира?

Орельен де Сез без предупреждения приехал ранним утром в начале сентября в Ноан и нашел Аврору одну в гостиной — она возилась с детским приданым. «Что это вы делаете?» — спросил он. «Да что, вы не видите сами? Я тороплюсь, кто-то может прийти раньше, чем я думала». В его голове это не укладывалось: беременность, предстоящие роды, а с другой стороны, уверения в небесной любви, в вечном целомудрии, даже супружеском, которыми были полны письма и речи его подруги! Когда Зоэ Леруа увидела господина де Сеза, она была испугана его горем. Он слегка помешался: был погружен в свои мысли; то помешивал угли в печке, то подбегал к фортепьяно, наигрывал что-то двумя пальцами. Зоэ Леруа — Авроре Дюдеван: «Глядя на Орельена, я представляю себе, какой ужас, какое горе и отчаянное одиночество пережил он в Ноане…»

Роды были во всех отношениях тягостными. Ипполит был так пьян, что чуть ли не валялся в комнате Авроры на ковре. Лежа на кровати, Аврора слышала разговор в соседней комнате между Казимиром и горничной-испанкой Пепитой. Разговор не оставлял никакого сомнения в характере их отношений. Ребенок — большая и красивая девочка — был назван Соланж. «Впоследствии, — пишет Луиза Венсан, — все друзья Стефана де Грансань дразнили его, когда он ездил в Ноан. «Ну что ж! — говорил он. — Я еду к своей дочери!» Даже госпожа Дюдеван сама называла иногда свою дочь мадемуазель Стефан. Как бы ни было, господин Дюдеван никогда не заговаривал с женой о разводе. Он очень дорожил Ноаном, своим сыном и даже Авророй. Она имела на него влияние: сильный духом всегда берет верх над слабым существом. А Казимир был человек «с быстрыми ногами, но с ленивым умом», вечерами он только и знал, что храпел. Доходами с имения он распоряжался плохо; это сделало его неуверенным, он сознавал свою вину. Кроме того, если бы произошел разрыв, куда ему идти? Гильери принадлежало его мачехе. Между супругами установилось нечто вроде перемирия. Она смотрела сквозь пальцы на его выпивки и шалости со служанками; он предоставил ей свободу, только бы она не требовала денег. Между тем у нее были основания требовать денег, поскольку он вел дела по имению все хуже и хуже. В 1828 году он попал в руки мошенника по имени Дегранж, который «забрал его в руки, угощая шампанским и передав ему свою любовницу»; Дегранж продал ему «красивое торговое судно, показав только литографию с него». Дюдеван заплатил за судно 25 тысяч франков. А этого судна на самом деле никогда не существовало, и господин Дегранж был судохозяином только in partibus[13]. Аврора подозревала это с самого начала.

> *Аврора — Казимиру, 20 декабря 1829 года:* Господин Дегранж смеется над тобой — это ясно, как день. Можешь передать ему эти слова от моего имени; по крайней мере меня он не оставил в дураках! Он уверяет тебя, что кто-то собирается выкупить у тебя твою часть, назначает тебе встречи, водит тебя за нос, убаюкивает обещаниями. Ты бегаешь, ждешь, надеешься, полностью доверяя ему, в то время как господину Дегранжу отлично известно, что ему даже некого предъявить как покупателя. Каждый день ты надеешься на следующий день, а этот следующий день приносит новый обман… Все это последствие первой сделанной глупости и должно было послужить тебе уроком. Нельзя заключать сделки после обеда, да еще в нетрезвом состоянии, а я уверена, что эту сделку ты совершил со стаканом вина в руке. Я тебе высказала свое мнение, и мы никогда к этому больше не будем возвращаться; что прошло, то прошло. Но перед нами будущее; и теперь я беру заботу о нем на себя. До сих пор я избегала входить в денежные расчеты, потому что безгранично доверяла твоему суждению и здравому смыслу. Сейчас я вижу, что тебя так же легко можно обмануть, как и всякого другого, и происходит это от твоего злосчастного порока, который ты приобрел на

военной службе; ты исправился в первые годы нашего брака, но теперь опять поддался ему, несмотря на мое противодействие. Не сердись, что я это говорю тебе. Право говорить истину — взаимное… Прежде всего я мать, и когда нужно, у меня есть сила воли. Ты всегда найдешь во мне готовность простить тебя, утешить, но о том, что касается материального будущего твоих детей, я буду высказывать свое мнение совершенно откровенно…

> Нельзя, как ты предполагаешь, махнуть на все рукой, — нельзя оставлять в руках человека, не внушающего к себе ни доверия, ни уважения, двадцать или пятнадцать тысяч франков, потеря которых будет очень чувствительной для такого состояния, как наше. Твоя раздражительность и малодушие совершенно не разумны. Сделанную ошибку не поправишь ни руганью, ни вздохами, ни бесконечными упреками в свой адрес, все это только вредно отражается как на твоем собственном здоровье, так и на здоровье твоих близких. Надо иметь выдержку; надо изобличать обманщиков; нельзя принимать их приглашения на обеды (два — уже чересчур много); нельзя поддерживать дружеские отношения с человеком, которого не уважаешь.
>
> Я не знаю, в каком положении дело с мельницей, но, по-моему, оно тоже не ладится… Ты вечно впутываешься в какое-нибудь невыгодное дело, которое причиняет массу неприятностей! Тебе не везет в делах; не надо больше начинать их. Разумнее действовать сообща, чем каждый по-своему. Дютей, который разбирается в делах, и Ипполит, которого ты долгое время считал за глупца и который в деловом отношении разумнее нас с тобой, помогут нам привести в порядок наши денежные дела… Ты можешь делать в имении все, что тебе взбредет на ум. Ты будешь прикупать каждый год, если захочешь и сможешь, землю. Но я должна тебя предупредить, что наши соседи считают, что у тебя особое умение платить за все дороже, чем все…

Уже давно Аврора и Цазимир жили в разных комнатах. Своих двух детей она поместила в нижнем этаже, в желтой комнате госпожи Дюпен де Франкёй; сама же заняла соседнюю комнату, где она себя чувствовала в полной безопасности, так как сюда можно было войти только через детскую. Спала она в гамаке, а бюро сделала из откидной деревянной доски, опускавшейся наподобие секретера. Книги, травы, бабочки, камни загромождали эту маленькую комнатку. Тут она писала, мечтала, размышляла. Недовольная своей жизнью, она старалась заполнить ее, делая наброски романов. И так же, как в монастыре, она все еще питала надежду войти в непосредственное общение с богом. Внешней обрядности, церковной службе она придавала мало значения.

> В Ноане, так же как в монастыре, меня поглощало жгучее, а иногда унылое, но упорное желание найти ту связь, которая может, которая должна существовать между каждой отдельной душой и всеобъемлющей душой, которую мы называем богом. Так как я не принадлежала свету ни по своим поступкам, ни по своим помыслам; так как моя созерцательная натура совершенно не воспринимала его влияния; так как, короче говоря, я не могла и не хотела поступать иначе, чем в силу закона, стоящего выше общепринятых обычаев и мнений, — мне необходимо было найти в боге ответ на загадку моей жизни, указание моего истинного долга, одобрение моих самых сокровенных чувств…

Лицемерие? Нет, все доказывает обратное. Она никогда не расставалась с мыслью о своем боге. Но так как всякому человеческому существу для того, чтобы жить, нужно достичь какой-то

внутренней гармонии, она вычеркнула из своего сознания мысль о том, что измена мужу — это смертельный грех. Она пришла к тому же выводу, что и ее мать: «Это не имеет большого значения, если любишь искренно». К сожалению, Орельен вошел в ее жизнь слишком рано и как раз, в то время, когда она еще не могла «отважиться на измену». А быть может, он был бы именно тем романтическим любовником, о котором она так мечтала. Аврора несколько раз побывала в Бордо, виделась там со своим другом и нашла его «постаревшим и подурневшим».

Объяснения между ними не было, и в течение некоторого времени переписка еще продолжалась.

Морис подрастал. Аврора, как истая последовательница Руссо, начала заниматься воспитанием своего «Эмиля». Как-то Дюри-Дюфрень, тот самый депутат, за избрание которого Дюдеваны мужественно боролись в Ла Шатре, встретясь с Шатироном, рассказал ему, что один из детей генерала графа Бертрана благодаря какой-то новой системе обучения в несколько уроков выучился свободно читать; Аврора попросила Дюри-Дюфреня дать ей более точные сведения.

> *Аврора Дюдеван — Дюри-Дюфреню, 4 августа 1829 года:* Простите меня, сударь, что я затрудняю вас — человека, чье время столь драгоценно, — просьбой о подробностях вашего сообщения. Меня успокаивает мысль, что, может быть, вы будете рассматривать исполнение моей просьбы не только как обязательное одолжение матери семейства, но также как некую возможность усовершенствовать руководство первоначальным воспитанием. Вы посвятили служению своим согражданам свой ум и свою жизнь, и это соображение придает мне смелости обратиться к вам с просьбой и целиком положиться на ваше мнение, оно для меня важнее всех других…

Депутат назвал имя наставника, учившего детей Бертрана: Жюль Букуаран. Госпожа Дюдеван написала Букуарану в сентябре 1829 года и пригласила его в Ноан в качестве гувернера к Морису, но этот опыт Продолжался только три месяца.

> *Аврора-Казимиру, 14 декабря 1829 года:* Сообщи мне, сколько я должна уплатить господину Букуарану, и я распрощаюсь с ним. Ты ответишь мне своим обычным «как хочешь», что не обозначает ни да, ни нет… Но я же должна знать, что мне делать и где достать эти деньги, потому что я не намерена держать этого молодого человека вечно. Он мне не очень нравится, да кроме того, я чувствую, что и он ничего не имеет против ухода…

Букуаран вернулся к генералу Бертрану. Аврора сказала неправду, что он ей не понравился. Это был симпатичный и услужливый молодой южанин, ставший ее другом, конечно и влюбленным при этом, но которого она держала на почтительном расстоянии. Высшей наградой, которую она ему обещала, когда он по ее поручениям ездил в Париж, было «поцеловать его за труды». Он оказался хорошим воспитателем, «исключительно сведущим в грамматике»; в шесть лет Морис уже бегло читал: Букуаран начал преподавать мальчику музыку, орфографию и географию. Аврора — Букуарану: «Воспитание Мориса начинается, а ваше еще не закончилось… Прощайте, мой дорогой сын… Дети и я обнимаем вас нежно. Всегда рассчитывайте на вашего старого друга… Получили ли вы жилет?»

Присутствие Букуарана, хотя он был «немного апатичен», помогло госпоже Дюдеван переносить в течение нескольких недель жизнь, которую никак нельзя было назвать супружеской. У Казимира совершенно открыто были две любовницы-служанки: няня Соланж,

кастильянка Пепита и горничная госпожи Шатирон, Клэр. Аврора сделала попытку писать романы: «Крестная», а также «Эме». Она поражала Букуарана «гибкостью натуры, силой характера, которые позволяли ей после самых неистовых домашних сцен на следующий день как ни в чем не бывало смеяться и не опускать голову под тяжестью своих несчастий». Иногда по вечерам, одна под звездным небом, она возвращалась верхом из Ла Шатра, по той дороге, на которой разбился до смерти ее отец, и раздумывала над своей странной судьбой. Почти всех, кто ее окружал, она считала посредственностями, но была ли она сама лучше? Она знала больше, чем они; она была более восприимчива, и, по ее мнению, в ней было больше искреннего благочестия. Но, может быть, она ошибалась в отношении себя?

> Я искала бога в лучах звезды; я помню, что тяжелые облака бежали над моей головой в эти темные осенние ночи и закрывали от меня небосвод. «Увы! — говорила я себе. — И ты так же ускользаешь от меня, ты, к которому я стремлюсь! Тайна, в которой я вижу реальную силу, неуловимые лучи, ставшие светочем моей жизни, о бог, которому я служу безрассудно, — где ты? Видишь ли ты меня и слышишь ли?.. Кто я — избранная душа, посланная тобой для выполнения какой-то святой и сладостной миссии на земле, Или же я просто игрушка какой-то романтической фантазии, родившейся в моем бедном мозгу, подобно семени, которое ветер носит в пространстве и роняет в первом попавшемся месте?..»
>
> …И, подавленная отчаянием, чувствуя себя почти безумной, я пускала лошадь вскачь куда глаза глядят, во мрак ночи… Было одно злосчастное для нашей семьи место на повороте за тридцатым по счету тополем; мой отец, немногим старше, чем я сейчас, возвращаясь домой темной ночью, свалился с лошади навзничь и погиб. Иногда я останавливалась, воспоминания о нем захватывали меня, и я начинала искать при лунном свете воображаемые следы его крови на камнях. Обычно, приближаясь к этому месту, я, ослабив поводья, отпускала лошадь, чтобы она неслась как можно быстрее, подгоняла ее к этому повороту — дорога там была разрыта, и моя дикая скачка становилась опасной…

Она была убеждена, что вдали от Ла Шатра и Ноана существует общество, приветливое, изысканное, блестящее, где люди, одаренные достоинствами, могут обмениваться своими чувствами и мыслями. Она бы «прошла десять лье для того, чтобы увидеть хоть издали Бальзака», она боготворила Гюго, но эти громадные фигуры пугали ее настолько, что у нее даже не могло появиться мысли приблизиться к ним. Когда она вместе с Морисом ездила в Париж, в той квартире, которую предоставлял ей Ипполит, она виделась только со своей матерью (которую всегда сопровождал ее старый друг, Пьере), с Кароном, с супругами дю Плесси и, конечно, со Стефаном.

> *Аврора — Казимиру, 2 мая 1830 года:* Я видела также Стефана вчера утром и сегодня. Не знаю, каким образом он узнал, что я приехала. У привратницы Ипполита он увидел письмо на мое имя и написал свое имя на конверте в виде визитной карточки, потом, на следующий день явился, очень пристойный и милый. Сегодня idem[14]. Посмотрим, сколько времени продлится этот медовый месяц…

Из Парижа она перекочевала в Бордо.

> Дорога в Бордо длится тридцать часов; я пробуду там два дня и вернусь в начале

будущей недели. Я была в большой нерешительности, меня даже не радовала мысль о поездке, так как с Орельеном я буду видеться очень мало, он все еще в деревне… Знаешь, что меня заставило решиться: минута дурного настроения и грусти, возбудившая охоту, потребность сдвинуться с места. Моя мать до сих пор неизменно очаровательна со мной, и я тоже не могла быть другой по отношению к ней… Получила письмо на восьми страницах, в котором на меня выливается все, что только ненависть и гнев могут измыслить! Между прочим, мне сообщают, что я приехала в Париж, чтобы пуститься во все тяжкие и что мать служит предлогом, который я выставляю тебе для этой поездки, и т. д. и т. д.

Как только я приеду в Бордо, сразу напишу тебе. Не пиши мне туда: я пробуду там очень недолго — твое письмо может не застать меня. Но напиши мне в Париж; я возвращусь почти одновременно с твоим ответом… Я не говорю здесь никому, что еду в Бордо… Говорю, что еду на несколько дней «в деревню», без лишних объяснений… Так что не сообщай об этом госпоже Дюдеван, если ты ей напишешь.

Муж превращался в наперсника.

Глава четвертая
Маленький Жюль

1830 год. В Ноане все шло по-старому. Казимир рыскал по полям и лесам; вечерами он храпел или же приставал к Пепите. Аврора Дюдеван — Жюлю Букуарану: «Вы знаете, как живут в Ноане; вторник похож на среду, среда на четверг и так далее. Только зима и лето вносят некоторое разнообразие в это прочно застоявшееся существование… Благодаря моей возвышенной философии или же моему глубокому ничтожеству мне хорошо везде….» Единственной радостью было то, что она властвовала над молодыми людьми из соседних замков. Не обращая внимания на мужа, она почти каждый день ездила верхом в Ла Шатр или к своим друзьям.

30 июля она поехала к Шарлю Дюверне, в замок дю Кудре, Там она встретила Флёри (Галла), Гюстава Папе и еще одного молодого человека, девятнадцати лет, незнакомого ей: Жюля Сандо. Это был очаровательный блондин, «завитой, как маленький Иоанн Креститель на рождественских картинках». Его отец был сборщиком податей в Ла Шатре, и Жюль любил этот маленький городок. «Не было ни одного закоулка, в котором бы не осталось кусочка счастья». Поскольку с детства в нем обнаружился живой ум, его родители, люди без средств, пошли на большие жертвы, чтобы дать ему хорошее образование. Сначала он успешно учился в колледже Буржа, потом в ноябре 1828 года поехал в Париж, где хотел изучать юридические науки. На каникулы он приезжал в Ла Шатр, и для него было большой радостью въезжать в сельском дилижансе на мост, трястись по неровной мостовой улицы Руаяль, гулять по городской площади, по пустынным безлюдным улицам, заходить в конюшню, в которой помещается театр, в ригу, приспособленную для танцев. Золотая молодежь Ла Шатра пыталась втягивать приезжего в свои развлечения, но юный Жюль не любил ни охоты, ни шумных сборищ. Вялый, хрупкий, скорчившись у какой-нибудь изгороди с книгой в руке, он дремал, мечтая о будущем благоденствии.

При появлении у Дюверне госпожи Дюдеван этот красивый мальчик скромно отошел от группы молодежи и с книгой в руках уселся на скамейке, стоявшей под старой яблоней. Такая сдержанность задела молодую женщину. Она увлекла всю компанию к» яблоне, и разговор продолжался уже в присутствии Сандо. Говорили о революции, которая только что разразилась в Париже. Сведения были редкие и неясные. Знали, что была ружейная стрельба и строились баррикады. Означало ли это, что провозглашена республика? Аврора, как всегда энергичная и пылкая, предложила поехать за известиями в Ла Шатр. Вскочив на лошадь, она крикнула: «Шарль, приведите завтра всех ваших друзей обедать ко мне!.. Я рассчитываю на всех вас, господа». Она ударила хлыстом Колетту и ускакала.

На следующий день, 31-го, Сандо вместе со всеми товарищами в первый раз приехал в Ноан. Аврора прочитала им письмо, полученное от Жюля Букуарана. Действительно, произошла уже революция, и эта маленькая либерально настроенная группа встретила ее с энтузиазмом. Казимир, которого политика пробудила к деятельности, был призван в качестве лейтенанта национальной гвардии, и вскоре под его начальством было сто двадцать человек. Аврора беспокоилась о матери и особенно о своей тетке Люси Марешаль — ее муж был инспектором штата королевского двора. Но «в такие минуты кровь кипит и душа слишком угнетена, чтобы предаваться чувствительности». Она была горда тем, что Ла Шатр оказался более решительным, чем Шатору. Если бы жандармы начали атаку, если бы даже прислали полк из Буржа, они стали бы защищаться: «Во мне проснулась такая энергия, которую я даже не подозревала в себе. События развивают душу». Маленький Сандо был ослеплен дикой красотой, экзальтированным

и властным характером, черными сверкающими глазами и гибкой фигуркой владелицы Ноана. А когда и она заинтересовалась им, он влюбился до сумасшествия. Он полюбил Аврору Дюдеван потому, что она его очаровала: потому, что их обоих интересовали одинаковые темы, но говорила она на эти темы лучше, чем он; особенно же потому, что она была сильной натурой, а он слабой. Бесхарактерные юноши нуждаются в любовницах-матерях, между тем как женщины, не унижая себя, объясняют свое любовное рабство великодушным покровительством, которое они оказывают любовнику.

Несколько недель она боролась, что при ее душевном состоянии было геройством. Все соблазняло ее в Жюле: его юность, его розовые щеки, его светлые волосы, его ум, воздух Парижа, который он вносил с собой, его романтические мечты.

> Если бы вы знали, как я люблю это милое дитя, как с первого же дня его выразительный взгляд, его порывистые и открытые манеры, его робкая неловкость внушили мне желание встречаться с ним, всматриваться в него! Я не могла бы объяснить, почему я им заинтересовалась, но это чувство росло с каждым днем, и я не могла противиться ему… Я ему сказала, что люблю его, еще не говоря этого самой себе. Мое сердце говорило мне о любви, но я сопротивлялась ему, и Жюль узнал о моем чувстве в тот же миг, что и я. Не знаю, как это случилось. За четверть часа до этого я сидела на ступеньках крыльца одна, держа для виду в руках книжку. Мой ум был поглощен одной неотвязной мыслью, милой, сладостной, восхитительной, но неясной, неопределенной, таинственной…

Долго еще спустя вспоминала она с нежностью тот маленький лесок, где они признались друг другу в любви.

> Есть у меня особенно любимое место. Это скамейка, стоящая в красивой рощице, в глубине нашего парка. Там мы в первый раз громко сказали друг другу о нашей любви. Там в первый раз мы соединили наши руки. И там много раз он сидел, придя из Ла Шатра, запыхавшийся, усталый, в солнечный или грозовой день. Он находил на этой скамейке мою книгу, мою шаль, а когда я приходила, он прятался в соседней аллее, и я видела на скамейке оставленную им серую шляпу и трость. Когда любишь, все эти мелочи важны, и вам не будет смешно, если я вам буду рассказывать все эти пустяки, не правда ли, мой добрый друг?..
>
> Все, вплоть до красного шнурка на его шляпе, все заставляло меня трепетать от радости. У всех молодых людей: у Альфонса, Гюстава и др. — были точно такие же шляпы, как у него; когда они все собирались в гостиной, я, проходя через соседнюю комнату, бросала взгляд на шляпы. Увидев красный шнурок, я узнавала, что и Жюль среди гостей: у всех остальных были голубые шнурки. Поэтому я сберегла, как реликвию, этот маленький шнурок. При виде его передо мною встает жизнь, полная воспоминаний, волнения и счастья…

Наконец она решилась на этот шаг. В Ноане был павильон, выходивший одной стороной в парк, другой — на дорогу. В 1828 году Аврора велела его отремонтировать; он мог служить местом свиданий. Входя в него, посетитель мог обойти дорогу из деревни и из замка, не привлекая к себе внимания прислуги. Иногда любовники встречались в лесу, в месте, называемом Ла Купери, в то время как друзья караулили их. Конечно, Ла Шатр взирал очень неблагосклонно на эту связь между замужней женщиной, матерью семейства, и маленьким

Жюлем.

> *Аврора Дюдеван — Жюлю Букуарану, 27 октября 1830 года:* В Ла Шатре сплетничают вовсю, больше чем когда-либо. Тот кто меня не очень любит, говорит, что я люблю Сандо (вы понимаете значение слова?). Тот, кто меня совсем не любит, говорит, что я люблю двоих: Сандо и Флёри; тот, кто меня ненавидит, говорит, что мне не внушает страха Дюверне, а также и вы в придачу. Итак, у меня сразу четыре любовника. Это не так много, принимая во внимание мои пылкие чувства. Злобные дураки! Какая жалкая жизнь! Добрый вечер, сын мой!.. Пишите мне!

Что для нее значили по сравнению с ее счастьем сплетни и пересуды Ла Шатра?

> Мое внимание устремлено только на тех, кого я люблю. И окружаю себя ими, как будто священной армией, которая отгоняет от меня малодушные черные мысли…

Чтобы понять Аврору Дюдеван 1830 года и ее стремление к чувствительным и духовным приключениям, надо представить себе, что волновало умы во Франции в то время! Царствовала страсть. Когда-то обожествляли Разум, теперь же Безрассудство. Новые поэты, новые философские и социальные системы опьяняли молодых. Они с неистовством объявляли себя последователями Гюго, Сен-Симона и Фурье. В Ла Шатре и в Фертесу-Жуарр, Дюпюи и Котонэ интересовались романтизмом. Человек не был уже, как в XVII веке, ответственным членом социальной и религиозной общины; он был ценен сам по себе, становился объектом эстетического созерцания. «Тигры красивее, чем бараны. Но в классическом веке тигров держали в клетках. Романтики, сломав решетки, стали любоваться великолепным прыжком, которым тигр расплющивает ягненка…» Действительность подражает вымыслу. Во времена «Астреи» любили так, как любили герои Скюдери. Во времена Гете любили, как Вертер, в ожидании, пока будут любить, как Эрнани.

В Ла Шатре властная тигрица, молодая баронесса Дюдеван была музой всей округи. Но она почувствовала себя очень одинокой, когда вакации окончились и ее «великие люди» уехали в Париж. Она писала им письма, где под иронией и поэзией, чисто шекспировской, мужественно скрывала глубокую меланхолию:

> *Аврора Дюдеван — Шарлю Дюверне, 1 декабря 1830 года:* Счастлив, трижды счастлив город Ла Шатр, родина великих людей, классическая обитель гения!.. После твоего отъезда, о светловолосый Шарль, юноша мечтательный, задумчивый, мрачный как грозовой день, несчастный мизантроп, убегающий от фривольной веселости глупой молодежи, чтобы предаться черным раздумьям аскетического ума, деревья пожелтели, сбросили с себя свой блистающий убор… И ты, гигант Флёри, человек с колоссальными лапами, с устрашающей бородой, с ужасным взором, — первобытный человек… с тех пор как твоя необъятная туша не занимает, подобно гомеровским богам, пространство в семь стадий в нашей местности, с тех пор как твоя вулканическая грудь не поглощает жизнетворный воздух, необходимый обитателям земли, климат здесь стал более холодным, воздух — более прозрачным… И ты, малыш Сандо! Милый и легкий, как колибри в благоухающей саванне! Ласковый и колючий, как крапива, которая колышется на ветру у стен замка Шатобрен. С тех пор как ты, заложив руки в карманы, не проходишь больше через маленькую площадь с быстротой серны… городские дамы встают только с заходом солнца, подобно летучим мышам и

совам, они уж не снимают с головы ночных чепцов, чтобы показаться в окошке, а папильотки уже пустили корни в их волосах… Не зная, как изгнать давящую своими тяжелыми крыльями тоску, ваша несчастная подруга, утомленная светом солнца, уже не освещающим наших прогулок и серьезных научных разговоров, в Ла Купери, решила заболеть лихорадкой и хорошим ревматизмом исключительно для того, чтобы развлечься и как-нибудь провести время…

А время она проводила плохо. Единственным обществом Авроры была ее невестка, Эмилия Шатирон, нежная, добрая, но уходившая к себе уже в девять часов вечера, в то время когда Аврора шла в свой будуар писать или рисовать. В соседней комнате посапывали во сне дети. Соланж была все той же пышущей здоровьем толстушкой; Морис учился хорошо, мать начала учить его писать. Ипполит и Казимир почти всегда были в отлучке, развлекаясь со своими дамами. Такое застойное существование не могло продолжаться. У госпожи Дюдеван созрело решение увидеться в Париже с маленьким Жюлем. Все больше и больше супружеская жизнь казалась ей бессмысленной. Стать самой собой она может, только сбежав отсюда.

Что могло ее удержать? Вера? Она сохранила веру, но ту, которая разрешала любить. Нравственность? Это было время, когда самые серьезные сен-симонисты проповедовали законность наслаждения. Великие художники-реформаторы учили тому, что «священная фаланга», приветствующая дерзкие опыты, должна презирать буржуазные условности. Умная молодая женщина хотела следовать лучшим людям своего времени. Ее муж? У него были любовницы, и Аврора считала недопустимым, чтобы такая свобода была односторонней.

Аврора Дюдеван — Жюлю Букуарану, 3 декабря 1830 года: Вам хорошо знакома моя жизнь дома; вы знаете, что ее трудно перенести. Раз двадцать вы мне говорили, что удивляетесь, видя меня утром веселой после того, что накануне мне наносили такие удары. Есть предел всему… Отыскивая что-то в секретере Казимира, я вдруг нахожу пакет на мое имя. У этого пакета был очень официальный вид, что меня поразило. На нем была надпись: вскрыть только после моей смерти. У меня не хватило терпения ждать, когда я стану вдовой… Раз пакет адресован мне, значит я имею право вскрыть его, не совершая нескромности; и так как мой муж находится в добром здоровье, я могу прочесть хладнокровно его завещание. О боже! Ну и завещание! Одни проклятия, больше ничего! Он собрал тут все свои взрывы злости, всю ярость против меня, все свои рассуждения о моей развращенности, все свое презрение к моей сущности. И это он оставлял мне как залог своей нежности. Мне казалось, что я сплю! Ведь до сих пор я всегда сознательно не замечала его презрения ко мне. Чтение этого письма пробудило, наконец, меня от сна. Я сказала себе, что жить с человеком, у которого нет ни уважения, ни доверия к своей жене, — все равно что надеяться воскресить мертвого. Мое решение было принято, и могу сказать уверенно — бесповоротно…

Не откладывая ни дня, она объявила свое непоколебимое решение: «Я хочу получить пенсион, я еду в Париж: дети останутся в Ноане». Казимир был потрясен твердостью своей жены. У нее была железная воля Мориса Саксонского и его способности к стратегическим уловкам — ведь она требовала того, чего ей не хотелось, У нее не было никакого желания оставить своих детей, оставить Ноан и даже своего мужа. Шесть месяцев в Париже; шесть месяцев в Ноане; три тысячи франков пенсиона; взамен она обещала сохранить видимость брака, если ее требования будут приняты. Они были приняты.

Осталась нерешенной судьба детей. У Авроры было намерение взять в Париж «свою толстушку дочку», как только она наладит вопрос о квартире и вопрос материальный. Три тысячи франков — не так много для той, которая любила давать и не любила считать: значит, ей придется зарабатывать деньги; она нисколько не сомневалась, что добьется этого — станет ли она художницей, станет ли писательницей или будет расписывать табакерки. Что касается Мориса, то отец предполагал определить его в Париже интерном, но он был еще слишком юным и хрупким для этого. Он нуждался в воспитателе, и Аврора хотела, чтобы этим воспитателем стал Букуаран: «Если вы будете в Ноане, — писала она ему, — я могу спокойно дышать и спать; мой сын будет в верных руках, его образование будет налажено, за его здоровьем будут наблюдать, его характер не будет испорчен ни излишними уступками, ни чрезмерной строгостью». Правда, Казимир Дюдеван был не особенно любезен; но разве графиня Бертран была любезнее? Генерал Бертран был назначен директором Политехнического училища, и его семья предложила Букуарану быть наставником детей и жить в Париже; но разве благодарность женщины, нежность матери не стоит ничего? «Я не бессердечна, вы это знаете, я сумею выразить вам свою признательность». Жюль Букуаран, как и все молодые люди, был пленен госпожой Дюдеван. Последняя фраза открывала перед ним восхитительные перспективы. Он согласился; вскоре он стал настойчиво уговаривать ее поехать вместе с ним в Ним, где проживала его семья, но она пустилась на уловки. Она обязана, говорила она, щадить своего мужа и не возбуждать в нем заранее подозрения в отношении будущего наставника. «До самой смерти я вас буду мучить выражением своей благодарности и неблагодарностью. Понимайте, как хотите, — как говорит мой старый кюре…»

> *Аврора Дюдеван — Жюлю Букуарану:* Хочу сказать вам, к каким глупейшим выводам пришли, видя вас так часто со мной, видя мое непринужденное обращение с вами. Знаете ли вы, что эта женщина, полусмеясь, полусерьезно, утверждает, что я настоящий Дон-Жуан в юбке… Никогда еще погибшая женщина не посылала в адрес порядочной женщины столь язвительных стрел… В Париже, в Бордо, в Гавре — всюду у меня любовники… Развратить вас было для меня еще одним развлечением…

После водворения в Ноане наставника ничто уже не удерживало там Аврору. Один только Ипполит пытался помешать ей уехать. Остроумный пьяница, выпив, становился необычайно чувствительным; ночью он, рыдая, явился в спальню сестры: «Ты думаешь, что сможешь прожить в Париже с ребенком на двести пятьдесят франков в месяц? — сказал он ей. — Довольно забавно! Ты же не имеешь представления, сколько стоит цыпленок! Ты приедешь назад через две недели с пустыми руками». — «Ну и что ж, — ответила она, — я попробую». Действительно, у этой богатой наследницы, законно ограбленной мужем, не было ни гроша в кармане. Но она надеялась, что отвоюет еще и своих детей, и свое состояние, и свой дом. Она не для того шла на богемную жизнь, чтобы избавиться от хозяйственных забот. «Я не принадлежу к тем великим умам, которые никогда не спускаются с облаков». Она любила варить варенье и сажать капусту. Романтичная в своем стремлении разбить привычные устои, она была буржуазкой по своей любви к Ноану и к домашнему уюту. Она с удовольствием присвоила бы себе это изречение: «Действительно, необыкновенный человек — это самый обыкновенный человек». Шить, готовить, стирать — ничто не пугало ее, но она хотела это делать для любимого человека.

Узнав о предстоящем отъезде жены, Казимир рыдал. «Теперь он плачет обо мне, — сказала она, — тем хуже для него! Я доказала ему, что не хочу быть бременем для кого-либо, а хочу быть подругой — желанной, любимой…» Она надеялась, встретясь в Париже с милым и веселым

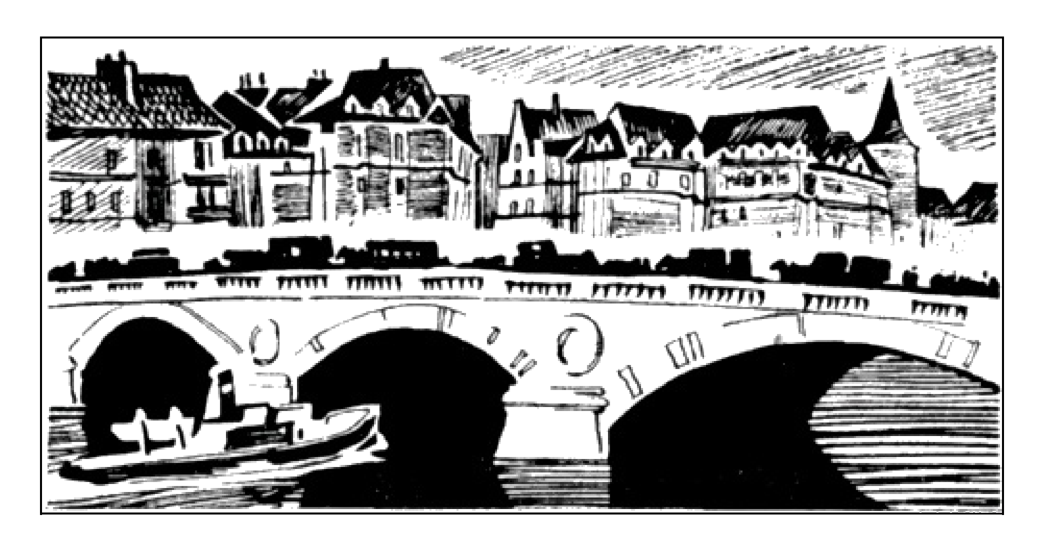
Сандо, стать для него и любовницей, и хозяйкой, и матерью. После замужества она впала в летаргический сон. Теперь она начнет жить: «Жить! Как это чудесно, как хорошо! Несмотря на все горести, на мужей, заботы, долги, родных, пересуды, несмотря на пронзительную грусть и скучные сплетни! Жить — это опьяняет! Это счастье! Это небеса!»

4 января 1831 года госпожа Дюдеван покинула Ноан. Она испытывала радость оттого, что завоевала свободу, и печаль оттого, что оставляет своих детей. Морис плакал, но его утешило обещание прислать ему костюм солдата национальной гвардии с ярко-красным кепи.

Часть третья
Жорж Санд

Разве нас увлекает чувственность? Нет, это жажда чего-то совсем иного. Это мучительное желание найти истинную любовь, которая всегда манит и исчезает.

Мари Дорваль



Глава первая
Два великих провинциала в париже

Она приехала измученная и замерзшая: дверца дилижанса плохо закрывалась. Взволнованный Жюль Сандо в Париже предупредительно встретил ее и отвез в квартиру Ипполита Шатирона на улице Сены в доме № 31. Около них сразу же собралась небольшая группа беррийцев: студент юридического факультета, журналист и пылкий республиканец Феликс Пиа, известный тем, что еще до «трех славных дней» заменил в одном зале для банкетов бюст Карла Десятого бюстом Лафайета, — подвиг, доставивший ему мимолетную славу; студент-медик Эмиль Реньо — наперсник и друг Жюля Сандо; гигант Флёри с пышными усами; основатель беррийского клуба в Париже Габриэль де Плане и самый богатый человек всей ватаги — Гюстав Папе по прозвищу Милорд, плативший всегда в театре за леденцы.

Попав в круг этих юношей, которые все были слегка влюблены в нее, Аврора почувствовала себя счастливой. Париж 1831 года опьянял:

> Революция продолжается непрерывно, как заседания палаты. Кругом штыки, мятежи, руины, а все живут так весело, как будто сейчас мирное время. Мне это очень нравится.

Литература была не менее революционна, чем политика. Это было время великих романтических премьер, на которых матросские бескозырки бросали вызов буржуазной публике. В феврале 1831 года появился роман «Собор Парижской богоматери»; Мишле опубликовал свое «Введение во Всеобщую историю»; Бюлоз стал директором «Ревю де Дё Монд». Несколько позже Мари Дорваль, актриса, обожаемая юными бунтовщиками, создала роль Адели в пьесе «Антони», в которой Дюма встал на защиту незаконных связей и внебрачных детей. «Это волновало, возбуждало, будоражило настолько, что сейчас это даже трудно себе представить». Аврора и ее друзья, готовые выступить на защиту пьесы, находились в партере. В то время женщины сидели только в ложах и на балконе. Для того чтобы свободнее себя чувствовать и меньше тратить на одежду, госпожа Дюдеван стала носить мужской костюм. Ведь когда-то она ездила с Дешартром на охоту в блузе и гетрах, и теперь, переодевшись мужчиной, она не испытывала никакого смущения. Мода помогла этому переодеванию. Мужчины носили свободные рединготы, так называемые «помещичьи», которые доходили до пят, почти не подчеркивая талию. Аврора надела спасительный редингот серого сукна. Серая же шляпа и плотный шерстяной платок на шее делали ее похожей на студента-первокурсника. Но больше всего ее приводили в восторг сапожки. Ах, как было приятно освободиться от остроносых туфелек, скользивших по грязи, как по льду!

Но еще большая радость — освободиться от женского рабства. Идти под руку с каким-нибудь юношей и знать, что не услышишь, как в Ла Шатре, шепота; «Ну, конечно, это в духе госпожи Дюдеван!» А чтобы этот новый образ жизни чувствовался еще полнее, она порвала всякую связь со своим прежним миром. Она вспоминала о своем муже, только когда ей было что-нибудь нужно от него.

> *Аврора — Казимиру:* Будь так добр, распорядись, мне очень нужны деньги на покупку чулок, туфель и пр. Напиши сразу же господину Сальмон, чтобы он вручил мне триста франков. Прощай, друг мой. Я видела мою мать, сестру, Шарля Дюверне и Жюля де Грансань. Скоро пойду слушать Паганини. Обнимаю тебя от всего сердца…

Эти письма были ее повинностью и всегда были краткими. Она нанесла визит в дорогой ее сердцу английский монастырь. Это был прощальный визит. Июльский пушечный выстрел вызвал в общине смятение. Матушка Алисия, печальная и озабоченная, уделила лишь несколько минут той, которая была для нее «дочерью». Аврора поняла, что светские друзья не многого стоят в глазах монахинь. Она навестила своих двух подруг из Котре, Джен и Эме Базуэн. Обе были замужем, стали графинями, богатыми женщинами, привыкшими к лести. Уйдя от них, она твердо решила больше с ними не встречаться; эти очаровательные девушки решили придерживаться в жизни благонамеренности и ортодоксальности. Это было их правом. Аврора Дюдеван предпочитала идти в человеческих дебрях независимо, с высоко поднятой головой, «скользя по льду, под сыплющимся снегом, засунув руки в карманы, иногда с пустым желудком, но зато с головой, полной мечтаний, мелодий, красок, форм, света, химер».

Однако надо было жить. Она не могла больше оставаться у Ипполита. Он часто приезжал в Париж, и ему самому нужна была квартира. А самая маленькая мансарда стоила триста франков в год. Привратнице за помощь по хозяйству надо платить пятнадцать франков в месяц. Трактирщику за обеды по два франка в день. На пенсию в три тысячи франков в крайнем случае можно было бы существовать, если не тратить денег на мебель и на книги. Она пыталась работать в библиотеке, основанной Мазарини. Увы! Она была очень зябкой, а библиотека плохо отапливалась. Зарабатывать деньги — вот что стало настоятельной необходимостью, но как? Расписывать гуашью коробки? Писать портреты за пятнадцать франков? Находились бедняки, которые готовы были делать их за пять франков. Но она сделала неудачный портрет своей привратницы и потому пользовалась плохой репутацией в квартале. Писать? А почему бы и нет?

> Я убедилась, что пишу быстро, легко, могу писать много, не уставая, что мои мысли, вялые в мозгу, когда я пишу, оживают, логически связываются между собой…

Будучи ненаходчивой в разговоре, она становилась очень живой и остроумной в письмах. Короче говоря, она была рождена писателем и понимала это. Ей всегда доставляло удовольствие записывать свои впечатления. В своем багаже она привезла роман «Эме», который она написала в Ноане. Но можно ли сделать средством к существованию то, что до сих пор было для нее лишь развлечением? И как проникнуть в писательский мир?

Самым всемогущим человеком, которого она знала тогда в Париже, был Дюри-Дюфрень, депутат от Ла Шатра. Через несколько дней он уже стал для нее «моим старым добрым другом Дюри-Дюфренем». Он был учтив и мил со своей красивой землячкой; «ваш папа», говорили Авроре сторожа палаты депутатов, когда она приходила к своему депутату в кулуары; ему-то она и рассказала о своем намерении писать. Совершенно естественно, что человек с положением, у которого просят рекомендацию, прежде всего вспоминает о своем начальстве, — Дюри-Дюфрень сказал, что хочет представить ее г-ну де Ла Файету. «Не ищите так высоко, — сказала она, — знаменитым людям некогда и думать о второстепенных вещах». Тогда он заговорил об одном из своих коллег по палате депутатов, о господине де Кератри. Дворянин из Бретани, писатель, либерал в период Реставрации, он стал консерватором после 1830 года. Аврора Дюдеван читала его нелепый роман «Последний из Бомануаров»; в этом романе священник насиловал умершую. «Ваш знаменитый коллега сумасшедший, — сказала она Дюри-Дюфреню, — но можно ведь быть хорошим критиком и плохим практиком». Позже она рассказала, что встреча их была трагикомической. В 8 часов утра господин де Кератри, седовласый старик, принял ее с очень важным видом в прелестной комнате, где под розовым шелковым одеялом спала его молодая жена. «Я буду с вами откровенен, — сказал он ей, — женщина не должна писать. Поверьте мне, не делайте книг, делайте детей». — «Право же,

сударь, — ответила она, давясь от смеха, — храните этот рецепт для себя». Но рассказ написан через двадцать лет после этой встречи, документы рассказывают совсем другую историю.

> *Аврора Дюдеван — Жюлю Букуарану, 12 февраля 1831 года:* Сегодня утром я была у Кератри, и мы беседовали у камина. Я ему рассказала, что мы плакали, читая «Последний из Бомануаров», Он ответил, что этот успех ему дороже, нежели аплодисменты в салонах. Это достойный человек. Я очень надеюсь на его протекцию, чтобы продать мой роман…

У нее была рекомендация от госпожи Дюверне, ее подруги по Ла Шатру, к литератору из Берри Анри де Латушу. С Латушем Аврору связывало многое: он был родственником Дюверне, а его отец был другом Мориса Дюпена; но у него была репутация неуживчивого человека. Гиацинт Табо де Латуш, «этот аристократ по рождению, ненавидел демократию, но находил удовольствие в демагогии». Его язык был столь изысканным, что сначала казался неестественным; на самом же деле это просто была его манера говорить. Он испробовал свои силы во всем: в театре, в литературе, в журналистике, в науке — и блистал во всем, но всегда во втором ряду. Его роман «Фраголетта», в котором женщина, переодетая мужчиной, вела непристойную жизнь, наделал шуму и привел в восторг Теофиля Готье. Латуш был посмертным издателем произведений Андре Шенье; он был одним из первых, кто познакомил Францию с Гёте, но самому достичь славы ему не удалось. Отсюда проистекало его болезненное самолюбие, способность быстро огорчаться и обижаться; больной желудок и расстроенные нервы. Превосходно разбираясь в чужих дарованиях, обладая редчайшим даром распознавать талант, Латуш сам не был талантлив. «Я создал больше авторов, чем произведений», — говорил он с горечью. Так, он был ворчливым учителем молодого Бальзака и очень мудро открыл ему Вальтера Скотта и Фенимора Купера. Однако Бальзак его не любил. Единственным человеком, горячо верившим в Латуша, был Шарль Нодье; его дочери так надоели неистощимые восхваления Латуша, что она говорила: «Какое счастье, что честь создания мира принадлежит богу, иначе мой отец приписал бы ее Латушу».

В глазах маленькой госпожи Дюдеван Латуш был великим человеком. Она отправилась к нему на набережную Малакэ; ее встретил довольно полный мужчина лет сорока пяти, с живым, острым взглядом и превосходными манерами. У него был приглушенный, мягкий, проникновенный голос, одновременно насмешливый и ласковый. В детстве он окривел на один глаз, но это ничуть его не изуродовало; только иногда в мертвом зрачке вспыхивал красноватый огонек, и «это придавало его взгляду какой-то фантастический блеск». Он имел большой успех у женщин: Марселина Деборд-Вальмор полюбила его трагической любовью и родила от него сына.

> *Аврора Дюдеван — Казимиру, 15 января 1831 года:* Я видела господина де Латуша. Он был очень любезен. В воскресенье он повезет меня к мадам Рекамье в Аббэ-о-Буа; Дельфина Гэ должна прочесть там свои стихи, и, несомненно, я увижу многих знаменитостей нашего времени. Сегодня вечером я пойду к нему, чтобы дать ему прочитать мой роман. Очень замята статьей, которая будет помещена в «Ревю де Пари». Кроме того, он предлагает мне еще писать для «Фигаро», но я не хочу. Слова красивые, но сбудутся ли они? Не знаю…

Латуш очень терпеливо выслушал чтение «Эме» — романа, который принесла с собой Аврора. Когда она закончила чтение, он спросил: «У вас есть дети, мадам?» — «О да! Но я не

могу ни взять их к себе, ни вернуться домой». — «И вы собираетесь остаться в Париже и зарабатывать деньги пером?» — «Да, конечно». — «Досадно! Я не нашел тут и намека на успех. Послушайтесь меня, вернитесь домой». Упрямая, как настоящая беррийка, она тем не менее слушала его почтительно. Когда он ей сказал, что в книге отсутствует здравый смысл, она ответила: «Да, вы правы»; когда он сказал, что надо будет все переделать, она ответила: «Это я могу сделать». Казимиру она писала: «Между нами говоря, я никогда не столкуюсь с таким человеком, как Латуш». Но очень скоро ей стало ясно, что, «когда он выплеснет избыток ума», в нем проявляются доброта, преданность и великодушие.

Латуш только что стал во главе сатирической газеты «Фигаро». Во время революции 1830 года Латуш вместе с республиканцами сражался на баррикадах, а затем из духа противоречия стал сражаться огнем эпиграмм против короля-гражданина. Он предложил Авроре работать в редакции. Он с гордостью говорил о своих сотрудниках: «Это целое гнездо орлят, они еще покажут свою силу!» Газета писалась у камина в квартирке на набережной Малакэ. У каждого был свой столик. Аврора поместилась около самого камина и очень боялась испачкать белый ковер своего директора. Ему нравилось поучать, исправлять, давать указания и подбрасывать своим орлятам темы на небольших клочках бумаги, которую он сам же разрезал; на этих клочках должна была уместиться какая-нибудь статья или заметка для смеси (так назывался в «Фигаро» отдел хроники). Замечательный метод научить писать кратко, но это было как раз то, к чему новенькая чувствовала себя совершенно неспособной. Латуш припасал для нее сентиментальные рассказики, но это не помогало. «Я не понимала, как можно начать и кончить в рамках этого ограниченного пространства, и когда я только начинала начинать, надо было уже кончать, и для меня это было невыносимой пыткой». А тем временем в редакции не смолкали смех, разговоры. Латуш блистал остротами и был обаятелен в своей отеческой доброте. «Я слушала, веселилась, не делала ничего стоящего, но в конце месяца он мне давал двенадцать франков пятьдесят сантимов…»

Однако 5 марта 1831 года она одержала небольшую победу. В тот день она написала для смеси статью, высмеивающую правительственные меры предосторожности:

> Господин префект полиции собирается издать новое постановление, пункты которого гласят:
>
> 1. Все граждане, способные носить оружие, обязаны ежедневно охранять Пале-Рояль с 7 часов утра до 11 часов вечера; а ночью с 11 часов вечера до 7 часов утра обязаны охранять соборы и другие общественные здания. А в это время женщины, дети, старики должны охранять свои дома. Семьи, не соблюдающие это распоряжение, будут лишены права на защиту со стороны армии и предоставлены на милость бунтовщиков.
>
> 2. Для того чтобы охранять спокойствие жителей, каждое утро на рассвете на площадях будет дано по двадцать пять пушечных залпов. Все церкви будут бить в, набат, а на всех улицах будут трубить сбор ежечасно, всю ночь. Патруль национальной гвардии, пробегая по улицам, должен выкрикивать: «Поглядывай!» — так, как это принято делать в крепостях.
>
> 3. Каждый хозяин обязан выкопать вокруг дома ров в семь с половиной футов ширины, укрепить ворота, вставить решетки в окна и иметь по меньшей мере двадцать ружей, чтобы в случае необходимости вооружить своих жильцов и слуг. При условии соблюдения всех этих мер предосторожности правительство обещает жителям длительную и полную тишину. Оно обязуется не раскрывать больше двенадцати заговоров в месяц и больше трех мятежей в неделю. По понедельникам, средам и

пятницам будут предупреждать о запрещении всяких сборищ, а по вторникам, четвергам и субботам сборища будут разгоняться…

Весельчаки в кафе аплодировали, но король-гражданин был рассержен. «Фигаро» конфисковали. Госпожа Дюдеван какое-то время надеялась, что правосудие будет искать автора безымянной статьи и что ее арестуют.

> *Аврора Дюдеван — Шарлю Дюверне, 6 марта 1831 года:* Слава богу! Какой скандал в Ла Шатре! Какой ужас, какое отчаяние царит в моей семье! Зато я получила известность: нашлись и издатель, который купил мои плоские остроты, и дураки, которые готовы их читать. Я дала бы девять франков пятьдесят сантимов за счастье быть осужденной…

Увы! Генеральный прокурор прекратил дело.

> Господин Вивьен предписал суду прекратить дело. Тем хуже для меня. Политическое осуждение принесло бы мне славу…

Что касается маленького Жюля, то он тоже дебютировал в литературе. Аврора сначала не решалась рекомендовать его Латушу: она знала, что Латуш скуп на поддержку. И только после того как она завоевала свое «право гражданства», она осмелилась показать Латушу статью Жюля. Статья понравилась. И Сандо тоже устроился в директорской квартире, тоже сидел за небольшим столиком, покрытым красивой скатертью. Несколько позже он принес в «Ревю де Пари» «невероятный» текст, который был написан двумя любовниками и подписан одним Жюлем. Директору «Ревю», Верону, текст понравился. «Я рада за Жюля. Это доказывает, что он добьется успеха. Я решила его приобщить к своей работе или, если хотите, приобщиться к его работе. Так или иначе он дает мне свое имя — ведь я не хочу оглашать свое, — а я ему окажу помощь, когда она будет ему нужна». Она очень настаивала, чтобы это «литературное содружество» оставалось в секрете. «Обо мне столько злословят в Ла Шатре, что не хватает только этого, чтобы меня добить». Не могло быть и речи, чтобы она писала под своим именем. Ее свекровь, овдовевшая баронесса Дюдеван, очень удивилась, что она живет так долго в Париже без Казимира, и спросила ее: «Правда ли, что вы собираетесь писать книги?» — «Да мадам». — «Хорошо, но я надеюсь, что на обложках книг не будет фигурировать имя, которое я ношу». — «О мадам, конечно, нет. Это вам не угрожает».

Сначала влюбленные подписывались: Ж. Сандо. Им казалось, что они обрели счастье. Аврора писала своему наперснику Эмилю Реньо:

> Я искала пылкое сердце, которое любило бы меня так, как я умею любить, утешило бы меня во всех превратностях судьбы, омрачавших мою юность. Хотя я и постарела, я все же нашла сердце, такое же молодое, как мое, нашла привязанность на всю жизнь, привязанность, которую ничто не поколеблет и которая крепнет с каждым днем. Жюль вернул меня к жизни, от которой я устала и которую выносила только из-за детей. Мое будущее раньше было мне отвратительным, а сейчас оно украшено им, связано с его работой, с его успехами, с его достойным и простым поведением. Ах, если бы вы знали, как я его люблю!.. Этот бедный ребенок часто страдает от внезапных приступов тоски; многие ему ставят это в вину… Только вы один ему прощаете это… Надо знать, сколько в нем горячего дружеского участия, сколько безграничной преданности, чтобы легко простить ему эту внешнюю холодность,

иногда овладевающую им…

Она защищала Сандо, потому что его не очень любили парижские беррийцы. «Это был человек безграничного ума, — писал впоследствии Дюверне, — но у него было черствое сердце, он был исполнен мелкого тщеславия и ложного честолюбия». Сандо, прекрасно понимавший эту неприязнь, жаловался на нее. «Ему не надо иметь много друзей, чтобы быть счастливым, но он ужасно страдает, когда сомневается в друзьях», — говорила Аврора. Она скорее по-матерински, чем как любовница, утешала его и заботилась о нем. Слабый здоровьем, он иногда забывал поесть; она следила, чтобы он был всегда сыт. Он не был трудолюбив; она силой усаживала его за стол, обращаясь с ним, как с сыном. Она любила проявлять эту нежную тиранию. Для нее работа была не рабством, а естественной потребностью.

> *Аврора Дюдеван — Жюлю Букуарану, 4 марта 1831 года:* Решительнее, чем когда-либо, я выбираю литературную профессию. Несмотря на неприятности, которые иногда случаются в ней, несмотря на дни лени и усталости, которые прерывают иногда мою работу, несмотря на мою более чем скромную жизнь в Париже, я чувствую, что отныне мое существование осмыслено. У меня есть цель, задача, скажем прямо: страсть. Писательское ремесло — страсть неистовая, нерушимая. Если уж она завладеет каким-нибудь несчастным, ему от нее не избавиться…

Одним словом, она была бы в восторге от своей трудной богемной жизни, если бы не была разлучена со своими детьми. Ее брат присылал ей из Ноана письма, полные грозных предостережений: «Самое ценное, что у тебя есть в жизни, это твой сын. Он тебя любит больше всех на свете. Смотри, чтобы это чувство не потускнело». Слова Ипполита были суровы, но справедливы. Однако Жюль и Аврора твердо верили в то, что они создадут свободную семью, и Морис и Соланж будут вскоре с ними. У любовников был одинаковый вкус и одинаковые привязанности. «Они как безумные взбегали вверх по кривой и узкой лестнице и, вне себя от радости, врывались в свою маленькую комнату. Это был скромный уголок под самым небом, но зато до него никогда не доходил шум улицы… В нем не было ни обоев, ни ковров, но всегда были цветы; это создавало атмосферу вечной весны…» Кто не предсказал бы, что их любовь будет долгой!

Глава вторая
От Жюля Сандо к Жорж Санд

В апреле 1831 года, исполняя данное Казимиру слово, она вернулась в Ноан. Она была встречена так, как будто бы возвратилась из самой обычной поездки. Ее толстушка дочка была хороша, как ясный день; сын чуть не задушил ее в своих объятиях; муж громко кричал и много ел. Она была довольна, попав опять в свой беррийский мирок, но сердце ее было в маленькой комнате на улице Сены.

> *Аврора Дюдеван — Эмилю Реньо:* Мой бог! Я воображаю, как весело освещает нашу комнату это дивное солнце, как оно слепяще отражается в стеклах тех окон, что напротив нас, как разукрашивает солнечными бликами старинные фасады, похожие на индийские пагоды… Деревня сейчас очень хороша. По вечерам в мою комнату врывается запах сирени и ландышей, залетают желтые с черными полосками бабочки; под окном заливаются соловьи, а майские жуки летят прямо на лампу. Все это, конечно, прелестно. Но я всегда ловлю себя на том, что мечтаю о Париже с его туманными вечерами, с его розовыми облаками, плывущими над крышами, с его красивыми ивами нежно-зеленого цвета, осеняющими бронзовую статую старого Генриха, с милыми голубями аспидного цвета, устраивающими свои гнезда в старинных лепных украшениях Пон-Ноф. Ах, мой Париж! Мой дорогой Париж, где можно свободно жить и любить, где мой Жюль, который так меня любит, мой Галл и мой милый колибри… это маленькая комнатка на набережной, где я всех вас ясно вижу, — Жюля в ветхом, засаленном сюртуке, сидящего на своем галстуке, его старую рубашку, красующуюся на трех стульях сразу, Жюля, топающего ногами и в пылу спора ломающего каминные щипцы…

Она поручила Реньо присматривать за Сандо:

> Добрый вечер, красавец Эмиль! Поручаю вам обнять моего маленького Жюля и не дать ему умереть с голоду, по его привычке.

Ей не терпелось вернуться в Париж. Что ей было нужно?

> Иметь средства к жизни и быть вместе. Это все. Это счастье… Две котлеты и сыр; мансарду с видом на Нотр-Дам и на реку; работу, чтобы оплатить жилье и еду. Пусть другие ищут славы, жертвуют своей любовью во имя ненадежной благосклонности публики; мы никогда не последуем их примеру — или мы станем сумасшедшими. Я вижу, что малыш на верном пути к успеху, он зарабатывает на жизнь себе и мне. Этот Бальзак — очаровательный молодой человек; если он полюбит Жюля, и буду считать его порядочным человеком, так как я ценю людей по степени уважения их к моему Жюлю…

Ибо приехавший из Тура Оноре де Бальзак, протежируемый, как и Аврора, де Латушем, подружился с молодыми любовниками; он относился к ним умиленно-благожелательно. Время от времени он оживлял их мансарду шумными и веселыми остротами.

Приближался срок отъезда в Париж. Аврора поручила Реньо найти квартиру в Париже, так как Ипполит требовал, чтобы ему вернули его квартиру: «Жюль не сумеет это сделать, но вы,

это другое дело…» Реньо сначала предложил комнату на острове Сен-Луи на пятом этаже.

> *Аврора Дюдеван — Эмилю Реньо:* Пятый этаж — это немного высоко. Сен-Луи — немного далеко… Одна комната — это недостаточно. У меня есть мать, тетка, сестра, брат — они все явятся, конечно, будут приставать… Если у меня будет только одна комната, я рискую оказаться в ловушке, не смогу спрятаться от них, они меня могут поймать на месте преступления… Нужно, чтобы в квартире был отдельный выход, чтобы Жюль мог сбежать в любое время, так как мой муж может свалиться в один прекрасный день — я не скажу с облаков, — но из дилижанса в четыре часа утра; а так как у него нет пристанища в Париже, он окажет мне честь и приедет ко мне! Посудите сами, что станет со мной, если я услышу его звонок и обнаружу его приятное присутствие по другую сторону двери! Он выломает ее прежде, чем я ее открою, и положение будет в высшей степени драматическим…

Из чего видно, что снисходительность господина Дюдевана имела границы, которые, впрочем, было трудно определить. Добряк Эмиль предложил тогда трехкомнатную квартиру на набережной Сен-Мишель, в доме № 25.

> *30 мая:* Пусть будет набережная Сен-Мишель, я обожаю это место. Я устрою так, что третья комната в глубине не будет видна, она будет забаррикадирована и недоступна для посторонних. Все будут считать, что у меня только две комнаты. Эта, третья, будет черной комнатой, таинственной, тайником привидений, норой чудовища, клеткой дрессированного зверя, нишей сокровищ, пещерой вампира, ну что еще?.. Кончайте переговоры, не спрашивая меня больше…

Она попросила прислать ей план и размеры квартиры, чтобы привезти мебель из Ноана, так как, живя в Ноане, она думала только о своей жизни с Жюлем. Она ходила в лес, где когда-то она часто его встречала, чтобы помечтать о нем; она задавала себе вопрос, каким образом этот «двадцатилетний розовощекий ребенок» мог влюбиться в такую дряхлую хилую мумию.

> *15 июня 1831 года:* Мысль о прошлом вызвала во мне какое-то раздражение. Я спрашивала свою судьбу: почему, когда мне было двадцать лет, когда я была красива (а не такая, как сейчас), когда мое безмятежное сердце было простодушно и доверчиво, когда во мне жила любовь к человечеству, которая не может существовать рядом с жизненным опытом, почему тогда, когда я была создана, чтобы меня любили, — я не встретила Жюля таким, какой он сегодня? А теперь рядом со мной, старой, увядшей, разбитой женщиной, этот полный жгучей страсти юноша…

Каждой влюбленной женщине горько думать, что она не встретила своего любовника тогда, когда она была еще девственной. Но Аврора очень хорошо знала, что она продолжает нравиться молодым людям. Ей было приятно сознавать, что и Реньо и Флёри влюблены в нее. Но этого ей было мало. Она мечтала о фаланстере вчетвером: «Мы настолько связаны друг с другом и любовью и дружбой, что каждый отдельный разговор становится у нас общим. Появляется ли у кого-нибудь из нас мысль, с которой не согласились бы мы все четверо?..»

Нет, она небыла «старой». Ей было двадцать семь лет, и у нее было железное здоровье, хотя она иногда и прибаливала. Живя в Ноане, она работала в саду, скакала верхом до Ла Шатра, чтобы поаплодировать Дюверне, занятому в спектакле, ухаживала за больным Морисом и еще находила время написать «какой-нибудь романтический пустячок, мрачный, как пятьдесят

чертей», с заговорами, палачами, убийцами, ударами кинжалов, агониями, предсмертными хрипами, кровью, ругательствами и проклятиями. «6 часов утра. Я работаю с семи часов вечера. За пять ночей написала целый том. Днем, чтобы отвлечься, занимаюсь с сыном латинским языком, который я совсем не знаю, и французским, который я почти не знаю…» С Казимиром сколько-нибудь серьезных конфликтов нет.

> *Аврора Дюдеван — госпоже Морис Дюпен, 31 мая 1831 года:* Дело в том, что мой муж делает все, что хочет; есть у него любовница или нет, это зависит только от его желания; пьет он мускат или чистую воду, это зависит у него от жажды; приобретает или растрачивает — зависит от его вкуса; строит, сажает, меняет, покупает, распоряжается имуществом и домом — все это он делает так, как считает сам нужным, Я ни при чем… В конце концов справедливость требует, чтобы свобода действий, которой пользуется мой муж, была бы взаимной; иначе он вызовет во мне презрение и отвращение, а этого ему не хочется. Итак, я совершенно независима: ложусь, когда он встает; еду в Ла Шатр или в Рим; возвращаюсь в полночь или в шесть утра — все это мое личное дело…

Поэтому, решив в июле вернуться в Париж и поселиться там, она об этом ни с кем не советовалась. Мать, тетушка и брат бранили ее, она не считалась с ними.

> *Ипполит Шатирон — Казимиру Дюдевану, Париж, 6 июля 1831 года:* Только что получил письмо от Авроры… Твоя жена желает получить свободу. Ей хочется вести легкомысленный образ жизни, ей хочется волнений. Ты не был плохим мужем, тебе отдают справедливость как здесь, так и у нас. Дай ей свободу. Если ей будет плохо, ей не придется упрекать ни тебя, ни меня, ни родителей. Раз она делает все, что хочет, тебе остается только уступить. Примирись с этим, не огорчайся, помалкивай и заботься о своем благосостоянии, о детях…

Авроре понравилась квартира на набережной Сен-Мишель, в одной из мансард большого дома, на углу площади. Три комнаты, выходящие на балкон, небо, вода, воздух, ласточки, а вдали Собор Парижской богоматери. Для покупки мебели она заняла пятьсот франков у Латуша и столько же у Дюри-Дюфреня. Как выплатить такую огромную сумму? Устроить ярмарочное представление?

> *Аврора Дюдеван — Эмилю Реньо:* Плане будет слоном, будет поливать прохожих водой из своих ноздрей: Галл будет жирафом; а малыш Жюль — разбойником Новой Испании. Для вас я храню большую лохань, вы будете изображать моржа или крокодила. Галл будет продавать помаду для волос, Плане — микстуру от бешенства, я — растирание от ревматизма, малыш Жюль — мазь от бородавок, а вы — отраву для крыс. Если мы после всего этого не разбогатеем, нам останется одно — прыгнуть с балкона в Секуану.

> *Аврора — Казимиру:* Право же, я живу очень скромно, не позволяю себе никакой роскоши. Мебель орехового и вишневого дерева, квартира на пятом этаже… И при этом не хватает на самое необходимое. Ты бы очень выручил меня, если бы выслал, сверх обычной суммы еще тысячу франков… Мне кажется, ты мог бы занять деньги в Ла Шатре… Здесь это гораздо труднее сделать. Я купила только самое необходимое для жизни, не предполагая, что мой брат и муж заставят меня просить чужих людей,

> чтобы они помогли уплатить срочные долги… Я должна была бы лучше знать, на что я могу рассчитывать! Я подписала вексель, по которому я должна уплатить 15 августа двести пятьдесят франков моему обойщику. Мать одолжила мне двести франков. Кроме того, надо жить, и мне еще нужно многое: шляпа, ботинки, триста франков краснодеревщику… Твердо знаю одно, что при самой предельной экономии, если я буду платить, мне придется нищенствовать. Есть один выход — морг; он находится против моих окон; я вижу каждый день людей, покончивших с собой из-за двадцати франков. Я не могу питаться святым духом. Жду от тебя ответа, а потом уж обращусь к посторонним лицам. Приятного аппетита…

Своему брату Ипполиту, навестившему ее в начале августа, она устроила сцену в духе Мольера, обвинив в эгоизме и равнодушии его семью, с которой она сама перестала встречаться.

> *Ипполит Шатирон — Казимиру Дюдевану, 5 августа 1831 года:* Я был несколько раз у Авроры. Знаю только одно, что она очень несправедлива ко мне. Она делает все, чтобы отдалиться от всех своих родных, а потом обвиняет меня в эгоизме и равнодушии по отношению к ней. Она мне сказала, что три дня голодала, тогда как мы с женой приглашали ее двадцать раз, а она ни разу не приняла приглашения. Что делать? Ума не приложу. Ее пугает нужда, но ведь она сама пошла на это. Она надеялась зарабатывать литературой; по-видимому, она поняла свое заблуждение. В своем последнем письме она пишет, что, если я соглашусь с тобой и мы лишим ее детей, обречем на постоянное безденежье, сделаем несчастной, она бросится в воду! Она просит меня предупредить тебя об этом, чтобы ты не упрекал себя потом в ее смерти… Я решил дать ей пятьсот франков до конца октября, при условии, что ты возместишь мне эту сумму, — я нисколько в этом не сомневаюсь, — так как, несмотря на все ее экстравагантности… нельзя же оставлять ее в нужде, нельзя, чтобы она оставалась в одиночестве со своими грустными размышлениями, — они могут довести ее до крайности, чего мы себе никогда не простим. Я сказал ей, что ты не откажешься уплатить за мебель и будешь по-прежнему выплачивать ей пенсию в тысячу экю. Я сказал ей, что ты намерен устроить Мориса в Париже, когда окончатся занятия с Букуараном; посоветовал ей, вместо того чтобы вмешивать третье лицо в свои отношения с тобой, проявить к тебе дружбу, доверие; говорил, что в этом случае она получит от тебя гораздо больше, чем думает. Все это довело ее до слез, и я заплакал, так как, несмотря на ее проклятое упрямство, ее нельзя не любить. Она пообещала что возвратиться в Ноан в сентябре…

Она действительно туда приехала, но Жюль вернулся в это же время в Ла Шатр, и любовники вели приблизительно такой же образ жизни, как и в Париже, чем вызвали огромный скандал во всех «трех слоях общества». Они работали вместе над большим романом «Роз и Бланш», за который парижский издатель Рено обещал им выплачивать по сто двадцать пять франков за каждый полученный им том и позднее — через три месяца — пятьсот франков. Реньо было поручено растрогать издателя:

> Обрисуйте в самых трогательных красках нашу бедность; опишите ему плачевное состояние черного сюртука Жюля, почти полное отсутствие жилетов у него, обветшание моей обуви и дряхлость моих косынок… Скажите ему, что в Ниорс открыли подписку на парикмахерские расходы Жюля и что в Ла Шатре сделали

складчину, чтобы меня кормить. С Галлом я встречалась дважды, я его колотила, валяла по земле, обнимала. Он любезен, как бык. У него один разговор, что ему нравится соблазнять, увлекать, насиловать, что он охот; но обирает проходящих мужчин и, как говорит Поль-Луи Курье, делает обратное с проходящими женщинами…[15]

Она не скрывала своих любовных отношений с Жюлем и очень сердилась, когда ее принимали за одну из таких женщин, которые требуют, чтобы «уважали их тайну» и «берегли их репутацию».

Когда мою судьбу мерят тем же аршином, что и судьбу их порядочных женщин, я горжусь тем, что это меня унижает. Как плохо они меня знают! Им нужно только одно, чтобы у меня была незапятнанная репутация! Они краснеют и опускают глаза, когда обо мне говорят как о женщине… Точно так же, как на дне винной бутылки есть осадок, так и на дне дружбы есть себялюбие. Друзья прощают нам, если мы несчастны, скучны, разорены или надоедливы; они прощают нам все, кроме потери нашей репутации в глазах общества…

Со своим любовником она встречалась не только в Ла Шатре; опьяненная независимостью, она стала принимать его в своей комнате в Ноане, хотя и жила теперь на первом этаже. Славный Папе караулил:

Гюстав не ворчал; он предан нам; он по уши увяз в наших безумствах. Он спал под открытым небом в моем саду, в кайаве, все время, пока Жюль находился у меня, так как этой ночью Жюль прошел под самым носом brave, моего мужа, брата, детей, няни и др. Я все рассчитала, все предвидела… Жюль рисковал только одним: в него могли выстрелить, когда он лез в мое окно, но оно всего в шести футах от земли… опасность вроде той, что упадешь в дилижансе или сломаешь ногу, танцуя. Он пришел, и мы были так счастливы… Он был в моей комнате, в моих объятиях, счастливый, покорный, зацелованный, искусанный, кричащий, плачущий, смеющийся. Это была бешеная радость, какой, мне кажется, мы никогда не испытывали. Ну, скажите, разве можно бранить таких разумных, таких счастливых людей? Я хочу, чтобы он пришел и сегодня ночью. Два раза — не так уж много. А продолжать, пожалуй, было бы неосторожно… Мой муж непременно узнает, что Жюль на расстоянии трех ружейных выстрелов от Ноана; до сих пор он об этом не знает. Он на сборе винограда. Спит ночью, как свинья… А я, я чувствую себя разбитой от усталости, от любви, валюсь с ног; во мне неистовая радость.

Аврора Дюдеван — Гюставу Папе: Дорогой Гюстав, как вы добры! Как вы любите Жюля и как я вас люблю за это! Вы лежали, как несчастный солдат на биваке, целую ночь в канаве, а мы в это время — о себялюбивые счастливцы! — не могли оторваться друг от друга! Раз тридцать мы говорили: «Пора!.. Надо идти. Там Гюстав, бедный Гюстав!..» Жюль вам расскажет. Среди самых безумных восторгов мы вас благословляли; ваше имя примешивалось к нашим поцелуям; все наши мысли были с вами… Я уверена, что ваша преданность, ваша близость, беспокойство о нашем счастье делали это счастье еще более пленительным. Эта святая и пылкая дружба — она окружает нас, переполняет, становится частью нашей жизни, возвышает нашу

судьбу до небес. Ах, вы тоже должны быть счастливы, что вас так горячо любят! Попробуйте испытайте нас. А пока, мой бедный друг, мы дарим вам только ревматизм. Бог мой! Как эгоистична любовь в сравнении с дружбой!..

Маленькому Жюлю, не отличавшемуся сильным здоровьем, этот образ жизни не подходил.

> Вы увидите, какой он бледный и худой сейчас. Он делает все, чтобы убить себя. Потерял сон. Днем ленится и бродит, как пес; ночью не ложится, чтобы наверстать упущенное днем. Так и живет. Я еще во многом могла бы его упрекнуть, но я не знаю, как это вам объяснить. Мы еще об этом поговорим с вами, ведь мы оба медики, никакое выражение нам не режет уха. Я в отчаянии, это я знаю твердо. Все в Ла Шатре кричат, что он чахоточный. Я знаю, что это не чахотка, но знаю также, что его здоровье очень подорвано… Я была так счастлива, увидев его, так страстно мне хотелось сжать его в своих объятиях, но сознание, что эта всепоглощающая любовь медленно убивает его, сознание, что эти любовные наслаждения воспламеняют кровь и угрожают его жизни… — это сознание ужасно…

Однако рядом с любовью шла в Ноане и работа. Пять томов «Роз и Бланш» подходили к концу. Это была история жизни актрисы и монахини. Латуш увидел в этом лишь подражание романтикам и Стерну. На этот раз тонкий знаток ошибся. Было в книге и отсутствие чувства меры, были и наивные вещи, но там было и много очаровательного: пейзажи Пиренеев и Жиронды; выразительные персонажи, вроде старой сестры Олимпии, женщины с золотым сердцем и с казарменным жаргоном: приезд епископа; закулисная жизнь. Лучшее было написано Авророй. Она вложила в книгу свои монастырские воспоминания, откровенные признания Софи-Виктории, путевые заметки. Сандо присоединил к этому довольно тяжеловесные шутки, как, например, воспоминания лжескопца; когда книга вышла в свет, этот циничный тон шокировал Софи-Викторию, предпочитавшую, как и многие женщины свободных нравов, целомудренные романы.

> *Аврора Дюдеван — госпоже Морис Дюпен:* Я полностью согласна с вашей критикой. Если вы находите, что сестра Олимпия похожа на солдата, то это ее вина, а не моя. Я ее очень хорошо знала и уверяю вас, что, несмотря на все ее ругательства, это была самая лучшая и самая благородная женщина. Но, впрочем, я не настаиваю на том, что сделала правильно, выбрав ее прототипом этого персонажа. Не все, что правдиво, годится для литературы; в выборе мог проявиться и плохой вкус. А вообще я вам говорила, что это не только моя работа. В ней есть много шуток, которых я не одобряю: я допустила их исключительно для того, чтобы угодить моему издателю. Он хотел, чтобы были и вольности…

На данное время издатель был прав, так как «реалистический» роман быстро разошелся. А Аврора уже работала над другой книгой, но одна. Когда Сандо уехал в Париж, она не сразу последовала за ним. С некоторого времени она находила своего мужа «очень хорошим». А вообще, чего она от него хотела? Чтобы он верил ей и не слушал грязных сплетен, которые наполняют жизнь суетного мира и составляют его главную беду. Это казалось легким. К тому же был Морис, который становился все прелестнее, с которым она занималась историей, пытаясь очистить ее от политических страстей и религиозных предрассудков.

Но в ноябре Реньо написал ей, что Жюль болен, и она помчалась в Париж. Ла Шатр

оказался прав в отношении чахотки. У Жюля был подозрительно устойчивый жар. Она почувствовала угрызения совести. Быть может, злоупотребление чувственными наслаждениями?

> *Аврора Дюдеван — Эмилю Реньо:* Может быть, отправлять его ночевать к вам? Унизительно входить в эти детали. Простите меня, но вы не знаете, какое ужасное беспокойство, какие угрызения совести я испытываю: понимать, что у тебя на руках умирает существо, которому ты бы с радостью отдала свою жизнь; видеть, как день ото дня он худеет, слабеет, убивает себя; знать, что убиваешь его, что твои ласки — яд для него, что твоя любовь — это огонь, который пожирает, убивает его и оставляет лишь пепел. Чудовищное сознание! Жюль не хочет этого понять, он смеется над этим… Он отвечает, что такой смерти можно только позавидовать и что он хочет умереть именно так… Я принесла ему несчастье. В течение трех месяцев я видела, как он умирает у меня на руках от горя. Сотни раз я видела, как он теряет сознание, и все-таки я сопротивлялась… Наконец, боясь его убить, я ему уступила. Для его спасения я пожертвовала своей волей, а моя воля чего-то стоит! И вот сегодня я трепещу при мысли, что своим самопожертвованием я причинила ему большее зло, чем своим сопротивлением. Я его убиваю, и наслаждения, которые я ему даю, стоят ему жизни. Я его шагреневая кожа…

В декабре появился роман «Роз и Бланш». Читатели и критики встретили его довольно хорошо. Казимир приехал в Париж. На набережной Сен-Мишель все было предпринято в смысле безопасности, и господин Дюдеван провел в столице несколько счастливых дней.

> *Аврора Дюдеван — Казимиру, 21 декабря 1831 года:* Я уже привыкла к очень скромной жизни, так что твое пребывание здесь было для меня периодом кутежей и щедрых трат. Благодарю тебя за все, а кроме того, и за красивое платье, мне принесли его сегодня. Вечером после твоего отъезда у меня было что-то вроде прилива крови к голове… Прощай, дружище; пиши о себе и поцелуй за меня крошек. Обнимаю тебя от всего сердца… Вышли мне, пожалуйста, мерку твоей ноги, я сейчас вышиваю тебе комнатные туфли, но у меня нет мерки.

И вскоре она последовала за мужем в Ноан. Старый дом нуждался в ее присутствии, так как там происходили домашние драмы. Букуарана обвиняли в том, что забеременела Клара, горничная жены Ипполита. Аврора отнеслась к этому событию легко:

> *Жюлю Букуарану:* Пусть мой муж и мой брат — виновники этой истории, пусть Дютей, Жюль или Шарль помогли им, мне все равно. Они все порядочные скряги и боятся, что уплатят за кого-нибудь другого. Значит, им надо открыть подписку! Но вы ведь тоже поработали; вы самый бедный, но и вам придется платить…

На этот раз Аврора пробыла в Париже недолго, она говорила, что плохо себя чувствует; Реньо ей советовал пожить в деревне; главное же, ей хотелось работать со спокойной душой, а тишина одиноких ночей в Ноаие была ни с чем не сравнима… Вскоре, однако, она почувствовала себя чрезвычайно плохо, чуть ли не при смерти, и тут же дала об этом знать добряку Реньо:

> Мой милый Эмиль, болезнь прогрессирует, и этого уже не скроешь даже от самой себя. Я постоянно задыхаюсь, стоит пройтись по комнате, и сразу же нет сил: жжение

в желудке, боли. Не дайте мне умереть, мой добрый Эмиль…

Он ответил, что приедет; тогда она отступила:

Вам не нужно приезжать за мной; мой брат и муж встретят вас прескверно; они совершенно уверены, что я притворяюсь больной…

В этом они были действительно правы, но ей казалось, что у нее холера, болезнь модная в то время. Наконец, она успокоила своего друга:

Холера приостановилась; сплю прекрасно. Я была бы в отчаянии, если бы вернулась к Жюлю в таком виде: бледная, под глазами огромные круги, еле передвигаюсь по комнате, а за столом сижу с таким кислым лицом, что хуже не придумаешь…

Она появилась вновь на набережной Сен-Мишель весной 1832 года и привезла с собой свою толстушку — дочь Соланж и свой новый роман «Индиана».

Глава третья
Рождение Жорж Санд

Появление в Париже Соланж удивило беррийских друзей Авроры. Прилично ли матери взять к себе, в незаконную семью, ребенка трех с половиной лет?

> *Аврора Дюдеван — Эмилю Реньо:* Да, мой друг, я привожу Соланж и не боюсь, что она будет испытывать неудобства из-за моей холостой жизни. Я изменю свой жизненный режим, приспособлю его к потребностям девочки; не вижу в этом ничего трудного и никакой заслуги. Думаю, что и Жюль но будет жаловаться. Мы привыкнем медленнее ходить по улице, чтобы маленькие детские ножки могли успевать за нами… Ежедневно мы будем ходить на два-три часа в Люксембургский сад, с книгами и с ребенком. Обедать будем, как всегда, у себя дома. Спать она будет на диване, мы постелем ей маленький матрац; и в ее три с половиной года, уверяю вас, ей в голову не придет делать замечания или спрашивать объяснения, задавать вопросы или болтать. Даже Морис не способен на это, так он невинен! Пусть ваша нравственность успокоится. Я, как самая добродетельная мать, ни в коем случае не хочу шокировать свою дочь… К тому же она глупа, как гусыня…

Само собой разумеется, что они оба отказались от театра. Велика беда! Они готовы были принести в жертву «Роберта Дьявола» и Малибран за одну слезинку Соланж. И действительно, все устроилось как нельзя лучше. Жюль был без ума от своей «дочки», водил ее в Зоологический сад, когда там благоухали акации; показывал ей в Зоологическом саду жирафу, причем Соланж утверждала, что уже видела ее на лугу в Ноане; дома, на набережной Сен-Мишель, он держал ее за руку на балконе, когда она поливала дюжину цветочных горшков, составлявших висячий сад ее матери. Как-то Соланж сломала несколько стебельков и, боясь, как бы ей не попало, пыталась их склеить облаткой для запечатывания писем. Фривольная гравюра превращалась в картину Грёза.

Что касается «Индианы», то Сандо прочел рукопись своей любовницы с восторгом, удивлением и с каким-то чувством неловкости. Это было слишком хорошо и, по его мнению, слишком серьезно. Как подобает порядочному человеку, он отказался подписать произведение, над которым не работал. Но какой же ей в таком случае взять псевдоним? Ж. Сандо, их общее имя, получило уже благодаря «Роз и Бланш» определенную известность. Подписать Дюдеван было невозможно; ее свекровь и муж были бы против; а ее мать нашла бы неуместным, чтобы Аврора подписывалась Дюпен. Был найден компромисс: она сохранит фамилию Санд и изменит имя. Так родился Жорж Санд, ибо она упорно настаивала на мужском имени. Одержимая мыслью о рабском положении женщин, она хотела избавиться от него, изменив имя и весь свой облик. С этого дня она ставила в мужской род все прилагательные, которые относились к ней.

В конце мая издатель (Ж. П. Роре и Дюпюи) отослал на набережную Сен-Мишель первый экземпляр вышедшего романа. Тотчас же появился в мансарде и Латуш, как всегда любопытный, тревожный и насмешливый. Взял роман и стал его перелистывать. «Позволь! это же подражание; школа Бальзака! Ну, конечно, подражание! Конечно, Бальзак!» Аврора была на балконе. Держа книгу в руках, он подошел к ней и, как дважды два — четыре, доказал ей, что она копировала манеру Бальзака. Она знала, что не заслужила подобного упрека, но не защищалась. Латуш унес с собой надписанный ею экземпляр. На следующее утро она получила от него записку: «Жорж, я приношу публичное покаяние; я на коленях. Забудьте мою

вчерашнюю грубость; забудьте все резкости, сказанные мной за эти полгода. Я провел всю ночь за чтением вашей книги. О дитя мое, как я доволен вами!»

Радость! Радость! Это взволнованное восхищение язвительного и сурового судьи было упоительно! Вскоре все газеты повторяли то же самое. Бальзак в «Ла карикатюр» написал: «Эта книга является реакцией правды против фантастики, современности — против средневековья, личной драмы — против тирании исторического жанра… Я не знаю ничего, что было бы написано так просто, задумано так восхитительно. События следуют одно за другим, теснят друг друга, безыскусственно, как в жизни, где все сталкивается, где часто по воле случая совершается больше трагедий, чем мог бы придумать Шекспир. Одним словом, успех книги обеспечен…» В «Ревю де Дё Монд» Гюстав Планш, Гюстав Жестокий, пугало писателей, хулитель самого Гюго и Бальзака, от которого, говорил он с отвращением, «пахнет опиумом, пуншем и кофе», восхвалял до небес молодую писательницу. Он считал ее выше мадам де Сталь: он превозносил ее искреннее красноречие, простоту выражений: «Несомненно, автор «Индианы» станет когда-нибудь более искусной. Но усовершенствование мастерства ее таланта будет ли стоить теперешней ее смелости, основанной на неведении?..»

Она поблагодарила. Он пришел ее навестить и от имени Бюлоза, нового директора «Ревю», предложил ей сотрудничество в журнале. Планш показался Авроре странным человеком, очень раздражительным и угрюмым. В молодости ему пришлось вести борьбу со своим отцом, враждебно относившимся к литературному призванию сына; с тех пор Планш сохранил черты строптивости и нелюдимости. «Состарившись, быть может, от горького одиночества и от чересчур глубокого понимания жизни, он легко проникал в чужие мысли, без всякой цели, без системы… Это был безжалостный ум… Критика была его опиумом, а гарем уже написанных книг отбил у него охоту писать что-либо новое…» Этот высокий ум, эта большая культура жили в запущенном, нечистоплотном теле. Напрасно Бюлоз покупал ему костюмы. Планш их продавал и с удовольствием влезал в свои старые, засаленные куртки. Удовлетворенный своим даром — понимать все, «он созерцал себя в необъятных просторах своего интеллектуального царства и отказывался от внешней формы с беспечностью Диогена».

Санд нравился такой тип мужчины — независимый, гордый и бедный. У них завязалась дружба, и Санд заключила сделку с Бюлозом. За четыре тысячи франков в год она обязалась писать в «Ревю» еженедельно тридцать две страницы текста. А так как в это же время издатели «Индианы» предложили ей аванс — тысячу пятьсот франков — за другой ее роман, «Валентина», о котором она говорила с ними, Санд почувствовала себя сразу и знаменитой и богатой.

Что же представляла собой «Индиана»? Санд сама говорила об этом в предисловии:

> Индиана, если уж вам так хочется все объяснить в этой книге, — это тип: это слабая женщина, полная страсти, которую она должна подавить в себе, или, если вам угодно, страсти, которая осуждается законом; это воля, которая борется с неизбежностью; это любовь, которая слепо натыкается на все противодействия цивилизации.

Итак, роман выражал собственные чувства автора. Но художественное перевоплощение было полным. Не нужно искать среди персонажей книги портреты Казимира и Сандо. Разве что у героини романа, креолки по крови, также был тот смуглый цвет лица индианки, которым всегда любовались друзья Авроры. Некоторые черты были присущи и героине и автору «Индианы». «Она не любила своего мужа потому, что ее заставляли его любить, и ее сознательная борьба против любого морального принуждения стала ее второй природой,

принципом поведения, законом совести…» Индиана разочаровалась в своем любовнике по имени Раймон де Рамьер (он напоминал немного Орельена де Сез), так же, как и в своем муже, полковнике Дельмаре, грубом, вульгарном, но не злом человеке. Основная тема — противопоставление женщины, ищущей всепоглощающей любви, мужчине, скорее чувственному и тщеславному, чем влюбленному. Спасение приходит в конце, очень притянутом, в лице благородного, невозмутимо спокойного кузена-англичанина, сэра Ральфа Брауна, Который увозит Индиану в идиллическую долину ее детства. (Путевые записки мальгаша Жюля Неро дали автору материал для чудесного описания острова Бурбон.)

Валентина, героиня второго романа, также была светской женщиной, неудачно вышедшей замуж за человека посредственного, но своего круга, и полюбившей сына фермера, Бенедикта. Книга понравилась, так как перенос действия в народную среду казался таким же романтичным, как перенос действия в прошлое. Аврора описывала в ней уголок Берри, который она назвала Черной Долиной. Поэзия медленно проникает в душу читателя и в ткань прозы. Аврора двадцать четыре года прожила среди этих искалеченных деревьев, этих тенистых кустарников, на берегу этих ручьев; она превосходно их описывала. Всем читателям понравился этот сельский роман. Что же касается социальной темы книги, то в зависимости от политических взглядов одни хвалили, а другие осуждали призыв к слиянию классов.

Значение сен-симонизма, после нескольких лет огромного успеха среди интеллигенции, потом было подорвано разногласиями между его приверженцами по вопросу о браке. Отец Анфантен, старший жрец этой церкви, учил, что освобождение той женщины, которая подчиняется закону верности, невозможно. Отлучение от церкви, которым христианская мораль наказывала плотскую любовь, должно быть уничтожено. Все, кто проповедовал эти доктрины, после чтения «Индианы» и «Валентины» сразу обратились к Жорж Санд. Эта смелая молодая женщина, яростно боровшаяся против супружеских союзов, ставшая сразу знаменитой, — может быть, именно она будет для их церкви долгожданной богородицей? Сен-симонисты надеялись на это и попытались завербовать ее. Она не пошла на это.

Крестьянская осторожность, женская мудрость. Тем не менее весь этот шум преобразил ее жизнь. Она не ходила больше в редакцию, но и дома ей надоедали слишком многочисленные посетители. Вечерами она закрывалась в своей комнате, где были ее перья, чернила, пианино и огонь. Зябкая и трудолюбивая, она любила эти ночи; ей было тепло и легко работалось. Длинные повести без усилия появлялись на свет из-под ее пера: «Метела», «Маркиза» (где она вывела свою бабушку Дюпен де Франкёй). Сандо, наблюдая эту литературную плодовитость, чувствовал себя немного униженным. Она уговаривала его последовать ее примеру. Напрасно. «Ты хочешь, чтобы я работал, — писал он ей, — мне тоже хотелось бы, но я не могу! У меня нет, как у тебя, стальной пружины в голове! Ведь тебе стоит только нажать кнопку, как сейчас же начинает действовать воля…» Неистощимая продуктивность его любовницы внушала ему смутную боязнь потерять ее.

Она защищала свою свободу от любовника так же, как защищала ее от мужа. «Иду, куда хочу, — говорила она ему довольно жестко, — и не желаю отчитываться ни перед кем». В 1832 году Латуш, завистливый и недовольный всем и всеми, постепенно поддался мании преследования; он выехал из Парижа в Онэй, в Валле-о-Лу Шатобриана.

Он убегает, прячется во мгле,
в долину Волчью удирает, в глушь.
В лишенной лавров и глухой земле
спокойно спите, господин Латуш.

Уезжая из Парижа, он передал Санд свою квартиру на набережной Малакэ, где произошло их знакомство. Теперь уже ей принадлежали большой белый ковер и акация, буйно вторгавшаяся в окно. Какое повышение! Летом 1832 года она часто ездила к Латушу в Онэй. Сначала ехала на дилижансе до Со, затем по тропинке добиралась до одинокого домика поэта-мизантропа. Эти встречи были нежными и счастливыми; они разговаривали до позднего вечера: Жорж ходила в курятник за яйцами, в сад — за фруктами и готовила обед. «Меня уверяли, что он был влюблен в меня, ревновал, не признаваясь в этом, и оскорблялся, что он не понят. Это не так…» Бальзак считал, что это связь, но письма Латуша говорили скорее о влюбленной дружбе, разочарованной и полной сожалений.

> *Латуш — Жорж Санд:* Я знаю, что вы изменчивы, но в вас есть частица человечности, и она приносит свои плоды. Ваше восхитительное письмо доставило мне единственный момент счастья за целый год. Я не обвиняю вас в неблагодарности судьбе, моя любимая… Я согласен с вами вопреки всем; но все же оглянитесь-ка вокруг: сколько у вас есть поводов для того, чтобы сносить терпеливо жизнь! Вам дано все: материнство, слава, друзья; вы имеете полное право на все блага мира! Никогда не говорите обо мне… мое бедное дитя! Я уже давно умер; и когда я уже стал привыкать к могиле, когда я сроднился с другим миром, не надо вызывать меня обратно. В этом мире только счастливые не испытывают одиночества. Все добродетели собраны в слове преуспевать. Уверяю вас, что лучше лечь в могилу, чем искать внешних почестей… Кроме того, если бы я жил, я бы вас чересчур любил; вчера я перечитал четыре письма Руссо к Саре и похвалил себя за то, что, отжив свой век, я вовремя подал в отставку. Прощайте, но по-прежнему я ваш старый слуга из долины Онэй, из Долины Волков. Принесите ему горшочек масла, а главное — какой-нибудь роман автора «Индианы»…

Неожиданной гостьей, радостно встреченной в доме на набережной Малакэ, была Мари Дорваль, великая романтическая актриса, исполнительница главных ролей в пьесах Дюма и Виньи. Жорж, которая всегда страстно ею восхищалась, написала ей и в своем письме попросила актрису принять ее. Однажды утром, когда Жорж разговаривала с Сандо, дверь комнаты раскрылась, и какая-то женщина, еле переводя дыхание, закричала: «Вот и я! Это я!» Санд никогда не видела ее в жизни, но тотчас же узнала. Невысокого роста, шатенка, хрупкая, с локонами на лбу, с затуманенными глазами, трепещущими губами, одухотворенным лицом, Дорваль была больше, чем красива, она была очаровательна; и все же она была красива, но так очаровательна, что красота была уже лишней. Это не было лицо, это был характер, это была душа. Она была худа, ее фигура напоминала тонкий тростник, казалось колебавшийся от какого-то таинственного дыхания, уловимого только им одним. Жюль Сандо тогда сравнил ее с опущенным пером, украшавшим ее шляпу. «Я уверен, — сказал он, — что во всем мире нельзя найти такое легкое и пушистое перышко, как то, которое она нашла. Это чудесное единственное перо прилетело к ней по закону родства или же оно упало из крыла какой-то пролетающей феи».

Дорваль сыграла большую роль в жизни Жорж Санд. Вопреки пылкости ее писем Санд никогда не находила в любви мужчин ту абсолютную страсть, то счастливое забвение, то отдохновение, которое она в ней искала. В хрупком Сандо недоставало человеческого тепла; Санд старалась изо всех сил убедить себя, что она его безумно любит. Она пламенно стремилась к чувственному наслаждению и не обрела его. Мари Дорваль была такой, какой хотелось быть Жорж.

Чтобы понять, какую власть она имеет надо мной, надо бы знать, до какой степени она не похожа на меня… Она! Бог вложил в нее редкий дар — умение выражать свои чувства… Эта женщина, такая прекрасная, такая простая, ничему не училась; она все отгадывает… Я не знаю, какими словами объяснить мою холодность, какое-то несовершенство моей натуры. Я не умею выражать свои чувства. По-видимому, что-то парализует мой мозг, что-то мешает моим ощущениям найти форму выражения… И когда эта хрупкая женщина появляется на сцене со своей будто надломленной фигурой, со своей небрежной походкой, с печальным и проникновенным взглядом, тогда знаете, что мне представляется?.. Мне кажется, что я вижу свою душу…

Незаконная дочь актрисы и актера бродячей труппы, выросшая среди людей с бурными и низменными чувствами, Дорваль, впадая в бешенство, ругалась, как базарная торговка. В жизни она производила впечатление человека, который уже все видел, все сказал, все сделал. На сцене эта удивительная женщина становилась трепещущей, вдохновенной, переполненной страстью. Дьявол во плоти. Нераскаявшаяся Магдалина. Двадцатидвухлетняя вдова коменданта Аллана Дорваль, мать трех дочерей, Мари Дорваль в 1829 году вышла замуж за Жана-Туссена Мерль; он был директором театра Порт-Сен-Мартен и снисходительным мужем. В 1831 году Альфред де Виньи стал настойчиво ухаживать за ней. Странная пара. Кавалер Мальтийского ордена, граф де Виньи, надменный и мечтательный; Мари Дорваль, циничная и пылкая. Сент-Бёв упрекал Виньи в том, что он, подобно обелиску, замкнут и недвижим; Дорваль же была доступной и легкой в обращении. Но у Виньи под маской сурового стоика скрывалась чувственность. Страстно влюбленный, он верил, что поднимет падшего ангела. Что может быть более восхитительным, чем актриса в своей ложе, перед зеркалом «меняющая свое существо»! Они обменивались мистическими размышлениями и бурными ласками. Смеясь, она говорила Александру Дюма: «Я становлюсь паинькой; я опять обретаю невинность. Когда же родители господина графа придут просить моей руки?» В самом начале их связи Виньи ни о чем не сожалел и не испытывал угрызений совести: «Жизнь богаче в пожаре страстей».

Дорваль тут же пригласила чету Сандо-Санд к себе на обед. Кроме них, были ее муж и Виньи. Жорж пришла в очень узких брюках и в сапожках с кисточками. Виньи был шокирован: «Этой женщине можно дать лет двадцать пять. Она очень напоминает знаменитую картину «Юдифь». Черные завитые волосы падают до плеч, как у ангелов Рафаэля. Большие черные глаза — как у великолепных, полных тайны итальянских головок. Строгое лицо неподвижно. Нижняя часть лица малоприятна, рот некрасив. Неизящная манера держаться, грубость в разговоре. Внешность, речь, звук голоса, смелость высказываний — все мужское…» Санд отнеслась к нему более справедливо: «Внешне господин де Виньи не в моем вкусе, но уверяю вас, что при ближайшем знакомстве он выигрывает…» Вскоре тесная дружба двух женщин стала расти и крепнуть.

Жорж Санд — Мари Дорваль: Вы уверены, что сможете меня выносить? Сейчас вы еще не знаете этого, я тем более. Я такой медведь, такая глупая, неловкая, ненаходчивая, что как раз тогда, когда я хочу высказать очень многое, я немею! Не судите меня по внешнему виду. Подождите какое-то время, чтобы понять, сможете ли вы подарить мне немного жалости и любви. А я, я чувствую, что люблю вас всем сердцем, что благодаря вам мое сердце стало совсем другим, опять молодым. Если это мечта, как бывало часто в моей жизни, не отбирайте ее у меня слишком быстро. Она дает мне так много! Прощайте, великая и прекрасная. Во всяком случае, я вас увижу

сегодня вечером.

Гениальная Мари раскрыла целый мир радостей перед госпожой Дюдеван, так и оставшейся, несмотря на близость к богемному кругу, буржуазкой из Ла Шатра. Встревоженный Виньи почувствовал опасность: «Жизнь этой женщины для меня загадка. Время от времени она ездит в деревню к своему мужу, а в Париже живет со своим любовником. И при этом какие-то странные товарищеские отношения с Жюлем, Жаненом и Латушем…»

Писательский Париж был всегда очень маленьким городом. Как некогда в Ла Шатре, добрые души приписывали теперь Авроре трех любовников: Сандо, Латуша и Планша. Сандо, который знал об этом, ревновал. Он понимал, что ему не удалось преодолеть холодность своей любовницы; иногда где-то на стороне он искал и находил быстропреходящее и незначительное утешение, и он боялся, как бы Аврора не сделала того же. Расстаться с ней было не в его силах.

Глава четвертая
РАЗРЫВ

Ноан. Лето 1832 года. Прошло всего несколько месяцев ее независимой жизни, а она вернулась уже знаменитой в дом, где прошло ее детство. События опередили ее самые дерзновенные мечты. И все же жизнь ей казалась горькой и пустой. Напрасно бродила она по своим любимым тропинкам. «Все стало некрасивым. Где дни моей молодости, свежести и поэзии, дни, которые оживляли этот овраг, эту речку, эти красивые луга?» Один только маленький ручеек сохранил свой дивный запах мяты и душистых трав: «Этот ручеек похож на душу, оставшуюся чистой посреди гибельных бурь, посреди всеобщей развращенности». Аврора нашла дерево, на котором Сандо вырезал их имена: дерево было подрезано по приказанию Казимира. «Как я была счастлива, как мы были молоды тогда! Как пустынно сейчас это место, мрачно и безотрадно! Все проходит… Счастье уходит, места изменяются, сердце стареет».

Горькая истина была в том, что она устала от любовника, не дававшего ей ни наслаждений тела, ни радости восхищения им. «Оставшись без него, она испытала чувство избавления. Это ее поразило». В тот год Сандо не приехал в Ла Шатр; его отец получил назначение в Партеней. Аврора не звала его. Она писала письма своим друзьям-мужчинам; письма столь нежные, что нельзя было понять, любовные они или дружеские. «Добрый вечер, мой любимый… Скоро я буду в ваших объятиях, мой друг… Я обнимаю вас от всего сердца!..» Это был обычный стиль госпожи Дюдеван, и, конечно, ничего не доказывал, но Жюль был встревожен и старался успокоить самого себя.

> *Сандо — Папе, Партеней, 4 августа 1832 года:* Пишу тебе из Сомюра; я просил тебя писать мне часто. Теперь я заклинаю тебя об этом! Пиши мне об Авроре, о ее дочке… Милый друг! Я не буду в этом году нарушать твой сон, вламываться в твою дверь и тащить тебя, не знающего ни страсти, ни любви, до полям и дорогам, чтобы потом, лежа в канаве Ноана, ты прислушивался, как бьют часы в Ла Шатре полночь. Спи спокойно, но вспоминай иногда обо мне и об этих безумных ночах, как буду вспоминать я и, вспоминая, любить тебя еще больше. Пойди к Авроре; навещай ее часто. Ты хочешь, чтобы я просил ее хорошо относиться к тебе. Ты сошел с ума? Разве ты не знаешь, как она тебя любит? Разве мы не друзья твои? Когда увидишь ее, поговори обо мне; пусть ее жизнь будет счастливой, мирной; пусть она спит спокойно и безмятежно. Скажи ей, что я люблю ее и что без нее у меня нет жизни…

Но Аврора потеряла веру в его любовь. Да и какой мужчина мог бы не разочаровать ее? Она мечтала об идеальном любовнике, который был бы ее повелителем, богом, а выбирала слабого человека с обычными человеческими слабостями, потому что ей самой хотелось повелевать. Она была мужчиной, и ей хотелось свободы; она была женщиной, и ей хотелось иметь свое «гнездо» и своих малышей. Она уехала из Ноана, чтобы жить независимой жизнью, но, лишившись своего дома и своей хозяйской деятельности, она поняла, что страсть, сведенная только к ласкам, не может ее удовлетворить. Неопытный юнец Сандо любил неумело, потому что слишком сильно любил. Он не знал, что «женская гордость презирает любовника, настолько неблагоразумного, что он готов принести ей в жертву свою мужскую гордость». Тем не менее Авроре было бы неприятно порвать эту связь; после такой сильной огласки благополучие этого романа стало для нее вопросом самолюбия, но она знала цену своему чувству. Когда она решила вернуться в Париж, она написала Гюставу Папе: «Я еду с волнением в крови и с отчаянием в сердце; но вы

не вмешивайтесь в это… Я еду к Жюлю. Если мы не поймем друг друга, то нам никто не сможет помочь…»

В октябре 1832 года она возобновила совместную жизнь с Сандо. Наступило примирение, они обменялись кольцами, но длилось это недолго. В их близость вошло недовольство. Безделье Жюля, «который праздновал и горе и радость», приводило в отчаяние неутомимую в работе Аврору. «Богемная жизнь свободных художников, которая когда-то ее прельщала, смена богатства и бедности, которую она находила когда-то поэтичной, — все это казалось ей сейчас эксцентричностью дурного вкуса или по меньшей мере ребячеством». Некоторые друзья строго осуждали Жорж. Они любили эту молодую пару, которая в их глазах являлась воплощением романтической любви. Они были недовольны, что их героиня показала свою уязвимую сторону. Общественное мнение упорно приписывало ей Латуша и Планша; Бальзак верил этому, Сент-Бёв утверждал, Санд отрицала, но Эмиль Реньо, который знал ее близко, упрекал ее в «ненасытном кокетстве». В свою очередь, она жаловалась на Жюля. Отказавшись под предлогом работы от совместной жизни, она сняла для Жюля небольшую квартирку на Университетской улице в доме 17. Она обвиняла Жюля в том, что он принимал в этой квартире своих любовниц. В своем «Дневнике» летом 1832 года она писала: «Пусть другие привыкают по лени и прощают по равнодушию, но у нас — если бы произошла серьезная обида — возвращение было бы невозможным». Если любовник не был божеством, которого она жаждала, он становился идолом, которого надо было свергнуть с пьедестала.

С каждым днем атмосфера сгущалась: «Сначала это были сцены, возникавшие совершенно непонятно почему и кончавшиеся рыданиями и ласками, — легкие грозы, играющие в любви — пока к ним примешиваются слезы — ту же роль, что и ливень для земли в сильную жару. Вскоре, однако, разразились такие грозы, когда слова взрывались в воздухе и поражали, как молния…» На Аврору, апатичную в повседневной жизни, в решающие минуты нападали приступы внезапного гнева и бешеной вспыльчивости. Она долго колебалась, прежде чем пойти на разрыв, — для нее это был вопрос чести. Но когда в начале 1833 года это решение было уже принято ею, она порвала сразу, по-мужски.

Это она сдала внаем квартиру Жюля, достала для него паспорт, купила ему билет в Италию и одолжила деньги на дорогу. Гораздо позже Сандо рассказал об этом необычном разрыве Полю де Мюссе, злоупотребившему его доверием. Аврора, если верить Полю де Мюссе, якобы сказала Жюлю: «Нужно ехать», и обещала, что придет в мужском костюме попрощаться с ним. Она и действительно вошла к нему решительными шагами, в сером рединготе, в отутюженных брюках. «Давай вместе уложим твои вещи…» На самом же деле Сандо уехал не сразу. Только 1 июня 1833 года Бальзак написал Незнакомке: «Сандо только что уехал в Италию. Он в отчаянии, показался мне безумным…»

Маленький Жюль принял ацетат морфия, но принял слишком большую дозу, и его вырвало. В этом любовном дуэте он сыграл роль гризетки. Все строго осуждали Аврору, но все это было не так просто. Она действовала жестоко, чтобы покончить с тяготившею ее привязанностью, но это не помешало ей отнестись к своей жертве с большой человечностью. В день разрыва она направила Реньо к Сандо:

> Идите к Жюлю и позаботьтесь о его телесном здоровье. Душа его разбита. Вам ее уже не восстановить, не пытайтесь. Мне ничего не нужно. Мне лучше быть одной сегодня. Мне уже нечего ждать от жизни. Сделайте все, чтобы он жил. Он еще долго будет страдать, но он так молод! Может быть, когда-нибудь он не пожалеет, что

остался жить. Вы его не покинете, я тоже. Я навещу его сегодня, буду к нему ходить каждый день. Убедите его, что он не должен оставлять свою работу и добавлять ко всем другим неприятностям еще и материальные. Он никогда не посмеет — у него нет права — помешать мне быть для него матерью. Идите же к нему, идите, мой друг…

Порвав эту связь, она успокоилась и опять стала той деятельной женщиной, какой она умела быть.

Жорж Санд — Эмилю Реньо, 15 июня 1833 года: Я только что написала господину Дегранж, чтобы он освободил квартиру Жюля и прислал мне два неуплаченных счета, которые я хочу оплатить; таким образом, квартира останется за мной до января 1834 года… Остаток своей мебели я перевезу к себе. Уложу костюмы Жюля, оставшиеся в шкафу, сделаю пакет и попрошу отнести его к вам, так как не хочу ни встречаться, ни разговаривать с ним по его возвращении, которое, судя по последним словам его письма к вам, должно быть или может быть скорым. Меня так глубоко оскорбило то, что я узнала о его поведении, что во мне осталась к нему только искренняя жалость. Мне хочется думать, что его гордость не позволит пойти на это. Если будет нужно, дайте ему понять, что ничто в будущем не сможет нас сблизить. Если можно отказаться от этого тяжелого поручения, то сеть если Жюль понимает сам, что все должно быть именно так, — избавьте его от огорчения узнать, что он все потерял, даже мое уважение. Без сомнения, он потерял и свое собственное. Он достаточно наказан. Пожалейте меня, мой друг, что мне пришлось высказать вам все это. Почему я полюбила не вас? Не пришлось бы мне раскаиваться, не плакала бы я так горько сейчас! Но это моя последняя ошибка в жизни. Отныне между чистой дружбой и мной нет никаких препятствий…

Тем не менее всегда будет стена между чистой дружбой и красивой женщиной. Не только разрыв с Сандо омрачил для Санд 1833 год. Латуш, человек болезненно-обидчивый, ревниво относился к своим ученикам (как старый Порпора из «Консуэло»). Если уж он «вывел талант», он не мог допусгить, чтобы орленок полетел на своих крыльях. Он поссорился с Бальзаком после того, как покровительствовал ему. Бальзак писал Незнакомке: «Латуш завистлив, зол и полон ненависти; это бочка яду»; он же уверял, будто бы Латуш настолько спесив, что для своей могильной плиты выбрал бы только следующую эпитафию: «Анри Латушу. Благодарный XIX век». Словом, эти два человека перестали разговаривать друг с другом; Латуш упрекал Санд, что она принимает у себя Бальзака, а Бальзак, в свою очередь, говорил Жорж: «Берегитесь! В один прекрасный день по непонятной причине вы найдете в Латуше смертельного врага».

Мера переполнилась, когда Латуш написал против группы молодых романтиков статью «Литературная клика»; Планш ответил ужасной статьей «Литературные ненависти». Латуш был уязвлен: «Недавно я, как писатель, подвергся нападкам злобной критики… И вот оказалось, что оскорбитель просто сотрапезник госпожи Дюдеван». Услужливые друзья донесли Авроре, что Латуш говорит о ней с отвращением: «Она опьянена славой, предает своих настоящих друзей, пренебрегает советами…» Те же добрые души передавали в Онэй слова Жорж Санд. «Узнаю в этом госпожу Дюдеван, — говорил Латущ, — она торопится увеличить и шире распространить список моих недоброжелателей, чтобы потом с большей безопасностью самой стать во главе их. Но я предпочитаю быть оскорбленным теми, кому я старался быть полезным, чем самому быть неблагодарным». Он просил передать Жорж, чтобы она никогда не приезжала в Онэй. Ссора с первым учителем причинила ей боль.

До сих пор у нее был общий язык с Бальзаком. Она им восхищалась, считала его интересным, гениальным, любила слушать, когда он с большим вдохновением рассказывал ей о своих будущих произведениях. Но Бальзаку нравился Сандо, и когда наступил разрыв, его выбор был быстро сделан.

> *Бальзак — госпоже Ганской, конец марта 1833 года:* Жюль Сандо — юноша. Жорж Санд — женщина. Я заинтересовался ими обоими; меня пленило, что женщина бросает все, чтобы последовать за молодым бедняком, которого она полюбила. Эта женщина, по имени госпожа Дюдеван, оказалась очень талантливой… Я любил эту пару влюбленных, поселившихся в мансарде на набережной Сен-Мишель, смелых и счастливых. С госпожой Дюдеван были ее дети. Отметьте это. Приходит слава и бросает на пороге этой голубятни горе. Госпожа Дюдеван решает, что она обязана расстаться с ним из-за детей. Они расходятся, и этот разрыв, по-моему, произошел из-за новой привязанности Жорж Санд, или госпожи Дюдеван, к самому злобному нашему современнику, Анри де Латушу, одному из моих бывших друзей, человеку обворожительному и ужасно дурному. Даже если бы единственным доказательством этого служило нерасположение госпожи Дюдеван ко мне, принимавшему ее по-братски вместе с Жюлем Сандо, то и этого было бы достаточно. Но она еще распространяет эпиграммы в адрес своего бывшего «постояльца», и Сандо, которого я вчера встретил, в полном отчаянии… Вот что представляет собой автор «Валентины» и «Индианы»…

Это вымысел, и очень далекий от правды. Но чего можно было ждать от Бальзака, если не воображения и не великодушия? Когда Сандо спустя несколько месяцев вернулся из Италии, Бальзак растрогался — у малыша Жюля сердце разрывалось от боли. Взволнованный Бальзак предложил Жюлю, что возьмет его к себе и будет помогать ему до тех пор, пока ему не повезет в театре. «Надо сначала поставить на ноги этого бедняка, потерпевшего кораблекрушение, а потом уж пустить в плавание по литературному океану…» В действительности же покинутый любовник если еще и не забыл свое горе, то, во всяком случае, успокоился.

> *Жюль Сандо — Эмилю Потр:* Я снял с моего горя ту глупую значительность, которую я придавал ему перед отъездом. В конце концов я понял, что оно ничем не нарушило гармонии вселенной, что на свете не стало от этого хуже и ход небесных светил не остановился ни на секунду. Утеряв торжественность, мое горе потеряло силу. Теперь оно мне кажется просто пошлым и банальным. Наконец, я узнал истинную цену одинокой и оскорбленной души… и говорю себе, что в глубоком несчастии есть много гордости и много тщеславия, даже больше, чем в глубокой радости. Тщеславясь и опьяняясь горем, мы делаем себя центром всего на свете; нам представляется, что только на нашу долю выпало страдание, а его перенесли до нас уже все; мы думаем, что только мы имеем привилегию на несчастье, на проклятия судьбы, что мы… как бы сказать? — Гяуры, Лары. О мой бог, а мы всего-навсего обманутые любовники, и ими полон мир…

За два года он невероятно изменился. Его кудрявая белокурая голова начала лысеть. Глаза стали глубже и выразительнее. Он перенес много; он проклинал Аврору. Его малозначительное дарование родилось именно из этих страданий. Придет время, когда Сандо напишет об этом увлечении свой роман «Марианна», и этот роман будет довольно правдив. В нем он дает

объективный портрет своей первой и незабываемой любовницы:

> Тишина полей, учение, мечтательность, чтение развили в Марианне скорее силу, чем нежность, скорее воображение, чем сердечность, скорее любопытство, чем истинную чувствительность. Она всегда жила в мире химер. Бродя одиноко по берегам Крезы, по склонам холмов, вдоль живописных зеленых изгородей, она уже заранее начертала себе героическую жизнь, полную прекрасной самоотверженности и высоких подвигов. Она предвидела борьбу, сражения, ускользающую любовь, мучительное блаженство. Она исчерпала всю радость до того, как испытала ее…

Именно такой приговор, точный и печальный, вынесла себе сама Жорж.

Глава пятая
Новые друзья. Лелия

Бег времени и жизненные случайности беспрестанно приносят нам новых людей; некоторые из них, выброшенные течением на наши берега, остаются на них. А унесенных отливом заменяют новые пласты друзей. Жорж Санд потеряла своего первого покровителя — Латуша; Сент-Бёв на какое-то время стал ее наперсником.

Это был молодой критик (ему, как и Жорж, было в 1833 году двадцать девять лет), который уже получил известность тонкостью своих суждений. Его лицо, «полное, чисто выбритое, хитрое», нельзя было назвать красивым. В нем было что-то похотливое, мягкое и злое. У его «закаленной души» была «тонкая, бледная листва тополей». Озабоченный своей неустроенной жизнью, он пытался дружески войти в семью Гюго. Потом, влюбившись в Адель, он возненавидел Виктора. В тайниках сердца и своих записных книжек он высмеивал ребячливого и титанического поэта, его хитрости, «шитые белыми нитками», его театр «марионеток для острова Циклопов», этого «Калибана, воображающего себя Шекспиром». Великолепный критик, Сент-Бёв жалел, что сам он не создал ничего, как будто тонкая критика это не творчество! «Церковный сторож при храме Афродиты Книдской», он любил выманивать у женщин их секреты. Он вкрадывался к ним в доверие, исповедовал их, давал им советы, а потом гениально использовал их нескромность. В разговоре он блистал вспышками, как фосфоресцирующий светлячок. «Он словно скрывает свой ум за банальными фразами, но сверкнувшая искра поминутно выдает его…»

Начиная с «Индианы», Сент-Бёв расточал похвалы молодому, таинственному и гениальному автору этой вещи. Аврора это знала, и в 1833 году, когда была назначена премьера «Лукреции Борджиа», написала Сент-Бёву, прося два места, себе и Сандо:

> Вы друг Виктора Гюго, а мы, мой соавтор и я, горячие поклонники его творчества. Если я вас затрудняю этой просьбой, скажите прямо, но придите и скажите это лично…

Он прислал билеты; она настаивала на его визите:

> Придите в любое время; я буду всегда ждать вас… Главное, чтобы вы меня не возненавидели, потому что я очень хочу вашей дружбы. Может быть, это смешно, что я так говорю, но когда чувствуешь себя правым, не отступаешь перед страхом ложного истолкования…

Для такого собирателя признаний, как Сент-Бёв, она явилась прекрасной добычей; а для Жорж он быстро стал драгоценным советником и в литературе и в чувствах. Когда поднялась буря вокруг разрыва Жорж с Сандо, он снисходительно наблюдал за этим интересным зрелищем. Много раз он обедал у нее на набережной Малакэ с любезной и циничной Ортанс Аллар, в то время любовницей Шатобриана. Именно от Аллар Сент-Бёз узнал много ценных сведений о старости Рене. Ортанс привела туда молодого женевца с серебряными волосами, Шарля Дидье, который тоже был ее любовником во Флоренции. У каждой женщины появляется интерес к человеку, которого любила ее подруга. Жорж разглядывала Дидье любопытным и благосклонным взором; он был красив, держался очень сдержанно в силу своего протестантского воспитания, но был мужествен и избалован женщинами. В тот день госпожа

Дюдеван не поправилась Дидье. «Немного суха, необходительна, — писал он. — У нее оригинальный ум. Не думаю, чтобы она была способна на страсть».

Чувственные люди обладают инстинктом. Вопреки внешнему виду Санд женевец не ошибся в определении ее сущности. Роман «Лелия», который вынашивала тогда в своем горе Жорж и часть которого она прочла Сент-Бёву, являлся правдивым признанием в бессилии тела. Книга, испорченная экстравагантными характерами персонажей, но ценная искренностью исповеди. Ее надо читать не в современном издании, уже исправленном Санд, когда она пожалела, что выдала себя в романе, а в оригинальном издании 1833 года; в то время она находила грустное облегчение в том, что описывала свое любовное разочарование и анализировала его причины.

Лелия — это женщина, отрицающая любовь. Она в высшей степени благородна, она красива, но холодна как статуя. «Как мне выйти из этой мраморной оболочки, — говорит она, — которая сковывает меня, как гробница мертвеца?» Молодой поэт Стенио любит ее страстно и тщетно пытается оживить ее. «Лелия — это не обычное живое существо, — говорит Стенио. — Что же такое — Лелия? Тень, мечта или, наконец, идея? Полно, там, где нет любви, там нет женщины…»

Романтический наперсник Лелии, Тренмор, светский человек и каторжник, умоляет ее не губить Стенио, не отравлять «своим холодным дыханием» лучшие годы этого мальчишки. Но у Лелии не хватает мужества отказаться от Стенио. «Мне нравится вас ласкать. — говорит она ему, — любоваться вами, как своим ребенком». В жизни Санд будет часто звучать, тревожа и внося дисгармонию, тема любовницы-матери. Но совсем не материнской любовью хотела любить Лелия, а как ее сестра, куртизанка Пульхерия, которая олицетворяет в романе чувственную любовь. Лелия пыталась последовать ее примеру, но была ужасно разочарована:

> Я, чье тело истощено суровым мистическим созерцанием, чья кровь застыла от вечной работы за столом, я забыла, что надо быть молодой, а природа забыла меня разбудить. Мои мечты были всегда слишком возвышенными, я не могла снизойти до грубых физических вожделений. И я сама не заметила, как произошел во мне полный разрыв между телом и духом…

Тогда-то и началась для Лелии жизнь, которую она назвала жизнью «самопожертвования и самоотречения», так как она согласилась давать наслаждения, которые сама она не могла разделять. Вот важный текст для того, кто хочет понять Санд:

> Почему я так долго любила его… Это было лихорадочное возбуждение; оно рождалось во мне, потому что я не получала удовлетворения… Рядом с ним я испытывала какую-то странную, исступленную жажду, которую не могли утолить самые страстные объятия. Мне казалось, что мою грудь сжигает неугасимый огонь; его поцелуи не приносили мне никакого облегчения. С нечеловеческой силой сжимала я его в своих объятиях и, теряя силы, в отчаянии падала рядом с ним… Чувственное желание зажигало мою душу и парализовало силу чувств прежде, чем разбудить их; это была яростная вспышка, она овладевала моим мозгом, сосредоточиваясь исключительно там. И во время величайшего напряжения моей воли немощная жалкая кровь леденела в жилах…
>
> Когда он забывался, удовлетворенный и пресыщенный, я лежала рядом, неподвижная и потрясенная. Так я проводила часы, глядя на него, спящего. Этот человек был так красив! Кровь бурными потоками приливала к моему лицу, нестерпимая дрожь пробегала по всему телу. Мне казалось, что я вновь переживаю

потрясения физической любви и возрастающее в душе волнение ощутимого желания. Мной овладевал соблазн разбудить его, заключить в свои объятия, вызвать те ласки, которыми я еще не сумела воспользоваться… Я противилась этим обманчивым побуждениям, так как я хорошо знала, что не в его силах облегчить мои страдания…

Иногда во сне, во власти этого огромного экстаза, пожирающего аскетические рассудки, я чувствовала, что несусь куда-то вместе с ним… тогда я плыла в волнах несказанного наслаждения и, сонно обнимая его шею, что-то бессвязно бормоча, падала к нему на грудь. Но он пробуждался, и моего счастья как не бывало. Передо мной опять был мужчина, мужчина грубый, жадный, как дикий зверь, и я в ужасе убегала от него. Но он не хотел, чтобы его сон был нарушен напрасно, и, настигнув меня, опять предавался безумным наслаждениям на груди потерявшей сознание, почти полумертвой женщины… Мои чувства не угасали, они даже разгорались. Великолепие весны, ее ароматы, возбуждающее влияние теплого солнца, чистый воздух… вселяли в меня новое томление. Я ощущала острое беспокойство, смутные и бессильные желания. Мне представлялось, что я могла бы вновь пережить чувство любви! Вторая молодость, еще сильнее, еще горячее, чем первая, будоражила мое существо. В состоянии перемежающегося с вожделением страха я растрачивала свои силы, как только они возвращались ко мне. Я мечтала об объятиях неведомого демона; я чувствовала, как его горячее дыхание жжет мне грудь; я вонзала ногти в свои плечи, а мне казалось, что это его зубы. Я призывала наслаждение даже ценой вечного проклятия… Когда наступал день, я была разбита от усталости и бледна, как рассветное небо… Я пыталась облегчить свое сердце криками боли и гнева…

Потрясенная головокружительным крахом своих надежд, которые слишком высоко занесло ее воображение, Лелия перестает любить своего первого любовника; ее единственной мыслью, единственным правилом поведения, единственной целью ее желаний становится решение разделять незнакомое ей счастье, которое так легко дается другим женщинам, — счастье физической любви.

Позволив своим тайным желаниям стремиться к призракам, мне случалось иногда, во сне, догонять их на лету и властно требовать у них если не счастья, то хотя бы недолгого волнения. И так как это тайное распутство никого не затрагивало… я прибегала к нему без угрызений совести. Я была неверной в своем воображении не только человеку, которого я любила, но каждое утро я была неверной тому, кого полюбила накануне…

Дон-Жуан идет от женщины к женщине, потому что ни одна из тысячи и трех женщина не дала ему счастья; Лелия шла от мужчины к мужчине, потому что ни один из них не доставил ей даже удовольствия. Роман доказывает, что на рассудок автора, наконец, пролился свет и что Жорж к тридцати годам стала ясно анализировать себя. Состоялось чтение романа, и Сент-Бёв написал Жорж на следующий же день:

Сент-Бёв — Жорж Санд, 10 марта 1833 года: Сударыня, спешу поделиться с вами, насколько вчерашний вечер и все, что я там слышал, заставило потом меня задуматься; насколько благодаря «Лелии» растет мое восхищение вами и дружба, которую я почувствовал к вам… Широкая публика, требующая в читальном зале, чтобы ей дали какую-нибудь книгу, откажется от этого романа. Но зато он будет

высоко оценен теми, кто увидит в нем самое живое выражение вечных помыслов человечества… Быть женщиной, еще не достигшей и тридцати лет, по внешнему виду которой даже нельзя понять, когда она успела исследовать такие бездонные глубины; нести это знание в себе, знание, от которого у нас вылезли бы волосы и поседели виски, — нести с легкостью, с непринужденностью, сохраняя такую сдержанность в выражениях, — вот чем прежде всего я любуюсь в вас; право, сударыня, вы чрезвычайно сильная, редкостная натура…

Она ответила на следующий же день, смущенная тем, что она так чудовищно порочна в глазах проницательного читателя, отождествившего ее с Лелией.

Жорж Санд — Сент-Бёву, 11 марта 1833 года: После того что вы прослушали «Лелию», вы высказали мысль, которая причинила мне боль: вы сказали, что вы меня боитесь. Прогоните эту мысль, прошу вас, не смешивайте два понятия: человек и страдание. Вчера вы услышали голос страдания. Примирите меня с богом, вы ведь никогда не перестаете верить в него и так часто молитесь ему… Не обманывайтесь слишком моим дьявольским обличьем; клянусь, что я просто напускаю это на себя… Вы ближе к природе ангелов; протяните же мне руку и не оставляйте меня Сатане…

Это доказывает две вещи; что она плохо знала Сент-Бёва и что мужчины умеют лучше женщин притворяться добродетельными.

В каждой женщине, из любви к любви, втайне живет сводница; женская сущность Сент-Бёва толкала его на сводничество. Жорж Санд, ведя одинокую, свободную жизнь в Париже, не могла так долго оставаться без мужчины. Но найти любовника, который бы подошел к Лелии, было нелегко. У Сент-Бёва появилась странная мысль выставить кандидатуру философа Теодора Жуфруа, с которым он был дружен; Теодор, родившийся в горах Рейнской Юры, голубоглазый, медлительный, задумчивый, был в одно и то же время и суровым и мягким. «Его высокий рост, его простые, открытые манеры, какая-то резкая суровость, которую он еще не сбросил с себя, все в нем обнаруживало нетронутое дитя гор; и он был горд этим; товарищи прозвали его Сикамбр…» Жуфруа успешно защитил в Сорбонне диссертацию на тему «Прекрасное и Возвышенное». Ему, как и госпоже Дюдеван, нравилась высокая поэзия непосредственная и близкая к природе, но мысль о возможности соединения его с Лелией была нелепой, — Лелия пресытилась бы им мгновенно. Однако Жорж, считавшая Сент-Бёва своим духовником, ответила смиренным тоном:

Жорж Санд — Сент-Бёву, апрель 1833 года: Друг мой, если вы настаиваете, я приму господина Жуфруа Я мало расположена к тому, чтобы меня окружали новые лица, но сумею подавить в себе это первое проявление дикости и, безусловно, найду в человеке, которого вы мне так тепло рекомендуете, все качества, заслуживающие уважения. Прошу вас, предупредите его, что внешне и холодна и суха, что лень моя непреодолима, что невежество мое позорно. Все это заставляет меня быть молчаливой. Во всяком случае, пусть он не принимает за грубость то, что является моей привычкой, быть может, даже странностью, но никак не злым намерением. По лицу господина Жуфруа можно судить, что у него прекрасная душа и что у него изящный ум, но может случиться, что я без особого восхищения признаю за ним эти черты, хотя они, наверно, очень редко встречаются и достойны уважения. Есть люди, которые рождаются с прямым, здравым умом; им не приходится бороться с подводными рифами, на которые

> наталкиваются и с которыми борются другие; а те проходят мимо, даже не подозревая, что эти рифы существуют, и еще иногда удивляются, почему вокруг плавает так много обломков. Я немного боюсь таких добродетельных от рождения мужчин…

В последнюю минуту здравый смысл взял верх, и она отменила встречу.

Она все еще грустила, упорствуя в своей печали, привычной и насмешливой. «Будьте Лелией, — написал ей Сент-Бёв. — Но в прозе, в будничной, реальной жизни не пренебрегайте полуисцелением, полусчастьем; иногда они после многих испытаний кое-что дают сердцу… Постарайтесь смотреть на людей, на мир справедливей и снисходительней… Даже святые переживают в этом грешном мире ужасные моменты. Не надо поддаваться таким моментам…» Она его поблагодарила, сказала, что «среди писак», как говорит Соланж, она нашла только одного друга, и именно его. Но истинной наперсницей в эти ужасные месяцы была Мари Дорваль; сочетание в ней цинизма, естественности, величия и страстей как нельзя больше подходило к смятению Жорж. Вполне вероятно, что диалоги Лелии и благоразумной куртизанки Пульхерии воспроизводят разговоры Жорж и Мари.

Они часто встречались то у одной то у другой. Жорж, обожавшая театр, не пропускала ни одного спектакля Дорваль. Предложение билетов и просьба прислать билеты — основная тема почти всех писем. А Жорж к таким просьбам добавляла еще и нежные строчки:

> Я вас сегодня не увижу, моя дорогая. Нет мне сегодня счастья! В понедельник, утром или вечером, в театре или в вашей постели, непременно приду обнять вас, сударыня, иначе натворю безумства! Я работаю, как каторжник, это будет моим вознаграждением. Прощайте, самая прекрасная…

> *Февраль 1833 года:* Милая моя Мари, вы приезжали, а я была в Онэй. Как я несчастлива, что потеряла день в моей жизни, когда я могла бы видеть вас. Но назовите мне такой день, когда бы мы могли поболтать после полуночи. Напишите мне словечко, и я буду ждать. У вас, моя маленькая, у вас так много всего в жизни! У меня ничего! Ничего, кроме вас, которую целую тысячу раз…

Дорваль отвечала гораздо короче и, конечно в угоду Виньи, «откладывала встречи» со своей подругой, которая потом жаловалась:

> *Март 1833 года:* Мари, почему мы так долго не виделись? Я была больна — это, конечно, причина. А вы, вы были очень заняты; вы не смогли, я знаю, ведь вы добры и пришли бы ко мне, если бы вам что-нибудь не помешало. Но любить вас так горячо, Мари, и провести столько дней, не видя вас! Мари, я грущу, и на сердце тяжелее, чем всегда. Вы осудите меня за то, что я так жалка?.. Я боюсь, что я не достойна вашей дружбы вы так велики, так благородны! Я боюсь потерять то, чего добилась, и я спрашиваю себя: может быть, в моей жизни есть какое-то пятно, которое отдаляет вас от меня? Но вы ведь стоите выше всех женщин, моя дорогая Мари, в вас я найду сострадание и снисхождение, даже если я виновна. Хотя я не думаю, что я виновна. Но если я и такова, то вы настолько добры, что любите меня, несмотря на это… Когда же вы мне подарите целый вечер, у меня или у себя? Ну, будь же добра для твоей подруги, она грустит и обретает молодость и счастье лишь рядом с тобой одной…

Однажды Жорж готова уже была сопровождать Мари в турне, хотя бы в роли камеристки. Со странным очарованием слушала она страстные жалобы Мари Дорваль на бога и на мужчин.

«Ничего не утаивая о самой себе, она ничего не приукрашала и ни в чем не притворялась. У нее был дар редкого красноречия; иногда оно было варварским, но никогда пошлым; всегда было целомудренным в своей резкости; оно обнаруживало поиски неуловимого идеала, мечту о чистом счастье, о небе на земле…» В этой женщине, познавшей жизнь гораздо глубже, чем она, Жорж находила свою собственную потребность абсолютного. Виньи ревновал Дорваль к ее горячей дружбе с Санд. Несчастный наивно опасался влияния этой сторонницы свободной любви на свою любовницу. O sancta simplicitas![16] Великой Дорваль, прелестной женщине, влюбленной в свое тело, уже нечему было поучиться в этой области ни у одной женщины.

В этом мятущемся состоянии, когда Лелия искала какого-то успокоения, какого-то открытия для себя, она встретила человека очень цинического склада, который посулил ей и то и другое. Проспер Мериме, большой друг Сент-Бёва, был, как и Анри Бейль, из породы людей сентиментальных, но чем-то травмированных в детстве, из которых дьявол создает своих донжуанов. Он находил удовольствие в том, что говорил о любви профессиональным языком, с грубостью студента-медика, что создало ему успех в фойе Оперы и в нескольких будуарах. Встретив эту красивую женщину, своеобразную, свободную, умную и знаменитую, он решил присоединить еще один скальп к своему ожерелью. Он начал за ней ухаживать с самого начала 1833 года, но безуспешно. Она несколько раз обещала ему принять его, но в последнюю минуту извинялась либо под предлогом головной боли, либо под предлогом приезда мужа. Он стал ироничным и желчным: «Я был бы вам очень обязан, если бы вы сообщили мне, поправились ли вы, уходит ли ваш муж когда-нибудь из дому без вас, и буду ли я иметь возможность увидеть вас, не докучая вам…»

Он одержал победу «на сорок восемь часов тем фанфаронством, с которым он, не боясь людского суда, показался всему светскому Парижу на лестнице Оперы, неся на руках маленькую Соланж, уснувшую на последнем акте «Роберта Дьявола».. Она нашла в нем «спокойного, сильного» человека, который поразил ее «могуществом своего ума». Она выложила ему все жалобы Лелии. Он засмеялся. Однажды вечером в апреле 1833 года, когда они прогуливались вдоль набережной Малакэ по крутому берегу Сены, она предложила ему любовь-дружбу. Он ответил, что «может любить только при одном условии» и что все остальное просто литература. Это было самое неверное представление о любви, но Жорж находилась в состоянии такой безнадежности, когда женщина готова уцепиться за малейшую надежду. «Я думала, — писала она Сент-Бёву, — что он обладает секретом счастья, что он мне откроет его… что его пренебрежительная беззаботность вылечит мою ребяческую чувствительность».

Словом, ему удалось ее убедить, что для нее тоже может существовать любовь, и удовлетворяющая чувственность и опьяняющая душу. Это было как раз то, на что ей хотелось надеяться. Она была покорена его авторитетным тоном. «Хорошо, — сказала она, наконец, Мериме, — я согласна; пусть будет так, как вы хотите, раз это вам доставляет удовольствие; что касается меня, то предупреждаю вас: я абсолютно уверена, что не получу никакого». Поднялись в ее квартиру, поужинали; с помощью горничной она надела домашнее платье не то в турецком, не то в испанском стиле. Впоследствии Мериме говорил, что во время этой сцены Жорж проявила такое отсутствие стыдливости, что это убило всякое желание у ее партнера. Наверно, она старалась показаться ему более развязной, чем была на самом деле. Как бы то ни было, в результате был жалкий, смешной провал. Дон-Жуан, как и его друг Стендаль в подобном же случае, потерпел полную неудачу. К его великому удивлению, он обнаружил, что она стыдлива, что ей недостает спасительной ловкости как по неопытности, так и в силу гордости. Раздраженный, он возместил свою досаду горькой и легкомысленной шуткой. Когда он ушел, она плакала от горя, отвращения и безнадежности.

Она обо всем рассказала Мари Дорваль. Она считала, что достойна сожаления, но никак не

порицания. Дорваль по секрету рассказала об этом Дюма — большому болтуну. Рассказ вскоре облетел весь Париж. Дюма приписал Санд следующую фразу: «Вчера у меня был Мериме… немногого стоит…» Добрые друзья сказали Жорж, что ее предала Мари Дорваль. Они были плохо встречены госпожой Санд.

> Вы говорите, что она меня предала. Я это знаю; но кто из вас, моих добрых друзей, меня не выдавал? Она предала меня только раз, а вы, вы предавали меня каждый день. Она повторила слово, которое я ей сказала. А вы, вы говорили слова, которых я не произносила… Не мешайте мне ее любить. Я знаю, кто она и чего она стоит. Ее недостатки — я их знаю; ее пороки… А! Для вас это значит очень много! Вы боитесь порока. Но вы же все созданы порочными и не знаете этого или не признаетесь в том. Порок! Вы, вы придаете этому значение? Разве вы не знаете, что он повсюду, на каждом шагу вашей жизни, вокруг вас, внутри вас?..

Прошло четырнадцать лет, она перечитала свой дневник и подтвердила свое суждение.

> *1847 год:* Она! Она все та же, и я ее люблю по-прежнему. Это великолепная, это красивая душа, великодушная, нежная; это изобранный ум; ее жизнь полна заблуждений и невзгод. О Мари Дорваль, я тебя люблю, уважаю за это еще больше!..

Сент-Бёву, этому великому коллекционеру человеческих слабостей, до которого уже дошли слухи обо всем, она отослала полную исповедь:

> *Жорж Санд — Сент-Бёву, 8 июля 1833 года:* Вы не ждали от меня тайной исповеди, а я и сейчас не делаю этого, потому что не прошу у вас соблюдения моих секретов. Я бы согласилась рассказать и напечатать все факты из моей жизни, если бы я верила, что это может принести кому-нибудь пользу. Так как я нуждаюсь в вашем уважении, оно просто мне необходимо, я должна быть с вами такой, какая я есть, даже в том случае, если вы отвергнете мою исповедь… В один из тоскливых и безысходных дней я встретила человека, который ни в чем никогда не сомневался… который ничего не понимал в моем характере и смеялся над моими огорчениями… Я еще не вполне убедила себя в том, что я и Лелия — это одно и то же. Мне хотелось убедиться в обратном, хотелось отречься от этой ненавистной, холодной роли. Я видела рядом с собой женщину необузданную, и она была прекрасной; я же, почти пуританка, девственница, была отвратительна в своем эгоизме и замкнутости. Я хотела победить свой характер, позабыть все разочарования прошлого… Мной овладело романтическое беспокойство, слабость, доводящая до головокружения, — словом, то состояние, при котором начинаешь признавать все, что ты раньше отрицала; начинаешь соглашаться с ошибками гораздо более серьезными, чем те, от которых отрекалась. И я, зная уже по опыту, что многолетняя близость не могла меня привязать к другому существу, вообразила, что очарование нескольких дней способно изменить мою жизнь. Короче, в тридцать лет я вела себя, как не вела бы себя девочка в пятнадцать. Наберитесь мужества… Конец истории омерзителен. А почему мне, собственно, стыдиться быть смешной, если я не была виновной?.. У меня нет никакого опыта. Я плакала от горя, отвращения, безнадежности. Вместо того чтобы встретить любовь, способную пожалеть меня, успокоить, я нашла только язвительную и фривольную насмешку. Вот и все, а историю эту свели к двум словам, которые я не произносила, которые Мари

> Дорваль не придумала и не говорила и которые не делают чести фантазии господина Дюма…

Никаких угрызений совести. Она рассказывала только факты, без всякой лжи, без всяких жалоб. Это была погоня за счастьем на опасной почве. Она промахнулась. Эта последняя неудача подтвердила все ее опасения. Влюбиться по-настоящему, как Дорваль, было бы в ее глазах победой и искуплением. У нее не было по отношению к Мериме злого чувства. «Если бы Проспер Мериме меня понял, может быть, он полюбил бы меня; если бы он полюбил, он меня бы подчинил себе; а если бы я смогла подчиниться мужчине, я была бы спасена, ибо свобода гложет и убивает меня…» Но если бы она смогла подчиниться какому-нибудь мужчине, она не была бы Жорж Санд.

Глава шестая

Какое смятение, какое смятение! Еще десять лет назад она была молодой женщиной, полной надежд и стремлений; она думала, что любящие ее мужчины будут становиться такими, какими ей бы хотелось их видеть, что она сможет внушить им возвышенное и таинственное представление о любви, жившее в ней самой. Она была Стенио: та же неопытность и легковерие, то же пылкое и боязливое ожидание будущего. Испытав неудачу с Орельеном де Сез, так же как и с Казимиром Дюдеван, она решила, что все зло кроется в плохо устроенном обществе, в непреклонной суровости брака; и если бы свободные любовники отказались от мелочных предрассудков и устарелых законов, они могли бы осуществить свою мечту. Но и в этом ее постигло поражение. Свободная любовь так же обманула ее надежды, как и супружеская.

В провинции, раздраженная узостью интересов маленьких городков, она верила в мир поэзии, красноречия и учтивости; она воображала, что в Париже «изысканная жизнь, приветливое, элегантное, просвещенное общество и люди, наделенные некоторыми достоинствами, могут там быть приняты и обмениваться своими мыслями и чувствами». Она не знала, что гений всегда одинок и что не существует духовной иерархии, единогласно принятой лучшими из людей. Она принимала за поэтов всех, кто писал стихи. Два года жестокого опыта доказали ей, что большие люди — это еще не гиганты, «что мир полон диких животных и что нельзя сделать и шагу, чтобы не наступить на одно из них». Она искала выдающихся людей, а встречала людей жалких, трусливых и лицемерных. Она познала опасность искренности.

Люди не хотят, чтобы с них срывали покрывала и заставляли смеяться над той маской, которую они носят. «Если вы уже не способны любить, лгите или же так плотно закутайтесь в складки вашего покрывала, чтобы ни один взгляд не мог проникнуть сквозь него. То, что делают со своим телом развращенные старцы, делайте вы со своим сердцем; прячьте его под румянами и ложью; скройте с помощью хвастовства и бахвальства вашу дряхлость, которая делает вас недоверчивым, и утомленность жизнью, которая делает вас беспомощным. В особенности же никогда не сознавайтесь в старости вашего ума и никому не говорите возраста ваших мыслей…»

Летом 1833 года, усталая, измученная, с кровоточащими свежими ранами, мечущаяся «между ужасами самоубийства и вечным монастырским покоем», она действительно была Лелией, женщиной, жаждущей любви, достойной любви, но неспособной к смирению, без которого нет и любви. «Лелия, душа ваша холодна, как могильный камень!» — кричит она устами Стенио. И тем не менее…

И тем не менее в глубине своей души она хорошо знала, что девушка из английского монастыря, амазонка из Ноана, милосердная к несчастным, ищущая знаний, чистая и серьезная, еще жива. В Лелии были черты Манфреда и Лары. Но Байрон, даже если он изображает своего дьявольского героя, остается по-прежнему неисправимым кальвинистом и нежным любовником. Когда же Жорж Санд веселилась за обедом в обществе Ортанс Аллар и жадно слушала Мари Дорваль, она переставала быть Жорж Санд. Она обретала на один вечер молодость сердца и надежды Авроры Дюдеван. Тогда она думала об аллеях Ноана, о блеске звезд, об этой торжественной и величавой тишине, столь благоприятной для откровенных излияний, о друзьях-беррийцах, на руку которых она когда-нибудь обопрется, чтобы поведать им о пережитых жизненных бурях.

Проводив гостей, она оставалась одна в квартире на бережной Малакэ, рядом со спящей Соланж; в ее волнующейся душе после всех крушений и катастроф уцелело одно чувство — ее потребность верить в любовь, и, может быть, в любовь божественную.

Часть четвертая
Причуды любви и гения

Женщины считают невинным все, на что они решаются.

Жубер



Глава первая
Дети века

В маленькой квартире на набережной Малакэ мы оставили разочарованную, отчаявшуюся молодую женщину, которая потерпела в свободной любви такой же крах, как и в супружеской, и пытается в книге выразить свои мятежные чувства. Но она не плачет, о нет! Она слишком полна жизненных сил, чтобы плакать долго. Она сказала себе, что плохо искала; что где-то есть идеальный любовник, способный уважать ее чувствительность и побороть свойственные ей противоречия; что в тот день, когда она встретит его, страсть, предупрежденная сознанием, то есть богом, поведет ее. И она продолжала искать его, пристально вглядываясь в талантливых людей, окружавших ее, подобно султану, рассматривающему своих одалисок в тиши гарема.

Сент-Бёв мог бы ей понравиться, несмотря на свое румяное лицо «преждевременно расплывшегося херувима»; после позорного провала циника она охотно передала бы этому наперснику роль первого любовника. Но Сент-Бёв, сидевший у нее раньше неотлучно, теперь не появлялся. Она не могла объяснить себе его молчания и предпочла бы «откровенную резкость этой высокомерной невозмутимости». Может быть, его отпугивало какое-то позорное пятно в ее репутации, и потому он прекратил свои постоянные посещения? Может быть, ее общество стало неприятным ему? Может быть, отчаяние Лелии поколебало его юношескую веру в жизнь? Может быть, он влюбился в какую-нибудь ревнивую женщину, которая запретила ему бывать у такой опасной женщины, как Санд? «Если это так, вы можете ее успокоить — скажите ей, что мне триста лет, что я, как женщина, подала в отставку до появления на свет ее бабушки и что мужчины меня интересуют, как прошлогодний снег…»

Но именно этому не верили ни Адель Гюго, ни Сент-Бёв. Он заглянул в бездонную пропасть, таящуюся за очарованием Жорж, и отступил в ужасе. В письме он высказался мягче; он восхищался «этой мужской прямотой в сочетании с женской прелестью», но доказывал, что дружба с ней трудна. «Дружба между людьми разного пола возможна, если у них уже позади все житейские перемены и случайности; тогда каждый из них будет просто заканчивать свою жизнь, как старые люди заканчивают свой день, сидя на скамеечке, на закате солнца…» Короче, ему очень хотелось продолжать с ней на расстоянии «серьезную» дружбу, но никак не встречаться наедине. По ее мнению, это было и грустно и смешно: «Ну что ж, мой друг, раз я вам не нравлюсь, вы свободны… Больше я не стану вам надоедать. Вы счастливы? Тем лучше! Я благословляю небо за это и считаю, что вы правильно делаете, избегая меня…» Но на ссору с ним она не пошла. Он был влиятельным критиком, а она была злопамятной только в своих любовных делах, а здесь любовь была ни при чем.

Ее второй постоянный критик, Гюстав Планш, стал после «Индианы» частым гостем на набережной Малакэ. Любовник? Париж это говорил, как Париж говорит это всегда; Казимир был в этом убежден; Жорж упорно отрицала. По правде говоря, Планш, от которого всегда шел запах разгоряченного носильщика, был не очень соблазнителен. Но он представлял собою силу; она сделала из него своего верного рыцаря, и он с гордостью принял это звание. Она часто приезжала в его отвратительную меблированную комнату на улице Корделье и давала ему самые удивительные поручения. Когда Казимир приезжал в Париж, Планш должен был ходить с ним по театрам; когда болела Соланж, Планш шел за доктором; по воскресеньям Планш отводил Мориса вечером в лицей Генриха IV, и он же сопровождал Санд на премьеры Дорваль. Гюстав Жестокий был полностью приручен маленькой госпожой Дюдеван.

Мари Дорваль оставалась ее самой любимой подругой, но она могла участвовать в жизни Жорж очень редко. Виньи дедал все возможное, чтобы его любовница отошла от той, кого он

называл «эта чудовищная женщина». Мари, постоянно нуждавшаяся в деньгах для своих трех дочерей, без конца ездила в гастрольные поездки. Тогда отправляли верного Планша к Виньи, чтобы вырвать у него очередной адрес.

> *Жорж Санд — Мари Дорваль:* Где ты? Что с тобой?.. Почему ты уехала, противная, не попрощавшись со мной, не оставив мне маршрут твоих поездок, чтобы я могла погнаться за тобой? Меня ужасно огорчило, что ты уехала, не повидавшись со мной. На меня напала хандра. Я вообразила, что ты меня не любишь. Я ревела, как осел… Я дура. Но, право, ты должна прощать это. У меня ость плохие черты в характере, но мое сердце полно лишь любовью к тебе, это я хорошо знаю. Сколько ни смотрю на других, никто не идет в сравнение с тобой. Нет ни одной души, похожей на твою, — столь же открытой, правдивой, сильной, мягкой, доброй, благородной, милой, великой, забавной, чудесной и цельной. Я хочу любить тебя всегда, хочу и плакать и смеяться вместе с тобой. Я хочу приехать к тебе, провести несколько дней с тобой. Где ты? Куда мне ехать? Не надоем ли я тебе? *Ба!* Не все ли мне равно; я постараюсь быть не такой угрюмой, как всегда. Если ты будешь грустна, и я буду грустной, если ты весела, да здравствует радость! Есть у тебя какие-нибудь поручения? Я привезу тебе весь Париж, если у меня хватит денег. Ну напиши мне хоть строчку, и я приеду. Если ты будешь чем-нибудь занята и я буду мешать тебе, ты меня отправишь работать в другую комнату… Я могу работать где угодно. Мне говорили, чтобы я не доверяла тебе; несомненно, тебе говорили то же самое обо мне; да ну пошлем их всех… и будем верить только друг другу.
>
> Если ты мне быстро ответишь одним только словом: «Приезжай!», я поеду, будь у меня даже холера или любовник…

Мари Дорваль показала это письмо Виньи и для его успокоения притворилась, что смеется над ним. Он написал на полях: «Я запретил Мари отвечать этой Сафо, которая ей надоедает». А Дорваль: «Госпожа Санд обижена тем, что я ей не ответила». Но Жорж слишком восхищалась Мари, чтобы запомнить обиду надолго.

Жорж работала обычным темпом, но жизнь казалась ей пустой, ее сердце молчало. В начале весны 1833 года в «Ревю де Дё Монд», у Луэнтье, в доме 104 на улице Ришелье давали большой обед для сотрудников. Гюстав Планш, критик издательства, привел на этот обед Жорж Санд, и случайно или благодаря хитрости Бюлоза она оказалась соседкой Альфреда де Мюссе. Еще Сент-Бёв в поисках поклонников для Жорж Санд говорил, что хочет представить ей этого молодого поэта с развевающимися светлыми волосами, стройного, красивого как бог. Мюссе было тогда двадцать три года, он был на шесть лет моложе Санд и Сент-Бёва. Сент-Бёв восхищался Мюссе, может быть, потому что Мюссе был таким, каким хотел бы быть Сент-Бёв. «Это была сама весна, весна поэзии, ослепительная в своем блеске, — говорил он, — это был идеальный образ юного гения…» Мюссе заимствовал у Байрона его дендизм. Редингот с бархатными отворотами, доходящими до пояса, одетый набекрень цилиндр, высокий галстук, брюки небесно-голубого цвета в обтяжку делали его элегантность несколько утрированной. Когда Сент-Бёв предложил привести его к Жорж Санд, она отказалась: «Он слишком денди: мы вряд ли подойдем друг другу».

Ее опасения были понятными: в литературном мире о Мюссе говорили плохо. Он блестяще дебютировал в 1830 году, и тотчас же Бюлоз, Сенакль, салон Арсенала с восторгом приняли его. Прекрасные романтические музы цитировали со страстным восхищением некоторые его стихи, красочные и свежие: Желто-голубой драгун, спящий в сене… Но неблагодарный смеялся над

своей славой и над своими собратьями. Он писал на них пародии, эпиграммы, давал им прозвища. Сент-Бёва, который так щедро хвалил его, он называл то Мадам Пернель, то Сент-Бевю[17]. Мюссе был ребенком, избалованным женщинами, херувимом, прочитавшим «Опасные связи» и «Манфреда». Он познал любовные утехи раньше любви и не нашел в них счастья. Тогда с какой-то наивной яростью он пристрастился к шампанскому, к опиуму, к проституткам. Как и Байрона, его неудержимо влекло к разврату, в котором женщина возвращается к своей древней роли колдуньи, а мужчина освобождается от деспотизма общества. Обманутый продажными любовницами, он сохранил плохие воспоминания о любви. «Любовь для наших женщин, — говорил он, — это игра в обман, игра в прятки… тайная и подлая комедия». Но в Мюссе рядом с пресытившимся распутником жил нежный и чувствительный паж. Из этого контраста родилась его поэзия. Художник никогда не отказывается от того, что питает его гений. Мюссе слишком хорошо понимал, что именно этот диссонанс придавал прелесть его лучшим стихам, и продолжал свои безрассудства. Сначала в этой игре был оттенок досады и притворства, но «с развратом не шутят», и с юных лет его нервы были расстроены, вдохновение непостоянно, а кошелек пуст.

На обеде, устроенном «Ревю де Дё Монд», Санд была приятно удивлена тем, что денди оказался добродушным: «Он не был ни повесой, ни фатом, хотя ему хотелось быть и тем и другим». Он блистал, но заставлял смеяться эту молчаливую красавицу с отсутствующим взглядом, и ей хотелось смеяться. Жорж сама не была остроумна, но умела ценить остроумие других. «Фантазио почувствовал, что он нравится». Что до него, то он улыбался, глядя на маленький кинжал за поясом у своей соседки, но был уже околдован большими глазами, черными и серьезными, блестящими и кроткими, вопросительно смотревшими на него. Глаза огромные, как у индианки, оливковый цвет лица, с бронзовым оттенком. Из стихов Мюссе мы знаем, что он воспевал «андалузку со смуглой грудью», что ему нравилась «девственная грудь, золотистая, как свежая кисть винограда». Эта янтарная кожа возбуждала его тайные желания.

Вернувшись домой, он прочел «Индиану», вычеркнул половину прилагательных, так как в то время обладал лучшим вкусом и стилем, чем Санд, и отправил ей очень учтивое письмо, которое заканчивалось словами: «Примите, мадам, уверение в моем уважении», но которое сопровождалось стихами: «После чтения «Индианы».

Откуда, Санд, взяла ты сцену для романа,
где Нун с любовником в постели Индианы
так наслажденьем упиваются вдвоем?
Кто диктовал тебе ужасную страницу,
где обожание поймать напрасно тщится
своей иллюзии прекраснейший фантом?
В твоей душе печальных ласк сокрыто знанье?
Ты ясно помнишь, что испытывал Раймон?
А эти чувства непонятного страданья,
без счастья страсть и безучастные признанья,
ты помнишь это, Жорж, иль это только сон?

Обращение на «ты», настойчивые вопросы создавали поэтическую близость. Затем последовала переписка в стиле Мариво. Мюссе был очарователен в этой игре; Жорж вновь обрела свою веселость. «Мой мальчуган Альфред», — говорила она вскоре про него. Они вместе строили романтические планы: подняться на башни Собора Парижской богоматери,

путешествовать по Италии. Она принимала его, одетая в домашний костюм: желтый шелковый халат нараспашку, турецкие туфли без задка и каблука, испанская сетка для волос; угощала его египетским табалом, садилась на ковер на подушку и курила длинную вишневую трубку из Боснии. Альфред усаживался рядом с ней, кладя руку на турецкие туфли, под предлогом, что он разглядывает их восточный рисунок. Разговор шел в шутливом тоне.

В июле «Лелия» была закончена, и Мюссе получил пробный оттиск. Он восторгался: «В «Лелии» находишь десятки страниц, которые идут прямо к сердцу. Они написаны так же свободно, смело, прекрасно, как страницы «Рене» и «Лары»…» Затем Керубино возвращался к теме любви:

> Вы меня узнали хорошо и можете теперь быть уверенной, что эти нелепые слова: «Вы хотите или нет?» — не сорвутся с моих губ… В этом смысле между вами и мной — Балтийское море. Вы можете предложить лишь духовную любовь, я не могу ответить на нее ни одной душе (если допустить, что вы не прогнали бы меня сразу, вздумай я просить вас о любви), но я могу быть, если вы сочтете меня достойным этого, даже не вашим другом — это тоже слишком духовно для меня, — но своего рода приятелем, не имеющим значения, не имеющим никаких прав, в том числе и права ревновать или ссориться, но зато получившим позволение курить ваш табак, мять ваши пеньюары и схватывать насморки, философствуя с вами под всеми каштанами современной Европы…

Ей были нужны для «Лелии» богохульные стихи, их должен был петь Стенио, в пьяном виде, срывающимся голосом. У кого же и просить их, если не у молодого поэта, часто бывавшего в состоянии опьянения, разыгрывавшего перед ней роль сентиментального шута? И Мюссе сочинил Inno ebrioso.

Если взор подниму я средь оргии грубой,
если алою пеной покроются губы,
Ты прильнуть к ним приди.
Пусть желанья мои не находят покоя
На плечах этих женщин, пришедших за мною,
на их пылкой груди.
В оскудевшей крови моей пусть сладострастье
зажигает опять ощущение счастья,
словно юный я жрец.
Сам я головы женщин цветами усею,
пусть в руке моей локоны вьются, как змеи,
сотней мягких колец.
Пусть, зубами в дрожащее тело вонзаясь,
я услышу крик ужаса, пусть, задыхаясь,
о пощаде кричат.
Пусть в последнем усилии стоны сольются,
пусть меня в этот миг, когда вопли взовьются,
крылья смерти умчат.
Если ж бог мне откажет в сей смерти счастливой,
полной блеска и славы, такой горделивой,
и агонии срок

будет вечно в бессильном желании длиться,
удовольствий умерших будет только куриться,
потухать огонек,
если нас повелитель ревнивый погубит,
пусть вина его щедрого только пригубит
тело, ждущее мрак,
мы сольемся опять в поцелуе прощальном,
пусть и бог при конце нашей страсти печальном
будет проклят. Пусть так!

Какое-то время он еще писал Санд в духе шекспировских комедий, но потом, 19 июля 1833 года, по почте пришло сентиментальное признание:

> Мой дорогой Жорж, я должен вам сказать нечто глупое и смешное… Вы будете смеяться надо мной, будете думать, что до сих пор во всех ваших разговорах с вами я был не кем иным, как болтуном, вы меня выставите за дверь и подумаете, что я лгу. Я влюблен в вас. Я влюбился в первый же день, как пришел к вам. Я думал, что излечусь от этого, если буду видеться с вами запросто. В вашем характере есть многое, что могло вылечить меня от этого; я пытался убедить себя в этом, насколько мог; но мне слишком дорого обходятся те минуты, которые я провожу с вами… Теперь, Жорж, вы скажете: «Еще один будет надоедать», как вы обычно говорите… Я знаю ваше мнение обо мне и ни на что не надеюсь, признаваясь вам в этом. Я только потеряю друга… Но верьте мне, я страдаю, мне не хватает сил…

Она колебалась некоторое время. Это важно отметить, потому что слишком часто из нее делали роковую женщину, какую-то людоедку в погоне за свежим человеческим мясом. В данном случае все было не так. Ее развлекало общество молодого человека, которого она находила гениальным и прелестным, но слухи о его распутстве ее пугали. «Я люблю всех женщин и всех их презираю», — говорил он ей. А она мечтала о глубокой и верной любви. Если она была неверной, то единственно потому, что ее разочаровали и привели в отчаяние, думала она. Мюссе догадался о ее мыслях и в новом письме ответил ей на них:

> Помните, вы мне однажды сказали, что кто-то вас спросил, кто я: Октав или Келио, — и вы ответили: «Я думаю, и тот и другой». Я был безумен, показав вам только одного из них, Жорж… Любите тех, кто умеет любить; я умею только страдать… Прощайте, Жорж, я люблю вас, как ребенок…

Как ребенок… Знал ли он, написав эти слова, что он нашел самый верный путь к ее сердцу? «Как ребенок, — повторяла она, сжимая письмо в непослушных, дрожащих руках. — Он любит меня, как ребенок! Боже мой, что он сказал… Понимает ли он, какую боль причиняет мне?» Они встретились; он плакал; она сдалась. «Если бы не твоя молодость и не моя слабость при виде твоих слез, мы остались бы братом и сестрой…» Мюссе вскоре переехал на набережную Малакэ. И в этот раз она опять захотела вести общее хозяйство, стать для любимого человека заботливой хозяйкой, сестрой милосердия и особенно матерью не меньше, чем любовницей.

Водворение нового фаворита не обошлось без драм в кругу друзей. Гюстав Планш и парижские беррийцы, верные псы, привыкшие сидеть у ног Жорж, подняли вой против

пришельца и уверяли, что эта открытая связь с изнеженным франтом, светским человеком, фатом повредит литературному будущему Жорж. Планша выгнали, так как его неопрятность шокировала изысканного Мюссе. И тут появилась «Лелия». Санд посвятила книгу: «Господину Г. Делатуш», с надеждой вновь завоевать отшельника из Онэй; он протестовал против посвящения (возмущенный, без сомнения, в той же мере орфографией, как и дерзостью автора), и она уничтожила его имя в последующих изданиях. Даря Мюссе первый том, она написала: «Господину моему мальчугану Альфреду. Жорж», а на втором: «Господину виконту Альфреду де Мюссе в знак совершенного почтения от его преданного слуги Жорж Санд».

Книга вызвала в прессе бурю. Лицемеры почувствовали, что у них на руках все козыри. Некий журналист Капо де Фёйид требовал «пылающий уголь», чтобы очистить свои уста от этих низких и бесстыдных мыслей… «В тот день, когда вы откроете книгу «Лелия», — продолжал он, — закройтесь в своем кабинете (чтобы никого не заразить). Если у вас есть дочь и вы хотите, чтобы душа ее осталась чистой и наивной, отошлите ее из дому, пусть она играет в саду со своими подругами».

Бедняга Планш по-рыцарски бросил вызов оскорбителю. 15 августа 1833 года он опубликовал в «Ревю де Дё Монд» смелое восхваление «Лелии» и ее автора. «Есть натуры, отмеченные судьбой, которые не могут обойтись без постоянной борьбы… Что бы ни случилось, они приносят людям, как будто в искупление своих ошибок, все мучения, всю тоску бессонных ночей. Только тот, кто ничего не пережил, решится осудить их…» Он добавил, что женщины поймут «Лелию»:

> Они отметят внимательной рукой те места, где найдут напоминание и изображение своей прошлой жизни, картину своих страданий. Они прослезятся и преклонятся перед бессилием, громко заявляющем о себе и раскрывающем свои страдания. Сначала их удивит смелость признания; некоторые из них покраснеют при мысли, что их разгадали, и будут почти раздражены такой нескромностью, но, придя в себя, они увидят в «Лелии» скорее защиту, чем обвинение…

После чего он послал своих секундантов к Капо де Фёйид. Париж Биксиу, Блонде и Натана забавлялся этой дуэлью. На каком основании господин Гюстав Планш выступает в качестве наемного убийцы со стороны господина (или госпожи) Жорж Санд? Или это способ заявить о своих правах в тот момент, когда он их теряет? Бедный малый защищался от нападок:

> *Густав Планш — Сент-Бёву:* Если бы я испытывал к Жорж Санд нечто иное… чем сильную дружбу, то мое вчерашнее поведение было бы неприличным: я бы выглядел грубым и невоспитанным человеком, который хочет воспользоваться каким-то своим правом. У меня нет этого права, я просто смешон, но свет не обязан знать правды и вряд ли думает об этом…

Альфред де Мюссе был крайне возмущен: «Я хотел драться, но меня опередили». С этого дня его отвращение к Планшу превратилось в ненависть:

> Из чистоплотности мы порешим: давайте,
> пускай спокойно жалит этот гад,
> вы ядовитую змею уничтожайте,
> клопа же не давите невпопад.

А Сент-Бёв осторожно ожидал, пока уляжется буря. Санд настойчиво требовала от него,

чтобы он дал статью в «Ле Насьональ»:

> *Жорж Санд — Сент-Бёву, 25 августа 1833 года:* Друг мой, вы знаете, что меня грубо оскорбили, — я отношусь к этому равнодушно. Но я далеко не безучастна к усердию и поспешности, с какими встают на мою защиту друзья…

Затем она ему официально сообщала о своей новой связи:

> Я влюбилась, и на этот раз очень серьезно, в Альфреда де Мюссе. Это не каприз, это большое чувство, о котором я вам расскажу подробно в другом письме. Не в моей власти обещать этой любви тот долгий срок, который для человека, столь восприимчивого к чувствам, как вы, сделал бы ее священной. Я любила — один раз в течение шести лет, другой — в течение трех лет, а теперь я не знаю, что будет. Не раз случалось мне переживать мимолетные желания, но я не истратила на них столько сердца, как я боялась — говорю сейчас, точно чувствуя это. И, не грустя ни о чем, не отрекаясь ни от чего, я нахожу на этот раз чистоту, верность и нежность, которые меня опьяняют. Это — любовь юноши и дружба товарища. Это — что-то, о чем я не имела понятия, что не надеялась даже найти, особенно в нем. Сначала я отрицала эту любовь, отвергала ее, отказывалась от нее, а потом сдалась, и я счастлива, что сделала это. Я сдалась скорее из жалости, чем из любви, и любовь, которой я не знала, открылась мне, любовь без всяких мучений, на которые я готова была согласиться. Я счастлива, благодарите бога за меня… Теперь, когда я вам сказала, что у меня на сердце, я вам расскажу, как я поведу себя.
>
> Планш считался моим любовником; пускай. Он не любовник мне. Теперь же для меня очень важно, чтобы все знали, что он не мой любовник, так же как мне совершенно безразлично, если будут думать, что он был моим любовником. Вы понимаете, что для меня немыслимо быть в тесной дружбе с двумя мужчинами, про которых говорили бы, что они мои любовники; это не подходит ни к одному из нас троих! Я решилась расстаться с Планшем; это было для меня очень трудно, но неизбежно. Мы поговорили с ним очень откровенно и нежно и простились, подав друг другу руку, продолжая любить друг друга в глубине сердца, обещая друг другу вечное уважение… Я не знаю, понравится ли вам мое слишком смелое поведение:.. Может быть, вы сочтете, что женщина должна скрывать свои привязанности. Но я прошу вас понять, что я нахожусь в совершенно исключительном положении и что отныне я вынуждена выставлять напоказ мою личную жизнь…

Три недели спустя она вновь обращается к этой немного медлительной преданности: «Вы напишете о «Лелии» в «Ле Насьональ», не правда ли? Я не потеряла еще надежды…» Он извинился: «Я обещаю вам, Лелия, что в течение двух дней воскрешу в памяти ваш роман. Но буду повторять себе, что вы уже больше не та разуверившаяся и отчаявшаяся женщина, какой были прежде…» Она его успокоила: «Я счастлива, очень счастлива, мой друг. С каждым днем я все больше привязываюсь к Нему… Его близость так же приятна мне, как было дорого его предпочтение…» Она помолодела на десять лет; рядом с этим ребенком (она с наслаждением повторяла это слово, вкладывая в него какой-то греховный смысл) она вновь обретала веселье своих первых дней с Сандо. Опять в квартире на набережной Малакэ звучали смех и песни. Альфред наполнил ее альбом портретами и карикатурами. Он делал остроумные рисунки и сочинял легкие стихи:

Жорж в комнатке своей сидит
между цветочными горшками
и папироскою дымит.
Глаза ее полны слезами.

Слезы были тут лишь для рифмы, а может быть, она смеялась до слез. Альфред придумывал тысячу шалостей. Как-то вечером он, переодетый служанкой — в короткой юбке, с крестиком на шее, — стал подавать на стол кушанья и опрокинул графин на голову философа Лерминье. Жорж всегда любила такие проделки. Для того чтобы сбросить с себя природную грусть и развлечься, она нуждалась в грубом веселье. Эта студенческая жизнь ее очаровывала. «Начало всегда приятно, — сказал Гёте, — именно на пороге надо останавливаться». Это верно в отношении любовных связей. Каждый открывает другого. Каждый выставляет напоказ сокровища своего ума. Первые недели в этой квартире, из окон которой виднелся самый прекрасный в мире пейзаж, были длительным очарованием. «Свободная жизнь, очаровательная близость, покой, рождающиеся надежды. О боже! На что жалуются люди? Что может быть прекраснее любви?»

Stranqe bedfellows[18]. Жорж, деловитая и пунктуальная, считала необходимым сдать работу в условленный срок и спрыгивала с постели среди ночи, чтобы сесть за свой роман, в то время как Альфред спал как сурок. Когда он просыпался, она читала ему нотации, как некогда читала Сандо; она была педагогом в той же мере, а может быть и больше, чем возлюбленной. Он, смеясь, жаловался на это. «Я работал целый день, — говорил он, — вечером я сочинил десять стихов и выпил бутылку водки; она выпила литр молока и написала половину тома». Но все же в первые дни он благодарил ее за то, что она вырвала его из этого медленного самоубийства, каким была его жизнь, в то время как Жорж предавалась радости, вернув избранной душе все ее величие. Однако некоторые друзья предостерегали Альфреда; они напоминали ему о несчастьях Сандо: «Вспомни тот опасный путь у мели Кийбеф при входе в Сену; там над волнами видны черные флаги на мачтах затонувших кораблей. В жизни этой женщины есть черный флаг; он подает сигнал — опасность!..» Но Мюссе принадлежал к числу тех любовников, которые ищут опасности и охотнее отдают свое сердце той, которая обещает его растерзать.

В сентябре он предложил своей любовнице поехать в Фонтенбло и провести несколько дней в лесу, среди утесов Франшар. Она согласилась: ей нравилось соединение природы и любви. Она не боялась ни усталости, ни темноты; она ходила по лесу в мужском костюме, шагая по песку «решительной походкой, в которой очаровательно сочетались женское изящество и детская отвага… Идя впереди, как солдат, она распевала во все горло…»

На обратном пути она опиралась на руку своего спутника, и тогда начинались нежные разговоры вполголоса. Это пребывание было сначала очень счастливым — недаром Мюссе в печальный период своей жизни всегда вспоминал «женщину из Франшара», — но одна ночная сцена испортила все. На кладбище при лунном свете у Альфреда случился припадок галлюцинации. Он увидел, что по вереску двигался бледный призрак, в изорванной одежде, с растрепанными ветром волосами. «Я испугался и бросился ничком на землю, так как этот человек… был я». На следующий день он шутил по этому поводу и нарисовал шарж; под своим собственным карикатурным изображением он написал: «Упавший в лесу и во мнении своей любовницы», а под карикатурой Жорж: «Сердце столь же растерзано, как и платье». Рисунок ее огорчил; она не видела ничего смешного в этом испугавшем ее припадке.

Утверждали, что Санд преувеличивала болезнь Мюссе. Но, помимо его собственного описания галлюцинаций в «Декабрьской ночи», мы имеем еще одно неопровержимое

свидетельство: мы говорим о Луизе Алан-Депрео, красавице актрисе, которая через шестнадцать лет после Жорж Санд была любовницей Мюссе. Ее рассказ о припадках Мюссе точно совпадает с впечатлением Жорж: существо изысканное, типа шекспировских героев, вдруг превращается в душевнобольного:

> *Госпожа Алан-Депрео — госпоже Самсон-Туссен, 17 июля 1849 года:* После первых дней, прошедших в том, что мы вглядывались друг в друга, в самих себя, старались понять, узнать друг друга, между нами произошла вдруг ужасная сцена, в которой было еще и много любви, но смешанной с такими вещами, которые вынести было выше моих сил. Когда он вернулся к себе, у него начался припадок горячки. Это бывает у него, когда он в возбужденном состоянии; причина в его давних пагубных привычках. В таких случаях у него возникает галлюцинация, и он разговаривает с призраками… Никогда еще я не видела более потрясающих контрастов, чем эти два существа, заключенные в одном человеке. Одно существо — доброе, кроткое, нежное, восторженное, очень умное и благоразумное, наивное (удивительная вещь: наивное, как ребенок), добродушное, простое, невзыскательное, скромное, мягкосердечное, экзальтированное, способное плакать из-за пустяков, — словом, большой художник… Но переверните страницу — вы увидите все наоборот: вы имеете дело с человеком, которым владеет какой-то демон, с человеком слабым, вспыльчивым, заносчивым, деспотичным, сумасшедшим, жестоким, ничтожным, оскорбительно недоверчивым, слепо упрямым, себялюбивым и эгоистичным насколько возможно, поносящим все и доходящим до крайности как в дурном, так и в хорошем. Когда он уже оседлал этого дьявольского коня, нужно, чтобы он скакал до тех пор, пока не сломит себе шею. Отсутствие чувства меры как в прекрасном, так и в отвратительном — вот его натура. В последнем случае это состояние заканчивается заболеванием, и оно возвращает его в разумное состояние; тогда лишь он начинает чувствовать свою вину…

Вот перед каким двойственным человеком оказалась Санд. Ее привязало к нему именно то его очарование, в которое она фатально влюблялась, — слабость. Он понимал это и выставлял напоказ трогательную болезненность своего гения, причем был неистощим во вспышках искренности и умиления, а потом, когда его слабость одерживала победу, у него сразу же появлялись силы для того, чтобы причинять ей страдание. Но также и страдать самому, потому что этому мазохисту нужны были страдания не только для творчества, но и для наслаждений. Однако при своем могучем здоровье Санд выносила это и нянчилась с ним, как с ребенком. Она называла его: «Мое дорогое дитя», он называл ее: «Мой большой Жорж, мой Жоржо». И на этот раз в этой чете мужчиной была Санд.

Глава вторая
Венецианские любовники

О, сколько бывает между любовниками такого, о чем судить могут лишь они одни.

Жорж Санд

Оба хотели увидеть Италию. Мюссе воспевал эту страну, не зная ее. А Санд увлекла мысль о Венеции, потому что она надеялась, что в необычной обстановке в ней проснется что-то новое, сокровенное для нее самой. Она смело обратилась к матери Альфреда и добилась ее согласия на поездку, пообещав ей, что будет нежно, по-матерински заботиться о Мюссе. Что касается Казимира, то он очень уговаривал свою жену отправиться в путешествие «для ее образования и удовольствия». В смысле образования Италия действительно могла дать любознательной Санд очень много; удовольствие — это другой вопрос.

Они отправились в декабре 1833 года. Жорж, в светлосерых брюках, в каскетке с кисточкой, была очень весела. Однако этот отъезд сопровождали плохие предзнаменования. Во дворе «Отеля де Пост» чемодан, который отправляли в Лион, был тринадцатым по счету; выходя, Санд наткнулась на тумбу и чуть не сбила с ног разносчика воды. Но любовники не боялись ни богов, ни чертей. Из Лиона в Авиньон они плыли по Роне вместе со Стендалем. В Марселе они пересели на пароход, идущий в Геную. Мюссе, плотно укутавшись в свой плащ, страдал морской болезнью. Жорж, с папиросой во рту, засунув руки в карманы, смотрела на своего спутника с видом превосходства. Он написал по этому поводу четверостишие:

Жорж с верхней палубы не сходит
и папироскою дымит.
Мюссе больной живот подводит,
он как животное стоит… —

и сделал рисунок, подчеркивавший твердое выражение на лице Жорж и искаженные черты лица Мюссе с надписью «Homo sum humani nihil a me alienum puto»[19].

Альфред находил свою любовницу слишком мужественной. Он жаловался на ее педантизм, сдержанность, холодность. Это романтическое путешествие нисколько не изменило ритма трудовой жизни Санд. Она должна была закончить для Бюлоза роман; в Генуе, а затем во Флоренции она заявила, что ей ежедневно требуется восемь часов для работы; когда дневное задание было невыполненным, она запирала на замок свою дверь. Если ее любовник протестовал, она уговаривала его, чтобы он тоже работал, и предложила ему сюжет «Лорензаччо». «Истинная победа мужчины приходит тогда, когда женщина свободно признает, что он ее судьба». Судьба Санд оставалась в стороне от ее любви. Измученный, униженный, Мюссе становился грубым. Он называл ее «олицетворением скуки, мечтательницей, дурой, монахиней». Он упрекал ее в том, что «она никогда не была способна доставлять любовные наслаждения». Это было уязвимым местом Лелии. Оскорбленная, пораженная в самое сердце, она переходила в контратаку: «Я очень рада, если ты эти наслаждения считаешь более пуританскими, более скромными, чем те, которые ты найдешь в другом месте. По крайней мере ты не будешь вспоминать обо мне в объятиях других женщин». Но эта бравада не успокаивала ни

одного, ни другого.

В Генуе она заболела лихорадкой. Желание и болезнь плохо уживаются вместе. Мюссе, избегая этой горячечной постели, начал водиться с женщинами и пить. Он устал от того, что Жорж называла «возвышенной любовью», и стремился всем своим существом к «пагубным опьянениям прошлого». Он повторял свои софизмы. «Перемена — это обновление. Разве художник рожден для неволи?» Чрезмерно владеющая собой женщина приводит в отчаяние и вызывает беспокойство в своих любовниках. Она остается всегда только трезвой соучастницей, а мужчина ищет в любви полного забвения. Ему важно не только преодолеть в женщине стыдливость, но поработить ее свободу, превратить мыслящее существо в вещь. Санд раздражала мужчин, потому что она всегда оставалась личностью.

Санд так много ждала от Венеции, а приезд туда был очень мрачен. Ночь; черная гондола, похожая на гроб. Правда, при въезде в город, когда тусклая и красная луна осветила собор Святого Марка с его белоснежными куполами, когда герцогский дворец с арабской резьбой и христианскими колокольнями, поддерживаемыми тысячью острых маленьких колонн, выделился на фоне освещенного луной горизонта, им показалось, что перед ними картина Тернера. Но только любовь делает прекрасными пейзажи и города, только она озаряет их своим светом, но никак не красота обстановки создает любовь. Розовые дворцы и золото собора Святого Марка не могли изменить эти два сердца.

Вечером в отеле Даниели, где они сняли номера, Мюссе сказал своей любовнице: «Жорж, я ошибался, я прошу у тебя прощения, но я не люблю тебя». Она была сражена, была готова уехать немедленно. Но болезнь и голос совести не позволяли ей уехать и оставить этого ребенка одного, без денег, в чужой стране.

> Мы закрыли дверь между нашими комнатами и попытались вернуться к нашим товарищеским отношениям… Но это было невозможно; ты скучал; я не знала, что с тобой творится по вечерам…

То, что происходило с ним, представить себе очень легко. Отдалившись от нее вначале из-за скуки, потому что она обращалась с ним как «с мальчуганом» и читала ему нотации, затем из отвращения, потому что у нее была ужасная дизентерия; и наконец, как предполагает Морра, «из деликатного страха, что она заметит его отвращение», он предался своей склонности к романтическому разгулу. Он посещал притоны Венеции, пронизанные запахом стоячей воды, и поглощал неведомые ему напитки. Затем он стал искать «поцелуев танцовщиц Фенисы». Жорж, по болезни, по злопамятству, обрекла его на целомудрие. У него были другие женщины. Никогда она не сможет забыть эти долгие одинокие ожидания, таинственный плеск воды на ступеньках, тяжелый чеканный шаг сбиров на набережной, пронзительный, почти детский крик лесных мышей, дерущихся на огромных плитах, — все эти ускользающие, своеобразные звуки, нарушающие тишину венецианских ночей.

Однажды утром он вернулся весь в крови, видимо после какой-то драки. И тут же начался ужасный припадок. Это было похоже на безумие, на воспаление мозга или тиф; но что бы это ни было, это было страшное зрелище. Она испугалась. Он был в состоянии покончить с собой или умереть от этой болезни в Венеции. Как взять на себя такую ответственность! Какой ужасный конец возвышенного романа! Она вызвала лечившего ее молодого врача Паджелло и, чтобы ему легче было поставить диагноз, рассказала ему в своем письме о ночи во Франшаре.

> Однажды, три месяца тому назад, после очень сильного волнения, он вел себя как сумасшедший в течение целой ночи. Он видел призраков вокруг себя и кричал от

страха и ужаса… Это человек, которого я люблю больше всего на свете, и я в отчаянии, что вижу его в таком состоянии.

Текст очень важный, потому что после стольких разочарований Санд все еще называет Мюссе «человеком, которого она любит больше всего на свете». О том, что было дальше, спорили очень горячо; на книги отвечали книгами; были мюссеисты и сандисты. Были написаны тома с целью доказать, что Санд и Паджелло пили из одной чашки, что они принадлежали друг другу у изголовья больного. Доискивались, кто же виноват? Но ответ прост: вина и претензии были взаимны. «По какому праву ты расспрашиваешь меня о Венеции? Разве я тебе принадлежала в Венеции?» — спросит Санд позднее. Она была искренней, так как ее мораль (а каждый человек создает свою мораль) состояла в том, что всякая страсть священна, с оговоркой, что не следует принадлежать одновременно нескольким мужчинам. Поскольку Мюссе оставил ее как любовницу, она считала себя свободной. Он сам признает, что «заслужил потерю Санд». Но Мюссе, с традиционной снисходительностью мужчин к себе, хотел, чтобы женщина, которой он изменил, оставалась ему верна. Доказан факт, что Санд и Паджелло преданно ухаживали за Мюссе в течение двадцати дней его бреда и неистовства.

Почему у Санд возникло желание сойтись с Паджелло? Это сложный вопрос. Прежде всего, упорно храня надежду встретить любовь, которая захватит и сердце и тело, она ждала от каждого молодого мужчины, крепкого, в достаточной мере красивого, ответа на вопросы Лелии. Кроме того, брошенная в Венеции на чужой земле, среди чужих людей, с полусумасшедшим юношей на руках, она нуждалась в поддержке, а женщины в моменты отчаяния и тоски путают иногда это чувство с любовью. И наконец, мечтая написать роман на венецианскую тему, она пожелала узнать ближе, интимнее Италию. А ведь всякий художник знает, что только любовь открывает путь к телесной близости людей разных национальностей и рас.

Паджелло и Санд проводили бессонные ночи у постели больного, то бредившего, то спящего. Общая тревога, общая работа сближают мужчину и женщину. Усталость — это сводница. Паджелло восхищался прекрасной иностранкой; он бросал на нее горячие взгляды, но не осмеливался ухаживать за ней. Она была знаменита; он был скромный начинающий врач. У него была любовница итальянка; Санд жила в Венеции с любовником. Кроме того, этот любовник был пациентом доктора, а профессиональный долг есть долг. Слишком тонкий вопрос совести для славного малого двадцати шести лет, плотного, белокурого, плохо разбирающегося в сложных чувствах.

Однажды вечером Мюссе захотелось спать; он попросил свою любовницу и врача отойти от постели; они сели у стола перед камином, и Паджелло спросил невинно:

— Скажите, мадам, не думаете ли вы написать роман о прекрасной Венеции?

— Может быть, — ответила она.

Она взяла несколько листков, стала увлеченно писать, затем положила эти страницы в конверт и передала доктору. Он спросил, кому передать это письмо. Она забрала у него конверт и написала: «Глупому Паджелло». Вернувшись домой, он прочитал это романтическое послание — оно было признанием в любви, написанным куда красноречивее, чем признания героев Санд в ее романах. Оно состояло из вопросов, полных трепета, а это был самый правдивый ее стиль; спрашивать — такова была в жизни позиция этой неудовлетворенной женщины, и — любопытная вещь — именно эту манеру часто будет копировать Мюссе как в «Ночах», так и в своих комедиях:

Санд — Паджелло: Будешь ли ты моей опорой или повелителем? Будешь ли ты моим утешением за все муки, пережитые до встречи с тобой? Поймешь ли ты, почему я

так печальна? Знакомо ли тебе сострадание, терпение, дружба? Быть может, тебе привили убеждение, что у женщин нет души. Знаешь ли ты, что она есть у них?.. Буду ли я твоей подругой или твоей рабыней? Ты меня желаешь или ты меня любишь? Насытив свою страсть, сумеешь ли ты меня отблагодарить? Если я тебя сделаю счастливым, сумеешь ли ты мне сказать об этом?.. Знаешь ли ты, что такое желание души, которую никакая человеческая ласка не может усыпить или утомить? Когда твоя любовница засыпает в твоих объятиях, бодрствуешь ли ты, чтобы смотреть на нее, молиться богу и плакать? Любовные наслаждения заставляют тебя задыхаться, изнемогать от страсти или они вызывают у тебя дивный экстаз? Сохраняется ли в твоем теле твоя душа, когда ты отрываешься от груди той, которую любишь?

Я сумею понять твою мечтательность и заставить красноречиво говорить твое молчание. Я припишу твоим поступкам тот умысел, какой пожелаю. Когда ты будешь нежно смотреть на меня, я буду думать, что твоя душа обращается к моей… Оставим же так, как есть: не учи моего языка; и я не буду искать в твоем языке слова, которые рассказали бы о моих сомнениях и страхах. Я не хочу знать, как проходит твоя жизнь и какую роль играешь ты среди людей. Я хотела бы не знать твоего имени. Спрячь от меня свою душу, чтобы я всегда могла считать ее прекрасной…

Ах! Как должен был нравиться Прусту этот текст, если он его знал! Ведь вынужденное молчание Паджелло — это сон Альбертины. Взыскательные любовники хотят, чтобы идол был немым, тогда он их никогда не разочарует. В этом приключении возлюбленный был не только немым, но еще и перепуганным насмерть. В его спокойной жизни это признание в любви было подобно удару грома. Как многие завоеватели, бедный Паджелло чувствовал, что победа принесла ему поражение. Какой скандал вызовет в Венеции его связь с la Sand[20], как он говорил! Молодой врач, он едва лишь начинал приобретать клиентуру, он же должен соблюдать приличия ради этого! Но как не поддаться искушению, исходящему от обаятельной иностранки? Она стала его любовницей.

Что увидел Мюссе? Что он узнал? У него было воспаление мозга, временами бред, временами полное сознание. Он увидел женщину на коленях мужчины, они целовались; ему показалось, что на столе, за которым сидели Санд и Паджедло, стояла одна-единственная чашка и что оба пили из нее чай. Потом он смеялся над своим волнением: «В какой это забавной комедии есть ревнивец, который так глуп, что расспрашивает, что случилось с чашкой? Да и чего ради было им пить из одной и той же чашки? Нечего сказать, благородная мысль пришла мне в голову тогда…» Поль де Мюссе рассказывает, что однажды его брат застал Санд за писанием письма. Он стал обвинять ее, говоря, что это письмо к Паджелло; она отрицала, угрожала запереть его в доме умалишенных, разорвала и выбросила в окно письмо, потом на рассвете побежала в одной нижней юбке на улицу, чтобы подобрать обрывки письма. Галлюцинация или реальность? Кто это сказал? Поль де Мюссе — свидетель пристрастный и вызывающий подозрение.

Достоверно одно, что появление на сцене Паджелло создает мир, в котором Мюссе не участвует, и что Санд торжествует, исключая его из этого мира. Альфред унижал Санд в ее собственных глазах, уверяя, что она неумелая любовница. Возбудив в нем ревность, она берет реванш. Ревность рождается тогда, когда третий понимает, что двое других — это сообщники, а он в стороне. Эта ревность уляжется с того дня, когда между Санд и Мюссе снова возникнет согласие, из которого, в свою очередь, будет исключен Паджелло. Тогда будет страдать Паджелло. Но почему бы Мюссе ревновать, если он говорит, что больше не любит свою любовницу? Потому что ревность пробуждает любовь и придает новую и особую цену существу,

которым пренебрегали, считая, что оно изучено наизусть.

Действительно ли Альфред поверил, что Жорж, желая отделаться от него, собиралась поместить его в психиатрическую больницу? Состояние бреда, в котором он долго находился, не позволяет ответить с достоверностью. Постоянная преданность сиделки опровергает подобное обвинение. Если она произносила слово «безумие», то только потому, что она боялась этого безумия, а его припадки оправдывали этот страх. Да и зачем было ей желать поместить его в психиатрическую больницу? Она была свободна; она могла его бросить; она настаивала на том, что, как только ему станет лучше, он должен узнать правду. Паджелло протестовал; как врач, он считал, что Мюссе еще недостаточно окреп, чтобы вынести этот удар. Но у Жорж была цельная натура Кёнигсмарков, и ее достоинство, говорила она, требовало искренности. Позднее она писала в своем дневнике: «Мой бог, верни мне ту жестокую силу, которая была у меня в Венеции; верни мне эту страстную любовь к жизни, которая овладела мною, как приступ бешенства, среди самого ужасного отчаяния…»

Жестокая сила, страстная любовь к жизни… Как не вяжется этот тон с милейшим Паджелло, с его грубыми поцелуями, простоватым видом, девичьей улыбкой, толстой фуфайкой, кротким взглядом. Но надо помнить о том, чего она ждала от него: совершенства в любви! «Увы! Я столько страдала, я столько искала это совершенство и не находила его! Ты ли, ты ли, мой Пьетро, наконец, осуществишь мою мечту?..»

Сказала ли она Мюссе, как это было решено ею, что она любит Паджелло? Конечно! Ведь он вспоминает об «одном грустном вечере в Венеции, когда ты мне сказала, что у тебя есть тайна. Ты думала, что говоришь с глупым ревнивцем. Нет, мой Жорж, ты говорила с другом…» Кто знает, не испытывал ли он при этом даже какое-то горькое наслаждение? В «Исповеди сына века» читаем: «Тайное сладострастие приковывало меня по вечерам к моему месту. Когда должен был прийти Смит (Паджелло), я не мог успокоиться до тех пор, пока не раздавался его звонок. Неужели в нас самих есть что-то необъяснимое, что жаждет несчастья?..» Дело в том, что уверенность в несчастии не так горестна, как подозрение. Страдания ревности вызываются в основном гордостью и любопытством. Любовник хочет властвовать над другим существом. Ему это не удается. Его партнер, превратившийся теперь в противника, остается свободным существом, поступки, мысли, ощущения которого неизвестны. Единственное средство лишить его этой свободы — это знать. Ревность успокаивается и иногда даже исчезает вместе с познанием.

Мюссе узнал, что Санд любит Паджелло, но он не узнал, принадлежала ли она Паджелло до того, как он, Альфред, покинул Венецию, и эта заноза осталась в его сердце. Жорж отказалась ответить ему на этот вопрос. Это — тайна, говорила она, и так как ее ничто больше не связывает с Мюссе, значит, она не должна отчитываться перед ним. В конце марта Жорж и Альфред уже разъехались. Они обменивались записками через гондольеров.

Мюссе выехал в Париж 29 марта в сопровождении слуги-итальянца. Он увозил с собой «двух необычных спутниц: грусть и безграничную радость» — грусть о потерянной любовнице, которую он полюбил вновь с тех пор, как она ушла от него; радость от сознания, что правильно вел себя, что принес большую жертву, что закончил красивым жестом эту связь. Жорж провожала его до Местра, а потом, поцеловав его по-матерински нежно, она, как всегда в моменты душевного перелома, проделала обратную дорогу пешком, чтобы израсходовать избыток сил, который ее переполнял. Она вернулась в Венецию, имея 7 сантимов в кармане, и поселилась в маленькой квартире вместе с Паджелло.

> *Санд — Букуарану:* Адресуйте ваши письма г-ну Паджелло, аптека Анчилло, близ Сан Лукка, для передачи госпоже Санд… Если Планш занимается правкой моих

гранок, пусть он поработает над стилем и исправит ошибки во французском языке…

Она прожила пять месяцев в своем венецианском уединении; там она закончила роман «Жак» и послала его Мюссе с сухим посвящением, написанным карандашом: «Жорж—Альфреду»; написала первые «Письма путешественника»; сделала наброски для итальянских новелл. «Жак» не понравился Бальзаку, он нашел книгу «пустой и лживой».

> *Бальзак — Эве Ганской, 19 октября 1834 года:* Последний роман госпожи Дюдеван — это совет мужьям, не дающим женам свободы, покончить с собой, чтобы освободить своих жен… Наивная девушка через полгода после свадьбы оставляет выдающегося человека ради ветрогона; человека значительного, страстного, влюбленного — ради денди, оставляет без всякого психологического или морального объяснения. Кроме того, там еще какая-то страсть к выродкам, как в «Лелии», к бесплодным существам, что весьма странно для женщины, у которой есть дети и которая любит скорее инстинктивно, по-немецки…

Действительно, многие романы Санд гораздо слабее ее писем и ее дарования.

В свободное время эта искусная романистка с врожденным трудолюбием шила или вязала. Она своими руками украсила для своего красавца итальянца всю комнату: шторы, кресла, софу. Это была хозяйственная любовница. Пьетро Паджелло был очень влюблен и несколько смущен. Прежние венецианские любовницы пытались вернуть его, и одна из них, устроила ему сцену ревности, порвала его bel vestito[21]. Брат Паджелло, Роберто, подшучивал над худой и желтой иностранкой: «Эта сардинка», — говорил Роберто. Но Пьетро любил свою француженку, и так как он проводил весь день у своих пациентов, то в распоряжении Санд оставались ее восемь часов покоя и труда, что сулило этой любви длительность. Пьетро был беден, не мог тратить деньги на цветы; поэтому он вставал на рассвете и уезжал за город, чтобы привезти Жорж полевые цветы.

Было ли это счастьем? Да, но пресным счастьем. Санд и Мюссе с радостью бы вернулись к несчастливым дням. Расставшись с Альфредом в Местре, она тут же написала ему: «Кто будет ухаживать за тобой и за кем буду ухаживать я? Кто будет нуждаться во мне и о ком захочется мне заботиться теперь? Прощай, моя маленькая птичка! Люби всегда твоего бедного старого Жоржа. О Паджелло могу сказать одно: он плачет по тебе почти так же, как и я…» Ах! Как трудно ей было отказаться от своего идеала — трио! Что касается Мюссе, то стоило ему оказаться далеко от своей ворчливой любовницы, как он начинал сожалеть о подруге. «Я люблю тебя еще со всей страстью», — писал он. Он сосредоточил все свои мысли только на ней, на отсутствующей, и очень искренне играл в благородство: пусть она будет счастлива с Пьетро. «Славный молодой человек! Скажи ему, как я его люблю, скажи, что я плачу, думая о нем…» Добрая сиделка плакала тоже: «О! На коленях умоляю тебя, тебе еще нельзя ни вина, ни женщин! Еще слишком рано… Не предавайся наслаждениям, пока, этого повелительно не потребует твоя натура, не ищи в них средства от скуки и горя…» Они договорились, что никто из них двоих не был виноват, что их бешеные характеры, их творчество несовместимы с жизнью обычных любовников.

Преданность друг другу оставалась прежней. «Милому Мюссайону» Санд давала тысячу поручений в Париже: купить дюжину лайковых перчаток, четыре пары туфель, пачули; для покупок добиться денег у Бюлоза; навестить Мориса в лицее Генриха IV. А Альфред лил слезы и бередил без конца свою рану. Приходя на набережную Малакэ, он рыдал, глядя на окурок, брошенный Жорж. Отрадные слезы: «Не надо на меня сердиться; я делаю то, что могу…

Подумай, ведь во мне не может быть сейчас ни бешенства, ни гнева; мне недостает не любовницы, а моего товарища Жорж…» Вернувшись в Париж, он увидел, что кружок друзей очень настроен против Санд. Планш и Сандо поносили ее. Мюссе, опьяненный всепрощением, решил выступить в ее защиту. «Я уезжаю писать роман. Я очень хочу описать нашу историю: мне кажется, что это меня излечит и придаст мне мужества. Я хотел бы возвести тебе алтарь, хотя бы даже на моих костях… Гордись, мой великий и славный Жорж, из ребенка ты сделала мужчину…» Это была правда. И несколько позже: «Я начал роман, о котором я тебе говорил. Кстати, если у тебя случайно сохранились письма, которые я тебе писал после моего отъезда, то будь добра, привези их…»

О несчастное племя поэтов! Они пользуются своими страданиями для творчества. Мюссе нужны были его письма, как Россети — откопать свои поэмы. Мюссе нужны были также письма Санд. Он очень тщательно выбирал из них тирады, которые собирался использовать в комедии «С любовью не шутят»: «Может быть, твоя последняя любовь будет самой романтической и самой юной. Но твое сердце, твое доброе сердце, не губи его, умоляю тебя! Пусть оно отдается полностью или частично каждой любви в твоей жизни, но пусть всегда играет свою благородную роль, чтобы когда-нибудь ты мог оглянуться назад и сказать, как я: «Я часто страдал, иногда ошибался, но я любил…» Только в комедии эту реплику говорит Камилла Пердикану.

Но так как мужчины — сложные существа и обладают способностью вволю горевать, Мюссе страдал все больше и больше: «Что, по-твоему, со мной делается? Люди говорят, что время лечит все. Я был во сто раз сильнее в день моего отъезда, чем сейчас… Я читаю «Вертера» и «Новую Элоизу». Я пожираю все эти удивительные безумства, над которыми я так смеялся. Я зайду, может быть, слишком далеко в этом смысле, как и в другом. Ну и что же? Я все равно пойду…» Можно вообразить себе, как откликалось сердце Жорж на этот боевой призыв страстного романтизма. Пьетро был славный малый, но он ведь не страдал, все ему казалось простым; ей ничего не нужно было делать для его счастья. «А вот я, я хочу страдать ради кого-то. Мне нужно использовать этот избыток энергии и чувствительности, который таится во мне. Мне нужно насыщать эту материнскую заботливость, которая привыкла оберегать страдающее и усталое существо. О! Почему я не могла жить рядом с вами двумя и сделать вас обоих счастливыми, не принадлежа ни одному, ни другому! Я могла бы так прожить десять лет…» Не принадлежа ни одному, ни другому… Вот подлинный крик Лелии.

Находясь в Венеции, она случайно узнала о свадьбе Орельена де Сез и мадемуазель де Вильмино; она пожелала ему счастья и попросила, чтобы он прислал ее письма. Он ответил:

> Мой дорогой Жорж… Я уже собрался было вернуть, как вы просите, ваши письма. Я понимаю, что у меня нет никакого права оставлять их у себя. Но я никак не могу согласиться с тем, что они принадлежат вам больше, чем мне; и я боюсь, что если вы их перечитаете, то какая-то реминисценция возникнет потом в вашем произведении. И я сжег их и сохранил лишь ту сказку, которую вы однажды мне прислали. Я очень прошу, разрешите мне оставить ее себе. Итак, прощайте, Жорж… Прощайте. Мое сердце умрет с памятью о вас…

Могилы в саду любви.

Наконец в июле 1834 года она стала думать о возвращении во Францию. Она закончила свой роман, взяв от Венеции все, что только было можно для своего произведения. Она нуждалась в деньгах: Бюлоз, Букуаран, Казимир — все они были не аккуратны в денежных расчетах с ней. Она не видела своих детей уже восемь месяцев. Она хотела присутствовать в

Париже на распределении премий в лицее Мориса. Она хотела провести осень в Ноане; ноанские вязы, акации, тенистые дороги она вспоминала с тоской. Возникала проблема: увезет ли она с собой во Францию Паджелло? Она предложила ему это. «Я растерялся, — записано в дневнике врача, — и сказал ей, что подумаю, а ответ дам завтра. Я понял сразу, что поеду во Францию и вернусь оттуда без нее. Но я любил ее больше всего на свете и скорее бы согласился на тысячу неприятностей, чем отпустить ее одну в столь длительное путешествие…» Он согласился, зная, что развязка близка. Своему отцу, которого он очень уважал, Паджелло написал: «Я на последней стадии моего безумия… Завтра я выезжаю в Париж; там мы расстанемся с Санд…» Добрый Паджелло рассуждал ясно и трезво; ему было грустно терять свою любовницу, но он был счастлив, что, покинув ее, он доставит радость своей семье и освободится от тяготившего его греха.

Глава третья
Exit[22] Паджелло

Возвращение в Париж ставило трудные проблемы, причем в трех планах.

В плане общественного мнения. Санд, не обращавшая никакого внимания на разговоры в Ла Шатре, придавала огромное значение легенде о себе в литературном мире, в мире Бюлоза и Сент-Бёва. Приехавшему в Венецию лучшему другу Мюссе, Альфреду Таттэ, она сказала: «Если кто-нибудь вас спросит, что вы думаете о жестокой Лелии, отвечайте одно: она не питается морской водой и кровью мужчин…» Вернувшись, она убедилась, что жестокая Лелия осуждена. От нее отвернулись. Паджелло удивил и разочаровал Париж. Ждали какого-нибудь итальянского графа неотразимой красоты. Увидели симпатичного молодого человека, но предпочесть его Мюссе!.. Это суровое неодобрение Жорж чувствовала очень остро.

В плане Паджелло. Ей хотелось быть с ним и нежной и великодушной. Она знакомила его с врачами, те показывали ему парижские больницы. Представила его даже Бюлозу, надеясь, что он закажет Пьетро статьи об Италии. У Паджелло не было денег, она захотела выручить его, но так, чтобы он не обиделся. Поэтому она придумала, чтобы Паджелло привез в Париж четыре картины (не имевшие никакой цены): она скажет, что продала их, и даст ему деньги. И действительно, под этим предлогом ей удалось вручить ему 1500 франков. Таким образом, и ее великодушие и его достоинство были удовлетворены; но Пьетро, которого она считала таким доверчивым, вдруг вздумал ревновать. «Стоило ему попасть во Францию, как он перестал что бы то ни было понимать», — говорила она. Он перестал что бы то ни было понимать — на языке любовной комедии означает: «Он все понял».

А понять нужно было многое, потому что в плане Мюссе была снова драма. Мюссе не соглашался с тем, что в неудавшейся любви решительный разрыв иногда является единственным лекарством. Он захотел встретиться с Жорж и не вынес потрясения. Она ему сказала, что счастлива с Пьетро. Это уже не было правдой, но она была слишком горда, чтобы в этом сознаться. Мюссе решил отстраниться; он попросил о последнем свидании и о последнем поцелуе: «Я тебе посылаю последнее прости, моя возлюбленная… Я не умру, не написав книгу обо мне и о тебе (особенно о тебе)… Клянусь в этом моей юностью и моим гением, на твоей могиле будут цвести только белоснежные лилии. Я создам своими собственными руками надгробную надпись из мрамора, более драгоценного, чем статуя нашей славы в будущем. Потомки будут повторять наши имена, как имеча тех бессмертных возлюбленных, имена которых соединены навеки, как имена Ромео и Джульетты, Элоизы и Абеляра. Никогда не будут говорить об одном, не вспомнив одновременно о другом…»

25 августа он уехал в Баден, а 29 августа уехала Жорж в Ноан. Казимир по просьбе жены написал Паджелло и пригласил его в Ноан. Но доктор очень уважал институт брака; он отказался, довольный тем, что остается «в этой огромной столице и будет знакомиться с больницами». В Ноане Санд ждали ее старый дом, красивая деревенская площадь, деревья, друзья, дети, муж и даже мать, приехавшая из Парижа. Сейчас же прибежали ее беррийцы: Мальгаш, Неро, Дютей, Роллина. Они-то по крайней мере не упрекали ее ни в чем. «Нотации только ожесточают сердце страдающего человека, а сердечное рукопожатие — самое красноречивое утешение». Ее душа была разбита, разрывалась между двумя мужчинами, и она думала о самоубийстве. Лишь любовь к детям, говорила она, привязывает ее к жизни.

Она задавала Мальгашу тысячи волнующих ее вопросов: «Ты спокоен? Переносишь без горечи и отчаяния домашние неприятности? Засыпаешь сразу, как только ляжешь? У твоего изголовья разве не стоит в обличье ангела демон и кричит тебе: «Любовь! Любовь, счастье,

жизнь, молодость!» — в то время как твое безутешное сердце отвечает: «Слишком поздно! Это могло бы быть, но этого не было». О, друг мой! А всю ночь напролет ты не оплакиваешь свои мечты, повторяя себе: «Я не был счастлив?..» Ведь Санд считала, что она не была счастлива. Ее осуждали, на нее клеветали — она знала это, и знала, что она ни в чем не виновата. Разве она не была искренней, бескорыстной, всегда готовой прийти на помощь? Своему другу Франсуа Роллина, наиболее близкому ей по складу ума, Санд послала превосходную речь в свою защиту: «Ведь ты-то меня знаешь. Ты знаешь, живут ли в этом истерзанном сердце низменные страсти, подлость, хотя бы тень коварства или влечения к какому-нибудь пороку… Ты знаешь, что меня пожирает огромная гордость, но в этой гордости нет ничего мелкого или преступного, ты знаешь, что она не привела меня ни к какой постыдной ошибке и могла бы привести к героической судьбе, если бы я не родилась в кандалах…» С Франсуа она делилась своими грустными мыслями, бродя ночами по ноанскому парку в тот час, когда белеют звезды, темнеют аллеи, а воздух нежно влажен. «Я хотела стать сильным человеком, — говорила она, — а разбилась, как ребенок…»

За сентябрь 1834 года она прочла «необъятное число» книг: «Евхаристия» аббата Жербэ; «Рассуждения о самоубийстве» госпожи де Сталь; «Жизнь Витторио Альфиери»; проповедь, трактат, исповедь. Но больше всего она читала и перечитывала письма, получаемые ею тогда от Мюссе, письма страстные, безумные, предвосхищающие «Ночи»: «Скажи мне, что ты отдаешь мне твои губы, твои зубы, твои волосы, все это, твою голову, которая была моей! Скажи, что ты целуешь меня, ты меня! О боже! О боже! Когда я об этом думаю, горло у меня сжимается, в глазах темнеет, колени подкашиваются. Ах! Ужасно умереть, ужасно любить так. Как я жажду, мой Жорж, о как я жажду тебя! Я прошу тебя, прошу о письме! Я погибаю, прощай…» Поэтическое преувеличение? Да, конечно. Как известно, от любви не умирают. В Бадене у Мюссе бывали часы, когда его нервное напряжение ослабевало, была даже и любовная интрижка, которая вдохновила его написать поэму. Но в нем жила непритворная ревность и страсть к той, которая, как он думал, от него ускользала.

В Ноане Санд уединилась в роще, чтобы ответить ему карандашной запиской; старалась его успокоить: «Ах! Ты меня еще слишком любишь. Мы не должны встречаться». Она ему рассказывала о несчастном Пьетро, «славном, чистом мальчике», который после того, что столько раз говорил: «Il nostro amore per Alfredo»[23], — тоже стал ревновать и в своих письмах осыпал Жорж упреками. Но в своем сердце она уже больше не колебалась между поэтом, посылавшим ей из Бадена восхитительные, жгучие письма «в духе Руссо», и Паджелло, слабым, подозрительным, «обрушившим ей на голову» оскорбительные и неумные обвинения.

> *Санд — Мюссе:* Может быть, он сейчас уезжает, я не буду его удерживать, потому что я оскорблена до глубины души его письмами; я понимаю, что у него исчезла вера, значит и любовь…

В первом акте пьесы «Подсвечник» у Жаклины есть очаровательная реплика мэтру Андрэ: «Вы меня разлюбили… Сама невинность была бы не права в ваших глазах… Вы меня обвиняете, значит вы меня не любите больше…»

Нужно признать, что в данном случае драма превращается в комедию. Жорж была искренна, когда она с пафосом спрашивала у Мюссе: «Разве возможна любовь возвышенная, доверчивая? Значит, я должна умереть, так и не встретив ее? Всегда гнаться за призраками, за тенями! Я устала от этого. И все же я любила его искренно и серьезно, любила этого великодушного человека, такого же романтичного, как я, которого я считала сильнее себя». Но муза комедии улыбалась, когда Санд добавляла: «Я любила его, как отца, а ты был нашим общим

ребенком…» Она хотела бы, чтобы все были счастливы, чтобы каждый верил, всему, что она говорит, чтобы каждый любовник любил ее и кротко соглашался, чтобы она составила такое счастье соперника. Но человеческие существа не таковы. Любовь не ласкова, не откровенна: любовь подозрительна, нетерпима, беспокойна и ревнива. Какое разочарование!

15 сентября Мюссе писал из Бадена: «Если я вернусь в Париж, тебе, может быть, будет неприятно, и ему тоже. Признаюсь, сейчас я не намерен щадить никого. Если он страдает, этот венецианец, ну что же, пусть страдает: это он научил меня страданию. Возвращаю ему его урок; он мне дал его мастерски…» Жорж тут же выехала из Ноана, чтобы успеть утешить Паджелло, прежде чем принесет его в жертву. Самое великолепное в этой истории было то, что Паджелло совершенно не нуждался в утешении. Он предвидел эту развязку, как только приехал из Венеции в Париж. Пребывание во Франции его интересовало: выдающиеся врачи расточали ему любезности; жизнь без любовницы ему показалась восхитительно спокойной. Вот как он рассказывал о разрыве:

> *Дневник Паджелло:* В своем письме Жорж Санд сообщила мне, что мои картины проданы за 1500 франков… В безумной радости я помчался покупать набор хирургических инструментов, а также несколько книг по моей специальности, неизвестных мне… Мы распрощались молча; я пожал ей руку, не поднимая на нее глаз. Она была как будто смущена; не знаю, страдала ли она; мое присутствие ее стесняло…

Exit Паджелло. Добрый доктор вернулся в Венецию, женился, там у него было много детей, он дожил до девяноста одного года (1807–1898), окруженный благодаря своему юношескому увлечению таким же ореолом обаяния, как и Гвиччиоли[24]. Счастливы те, кто, приобщившись на мгновение к какой-либо блестящей судьбе, быстро уходит от опасных лучей прожекторов.

Глава четвертая
Поиски абсолюта

Кто думал теперь о Паджелло? При первой же встрече Санд и Мюссе снова стали любовниками; он — опьяненный страстью, она — умиленная и растроганная. И все же это не было «полным и нежным примирением», о котором говорит Паскаль. Мюссе обещал забыть прошлое. Клятва пьяницы! Разве душа, испытывающая от страданий чувственное наслаждение, откажется от того, чтобы вызвать вновь это страдание? Он преследовал Жорж непрестанными, подробными расспросами. Когда она стала любовницей доктора? Как? Она отказывалась отвечать, ссылаясь на естественную стыдливость: «Неужели ты думаешь, что если бы Пьетро меня расспрашивал о тайнах нашей интимной жизни, я бы ему ответила?» Но Мюссе уже вошел в свой адский цикл: яростное желание мазохиста узнать все самое худшее; ревность, оскорбления, ужасные сцены; потом угрызения совести, мольбы о прощении, чудесная нежность; а когда Жорж не поддавалась на все это, он заболевал. И вновь она пошла на квартиру его матери, чтобы ухаживать за ним; она взяла у своей служанки чепец, передник, а госпожа Мюссе, как соучастница, притворилась, что не узнает ее.

Как только ему стало лучше, он переселился на набережную Малакэ, к Жорж, но они уже не могли быть счастливы. Снова оскорбительные сцены чередовались со страстными записками. Она поняла, что положение безнадежно. «Пойми же, что мы с тобой ведем игру, где ставками являются наши сердца, наши жизни, и это совсем не так забавно, как кажется. Хочешь поехать вместе во Франшар и пустить себе пулю в лоб? Это будет проще…» Но так как в действительности ни у него, ни у нее не было желания покончить расчеты с жизнью, она сочла более благоразумным порвать и уехать в Ноан.

Но тогда началась «игра на качелях», то есть то самое, что является пружиной страстей в классическом театре. У человека есть свойство — пренебрегать тем, что ему предлагают, и гнаться за тем, в чем ему отказывают. Жорж Санд с удивлением поняла, что на этот раз Мюссе соглашается на разрыв. Сразу же у нее исчезло желание разлуки; ее гордость была задета, она примчалась в Париж и дала ему знать, что хочет видеть его. Вымуштрованный своими друзьями, особенно Альфредом Таттэ, Мюссе не ответил ей. Ей сказали, что он отзывается о ней холодно и раздраженно и не хочет больше ее видеть. В течение ужасных дней ноября 1834 года Жорж Санд ведет пространный «Дневник» — одну из лучших написанных ею вещей:

> А может быть, побежать к нему, если я не в силах побороть свою любовь? Может быть, звонить до тех пор, пока он не откроет мне дверь? Может быть, лечь там на пороге, пока он не придет?… Может быть, сказать ему: «Ты меня еще любишь, ты страдаешь от этого, ты стыдишься этого, но ты меня так жалеешь, что не можешь-разлюбить. Ты видишь, я люблю тебя, я могу любить только тебя. Поцелуй меня, не говори ни слова, не надо ссор; скажи мне что-нибудь ласковое; приласкай меня; ведь ты еще находишь меня красивой…» Ну, а когда в тебе уляжется нежность и опять возникнет раздражение, выгони меня, будь со мной груб, по никогда не произноси этого ужасного слова: последний раз! Я буду страдать сколько тебе угодно, но позволь мне иногда, хотя бы раз в неделю прийти за слезой, за поцелуем, это даст мне силу жить, даст мне мужество. Но ты не можешь. Ах! Как ты от меня устал и как же скоро ты выздоровел!..

Она пыталась встречаться с друзьями. По просьбе Бюлоза она стала позировать Делакруа; во время сеансов он говорил с ней о таланте Мюссе, ясно видном и в его набросках, и эти разговоры бередили ее боль. Она мечтала, чтобы Делакруа написал ее похожей на женские портреты Гойи, которыми восхищался Альфред.

Она часто виделась с любезной, но чересчур рассудочной Ортанс Аллар, и та ее учила, что, если хочешь вернуть мужчину, надо хитрить и притворяться рассерженной. Глупости! Какая же это любовь, когда прибегают к хитрости! Один Сент-Бёв не говорил ей глупостей. Она его спрашивала: «Что такое любовь?» Он ей отвечал: «Это слезы; вы плачете, вы любите». Потом она стала искать одиночества. «У меня нет сил работать», — писала она. Вот чего с ней никогда еще не бывало!

Она знала, что Мюссе, будь он предоставлен самому себе, вернулся бы к ней. Но была гордость, эта мужская гордость. Был этот дурак Альфред Таттэ, который говорил: «Какое малодушие!» Ах, вернуть хотя бы дружбу Мюссе:

> Если бы я получала от тебя хоть изредка несколько строчек или слов или могла бы тебе посылать время от времени картинку, купленную на набережной за четыре су, набитые мною для тебя папиросы, птичку, игрушку — какой-нибудь пустячок, чтобы обмануть мою боль и тоску и надеяться, что ты вспомнишь обо мне, когда получишь это…

И это душераздирающее и возвышенное:

> О мои голубые глаза, вы больше не будете глядеть на меня! Прекрасная голова, я больше не увижу тебя склоненной надо мной, не увижу взгляда, затуманенного нежной истомой! О это хрупкое, гибкое, горячее тело, оно больше не прильнет ко мне, как Елисей к мертвому ребенку, чтобы оживить его. Вы больше не дотронетесь до моей руки, как Иисус прикоснулся к дочери Иаира, говоря: «Восстань, дитя». Прощайте, мои любимые белокурые волосы; прощайте, мои любимые белые плечи; прощай все, что было моим! Теперь в мои безумные ночи я буду целовать в лесах стволы елей и скалы, громко крича ваше имя, и, пережив в своих мечтах наслаждение, я упаду без чувств на влажную землю…

Измученная, она в декабре уехала в Ноан. Ей казалось, что она примирилась со своей судьбой. Альфред написал ей довольно ласковое письмо, в котором говорил, что раскаивается в своей жестокости. «Итак, конец. Больше не хочу его видеть, это слишком тяжело…» И тут же узнала о его словах Альфреду Таттэ, что разрыв на этот раз уже окончательный. Она не вынесла этого удара. Как Матильда де ля Моль, она отрезала и послала ему свои прекрасные волосы. Делакруа на том портрете, который находится в Карнавале, изобразил ее с короткими волосами, «с озабоченным лицом, с помутневшими глазами, заострившимся носом, дрогнувшим ртом, побледневшую и похудевшую от бессонных ночей». Когда Мюссе получил тяжелые локоны, он разрыдался. И опять он вернулся, и торжествующая Жорж могла написать Таттэ: «Сударь, бывает, что хирургическая операция проведена блестяще, она делает честь ловкости хирурга, но все же не может остановить болезнь. Вот так и Альфред снова стал моим любовником…»

Но оба и он и она, были больны худшим из безумств: поисками абсолюта. От разрыва к разрыву, от примирения к примирению их умирающая любовь переживала резкие скачки, которые были всего лишь конвульсиями агонии. В это время Санд и Мюссе были похожи на борцов, обливающихся потом и кровью, цепляющихся друг за друга, наносящих друг другу

удары, но которых зрители не могут разнять. Однажды он угрожал убить ее, а потом в короткой записке на итальянском языке умолял о последнем свидании: «Senza veder, e senza parlar, toccar la mano d'un pazzo che parte domani»[25].

Сент-Бёв, арбитр в этой последней битве, вмешался, чтобы покончить дело. Она отказалась:

> *Санд — Мюссе*: Моя гордость уже сломлена, а моя любовь — это только жалость. Я говорю тебе: «Нам надо выздороветь. Сент-Бёв прав». Твое поведение немыслимо, достойно жалости. Мой бог, на какую жизнь я оставляю тебя? Пьянство, вино, проститутки и опять и всегда! Но раз я не в силах больше предохранять тебя от всего этого, стоит ли продолжать: ведь для меня это позор, а для тебя пытка…

И так как Альфред упорно продолжал приходить к ней, она сбежала в Ноан. Последние сцены этого романа снова вызывают в памяти комическую музу, так как из них явствует, что даже в волнении страстей Жорж сохранила присутствие духа и организаторские способности. Буржуазка из Ла Шатра и владелица поместья в Ноане в трудные минуты жизни брали под защиту романтическую героиню.

> *Жорж Санд — Букуарану, 6 марта 1835 года:* Мой друг, помогите мне уехать сегодня. Сходите в почтовую контору в полдень и закажите мне одно место. Затем приходите ко мне. Я вам скажу, что нужно делать.
>
> Однако может статься, что я не смогу вам это сказать, так как мне будет очень трудно усыпить беспокойство Альфреда, потому я вам сейчас объясню все в двух словах. Вы придете ко мне в пять часов с озабоченным видом, скажете, что вы очень торопитесь, что моя мать только что приехала, и очень утомлена, и серьезно больна; что ее служанки нет дома и я ей нужна сейчас же; что поэтому я должна ехать к ней немедля. Я надену шляпу, скажу, что я скоро вернусь, и вы меня посадите в коляску.
>
> Приходите за моим спальным мешком днем. Вам будет легко унести его, чтобы этого не заметили, и вы отнесете его в контору. Отдайте починить мою дорожную подушку, которую я вам посылаю. Застежка потеряна… Прощайте, приходите как только сможете. Но если Альфред будет дома, то не подавайте виду, что вы хотите мне что-то сказать. Я приду в кухню, чтобы с вами поговорить..

> *Альфред де Мюссе — Букуарану, 9 марта 1835 года:* Сударь, я только что заходил на квартиру госпожи Санд; мне сообщили, что она в Ноане. Будьте любезны, скажите, правда ли это. Поскольку вы видели госпожу Санд сегодня утром, очевидно, вам известно, каковы были ее планы, и, так как она должна была уехать только завтра, будьте добры сказать мне, считаете ли вы, что она по каким-то причинам не пожелала видеть меня перед своим отъездом…

> *Жорж Санд — Букуарану, Ноан, 9 марта 1835 года:* Мой друг, я приехала в Шатору в три часа пополудни; чувствую себя хорошо и нисколько не устала. Вчера я видела всех наших друзей из Ла Шатра. Роллина приехал со мной из Шатору. Я обедала имеете с ним у четы Дютей. Я принимаюсь за работу для Бюлоза.
>
> Я чувствую себя очень спокойно. Я сделала то, что должна была сделать. Единственная вещь, которая меня мучит, — это здоровье Альфреда. Напишите мне о нем и расскажите мне, ничего не меняя и не смягчая, как он встретил известие о моем отъезде: был ли безразличен, или сердился, или проявил горе? Мне важно знать

правду, хотя ничто не может изменить моего решении.

Напишите мне о моих детях. Кашляет ли еще Морис? Был ли он здоров в воскресенье вечером? У Соланж тоже был кашель…

В первую же ночь она принялась писать роман для Бюлоза и исписала двадцать положенных листков своим крупным спокойным почерком.

Глава пятая
Сельские песни после грозы

Гром больше не гремит; гроза кончается; из ее последних раскатов возникает сельская песнь. Но это бурное увлечение закончилось поражением. Лелия еще раз поверила в возможность бросить миру вызов, заставить всех считаться с ее независимой жизнью, посвященной любви и свободе. Однако любовь и свобода оказались несовместимыми. Все друзья, даже самые верные, даже ее руководитель Сент-Бёв, про себя осуждали ее, а ей советовали более благоразумные увлечения. Лекарство Сент-Бёва, как он признавался сам, было «скучным и жалким». Он стоял за несовершенную любовь.

Нет, больше у нее уже не было надежд ни на длительную и нежную любовь, ни на слепую и неистовую. Она понимала, что любовь — это прекрасная и священная вещь, а она обошлась с ней плохо, да и с ней самой плохо обошлись в любви. Она считала себя слишком старой, чтобы внушить кому-нибудь чувство еще раз. У нее больше не было ни веры, ни надежды, ни желания. Она не отреклась от бога своей юности, но она недостаточно поклонялась ему, и он поразил ее. «Кавалькады» кончены, больше она не вставит ногу в стремя.

> *Жорж Санд — Сент-Бёву, конец марта 1835 года:* Я ясно вижу, что моя ошибка, мое несчастье заключается в ненасытной гордыне, сгубившей меня… Да будут прокляты люди и книги, толкнувшие меня на это своими софизмами! Я должна была остановиться на Франклине, который был моей отрадой до двадцати пяти лет; его портрет висит над моей кроватью, и при взгляде на него мне хочется плакать, как будто это преданный мною друг. Я не вернусь больше ни к Франклину, ни к моему духовному иезуиту, ни к моей первой платонической любви, длившейся шесть лет, ни к моим коллекциям насекомых и растений, ни к радости кормить грудью детей, ни к охоте на лисицу, ни к быстрой верховой езде. Ничего из того, что было, больше не будет, я это знаю слишком хорошо…

Свойственное всем людям заблуждение, когда их захлестывает волна, — забывать о вечном движении, которое вновь вынесет их на гребень, если они будут жить и действовать. Конечно, то, что было, больше не повторится. Но возможности оставались бесчисленными. Думала ли она, когда раскаивалась в причиненном ею Альфреду зле, что он оправится так быстро? Восемь или девять месяцев спустя именно Мюссе утешал своего друга Таттэ, ставшего, в свою очередь, жертвой измены; «Ах! Ах! Но я же выздоровел! Я же стал опять кудрявым, смелым да еще и равнодушным…»

Поэзия— это возбуждение, о котором вспоминают в спокойствии. Мюссе уже больше не страдал, поэтому он мог сколько угодно бередить свою рану, если этого требовало искусство. Воспоминания, сохранившиеся у него об этой адской поре его жизни, картины этих дней страсти, наслаждения и исступления пройдут через все его творчество. Иногда это крик ненависти, но чаще всего скорбь о безумной гордячке, о черных локонах и прекрасных глазах.

Книга о ней, некогда обещанная им Жорж, вышла в 1837 году и называлась «Исповедь сына века». В ней под именем Бригитты Пирсон, без примеси горечи, даже с уважением, описана Санд. Герой Октав, проживший распутную молодость, привык обращать в шутку все самое святое и таинственное, что несут за собой ночи счастья. Он обращается с Бригиттой то как с неверной любовницей, то как с содержанкой. Бригитта относится к нему по-матерински. «Когда вы мучаете меня, — говорит она, — вы для меня уже не любовник; тогда вы просто больной

ребенок, за которым я хочу ухаживать, хочу вылечить, чтобы опять увидеть того, кого люблю… Пусть бог матерей и любовников поможет мне выполнить эту задачу…» Конечно, Жорж, какой мы ее знаем, говорила ему подобные вещи. Роман заканчивался намеком на прощение: «Я не думаю, моя дорогая Бригитта, что мы сможем забыть друг друга; но я думаю, что мы еще не способны к прощению; а все же это необходимо во что бы то ни стало, даже если мы никогда не увидимся». Когда Санд прочла это место, она заплакала. «Потом я написала несколько строк автору, чтобы сказать ему сама не знаю что: что я его очень любила, что я ему все простила и что я не хочу встречаться с ним…» В этом вопросе они держались одного мнения.

Однажды, в конце 1840 года, Мюссе, проезжая через лес Фонтенбло, вспомнил «женщину из Франшара», воспламенившую его юность. Несколько позднее он встретил Жорж в театре: она была по-прежнему молода и красива; она смеялась; она посмотрела на него, как чужая. Вернувшись к себе, в ту же ночь он написал «Воспоминание», темой которого было: «Да, любовь проходит, как все человеческие страсти и как сами люди».

О да, все погибнет, весь мир — сновиденье,
а счастья крупицу найдешь по пути, —
уж коль эту розу случится найти,
как ветер отнимет в мгновенье…

Так что же, когда улетела любовь,
мы скажем, что меньше любили?

Я знать не хочу, как поля расцветают
и что человека впоследствии ждет,
и нам не откроет ли бездна высот
того, что сегодня скрывает?

Я лишь говорю: «Я изведал тут много,
я здесь был любим, ты была хороша».
Бессмертная спрячет все это душа
и взмоет к обители бога.

Можно представить себе лучший образец любви, чем любовь романтическая; можно мечтать о страсти, которую время и воля превратят в любовь. Великая душа может искренне поклясться в верности и сдержать эту клятву. Но не надо взвешивать на одних и тех же весах поступки художника и поступки обыкновенных людей. Каждый художник — это великий лицедей, которому необходимо — и он это знает — подняться над обычными эмоциями, чтобы его замысел превратился в необыкновенное и драгоценное создание. Моралист имеет право считать, что было бы лучше, если бы жизнь Санд и Мюссе сложилась более благоразумно. Но своеобразные произведения искусства, родившиеся в результате их ошибок и страданий, не были бы осуществлены. До встречи с Жорж Мюссе познал желание, но не страсть; он мог написать «Балладу Луне», но не диалог Камиллы и Пердикана. Вот почему мы не должны жалеть, что как-то в 1834 году в наполненной призраками комнате, в которую вливались шум и тяжелый запах стоячей воды раскаленной Венеции, два гениальных любовника мучили и терзали друг друга. Конечно, в их криках была напыщенность и в их исступлении некоторая доля притворства.

Кто знает, как бог созидает,
зачем он моря содрогает?
В чем грома и молний причина,
зачем завывает пучина?
Быть может, весь блеск этот нужен
для зреющих в море жемчужин?

Часть пятая
Пророки и поэты

Видишь ли, чем дальше, тем больше я понимаю, что сильно любить можно лишь того, кого не уважаешь.

Мари Дорваль



Глава первая
Мишель из Буржа

Ноан, Конец марта 1835 года. Как хорош сад в эти первые весенние дни! Цветут гиацинты и барвинки. Госпожа Дюдеван в довольно мрачном настроении садится на скамейку и читает письма Сент-Бёва; упреки, ободрения, предупреждения. Сент-Бёв советует молодой грешнице обратиться к богу. А Бюлоз потрясен тем, что она требует у него Платона и коран. Он боится всякой «мистичности», которая может обрушиться на голову ему самому и на «Ревю». «Напишите Жорж, — сказал он Сент-Бёву, — чтобы она не очень увлекалась мистикой. О! Если бы я был смелее, я бы не отослал эти книги, но она сердится».

Опасения Бюлоза были не напрасны. Его романистка «увлеклась мистикой». Но не мистикой любовной страсти. Жорж утверждала, что скорее пустит себе пулю в лоб, чем согласится вновь пережить эти последние три года… «Нет, нет… никакой любви! Ни нежной и длительной, ни слепой и неистовой! Неужели вы верите, что я могу внушить первую и что я соглашусь испытать вторую? Обе прекрасны и драгоценны, но я слишком стара для обеих». После стольких неудач любовь начинает ее пугать, и она хочет в чем-то другом искать для себя исцеления. Где? Как? В боге, как некогда в монастыре и как советует Сент-Бёв? Она сама думает об этом, ведь она продолжает любить этого неведомого бога; он там, за звездами; она чувствует его в эти грустные ночи, когда в парке Ноана в слабых лучах небесных светил все становится молчаливым, таинственным, сумрачным. Но она не надеется ни на что, она беспредельно печальна; она думает: «Бог отвернулся от меня и не заботится обо мне, раз он оставил меня на земле в неведении, в горе и слабости…» Она покинута небом, как была покинута любовью.

Из всего, что ей пишет Сент-Бёв, она запоминает только два слова: самоотречение, самопожертвование. Ей хочется отдаться какому-нибудь большому делу, дать выход переполняющей ее энергии, уничтожить в себе эгоизм и гордыню. Эти желания довольно неопределенны и беспредметны. Кому посвятить себя? Дети далеко: Морис в лицее, Соланж в пансионе. «Толстая девчонка» превратилась в сорванца, который никого не слушается, но которому все прощается, оттого что он забавен и красив. Чувствительный Морис мечтает жить подле матери. Она тоже хотела бы этого, но знает, что воспитание сына было бы вечным поводом для ссор с Казимиром. Ее адвокат и поверенный в Ла Шатре, Дютей, советует ей примириться с мужем, «став его любовницей». Этот план приводит ее в ужас: «Даже самая мысль о сближении без любви гнусна. Женщины, которые ценою близости добиваются власти над мужем, нисколько не лучше проституток, продающихся за хлеб, и куртизанок, продающихся за роскошь». Адвокат сослался на интересы детей; она в ответ ему противопоставила глубокий инстинкт отвращения. Она не говорит, что муж внушает ей физическое и моральное отвращение больше, чем другие. Но она думает, что женщина не может отдаваться, как вещь:

> Мы едины душой и телом… Если телу присущи такие функции, как еда и пищеварение, к которым душа ни в коем случае не причастна, то возможно ли уподобить союз двух существ в любви этим функциям? Сама мысль об этом возмутительна.

Раз не могло быть и речи о том, чтобы обольщать Казимира, оставалось только одно — избавиться от него. Она горячо желала раздельной жизни и раздела имущества, чтобы стать, наконец, независимой. Дюдевану, в свою очередь, надоела деревенская жизнь, и он далеко не

враждебно относился к мысли о холостяцкой жизни в Париже. Был заключен предварительный контракт «о расторжении брака». За Авророй останется Ноан; за Казимиром — отель Нарбонн на улице де ла Арп, который приносит 6 тысяч 700 франков дохода. Воспитание Мориса будет доверено отцу, и он будет платить за пансион сына, а таже налоги и жалованье привратнику отеля. Аврора возьмет на себя заботы о Соланж. Этот договор вступит в силу в ноябре 1835 года. Едва он был подписан, как Казимир тут же начал раскаиваться: он сожалел о своем маленьком ноанском царстве и считал, что, отказавшись от прав на него, совершил акт чисто римского героизма. Но его жена отказывалась смотреть на это трагически или хотя бы серьезно. «Моя профессия — свобода, мое желание — не получать ни от кого ни милости, ни милостыни, даже в том случае, когда мне помогают моими же деньгами…» Особенно ей не хотелось, чтобы в глазах детей, уважением которых она дорожила, «барон» выглядел жертвой. Что делать? Дютей предложил ей поехать в Бурж посоветоваться со знаменитым адвокатом, близким другом Плане, Луи-Кризостомом Мишелем, уже тогда известным под именем «Мишеля из Буржа».

Жорж Санд уже давно интересовалась этим непримиримым республиканцем, оракулом Шера и Эндра, некоронованным королем Аквитании. «Мишель думает… Мишель хочет… Мишель говорит…» Дютей, Плане, Роллина повторяли эти слова с особым уважением. На юге Луары Мишель из Буржа был неоспоримой главой оппозиции существующему режиму и имел почти деспотическое влияние на либералов этих провинций. Тридцатисемилетний, он походил на маленького, сгорбленного, лысого старичка с головой очень странной формы; казалось, что она спаяна из двух черепов. У него было бледное лицо, прекрасные зубы и близорукие глаза удивительной доброты. По описанию Ламартина это «человек из гранита…, в чьей прямоугольной фигуре, напоминавшей очертания галльских статуй, было что-то грубое и примитивное; бледные и впалые щеки; голова, вошедшая в плечи; глубокий, низкий, замогильный голос».

Сын бедного лесоруба из Вара, убитого противниками революции, он был воспитан по-крестьянски. Он всегда носил бесформенный широкий плащ, грубые сабо, а так как был человеком хилым и болезненным и всегда мерз, то завязывал вокруг головы три платка из полушелковой ткани, такой головной убор выглядел фантастически странным. Но под этим смешным нарядом, одновременно деревенским и вызывающим, виднелась тонкая рубашка, всегда белая и свежая. Этот грозный трибун был кокетлив и любил женщин. Его величайшим средством обольщения было красноречие. Он становился почти красивым, когда говорил.

7 апреля 1835 года с семи часов вечера до четырех часов утра на мостовых Буржа он ослеплял Жорж Санд, Плане и Галла Флери фейерверком. Жорж приехала советоваться с ним по личным делам, а он говорил с ней лишь о «Лелии» и об идеях этой книги. Прекрасной весенней ночью, при свете луны они гуляли по суровому и немому Буржу. Мишель говорил до зари.

> Казалось, что полная мыслей музыка возвышает вашу душу до божественной созерцательности и возвращает ее легко и свободно, логично и музыкально к земным интересам и дыханию природы…

О чем шла речь? О том, чтобы связать Жорж Санд с делом воинствующей революции; чтобы оторвать ее от «социального атеизма»; чтобы излечить ее от интеллектуальной гордости, требовавшей абстрактного совершенствования и презрения к действию. Зачарованная, она пыталась защищаться, но ей уже доставляло удовольствие чувствовать себя побежденной. Мишель играл ва-банк; он обожал Лелию, Жорж ему понравилась гораздо больше. «Никогда еще я не видел его таким, — говорил ей Плане. — Вот уже год, как я живу рядом с ним, а узнал я его только сегодня вечером. Наконец-то он раскрылся целиком; ради вас он из себя выходил, чтобы

поразить своим умом и чувствительностью». А она рассказала Гюставу Папе о встрече по-своему: «Я познакомилась с Мишелем, он обещал гильотинировать меня при первом удобном случае…» Ипполиту Шатирону: «Я познакомилась с Мишелем; этот славный малый хорошо закален, он может стать народным трибуном. В случае переворота он наделает, по-моему, много шума».

После Мюссе и Паджелло Жорж искренне считала себя излеченной от любовных страстей. О наивность! Кто и когда сумел излечиться от страсти, пока существуют надежда и молодость? Она была подобна храброму боевому скакуну: он счастлив, что может вернуться после битвы к спокойным пастбищам, но стоит прозвучать вдали трубе, как он прыгнет через препятствия и поскачет к пушкам. Жорж оправдывала внезапную связь, если эта связь бескорыстна и сопровождается сильным чувством. Ее встреча с Мишелем состоялась 7 апреля; сохранилось кольцо, инкрустированное эмалью, которое она подарила ему на память о первых днях любви, с выгравированной датой 9 апреля 1835 года. Он стал ее новым любовником? Нет. Это его «она любила со дня своего появления на свет; любила, даже встречая фантомов, когда она на какое-то мгновение верила, что это он и она обладает именно им».

И все же, слушая его, она сохранила свободу суждения и свой здравый смысл в духе Франклина. Инстинктивная политика Жорж Санд заключалась только в любви и справедливости, а политика Мишеля имела целью власть, а средством ее достижения гильотину. Вернувшись в Ноан, она начала писать для него (назвав его Эвераром) «Шестое письмо путешественника» — в нем она и восхваляет его и спорит с ним. Мишель — филантроп? Нет.

> Филантропия создает сестер милосердия. Любовь к славе — это нечто совсем другое и порождает другие судьбы. Со мной не говори об этом, о возвышенный лицемер! Ты ошибаешься в себе, принимая за чувство долга фатальную и суровую склонность, на которую тебя толкает сознание силы. Ведь я-то знаю, что ты не из тех, кто считается с долгом, а из тех, кто его навязывает другим. Ты не любишь людей, ты не брат им, потому что ты не ровня им. Ты исключение среди них, ты рожден королем…

Она хотела остаться только поэтом; она знала, что подвиги самых великих людей действия забываются быстро, и порыв ветра, возвращающий Суллу, стирает воспоминания о Марии.

Он ее всколыхнул. На что она тратила свои силы? На книжную любовь. Ничего больше. Она готова была признать, что ее жизнь была полна ошибок, но не придавала теоретического значения прошлым заблуждениям: «Мои старые друзья достаточно любят меня, чтобы отнестись ко мне снисходительно и простить мне то зло, которое я могла себе сделать. Мои сочинения, не выводившие никаких заключений, не принесли ни добра, ни зла…» — «А как же с заключением? — нетерпеливо спрашивал он. — А если ты умрешь, так и не придя ни к какому заключению?» Ей нравилось, что его сила захлестывает ее. Впервые она имела дело с более волевым человеком, чем она. Он говорил ей: «Дура’» — это было новое ощущение. Она ласкала его большую плешивую голову, она хотела, чтобы Мишель постарел или заболел, чтобы она могла заботиться о нем. Но он уже был болен ненасытным тщеславием. Она решалась говорить с ним об этом: «Ты находишь, что слишком долго приходится ждать завершения великой судьбы! Часы идут, твоя голова лысеет, твоя душа истощается, а род человеческий не прогрессирует…»

В конце апреля Мишель отправился в Париж, чтобы защищать лионских инсургентов; это был знаменитый политический процесс года. Все главы республиканской партии: Мари, Карнье-Паже, Ледрю-Роллен, Каррель, Карно, Пьер Леру, Барбес — сидели на скамье защиты. Жорж тоже пожелала ехать в Париж, чтобы видеться с Мишелем и присутствовать на прениях.

Сент-Бёв не был в курсе любовных дел Санд, и потому предостерегал ее от опасности встречи с Мюссе: «Не думайте, друг мой, что вы не увидите его, что он не узнает, что он не придет… Представьте, что вы там, что вы ему открываете дверь и что вы с ним наедине». Она невольно улыбнулась. До Мюссе ли ей было теперь! Постепенно ею овладевала страсть к политике, не менее опьяняющая, чем любовная страсть. Вместе с Мишелем в квартиру на набережной Малакэ проникло возбуждение республиканцев. «Поставим социальный вопрос», — каждый вечер говорил добрый и наивный Плане. «Поставим социальный вопрос», — повторял молодой и красивый Лист, которого Мюссе еще раньше представил Жорж. А для того чтобы «поставить все вопросы», Лист устраивал обеды и приглашал на них аббата Ламенне и Жорж; осторожный Сент-Бёв с ужасом думал, о чем могли говорить эти иллюминаты.

С Мишелем, не щадившим себя в деле защиты апрельских обвиняемых, вечерами после судебных заседаний случались приступы ужасной тоски, Жорж, как преданная сиделка, ухаживала за ним, «привязываясь всем сердцем к этому ни на кого не похожему существу». Как только Мишелю становилось лучше, он произносил какую-нибудь блестящую речь, на этот раз — чтобы обратить в свою веру Жорж. Она не была враждебно настроена к его теориям, она тоже ненавидела умеренность взглядов; неосознанно она была бонапартисткой в той степени, в какой Наполеон олицетворял республику; она была с юности республиканкой из ненависти к «старым графиням», унаследовав от своей матери любовь к народу. Она допускала равенство благ, но понимала его отвлеченно, как нечто, имеющее отношение к счастью, а не к разделению имущества, «которое могло бы сделать людей счастливыми при одном условии, что они станут дикарями». Как-то ночью на мосту Сен-Пэр при свете огней Тюильрийского дворца, мерцавших в листве парка, Мишель проповедовал теорию Бабефа — бабувизм: заговор, имеющий целью покончить с неравенством путем насилия. Владелицу замка Ноан, мечтательно наслаждающуюся очарованием ночи, едва уловимыми звуками отдаленного оркестра, «мягкими отблесками луны и огнями королевского праздника», вывел из этого созерцания голос Мишеля. «Я вам говорю, — воскликнул он, — для того, чтобы обновить и возродить ваше развращенное общество, надо, чтобы эта дивная река стала алой от крови, чтобы этот проклятый дворец был превращен в пепел, а этот большой город, на который вы смотрите, превратился в пустыню, и бедняк вскопал бы землю плугом и выстроил себе хижину».

Этой ночью он говорил с таким шумным пафосом, так громко стучал тростью по стенам старого Лувра, что Санд и Плане, огорченные, обескураженные, бросили его и пошли к набережной Малакэ. Он пошел за ними, умоляя Жорж выслушать его. Спор поднимался ежедневно. Она жаловалась на интеллектуальную тиранию, которую Мишель пытается осуществить. Она верила в разум и любовь больше, чем в насилие. Она была благодарна Мишелю за то, что он приоткрыл ей идеал совершенного равенства, но она опасалась, как бы такое бурное красноречие не привело к безрассудству и стрельбе. Наделенная требовательным здравым смыслом, она спрашивала, какое общество он хочет построить? Каков его план? «Как я могу это знать? — отвечал он. — События покажут. Истина не открывается мыслителям, удалившимся на гору. Чтобы найти истины, приемлемые для трудящегося общества, надо объединиться и действовать».

Он упрекал Жорж в нетерпении. «Скорее, скорее, — иронически говорил он, — откройте секрет бога господину Жорж Санд, он не может ждать». Конечно, она могла скрестить руки и сохранить тем самым свою драгоценную свободу. «Но истина не следует за беглецами и не мчится галопом вместе с ними…» Божественный философ, которого ты обожаешь, хорошо знал это, когда говорил своим ученикам: «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Значит, надо искать других и молиться с ними…» Однажды утром, когда она собиралась возразить ему, он запер ее в квартире на ключ и ушел из дому. Впоследствии он несколько раз

оставлял ее таким образом пленницей на целый день. «Я сажаю тебя в одиночку, — говорил он смеясь, — чтобы дать тебе время подумать».

Вначале она находила даже какое-то удовольствие в таком грубом обращении, но ее убеждения остались неизменными. Она всегда считала, что низшие являются высшими, что угнетаемые выше угнетателей, что рабы лучше тиранов. «У меня давняя ненависть ко всему, что держится на глиняных ногах». Но эта ненависть оставалась пассивной. За исключением нескольких вспышек воинственного пыла, Жорж вновь обращалась к своей жизни поэта. Но из любви к Мишелю она приняла, наконец, не его доктрину, но его знамя:

> Увы! Предупреждаю вас, что я способен лишь мужественно и преданно осуществлять приказания. Я могу действовать, а не размышлять, так как я ничего но знаю и ни в чем не уверен. Я могу повиноваться, если я закрою глаза и заткну уши, чтобы не видеть и не слышать ничего, что могло бы меня разубедить; я могу пойти за своими друзьями подобно собаке, которая, увидев, что хозяин ее отплывает на корабле, бросается за ним в воду и плывет до тех пор, пока не погибнет от усталости. Море велико, о друзья мои! А я слаб. Я гожусь только в солдаты, во мне нет и пяти футов роста… Вперед! Каков бы ни был цвет вашего знамени, лишь бы ваши фаланги шли к республиканскому будущему; во имя Иисуса, у которого остался на земле только один истинный апостол; во имя Вашингтона и Франклина, которые не смогли все завершить и оставили это дело нам; во имя Сен-Симона, чьи сыновья, не задумываясь, выполняют божественную и страшную задачу (храни их господь…); лишь бы добро взяло верх, лишь бы те, кто верит, доказали это… Я просто маленький солдат, примите меня.

Чтобы превратить Санд из маленького солдата в солдата революции и чтобы удовлетворить одновременно ее сердце и разум, нужен был пророк более религиозный, чем Мишель, пророк, который бы сумел примирить христианство с социализмом.

Глава вторая
Новые друзья

Слой друзей обновляется так же медленно, но неизбежно, как пласты перегноя. Один умирает, второй ускользает из нашего мира, третий проникает в него, приводя с собой новую смену. По приезде в Париж беррийцы — Реньо и Флёри — по-прежнему не отходили от госпожи Дюдеван; Латуш и Сент-Бёв были ее наперсниками. Но разрыв с Сандо отдалил Реньо и Бальзака; новая страсть привела ее к одиночеству. После ухода Мюссе остался Франц Лист, которого Мюссе сам привел на набережную Малакэ. Было много причин, благодаря которым гениальный музыкант Лист понравился Жорж Санд. Воспитанная своей бабушкой, она инстинктивно понимала серьезную музыку. Но были и другие основания; как и Жорж, Лист в молодости был мистиком и в большей степени, чем она, сохранил пылкую набожность; как и Жорж, он испытывал искреннее сострадание к несчастным; как и Жорж, он сочетал в себе аристократические манеры с демократическими взглядами; как и Жорж, он жаждал знаний, читал произведения поэтов, философов, стремился к благородным чувствам. Лист был на семь лет моложе Санд; когда он играл, глаза его метали молнии, шелковистые волосы развевались. Она могла бы его полюбить.

Парижские сплетники утверждали, что она его любила; Мюссе некоторое время ревновал ее к Листу; Аврора и Франц всегда отрицали это, а так как их свободный образ жизни был у всех на виду, им можно было верить. Лист восхищался романами Санд и восхвалял ее романтическую концепцию любви: «Коринна с набережной Малакэ» не внушала ему плотских желаний. Что касается ее, то она писала: «Если бы я могла любить господина Листа, я бы его полюбила со злости. Но я не могла… Я бы очень огорчилась, если бы любила шпинат, так как, если бы я его любила, я бы его ела, а я его не переношу». Вдобавок Лист «думал лишь о боге и о святой деве, а я нисколько на нее не похожа. Добрый и счастливый молодой человек!». Заметна ли здесь тень досады? Может быть, шпинат (как виноград) был слишком зеленым? В действительности Франц любил другую женщину, графиню д’Агу, внучку немецкого банкира Бетмана, дочь графа де Флавиньи, голубоглазую женщину с золотыми волосами, тоненькую, почти прозрачную, «прямую как свеча, белую как облатка» и готовую на любой смелый поступок в своей романтической страсти.

Мюссе представил Листа Санд; Лист, в свою очередь, способствовал сближению Санд с аббатом Фелисите де Ламенне, к которому он испытывал поистине сыновнюю любовь. Листу нравились его пылкое красноречие, отважное самопожертвование во имя идей, бесплотная и мрачная грусть, вспышки ярости и нежности. Этот бретонский священник, наивный и упрямый, с благородным сердцем, неутолимой потребностью быгь любимым, был легкоранимым, раздражительным и брюзгливым. Призвание его проявилось поздно. К первому причастию он пошел двадцати двух лет, после долгого периода безверия. «Жизнь, — говорил он, — это грустная загадка, и тайна ее — вера». Фраза была красива, а доктрина оставалась туманной. В церкви Ламенне видел прежде всего защиту духовного начала против произвола власти. Все принадлежит Цезарю, кроме человеческой души. Затем, когда революция 1830 года усилила в нем настоятельное желание всяческих реформ, он напоминал о том, что роль церкви всегда состояла в том, чтобы усваивать и освящать великие исторические течения. В XIX веке католицизм должен был быть либеральным, социальным, демократичным. Плебейский пророк Ламенне считал себя призванным возродить церковь. Отлученный, осужденный Римом, исключенный из общины верующих, он стал желчным и разочарованным. «Я хотел бы иметь силу порвать с самим собой», — говорил он. Он жил в маленькой комнате на улице Риволи и

мечтал построить себе келью, а на двери кельи изобразить разбитый молнией дуб с надписью: «Меня можно разбить, но не согнуть». Сент-Бёв говорит: «Трудно было выдержать это самобичевание, самое тягостное из всех, которое Паскаль называет самобичеванием одиночества».

По правде говоря, Сент-Бёв восхищался Ламенне, но с обычной своей суровостью старался умерить гордыню этого «интеллектуального деспота», который искал приверженцев только в среде молодых энтузиастов, вроде Листа, и который тех, кто не верил в него, называл «людьми, ни во что не верующими». Сент-Бёв замечал, что по невоздержанности мыслей и по легковерию Ламенне похож на Лафайета. Маленький, сухощавый, тщедушный, «с непропорционально большой головой, застенчивый, неловкий в обращении, на редкость некрасивый, со взглядом, которому близорукость придавала обманчивую мягкость», Ламенне презирал женщин и считал, что нет ни одной из них, которая могла бы вести серьезный разговор более четверти часа. Однако он очаровал Жорж Санд. Он преподнес ей ту смесь веры религиозной и веры социальной, в которой она нуждалась, чтобы приспособиться к своим новым друзьям-социалистам. Она ему пела гимны: «Никогда не было на свете более нежного сердца, более отеческого попечения, более ангельского терпения…» Великодушно восхищаться — признак большого великодушия.

Лист уехал надолго в Бретань; он остановился в Ла Шене у аббата и описывал Жорж его потертый сюртук, грубые крестьянские синие чулки и ветхую соломенную шляпу. Он рассказывал также и об успехах своей любовной связи с д’Агу. Лист хотел, чтобы Мари порвала со своим мужем, как это сделала Аврора, и открыто жила с ним, Листом. В июне 1835 года он одержал победу. «Это последнее и суровое испытание, — сказала графиня, — это моя любовь, это моя вера, и я жажду мученичества». Она была беременна от Листа и ждала ребенка в декабре месяце. Жорж была тронута, узнав, что такая женщина ведет себя, как героиня ее романов.

> *Жорж Санд — Мари д’Агу:* Моя прекрасная златокудрая графиня. Я не знакома с вами, но Франц говорил мне о вас, и я вас видела. Мне кажется, что поэтому не будет глупостью, если я скажу, что люблю вас; что только вы одна мне кажетесь самым прекрасным, благородным, достойным уважения существом, которое когда-либо блистало в аристократическом мире. Вы должны быть очень выдающейся женщиной, если я забыла о том, что вы графиня. Но теперь вы стали для меня настоящим воплощением принцессы из сказки, артистичной, любящей и царственной в манерах, в разговоре, в нарядах — словом, воплощением королевы сказочных времен. Такой я вижу вас и такой хочу вас любить, любить за то, что вы такая… такая… Я лелею мысль повидать вас, и это один из самых соблазнительных планов, которые я когда-либо строила. Я уверена, что мы с вами действительно полюбим друг друга, когда будем часто встречаться. Вы в тысячу раз лучше меня…

Милое письмо, и все же эти обе женщины не были созданы для того, чтобы ладить друг с другом. Госпожа д’Агу, как и госпожа Дюдеван, порвала с семьей и обществом. Но Жорж по-настоящему ценила независимость; Мари сожалела о потерянном общественном положении. Санд, бывшая в родстве с королями, хвасталась дедом-птицеловом; Мари напоминала забывчивым, что она урожденная Флавиньи. Санд любила бродить по полям в синей блузе и мужских брюках, а госпожа д’Агу, как говорил Лист, чувствовала себя хорошо лишь в тысячефранковых платьях. Жорж переходила от мужчины к мужчине, от надежды к надежде; Мари, поддавшись однажды страсти, хотела верностью узаконить прелюбодеяние. «Я не завидую вам, — писала ей Санд, — но я восхищаюсь вами и уважаю вас; я знаю, что постоянная

любовь — это бриллиант, которому нужен футляр из чистого золота, а ваша душа и является этой драгоценной дарохранительницей».

Лист привел свою графиню в «мансарду» на набережной Малакэ. У графини было продолговатое худое лицо, с локонами на английский манер, спускавшимися на уши. В профиль казалось, что лицо ее «прищемили между двух дверей». Жорж восхищалась с едва уловимой иронией этой «пери в голубом платье», соблаговолившей спуститься с высоты небес к простой смертной. Жорж называла ее Принцессой или Арабеллой — не иначе. Первая встреча была не очень благоприятной.

> *Жорж Санд — Мари д’Агу:* Когда я впервые увидела вас, я нашла вас красивой, но вы были холодны; во время второй встречи я сказала вам, что питаю отвращение к дворянству. Я не знала, что вы к нему принадлежите. Вместо того чтобы дать мне заслуженную пощечину, вы стали говорить мне о своей душе, как будто вы меня знали лет десять. Это было очень мило, и я тотчас захотела полюбить вас; но я вас еще не люблю. И не потому, что я вас еще недостаточно знаю. Я знаю вас так хорошо, как будто мы знакомы уже двадцать лет. А вот вы меня еще плохо знаете. И так как я не уверена, что вы сможете меня полюбить такой, какая я в действительности, я не хочу вас пока любить… Представьте себе, друг мой, что мой самый большой порок — это робость. Вы этого не подозревали, не так ли? Все считают, что я дерзка и по уму и по характеру. Ошибаются. У меня равнодушный ум и капризный характер… Не надо надеяться, что вы сразу же излечите меня от некоторой напряженности, которая выражается у меня в том, что я замолкаю.

Она добавляла: «Сделайте скорее так, чтобы я вас полюбила. Это будет легко. Прежде всего я люблю Франца. Он велел мне любить вас. Он отвечает мне за вас, как за себя». Тон отнюдь не горячий, но обе кошки спрятали свои коготки; и, когда Лист и госпожа д’Агу очутились вместе в Швейцарии, где, пренебрегая Сен-Жерменским предместьем, они афишировали свою любовь, переписка продолжалась. Со смутной радостью Жорж догадывалась по письмам Листа, в которых он излишне часто заявлял о своем полном счастье, что в Женеве ему скучно. «Если вы приедете, — писал он, — то найдете, что я неимоверно поглупел». Это была неправда; никогда еще так сильно не ощущал он вдохновения, но художники так же полны кокетства, как и женщины. Женевские любовники перечитывали «Лелию», делая пикантные умозаключения о темпераменте автора, обожали свою маленькую дочку Бландину, родившуюся 18 декабря 1835 года, и страдали от осуждения пуританского общества, не прощающего незаконных связей. Оба в каждом письме звали Жорж в Швейцарию. Но ей нужно было вначале урегулировать свои дела в Берри.

Глава третья
Бракоразводный процесс

Договор, подписанный Авророй Дюдеван и ее мужем в феврале 1835 года, должен был вступить в силу в ноябре, но в последние дни Казимир вдруг стал колебаться и раздражаться. Ему не нравились новые политические друзья жены. Ссоры между супругами стали более частыми. Аврора хотела взять в свои руки управление всеми делами, так как, по ее словам, Казимир разорял ее. Она соглашалась содержать его даже после развода. «Ты, конечно, понимаешь, — писала она Ипполиту, — что я не допущу, чтобы мой муж, как бы неприятен он мне ни был, околел на соломе… а он бы пальцем не пошевелил, если бы я попала в морг из-за каких-нибудь двадцати франков».

19 октября 1835 года произошла сцена, сама по себе не очень значительная, но ускорившая разрыв. После обеда, когда семья и друзья пили в гостиной кофе, Морис попросил, чтобы ему добавили сливок. «Сливок нет, — ответил отец, — пойди в кухню, убирайся отсюда». Ребенок подбежал к матери. Последовала ссора, причем Аврора вела себя спокойно, а Казимир несдержанно. Он приказал уйти и жене, она ответила, что она у себя дома. «Это мы еще посмотрим! — сказал он, — Убирайся, или я тебе дам пощечину!» Присутствовавшие друзья — Дютей, Папе, Флёри, Розан и Альфонс Бургуэн — вскочили, чтобы стать между ними. Обезумев от гнева, Казимир бросился к стене, на которой висело его оружие, и закричал: «Пора это кончить!» Дютей, увидев, что он схватил ружье, вырвал его из рук Казимира и сурово отчитал его. «Когда я раздражен, — сказал Казимир, — я за себя не отвечаю и тебе мог бы влепить пощечину». Так была описана эта ссора свидетелями. Мы должны учитывать, что все они были в гораздо большей степени друзьями жены, чем мужа, что Дютей когда-то был влюблен в нее и что общественность Берри сомневалась в беспристрастности этих свидетелей. Пожалуй, эта сцена была скорее некрасивой, чем страшной. Сама Жорж Санд передала ее в комической форме, пародируя крестьянский тон, своему другу Адольфу Дюплому:

> Дорогой Гидрожен[26], ты плохо осведомлен о том, что происходит в Ла Шатре. У Дютея никогда не было никакой ссоры с бароном де Ноан-Вик. Вот подлинная история. Барону вздумалось побить меня. Дютей не захотел. Флёри и Папе не захотели. Тогда вот барон побежал за ружьем, чтобы всех убить. Вот никто не хотел помереть. Тогда барон сказал: «Полно», — и снова принялся пить. Вот так все произошло. Никто с ним не ссорился. Что касается меня, то с меня хватит, мне надоело зарабатывать себе на жизнь, оставляя свои собственные деньги в руках черт знает кого. Мне надоело, что меня каждый год выгоняют из дому и расшаркиваются при этом, а местные потаскухи спят в моей постели и приносят блох в мой дом, и я сказала: «Я этого больше не хочу», и я нашла великого судью в Ла Шатре и ему сказала: «Так, мол, и так!»

Она помчалась в Шатору посоветоваться с рассудительным Франсуа Роллина, затем в Бурж, где Мишель отбывал наказание за политический проступок; он сидел под арестом в замке, но без особой строгости. Все судейские пришли к одному мнению: дело надо вести быстро, воспользовавшись удобным случаем; попросить немедленного развода, добившись от Казимира, чтобы он не являлся в суд. Это было возможно, так как marito[27] «до тех пор, пока старая баронесса была жива, очень нуждался в деньгах. И действительно, он согласился выйти в отставку с поста мэра Ноана и поехать в Париж, взяв с собой детей, с тем чтобы одного из них

отдать в лицей, а другую — в пансион. Своей матери Аврора посоветовала, в случае если Казимир посетит ее, принять его со всей любезностью. Не надо раздражать его самолюбие: «Это может вызвать кляузы». Аврора добавляла:

> Ничто не помешает мне делать то, что я должна и что я хочу делать. Я дочь своего отца и смеюсь над предрассудками, когда сердце велит мне быть справедливой и смелой. Если бы мой отец слушал всех дураков и сумасшедших на свете, я бы не унаследовала его имя: он мне оставил великий пример независимости и отцовской любви. Я буду следовать ему, даже если возмутится вся вселенная. А вселенная меня мало волнует, я беспокоюсь о Морисе и Соланж.

В ноябре она была в Ноане, ожидая решения суда. В тишине своего большого дома она писала великолепный роман плаща и шпаги: «Мопра». Слуг не было. Казимир отослал их. Хозяйство вели садовник с женой. Поскольку приговор зависел частично от ее поведения, Аврора разыгрывала из себя Сикста Пятого.

> *Жорж Санд — Мари д’Агу:* Итак, в данную минуту в одной миле отсюда четыре тысячи идиотов уверены в том, что я стою на коленях, посыпанная пеплом, в рубище, и оплакиваю, подобно Магдалине, мои грехи. Пробуждение будет страшным. На следующий день после моей победы я брошу свой костыль, вскочу на лошадь и галопом объеду весь город. Если вы услышите, что я обратилась на путь разума, общественной морали, что я полюбила чрезвычайные законы, Луи-Филиппа, всемогущего отца, его сына-цыпочку Розолепа, его святую католическую палату, не удивляйтесь ничему. Я способна сочинять оду королю или сонет господину Жакмино.

В январе 1836 года «великий судья» Ла Шатра выслушал свидетелей. Претензии были известны: сцена с пощечиной в Плесси в 1824 году, оскорбления в разговорах… Интимные связи Казимира в супружеском доме со служанками: Пепитой, Клер… Ночные оргии.

> *Жалоба Авроры Дюдеван суду:* Поведение господина Дюдевана стало таким распущенным, скандальным, его бравирование своим распутством таким бестактным в моем присутствии, тишина ночей так часто нарушается шумом его развлечений, что мое пребывание в собственном доме становится невыносимым… В январе 1831 года я заявила господину Дюдевану, что хочу жить отдельно от него, мы пришли к полюбовному соглашению, после чего я стала жить в Париже… Я совершила путешествие в Италию, в течение которого господин Дюдеван писал мне вполне благопристойные письма, выражая большое равнодушие к моему отъезду и малое желание того, чтобы я вернулась.

Ни единого слова ни о Сандо, ни о Мюссе. Ипполит Шатирон, хотя и был братом истицы, принял сторону своего деверя и советовал ему защищаться, говоря, что все вокруг за него. Однако Казимир решил молчать; он не хотел терять обещанной ренты; он согласился на заочный приговор. Суд Ла Шатра поручил Авроре воспитание детей.

Но когда она потребовала 100 тысяч франков при разделе имущества между ней и мужем, он рассердился и воспротивился этому. Ипполит поддерживал его: «Около тебя есть люди, которые могли бы в мгновение ока дать тебе выиграть процесс. Надо только, чтобы у них развязался язык…» Жорж была удивлена и очень возмущена полной переменой в поведении мужа. С возможностью мирного разрыва было покончено. Ей пришлось покинуть дом до

окончательного решения суда, так как Ноан по закону принадлежал Казимиру. Она переехала в Ла Шатр к Дютею. Больше чем когда-либо ей приходилось считаться с общественным мнением: в маленьком городе оно оказывает негласное, но сильное влияние на судей. Она была обаятельна, как она умела быть; с детьми была ребенком, с мужчинами — целомудренно кокетливой, с женщинами — осмотрительной. Она гуляла по окрестностям, ловила насекомых для своей коллекции и умудрялась тайком видеться с Мишелем в двух шагах от Казимира, в уединенном павильоне Ноана, стоявшем между парком и дорогой. Она писала сыну нежные письма и воспевала в них добродетель. Но больше всего она работала. Ни судебный процесс, ни ссоры с Мишелем, ни колоссальная переписка не могли отвлечь Санд от работы, над которой она корпела, как терпеливый муравей. А вокруг нее шла суета с обеих сторон; били сбор свидетелей. Букуаран приехал из Нима, чтобы дать свидетельские показания.

> *Жорж Санд — Букуарану, 6 января 1836 года:* Конечно, вы не видели ни Клер, ни Пепиту в объятиях этого господина, но вы уверены в том, что эти два факта имели место; они вам были доказаны настолько, насколько факты такого рода могут быть доказаны, — повседневной жизнью, всеобщим мнением и в доме и в деревне…

> *Казимир Дюдеван — Карону, 25 апреля 1836 года:* В моем процессе с Авророй есть одно обстоятельство, которое, как мне сказали, ее беспокоит: она думает, что у меня есть несколько писем, которые она от нечего делать написала госпоже Дорваль и которые ее очень компрометируют, судя по тому, что говорят и что я сам слышал в Париже. Не мог бы ты через Дюмона или через кого-нибудь другого прибегнуть к хитрости и постараться незаметно выкрасть некоторые из этих писем?

Казимир, выведенный из летаргического состояния, составил довольно жалкий меморандум, в котором перечислял свои претензии. Он начинался так:

> *Август 1825 года:* Путешествие по Пиренеям. Встречи и переписка с Орельеном де Сез.
>
> Октябрь: Поездка в Бордо. Аврора Дюдеван и Орельен, застигнутые врасплох.
>
> *1827 год:* Интимная переписка Авроры Дюдеван со Стефаном Ажассон де Грансань.
>
> *Ноябрь 1827 года:* Поездка в Париж со Стефаном Ажассон де Грансань под предлогом лечения.
>
> *1829 год:* Письмо, написанное Авророй Дюдеван Стефану Ажассон де Грансань, где она просит достать яд, чтобы покончить с собой.
>
> *Апрель 1829 года:* Отъезд супругов в Бордо с условием провести там три недели или месяц, не более. Трехмесячное пребывание. Ежедневное посещение госпожой Дюдеван господина Сеза под предлогом, что он провожает ее на лечение ваннами…
>
> *Ноябрь 1830 года:* Приезд госпожи Дюдеван в Париж к своему брату, проживающему по улице Сены, где она, по словам привратницы, шокировала своим поведением весь дом. Господин Жюль Сандо.
>
> *1831 год:* Приезд в Ноан, где она проводит несколько дней, и возвращение в Париж с крестьянкой Мари Моро, которую она нанимает в качестве служанки. Эта девушка — свидетель резких ссор с Жюлем Сандо, кончавшихся дракой.
>
> *1832 год:* Господин Гюстав Планш.
>
> *1833 год:* Отъезд в Италию с господином Альфредом де Мюссе. Восьмимесячное

> пребывание… Ссоры и примирения…

Записка заканчивалась 1835 годом.

> *1835 год:* Антипатия между супругами; госпожа Дюдеван стала держаться как мужчина, стала курить, ругаться, одеваться в мужское платье и потеряла всю прелесть женского пола… Автор «Лелии»…

В мае 1836 года процесс возобновился, и суд Ла Шатра строго осудил некрасивые обвинения мужа. В какой-то мере они были правдивыми, в какой-то клеветническими, но так или иначе они были нелепыми, так как господин Дюдеван «думал не о прекращении супружеского сожительства, а наоборот, о сохранении его». Поскольку обвинения по своей сущности не оставляли никакой надежды на сближение супругов, суд объявил о раздельном жительстве супругов Дюдеван, запретив г-ну Дюдевану преследовать и часто посещать госпожу Дюдеван и поручил воспитание детей матери.

Казимир, поощряемый своими советчиками, обжаловал это решение в суде Буржа. Мишель согласился быть защитником Санд, и она переехала в Бурж, чтобы быть ближе к своему адвокату и любовнику. Она поселилась у своей подруги Элизы Туранжен, проживавшей со своим отцом Феликсом Туранжен и тремя младшими братьями в большом особняке на улице Сен-Амбруаз. Накануне судебного заседания Жорж Санд написала на деревянной обшивке комнаты молитву:

> Великий бог! Защити тех, кто хочет добра, подави тех, кто хочет зла… Разрушь упорное владычество книжников и фарисеев, покажи дорогу страннику, ищущему твое святая святых…

Все друзья из Парижа, Ла Шатра и Бордо собрались на процессе. Только госпожа Морис Дюпен не захотела впутываться в это дело, не зная заранее, кто будет ей выплачивать ренту. Мишель совершенно бесстыдно защищал свою любовницу. «Супружеский кров осквернен, — говорил он красивым низким голосом своему противнику Казимиру, — и осквернили его именно вы. Благодаря вам туда проникли разврат и распутство…» Он с волнением прочитал письмо-дневник Авроры Орельену; эти страницы доказывали чистоту его подзащитной в период ее первой любви. Он описал всю парадоксальность положения молодой женщины, которая принесла в приданое большое состояние и замок, а жила на выдаваемую ей мужем скромную пенсию, в то время как этот муж «наслаждался роскошной и беспутной жизнью» на средства жены. Он с ужасом упомянул о клеветнических обвинениях господина Дюдевана, дошедшего до того, что он «представлял свою жену как самую последнюю из проституток». Он восхвалял эту безупречную супругу, которую скупой и распутный муж вынудил покинуть супружеский дом. Жорж, очаровательная в своем простом белом платье с кружевным воротничком, в белой шляпке и с шалью в цветах, слушала его. Всех присутствующих потрясло красноречие Мишеля. Судьи, мнения которых разделились, отложили дело, но на следующий день все уладилось полюбовно. Ипполит, считая, что процесс принял плохой оборот, посоветовал своему деверю уступить Ноан и Соланж.

> *Ипполит Шатирон — Казимиру Дюдевану, 28 июня 1836 года:* Я советую тебе, чтобы ты взял отель Нарбонн и своего сына и оставил Авроре Ноан; ты хорошо знаешь, что не можешь там остаться. Что касается Соланж, то, право, ты должен примириться с этим. Зачем далеко ходить, я мог бы доказать тебе, что легкомысленная женщина была строже к своей дочери, чем порядочная… Не беспокойся о тех, кто теперь ее

> поддерживает. Не пройдет и полутора лет, как их всех выгонят, и первыми: Дютея, Мишеля, Дюверне и Флёри. Она развернется вовсю, больше чем когда бы то ни было, но вполне вероятно, что, если она будет воспитывать дочь, к ней вернутся какие-то человеческие чувства; из самолюбия Она захочет предостеречь Соланж от пропасти, в которую сама провалилась…

Казимир отказался от обжалования; его жена, чтобы покончить дело, поручила ему воспитание Мориса и дала ему в пользование отель Нарбонн. У Авроры остались Соланж и Ноан, приносивший 9 тысяч 400 франков дохода. Сколько гнева, какие потоки красноречия понадобились для того, чтобы вернуться к первоначальному соглашению!

Глава четвертая
Красавец Дидье

Красноречие Мишеля, так блистательно защищавшего в суде Жорж Санд, объяснялось скорее всего его профессией, чем движением сердца. Любовники не ладили больше друг с другом. Очень быстро Мишель оттолкнул от себя Жорж. При встречах он был слишком настойчивым и утомлял ее. Хотя она только что ответила на его мольбы, все же он чувствовал, что внутренний мир ее оставался для него неприступной святыней. Он упрямо старался заставить ее понять то, что он называл «политической необходимостью; она ее считала преступной и ребяческой. Она испугалась, поняв, что он скорее честолюбив, чем искренен. Он не дорожил своими идеями; прочтение нового автора меняло его взгляды: после Монтескье он становился умеренным, после Обермана — отшельником. Это непостоянство, граничащее с манией, вызывало досаду у Жорж. Она надеялась найти учителя, а получила тирана. «Иногда мне кажется, — говорила она ему, — что ты Дух Зла, настолько ясно видны в тебе черты холодной жестокости и несправедливой тирании по отношению ко мне». Почему оча не порвала с ним? Странная вещь, но этот пожилой, некрасивый, недобрый человек, этот «неверный и ревнивый деспот» сумел если не полностью удовлетворить, то по крайней мере пробудить в ней ту женщину, которую молодые любовники — Сандо, Мюссе, Паджелло — считали «настоящей Лелией».

> *Жорж Санд — Мишелю из Буржа, 25 марта 1837 года:* Не о любви мы думали в то время, когда судьба бросила нас в объятия друг друга. Нас охватила страсть. Не было ни сопротивления, ни размышления… Все решало твое, желание, оно господствовало над моим. Я подчинилась твоей любви, не зная еще силы моей любви, но я подчинилась ей, опьяненная, предчувствуя, что первой иссякнет твоя любовь, потому что я знаю, насколько мои привязанности глубоки, насыщенны, спокойны и упорны. В слезах я приняла первые твои ласки… В течение нескольких дней ты меня любил так, что мечтал не только о телесном, но и об абсолютном соединении наших судеб. Ты даже назначил для этого срок, он приближается… Успокойся! Твое обещание начертано в моем сердце, а оно принадлежит тебе. Это листок из книги жизни, ты можешь его разорвать. Когда я стала беззащитной, когда моя сила сломилась, когда все струны моего существа обнажились и зазвучали под твоей рукой, моя любовь к тебе стала такой сильной и глубокой, что я не могу себе представить другой цели в жизни, как только жить с тобой…

Она писала ему письма, пылкие, таинственные и зашифрованные, потому что существовала госпожа Мишель, перед которой трибун трепетал. Мишеля она называла Марселем: Бурж — Орлеаном, Ноан — Ле Шене, Мориса Санд — Мари; 7 апреля (годовщину их встречи) — Женриль. Элиза Туранжен, девушка из Буржа, их наперсница и сообщница, дававшая приют их любви, была названа Сперанцей. Иногда, чтобы отвести подозрение, Жорж делала вид, что пишет женщине и говорила о Марселе в третьем лице. Переписка эта оставалась чувственной, тревожной, в привычном для Жорж Санд порывистом стиле. Любовники упрекали друг друга в неверности, и оба были правы.

Ревность Мишеля понять легко, потому что в Санд, как только ее любовь замирала, просыпалась женщина, не желающая упускать возможности счастья. Молодой, очень красивый швейцарец, тридцати одного года, Шарль Дидье одновременно с Мишелем был одним из

близких знакомых как в Париже, так и в Ноане. Его некогда привела на набережную Малакэ Ортанс Аллар. Родившийся в Женеве в семье гугенотов, ботаник, альпинист, поэт Дидье преклонялся перед Руссо и перед Бенжаменом Констаном. Каждый вечер в дневнике он подсчитывал свою «интеллектуальную кассу». Романтик в душе, страстный пуританин, он чувствовал себя чужим среди аристократической буржуазии своей страны; он начал путешествовать: во Флоренции он стал любовником Ортанс Аллар. В 1830 году он приехал в Париж с 50 франками в кармане. Виктор Гюго, его божество, принял его, и Дидье был приобщен к Сенаклю. Он написал роман «Подземный Рим», имевший небольшой успех, но, прочитав «Лелию», он подумал: «Я чувствую себя слабым, жалким писателем, плохим художником рядом с таким могуществом формы и страсти».

Когда этот красивый поклонник был представлен Санд ее приятельницей Ортанс Аллар, Санд молча стала присматриваться к нему. Дидье говорил хорошо («даже слишком хорошо», по мнению Сент-Бёва), не останавливаясь, ясным голосом, опустив глаза, с едва заметной улыбкой на губах, довольно привлекательный в своей пренебрежительности и самоуверенности. Тот факт, что Ортанс, знавшая толк в мужчинах, полюбила этого красноречивого женевца, заслуживал внимания. Он был приглашен приходить запросто: он хвалил простоту Жорж, но был неприятно поражен нечистоплотностью Планша и фамильярностью молодых провинциалов, которые стояли лагерем на набережной Малакэ.

Человек сурового воспитания, Дидье был настоящим мужчиной, он не мог жить без женщин и нравился им. Жорж пригласила его одного. Он увлекся игрой. Дневник Дидье: «Госпожа Дюдеван, нежная, покинутая; она дышит любовью; я боюсь, что она в связи с Планшем, человеком, не созданным для нее…» Сент-Бёв наговорил с три короба недоверчивому молодому человеку про «гнусности госпожи Дюдеван» и, в частности, про ее историю с Мериме. Затем на сцене появился Мюссе, и Дидье был забыт до того момента, когда однажды утром Санд попросила у него взаймы сто франков, «чтобы заплатить за дрова перед отъездом в Италию». Безденежный женевец подумал, что француженки очень странные особы. Но когда он вернулся из Испании в конце 1835 года еще более красивым, с преждевременно поседевшими волосами, Мюссе уже не было. Жорж предложила ему протекцию у Бюлоза, деньги, вообще что он захочет.

Дружеские отношения возобновились. 26 мая 1836 года он обедал у нее вместе с Эмманюэлем Араго. «Фантастическая ночь. Мы ушли от нее в пять часов. Уже совсем рассвело: Араго был навеселе… Усталый, я развалился на подушках дивана, а она, грустная и не слишком надменная, водила рукой по моим волосам, называя меня своим старым философом…» Они оба влюбились в нее сразу же после того, как расстались с ней. Вечером следующего дня Дидье прибежал на набережную Малакэ с тремя бутылками шампанского. «Жорж — веселая и смеющаяся. Мне не нравится в ней ее дурной тон, но я прощаю ей это. Вино делает ее нежной, меня тоже. Она целовала меня, я целовал ее, и, расставаясь с ней в 8 часов утра, в сильную бурю, мы обменялись с ней: она дала мне свою кашемировую шаль, а я ей — свой белый шарф». Серьезных людей всегда ждет опасность в такой игре чувств. Он желал ее. Но чего хотелось ей? «Форту убежден, что Жорж хочет меня… Я не хочу влюбиться в нее, потому что я стану несчастным при таких характерах, как у меня и у нее». Тем не менее он считал ее добрым малым. «Она мне много рассказывает о Мишеле из Буржа, о чисто интеллектуальной основе их связи. Она клянется, что у нее не было любовников после разрыва с Альфредом де Мюссе… Она прекрасна и очаровательна».

25 апреля 1836 года она переехала к нему, на улицу Дю Регар, дом 3. Он ей уступил свою комнату.

Дневник Дидье: Ее переезд ко мне вызывает тысячу сплетен… Мы стали гораздо

ближе друг другу… Это сложное, существо еще во многом непонятно мне, и я боюсь ее неудержимого непостоянства. Как бы я ни изучал ее, я ее не понимаю. Верна ли она? Разыгрывает ли она комедию? Умерло ли в ней сердце? Неразрешимая задача…

2 мая 1836 года: Вечером она уходит, и мы встречаемся только в полночь. Закончив шестое «Письмо путешественника», она становится нежной и ласковой. Она ложится у моих ног, положив голову мне на колени и взяв мои руки… О Сирена, что тебе нужно от меня?

Другие тоже недоумевали, что она хочет от него и не закончилось ли царствование Мишеля. Из Женевы Лист спрашивал Санд, насколько достоверна «эта новая история». Она ответила, что никакой истории нет.

Жорж Санд — Францу Листу, 5 мая 1836 года: Шарль Дидье — мой старый и верный друг. Кстати, вы меня спрашиваете о моей новой истории, в которой он якобы играет некоторую роль. Я не знаю, что это за история, что могут говорить. То, что говорят о вас и обо мне. Вы знаете, насколько это верно; об остальном судите сами. Многие в Париже и в провинции говорят, что с вами в Женеве не госпожа д’Агу, а я… Дидье в подобном положении по отношению к даме, но дама эта вовсе не я. Это мне не помешало провести неделю в Париже у него…

Да, она поселилась у Дидье, так как, по ее словам, боялась, как бы муж не приехал за своим имуществом на набережную Малакэ; но еще один друг, Давид Ришар, жил тогда под той же крышей у Дидье, и эти дни были «патриархальными». Что касается Мюссе, она о нем уже давно перестала думать:

Я не знаю, думает ли он обо мне, разве что когда ему захочется написать стихи и заработать сто су в «Ревю де Дё Монд…» Скажу вам больше: я ни о ком в этом смысле не думаю! Я гораздо счастливее в этом состоянии, чем когда бы то ни было в жизни. Приближается старость. Желание глубоких переживаний удовлетворено сверх меры. Моей натуре свойственны спокойный сон и жизнерадостное настроение. После тридцати лет жизни, разгромленной тысячью случайностей, нужны только чистые, длительные привязанности… Все это у меня далеко позади. Пусть бежит время вперед; привилегия известного возраста в том, что примиряешься со всем, равно как и устаешь от всего. Не устаешь только от добра, соединенного с разумом. Я верю, что в Мари вы нашли сокровище; берегите ее! Бог спросит с вас на небе, и, если вы ее не ценили по достоинству, вы никогда не услышите звуков небесных арф. Что касается меня, то я уверена, что на том свете я услышу только звуки дьявольской гитары и адский барабан. У меня тоже было сокровище, это было мое собственное сердце, но я дурно обошлась с ним.

В мае она снова поехала в Ла Шатр по поводу своего процесса. Обезумевший от любви и неудовлетворенный, Дидье без конца задавал себе вопрос; «Сирена, что тебе нужно от меня?» То он испытывал желание отказаться от встреч с ней и от тягостной роли наперсника; то его терзала любовь и надежда. Так как она ему почти перестала писать, он, встревоженный, поехал за ней в Берри.

Дневник Шарля Дидье: Грустная поездка, душевные противоречия, растерянность. Приезжаю в Ла Шатр. Она спит, а я ее бужу и, не говоря ни слова, бросаюсь в ее

объятия. Она сжимает меня в своих объятиях, и потом в этой долгой немой ласке наступает примирение. Объяснение происходит лишь вечером в Ноане, куда она меня привозит. Я провожу с ней пять дней, эти дни одни из самых чудесных в моей жизни… Полное забвение. Тишина деревни. Вечера под тенистой листвой Ноана. Свет луны. Мы одни, всегда одни… Ночи, проведенные на террасе при свете звезд; моя рука обнимает ее, она опускает голову мне на грудь…

Среди деревьев и цветов, вдалеке от других мужчин, Жорж могла быть приятной любовницей. В течение нескольких дней Дидье был полон счастья, очарован, опьянен: «В глубине души она добра… Мишель очень ревнует ко мне; говорит об этом во всех письмах». По возвращении в Париж Дидье получает от нее несколько великолепных страниц об этих прекрасных днях, затем наступает молчание.

Говоря по правде, она и не думала о нем. Она путешествовала, судилась, купалась одетая в Эндре, затем в мокрой одежде бросалась на траву, шла четыре лье пешком, а ночью работала над переделкой «Лелии» для нового, исправленного издания. Признания в бессилии должны были исчезнуть в романе. Отныне Пульхерия и Стенио были принесены в жертву мудрости Тренмора. Роман приобретал моральную и социальную окраску. Что касается любви, то Лелия от нее отказалась.

Жорж Санд — Мари д’Агу: Она из общины Ессеев, подруга пальм, gens[28] solitaria[29], о которых говорит Плиний. Этот прекрасный отрывок будет эпиграфом к моему третьему тому; эпиграфом осенней поры моей жизни. Одобряете ли вы такой план книги? Что касается плана жизни, то вы не можете судить об этом; вы слишком счастливы и слишком молоды, чтобы отправиться к целительным берегам Мертвого моря (все тот же Плиний-младший), чтобы войти в ту общину, в которой никто не рождается и никто не умирает…

Это наводит на мысль, что после всего, даже после Мишеля, Жорж оставалась Лелией.

Мне великие люди осточертели (простите за выражение). Я предпочла бы видеть их всех у Плутарха. Там их человеческие качества не доставляют мне страданий. Пусть их вырубают из мрамора, пусть их отливают из бронзы и пусть меня оставят в покое. Пока они живы, они злы, надоедливы, капризны, деспотичны, желчны, подозрительны. Они смешивают в своем надменном прозрении козлищ и овец. Они хуже относятся к своим друзьям, чем к своим врагам. Боже, спаси нас от них! Оставайтесь доброй, если хотите, даже глупой; Франц вам скажет, что, на мой взгляд, люди, которых я люблю, никогда не бывают достаточно глупыми. Сколько раз я его упрекала в том, что он слишком умен! К счастью, это «слишком» не бог весть что, и я могла его сильно любить.

По мнению Мари д’Агу, Санд его любила даже чересчур. «То, что вы мне говорите о Франце, — писала ей Жорж, — вызывает у меня поистине болезненное, яростное желание слушать его. Вы помните, что я забираюсь под рояль, когда он играет. У меня крепкая натура, и нет таких инструментов, которые были бы достаточно сильны для меня…» У нее действительно была «крепкая натура», и воздушная Мари не доверяла ей. Однако она настаивала, чтобы Санд присоединилась к ним в Швейцарии. И в августе 1836 года, когда женевские любовники уехали в Шамони, внезапно объявилась Жорж. Она выиграла процесс; она приехала в сопровождении

своих детей, двух старых друзей и служанки Урсулы Жосс, никогда не выезжавшей до этого из Ла Шатра и вообразившей себя на Мартинике, будучи в Мартиньи. Жорж, как Байрон, путешествовала со всем своим зверинцем. Можно представить эффект, производимый в маленьких горных отелях этим пажем в блузе, бросающимся на шею прекрасной даме с длинными белокурыми локонами; эффект, производимый Листом в рафаэлевском берете и его маленьким учеником Коеном по прозвищу Пуцци, которого хозяин трактира называл Барышней. У Листа и Мари тоже был свой бродячий цирк, и они тащили за собой не только Германа Коена, но и остроумного женевца майора Адольфа Пикте, написавшего блестящий рассказ об этой поездке в Шамони, названный им «Фантастической сказкой».

Это и была фантастическая сказка. Лист и Мари назывались там Fellows[30]. Мари называлась Мирабеллой, Арабеллой или Принцессой; Санд и ее дети были окрещены Piffoëls[31] из-за длинных носов Жорж и Мориса. В журнале гостиницы она записала:

Фамилия путешественников: Семья Пиффёль.

Местожительство: Природа.

Место прибытия: От бога.

Направление следования: На небо.

Место рождения: Европа.

Звание: Бродяги.

С какого времени носите это звание: Всегда.

Кем присвоено: Общественным мнением.

Разгул идей. Говорили о философии и о музыке, о светилах и о сотворении мира, о Шеллинге и о Гегеле, о боге. В маленькой книге майора Жорж представала как гений, как созидательная сила, как мальчишка и поэт одновременно, в то время как Лист был духом музыки, а Арабелла — анализом, мыслью. На обложке была изображена Санд с сигарой во рту. Все иллюстрации противопоставляли двух женщин: мальчишку в блузе и прелестно причесанную, серьезную, неприступную графиню. А Жорж Санд сделала карикатуру в стиле Мюссе на их группу со следующей надписью: «Абсолют тождествен самому себе». Лист с растрепанными волосами спрашивал: «Что это значит?» Майор отвечал: «Немного туманно», а Арабелла, чья голова утопала в подушках, говорила: «Я давно запуталась во всем этом». Морис, тринадцатилетний художник, тоже делал бесчисленные наброски и шаржи. Бродячий цирк путешестворал. Во Фрибургском соборе Франц сыграл на органе «Dies irae»[32] Моцарта. «Quantus tremor est futurus…»[33].

«И вдруг, — пишет Санд в своем «Десятом письме путешественника», которое описывает (и великолепно) это путешествие, — вдруг, вместо того чтобы меня устрашить, эта угроза божественного суда показалась мне обещанием, и неизведанная еще радость ускорила биение моего сердца. Доверие, бесконечное спокойствие говорили мне, что вечное правосудие не покарает меня…» Совесть ее была спокойна. С точки зрения своей морали она не была виновной. Дидье? Она щадила его болезненное самолюбие. Как, не нанеся ему раны, могла она отказать ему в том, в чем другим не отказывала? Мишель? Она готова была посвятить ему свою жизнь, но он был женат, непостоянен и равнодушен. Она была уверена, что «день гнева станет для нее днем прощения».

Возвратились в Женеву; Лист написал «Фантастическое рондо» на тему испанской песни Мануэля Гарсиа, отца знаменитой певицы Малибран, и посвятил ее господину Жорж Санд; Санд вскоре написала «лирическую сказку» «Контрабандист», вдохновленную этим рондо Листа. В октябре Жорж должна была вернуться во Францию; условились, что Франц и Мари догонят ее в Париже и что Феллоу и Пиффёли будут жить все вместе. В общем они были довольны друг

другом, потому что гений признает гения. Однако Жорж завидовала немного этой счастливой любви и считала, что Принцесса слишком мало признательна Листу. Довольно желчная Мари д'Агу чувствовала себя в Женеве, как «рыба без воды», и с горечью жаловалась на свою бесцветную жизнь: «К несчастью, получилось, что именно здесь наш хлеб насущный; поэтому я изменила «Pater»[34] и все время говорю богу: «Хлеб наш насущный не даждь нам днесь», Арабелле не нравилось, что «Рондо» было посвящено Жорж, что Франц хвалил музыкальность этого слишком женственного пажа, забиравшегося под рояль, когда играл Лист. Но ведь Жорж Санд посвятила свой роман «Симон» (довольно туманный портрет Мишеля).

Госпоже графине д'А…
Снизойдите, графиня, к сей маленькой сказке,
деревенскому барду простите его неувязки,
и о том, что сестра вы ему, умолчите,
и на нем благородство свое проявите.
Пусть, графиня, господь вам простит прегрешенья.
Скрытый ангел, узнайте себя в песнопенье.

Расстались в дружеском тоне: «Здравствуйте, нежная и очаровательная Принцесса, здравствуйте, дорогой кретин из Вале… Моя дочь великолепна. А я, по выражению Генриха Гейне, тесто и хлеб». Она возвращается из Швейцарии с детьми и с молодым случайным обожателем Гюставом де Жеводан. Прождав напрасно Мишеля в Швейцарии, она надеялась, что он приедет к ней в Лион.

> *Жорж Санд — Мишелю из Буржа:* После шести недель ожидания, чаяния, надежды, подавленности, видя, что вы упорно не хотите приехать ко мне, потому что, как истый паша, вы считаете, что я должна явиться к вам с покорностью одалиски, — я надеюсь, что встречу вас в Лионе, и еду туда с детьми. Провожу там пять скучнейших дней в какой-то харчевне с моими помирающими от тоски детьми и моим дорожным спутником, молодым приятным юношей, любезным до предела, но крайне неинтересным наедине. Вы не появляетесь! Не имея ни времени, ни денег, я уезжаю; возвращаюсь домой, изнуренная, раздраженная, уставшая от добродетели, сознаюсь вам в этом, не зная, как использовать эту поэзию, этот пыл, который Швейцария влила в мою кровь, и нахожу ваше письмо. Такое письмо мог бы написать разве что банкир своей содержанке! Чтобы такой человек, как вы, мог осуждать и подобным образом относиться к такой женщине, как я!.. Это очень плохо!..

Он обвинял ее в новых изменах. Она протестовала.

> Я вам сказала раз и навсегда, что если бы и случилось такое несчастье, что я изменила бы вам в какой-нибудь день упадка физической слабости, болезненного желания, — я призналась бы вам в своей ошибке, и тогда в вашей власти было бы наказать меня вечным забвением… Такая злопамятность была бы слишком сильным наказанием за погрешность, пусть даже грубую, но в какой-то мере простительную; ведь, кстати, вы сделали то же самое по отношению к вашей жене, после того что мы стали принадлежать друг другу! Как бы то ни было, я снесла бы без всяких пошлых сцен или обмороков последствия моего беспутства. Я испытывала бы угрызения совести в степени, равной моему злодеянию, но не пошла бы в пустыню каяться в

грехе, который вы — и очень многие весьма уважаемые мужчины — совершили уж не знаю сколько тысяч раз.

Не скрою от вас, я много выстрадала из-за своего целомудрия, я сплю беспокойно; сотни раз кровь бросалась мне в голову; среди прекрасных гор, слушая по утрам пение птиц, вдыхая пленительный запах лесов и долин, я часто садилась в стороне одна; в эти минуты моя душа была полна любви, колени дрожали от сладострастия. Я еще молода. Хотя я и говорю другим, что я стала спокойной, как старцы, — кровь моя горяча… Я делаю по десять лье пешком, и, когда я вечером в харчевне бросаюсь на кровать, я еще думаю о том, что грудь любимого — это единственная подушка, на которой отдохнули бы моя душа и тело. Однако я сохранила безмятежность, обманувшую даже моих друзей — Франца и Мари… А другие считают, что я Лелия в полном смысле слова и что, когда я бледнею, это просто потому, что я устала от ходьбы. Поверьте, у меня были случаи найти лекарство от моих страданий; вокруг меня было много мужчин моложе вас, которые ждали только взгляда… Я была в полной безнаказанности; есть тысяча способов обмануть вас, похоронить навек миг похоти, в котором Екатерина Вторая не отказала бы себе. От этого пятна, незначительного самого по себе, но исчезающего для тех, кто любит, меня уберегло не то, что женщины называют «добродетелью» (я не знаю смысла этого слова), меня уберегла любовь, которая живет в моем сердце и которая внушает мне непреодолимое отвращение к одной мысли, что меня будут любовно обнимать руки другого мужчины, а не ваши. Это о вас я мечтаю, просыпаясь разгоряченной, это вас я зову, когда божественная природа поет страстные гимны, когда горный воздух, проникая в мое тело, будит желания…

Нет, утверждала она, никогда она не поддавалась искушениям, тогда как он… Когда она проезжала через Бурж, друзья ей рассказали, что Мишель влюбился в какую-то женщину «отвратительно толстую».

Из достоверных источников, а также из уст невинного ребенка я узнала, что ты проводил время с этой женщиной. Могу ли я не страдать и не подозревать? Тебя связывает с этой женщиной не дружба, иначе ты бы мне об этом сказал, а ты ничего никогда не говорил. Ты сам мне говорил, что ее муж тебе неинтересен. Что ж ты делаешь у нее? Она музыкальна, но поет плохо, с невыносимой аффектацией; я это знаю; я ее слышала… Этот фальшивый талант не может ни нравиться тебе, ни развлекать тебя. Она зла и ненавидит меня… Она не упускает случая, чтобы не поносить и не оклеветать меня. Я это знаю; я это почти слышала сама. Как ты можешь быть близок с существом, которое меня ненавидит?.. Боже! Я бы не могла слушать, чтобы мой лучший друг, мой собственный сын говорил плохо о тебе! Я бы возненавидела его и порвала с ним навсегда!

Так скажи мне, Марсель, что ты делаешь у нее и почему ты проводишь там часы, урывая их от работы? Может быть, эта женщина утоляет твое сластолюбие, как это могла бы сделать публичная девка? Увы! Я моложе тебя, во мне боль-, ше крови, больше мускулов, больше нервов, у меня железное здоровье, избыток энергии, который некуда девать, но даже самый молодой, самый красивый мужчина не соблазнил бы меня на измену тебе, несмотря на то, что я забыта тобой, несмотря на твое презрение и даже неверность. Когда меня беспокоит поднявшийся жар в крови, я вызываю врача, чтобы он пустил мне кровь. Врач говорит, что это преступление, самоубийство, что от

этого мне все равно не будет легче; что мне нужен любовник, иначе моя жизнь под угрозой от избытка жизненных сил. Но это невозможно, выше моих-сил; я не смогу перенести даже мысли об этом…

Мне ненавистна мысль, что это красивое, обожаемое тело, насыщенное моими ласками, изнемогавшее в моих объятиях и оживавшее от моих поцелуев; это тело, так часто замиравшее от нашего исступления, так часто воскресавшее от моих поцелуев, волос, горячего дыхания… Увы! Куда вы устремились, мои воспоминания?.. Однажды я тебе вернула сознание своим дыханием: я думала, что умру, так много сил я отдала, чтобы вдохнуть в твое больное сердце жизнь и любовь, наполнявшие мою грудь. О! Как мне было бы сладко умереть, переливая в тебя силу обременявшей меня здоровой юности. О! Мой бог! Неужели это любимое тело осквернится прикосновением к чужой бесстыдной плоти? Неужели твой рот будет наслаждаться дыханием проститутки? Нет, это невозможно!

Поскольку он избегал ее, она поселилась у Сперанцы и умоляла его встретиться хотя бы на несколько минут:

«Я не допускаю мысли, что вы боитесь меня так же, как боитесь госпожи Мишель, что вы отступите от свидания со мной, я взываю к вашей чести…» Он приехал. Кое-как наладив эту невеселую любовь, она уехала в Париж. Дидье, неотступно преследуемый радужными воспоминаниями о Ноане, надеялся, что она поселится у него, но она сняла комнату на антресолях «Отеля де Франс», улица Лаффит, 23; на втором этаже в этом же отеле жили Франц и Мари. Салон снимался за общий счет; отверженная обществом и при этом тщеславная госпожа д’Агу изо всех сил старалась превратить салон в место встреч писателей и артистов. Она потеряла свое положение на Сен-Жерменском Олимпе; в отместку она хотела царить в мире художников. У нее бывали Гейне, Мицкевич, Ламенне, Балланш, Мишель, Шарль Дидье, Эжен Сю. У нее Санд в первый раз услышала молодого польского музыканта Фридерика Шопена, единственного пианиста, который мог по своей гениальности и красоте блистать рядом с Листом; там же она познакомилась с госпожой Мануэль Марлиани, женой испанского консула, восторженной итальянкой, салонной дамой, шумной, нежной и опасной своим языком.

Бедняга Дидье был приглашен в «Отель де Франс»; увидя там Жорж, прекрасную, окруженную поклонниками и равнодушную, он расплакался на виду у всех. После неоднократных молений ему было разрешено прийти к ней 25 ноября в полночь. Но несчастные любовники всегда сами портят себе жизнь; вместо того чтобы насладиться мгновенной радостью, они плачут о невозвратном прошлом.

Дневник Дидье: Ночь закончилась ужасным объяснением и страшными признаниями. Слушая то, что она говорит, я леденел, ее слова не могли оживить меня, я лежал как мертвый рядом с ней. В ее душе есть что-то жестокое, ей нравится мучить людей, она довольна, когда причиняет людям страдание. Сердца в ней нет; она послушна только своему воображению, только оно руководит ею…

Он забыл свои слова, что «в глубине души она добра», записанные им в то время, когда она предпочла его Мишелю.

Как только Жорж снова уехала из Парижа в Ноан, ему пришла мысль повидать Мари д’Агу и поговорить с ней об изменнице. Он уважал Мари д’Агу, серьезную, как и он сам, и умевшую лучше, чем Санд, вызывать к себе сожаление. «Она мне больше нравится, чем Лист, — наивно признавался милейший Дидье, — это существо благородное, очень несчастное… Я плохо

понимаю их отношения; я думаю, что они притворяются и что мы наблюдаем последние вспышки их любви…» В действительности этого еще не было. Однако уже в Швейцарии началась «жестокая борьба двух натур, пылких, в глубине души благородных, но надменных и невоздержанных». Дидье излил душу перед Мари, и та, осуждая Санд с зоркой суровостью ровни и соперницы, с удовольствием выслушала жалобы красавца швейцарца. Она обещала, что замолвит за него слово при разговорах с Жорж в Ноане, куда она собиралась уехать на некоторое время.

Глава пятая
Пророки

Во время пребывания Санд в Париже аббат де Ламенне был одним из любимцев «Отеля де Франс». Жорж по-прежнему нравились резкие манеры аббата, запальчивое упрямство, его грубая бедная одежда и синие шерстяные чулки. «Те, кто встречал этого погруженного в свои мысли человека, замечали в нем только блуждающие зеленые глаза аббата, его большой, острый, как шпага, нос, боялись его и уверяли, что у него дьявольская внешность». Жорж любила его доброту, простоту, мужество, его возвышенный и наивный непринужденный разговор. Нервный, раздражительный аббат был человеком неуживчивым, но Санд принимала в нем все: и его несправедливые оценки, и недоверие, и неожиданные повороты его мыслей. Жорж, полной материнских чувств, нравилось защищать этого старого ребенка. Когда Сент-Бёв изругал в «Ревю» непоследовательность аббата, она выступила в его защиту, рискуя разозлить и Бюлоза и критика; и действительно, ее отношения с Сент-Бёвом стали после этого более холодными. Она выпросила у Бюлоза ложу во французский театр для аббата, захотевшего увидеть Рашель.

> *Санд — Ламенне:* Ложа предоставляется только вам… Бюлоз не будет сплетничать, я отвечаю за него. Всем сердцем преданная вам.

Когда аббат устроился в Париже и заявил о своем намерении основать газету, она выразила свою готовность работать с ним.

> *Жорж Санд — Мари д’Агу:* Ему нужны школа, последователи. Он не найдет их ни как наставник, ни как политическая фигура, если не пойдет на громадные уступки эпохе и просвещению. Судя по тому, что я узнала от его близких друзей, он гораздо больше священник, чем я ожидала. Надеялись, что привлечь его в наш круг будет значительно проще, но до сих пор не удалось. Он сопротивляется. Пока идут только ссоры и объятия. Ни к чему еще не пришли. Я бы очень хотела, чтобы, наконец, договорились. Вся надежда доброжелательных людей на это. Ламенне не может идти один… Если, отрекшись от роли апокалипсического пророка и поэта, он бросится в прогрессивное движение, ему нужна будет армия. Самый великий генерал мира не может ничего сделать без солдат. Но солдаты нужны испытанные и верующие.

Она предложила свою помощь, выговорив себе определенную свободу совести, и дала для «Монд» (газеты аббата) свои статьи бесплатно, хотя газета «Деба» предложила ей очень выгодные условия. Злые люди старались распространить слухи об интимной связи аббата Фели и Жорж Санд». Один ноанский обитатель уверял, что видел Ламенне на террасе дома «в восточном халате, курившего кальян в компании автора «Лелии». Видимо, он плохо знал суровость и непогрешимость аббата. Нет, она отдала себя в полное его распоряжение, потому что Ламенне, как и она, был христианином и демократом, и еще потому, что он подвергался гонениям. «Он так добр, я так его люблю, что отдам ему столько крови и чернил, сколько он потребует…» Это было великодушно, но друзья Ламенне скорбели по поводу этого литературного Гименея. «Союз господина Ламенне и Жорж Санд вызывает много толков, — писала госпожа де Жирарден в «Ла Пресс» от 8 марта 1837 года, — все друзья для нее являются персонажами ее произведений; каждая новая связь ложится в основу романа. История ее привязанностей целиком отражена в списке ее романов…»

На деле же сам аббат, у которого терпимость была не главной добродетелью, вскоре почувствовал, что эта дружба стесняет его. Ему было не по душе сочетание роскоши и милосердия в жизни Санд. По его мнению, владелица замка Ноан играла ту же роль, какую впоследствии приписывали Льву Толстому его противники, — роль благосклонного аристократа.

> *Аббат де Ламенне — барону де Витроль, 21 декабря 1841 года:* Теперь владелица Ноана ходит не иначе как в рубашках из индийского фуляра; потом перейдет к кашемировым рубашкам, проповедуя при этом общность имущества; перейдет к бесконечным поучениям тех, кто умирает с голоду и будет на собственном примере учить их, как они должны жить. У нее в доме есть комната, обитая бархатом: это для сведения тех дураков, у которых даже не застеклены окна…

Суждение несправедливое, но притвориться бедным, так же как и храбрым, невозможно.

> *Жорж Санд — Элизе Туранжен, 13 марта 1837 года:* Я часто встречаюсь с аббатом де Ламенне. Я его обожаю, об этом злословят — вам показалось бы это очень забавным, если бы вы знали возраст этого человека и его наружность. Болтают даже о том, что я переезжаю в Париж и буду вести его хозяйство. Блестящая мысль! Это хозяйство велось бы восхитительпо!.. Скажите, вы передали мои два письма Мишелю? Если у вас есть какие-нибудь новости, напишите мне. Он ужасно ленится, и это меня волнует.

«Аббат де Ламенне не сумел использовать отношения к нему Жорж, — говорила госпожа д’Агу, — он не разгадал ее, не понял, что она готова целиком посвятить себя ему, слепо следовать его взглядам, превратиться в своего рода орудие его мыслей…» Он недооценил ту большую помощь, которую она ему принесла. Он отвечал лишь добродушным брюзжанием на порывы ее сердца. Она послала ему для «Монда» «Письма к Марси», но старому строптивому священнику не понравилась их романтическая мистика. Между тем Жорж была осмотрительна. Она обращалась в «Письмах» от лица дружески расположенного мужчины к грустной, тоскующей девушке, которая жалуется на одиночество и бедность, мешающие ей найти мужа: «Марси, не надо так жаловаться, вы неблагодарны: вы красивы, образованны, целомудренны. В этом ваше большое преимущество, в этом истинное счастье; вы должны с глубокой жалостью относиться к тем несчастным девушкам, на которых женятся из-за денег…» Чтобы подкрепить свою мысль, она рассказывает Марси две истории: одну — о некрасивой и богатой девушке, поверившей, что, выйдя замуж, она сможет привязать к себе мужа своими добродетелями, и умершей в ненавистной ей роскоши от разочарования; и вторую — о трех племянницах ломбардского кюре, так нежно любивших друг друга, что они предпочли не выходить замуж, чтобы не разорвать это родственное гармоническое единение, и нашли счастье в незамужней жизни. «Истина — это любовь к совершенствованию, а совершенствование — это вечная попытка духа обуздать материю».

«Письма к Марси» — это переписка, облеченная в форму романа; в него в сокращенном виде вошли многочисленные письма Санд, адресованные бедной бесприданнице Элизе Туранжен (Сперанце). Феликс Туранжен, отец многодетной семьи (типа мистера Микобера), разорился; вся его жизнь проходила под угрозой кредиторов захватить его замок Ла Фре. Элиза со дня совершеннолетия больше всего боялась остаться старой девой, и, чтобы подбодрить ее, Санд учила живую Марси презирать богатство и брак по расчету.

> *Жорж Санд — Элизе Туранжен:* Ах, моя бедная сестра, нет ничего не поправимого, даже если угрожающая вам потеря имущества не предотвращена, даже если помощь, о которой я мечтаю, не придет вовремя. Почему вы воспринимаете потерю состояния как ужасное несчастье?.. Если мы, как я надеюсь, доживем до времени обновления жизни, то этот ложный стыд и настоящие лишения, связанные сейчас с разорением богачей, не будут иметь ни смысла, ни последствий… Не все потеряно. Вы не впадете в нищету. Вы потеряете землю и замок, но при вас останется ваша семья и спокойствие души… К тому же, моя дорогая сестра, если вы останетесь старой девой без копейки денег, вам не придется зарабатывать свой хлеб в чужом доме; вы придете ко мне, мы разделим с вами мой хлеб и даже сварим к нему варенье.

«Шестое письмо к Марси» было написано в защиту равенства полов в любви. Равенство, а не подобие и еще менее тождественность. Мужчина со свойственным ему эгоизмом старается задушить умственное развитие женщины, чтобы властвовать над ней. Эти страницы являются «отголоском грубых сцен с Мишелем из Буржа». Ламенне был шокирован; он никогда, даже в молодости, не вел светской жизни, у него не было любовных приключений и больше всего он боялся демона сладострастия. Тема, положенная в основу следующего письма Санд: «Роль страсти в жизни женщины», — еще больше ужаснула аббата. Он прекратил публикацию.

> *Мари д'Агу — Францу Листу:* Она ему написала вполне пристойное письмо, сердечное и очень рассудительное; она ему пишет, что не может продолжать работать впустую; что она хотела бы писать о разводе и о многих других вопросах, но для этого ей нужно точно знать, какую свободу действий ей предоставляет аббат. Он ответил на это холодным письмом. Он не хочет, чтобы писали о разводе; он от нее ждет тех цветов, которые падают из ее рук, то есть сказок и шуток. Но более того, он не поместил ее «Четвертого письма». Она недовольна…

Арабелла с удовольствием нашла в письме Жорж «прекрасную страницу о любви исключительной, о любви благородной, святой, нетленной, страницу, которая вдохновлена, как мне кажется, отчасти нами». Читатель относится к тексту, как судья к обвиняемому, — с точки зрения своих собственных страстей. Может быть, Ламенне лучше бы поладил с Жорж, не будь около нее женщин, очень неприятных аббату: Мари д'Агу и жены испанского консула, Карлотты Марлиани. Но особенно он ненавидел Пьера Леру, игравшего с некоторого времени большую роль в духовной жизни этой группы женщин. «Они ровным счетом ничего не понимают в его доктринах, которые их так очаровывают, — говорил суровый аббат, — Но от этих доктрин исходит какой-то запах притона, который они любят вдыхать…»

Сент-Бёв несет полную ответственность за то, что Леру вошел в жизнь Санд. Жорж призналась ему, что она запуталась в философских и общественных вопросах; Сент-Бёв, тоже плохо разбиравшийся в этих материях, порекомендовал ей книги Пьера Леру. Можно только недоумевать, как Сент-Бёв мог восхищаться этим пустословием. Как Санд осмелилась написать: «Могу ли я плохо относиться к существу, на которое я смотрю, как на нового Платона, как на нового Христа?»

Впоследствии она писала некоей молодой женщине, обратившейся к ней в поисках философии: «Дитя мое, читай работы Пьера Леру, ты в них найдешь покой и разрешение всех сомнений; Пьер Леру меня спас». Кто же такой Пьер Леру?

Пьер Леру был сыном продавца прохладительных напитков с площади Вож. Он блестяще закончил школу и пытался поступить в Политехнический институт, но, нуждаясь в заработке,

сначала стал биржевым маклером, а потом перешел на работу в типографию. Тогда же он изобрел для облегчения работы типографа пианотип: это изобретение не имело успеха, хотя и явилось зародышем линотипа. Вместе со своим другом Жаном Рейно он начал работать в «Глобе». Эта газета сен-симонистов издала «Новую Энциклопедию» Леру и Рейно, ставшую, как и энциклопедия XVIII века, руководством, служившим одной идее.

Эта идея, вернее эта философия, Леру, не предлагала ничего нового. У Бонне и Балланша он заимствовал идею «вечного возвращения жизни», то есть метампсихоза всего человечества, Человечество умирает только для того, чтобы снова родиться (что несомненно), и всякое возрождение ведет к прогрессу (что сомнительно). Таким образом, человек беспрестанно совершенствуется, и замысел Провидения логичен. Личность может жить только в обществе; этому обществу свойственна способность к совершенствованию, а раз мы связаны с обществом, значит мы способны к совершенствованию и мы бессмертны. Семья, собственность были в свое время необходимы, но с того момента, как они становятся препятствием к совершенствованию, они становятся вредными. Человек — это ни душа, ни животное. Человек — это животное, преобразованное разумом и принадлежащее человечеству. Бог повсюду: как в материальном, так и в духовном мире. Значит, не надо убивать плотскую жизнь, а надо возвышать, освящать ее.

Без религии общество рассыпалось бы в прах. Или христианство сумеет стать религией, которая нужна обществу, или родится новая религия. В частности, только религия может сделать женщин способными выполнять их миссию — жертвовать собой. Если нет религии, женщинам необходима философия. Леру считал, что он нашел именно ту философию, которая необходима веку. На деле же все, что было лучшего в его теории, было им заимствовано у христианства. «Ведь нельзя поверить, чтобы христианство украло мысли у Леру». Однако Леру в противовес христианам не допускал бессмертия личности. Наше тело — это наша память, говорил он. Когда тело гибнет, мы со всем запасом наших воспоминаний не можем надеяться на бессмертие. Река Лета — мудрый символ. Но мы будем участвовать в общем бессмертии.

Леру был согласен с Санд, что неравенство полов в любви недопустимо. Женщина до брака — это человек, это юридическое лицо. Почему замужество уничтожает ее достоинство? Если в любви не уважается человеческая личность, любовь становится распущенной, продажной. Никакая женщина не потребует свободы любви, если она пользуется равенством в супружеской жизни. «Настоящая эмансипация женщины наступит тогда, когда брак будет усовершенствован». Текст, приятно звучавший в ушах Санд.

Все это было далеко не бессмысленным, но и далеко не гениальным. Часто современники допускают удивительные ошибки. Умница Сент-Бёв, имевший обманчивое представление о Леру, писал, что господь иногда создает:

Несколько смертных редчайших выше прославленной знати,
гордо величья носящих ясные миру печати…
Светлые ночи их ярки, их облака не скрывают,
к звездам возносятся взором, речи волны понимают,
знают названья растений и за вселенною всею
в символах разных провидят общую миру идею.

Санд тоже поверила, что разрешение всех трудностей, которые доставляли ей столько страданий, лежит «в этом редкостном смертном», в этой «единственной идее». Она решила, что Леру знает Главное. Она в нем находила отголоски тех ересей, которые ее всегда прельщали: ереси гуситов, ереси таборитов, реабилитации плоти, а также реабилитации Сатаны —

освободителя человечества, слишком долго «несправедливо обвиняемого и униженного теорией о первородном грехе». У нее возникло страстное желание познакомиться с Леру. В 1836 году она обратилась к нему с письмом, где просила его приехать к обеду и изложить ей в «двух-трехчасовой беседе республиканский катехизис».

К ней вошел мужчина немного старше ее, весь забрызганный грязью, «с большой шишковатой головой, с неправильными чертами лица, с глубоко посаженными глазами под заросшими тяжелыми надбровными дугами». Она была в восторге: вот это философ; это Сократ; это Лейбниц. Она слушала его с восхищением. В своей пылкости она забыла о критике и не заметила «пробелов в его учении и двоедушия в его рассуждениях». С этого дня она говорила всем своим друзьям в Париже и Ла Шатре: «Вы читали Леру? Я уверена, что настанет день, когда будут читать Леру, как сегодня читают «Общественный договор». Она сидела у ног учителя; она восхваляла чистоту его детской души, его полное незнание практической жизни, несмотря на то, что эта наивность обертывалась бесконечными просьбами денег. Она надоедала Бюлозу, настаивая, чтобы «Ревю» заказал статьи Пьеру Леру. Но договоренность не состоялась. Бюлоз сказал Леру: «Нет, нет, бог не является злободневной темой», Леру был справедливо возмущен.

Санд таскала за собой этого философа в литературные салоны. «Вы бы посмотрели, — писал Беранже своему другу, — как наш метафизик, окруженный женщинами, во главе с госпожами Санд и Марлиани, демонстрирует в этих золоченых салонах свои религиозные принципы и грязные сапоги. Это общество вскружило ему голову, и я полагаю, что это отзывается на его «философии». Одним словом, Леру был Годвином этого Шелли в образе женщины. «Это Санд толкнула Леру, — прибавлял Беранже, — на то, чтобы он произвел на свет маленькую религию, ей хотелось доставить себе удовольствие — высиживать ее».

Увы! Леру не только породил философию. Он был вдов, у него было много детей, их надо было кормить. Жорж с несравненным великодушием вкладывала в это свои средства. Бесплатные статьи для Ламенне, субсидии Леру, страстные призывы к Мишелю. Ее пророки обходились ей очень дорого.

Глава шестая
Лето в деревне

В начале января 1837 года она возвратилась вместе со своими детьми в Ноан. Ей необходимо было заняться имением, ведь она, наконец, стала его полновластной хозяйкой; ей нужен был покой, чтобы кончить «Мопра»; ей хотелось быть ближе к Мишелю и, так как он избегал ее, попытаться вернуть его. Было решено, что Лист и Мари д'Агу присоединятся к ней в Берри, но в конце января Арабелла приехала одна. Дружба этих женщин сделалась теснее. Они совершали долгие прогулки верхом. Жорж, в блузе, брюках, властно, мужски вела лошадь белокурой Принцессы, когда откос был слишком крутым или брод слишком глубоким. Арабелла наблюдала за домочадцами без излишней доброжелательности. Она находила, что Соланж красива, великолепно сложена, но у нее «пылкий, неукротимый характер».

> Когда ветер играет ее длинными белокурыми волосами, когда лучи солнца озаряют ее сияющее лицо, мне кажется, что я вижу божество — молодую гамадриаду, ускользнувшую из лесов… Ее душа так же сильна, как и тело… Соланж будет непримирима как в добре, так и в зле. Ей предстоит жизнь, полная схваток, борьбы. Она не подчинится общим правилам; в ее заблуждениях будет величие, в ее достоинствах — возвышенность. Морис представляется мне живой противоположностью сестры. Это будет человек здравого смысла, установленного порядка, привычных добродетелей… Ему будут по душе тихие радости, жизнь помещика, если только какой-нибудь особенный талант не вовлечет его в артистическую жизнь…

Воспитанием Мориса занимался новый наставник — Эжен Пеллетан. Протестант, сын нотариуса из Руана, высокий как каланча, республиканец, подобно Мишелю, он был слишком серьезен для царившего в Ноане тона. Что касается Жорж, то Принцесса считала, что та бессмысленно растрачивает себя на нелепую, безнадежную любовь. Напрасно цеплялась Санд за Мишеля, стремясь разжечь в нем угасшее желание. Трибун, утомленный, эгоистичный, хотел отделаться от изматывавшей его любовницы.

Жорж жаловалась:

> *Санд — Мишелю, 21 января 1837 года:* Пусть тебя не тревожит моя тоска. Она глубока и неизлечима, но у меня хватит сил ее перенести, а у тебя нет сил ее вылечить. Больше я об этом не стану говорить. Ах, если бы ты мог ее понять! Но жизнь проложила между нами пропасть. Интересы этого мира превратили тебя в совершенно определенное существо; мое отвращение и страх перед всем этим сделали меня абсолютно отличной от тебя. И все же есть невидимый, неведомый мир, в котором мы жили, составляя одно целое!.. Я тебя любила не за то, что ты меня любил. Другие тоже любили меня, но я даже не подняла глаз на них! И не потому, что ты умеешь говорить женщинам красивые слова. Я встречала и других прекрасных говорунов — их слова даже не развлекали меня! И не потому, что я рассчитывала на счастье, или на славу, или только на любовь. Я презираю ложные блага; и я знала, отдаваясь тебе, что нас всегда будет разделять стремительное течение жизни. Я знала, что честолюбивые люди отдают любви только час в день… Я тебя любила, потому что ты мне нравишься, потому что никто другой не может мне нравиться… У тебя есть пороки, которых у

меня нет, ведь ты никогда не умел владеть собой. Я тебя знаю всесторонне, так как мы одно целое и ты половина моего существа…

Он не отвечал на эти длинные, бесконечные письма. И вообще читал ли он их?

> *28 января 1837 года:* Почему ты не пишешь? Новая вспышка гнева? Ты болен? Боже мой! Ты все еще сердишься на меня? Ты любишь другую? Увы! Я думаю, что это так, я убеждена в этом с тех пор, как мы встретились в последний раз. Твое лицо было не таким, как прежде, и даже в моменты нежной ласки ты плохо скрывал скуку и нетерпеливое желание покинуть меня. Делай что хочешь; я смогу сохранить нужное достоинство, я сумею даже молчать, если моя любовь тебе надоела.

Она сознавалась, что бывала несправедливой, желчной, взбалмошной. Но разве она виновата, что не может жить без него? Разве она виновата, что ревнует его ко всем женщинам, особенно к Особе (госпоже Мишель)?

> Понять не могу, по какому дьявольскому капризу ты решил привезти меня в дом твоей жены и показать ваше брачное ложе! Не понимаю, как любовь может устоять перед таким испытанием! А моя любовь устояла.

Что он давал ей? Иногда она скакала верхом ночью до Ла Шатра или в Шатору, чтоб провести несколько часов в объятиях Мишеля. Но объятия «сменялись ледяной лавиной, обрушивавшейся на мое бедное сердце». О каждом свидании Жорж должна была умолять: «Я требовала чуда, я надеялась, что ничто тебя не задержит и ты найдешь средство избавиться на целую ночь от своих дел и супружеских обязанностей…» С жалкой, непонятной покорностью она говорила, что готова на все. Может быть, он хочет, чтобы она сняла дом в Бурже? Она готова была запереться там, как в келье, и принадлежать ему, когда он того захочет. Может быть, его пугало утомление от любви? Она готова была стать целомудренной:

> О, если бы мы жили вместе, ты мог бы по крайней мере засыпать у меня на груди, когда у тебя было бы плохо на душе. Моя недремлющая любовь приняла бы, как ценный дар, эту душу и вернула бы тебе ее при пробуждении. Я не стала бы мучить тебя, говоря: ты должен меня любить. Ты мог бы даже забыть об этом, ведь твой сон рядом со мной стал бы спокойным, и я сумела бы отогнать небытие, если бы оно потребовало своей жертвы… Как ива, склонившаяся над водой, ласкает ее своей листвой, так и моя любовь охраняет тебя, и, когда я отдаюсь обманчивой надежде жить возле тебя, моя самая сладостная мечта состоит в том, что я представляю себе, какими заботами я окружила бы тебя, старого и немощного! Наслаждения любви не только в скоропреходящих часах возбуждения, поднимающих душу до небес; они также и в неизменной, простодушной нежности домашнего уюта… Быть с тобой каждый день; предупреждать твои малейшие желания; согревать тебя в своих объятьях; убаюкивать по вечерам, тихо, нежно прислонившись к тебе; оберегать тебя от вспышек страсти, не дать им тебя сломить; а в том возрасте, когда у нас угаснут страсти, моя любовь даст тебе такой мирный сон, такое надежное прибежище, такие тихие, безмятежные, спокойные ночи, что мысль о могиле, которая вскоре соединит нас, не будет вызывать в тебе ни ужаса, ни отвращения! Вот о чем я думаю с нежностью, вот что может вознаградить все бесполезное утомление, все ненужные тревоги, которым я подвергалась во время моей долгой жизни.

Арабелла наблюдала за этими бурными вспышками и наслаждалась длинными спокойными днями в Ноане. «Весь вечер, — записывала она, — Жорж была в каком-то оцепенении, в каком-то тяжелом небытии. Несчастная великая женщина! Священный огонь, вложенный в нее богом, поглотил уже все вовне и теперь пожирает все, что еще осталось внутри от веры, молодости и надежды. Милосердие, любовь, сладострастие — эти три чаяния ее души, сердца и чувства, слишком пылкие в этой избранной натуре, натолкнулись на сомнение, разочарование, пресыщенность и, попранные в самой глубине ее существа, превратили ее жизнь в пытку… О, мой бог! Дайте Жорж спокойствие Гёте».

В общем по мере того как она узнавала свою знаменитую подругу, Мари д'Агу считала, что она лучше оценила человеческие достоинства Санд. Нельзя сказать, что Мари не восхищалась жизнеспособностью своей хозяйки, которая после четырнадцатичасовой работы за столом могла оседлать коня и скакать на свидание. Она признавала в Жорж и глубокое понимание настоящей поэзии, своеобразную прелесть, чувство дружбы. И все же в конечном счете она ее осуждала. Почему же, в то время как она говорила, что умирает от любви к Мишелю, дом ее был полон влюбленных в нее молодых людей из Ла Шатра и приехавших из Парижа Сципиона дю Рур и Жеводана? Зачем такое недостойное ребячество? Для чего эта смешная восторженность материнской любви? Плодовитая Мари не признавала «любви к маленьким детям, являющейся не интеллектуальным чувством, а слепым инстинктом, в котором самое последнее животное выше женщины». Из двух дочерей, рожденных в браке, Луизы и Клер, она потеряла одну, а другую оставила графу д'Агу; свою незаконнорожденную дочь Бландину она отдала кормилице недалеко от Женевы; теперь она без особой радости ждала нового ребенка от Листа.

Первый диагноз Арабеллы был самым беспристрастным. Жорж задыхалась от переизбытка жизненных сил. Часто она делала себе кровопускание. «На вашем месте я предпочла бы Шопена», — иронически говорила Принцесса, заметившая, что болезненный, но красивый музыкант произвел большое впечатление на Санд и что она очень желала привлечь его в Ноан. В мае приехал из Парижа Лист, бледный, пылкий, гениальный, и тогда Жорж стала наблюдательницей жизни этой четы. Там тоже не было согласия между двумя существами: молодым, необузданным Францем и гордой, мечтательной Мари. Санд считала, что вряд ли их любовь будет вечной. Однако в то лето 1837 года под деревьями Ноана шла восхитительная жизнь, то освещенная вспышками гения, то омраченная бурями страстей. Палящее солнце. Неподвижные искрящиеся липы. Золото солнечных лучей в листве. По вечерам Жорж делала записи в дневнике доктора Пиффёля:

> Комната Арабеллы под моей, но в первом этаже; в ней дивный рояль Франца; глядя в окно, я смотрю на зеленый занавес из высоких лип; из окна доносятся звуки, которым внимала бы вся вселенная и которым здесь завидуют только соловьи. Могучий артист, великий в больших делах, всегда стоящий над мелочами жизни. А вместе с тем печальный, разъеденный внутренней раной. Счастливый человек, любимый женщиной красивой, великодушной, умной и целомудренной. Чего же тебе нужно, неблагодарный, жалкий человек? О, если бы меня любили!..
>
> Мне легче, когда Франц играет на рояле. Все мои горести становятся поэтичными, все мои стремления вдохновенными. Особенно сильно он заставляет дрожать струну великодушия. Он затрагивает также гневную струну почти в унисон с моей энергией, но никогда не затрагивает ноту ненависти. А ненависть пожирает меня. Ненависть к чему? Боже мой, неужели я никогда не найду кого-нибудь достойного ненависти? Окажи мне эту милость, и я никогда не буду тебя просить, чтобы я встретила того, кто заслуживал бы быть любимым…

Мне нравится, когда он бросает на рояль обрывки мелодий, которые как будто повисают в воздухе на одной ножке, танцуя, как хромые эльфы. Листья лип тихо, таинственным шепотом заканчивают мелодию, будто поверяя друг другу тайны природы…

Она твердой рукой, как ей казалось, взвешивала все «ничтожные погремушки» человека. Слава, любовь… Боже! Куда девать свою силу? Работать? Это стало для нее лишь тяжким ярмом: «Я ненавижу свое ремесло». Лишь сигары и кофе поддерживали «ее жалкое вдохновение по двести франков за лист». И вдруг мир озарялся, потому что Мишель, наконец, назначал свидание. В день 7 апреля, годовщину их встречи, он написал ей нежнее, чем обычно, и она была раздавлена счастьем, от которого уже успела отвыкнуть: «Скажи мне, неужели это правда, неужели ты любишь меня, неужели придешь, неужели я увижу тебя при лунном свете в наших темных аллеях, прижму к груди под нашими акациями?.. 7 апреля! Принесешь ли ты мне счастье?» В мае она поехала к нему верхом на лошади и была счастлива целую ночь.

7 мая 1837 года: Дорогой ангел жизни моей, ты меня любишь, и я счастлива! Ничего не могу тебе сказать сегодня вечером, кроме этих слов. Я падаю от усталости! Я проскакала верхом семь лье за два часа. Дети здоровы. Приехали Лист и госпожа д’Агу. Я разбита, и меньше всего от этой быстрой езды. Но усталость такая сладкая! Мирный сон закрывает мои веки. Прощай. Будь вечно моим, как и я твоей. Пусть иногда приходят тебе на память наши часы опьянения и наслаждения… Пиши мне. Теперь твоя очередь. Жду тебя на мягкой, усеянной фиалками траве. Буду жить воспоминаниями о только что прошедших днях, стремительных и дивных. Скажи мне, они не внесли беспорядка в твои привычки, в твою работу? Ты не заболел?.. Люби меня и будь так добр, повторяй мне это до твоего приезда. Я только этим и буду жить.

О могущество человека, который не дается в руки! Надо мысленно представить себе еще раз необычайного возлюбленного, к которому красивая молодая женщина скакала верхом целую ночь: это преждевременно состарившийся человек, с повязанным на голове фуляром, с шишковатым черепом. И какая любовь, несмотря на все это! Она изнемогала от усталости.

8 мая 1837 года: Мои отяжелевшие веки с трудом переносят утренний солнечный свет. Мне холодно, когда все кругом пылает, я голодна и не могу есть, так как аппетит — это результат здоровья, а голод — истощения. Ну, появись же, мой любовник! Я оживу, как земля оживает с возвращением солнца в мае, я сброшу свой ледяной саван и содрогнусь от любви… я покажусь тебе красивой и молодой, потому что подпрыгну от радости в твоих железных объятиях. Приди, приди, и ко мне вернутся силы, здоровье, молодость, радость, надежда… Я побегу встречать тебя, как супруга из «Песни песней» шла навстречу своему Возлюбленному. Любить или умереть — для меня нет середины.

Если все жизненные обстоятельства, а также натуры любовников делают счастье невозможным, как же оно может длиться? Она приезжала в Бурж измотанная, но пылкая и трепещущая, а ей противопоставляли Особу, республику, избирателей. «Пусть прокляты будут эти скоты! — кричала она. — Интересно, найдешь ли ты в этой бесплодной любви жар, который горит в моей душе и в моих объятиях!» Мишель отвечал, что ему ни к чему такая любовь.

Мишель из Буржа — Жорж Санд: Проклятье!.. Дома я веду из-за тебя и ради тебя

ежедневную, ежечасную войну. Согласен. Это справедливо. Человек ничего не может получить в жизни без борьбы, без боя. Но если бы по крайней мере я находил в твоих объятиях убежище от всех этих неприятностей… Так нет же, мне приходится бороться еще и с тобой. Враг — справа, враг — слева. Повторяю тебе, что это невыносимо… Я хочу жить спокойно. Когда женщины ссорятся между собой, это отвратительно. Мне не было суждено бороться с врагами, подобными мне, с тиранами; так дайте же мне по крайней мере наслаждаться полным, абсолютным покоем. Уеду в какую-нибудь хижину на склоне холма… около Средиземного моря…

На этот раз Жорж возмутилась:

Жорж Санд — Мишелю из Буржа, 31 мая 1837 года: Ты ставишь меня на одну доску о Особой, это она заставляет тебя мучиться… И ты вопишь, что страдаешь из-за меня, ты смеешь сравнивать свободное, бескорыстное самопожертвование с домашними ссорами!.. Ты угрожаешь мне, что уедешь жить в хижину. Я благодарила бы бога, если бы он исполнил твое желание. Я поехала бы за тобой. Я стала бы заботиться о твоем бедном теле, как самый преданный негр, и ты понял бы, что любовь женщины никак не отвратительная вещь и что нельзя же сравнивать с собой грязных людей, с которыми тебе хотелось и не удалось померяться силами.

Доктор Пиффёль скрытно от всех в своем «Интимном дневнике» сам себя отчитывал:

Ты думаешь, Пиффёль, что можно сказать предмету своей любви: «Ты такое же существо, как и я, я выбрала среди всех других тебя, потому что считала тебя самым великим и самым лучшим. Теперь я уже не понимаю, кто ты… Мне кажется, что у тебя тоже есть недостатки, как у всех других, потому что ты часто меня мучишь, и совершенство не удел мужчины. Но я люблю твои пороки, я люблю мои страдания…» Нет, нет, Пиффёль! Ты просто дурак, хоть и доктор психологии. Мужчина хочет слышать совсем Другие речи. Он великолепнейшим образом презирает женскую преданность, считая, что она ему принадлежит по праву того факта, что он появился из чрева своей матушки… Мужчина убежден, что женщина нуждается в нем… У женщины есть одна возможность облегчить свое иго и сохранить при себе тирана, если она не может жить без него: подло льстить ему. Ее покорность, верность, преданность, заботливость ничего не стоят в глазах мужчины; не будь этого, он вообще не удостоил бы ее своего внимания. А женщина должна лежать у его ног и говорить ему: «Ты велик, ты удивителен, ты несравним. Ты совершеннее самого бога! Твое лицо излучает сияние, твоя стопа изливает нектар, в тебе нет ни одного порока и в тебе все добродетели…»

Дорогой мой Пиффёль, пойми, наконец, науку жизни и, прежде чем решишь писать роман, постарайся получше понять человеческое сердце. Никогда не делай идеальной героиней женщину сильную, бескорыстную, мужественную и чистую сердцем. Публика ее освищет и даст ей отвратительное прозвище: Лелия неспособная. Неспособная! Да, черт побери, неспособная к раболепству, неспособная к угодничеству, неспособная к низости, неспособная на страх перед тобой. Глупое животное, которое не решилось бы на убийство, не будь законов, карающих убийство убийством, и сила и мщение которого выражаются лишь в клевете и диффамации! Но если ты находишь самку, умеющую обходиться без тебя, твое мнимое могущество

превращается в ярость, и в наказание за эту ярость ты получаешь улыбку, прощальный привет и вечное забвенье.

Это важнейший материал, потому что он одновременно показывает, почему Санд ненавидела мужчин, которых, как ей казалось, она любила, если они не подчинялись ей; и почему она не могла их удержать. Ее слишком ясный ум не устраивал тирана, который мечтал, чтобы обожающая его женщина преклонялась перед ним, верила во все его рассуждения, как в евангелие, давала все и не требовала ничего; она же была слишком горда, чтобы притворяться покорной. Наконец 7 июня 1837 года впервые у нее самой хватило мужества отказаться от свидания:

Жорж Санд — Мишелю из Буржа, 7 июня 1837 года: Я больна. Я не смогу завтра ехать по этой жаре. У меня нет сил выехать сегодня вечером. Я приехала бы разбитая, и ты вряд ли получил бы удовольствие, обнимая меня в этой корчме… Я буду спать до тех пор, пока у тебя не найдется времени меня повидать. Прощай!..

Обида и гордость смели страсть. Грустный доктор Пиффёль милостиво приветствовал этот триумф благоразумия.

На рассвете. Моя комната, 11 июня: Дружеские стены, встретьте меня ласково. Как веселы эти бело-голубые обои! Сколько птиц в саду! Какая душистая жимолость в этом стакане! Пиффёль, Пиффёль, какое устрашающее спокойствие в твоей душе! Неужели пламя погаснет?

Приветствую тебя, многомилостивый Пиффёль. С тобою мудрость. Ты был избраннейшим среди всех жертв обмана; плод твоих страданий созрел. Святая усталость, мать покоя, снизойди к нам, бедным мечтателям, сейчас и в час нашей смерти. Аминь… Exit Мишель.

Вечера в Ноане были просто удивительными. Семья и друзья собирались на террасе. Мягкий свет луны окутывал старый дом. Каждый мечтал. Арабелла спрашивала себя, почему все любовники с сожалением вспоминают о первых часах зарождающейся любви и оплакивают погибшую любовь. Жорж цитировала про себя стихи Шекспира: «Я не из тех покорных душ, что принимают несправедливость с ясным лицом…» Франц вставал, шел в дом и садился к роялю.

Дневник Пиффёля, 12 июня 1837 года: Сегодня вечером, когда Франц играл фантастические мелодии Шуберта, Принцесса в светлом платье гуляла в сумраке вдоль террасы. Длинный белый вуаль покрывал ей голову и спускался на ее тонкую фигуру почти до земли… Луна уплывала за высокие липы; на голубоватом фоне неба вырисовывались черные призраки неподвижных елей. Глубокая тишина царила среди растений, ветерок при первых же аккордах божественного инструмента затих, исчезнув в высокой траве… Соловей еще боролся, но уже слабым, замирающим голосом. В сумраке листвы он подлетел поближе и, как превосходный музыкант, присоединил к мелодии свою последнюю восторженную трель, точно попав в тон и в ритм.

Мы все сидели на крыльце, прислушиваясь к звукам Erlkönig[35], то очаровательным, то зловещим, оцепенев, как и вся природа, в томительном блаженстве; мы не могли отвести взгляда от магнетического круга, начертанного

перед нами безмолвной сибиллой в белом покрывале… В конце террасы она была едва видна; потом она совсем исчезала за елями и внезапно появлялась вновь в свете лампы, как стихийное создание огня. Потом опять отходила в сторону, и ее неясные голубоватые очертания реяли в воздухе на поляне. Наконец она присела на гибкую ветвь, и ветвь почти не погнулась, как если бы ее коснулся призрак. И тогда музыка оборвалась, будто тайные нити соединяли жизнь звуков с жизнью этой красивой бледной женщины, готовой, казалось, улететь в сферу неиссякаемой гармонии…

8 июня в Ноан приехал актер Бокаж, чтобы уговорить Жорж написать драму. Это был романтический актер, высокий, стройный, байроновской красоты. Он был великолепен в роли Антони, в черном рединготе, застегнутом на все пуговицы, в белом жилете, со своими темно-синими глазами и бледным лицом. В 1837 году ему было тридцать восемь лет, но он сохранил порывистость, пылкость и страстность в высказывании своих республиканских взглядов. Начался общий разговор о театре, об артистах, писателях; насмехались над тщеславием Виктора Гюго и испорченностью Мари Дорваль; Жорж защищала их. Арабелла нашла Бокажа глупым. Он действительно был малообразован. Мари Дорваль отмечает в письме к Виньи «его словоохотливость ничтожного фата», но добавляет: «Все женщины от него без ума и ходят за ним по пятам». Мари д’Агу пыталась заговорить с ним о Мицкевиче, а он спросил: «Мисс — кто?» С особым неудовольствием Арабелла наблюдала, как Бокаж ухаживает за Санд; а Санд, видимо, была довольна. 15 июня появился красивый и мрачный Шарль Дидье. «Владелица замка предпочла бы, чтобы это был Зопен», — сказал Лист, который в шутку так произносил имя своего друга. Мари д’Агу, как и обещала, была защитницей Дидье, но последний, очутившись в Ноане, сразу же пожалел, что приехал. Он перестал нравиться и был принят с замешательством: «Она разговаривает со мной неприязненно и насмешливо… Я сделал огромную ошибку, приехав сюда… Она леденяще холодна со мной, подсмеивается над моим «величием», как она говорят… О художник! Непостоянное и черствое сердце!» Он встретил там не только Бокажа, но и Франсуа Роллина и одного молодого драматурга, друга Феллоу, Фелисьена Мальфиля. Сидя на террасе, около зажженной лампы, говорили о боге, о Дорваль, о малиновке, пойманной Жорж. Жорж готовила пунш, и его голубые огоньки среди ночи бросали свет на ее ярко-красное платье. Арабелла с несколько насмешливой симпатией наблюдала за мрачно настроенным Шарлем Дидье.

При малейшем слове его лицо внезапно заливалось краской; защищенный золотыми очками взор его внимательно вглядывался в выражение наших лиц, и улыбка часто застывала на его губах при каком-нибудь подозрении или догадке. Несчастная натура, томительное честолюбие, сердце льва в оболочке ежа. Но он мне нравится…

К несчастью Дидье, у него не умирала страсть к Жорж. Но Арабеллу он очень уважал, и, гуляя под липами с прозрачной Принцессой, он поведал ей о своем разочаровании и скорби. По его мнению, Санд всецело была поглощена Бокажем; для бедного Дидье это было невыносимо. Сильно раздраженная Мари д’Агу довольно грубо сказала, что, по ее мнению, их хозяйка станет скоро дамой полусвета. «Она уверяет, что Жорж не способна сейчас ни на любовь, ни на дружбу». Он не мог заснуть, хотел убить Санд. Конечно, это была нелепая мысль, но, поняв, что стоит на опасном пути, он решил бежать. Он собирался уехать из Ноана, не простившись с его владелицей, и уже застегивал свою дорожную сумку, когда она вошла к нему. «Надеюсь, ты не уезжаешь?» — спросила она. «Напротив, уезжаю немедленно». — «Да ну!» Она подставила ему лицо. Он поцеловал ее большие глаза. Они были сухи и непроницаемы. «Светский и жизненный

опыт приносит горькие плоды», — записал он в своем дневнике. Exit Дидье.

Феллоу уехали 24 июля. Санд и Мальфиль, оба верхом, сопровождали их до Ла Шатра. Мальфиль, неожиданно произведенный в чин любимца, оставался в Ноане, и шла речь о том, чтобы он был наставником Мориса. Прощальные приветы были теплыми; сердца оставались сдержанными. Однако это пребывание было удачей. Каждый блистал по-своему. Арабелла прониклась полнейшей уверенностью в собственном превосходстве.

Мне было очень полезно увидеть не только Жорж — великого поэта, а Жорж — неукротимого ребенка. Жорж — женщину, слабую даже в дерзости, непостоянную в чувствах, мнениях, непоследовательную в жизни, всегда подвластную воле случая, редко руководствующуюся здравым смыслом и опытом. Я поняла, каким ребячеством было думать (а эта мысль часто переполняла меня грустью), что только она одна могла бы помочь Францу развернуть во всю широту его талант и что я была злосчастной помехой для этих двух людей, предназначенных судьбою быть вместе, дополняя друг друга…

Что касается Жорж, она восстановила свое равновесие, из которого ее на время выбил Мишель; она только что закончила за два месяца один из лучших своих романов, «Мастера-мозаиста». Она его писала для Мориса, и ей было приятно воскрешать в памяти Венецию и мозаистов собора Святого Марка; а в это время Лист играл на рояле, и соловьи, опьяненные музыкой и лунным светом, яростно заливались на окрестных кустах сирени. Она сама удивлялась своему обретенному спокойствию. После дня, — полного таких надежд! — когда она покинула Ноан для большой любви, она видела рождение и смерть трех страстей в ее жизни, и теперь она спала в своей кровати «так же спокойно, как Бюлоз в своей».

Глава седьмая
Беатрис

Фелисьен Мальфиль, оставшийся вместе с Жорж и ее детьми на пляже Ноана после великих летних приливов и отливов, был молодой креол с «бородой длиной в семь футов», родившийся на одном из французских островов в 1813 году, в возрасте девяти лет приехавший во Францию и блистательно закончивший там свое образование. Двадцати одного года он написал драму «Гленарвон», поставленную в Амбигю, и через год еще одну драму, поставленную в Порт-Сен-Мартен. «Худой, с великолепным профилем и грозным взглядом, со стоящими торчком усами, придававшими ему сходство с каким-нибудь портретом работы Веласкеса, сошедшим с полотна». Он был беден и одинок. Он нуждался в поддержке и в какой-нибудь должности. В пору пребывания в «Отель де Франс» покровительствовавшая ему Арабелла представила его Жорж Санд. Та нашла его «невероятно некрасивым, тщеславным, глупым». А Мари д'Агу считала его преданным, добрым, даже остроумным и защищала его. Жорж сначала возмутилась тем, что у подруги «настолько дурной вкус, что она может выносить такого невоспитанного человека»; потом рассердилась еще больше, когда Лист сказал, что Мальфиль влюблен в Санд. Она «изрешетила» несчастного молодого человека «обидными насмешками», а под конец объявила, что он ей внушает «непреодолимое физическое отвращение».

Однако после ссоры со строгим Пеллетаном, когда начались поиски нового наставника для Мориса и госпожа д'Агу предложила брата Мальфиля, Леона (так как она не решалась говорить о Фелисьене), неожиданно выбор Санд пал именно на этого последнего. А вскоре она поселилась вместе с ним в Фонтенбло в «Отель Британик», в то время как Морис жил у Гюстава Папе в замке д'Ар, близ Ла Шатра. И тут вдруг Мальфиль стал «возвышенной натурой» необыкновенной преданности, и именно с ним она решила совершить паломничество в ущелье Франшар, где некогда провела незабываемую ночь с Мюссе. Пребывание в Фонтенбло было нарушено плохим известием. Софи-Виктория Дюпен серьезно заболела, и ее дочь поспешила в Париж, чтобы ухаживать за ней.

> *Жорж Санд — Гюставу Папе, 24 августа 1837 года:* Старина, дорогой мой, я потеряла свою бедную мать. Она умирала тихо и спокойно, у нее не было ни агонии, ни предчувствия конца, она думала, что засыпает, чтобы вскоре проснуться. Ты знаешь, как она была опрятна и кокетлива. Ее последними словами было: «Поправь мне прическу». Бедная женщина! Тонкая, умная, артистичная, великодушная, злая в мелочах и добрая в серьезных делах. Она заставляла меня часто страдать, и самое мое большое зло в жизни было из-за нее. Но в последнее время она исправила это, и мне было очень радостно, что она, наконец, поняла мой характер и что она полностью воздает мне должное. У меня спокойно на душе, я сделала для нее все, что следовало…

> *Жорж Санд — Мари д'Агу, 25 августа 1837 года:* Я вам написала в Женеву: надеюсь, вы получили мое письмо… Я вам писала, что перенесла большое горе; моя бедная мать была при смерти. Я провела несколько дней в Париже, чтобы присутствовать при ее последних минутах. Но в это время меня встревожили известием (оказавшимся ложным), и я послала Мальфиля в Ноан, чтобы он нашел моего сына, будто бы похищенного Казимиром. Я уехала в Фонтенбло, чтобы встретить сына, а в это время моя мать умерла, тихо, без малейшего страдания. На следующее утро я вошла к ней; она лежала неподвижно в постели; целуя ее мертвое

тело, я поняла, что так называемый голос крови отнюдь не воображение, как я часто думала в минуты озлобленности… Моей бедной матери больше нет! Она нашла покой на солнце, среди красивых цветов и мотыльков, которые летают, не помышляя о смерти. Меня так поразил веселый вид могилы на кладбище Монмартр в этот чудесный день, что я спросила себя, зачем я так горько плачу здесь.

Она думала, что Морис был похищен Казимиром. Некий друг из Ла Шатра написал ей, что видел там ее мужа. Ничего подобного не произошло. Папе передал Мориса в руки Мальфиля и обещал следить за Соланж.

Фелисьен Мальфиль — Жорж Санд, 16 августа 1837 года: Морис у меня; все было выполнено по вашему желанию со скрупулезной точностью… Простите меня за бессвязность моего письма; мне надо уладить столько мелких дел, что не знаю, с чего начать и чем кончить. Морис очень хорош и мил, в восторге от предстоящей встречи с вами. Чувствует он себя хорошо. Никто ни в Ноане, ни в Аре не видел господина Дюдевана… Перед отъездом в Фонтенбло попросите у моего брата ваши «Дзиади» и вашу соломенную шляпу, которой вы украшаете голову. Великолепно! Молитесь за меня. Santo Giorgio![36] Ужасно хочу спать. Veni, vidi, dormi [37]. Vostrissimo[38] Фелисьен Мальфиль.

Самым странным является то, что Казимиру, отнюдь не пытавшемуся в августе похитить Мориса, в сентябре пришла нелепая мысль похитить Соланж и увезти ее в Гильери. Жорж в страшной ярости добилась разрешения, помчалась в почтовой карете в Нервак в сопровождении Мальфиля и адвоката, подняла субпрефекта и попросила оцепить Гильери жандармами.

Жорж Санд — Алексису Дютею, 30 сентября 1837 года: Дюдеван, став тихим и вежливым, приводит Соланж за руку к порогу своего королевского жилья, предварительно предложив мне войти туда, я мило отказываюсь. Соланж была передана в мои руки, как принцесса на границе двух государств. Мы, барон и я, обменялись несколькими любезными словами. Он мне пригрозил забрать своего сына через судебные власти, и мы расстались, очарованные друг другом…

После чего, находясь недалеко от Пиренеев, ей пришло в голову совершить второе сентиментальное паломничество. Мальфиль уже унаследовал эмоции Франшара. На этот раз его приобщили к воспоминаниям, навеянным цирком Марборе. И наконец, успокоившись, семья в полном составе добралась до Берри, и каждый член семьи провел там конец зимы, занимаясь своим делом.

Жорж Санд — Мари д’Агу, март 1838 года: Я не могу сообщить вам ничего интересного о жизни в Ноане. Живем мирно и трудимся. Я нагромождаю романы на новеллы и Бюлоза на Боннера; Мальфиль нагромождает драмы на романы, Пелиона на Оссу[39]; Морис — карикатуры на карикатуры; а Соланж — лучшие кусочки цыпленка на фальшивые ноты. Вот какую героическую и фантастическую жизнь ведут в Ноане.

Доктор Пиффёль читает себе нотацию:

Ну-ка, переберите в памяти то, что произошло за эти три последних месяца, в которые ты не причисляешь себя к живым. Ты хоть вспоминаешь об этом? А ты не

забыл уже прошлое? Твоя мать умерла, сын спасен, дочь похищена и возвращена, и так далее и прочее! Ты снова был во Франшаре, а с кем? Ты снова увидел Марборе, а с кем? Ты вернулся сюда, что ты здесь будешь делать, какая судьба тебя ждет здесь, кого ты полюбишь? Что заставит тебя страдать? Кого ты возненавидишь в следующем месяце, или в следующем году, или завтра? У тебя прекрасная душа, мой великий Пиффёль! Ты мог бы пить кровь своих детей из черепа своего лучшего друга, и у тебя даже не заболел бы живот.

А Феллоу тем временем путешествовали по Италии, но были не счастливее Санд. «Приближается буря, — писал Лист, — нервы мои напряжены… Образы опустошенности, глубокого разочарования реют над всей моей судьбой… Меня мучает лишь одна мысль, одно угрызение совести: я должен был сделать ее счастливой. Я мог это сделать, но смогу ли сейчас?» Страдание делает человека несправедливым: записка Мальфиля, вложенная в письмо Санд, вывела из себя Мари; она сочла записку невежливой и развязной. На самом же деле она сердилась на своего прежнего протеже за то, что он перешел к ее подруге. Она пожаловалась Жорж, та отозвалась очень резко.

Жорж Санд — Францу Листу: Да, кстати, о Мальфиле! Я хотела бы знать, почему Мирабелла делает меня ответственной за глупости, которые он ей пишет. Как будто я обязана читать письма Мальфиля, понимать их, комментировать, исправлять или одобрять! Слава богу, никто не может меня заставить снабжать умом тех, кому его недостает… Мальфиль написал письмо Принцессе, письмо глупое, и это меня совсем не удивляет. Считая, что Принцесса давно привыкла к письмам Мальфиля, и совсем не желая брать на себя за них ответственность, я положила вышеупомянутое письмо упомянутого Мальфиля в одно из своих писем к Принцессе. Я не читаю их, черт побери! Я и без того должна прочитывать много глупых писем каждый день! И если это письмо Мальфиля глупее, чем остальные его письма, то, по-моему, меня должны поблагодарить за то, что я вложила его в свое письмо и Принцесса сберегла тридцать су, причитавшиеся за столь глупое письмо. Теперь я спрашиваю, какого черта жаловаться, если Мальфиль имеет право писать? Зная Мальфиля и его стиль, нужно быть готовым ко всему! Черт побери, мне только этого недостает — учить Мальфиля эпистолярному стилю! Что касается меня, то, поверьте, я всегда буду находить его письма восхитительными, так как надеюсь не прочесть ни одного. Я его люблю всей душой. Он может попросить у меня половину моей крови, но только пусть не просит читать ни одного письма…

Мари д’Агу — Жорж Санд, 9 ноября 1837 года: Меня позабавило то, что вы сказали о Мальфиле. Вы странные люди, поэты… Вы помните наши ссоры из-за Мальфиля? Как он был некрасив, глуп, дурен, тщеславен, невыносим! Казалось, вас воодушевляет ярость, вроде той, которую Гомер вселил в сердца Юноны и Венеры, и я была вынуждена сказать вам mezza voce[40], что, по-моему, надо уметь мирно уживаться с мелким тщеславием окружающих, в противном случае рискуешь жить в одиночестве… Сколько исчезнувшего энтузиазма, сколько падающих звезд в вашем небе! Не дойдет ли очередь до бедной Мирабеллы?

Очередь Мирабеллы была близка. Она никогда не была persona gratissima[41] в Ноане. Теперь же Жорж и Мальфиль дружно вынесли ей суровый приговор.

> *Жорж Санд — Дютею, Париж, октябрь 1837 года:* Ты забыл воздвигнуть строение в стиле Д'Агу (не надо никому говорить, что я так сказала). Постарайся, мой возвышенный и лучезарный друг, достать для принцессы Мирабеллы, чьи мы нижайшие рабы, курульное кресло из слоновой кости, на котором ее восхитительный глубокопочитаемый зад сможет продвигаться по аллеям елисейского сада, называемого Долиной Ноар.

Пока еще показывались бархатные лапки, но когти уже точились. Орудием мести стал Оноре де Бальзак, «который причалил к замку Ноан в скоромную субботу» 24 февраля 1838 года. После ее разрыва с Сандо Бальзак был в натянутых отношениях с Санд. В период разрыва он не только стал на сторону маленького Жюля, но, когда тот вернулся из Италии, Бальзак, как мы уже говорили, поселил его у себя, содержал, надеясь на какие-то туманные услуги, которые Сандо из-за своей невероятной лени так никогда и не оказал. Бальзак, подобно Санд, работал всегда как одержимый, он мог написать роман за два месяца, а если было нужно, и за семнадцать дней. Вялый и апатичный, маленький Жюль приводил в ужас этих чудовищ «с крепкими жилами». Сандо, со своей стороны, быстро устал от такой бурной жизни. Бальзак говорил о нем: «Это конченый человек. Он строит всю жизнь планы, но никогда не осуществляет их».

> *Бальзак — Эвелине Ганской, 8 марта 1836 года:* Жюль Сандо — это одна из моих ошибок. Вы представить себе не можете подобной праздности и небрежности! У него нет ни энергии, ни воли. На словах самые лучшие побуждения, на деле ничего, в действительности ничего. Никакой самоотверженности: ни духовной, ни физической. Я на него потратил столько, сколько мог бы потратить большой вельможа на какую-нибудь причуду; я принял его в свой дом и сказал ему: «Жюль, вот драма: напиши ее. После нее другую; после этой водевиль для Жимназ…» Он сказал мне, что он не может заканчивать чужую работу. Поскольку можно было предположить, что я спекулирую на благодарности, я не стал настаивать. Он не хотел даже подписывать свое имя на произведении, написанном в соавторстве. «Ну, пишите же книги!..» За три года он не написал даже половины книги! Писать критику? Он считает это слишком трудным делом. Он обходится очень дорого. Он так же разочаровывает в дружбе, как и в любви. Конец…

И они расстались. В начале 1837 года Сандо был в Бретани, работая над романом о Жорж — «Марианна»; ему сказали, что Бальзак также пишет роман о связи Сандо — Санд («Великий человек из провинции в Париже»).

> *Жюль Сандо — Бальзаку, 21 января 1837 года:* Что такое «Утраченные иллюзии»? Мне пишут из Парижа, что это история про меня и про известную вам особу. Вообще такая история может быть у каждого, поэтому легко и ошибиться. Однако утверждают, что каждая страница вашей книги — день моей юности. Во всем этом меня беспокоят два обстоятельства: первое, чтобы из дружбы ко мне вы не были чрезмерно строги к другой особе; второе, если бы я начал писать про ту же роковую историю сейчас, это было бы уже поздно. Вы понимаете, что Улисс, написав мемуары после «Одиссеи», оказался бы просто смешным дураком. Будьте так любезны, напишите мне, в чем дело; с нетерпением жду от вас несколько строчек.

Бальзак успокоил его: Люсьен де Рюбампре не имел ничего общего с Жюлем Сандо; если какой персонаж книги и имел общие с ним черты, так это Лусто (что нисколько не лучше). Придя к той же оценке Сандо, как и Жорж, Бальзак не видел теперь никакого смысла в том, чтобы отказаться от дружбы с такой влиятельной и милой женщиной, как Жорж Санд. Кроме того, госпожа Ганская, страстная коллекционерка, хотела иметь автографы романистки. В феврале 1838 года Бальзак, находясь в Фрапеле у Карро, написал Санд, прося у нее разрешения совершить «паломничество в Ноан… Я не хотел бы вернуться без встречи — пусть это будет беррийская львица в своем логове, пусть соловей в своем гнезде…». Жорж тоже не любила ссориться с талантливыми людьми; она пригласила его самым дружеским образом. Он приехал 24 февраля, и трудно рассказать его визит к Лелии лучше, чем это сделал он сам:

> Я благополучно прибыл в замок Ноан в скоромную субботу, около половины восьмого вечера, и застал моего друга Жорж Санд в халате, курящим послеобеденную сигару у камина в уединенной комнате громадных размеров. На Санд были красивые желтые с бахромой туфли, кокетливые чулки и красные панталоны. Это со стороны моральной. А с физической — она отрастила себе второй подбородок, как у каноника. Несмотря на все эти ужасные несчастья, у нее нет ни одного седого волоса. Ее смуглый цвет лица не изменился; прекрасные глаза сохранили свой блеск. Когда она размышляет, у нее все тот же простоватый вид: понаблюдав ее, я ей сказал, что ее сущность выражается во взгляде. Вот уже год, как она в Ноане; она грустна и работает колоссально много…
>
> Она живет в глубоком одиночестве, осудив сразу и брак и любовь: и в том и в другом ее постигло разочарование. Ей трудно найти подходящего мужчину, вот и все. И будет еще труднее, потому что она не любезна, и полюбить ее очень трудно. Она мальчишка, она художник, она большой человек, великодушный, преданный, целомудренный, это мужской характер; ergo[42], она не женщина. Беседуя с ней в течение трех дней очень откровенно, я ни разу не почувствовал, как и раньше, желания проявить хотя бы внешнюю заинтересованность, которая во Франции и в Польше обязательна при разговоре с любой женщиной. Я просто разговаривал с другом. У нее много больших достоинств, тех достоинств, которые общество понимает наоборот. Мы спорили очень серьезно и чистосердечно, искренне и добросовестно о важных вопросах брака и свободы, как и подобает великим пастырям, ведущим за собой свою паству.
>
> Я многого добился, доказывая госпоже Дюдеван необходимость брака, и я уверен, что она согласится со мной и что я сделал доброе дело, убеждая ее в этом. Она превосходная мать, обожаемая своими детьми; но она одевает свою дочь Соланж, как мальчишку, это нехорошо. В нравственном отношении это двадцатилетний мужчина, столько в ней удивительной чистоты и какой-то стыдливости; у нее только внешность артистическая.
>
> Все проделанные ею глупости только возвеличивают ее в глазах прекрасных и великих душ. Она была обманута Дорваль, Бокажем, Ламенне и т. д. и т. д.… Так же она была обманута и Листом и госпожой д’Агу; но только сейчас она начинает понимать предательство этой четы, так же как и предательство Дорваль, потому что она принадлежит к числу тех умов, которые сильны в кабинете, в рассуждениях и легко уязвимы в реальной жизни. Кстати, говоря о Листе и госпоже д’Агу, она дала мне сюжет «*Каторжников*», или *«Принужденной любви»;* я напишу роман об этом, так как она сама этого сделать не может. Не говорите это никому. В общем это

мужчина, тем более что она этого хочет; она уже вышла из роли женщины и более не женщина. Женщина привлекает, а она отталкивает, и раз она производит такое впечатление на меня — а я мужчина в сильной степени, — значит такое же впечатление создается и у других мужчин; она всегда будет несчастной. Вот и теперь она любит мужчину, недостойного ее, и этот союз приносит только разочарование женщине с такой большой душой; женщина всегда должна любить человека выше себя, или она должна быть так обманута, что поверит в это.

Конечно, Бальзак преувеличил свое физическое безразличие к Санд и ее мужской характер, чтобы успокоить ревнивую Ганскую. Но сущность была верной: он никогда не испытывал влечения к ней. Отбросив всякую натянутость, эти два великих ума могли свободно беседовать. Разговор, наверно, был интересный и оживленный. Оба «великих человека» ни в чем не могли сговориться. Жорж Санд, верная последовательница Руссо, верила в природную свободу человека и в прогресс. Бальзак, кающийся руссоист, верил в первородный грех и не верил в возможность изменения человеческой природы. Жорж Санд вернулась к христианскому учению савойского викария, которое она называла евангелием от Иоанна. Бальзак, почти соглашаясь с ней в вопросах веры, поддерживал, однако, римский католицизм, отчасти из-за своего преклонения перед некоторыми святыми. Жорж Санд была республиканкой, Бальзак — монархистом. Жорж Санд проповедовала эмансипацию женщин и брак по любви; Бальзак защищал брак по расчету и считал, что чрезмерная свобода опасна для замужней женщины. Жорж Санд, создавая героев романа — чистейших идеалистов, тщетно искала их в жизни; Бальзак, с юности любимый идеальной женщиной Дилектой, с беспощадным реализмом описывал адюльтер и разврат.

Бальзак был уверен, что он переубедил Санд в вопросе брака, хотя бы по отношению к другим женщинам, и вполне возможно, что этот великий мыслитель оказал на идеи Жорж благотворное влияние. Что касается «Каторжников любви», то Бальзак, развивая тему, подсказанную Санд, сделал из нее шедевр «Беатриса, или Вынужденная любовь». Это довольно жестокий намек на претензию Мари д'Агу сделать из Листа нового Данте, а себя считать новой Беатриче. «Данте! Беатриче! — горько говорил Лист. — Это Данте создают Беатриче, и истинные Беатриче умирают в восемнадцать лет». Госпоже д'Агу было тридцать три года, она на шесть лет была старше Листа.

А Жорж была выведена Бальзаком под именем Фелисите де Туш, с псевдонимом Камилла Мопен. Выбор имени Мопен мог показаться эпиграммой, так как он напоминал о двусмысленной героине Теофиля Готье. Но портрет выглядел лестно: «Кроме таланта, в ней еще большая душа… Она гениальна и ведет одну из тех исключительных жизней, которые нельзя судить, как существование обыкновенных людей…» Зато Беатриса де Рошфид — это безжалостная сатира на Мари д'Агу: «В ней есть какая-то неестественность: такое впечатление, что она знает все на свете…» Клод Виньон походил на Гюстава Планше, с разрешения оригинала. Что касается Женнаро Конти, то Бальзак клялся, что это не Лист; последний со свойственным ему достоинством не пожелал ни признавать сходство, ни обидеться. И действительно, Бальзак по своему обыкновению проделал очень сложную транспонировку в романе; но Мари не простила ни Жорж, ни Бальзаку этой вещи, написанной, как она говорила, «после недельного пребывания наедине в Ноане».

В сентябре 1839 года «Беатриса» появилась на страницах журнала «Сьекль».

Бальзак — Жорж Санд: Надеюсь, что вы будете довольны; если же что-нибудь вам пришлось не по вкусу, полагаю, что при искренности наших отношений и

чистосердечности нашей старой дружбы вы мне об этом скажете… Дорогая, я прочел «Марианну» и с болью вспомнил о наших разговорах у вашего камина. Скоро появятся авторы, которые заставят расплющить свои внутренности и напечатать на них историю своего существования. Мы приближаемся в литературе к ужасам Колизея… По-моему, название «Принужденная любовь» лучше, чем «Каторжники».

Иностранке он дал ключ к разгадке.

Бальзак — Эвелине Ганской, февраль 1840 года: Да, Сара — это госпожа де Висконти; да, мадемуазель де Туш — это Санд; да, Беатриса — это, конечно, госпожа д'Агу. Жорж Санд от этого на вершине блаженства; для нее это своего рода месть подруге. За исключением некоторых деталей, история правдива.

Однако когда книга появилась в продаже, Жорж, обеспокоенная реакцией Феллоу, попросила Бальзака выгородить ее, написав письмо, которое она могла бы в случае необходимости показать; Бальзак вступил в игру.

Бальзак — Жорж Санд, 28 января 1840 года: Я догадывался о том, что происходит в связи с «Беатрисой». Тысячи людей, заинтересованных в том, чтобы поссорить нас (им это никогда не удастся), будут пытаться уверить вас, что Камилла Мопен — злая сатира на вас, не считая еще и других выпадов, и что Клод Виньон — это эпиграмма в ваш адрес. Несмотря на нашу дружбу, за восемь лет нашего знакомства мы с вами виделись приблизительно восемь раз, поэтому мне было бы очень трудно знать что-нибудь о вас и вашей семейной жизни… А разве мне не говорили, что Беатриса — портрет и что все в романе напоминает жизнь всех вас! Увы! Так случалось со всеми написанными мной произведениями! «Лилия в долине» дала мне возможность узнать совершенно неожиданные для меня тайны четырех или пяти семейств. Что касается так называемого оригинала Беатрисы (которого я никогда не видел), это уже чересчур! Причины создания «Беатрисы» изложены в моем предисловии, и этого достаточно. Я обожаю в Листе и его талант и его человеческие качества; и утверждать, что Женнаро может на него походить — двойное оскорбление: и для него и для меня…

Жорж Санд — Бальзаку: Добрый вечер, дорогой Dom[43], Mad[44], не беспокойтесь, я нисколько не обиделась. Польщена я или нет образом «двоюродной сестры», о которой вы мне говорите, но я сочинила уже много романов и поэтому знаю, что писатель никогда не делает портрета: он не может и не хочет копировать живую модель. О каком искусстве можно было бы говорить — великий боже! — если бы автор не придумывал три четверти плохого или хорошего в своих персонажах, в которых глупая и любопытная публика хочет признать знакомые ей подлинники? Судя по слухам, в этой вещи вы страшным образом очернили одну мою знакомую (женщину незапятнанную) и ее компаньона, рассказывая о том, что вам нравится называть каторгой. Она слишком умна, чтобы узнать себя в этом образе, и я рассчитываю на вас, чтобы оправдаться, если когда-либо ей придет мысль обвинить меняв недоброжелательных отзывах о ней.

Итак, плодом этого драматического лета в деревне был шедевр. Это была прекрасная жатва.

Часть шестая
Фридерик Шопен

«Совершенно бесспорно, — как-то сказал старик Бюлоз в разговоре обо мне, — она горда в любви, но удивительно добра в дружбе».

Жорж Санд



Глава первая
Прелюдии

Все друзья Санд заметили, что в это роскошное, неповторимое, странное лето 1837 года чаще всего она в своем смятенном состоянии вспоминала молодого польского пианиста, которого тщетно пыталась заманить в Ноан. Шопен, как она могла бы сказать, создан для нее самим Провидением. Несчастный, впечатлительный, изгнанник, тоскующий о Польше, о семье и, главное, о нежной материнской любви. «Я был бы так рад, если бы нашелся кто-то, кто захотел бы мной командовать!» — говорил он. И этот кто-то нашелся и действительно захотел приобрести в его лице сразу и любовника и сына. Шопен был на семь лет моложе Санд, поэтому она могла надеяться, что встретит с его стороны сыновнее, почти ребяческое отношение, особенно желанное для нее после тирании Мишеля. Все в молодом музыканте: его слабость, болезненность, лихорадочная возбужденность — неотразимо привлекало сиделку, преисполненную материнской нежности. По красоте он был равен Листу: «Среднего роста, стройный; длинные тонкие руки, очень маленькие ноги, светлые, пепельные, с каштановым оттенком волосы; скорее живые, чем задумчивые, карие глаза; нос с горбинкой; очень мягкая улыбка; несколько глуховатый голос, и во всем облике что-то настолько изысканное, неуловимо аристократическое», что люди, не знавшие Шопена, принимали его за знатного вельможу в изгнании. Сколько раз, глядя из окна на золотые липы Ноана, она застывала в мечтах, и образ этого прекрасного лица появлялся на кончике ее пера и мешал ей работать; редкий и опасный признак.

Мальфиль был славным малым, «лучшее из созданий, которое небо ниспослало для дружбы», но человек посредственного дарования; Шопен же был гениален. Санд, глубоко музыкальная натура и по природе своей и по воспитанию, Санд, еще девочкой забиравшаяся под клавесин бабушки, радуясь этому поэтическому приюту, Санд, уже женщиной съеживавшаяся комочком под роялем Листа, наслаждаясь силой, пронизывавшей ее существо, понимала лучше, чем кто-либо, язык звуков. Добавьте к этому, что если Мари д’Агу завоевала Листа, приручить Шопена — означало бы победу Санд над ней. Словом, все складывалось так, что у Санд появилось страстное желание приблизить к себе хрупкого и гениального музыканта.

Это завоевание было трудным. В Шопене, нежном, небесном создании, как бы чужом на этом свете, всякий шум, споры, внешняя неряшливость и особенно скандалы вызывали ужас. Лучше всего он чувствовал себя в элегантном салоне среди красивых, знатных женщин, к тому же и музыкальных, жаждущих слушать в полумраке гостиной какой-нибудь из его ноктюрнов, дававших ощущение исповеди. Ему нравилось сначала погружать эту изысканную аудиторию в глубокую задумчивость, а потом внезапно вызывать в ней героические чувства, воспевая истерзанную Польшу. В политике Шопен был консерватором, в любви — нежным и робким. Непостоянная платоническая любовь как нельзя лучше подходила к слабости его темперамента. В общем, это был человек несчастливый, вся жизнь которого была «невероятным диссонансом».

Увидев Санд впервые, Шопен строго осудил писательницу, которая одевалась по-мужски, курила сигару, обращалась на «ты» к своим странным друзьям; порвала отношения со всеми людьми, не связанными с искусством, и подчеркивала свои демократические и социалистические убеждения. Как она отличалась от ангелоподобных белокурых полек, которых до этого он целомудренно любил! Вполне понятно, что сначала он отказался идти к ней, а после своего визита в «Отель де Франс» сказал: «Какая несимпатичная женщина эта Санд! Она действительно женщина? Я готов в этом усомниться…»

Однако когда она вернулась в Париж в октябре 1837 года, он согласился на встречу с ней. В

глубине души Шопен был несчастен. «Мы вышли, — говорил он, — из мастерской великого мастера, sui generis[45] Страдивариуса, но его уже нет, и некому нас настроить; неловкие руки не умеют извлекать из нас новые звуки, и мы загоняем их внутрь себя, потому что мастера нет…» Молодая полька, на которой он надеялся жениться, Мария Водзинская, мало-помалу, под влиянием родителей, которых пугала болезненность Шопена, отдалилась от него. Он никогда не говорил о своих печалях, но всегда испытывал глубокую потребность утешения. И Санд готова была всячески утешать его. «В записной книжке Шопена был найден сложенный пополам листок почтовой бумаги, на одной стороне — написанные рукой Жорж слова: «Вас обожают», и ее подпись… А под подписью Санд госпожа Дорваль написала: «Я тоже! Я тоже! Я тоже!»

> *Дневник Шопена, октябрь 1837 года:* Три раза я снова встречался с ней. Она проникновенно смотрела мне в глаза, пока я играл. Это была довольно грустная музыка — «Дунайские легенды»; и мне казалось, что мое сердце танцует под эту родную мелодию. В моих глазах отражались ее глаза; темные, странные, что они говорили? Она облокотилась на пианино, и ее ласкающие взоры отуманили меня… Кругом цветы. Я был побежден! С тех пор я видел ее дважды… Она меня любит… Аврора, какое очаровательное имя!

Он находил в Жорж силу, которая помимо воли влекла его к себе, потому что помогала ему; музыкантша, способная оценить его, вдохновить, даже дать совет; великодушная женщина, ничего не требовавшая, бескорыстно предлагавшая себя. Несмотря на свою робкую стыдливость, он поддался искушению.

Генрих Гейне, восхищавшийся ими обоими, рассказывает о том, какое впечатление у него осталось от этой пары.

> Она: у нее красивые каштановые волосы, ниспадающие до плеч; немного тусклые и сонные глаза, мягкие и спокойные; добродушная улыбка; чуть приглушенный голос, который редко слышишь, так как Жорж молчалива и больше занята наблюдениями, чем разговором. Он: это человек необыкновенной чувствительности: малейшее прикосновение к нему — это рана, малейший шум — удар грома; человек, признающий разговор только с глазу на глаз, ушедший в какую-то свою таинственную жизнь и только изредка проявляющий себя в каких-нибудь неудержимых выходках, прелестных и забавных.

Весной 1838 года она неоднократно приезжала в Париж, и они часто проводили вечера вдвоем. Сначала Шопен играл, а потом они предавались на «волю ветра», и это были «небесные вспышки». Бедняга Мальфиль был совсем забыт. Но в Шопене никогда нельзя было быть уверенным. Своим друзьям, поляку Альберу Гржимале и жене консула Марлиани он делал признания такие же изменчивые, как и его ноктюрны. У Шопена «погода часто менялась в пору любви. То да, то нет, то если, то но, и часто утром было: «Нет, это невыносимо», а вечером: «Действительно, это высшее счастье…» Робость, целомудрие скорее пробуждают желание, чем кокетство, которое старается им подражать, но не обладает их естественностью. Этот ускользавший, не дававшийся ей в руки человек сводил Жорж с ума.

Именно в этом неуверенном, изменчивом состоянии она написала в начале лета 1838 года лучшему другу Шопена, графу Альберу Гржимале, — «толстому кокетливому поляку, запакованному в чудовищное пальто необыкновенной пирамидальной формы», сплошь расшитое шнурком и позументами, — которого Санд звала своим супругом, потому что Шопен

«был их общим малышом», — письмо на тридцати двух страницах. Это письмо подверглось строгому осуждению. Им возмущались, над ним потешались, потому что Санд со всей откровенностью высказывается в нем о вещах, о которых большинство людей — как раньше, так и теперь — только думает, но не говорит вслух. Лицемерам всякая искренность кажется цинизмом.

> Поговорим, в последний раз начистоту, — пишет Санд Гржимале, — потому что ваше слово для меня решающее и от него будет зависеть мое дальнейшее поведение… Я принимаю ваше евангелие, когда оно предписывает думать о себе всегда в последнюю очередь и совсем не думать о себе, когда счастье тех, кого мы любим, требует напряжения всех наших сил. Поймите меня правильно и ответьте ясно, определенно, откровенно…

О чем идет речь? Прежде всего о том, чтобы узнать, сделает ли его счастливым молодая полька Мария Водзинская, которую Шопен, может быть, любит, а может быть, ему кажется, что он должен любить. Санд не хочет играть роль злого гения. Она не хочет быть роковой женщиной, ведущей борьбу против подруги детства, красивой и чистой девушки. С другой стороны, Санд сообщает о себе, что она «как бы замужем» за изумительным человеком в отношении сердца и чести (речь идет о Мальфиле), который ей отдался целиком и которого она не хочет бросить. Если бы «наш малыш» (то есть Шопен) решил отдать свою жизнь в руки Жорж, она была бы в ужасе: эта любовь «может продолжаться только в условиях, в которых она зародилась, то есть при случайных встречах; и если добрый ветер столкнет нас, мы опять совершим полет к звездам…»

Итак, два возможных решения: если «молодая особа» действительно даст Шопену настоящее чистое счастье и при этом если его «чрезмерно щепетильная душа» откажется любить два различных существа по-разному, то Санд отойдет в сторону и постарается изо всех сил забыть о нем; если же, наоборот, женитьба на этой «молодой особе» может стать «могилой для этой артистической души» или если домашнее счастье и религиозные убеждения Шопена позволят ему совместить это «с несколькими часами целомудренной страсти и нежной поэзии», тогда Санд будет встречаться с ним по-прежнему. Она не будет входить в интересы его повседневной жизни, не будет спорить с ним по религиозным, политическим и светским вопросам; также и он не будет требовать от нее отчета в ее поступках: «Мы не будем видеться каждый день и не каждый день будем возжигать священный огонь, но будут у нас прекрасные дни и будет святое пламя…»

Остается вопрос второстепенный, но без него не обойдешься — вопрос о законченности дара: обладание или нет? И вот именно в этом пункте деловой тон Жорж удивил и шокировал всех. Она признается, что никогда не могла выработать в себе такое благоразумие, которое совпало бы с ее чувствами: «В этом отношении у меня нет ни тайн, ни теорий, ни доктрин, ни установившегося мнения, ни заранее принятого решения…» Она всегда доверялась своим влечениям; она может упрекнуть себя во множестве глупостей, но ни в одной пошлости, ни в одном злом умысле.

> Чувства всегда были сильнее рассуждений, и, даже когда я хотела поставить себе какие-то границы, это не помогало ничему. Я двадцать раз меняла мнение. Но больше всего я верила в верность, я ее проповедовала, я соблюдала ее, я требовала ее. Ее нарушали, и я тоже нарушала ее. Но все же я не чувствовала никакого угрызения совести, потому что всегда видела в моих изменах что-то фатальное, какое-то

> врожденное влечение к идеалу, которое заставляло меня уходить от несовершенного, чтобы приблизиться к совершенному…

Вообще ее нельзя назвать непостоянной. Она всегда была верна тому, кого любила, в этом смысле она никогда никого не обманула, и если когда-либо она «переставала быть верной, то по вине других, в силу очень веских причин, которые убивали любовь…» В данном случае она недовольна собой, потому что именно на Мальфиля у нее нет повода жаловаться. Ее просто поражает то впечатление, которое на нее произвело «это маленькое существо» (Шопен). Она знает, что, если бы у нее была возможность бороться и рассуждать, это привело бы к худшему, но она была захвачена сразу, и не в ее натуре дать торжествовать разуму, когда ею овладела любовь. Здесь и Руссо и голос сердца. Во всяком случае, обладание не усиливает вину. Неверностью является даже малейшая ласка. «Кто отдал сердце — отдал все…» Если мужчина и женщина хотят жить вместе, они не должны оскорблять природу, отступая перед полным соединением. Если это необходимо, она соглашается принести эту жертву и остаться целомудренной, но при условии, что Шопен пойдет на это из уважения к ней или даже из чувства верности к другой, только не из ханжества или из презрения к «человеческим грубостям». Презирать плоть — это выражение, по мнению Жорж, ужасно:

> Он, кажется, сказал, что *некоторые факты* могут испортить воспоминания. Ведь он сказал глупость, не правда ли, и он этого не думает? Кто же эта несчастная женщина, оставившая у него такие впечатления от физической любви? Значит, у него была недостойная его любовница? Бедный ангел! Следовало бы повесить всех женщин, опошляющих в глазах мужчин самое значительное, самое святое из всего созданного, божественное таинство, серьезнейший и возвышеннейший акт на земле.

Таково это пресловутое письмо, особенно примечательное своим здравым смыслом. Некоторые говорили: «Ей хочется иметь Шопена, сохранить Мальфиля и убедить себя при помощи добродетельных предлогов, что ею руководит лишь желание счастья этих двух молодых людей…» Может быть. Но кто из людей с пылкими страстями не прибегает к любой казуистике, когда приходится примирять чувствительную жизнь и жизнь чувственную? «Как же живете вы, все вы, пока живы? — спрашивает нас Санд. — Что вы делаете с вашими глазами, ушами, с вашей памятью? Вы меня называете циничной, потому что я все вижу и все помню, потому что я покраснела бы, если бы была обязана ослеплению той ложной добротой, которая делает из вас одновременно обманутых и мошенников…» Она не права? Грешнице, признающей себя таковой, моралисты отпускают грехи, потому что, вынося себе обвинение, она не ослабляет принципов, а укрепляет их. Байрон или Бодлер, распутники, но понесшие наказание, тоже свидетельствуют в пользу добродетели. Общество приходило в отчаяние от ясности духа и чистой совести этой мятежницы. Лицемерный читатель, «мне подобный, мой брат», никогда не простит Санд спокойную откровенность ее письма и особенно то, что письмо это написано женщиной. Сделайте перестановку, и вы найдете в нем не только одного мужчину, но почти всех мужчин. Итак, в Санд живет мужчина. Это ее своеобразие, ее слабость и, как она думает, ее честь.

Проблема, впрочем, отличалась от той, которую при крайней сдержанности Шопена представляла себе Жорж. Помолвка с Марией Водзинской была расторгнута еще за год до того. Шопен страдал, нуждался в великодушной нежности и потому стал искать в объятиях Санд успокаивающей доброты. Неизвестно, что ответил ей Гржимала, но, по-видимому, он успокоил Жорж, ибо она тотчас же возвратилась из Ноана в Париж.

Лето 1838 года было летом счастья. Мало-помалу побледнел образ Марии Водзинской, и у Шопена осталось о ней лишь поэтическое воспоминание. Он много работал и опубликовал тетрадь «Этюдов», посвятив их графине д’Агу. Его чрезмерная застенчивость не позволила ему посвятить их Жорж. В этой парадоксальной чете тайны требовал мужчина. Впрочем, на сей раз и Жорж была вынуждена прибегать к предосторожностям из-за Мальфиля. Она раньше рассчитывала легко от него отделаться: «Не может быть, чтобы я не заставила это доброе и умное создание понять и осознать все, это мягкий воск, на котором уже стоит моя печать, и, когда я захочу изменить оттиск, терпеливо и со всякими предосторожностями, мне это удастся…»

Этот воск на деле оказался не таким уж мягким, как ей казалось. Брошенный Мальфиль стал ревновать и хотел защитить свои права. В нем бушевали пылкие страсти креола. Летом 1838 года он вызвал на дуэль одного друга, который, приехав в Ноан, стал ухаживать за Жорж. Она честно предупредила молодого репетитора, что его время прошло и что отныне надо перейти от любви к дружбе. Но скандал мог снова начаться в любой день с кем-нибудь другим, и ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы этим другим стал Шопен. Можно ли без содрогания представить себе, как этот caballero[46] Веласкеса нападает с рапирой в руках на хрупкого музыканта? Пришлось обратиться к Пьеру Леру, к которому должны были приехать Мальфиль и Роллина для уточнения некоторых философских вопросов, чтобы он использовал все свое влияние на Мальфиля и успокоил этого сумасшедшего: «Когда возникнет между вами вопрос о женщинах, втолкуйте ему, что они не принадлежат мужчине по праву грубой силы и что ничему не поможешь, перерезав себе горло…»

Вся эта история доставила радость Мари д’Агу: «Кстати, бедный Мальфиль! Он в постели, он болен сдерживаемым тщеславием, он навсегда разочарован, разубежден, разуверен и прочие всевозможные раз. Вы догадываетесь, почему? О! Но это же презабавная история! Если только вы ее еще не знаете…» После чего она рассказывает о возвращении Мальфиля в Париж (его посылали в Гавр, чтобы отвезти туда Мориса). Несчастный ничего не знал о новой любви Жорж, он даже опубликовал в «Музыкальной газете» «Балладу» в честь Шопена.

> Не знаю уж, по какому дьявольскому наущению, но у него вдруг возникает подозрение, и он устраивает слежку за комнатой Шопена, куда каждую ночь приходит Жорж. И тут драматург становится драматичным: он кричит, он рычит, он свирепствует, он жаждет крови. Друг Гржимала бросается между знаменитыми соперниками: Мальфиля успокаивают, а Жорж удирает с Шопеном, чтобы наслаждаться любовью в тени мирт в Пальма! Согласитесь, что эта история интереснее, чем все выдуманные истории…

Глава вторая
Зима на Майорке

У Санд были отличные доводы для того, чтобы «наслаждаться любовью» вне Парижа. Если бы она оттуда не уехала, то рисковала бы новыми приступами ревности у Мальфиля; Морис нуждался по своему здоровью в более теплом климате; кашель Шопена вызывал тревогу; Шопен боялся скандала публичной связи, который поверг бы в ужас его набожную семью. Что же касалось Жорж, то она в любом месте работала, как часы, и, как всегда, жаждала супружеской жизни с новым любовником. В течение последних пяти лет у нее было много горя и серьезных неприятностей; теперь ей хотелось спокойного пристанища. Ее испанские друзья, государственный деятель Мандизабал, полугений, полуавантюрист, и консул Марлиани расхваливали Майорку. Было решено, что Жорж поедет туда со своими двумя детьми, останавливаясь в Лионе, в Перпиньяне и Барселоне, что Шопен присоединится к ним по дороге, и все вместе сядут на пароход, направляющийся к Балеарским островам. Как и было намечено, Шопен появился в Перпиньяне. Он был «свеж, как роза, и розов, как молодая репка».

Они прибыли в Пальма на Майорке в ноябре 1838 года; при их отъезде в Париже было холодно; в Испании их встретило солнце, и первое впечатление было прекрасным.

> *Шопен — Жюлю Фонтана, 15 ноября 1838 года*: Я в Пальма, под пальмами, кедрами, алоэ, апельсиновыми и лимонными деревьями, под финиковыми пальмами и под гранатовыми деревьями… Небо бирюзового цвета, море лазурного, а горы изумрудного. Воздух? Воздух такой, как на небе. Днем светит солнце, все одеты по-летнему, жарко; ночью целыми часами пение и игра на гитарах. Громадные балконы, откуда свисают виноградные лозы на стены, видевшие еще арабские времена… Город, как и все здесь, напоминает Африку… Словом, дивная жизнь!..

Он быстро разочаровался. Две скверные меблированные комнаты — вернее, комнаты без мебели; складные кровати с жесткими матрацами, соломенный стул; еда, состоящая из рыбы и чеснока; дома, люди, поля — все пропитано тошнотворным запахом прогорклого растительного масла; этого уже было достаточно, чтобы испортить настроение у человека избалованного и утонченного. Санд, как всегда энергичная, нашла жилье и хотела привести его в порядок, но местные жители работали неохотно и плохо. Вновь прибывшие жили без стекол в окнах, без замков, как бы под открытым небом. В конце концов некий сеньор Гомец сдал им деревенский домик у подножия горы за сто франков в месяц.

Любовь помогла сделать первые дни приятными. Тихие прогулки, прекрасные вечера на террасе в самом разгаре декабря. Санд вспоминала ночи Венеции, таинственный плеск воды по мраморным ступеням и ночи Ноана, полные соловьиных трелей. На Майорке тишина была глубокой, ее нарушали лишь колокольчики мулов и смутный шум моря, далекий и слабый. Но очарование длилось недолго. Начался сезон дождей. Это был потоп. «Домик Ветра», который им сдал сеньор Гомец, заслужил свое название. Сырой, без печей, он не защищал от ураганов. Стены были так тонки, что известка, которой были оштукатурены комнаты, вздулась, как губка. Приезжим казалось, что их плечи окутывает ледяной покров. У бедного Шопена начались приступы кашля от удушающего запаха, который распространяла жаровня.

С этого времени он стал для местных жителей предметом ужаса и страха. Жестокий Гомец написал (говорит Санд), что «мы держим человека, в котором держится заразная болезнь; в силу чего он просит нас убраться подобру-поздорову из его дворца…» Три городских доктора

собрались на консультацию. Шопен — Фонтана: «Один обнюхивал мою мокроту; другой выстукивал то место, откуда выделяется мокрота; третий выслушивал меня, когда я кашлял…» С большим трудом ему удалось избежать приписанного ими кровопускания и прикладывания нарывных пластырей. Поскольку испанские доктора утверждали, и не без оснований, что чахотка заразна, сеньор Гомец выставил своих квартирантов за дверь; пришлось устроиться в развалинах монастыря, оставленного изгнанными монахами, — в Вальдемозской обители. Один политический беженец, который должен был немедленно покинуть страну, уступил им свою келью и обстановку в ней. В половине декабря они отправились сквозь нагорные заросли вереска и асфодела в это уединенное место.

Вальдемозская обитель — небольшой монастырь — была выстроена для двенадцати послушников и одного настоятеля: две ее стены возвышались над морем. Декретом 1836 года монашеский орден был распущен, и кельи стали сдаваться внаем государством, но люди, испытывая суеверный страх, не соглашались поселяться там. Санд и ее «семья» очутились там почти в одиночестве, если не считать аптекаря, ризничего и Марии-Антонии, соседки, предлагавшей свои услуги «из дюбви к богу, por l’assistencia»[47], но на деле забиравшей у них большую часть одежды и обеда. По хозяйству помогали: Каталина, огромная вальдемозская ведьма, и Нина, маленькое взъерошенное чудовище. Арабский вкус проявился в мозаике, украшавшей и молельни, и кельи. Вечером при лунном свете эти старые здания принимали фантастический вид. Соланж и Морис карабкались по витым лестницам на крыши.

Зеленеющие горы, дикие скалы, одинокие пальмы, затерявшиеся в розоватом небе; пейзаж в солнечные дни был поразительно красив. Однако пребывание в Вальдемозе не было удачным. Шопен не выносил местной кухни, и Санд пришлось самой готовить ему обед. Только она, такая сильная по природе, могла выдержать этот образ жизни: ухаживать за больным, готовить, ходить по лавкам Пальма, бродить под дождем с детьми, пересекать в скверных повозках бурные потоки и в то же время переделывать «Лелию», писать «Спиридиона», так как нужны были деньги, и Бюлоз, оказавший ей денежную помощь, требовал от нее рукопись для набора. Над их постелями летали орлы. Туман часто окутывал гору, и маленькая лампа, при свете которой они передвигались по пустынному монастырю, казалась блуждающим огоньком. Ничье жилище не было столь романтичным. Шопен работал в «своей келье, двери которой были выше парижских ворот», незавитой, без белых перчаток, но, как обычно, бледный. Он, наконец, получил свое пианино, долго находившееся в Пальма в когтях таможенников. На пианино лежали произведения Баха и неразборчивые записи самого Шопена. Но он страдал оттого, что был лишен привычной обстановки и своих вещей.

Соседи не любили это французское семейство за то, что они не ходили в церковь. Алькальд и кюре называли их язычниками, магометанами, евреями. Крестьяне сговорились продавать им рыбу, яйца и овощи по безумно дорогим ценам. Блуза и брюки Соланж их шокировали. Молодая особа десяти лет не должна одеваться, как мужчина. В этом климате дети чувствовали себя великолепно: Соланж расцвела; Морис просто чудом стал поправляться. Мать заставляла их работать с присущим ей прилежанием: «Мы с Морисом окунулись в Фукидида и ему подобных; с Соланж — в косвенную речь и согласование причастий…» Но Шопен ужасно терял силы. Его «катар» (Санд не хотела верить, что он кашляет по какой-то другой причине) повергал его в состояние изнеможения и слабости. Жорж страдала, что не может дать ему лучшего питания, и разражалась страшным гневом по поводу украденного служанками бульона и не вовремя доставленного свежего хлеба. Чем дальше шла зима, тем больше грусть парализовала усилия Санд быть веселой и безмятежной:

> Состояние нашего больного ухудшалось с каждым днем, ветер выл в овраге, дождь

> стучал в окна, удары грома проникали через толстые стены и нарушали зловещими звуками веселый смех и игры детей. Орлы и стервятники, обнаглев в сгустившемся тумане, сожрали наших бедных пташек, укрывшихся на гранатовом дереве у моего окна. Бурное море не давало лодкам выйти из порта; мы чувствовали себя узниками, далекими от медицинской помощи и действенного сочувствия. Казалось, что смерть витает над нашими головами, чтобы схватить кого-нибудь из нас, а мы были одиноки и не были в состоянии отстоять ее жертву…

Местный доктор поставил диагноз — горловая чахотка, и прописал кровопускания и диету. Санд считала, что кровопускание может быть смертельным, и отказывалась от мысли, что это чахотка. «Я ухаживала за многими больными, — пишет она, — и всегда у меня был верный инстинкт».

Несмотря на такие страдания, Шопен работал. Он сочинил во время своего пребывания на Майорке баллады, прелюдии, многие из которых, как говорят (хотя это сомнительно), были навеяны его тоской в то время, когда Жорж, уехавшая с детьми на какую-нибудь ночную прогулку, запаздывала с возвращением домой.

> Мы торопились, — пишет Санд, — помня, что наш больной волнуется. Он и в самом деле очень сильно беспокоился, но как будто застыл в спокойном отчаянии. Играя восхитительную прелюдию, он плакал. Когда он увидел, что мы входим, он встал, вскрикнул, а потом произнес с отрешенным видом и очень странным тоном: «Ах, ведь я знал, что вы умерли!..» Когда же он пришел в себя и увидел, в каком мы состоянии, он заболел при одной мысли, каким опасностям мы подвергались; но уже позднее он признался мне, что, ожидая нашего возвращения, он видел все это во сне и, не отличая сон от действительности, успокоился, забылся за игрой на пианино, убежденный, что сам он тоже умер. Он видел, что утонул в озере, что тяжелые ледяные капли воды мерно падали ему на грудь, но когда я заставила его прислушаться к шуму капель воды, мерно стучавших по крыше, он сказал, что не слышит их. Он даже рассердился, когда я это назвала имитирующей гармонией. Он яростно протестовал против наивности этих подражаний для слуха, и он был прав. Его гений был полон таинственной гармонии природы, которую его музыкальная мысль выражала равноценно, но возвышенным образом, а не рабским повторением внешних звуков. Его сочинение, написанное в тот вечер, полно звуков дождевых капель, стучавших по гулким крышам обители, но в его воображении и в его песне они претворились в слезы, падающие с неба на его сердце.

Так рождались в этой романтической обстановке шедевры Шопена, но вскоре он возненавидел Майорку. Пребывание в Вальдемозе стало мучением для него и пыткой для Санд:

> Ласковый, жизнерадостный, очаровательный в обществе, — в интимной обстановке больной Шопен приводил в отчаяние своих близких… У него была обостренная чувствительность; загнувшийся лепесток розы, тень от мухи — все наносило ему глубокую рану. Все ему было антипатично, все его раздражало под небом Испании. Все, кроме меня и моих детей. Он не мог дождаться отъезда, нетерпение доставляло ему большие страдания, чем жизненные неудобства.

Наконец день отъезда был назначен. От Пальма до Барселоны путешествие было ужасным.

На борту «Эль-Малоркен» везли груз живых свиней, воздух был отравлен ими. Капитан, обратив внимание на кашель Шопена, поместил его в самую плохую каюту, чтобы не внести заразу в хорошие каюты. Свиньи, которых моряки били, «чтобы избавить их от морской болезни», жутко вопили. У Шопена началось сильнейшее кровохарканье, и по прибытии в Барселону он был на волосок от смерти. От Барселоны до Марселя доктор французского корабля «Фенисьен» принял большое участие в больном, но не могло быть и речи, чтобы Шопен возвратился в Париж в феврале. Санд устроила всю свою «семью», за которую она несла ответственность, в «Отель де Бово», в Марселе.

> *Жорж Санд — Карлотте Марлиани, 26 февраля 1839 года:* Хочу написать вам о моем больном, добрая сестра, так как знаю, что вы интересуетесь им столько же, сколько и я. Ему лучше, намного лучше; он очень хорошо перенес тридцатишестичасовую качку и переправу через Лионский залив, которая к тому же прошла успешно, если не считать редких порывов ветра. Он больше не харкает кровью, хорошо спит, мало кашляет, но самое главное — он во Франции! Он может спать в кровати, и ее не сожгут после этого. Люди не отшатываются от него, когда он протягивает им руку. За ним будет самый лучший уход, и к его услугам будут все медицинские средства.

Она была равнодушна к прелестям Марселя: «Стоит мне высунуться в окно, или выйти на улицу, или пойти к порту, как я сразу же чувствую, что становлюсь сахарной головой, ящиком мыла или свечным пакетом. К счастью, Шопен со своей игрой на пианино выгоняет из дому скуку и привлекает поэзию…» Бумагомаратели, «праздные, любопытные и литературные попрошайки», осаждали дверь дома.

> *Жорж Санд — Карлотте Марлиани, 15 марта 1839 года:* У моей двери толпа, весь литературный сброд преследует меня, а музыкальный — в погоне за Шопеном. На первый раз я скажу, что он умер, но, если это будет продолжаться, мы разошлем всем письма с извещением о том, что мы умерли оба, пусть нас оплакивают и оставят в покое. Мы хотим спрятаться в какой-нибудь харчевне на весь март, чтобы укрыться от мистраля, который временами дует очень сильно. В апреле мы снимем в деревне домик, а в мае поедем в Ноан.

Хотя дети вносили много шума в дом, она ежедневно успевала написать в этой гостинице свои пятнадцать — двадцать страниц. Она привезла с Майорки переработанный роман «Лелия» и метафизико-мистический роман «Спиридион». Опьяненная Леру и его философией, она уже не хотела больше считать сентиментальные сюжеты «ничтожными». Роман «Спиридион» родился из «маленькой религии, созданной Леру», и даже был написан частично им самим. Монастыри Барселоны и Майорки дали ей материал для внешней обстановки в романе. Это история бенедиктинского монаха Алексиса; он рассказывает одному послушнику о своей жизни, связанной с жизнью основателя монастыря, аббата Спиридиона. Спиридион — это символ человечества, проходящего через все вероисповедания. Это была также история духовного развития самой Санд, начавшей агностицизмом в детстве, дошедшей до экзальтированного католицизма в монастыре и затем уверовавшей в философию Ламенне и Леру. Спиридион, еврей по рождению, сначала принимает католическую веру, переходит к протестантизму и, наконец, к христианскому деизму. В его могиле спрятан текст евангелия от Иоанна и рукопись с изложением доктрины самого Спиридиона.

Его учение являет собой синтез всех религий. Алексис раскрывает тайну этой рукописи молодому монаху Анжелю, герою книги. Неожиданно в монастырь приходят республиканские французские войска и убивают старого Алексиса. Он умирает без ненависти, потому что знает, что его убийцы, сражающиеся за свободу и равенство, могут способствовать торжеству его идей.

Естественно, что эти мистико-революционные рассуждения должны были привести в ужас читателей «Ревю де Дё Монд». Даже друзья и те отнеслись к ним очень недружелюбно.

> *Сент-Бёв — госпоже Жюст Оливье:* Вы понимаете «Спиридиона»? Говорят, что отец Алексис — это господин де Ламенне и что знаменитая книга «Дух» — это «Энциклопедия» Леру. Я говорю это с чужих слов, ибо не читал романа и не хочу читать.

А госпожа д’Агу по прочтении его сказала: «Я ничего там не поняла». Правда, она и не стремилась понять книгу. Бюлоз умолял Санд спуститься с облаков на землю. Публика требовала второй «Индианы», второй «Лелии». Но Санд была убеждена, что благодаря метафизическим разглагольствованиям она поднимается до высокого искусства. То же самое проделала она в романе «Семь струн лиры», являющемся отвратительным подражанием гётовскому «Фаусту».

> *Жорж Санд — Карлотте Марлиани, 17 марта 1839 года;* Нужно сказать вам, что все мало-мальски значительное по замыслу пугает Боннера и Бюлоза, потому что их подписчики предпочитают легкие романы вроде «Андре», которые одинаково по вкусу светским дамам и их горничным. Эти господа надеются, что я им скоро представлю какую-нибудь повесть в духе Бальзака. Ни за что на свете не хочу обрекать себя работать вечно в таком жанре, надеюсь, что отошла от него навсегда. Не говорите об этом нашему тупице, но — по крайней мере до тех пор, пока мне в голову не придет сюжет, в котором великая мысль сможет увлечься в банальную форму, — я не буду писать в манере, любезной Бюлозу…

Она продолжала заботиться о Шопене с чисто материнской преданностью. «Я не могу уйти, ведь мой бедный Шопен не может остаться один: он скучает, если около его кресла нет детской возни, чтения вслух…» Бокажу: «Дорогой брат… отвечаю вам из греческого города, он такой же греческий, как мы с вами. Каков бы он ни был, я нахожу его очаровательным после Испании. Шопен немного пополнел, почти не кашляет, и, когда не дует мистраль, становится весел, как зяблик…» Когда он стал себя чувствовать лучше, она повезла его в Геную — место паломничества с Мюссе, как некогда она возила Мальфиля во Франшар. Les Fellows, которые жили тогда в Лукке, пригласили их к себе. Но Жорж была настороже. И имела на это право. Мари д’Агу, большая любительница эпистолярного искусства, в продолжение уже нескольких месяцев недоброжелательно писала Карлотте Марлиани о чудачествах «ошопененной» Жорж.

> *Мари д’Агу — Карлотте Марлиани, Флоренция, 9 ноября 1838 года:* Это путешествие на Балеарские острова меня смешит. Очень жаль, что оно не совершилось годом раньше. Когда Жорж прибегала к кровопусканию, я всегда ей говорила: «На вашем месте я предпочла бы Шопена!» Не пришлось бы делать столько кровопусканий! И «Письма Марси» не были бы написаны, и не завела бы она романа с Бокажем, и насколько все это было бы лучше для некоторых хороших людей. Долго ли продлится пребывание на Балеарских островах? Насколько я их обоих знаю, они

> возненавидят друг друга к концу первого же месяца совместной жизни. Они антиподы, но это пустяки, все равно это в высшей степени прекрасно, и вы не представляете себе, как я рада за них. А Мальфиль? Как он пережил этот конфликт? Закалится ли, как он говорил, его кастильская гордость в водах Мансанареса? Неужели Жорж была права, уверяя меня часто, что он невероятно глуп и смешон? Я никогда особенно не волновалась за «состояние здоровья» Мориса. Во всяком случае, при его учащенном сердцебиении было бы странным такое лекарство, как солнце Испании. Вы, конечно, правы, что любите талант Шопена; в нем изумительно выражается его изысканная натура. Он единственный пианист, которого я могу слушать не только без скуки, но даже с глубокой сосредоточенностью. Расскажите мне подробнее обо всем. Облегчаете ли вы горе Бокажа или он и у вас в немилости? Откровенно говоря, я сожалею, что не могу обо всем этом посплетничать с вами; уверяю вас, что все это невыразимо смешно…

Ламенне, которому показали это письмо и который находил дьявольское наслаждение в том, чтобы «ссорить этих баб», посоветовал Карлотте показать его Жорж, что и было сделано. Рассердившись, Жорж написала на его первой странице: «Вот как тебя судят и «отделывают» некоторые подруги!» Так как Карлотта взяла с нее клятву не выдавать ее, Жорж просто решила совсем не отвечать на письма госпожи д’Агу: «Я не люблю притворства в дружбе». Семья Fellows была удивлена и пожаловалась майору Пикте:

> *Лист — майору Пикте, Рим, август 1839 года:* Жорж Дюдеван Камарупи не дает о себе знать начиная с шопеновской эры (приблизительно девять месяцев)… Последние произведения доктора Пиффёль («Альдини», «Спиридион», «Семь струн лиры») произвели на меня тягостное впечатление. «Лелия» и «Письма путешественника» написаны совсем другой рукой. Несомненно, в новых вещах сказываются усталость, творческое бессилие, упадок. Но подождем еще: и поскольку мы были друзьями, будем говорить об этом шепотом и только между собой…

Как будто злословие могло остаться в тайне… Однако Шопен и Санд в конце мая 1839 года выехали из Марселя в Ноан, часто останавливаясь по дороге, «ночуя на постоялых дворах, подобно добрым буржуа».

Глава третья
«Мои три ребенка»

Берри. Июнь месяц. Палящее солнце. Какая радость — работать у себя дома и быть полновластной хозяйкой Ноана. В тот день, когда Шопен туда приехал, Жорж написала карандашом на левом оконном переплете в своей спальне дату, которую и сейчас можно там увидеть: 19 июня 1839 года. Для того, чтобы отметить начало новой жизни? Возможно и такое объяснение. Она поняла, что время «кавалькад» прошло. Отныне она чувствовала себя главой семьи, ответственной за троих детей: Шопена, Мориса, Соланж. С похвальным постоянством она теперь пробовала жить только для них и для своего творчества. Все ее истинные друзья надеялись тогда, что она поведет теперь другую жизнь, «полную теплого уюта, почти патриархальную». Без тени иронии или порицания они предоставили Шопену место в семейном кругу. С 1839 года их письма Санд обычно заканчивались так: «Целую Шопена, Мориса, Соланж». Положение облегчалось чрезвычайной тактичностью Шопена, называвшего всегда Санд не иначе, как моя хозяйка или хозяйка дома.

Это первое лето в Ноане было счастливым. Однако Шопен не очень любил деревню. «Он всегда стремился в Ноан и не выносил его никогда… Ему быстро надоедали радости деревенской жизни. Обычно, сделав небольшую прогулку, во время которой он срывал несколько цветков, он усаживался сразу же под деревом. Потом возвращался домой и закрывался в своей комнате…» У него не хватало сил участвовать в жизни на свежем воздухе, которую так любила Жорж и ее дети. Но он чувствовал теперь себя лучше, и его рояль звучал с утра до вечера. «Он сочинил восхитительные вещи с тех пор, как он здесь», — писала Жорж, и действительно, этим летом он сочинил Сонату си-бемоль минор, Второй ноктюрн и три мазурки. Он очень ценил вкус своей подруги. Она была «тонкой слушательницей». По мере того как она его узнавала, она стала понимать его так, как он сам себя понимал, и, слушая его игру, она следила за его внутренней жизнью, жизнью всегда скрытой, тайным и смутным выражением которой являлась его музыка.

> *Дневник Шопена, 12 октября 1839 года:* Они говорят, что мне стало лучше. Кашель и боли прекратились. Но в глубине моего существа я чувствую боль. Глаза Авроры затуманены. Они блестят только тогда, когда я играю; тогда мир светел и прекрасен. Мои пальцы мягко скользят по клавишам, ее перо стремительно летает по бумаге. Она может писать, слушая музыку. Музыка повсюду, рядом, нежная музыка Шопена, ясная, как слова любви. Для тебя, Аврора, я готов стлаться по земле. Ничто для меня не было бы чрезмерным, я тебе отдал бы все! Один твой взгляд, одна твоя ласка, одна улыбка, когда я устаю. Я хочу жить только для тебя; для тебя я хочу играть нежные мелодии. Не будешь ли ты слишком жестокой, моя любимая с опущенным взором?

Не будешь ли ты слишком жестокой? Неужели она была с ним жестока? Конечно, нет. Но было что-то снисходительное в ее любви. Нельзя сказать, что она стала меньше восхищаться музыкантом и поэтом. Но жизнь в Майорке и очень серьезная вспышка болезни, последовавшая за этим в Барселоне, доказали Жорж, что Шопен не создан для любовных утех. Они сильно отражались на его здоровье, и, несмотря на мольбы Шопена, Аврора очень скоро принудила его к умеренности, а затем и к полному воздержанию. Много позже (12 мая 1847 года) Санд писала наперснику этой четы, Альберу Гржимале:

Семь лет я живу, как девственница, с ним и с другими. Я состарилась раньше времени, и даже без всяких усилий или жертв, настолько я устала от страстей, от разочарований, и неизлечимо. Если какая-то женщина и могла внушить ему полное доверие, то это была я, а он этого никогда не понимал… Я знаю, что многие люди меня обвиняют, — одни за то, что я его измотала необузданностью своих чувств, другие за то, что я привожу его в отчаяние своими дурачествами. Мне кажется, что ты-то знаешь, в чем дело. А он, он жалуется мне, что я его убиваю отказами, тогда как я уверена, что я его убила бы, поступая иначе…

Шопен не был бы человеком, если бы не страдал от такого отношения и не приписывал бы его другим увлечениям: но только гораздо позже его ревность, несправедливая по-видимому, стала невыносимой.

Осенью, к большому сожалению Жорж, пришлось уехать из Ноана. В Париже она все время ощущала, что у нее «сердце сжимается» при мысли о вспаханной земле, об орешниках вокруг полей, о быках, подгоняемых хлебопащцами. Что говорить, кто родился в деревне, тот никогда не привыкнет к городскому шуму. «И мне даже кажется, что и грязь у нас хорошая, а от здешней грязи меня тошнит». Но Шопен должен был вернуться к своим ученикам, да и самой Санд из экономических соображений хотелось жить в Париже. В Ноане было трудно вести дом. Владелица замка, которую обворовывали, не хотела, чтобы ее «обвиняли в скаредности» в качестве управляющей имением. Ежедневно, до того еще, как она вставала, дом уже наполнялся дюжиной друзей, являвшихся без приглашения. В Ноане она расходовала полторы тысячи франков в месяц на хозяйство, а в Париже только половину. Словом, «семья» решила устроиться в Париже. Сначала Жорж Санд с детьми занимали на улице Пигаль, 16, «два павильона, отделенных от улицы довольно большим и красивым садом», а Шопен жил отдельно на улице Тронше, 5. Но он постоянно нуждался в неусыпном уходе и моральной поддержке. В конце концов он переехал на улицу Пигаль. Эта совместная жизнь продолжалась три года (с октября 1839 по ноябрь 1842 года). Бальзак посетил этот дом и описал его в письме к «своей Еве» с присущей ему точностью оценщика и романиста:

Бальзак — Эвелине Ганской, 15 марта 1841 года: Она живет на улице Пигаль, № 16, в глубине сада, над каретными сараями и конюшнями дома, выходящего на улицу. В столовой у нее мебель из резного дуба. Маленькая гостиная обита светло-коричневым бархатом, а гостиная-приемная полна изумительных китайских ваз с цветами. Жардиньерка с цветами. Мебель обита зеленым штофом. Горка, полная редких вещей, картины Делакруа, ее портрет кисти Каламатта… превосходное пианино, квадратное, прямое, палисандрового дерева. Шопен ведь всегда здесь. Она курит только сигареты, ничего другого. Встает не раньше четырех часов; в четыре часа Шопен кончает свои уроки. Подниматься к ней надо по прямой и крутой лестнице, так называемой лестнице на мельницу. Спальня в коричневых тонах, ее кровать, состоящая из двух матрацев на полу, — на турецкий манер. Ecco, contessa[48]…

В 1842 году услужливая и опасная госпожа Марлиани нашла для Шопена и Санд две квартиры на Орлеанском сквере. Орлеанский сквер представлял собой что-то вроде городка, хорошо освещенного, усыпанного песком, с деревьями, напоминающего своим благородным видом итальянский дворец. Госпожа Марлиани жила здесь сама, на улице Тэбу, 80, все это осталось нетронутым до сих пор. На том же сквере жили не только Марлиани, но и скульптор Дантан, танцовщица Тальони и молодая чета Виардо. Луи Виардо, писатель и политический

деятель левых убеждений, с 1838 года был очень близким другом Санд, представленный ей Пьером Леру. Полина Гарсиа, сестра Марии Малибран, подросток с чудесным голосом, была введена к Санд Альфредом де Мюссе, ухаживавшим одновременно за певицей Малибран и трагической актрисой Рашель. Санд полюбила Полину Гарсиа и позже сблизила ее с Виардо, которого она считала достойным этой очаровательной девочки. У четы Виардо родилось много детей, и они называли Санд «нашим добрым гением».

Орлеанский сквер стал таким образом своего рода фаланстером: «Мы даже придумали питаться всем вместе из общего котла у госпожи Марлиани. Это экономнее и веселее, чем если бы каждый вел свое хозяйство…» Собирались все по вечерам, слушали музыку, чтение. Санд и Шопен объединили своих друзей. Друзья Санд — Пьер Леру, Делакруа, Бальзак, Генрих Гейне, Эммануэль Араго по прозвищу Бинья, Бокаж, Мари Дорваль, Ортанс Аллар и все беррийцы; друзья Шопена — музыканты, светские дамы и поляки: княгиня Сапега, княгиня Марселина Чарторийская, Мицкевич (поэт в изгнании и преподаватель в Коллеж де Франс), графиня Дельфина Потоцкая, голосом которой он восхищался, Джемс и Бетти де Ротшильд. В результате Санд стала слависткой и начала воспевать хвалу Мицкевичу, тогда как Шопен сблизился с Эженом Делакруа, таким же денди, как и Шопен. Повышенно чувствительные, впечатлительные, аристократы по манерам и по образу мыслей, они были ближе друг к другу, чем к своей демократической подруге.

Генрих Гейне, другой частый посетитель Орлеанского сквера, нравился Жорж своим неистощимым юмором. Как и все, он вначале влюбился в нее, но эта «безумная страсть», не увенчавшаяся успехом, длилась недолго. Он ее называл: «моя дорогая кузина», заканчивал свои письма к ней: «Мое сердце обнимает ваше», писал ей: «Я возвращаю ваш роман, он очень похож на вас; он прекрасен…» Он забавлял Санд, называя Альфреда де Мюссе: «Молодой человек с большим прошлым». Она не знала, что он ее прозвал Эмансиматрис[49]. Он не мог отказать себе в удовольствии сострить, но продолжал восхищаться ею, как женщиной и как писательницей. Никто лучше его не описал ее величие и ее уверенное спокойствие: «Как прекрасна Жорж Санд и как она безопасна, даже для злых кошек, одной лапкой ласкающих ее, а другой царапающих; даже для собак, которые лают на нее самым свирепым образом; подобно, луне, она кротко созерцает их с высоты…»

О Шопене она всегда говорила с нежностью: «Он неизменно добр, как ангел. Не будь у меня его чудесной, чуткой дружбы, я часто бы теряла мужество». «Шопен потихоньку покашливает. По-прежнему это самый милый, самый загадочный, самый скромный из всех гениальных людей…» Из материальных соображений она не повезла его в Ноан и сама не поехала туда в 1840 году, но последующие шесть лет (1841–1846) она вновь там устроила гнездо для своих трех цыплят. С утра до вечера взрывы музыки, раздававшиеся из комнаты Шопена, смешиваясь с запахом роз и пением птиц, долетали до Жорж Санд, работавшей в своем кабинете в верхнем этаже. Когда в Ноане бывала Полина Виардо, она пела под аккомпанемент Шопена старые, почти неизвестные партитуры Порпоры, Марчелло, Мартини. «Дон-Жуан» Моцарта, по мнению трех друзей, был идеалом прекрасного. Моцарт и Бах не сходили с пюпитра. Делакруа, для которого в Ноане оборудовали мастерскую, Шопен и Морис, теперь уже двадцатилетний юноша, часто начинали разговор об искусстве; Санд мечтательно слушала их. В то время она писала «Консуэло», свой лучший роман, а Полина Виардо служила ей прообразом гениальной певицы. Жорж описала эти вечера в Ноане:

> Шопен играет и не замечает, что его слушают. Он небрежно импровизирует. Останавливается.
>
> — Ну! Ну что же! — восклицает Делакруа. — Это же не конец!

> — Это и не начало. Не дается мне ничего… ничего, кроме отблесков, теней, отражений, которые никак не хотят оформиться. Я ищу цвет и не нахожу даже рисунка.
>
> — Одно без другого нельзя найти, — отвечает Делакруа. — И вы найдете и то и другое.
>
> — А если я найду только лунный луч?
>
> — Значит, вы найдете отблеск отблеска.
>
> Божественному артисту нравится эта мысль. Он вновь начинает играть, но так неясен и неопределенен музыкальный рисунок, что это не сразу замечаешь. Перед нашими взорами постепенно возникают какие-то нежные оттенки, соответствующие пленительным модуляциям, улавливаемым слухом. Затем раздается голубая нота, и вот уж вокруг нас синева прозрачной ночи. Легкие облака принимают самые причудливые формы, они заполняют все небо, толпятся вокруг луны, а она бросает на них огромные опаловые диски и оживляет их померкшую окраску. Полное ощущение летней ночи. Мы ждем соловьиной песни…

Это Шопен придумал театр в Ноане. Вначале он импровизировал на рояле, а молодые люди разыгрывали сценки, танцевали комические балеты. «Они подчинялись его музыке и в зависимости от его фантазии переходили от веселости к серьезности, от гаерства к торжественности, от мягкости к страсти…» Сам Шопен был истинный гений мимического искусства; иногда он вставал из-за рояля, чтобы появиться внезапно то в виде императора австрийского, то в виде старого польского еврея, причем имитация была поразительной. А если ко всему этому прибавить прогулки по лесу, — Шопен верхом на осле, все остальные пешком, деревенские танцы на лужайках под игру на волынках (последняя, кстати, подсказала Санд сюжет ее книги «Звонари»), — тогда можно получить какое-то представление о прелестном веселом шуме, об этом романтическом рае.

Ничего не дало бы более ложного представления о Шопене в период с 1840 по 1845 год, если описывать его всегда больным, порабощенным ненасытной вакханкой. Значение Санд в его творчестве и в его жизни было тогда очень важным как по советам, которые она давала ему, так и по уходу за ним, в котором она не щадила себя. В течение этих летних сезонов, проведенных в Ноане, Шопен был так счастлив, как никогда в жизни. Но долго быть в таком состоянии ему не позволяли ни его характер, ни болезнь. Многие друзья жалели Жорж. Даже Мицкевич, соотечественник Шопена, говорил, что Шопен был «злым гением Жорж Санд, ее моральным вампиром, ее крестом» и «что может кончиться тем, что он убьет ее». Госпожа Жюст Оливье как-то после обеда у них высказала сомнение, что Шопен сможет дать счастье Санд. «Это, — записала она в своем дневнике, — очаровательный человек с умом и талантом, но без сердца…»

Слишком строгое суждение. У Шопена было сердце, но, как все нервные люди, он был настолько обуян своими противоречиями, что никогда не мог поставить себя на место другого, а это является наивысшей тайной дружбы. В политике у них с Санд не было согласия; он не выносил ни некоторых людей, которыми она восхищалась, ни их пылких рассуждений. Он невзлюбил многих людей (например, собственную ученицу Марию де Розьер за ее слишком явную связь с графом Водзинским) и нападал на них тем ожесточеннее, чем больше их защищала Жорж. Привыкшая к его болезненному свойству быстро увлекаться и вскоре разочаровываться, она сразу же уступала ему в споре, меняла тему, поступая с ним, как с ребенком. Иначе «последовал бы целый день молчания, грусти, страданий и странностей…». Жорж не осмеливалась звать в Ноан, когда там гостил Шопен, своих знакомых поэтов-пролетариев, которым она покровительствовала. Ипполит Шатирон раздражал Шопена

шумными выходками и своей неотесанностью. В Париже его шокировали манеры и поведение посетителей госпожи Санд. Элизабет Барет Браунинг описывала их:

> Толпы невоспитанных мужчин, стоя перед ней на коленях, объяснялись ей в любви, затягиваясь табаком и брызгая слюной. Один грек говорил ей «ты» и обнимал ее; какой-то необычайно вульгарный театральный деятель бросался к ее ногам, называя ее возвышенной! «Причуды дружбы», — говорила тогда с мягким и спокойным презрением эта поразительная женщина…

Эта забавлявшая Санд среда приводила в отчаяние Шопена. Тем не менее в течение долгого времени политические разногласия, различие во вкусах, ревность не мешали ни тому, ни другому сохранять глубокую дружбу, влюбленную со стороны Шопена, материнскую, с оттенком восхищения со стороны Жорж Санд. Она продолжала опекать своего больного с бесконечной заботливостью. Стоило ему поехать в Париж, как она тотчас же спешила отправить госпоже Марлиани письмо с просьбой проследить, чтобы у него была горячая вода и чтобы проветривалась квартира.

> Вот мой маленький Шопен; я вам его доверяю; позаботьтесь о нем, хочет он этого или нет. Ему трудно управляться самому, когда меня нет рядом, а слуга у него добрый, но глупый. Я не беспокоюсь в отношении обеда, его будут приглашать всюду… Но по утрам, когда он будет торопиться на уроки, боюсь, как бы он не забыл проглотить чашку шоколада или бульона, которую я почти насильно вливаю в него, когда я при нем… Сейчас он хорошо себя чувствует; ему надо только хорошо есть и высыпаться, как делают все люди…

Она его если и не вылечила, то, во всяком случае, укрепила его здоровье своим уходом и всегда была готова бросить все, чтобы заботиться о нем. И, в свою очередь, «малыш Шопен», ее Шип, ее Шипетт, ее Шопинский, был целиком ей предан. Когда, бывало, она сляжет в постель (что случалось довольно часто, ибо она всю жизнь жаловалась на печень и кишечник), надо было видеть, как он исполняет роль сиделки, усердный, точный, ловкий. Особенно объединяла их любовь к красоте. Однажды вечером в Ноане она ему стала рассказывать, как она умела это делать, о деревенской тишине и о чудесах природы. «Как прекрасно все, что вы рассказали», — сказал Шопен. — «Вы находите? — ответила она. — Ну, так переведите это на язык музыки». Тотчас же Шопен сымпровизировал настоящую пастушескую симфонию. Жорж Санд, стоя рядом с ним и ласково положив ему на плечо руку, шептала: «Смелее, бархатные пальцы!»

Кто знает, сочинил бы Шопен столько выдающихся произведений за свою короткую жизнь, если бы не было этой руки на его плече и чарующего влияния Ноана? Кто знает даже, прожил ли бы он столько?

Глава четвертая
Смерть одной дружбы

Конечно, окружающие заметили, что среди тех, кто приезжал в Ноан и приходил на улицу Пигаль, не было лучших друзей четы Шопен — Санд: Листа и его Принцессы. После того как Карлотта Марлиани передала Санд язвительные высказывания Мари д’Агу, создалось безвыходное положение. Санд, пообещав Карлотте не выдавать ее, не могла жаловаться; Мари, не зная о предательстве Карлотты, не могла понять упорное молчание Ноана и называла его «столь же необъяснимым, как курносый нос сына», Даниеля Листа. В своих письмах к госпоже Марлиани она по-прежнему свободно высказывалась о Санд.

> *Мари д’Агу — Карлотте Марлиани, Пиза, 23 января 1839 года:* Моя прекрасная консульша, почему вы судите a priori [50] с высоты вашей мудрости, что я не способна любить и понимать своих друзей? И касается это самого понятного человека на свете, нашего бедного Пиффёля! Почему вы хотите, чтобы я воспринимала всерьез то, что она сама не может воспринимать серьезно, если это не в те редкие моменты, когда ею овладевает поэтический гений и она принимает камни за бриллианты, а лягушку за лебедя? Я прошу вас сообщить мне о ней только одно: жива она или нет. Когда я жила у неё, я старалась не замечать некоторых подробностей ее жизни, они не имеют ничего общего с чувствами, которые я к ней питаю. С тех пор мне сообщают о ней посторонние, вы ведь знаете, как быстро они узнают то, что их совсем не касается. Впрочем, этого хочет сама Санд! Единственно, что для меня важно, — и я ей об этом сказала бы сама, будь она здесь, — это ослабление ее таланта. С тех пор как она написала «Письма Марси» (которые не идут в счет, раз они не закончены и раз они не развили ни одной поставленной ими проблемы), — с тех пор она сочиняла романы, не имеющие никакой ценности. Совершенно очевидно, что период эмоций (так великолепно отраженный ею в «Лелии» и в «Письмах путешественника») кончился. Сейчас ей необходимо было бы изучать, размышлять, сосредоточить свои мысли; но ни Бокаж, ни Мальфиль, ни Шопен ей не помогут и не направят ее по этому новому пути. Я нахожу (между нами), что госпожа Аллар лучше разбирается в этой стороне ее жизни. После всех безрассудных поступков, которые влечет за собой страсть, она пришла к выводу, что любовь — это вопрос физиологии. Когда целомудрие становится ей в тягость, она берет любовника; она его никогда не обманывает, он не оказывает на нее ни малейшего влияния и никоим образом не входит в ее жизнь. Она делает то, что делают мужчины для удовлетворения своей физической потребности. Она даже сожалеет, что ей приходится проделывать это, но остается над всем этим в силу ясного самосознания и абсолютной честности…

В августе 1839 года, удивленная и несколько обеспокоенная, что нет никакого ответа от Жорж, Мари д’Агу попросила Карлотту передать последнее письмо.

> *Мари д ’Агу — Жорж Санд, вручить через госпожу Марлиани:*
> Вилла Максимилиана, около Лукки, 20 августа 1839 года.
> Мой дорогой Жорж, вас, может быть, удивляют мои настойчивые письма, потому что ваше полное молчание в продолжение полутора лет, молчание, к которому вы в отношении себя вынудили и Карлотту, и особенно ваш не ответ на мое последнее

письмо с просьбой провести у нас лето, довольно ясно показывает, что наши отношения стали для вас тягостными. Но эти отношения были для меня очень важными; некоторые слова, которыми мы обменялись, я считала для себя нерушимыми, и, по-моему, невозможно, хотя бы из уважения к самой себе, порвать по неизвестной причине связь, которая должна была бы длиться, пока мы живы.

Я не могу допустить, что у вас есть повод жаловаться на меня, так как, конечно, в этом случае вы поспешили бы сказать мне об этом, чтобы откровенное объяснение положило конец этому мимолетному недоразумению; это самый простой неукоснительный долг дружбы. Я заглянула в тайники своей души и не нашла даже тени, признака какого-нибудь проступка. Франц тоже задается вопросом, каким образом ваша интимная связь с человеком, которого он вправе называть своим другом, послужила поводом к прекращению отношений между нами?.. Если говорить правду, то и первая ваша близость с одним из наших друзей имела приблизительно такие же последствия. Уже тогда вы сказали о намерении «писать мне реже»; слова Франца по этому поводу заставили вас отсрочить то, что, по-видимому, было уже решено вами: постепенная отчужденность и прекращение отношений. Я не могу примириться с тем объяснением, которое я могла бы дать по поводу этого странного поступка. Неоднократные предупреждения, обескураживающее зрелище порванных отношений в вашем прошлом не казалось мне до сих пор достаточным, чтобы прийти к столь печальному выводу: что вы не способны на длительное чувство; что любое увлечение берет верх над испытанной дружбой; что для вас нет обязывающих слов; что вы открываете случайному встречному все сокровенные чувства вашей души, в то время как в сердце у вас не могут найти убежища те, кого вы любили, чтобы спрятаться там от оскорбления ваших новых друзей.

Я надеюсь еще, и, позвольте мне вам это сказать, я искренне желаю объяснения, достойного нас обеих, которое положило бы конец прискорбному и неприемлемому положению вещей. Но если вы будете по-прежнему упорно молчать, я пойму, что вы захотели порвать с нами. То же непостоянство, которое заставило нас изменить святой дружбе, поможет вам, вероятно, забыть ее. Что же до меня, то я всегда верно буду помнить ее и затаю в глубине моего сердце все, что могло бы ее омрачить или охладить.

Франц хотел вам написать, но его письмо было бы повторением моего. Чтобы избавить вас от скуки или от огорчения, я отбираю у него перо, так как, повторяю вам: я не допускаю мысли, что вы с легким сердцем откажетесь от своих испытанных друзей.

Мари

Мари д'Агу — Жорж Санд (письмо, приложенное к предыдущему):

Пиза, 18 сентября 1839 года

По дате приложенного письма вы увидите, что оно очень запоздало. Я его послала Карлотте, потому что не знала, где вы находитесь. Карлотта мне присылает его обратно, добавив, что результат его, по всей вероятности, будет противоположным тому, к какому я стремилась.

Я понимаю все меньше и меньше. Во всяком случае, желая прежде всего откровенного объяснения, я отсылаю вам письмо, ничего в нем не изменив. Не подобает ни вам, ни мне оставаться в необъясненном и необъяснимом положении. Жду незамедлительного ответа. Пишите в Пизу: Hotel della Fra Donzelle[51].

Жорж Санд сообщила о письме Карлотте Марлиани и попросила у нее совета, каким способом порвать отношения с этой четой. Она решила ответить, главным образом для того, чтобы выгородить Шопена, которому Арабелла могла бы причинить неприятности в музыкальном мире, а его, такого нервного, деликатного, утонченного, надо оберегать от них: «Я отвечу кратко, но решительно, без гнева и желчи… Женская злоба меня никогда не беспокоила. На это я взираю холодно…» Она прекрасно понимала, что Карлотта по-прежнему будет принимать у себя эту женщину, «бесконечно остроумную, привлекательную и общительную». Значит, встречи с ней неизбежны.

> Тем не менее заметьте, что эти миролюбивые встречи, необходимость которых я признаю, будут невозможны без объяснения между нами троими. В противном случае она устроит скандал и при первом же случае устроит представление. Я ее знаю! Она восхитительна, когда принимает свой неприступный вид. Это будет развлечением для всех, но ни для вас, как хозяйки дома, ни для меня…

Итак, Жорж требовала, чтобы состоялось решительное объяснение втроем. Марлиани должно было встревожить такое требование. Приходилось признаваться Мари в своей болтливости. Она неплохо вышла из этого положения.

> *Карлотта Марлиани — Мари д’Агу, 1 октября 1839 года:* Моя дорогая Мари, у меня есть долг перед самой собой — это объяснение с вами. Я все время намеревалась это сделать при личной встрече в Париже. Некоторые обстоятельства: первое — я жду скорого приезда госпожи Санд; затем ваше настойчивое желание узнать причину ее молчания, и, наконец, письмо, которое, по вашим словам, вы отправили ей в том виде, в каком я его прочла, — заставляют меня открыться вам сейчас же со всей откровенностью. Вы помните, я думаю, ваши письма от 9 ноября и 23 января? Вы говорили в них о моей подруге так сухо и холодно, с такой язвительной небрежностью, что меня это глубоко оскорбило. Вы это должны были почувствовать и по моему ответу и по тону, что я в дальнейшем никогда не касалась этого мучительного вопроса. До сих пор я верила в вашу привязанность к госпоже Санд, через которую я имела удовольствие познакомиться с вами.
>
> Убедившись теперь, что вы не питаете к Жорж дружеских чувств, я сделала то, что казалось мне продиктованным глубокой привязанностью к ней. Так как она мне сказала, что задержала свой ответ вам, я написала ей, что она не должна рассчитывать на вашу дружбу, о чем я считаю своим долгом предупредить ее: но попросила ее не спрашивать меня больше ни о чем, потому что я ей не отвечу на это. Жорж никогда не задала мне ни одного вопроса. Я ей никогда не говорила о ваших письмах и никогда их ей не покажу.
>
> Возможно, что это предупреждение было неосторожным с моей стороны, что я ошиблась в моем понимании долга по отношению к человеку, столь мне дорогому. Но я заверяю вас, что этот поступок, на который вы, может быть, пожалуетесь, но о котором я в силу моего понимания долга искренней дружбы не буду сожалеть, не имеет никаких других мотивов, кроме тех, о которых я вам только что сказала…

Таким образом, непосредственная переписка между Жорж и Арабеллой восстановилась. Жорж не пощадила свою бывшую подругу, в которой она всегда чувствовала врага. Письмо достойно того, чтобы его привести полностью. Оно так же замечательно своим решительным

слогом, как и тонкостью анализа.

Жорж Санд — Мари д'Агу: Я в точности не знаю, Мари, того, что вам сказала в последний раз госпожа Марлиани. Ей одной я жаловалась на вас… А вы жалуетесь на меня многим из тех, кто меня ненавидит и клевещет на меня. Если я и живу в мире сплетен, это еще не значит, что я выдумываю их, и я постараюсь как можно меньше подражать вам в этом отношении.

Я не знаю, почему вы взываете к нашему прошлому. Не могу даже понять этого. Вы знаете, что я с самозабвением, даже с энтузиазмом отдалась дружбе с вами, которая меня пленила. Моя увлеченность и явилась той смешной стороной, которую вы высмеиваете во мне, и с вашей стороны немилосердно поступать так именно в тот момент, когда вы разрушаете мою увлеченность вами. Вы понимаете дружбу иначе, чем я, и вы так сильно этим хвалитесь, что у меня есть право сказать вам это. Вы не вкладываете в нее ни иллюзий, ни малейшего снисхождения. Но тогда надо быть самому безупречно честным и говорить людям в лицо такую же суровую правду, какую вы говорите за их спиной. К такой манере поведения можно было бы привыкнуть, как бы неприятна она ни была, по меньшей мере ею можно было бы воспользоваться. Педантизм всегда полезен для чего-нибудь, злость никогда. Вы же для людей, любящих вас, всегда находите в разговоре мягкие слова, нежные ласки, даже слезы сострадания. Но когда вы говорите о них с кем-нибудь другим и особенно когда вы о них пишете, вы рассуждаете о них сухо, презрительно!.. Вы их осмеиваете, вы их поносите, вы их уничижаете, вы даже на них клевещете с очаровательной легкостью и изяществом. Это несколько неожиданное разочарование, довольно неприятный сюрприз для людей, с которыми вы так обошлись, и им позволительно пребывать какое-то время в раздумье, в молчании, в стороне даже. Но что вы делаете потом — это уже необъяснимо. Вы шлете им упреки, те упреки, которые доставили бы гордость и радость, если бы шли от людей, любви которых можно доверять, но доставляют горе и жалость, если идут от ненавидящих вас. Вы браните их, что в оскорбленной дружбе выдает боль и сожаление, но в других случаях выдает лишь досаду и ненависть. Да, ненависть, моя бедная Мари! Не пытайтесь обманывать самоё себя: вы меня смертельно ненавидите. И так как невозможно, чтобы это чувство пришло к вам год тому назад без всяких оснований, у меня есть одно объяснение, а именно, что вы меня всегда ненавидели. Почему? Я этого не знаю, даже не догадываюсь. Но существует антипатия инстинктивная, против которой бороться напрасно. Вы мне часто признавались, что испытывали эту антипатию ко мне еще до знакомства со мной, этим я и объясняю ваше поведение с тех пор; я стараюсь видеть во всем только хорошую сторону, это черта моего характера, которой я горжусь. Из преданности Листу, заметив, что, дружески относясь ко мне, он огорчен вашими едкими насмешками надо мной, вы решили дать ему благородное доказательство дружбы; вы даже сделали над собой огромное усилие для этого. Вы убедили его, что любите меня, и даже убедили себя в этом… Вот почему вы меня любили неровно, скачками, побежденная, может быть, иногда той дружбой, которую я испытывала к вам… Но когда меня не было рядом, эта неприязнь всплывала и вы пользовались поводом, чтобы успокоить себя, дав волю своей долго сдерживаемой язвительности. Я думаю, что, если вы поглубже исследуете ваше сердце, вы все это там найдете, и поэтому я вас прощаю и жалею вас. Вы могли вызвать во мне даже восхищение, если бы я не стала жертвой вашей неудачной попытки; но об ошибке, в которую я по неосторожности и стремительности

впала тогда, я имею право сожалеть, и особенно же сожалеть о том, что вы не выбрали одного из двух: или откровенно ненавидеть меня — поскольку я вас не знала, это меня бы не задело, — или действительно полюбить меня. Это доказало бы, что вы способны не только на мечты и великодушные намерения, но и на серьезные чувства. Значит, это была только моя мечта; по вашим словам, я много о чем мечтала. Немного жестоко высмеивать мою способность, как вы сказали, обманываться в людях в тот момент, когда вы отняли у меня одну из самых моих дорогих иллюзий.

Сейчас вы сердитесь на меня: это в порядке вещей. На этот счет есть известное изречение Ла Брюйера. Но успокойтесь, Мари! Я на вас не сержусь и ни в чем вас не упрекаю. Вы сделали все, что могли, чтобы подчинить по отношению ко мне разум сердцу, но разум взял верх; бойтесь, чтобы его не было чересчур много у вас, моя бедняжка! Если избыток доброжелательства ведет, как я это слишком часто испытывала, к тому, что в один прекрасный день вы оказываетесь в очень плохом окружении, то избыток проницательности ведет к полнейшему одиночеству. А поскольку мы вынуждены жить на этой земле с людьми, то, пожалуй, лучше все время воевать и мириться с ними, чем поссориться с ними навек…

Отдохните от всего этого, бедная Мари. Забудьте меня, как кошмар, который вас преследовал и от которого вы, наконец, избавились. Постарайтесь не то что меня полюбить — вы этого никогда не сможете, — но исцелиться от ненависти, которая вам причиняет зло. Наверно, это ужасная мука, если судить по тому состраданию, которое она мне внушает. Не трудитесь больше выдумывать невероятные романы для того, чтобы объяснить окружающим нашу взаимную холодность. Я больше не приму Листа, когда он будет здесь; я не собираюсь поддерживать ту странную, придуманную вами версию, что между нами стоял он, как яблоко раздора. Вы знаете лучше, чем кто бы то ни было, что у меня никогда и в мыслях не было ничего подобного. Эта идея пришла в голову только Бальзаку, и уверяю вас, что если бы даже представилась такая возможность — чему я еще не очень верю, — никакое враждебное чувство не могло бы мне подсказать эту мысль. Было бы недостойным вас поверить этому, говорить об этом, а главное, позволить другим говорить об этом. Я принимаю — признаюсь, с некоторой гордостью — ваши насмешки над моей нравственностью, но некоторые намеки я решительно отвергаю. Придите в себя, Мари; эти жалкие вещи недостойны вас. Я хорошо вас знаю, очень хорошо. Я знаю, что рассудком вы стремитесь к благородству, но этому всегда мешает маленькое, чисто женское беспокойство. С одной стороны, вам хочется вести себя рыцарски благородно, а с другой — вы хотите остаться самой прекрасной и остроумной женщиной, убивающей, сокрушающей всех остальных женщин на свете. Вот почему вы с удовольствием хвалите меня как «славного малого», но когда вы говорите обо мне, женщине, вам не хватает желчи, чтобы скомпрометировать меня. И вообще у вас две гордости: одна маленькая, другая большая. Постарайтесь, чтобы последняя взяла верх. Вы это можете сделать, так как бог вас богато одарил и вам придется отчитаться перед ним в вашей красоте, уме и обольстительности, которыми он вас наделил. Это мое первое и последнее нравоучение вам. Простите мне его, пожалуйста, как я прощаю вам ваши нравоучения по моему адресу, сделанные вами за моей спиной…

Листа, уехавшего в турне, его любовница оповестила обо всех этих бурных переговорах. Карлотту порицали все, даже ее собственный муж. Она это заслужила; передать оскорбительные высказывания тому, кого это может огорчить, — гораздо хуже, чем сплетничать с пагубной

легкостью, присущей всем человеческим существам. Чтобы оправдаться, госпожа Марлиани утверждала, что это Ламенне уговорил ее показать Жорж эти письма. Увы, это правдоподобно. Когда три женщины снова встретились (в Париже в ноябре 1839 года), Мари Д'Агу холодно разговаривала с Карлоттой, с Жорж старалась быть доброй и мягкой. Жорж была скорее печальной, чем сердитой. Она все еще восхищается, сказала Санд, умом Мари и ее верностью в любви к Листу, но точно знает, что ее, Санд, Мари никогда не любила. Что же касается писем… Мари ее перебила, сказав, что без всякого ложного самолюбия она просит за них прощения. В ответ на это Жорж протянула ей руку, и они договорились, что отныне при встречах они не затронут ни вопроса о их любви, ни вопроса о дружбе.

— Я согласна с этим условием, — сказала Мари, — потому что убеждена, что оно изменится. Время — лучший лекарь. Через несколько месяцев или через несколько лет вы мне скажете, что были не правы.

— Возможно, — ответила Жорж. — Я пасую перед соблазном, а вы очень соблазнительны, Мари…

Лист одобрил поведение своей подруги: «Мне чрезвычайно нравится, как вы ведете себя с Жорж… Терпите, будьте сдержанной, вам это удастся, ведь вы сильная… Время для разрыва с Жорж, по-моему, еще не пришло… не обращайте внимания на многие вещи, а другие прощайте ей. Когда дойдет до разрыва с ней, надо, чтобы у вас был решительный, блестящий перевес…» Но мнимое примирение ничего не изменило, и сплетни продолжались.

> *Мари д'Агу — Францу Листу, 21 января 1840 года:* Потоцкий признался мне, что, когда я одна уехала в Ноан (в 1837 году), он не сомневался, что между Жорж и мной — такая же дружба, какая у нее была с Дорваль…
>
> Четверг 6 февраля: Вчера на обеде: Жорж, Карлотта, дю Рур, Гржимала, Потоцкий, Сегерсы. Жорж довольно угрюмая. За обедом она заставила Гржималу пощупать себе колено (буквально), тот разрумянился от выпитого шампанского; Санд ему говорит (разговор шел о красоте колена): «Ну, Гржимала, скажи мне, каково мое колено?» Гржимала: «Как лепесток розы». Жорж: «Ах! Ну-ну, довольно же, ты щекочешь меня. Я сейчас тебя царапну…» Разговор принужденный и вялый до полуночи. Я больше не могу видеть theose people[52].
>
> *10 февраля 1840 года:* Пришел Виньи. Он был нежен, долго мне рассказывал о Дорваль. Он говорит, что Жорж ее погубила! Он узнал от Сент-Бёва, что я реже вижусь с Жорж, и его восклицание: «Тем лучше!», шло из глубины души…
>
> *10 марта 1840 года:* Мои отношения с Марлиани вновь стали превосходными. Думаю, что супружество Шопена скоро распадется. Общие друзья говорят о нем, что он болезненно ревнив, что страсть его убила, что он мучается сам и мучает других. Ей это все уже надоело, и она боится только, как бы он сразу не умер, если она его оставит…
>
> *Мари д'Агу — художнику Анри Леманну, 6 февраля 1841 года:* Аббат (Ламенне) упорно охраняет свое уединение. Он не хочет видеть у себя женщин. По-моему, он главным образом не хочет принимать госпожу Санд…
>
> *21 апреля 1841 года:* Госпожа Санд меня ненавидит; мы больше не видимся…

18 мая 1841 года: Концерт Франца в Консерватории в честь Бетховена был торжеством, достойным их обоих (вам я могу позволить себе сказать: Бетховен и Лист, не так ли?). Госпожа Санд, вне себя от этого триумфа, вынудила Шопена дать концерт у Плейеля, при закрытых дверях, только для друзей. Лист написал изумительную статью по доводу вышеупомянутого концерта (мне кажется, что они этим раздражены!)… Представьте себе, она до такой степени бесится на меня, что сказала Францу, что вы были моим любовником! Он ответил ей очень умно, как он умеет это делать. Ненависть от этого станет еще сильнее. Я совсем отошла от компании Марлиани…

Вот когда пришло время вспомнить любимую цитату аббата де Ламенне: «Нас примирили, мы обнялись; с тех пор мы смертельные враги».

Глава пятая
Седина

> *Жорж Санд — Бокажу, 1843 год:* Ноан очень изменился с тех пор, когда там на ваших глазах царили веселье и смех. Мое приближающееся сорокалетие внесло туда серьезность. Больше того, плохое здоровье нашего друга сделало привычным присутствие грусти или по меньшей мере задумчивости… Простите меня за каракули: гаснет лампа. Рождающаяся заря такая же серая, какой начинает делаться голова той, которая вам пишет…
>
> *1845 год:* Жизнь — это глубокая рана, которая редко затягивается и никогда не заживает. Я очень печальна и очень мрачна, но от этого я только сильнее люблю тех, кто достоин быть любимым…

Река времени уносила к водопадам смерти всех тех, кого она любила или ненавидела. В 1837 году Казимир унаследовал от своей мачехи баронессы Дюдеван поместье Гильери, но с обязательством выкупить большое завещанное имущество; это сделало его крупным, но безденежным помещиком. Он поселился в замке, стал жить в Гаскони, выезжая из нее очень редко. Он любил эти леса с их соснами, пробковыми дубами, папоротниками и дроком, с огороженными виноградниками. Соседи считали его «отцом и господом богом этого края». Благодаря обществу Авроры он был культурнее и умнее, чем его друзья. Ему доставляло удовольствие приводить цитаты из Паскаля или Сенеки, а о своих неудачах он говорил с чувством меры. Жители Гильери с трудом верили, что он был оставлен своей женой потому, что был груб и зол. По их мнению, он был мягким и миролюбивым, они считали, что он хорошо сложен и даже красив. Одна дама из Буамартена, уже в годах, полюбила его и пыталась влюбить его в себя. Тщетная надежда; он слишком хорошо знал, какую опасность представляют собою пылкие женщины. Однажды он написал своему сыну Морису: «Я должен сообщить тебе приятную новость, госпожа де Буамартен умерла…» Фраза была жестокой, но и к самому. Казимиру раньше жестоко относились. Каждый год его дети приезжали в Гильери, чтобы провести у него часть каникул. С 1844 года у него была официальная связь с Дженни Далиас, поступившей к нему в качестве экономки, которая родила ему дочь Розу. Ему хотелось бы жениться на Дженни, которой он всегда был верен, но Аврора была жива и законный брак был невозможен для него. Казимиру доставляло страдание, что из-за сожительства он не мог исповедоваться и причащаться; с возрастом к нему пришла вера в бога. Тем не менее он ходил в церковь каждое воскресенье и пел в хоре, как и подобало богатому помещику: вообще он с достоинством нес бремя своего смешного прошлого.

Сандо, маленький Жюль, успешно продвигался в свете. Его первая неудачная любовь отложила на нем отпечаток на всю жизнь. Очень долго он не мог ни забыть, ни простить. Однажды он показал портрет Санд маленькой Мари Бюлоз, разглядывавшей альбом с фотографиями: «Посмотри хорошенько на эту женщину, малышка, — это кладбище, ты слышишь? Кладбище!» Однако он был ей всем обязан. Когда она с ним познакомилась, у него не было никакого таланта; когда же в 1839 году он опубликовал свой роман «Марианна», читатели обнаружили в нем истинную страсть. Книга настолько удалась, насколько не удалась любовь. Редакции журналов, издатели требовали романов Сандо. Женщины искали его общества. Он стал любовником Мари Дорваль. Она устала от Виньи, предававшегося другим увлечениям, и по-прежнему была подругой Жорж Санд. Таким образом получилось, что у малыша Жюля и его

первой любовницы есть только одно общее: их преклонение перед очаровательной и веселой актрисой.

В самом начале этой связи Дорваль думала только о Виньи: «Соединить нас невозможно, но я оплакиваю свою любовь… Я ничем не могу ее заменить. Я не люблю Сандо. Я попытаюсь его полюбить. Но я чувствую, что мне это не удастся. Я с ним разговариваю только об Альфреде…» Гораздо позже, почувствовав приближение старости, она страстно привязалась к Жюлю. Дорваль — Сандо: «Ах, как я тебя люблю! Ты очарование моих глаз, восторг моего ума, мое исступление, отрада моего сердца…» Перечитывал ли он тогда другие письма, из Ноана, почти похожие на эти, помеченные 1831 годом? В 1840 году он сопровождал свою любовницу в турне: «Наша дорогая Мари имеет огромный успех…» Но маленький Жюль больше всего желал жениться на богатой и зарился на приданое дочери генерального комиссара флота Полины Портье. Фелиси Сандо, сестра Жюля и наперсница Мари Дорваль, получала безутешные письма: «Я убита горем, от которого я, наверно, никогда не оправлюсь… Два месяца назад, оставив меня в провинции, он поехал в Париж заканчивать свою книгу… Я еду туда и узнаю, что госпожа Портье и ее дочь в Париже. Чрезвычайно расстроенная, я сказала об этом вашему брату; он ответил, что это правда… С болью в сердце еду обратно к себе и жду Жюля. Три дня проходят в ужасной тревоге! Он приезжает и говорит, что расстается со мной. Я испугалась. Я закричала, что нельзя, пока ты жив, разлучиться с тем, кого любишь! Он ответил, что его решение бесповоротно. Фелиси, судите сами, какова моя боль, вы знаете любовь, которую я испытываю к нему. Я должна была сказать это вам, дорогая сестра…» Свадьба состоялась в Нанте в 1842 году. Находясь в турне в Люксёй, Мари Дорваль получила извещение, посланное Сандо. Она пошла со своим горем к Жорж Санд, и они обменялись печальными воспоминаниями об «этом сентиментальном хвастуне». Кудрявый блондин преждевременно облысел и писал нравоучительные романы. Уже поговаривали о том, что его примут в академию.

Анри де Латуш продолжал в Онэй свою жизнь отшельника и мизантропа. Издалека он следил с горечью за блестящей и скандальной карьерой той, которую он когда-то ввел в литературный мир. В своих письмах кузену Дюверне он бранил романы, в которых женщина выставляет напоказ свои переживания. Но он хотел примирения. В 1840 году он сам опубликовал роман «Лео», герой которого, Арнольд, проехав через Черную долину, посещает Ноан. Служанка в длинном голубом платье, в чепце из грубого холста ведет его в салон, выложенный маленькими, начищенными до блеска плитками. Он вручает владелице замка (следовательно, Жорж Санд) рекомендательное письмо.

> — Мне казалось, что я поссорилась с этим нелюдимом, — говорит она, — который вас рекомендует.
>
> — Он тоже меня уверял в этом, как и вы, — ответил Арнольд, — но он сохранил к писателю такое восторженное отношение, такую искреннюю привязанность, что он не считает себя чужим здесь.
>
> — Отсутствующие виноваты лишь в том, что они отсутствуют, — ответила молодая женщина… — А этот сумасшедший, стремившийся только к одиночеству, довольствовавшийся суждением собственной совести, — он выиграл что-нибудь от этого? Это крестьянин, но без здоровья; это анахорет, но без добродетели: он умрет на пороге славы без друзей; он, которому не приходилось дожидаться в королевской приемной… Солдат победоносной прессы 1830 года, он не имел мужества быть префектом; и он, этот литературный деятель, имевший неслыханную удачу, он, давший возможность расцвести пышным цветом барбаризмам в языке Вольтера, он никогда не попадет в академию.

Жорж Санд не прочла романа своего первого учителя, но других заставляла читать его и знала, что в этом произведении она выведена очень благожелательно. Так что когда немного позднее она основала «Ла Ревю Эндепандант», она предложила сотрудничество «господину Делатуш» (она упорно не признавала частицы «де», на которую он имел право).

> *Жорж Санд — Дюверне:* Я видела Делатуша. Он был очарователен, великолепен и вполне помирился со всеми нами, впредь до первого случая… Не будь у него столь сварливого характера, он мог бы превосходно давать и серьезный и остроумный материал в качестве редактора беррийской газеты… Но не рассердится ли он ни с того ни с сего?.. Как поступить, чтобы он не думал, что мы замышляем его гибель?..

После некоторой неуверенности, недоверия и кокетства он вернул себе почти полностью непринужденность в дружба с Санд. Но она нашла в нем озлобленного человека, скрывавшего свои раны, раздраженного политикой, нравами, стилем времени. Ей показалось, что она увидела перед собой Альцеста. Эта моральная агония продолжалась пятнадцать лет. Есть люди, которых терзает жизнь, но есть и такие, которые терзают сами себя. Несчастный Латуш принадлежал к последней категории.

Второй ментор Авроры Дюдеван, Сент-Бёв, стал всемогущим критиком. Его авторитет, признанный и узаконенный с самого начала, еще больше вырос. Он быстро покончил с мистико-социальным периодом в своей жизни и стал своим человеком в аристократическом кругу: у госпожи д’Ароувиль, госпожи де Буань, у герцога де Б., у графа Моле. Его общество любили; он знакомил женщин со всей подноготной жизни литераторов. Жорж Санд поступила необдуманно, сделав его хранителем своей переписки с Мюссе. Письма переходили из будуара в будуар «в большом конверте, на котором Сент-Бёв едва успевал стирать фамилии женщин, которым он последовательно пересылал эту переписку». Сент-Бёв не был создан для любви, но у него были кое-какие приключения. Очаровательная Ортанс Аллар упала в его объятия, а он ей дал в обмен Марка-Аврелия.

> Вот стоик с мудростью его мужской вполне
> в обмен на дар, весьма приятный мне.
> Но надо быть Аспазией или такой, как вы,
> чтоб думать о философе в вечерний час любви
> иль утром, в час свидания наедине.

В этих лафонтеновских стихах он был лучшим поэтом, чем в элегиях, посвященных им некогда Адели Гюго. В отношении к Санд он был вежлив, осторожен, держась на почтительном расстоянии. В сущности, он ее не уважал больше. Одному другу, который ему сказал: «О, как хороши письма к Мюссе; у госпожи Санд прекрасная душа», — он ответил: «Да, прекрасная душа и толстый зад». И он с наслаждением процитировал Феликса Пиа: «Она как Нельская башня; она пожирает своих любовников, но вместо того, чтобы потом бросить их в реку, она укладывает их в свои романы». Но все это говорилось по секрету. Статьи, которые он писал о ней, были по-прежнему учтивыми, даже, можно сказать, хвалебными.

О Пьере Леру, которого он сам когда-то подсунул Санд, Сент-Бёв теперь говорил: «Этот Леру, занимающийся философией, похож на буйвола, барахтающегося в болоте», а Виктор Гюго: «Если бы Пьер Леру был добр, он был бы лучшим из людей». Жорж относилась к нему иначе. Несмотря на то, что Леру со временем впал у нее в немилость, она продолжала поддерживать

его. Естественно, философ влюбился в своего последователя. Жорж утверждает, что она не отвечала на его чувства: «Некоторые полагают, что только любовь творит такие чудеса. Любовь души — согласна, так как я пальцем не коснулась гривы философа; я имею к ней такое же отношение, как к бороде турецкого султана. Я вам это говорю для того, чтобы вы хорошо поняли, что это важный акт доверия, самый важный в моей жизни, а вовсе не двусмысленное увлечение какой-нибудь дамочки своим доктором или духовником…» Леру-философ был слишком многим обязан Жорж и смог простить, что был отвергнут ею как Леру-мужчина.

> *Пьер Деру — Жорж Санд:* Как вы добры и как для меня благотворна ваша дружба! Нет ни одного слова, которое не проникло бы в самую душу; ни одной фразы, которую я не повторял бы сотни раз и не размышлял бы о ней день и ночь. Как я вам благодарен за ваше доверие! О нет, я не хочу, чтобы собаки пустились бежать по следам вашей крови. Ваша боль священна. Надо жить и побеждать. Королева, Королева, Королева!.. А я, несчастный, я ненавижу только — прощайте — в ваших письмах, хотя и целую и восхищаюсь им, так как я предпочитаю его ничему и потому обожаю. Ваша сердцем и умом, говорите вы; я предпочел бы просто ваша. Ваша — это самое неопределенное. Эти аспекты, жак я вам уже говорил, ложные; эти аспекты: чувство, ум, действие. Реально только бытие, и бытие имеет эти три аспекта, всегда ими обладает и в дружбе и в любви. Только эти три аспекта бытия различны как в дружбе, так и в любви. Итак, что же означает ваше прощайте? Увы, я знаю. Для меня лучше было бы неопределенное: ваша, может быть, ваша, едва-едва ваша, ваша в этой жизни или в другой… Я ж вам говорю всей силой моей души: «Ваш…»

Если она не было его, она сделала все, что могла для него. Она рассталась с великодушным Бюлозом ради того, чтобы создать вместе с бедняком Леру «Ла Ревю Эндепандант». Ламенне высказывался об этом содружестве с иронией.

> *Ламенне — барону де Витроль, 19 октября 1848 года:* Как уверяют, скоро появится новое обозрение, руководимое Леру и госпожой Санд. Они хотят стать конкурентами «Ревю де Дё Монд» может быть, потому, что они признают только один мир, и, по правде говоря, он немногого стоит. Но они его переделают при помощи Карлотты… и когда он будет переделан, мы будем себя чувствовать в нем, как рыба в воде. Я собирался сказать: слава богу! Но — увы! — наши друзья зачеркнули и его. Их бог — универсальная жизнь. А что это такое — универсальная жизнь? И как понять тогда выражение: слава универсальной жизни. Меня бы немного утешило, если бы по крайней мере их «Ревю» было забавным; что касается новой религии, то в этот скучный век та, которая заставит смеяться, может иметь успех. К несчастью, меня в этом отношении не успокоили…

> *25 ноября 1841 года:* Только что узнал кое-какие подробности о Леру и о «Ла Ревю Эндепандант». Он более чем когда-либо утвердился в мысли создать религию и не сомневаться в удаче. Через десять лет, говорит он, собственность будет полностью уничтожена во Франции. А так как в «Ревю» будут проводиться эти идеи и он начнет совать в журнал произведения, перепечатанные уже трижды, во всяком случае некоторые из них, и так как все прочтут среди других уже знакомых вещей, что Иисус Христос разрешил адюльтер, многие обещавшие давать в обозрение статьи уйдут, и он не замедлит, как мне сказали, остаться один с госпожой Санд. Эта же, верная своему

> пророку, проповедует коммунизм с первой же строки в своем новом романе, в котором вряд ли можно будет найти следы ее прежнего таланта. Ну можно ли портить легкомысленно столь редкое природное дарование?..

Природное дарование не было никоим образом испорчено. Госпожа Санд показала себя в великолепном романе «Консуэло» писательницей еще большей силы, чем в период «Индианы». Но Ламенне был прав, говоря о политическом влиянии на нее Пьера Леру. Заблуждение Санд еще с юности заключалось в ее мысли, что мир можно объяснить одной формулой. Леру, считавший, что он открыл эту формулу, очаровал ее. Он больше, чем Мишель из Буржа, заставлял ее размышлять. «Это единственная философия, которая ясна, как день, и проникает в сердце, как евангелие; я погрузилась в нее и преобразилась; я нашла в ней покой, силу, веру, надежду и терпеливую, неизменную любовь к человечеству…»

Через Пьера Леру она познакомилась с миром рабочих; союз ремесленников, существовавший со времен средних веков, теперь, в 1840 году, жил новой жизнью под влиянием некоторых пролетариев, осознавших свои классовые интересы; таков был Агриколь Пердигье. Люди из этого союза колесили по Франции, в каждом городе их встречала мать, которая содержала что-то вроде страннноприимного дома. Пердигье вновь ввел этот обычай, воскресил кружк и, унаследованные от корпорации и от масонской ложи; он проповедовал рабочим христианско-социалистическую философию, которая была близка философии Леру. Жорж Санд, став его другом и покровительницей, написала о нем роман: «Странствующий подмастерье», оригинальный тем, что в нем описан рабочий мир, но очень наивный своим изображением рабочих, влюбленных в богатых владелиц замка; для Жорж эта книга была своего рода оправданием того, что она родилась владелицей замка и ею оставалась.

Бюлоз, который в принципе должен был опубликовывать все рукописи Жорж, запротестовал. Читатели «Ревю» были бы шокированы. Начали говорить о коммунизме, это было новое слово для обозначения доктрины о равенстве состояний. Буржуазия боялась этих направлений. Санд попросила совета у своего философа, Леру ответил, что коммунизм бывает разный; что некоторые его формы бессмысленны; что он сам предпочитает общинность, которая вызывает в памяти идею братства, что, значит, у Санд нет причин принимать на свой счет то слово, которым Бюлоз ее так напугал; но и совсем отбрасывать это понятие тоже не надо. Главное, она не должна соглашаться, чтобы Бюлоз изменил текст ее романа. Она отобрала рукопись. Среди ее пролетарских друзей были теперь и поэты: Шарль Понси, каменщик из Тулона; Савиньен Лапуэпт, башмачник; Магю, ткач; Жилан, слесарь; Жасмен, парикмахер, и Ребуль, булочник. Они присылали ей свои стихи; она им преподавала философию Леру.

Результатом этой дружбы явился новый роман «Орас», в котором она противопоставила смелого и великодушного рабочего-ювелира Поля Арсена ленивому, эгоистичному буржуа. Орас походил на Жюля Сандо в юности, но также и на Эммашоэля Араго, иногда на Мальфиля; это был умный молодой человек, способный, больше говоривший о своей работе, чем делавший ее, и тративший для своих парижских развлечений деньги своих бедных родителей. Он бросил свою беременную любовницу, простую женщину из народа, ради виконтессы де Шайи, которая была убийственным портретом Мари Д'Агу.

> Она была ужасающе худа, и зубы у нее были, видимо, вставные, но у нее были роскошные волосы, всегда тщательно собранные и уложенные с необыкновенным вкусом; длинные сухие руки, но белоснежные; на пальцах — множество колец из всех стран мира. Она обладала известной грацией, что многим правилось. Иными словами, в ней было то, что можно назвать искусственной красотой… Она претендовала на

ученость, эрудицию, эксцентричность. Она читала всего понемногу, даже политическую и философскую литературу; и право, это было забавно, когда она повторяла невежественным людям — выдавая это за свое собственное, — то, что она прочла утром в книге или же слышала об этом накануне от какого-нибудь серьезного человека. Иными словами, в ней было то, что можно назвать искусственным умом.

Виконтесса де Шайи происходила из семьи финансистов, купившей свой титул в период регентства, но ей хотелось уверить всех в своем хорошем происхождении, и она ставила везде короны и гербы, вплоть до ручек своих вееров. С молодыми женщинами она была невыносимо надменной и не прощала своим друзьям браков по расчету. Впрочем, она хорошо относилась к молодым литераторам и артистам. С ними она без всякого стеснения разыгрывала из себя патрицианку, притворяясь перед ними, что дорожит только действительными заслугами. Иными словами, и благородство ее было искусственным, как и все остальное, как ее зубы, ее грудь и ее сердце…

И на этот раз Лист советовал Мари д'Агу, метавшейся от злости, хранить терпение и молчание. Ведь он сумел перенести «Беатрису», а она может сделать вид, что не узнает себя в «Орасе». Он добавил жестоко: «Нет сомнений, что именно ваш портрет намеревалась сделать госпожа Санд, рисуя искусственный ум, искусственную красоту, искусственное благородство госпожи де Шайи…» Это доказывает, что Санд и Бальзак были правы и что уже давно Лист не любил Беатрису.

«Орас» появился в «Ла Ревю Эндепандант». Жорж решила освободиться от Бюлоза, позволявшего себе вымарывать ее текст, и создать Леру успех. В первом номере она дала начало «Ораса» и исследование о народных поэтах; во втором — продолжение «Ораса» и статью «Ламартин — утопист». Затем она предложила «Консуэло». Поистине «она расточала свои богатства» с великолепным великодушием. Но во всем этом самым прекрасным была ее вера, что истинная ценность «Ла Ревю Эндепандант» — в проповедях Леру.

Основной темой «Ревю» было создание народом нового мира и, следовательно, новой литературы. Обозрение понравилось нескольким друзьям, среди которых были Лист и Дюверне, но подписчиков не было и не было успеха. Леру пропал на двадцать дней; оттиски не были откорректированы. Однако в глазах Жорж он не потерял своего авторитета.

Жорж Санд — Карлотте Марлиани, 14 ноября 1843 года: Недавно получила от него длинное письмо, ужасно печальное. Безденежье, в котором он оказался из-за расходов на свою машину, а также, конечно, на семейные нужды, — вот причина его страхов и тревог, это я точно знаю. Сегодня я ему отослала пятьсот франков… Я знаю, что вы в этом году стеснены в средствах, но не могли бы вы, однако, найти что-нибудь в глубине ваших ящиков?.. Нет, мы не можем дать ему погибнуть… Нельзя, чтобы его душа угасла в этой битве! Нельзя, чтобы он поддался страху, впал в отчаяние из-за недостатка в каких-то банковских билетах. Заставьте его признаться, пусть он вам откроет все свои денежные затруднения. Так как он уже получил от вас большую помощь… его робость может усугубиться. Преодолейте ее… Пишите мне о нем: я не могу допустить мысли, что этот светоч угаснет и оставит нас во тьме…

В Ла Шатре Жорж Санд также хотелось «рассеять тьму». Нужно было организовать там какую-нибудь оппозиционную газету. Со своими друзьями Плане, Дютеем, Флери, Дюверне она основала «Эклерёр де л'Эндр». Каждого патриота «обложили налогом в зависимости от дозы энтузиазма», и сам «господин де Шопен», который не разделял убеждений патриотов, должен

был волей-неволей внести пятьдесят франков в фонд газеты. Первой мыслью было печатать ее в Париже, но Леру купил типографию в Буссаке, куда он хотел переселить свою семью. Жорж доверила ему «Эклерёр». Шопен отнесся к этому скептически и насмешливо комментировал широкий жест своей хозяйки.

Глава шестая
Лукреция Флориани

В отношениях между Жорж и Шопеном никогда не было непреодолимых противоречий. Их взаимная нежность опиралась на прочную основу. Шопен любил Жорж; она испытывала к нему нежную материнскую любовь. Она восхищалась гением музыканта; он уважал великого писателя. И все-таки «любви здесь больше нет», писала Мари де Розьер, эта перезрелая девица, ученица Шопена и близкая знакомая этой четы; «любви здесь больше нет по крайней мере с одной стороны (со стороны Санд), но, конечно, есть нежность, преданность, соединенные иногда с грустью, с жалостью, с глубокой печалью…» Это было действительно так, но нежности и преданности было достаточно и хватило бы надолго, не будь третьих лиц. Жорж всегда и во всем чувствовала себя связанной и с детьми и со своими друзьями. А при своей чрезвычайной чувствительности Шопен не мог перенести дележа. Морис стал теперь мужчиной; он обожал свою мать. Постоянное присутствие Шопена ему казалось поводом для скандала, и он страдал от этого.

В 1844 году Соланж исполнилось шестнадцать лет. Воспитанная в беспорядочной обстановке, она не уважала ничего и никого. Она то издевалась над Шопеном, то кокетничала с ним, и успешно: она была единственным человеком в доме, который не относился к нему как к избалованному ребенку, и это его очаровывало. Лицом и цветом кожи Соланж походила на свою прабабушку, Аврору Саксонскую. Эта была властная красавица, натура холодная и капризная, способная на все, что угодно, единственно из духа противоречия. Немного взбалмошная, она обладала дерзостью матери, но без ее одаренности. «У тебя доброе сердце, но неистовый характер», — писала ей Санд, когда Соланж была еще ребенком. Плохой характер остался; доброе сердце проявлялось все реже и реже. Отношения между детьми и родителями так же трудны и драматичны, как отношения между любовниками. Ребенок, вырастая, становится свободным существом, и это поражает и раздражает его родителей. Очаровательная игрушка превращается в неприятеля. Такая мать, как Жорж Санд, в ответ на свою неизменную самоотверженность ожидает повиновения и благоговения. Морис давал ей это; Соланж бунтовала. Мать не терпела в дочери той самой независимости, которой сама когда-то требовала для себя. Разочаровавшись в любви друг к другу, мать и дочь могут дойти до ненависти.

На какое-то время Жорж, не выносившая больше Соланж, желая отдалить ее от себя, поручила ее воспитание Мари де Розьер. Выбор был не очень удачен. Мари де Розьер, девушку из хорошей, но бедной семьи соблазнил, а потом бросил Антуан Водзинский (брат ветреной невесты Шопена). Беспомощное состояние, в котором она очутилась, сделало ее назойливой и одержимой манией лжи, жадно интересующейся всякими сплетнями и скандалами. Ее приходилось часто призывать к порядку.

> *Жорж Санд — Мари де Розьер:* Наступает момент, когда маленькие девочки уже больше не маленькие и когда надо следить за тем, какой оборот могут принять в их уме все услышанные ими слова. Ни одного слова, даже самого незначительного, про мужской пол: вот и вся осторожность, которую я вам рекомендую…

Довольно жестко она запрещала Мари де Розьер говорить Соланж о «фигуре господина такого-то и об усах господина такого-то». Любовная неудача, говорила Санд, произвела в Мари де Розьер неприятные перемены: «Сказать вам все? В то время вы не были кокеткой, а теперь, моя кошечка, ваши глаза приняли недопустимо сладострастное выражение… Мужчины это

замечают… Если это вам безразлично, мне тоже… Но я вас отстраню на некоторое время от Соланж, пока не пройдет этот нервный кризис или пока вы не заведете себе любовника или мужа». Этого письма бедная оскорбленная девушка никогда не смогла простить Санд.

Мари де Розьер не стоило большого труда восстановить Шопена против его «хозяйки». Пьер Леру привез из Тюля в Ла Шатр для руководства газетой «Эклерёр де л’Эндр» некоего Виктора Бори, молодого человека, разделявшего политические взгляды Леру и часто бывавшего в Ноане. Шопен почувствовал смутную ревность к нему. Кроме того, бывали конфликты между его камердинером, поляком Жаном и слугами-беррийцами. Щедрый господин Шопен платил столько же своему камердинеру, сколько «Эклерёр де л’Эндр» своему директору. Одним словом, все давало повод для трений.

В 1844 году приезд в Ноан сестры Шопена, Луизы Енджеевич с мужем имел благотворное влияние на атмосферу в доме. Обе женщины сердечно привязались друг к другу. Но благотворное действие этого визита продолжалось недолго. Состояние здоровья Шопена ухудшалось. Чем дальше, тем больше он становился пасмурным, обидчивым и ревнивым. «Всех дразнит больше чем обычно, придирается из-за пустяков ко всем. Мне это смешно. Мадемуазель де Розьер из-за этого плачет. Соланж огрызается на его колкости…» Жорж Санд, как подобает писателю, нашла выход в том, что описала свои несчастья в романе. Ее враг, Мари д’Агу, расставшись с Листом, очернила его, как могла, в своем романе «Нелида». Жорж в «Лукреции Флориани» изобразила, — конечно, внеся те изменения, которых требует искусство, — ту странную чету, которую представляли собой Шопен и она сама.

Впоследствии она отрицала, что Лукреция списана с нее. Однако эта великая итальянская актриса, удалившаяся еще молодой в деревню, чтобы посвятить себя воспитанию детей, похожа на свою создательницу. Лукреция написала несколько пьес, имевших успех. У нее были многочисленные любовные похождения, которые она считает невинными, как и сама Санд. Она же не куртизанка: ведь она все давала своим любовникам, ничего не получая ни от них, ни даже от своих друзей. Она много любила, но всегда с искренним желанием общей жизни и с обманчивой надеждой на вечную верность. У нее были вспышки страсти — на неделю и даже на час, но каждый раз она была уверена, что посвятит ей всю свою жизнь. Известно, что одно такое решительное намерение вполне удовлетворяло Санд.

Итак, Лукреция, которая думает, что любовь для нее уже невозможна, встречает очаровательного юношу, кроткого, впечатлительного, изысканного во всех отношениях, настоящего ангела, «прекрасного, как грустная женщина», чистого, тонкого, с целомудренным и страстным выражением лица. Словом, это Шопен, которого в романе зовут Кароль. Принц Кароль любит женщину-химеру, несбыточную мечту, созданную им самим в своем воображении. Он скорее любезен, чем влюблен, но разве это сразу отгадаешь? Его восхитительное лицо подкупает, природная слабость делает его интересным в глазах женщин — точнее, в глазах женщин, матерински влюбленных, как Санд и эта Флориани. Но у него огромный недостаток, это нетерпимость взглядов. Он полагает, что высшая добродетель заключается в воздержании от греха, забывая, что самым возвышенным в евангелии является любовь к раскаивающемуся грешнику. Его научили, что несчастным нужно помогать; если нужно, то жалеть их, но ни в коем случае не считать их равными себе. Он допускает милостыню, но не социальные реформы. Как Шопен, принц Кароль говорит о народе снисходительно. Он не допускает, что спасение рода человеческого может осуществиться на земле. В общем в романе отразился политический конфликт между Шопеном и Санд.

Разумеется, Кароль влюбляется в Лукрецию: она за ним ухаживает, как за своим ребенком. Он ее любит и стыдливо и порывисто, что придает ему в ее глазах неотразимое очарование. Лукреция верит (как всегда верила каждый раз) в бесконечность этой неземной любви. Она

отдается принцу, и в продолжение нескольких недель они счастливы. Затем обнаруживается эгоистичный характер очаровательного Кароля. Он становится ревнивым, нетерпимым и невыносимым.

> Однажды Кароль приревновал Лукрецию к кюре, пришедшему за пожертвованием. Следующий раз он приревновал ее к нищему, которого он принял за переодетого любовника, затем к слуге; этот слуга, избалованный, как вся прислуга в доме, нахально ему отвечал, что показалось Каролю подозрительным. Потом это был разносчик, потом доктор, наконец болван кузен… Кароль ревновал даже к детям. Что я говорю — даже! Надо было бы сказать — особенно… Ведь это действительно были его единственные соперники, единственные существа, о которых Флориани заботилась столько же, сколько о нем…

Но чем больше Кароль был раздражен, тем вежливее, сдержаннее он был, и можно было судить о степени его ярости по его ледяной учтивости.

> Вот тогда он был поистине невыносим, потому что ему хотелось рассуждать, хотелось, чтобы реальная жизнь, в которой он никогда ничего не понимал, подчинилась каким-то принципам, которых он сам не мог определить. Тогда он придумывал острое словечко, злое и блестящее, чтобы мучить тех, кого он любил. Он был насмешлив, чопорен, жеманен, пресыщен всем. Казалось, что он жалит очень легко, просто для забавы, но причиненная им боль проникала до самого сердца. А если у него не хватало мужества для противоречий или насмешек, он замыкался в презрительном молчании или в тяжелом недовольстве…

Эта постоянная борьба разрушает здоровье несчастной Лукреции. Она теряет красоту; она увядает, сохнет, чахнет, она страдает оттого, что осуждена на преждевременную старость по вине любовника, который плохо к ней относится и не уважает ее. Она больше не любит Кароля: она чувствует себя надломленной. В одно прекрасное утро она неожиданно умирает.

Так кончался роман — неожиданно, неправдоподобно, как бывает и в жизни. Это был урок и предупреждение Шопену. Самое удивительное, что он не узнал себя в герое. Делакруа рассказывает, что Санд однажды вечером устроила читку «Лукреции Флори-ани» для него и для Шопена: «Я испытывал невыносимые муки во время чтения, — говорил Делакруа госпоже Жобер. — В равной степени меня удивляли палач и жертва. Госпожа Санд чувствовала себя, по-видимому, вполне непринужденно, а Шопен без конца восхищался книгой. В полночь мы вышли вместе. Шопен хотел меня проводить, и я воспользовался случаем, чтобы выпытать у него впечатления от книги. Неужели он притворялся передо мной? Ни в коем случае; он не понял и продолжал восторженно расхваливать роман…» Возможно также, что чрезвычайная благопристойность Шопена требовала от него этой кажущейся невозмутимости.

> *Ортанс Аллар — Сент-Бёву, 16 мая 1847 года:* Я вам еще не говорила, как я возмущена романом «Лукреция»… Госпожа Санд, покончив с пианистами, выдает нам о Шопене такие гнусные, мелочные подробности, преподносит их с такой холодностью, что невозможно оправдать ни ее самое, ни ее двойника — Лукрецию. Как бы громко ни выражали женщины свое негодование из-за разглашения альковных тайн, которое отдалило бы от них всех любовников, все равно этого было бы недостаточно. Можно простить исступление Нелиды, но холодное раздражение

Лукреции непростительно. Но почему такое прекрасное дарование вдохновилось такой неудачной темой?..

Ортанс была откровенной и непосредственной. Она написала Жорж все то, что уже говорила Сент-Бёву; Санд, разумеется, отрицала, что она имела в виду Шопена, когда писала образ Кароля.

> *Жорж Санд — Ортанс Аллар, 22 июня 1847 года:* На меня произвели большее впечатление ваши упреки, чем похвалы, потому что в похвалах мне видится всегда оттенок вежливости и дружеского пристрастия, тогда как в упреках я нахожу огорчение и откровенность искренней заинтересованности. Вот почему спешу вам сказать, что ваше письмо меня очень задело, я должна была прочесть его дважды, и, только обратив внимание на слово «принц», я его поняла! Черт возьми, кто вам подсказал подобное толкование? Может быть, Мари д’Агу?.. Если она хорошо знает Шопена, то должна понять, что это не он. Если же она его знает плохо, откуда в таком случае ее уверенность?
>
> Но вы, откуда вы-то знаете его так, чтобы угадать в герое романа? Скорее всего какой-то злой язык сообщил вам со злым намерением эти лживые и абсурдные сведения! А я, следовательно, Флориани? У меня, значит, было четверо детей и все эти похождения? Я не думала, что я такая богатая, моя жизнеспособность не так сильна, далеко не так. Я не настолько великая, но настолько безумная, не настолько добрая, так как если бы я была связана с принцем Каролем, то признаюсь вам, что я не убила бы себя, а бросила бы его… Что касается меня, я вполне здорова, даже не подумаю удалять от себя друга, которого восемь лет взаимной привязанности сделали для меня неоценимым. Как же это получилось, что я писала роман на его глазах, читала ему главу за главой и в ходе чтения прислушивалась к его замечаниям или отклоняла их, как это бывает обычно, когда мы работаем на глазах друг у друга, и ему в голову не пришло признать меня или себя в образе этих любовников с озера Изео?
>
> Нет, право, мы знаем друг друга хуже, чем публика знает нас. Да, эта история действительно забавна, и я бы посмеялась над ней, если бы она исходила от какого-либо другого критика, а не от вас. Но ваши упреки серьезны, и я серьезно отвечаю вам. Я совсем не знаю принца Кароля, или я его знаю в пятнадцати различных личностях, как и всех вообще героев романа, потому что ни один мужчина, ни одна женщина, ни одна жизнь в отдельности не могут дать влюбленному в свое искусство художнику такого сюжета, который мог бы быть перенесен в произведение во всей его реальности.
>
> Мне кажется, я вам уже об этом говорила, и меня удивляет, что вы, художница, обнаружили ту же наивность обывателей, которые хотят всегда видеть в романе подлинный факт и портрет какого-нибудь знакомого лица…

Это одновременно было и правдой и ложью, как всякая общая мысль.

Глава седьмая
Соланж и Огюстина

Любовь начинается с больших чувств и кончается маленькими ссорами. Совместная жизнь группы людей непременно влечет за собой конфликты. Когда брак и семейная привязанность позволяют преодолеть их, все улаживается. В свободной связи все рушится, вот почему «брак является той единственной связью, которую время укрепляет». Внешне жизнь в Ноане казалась веселой, поэтичной, талантливой. Читали, сочиняли, гуляли по полям, купались в реке, ставили живые картины и балеты, играли в шарады; Шопен аккомпанировал, импровизируя за роялем, но спокойствия в сердцах не было.

В 1845 году по приглашению Жорж Санд в Ноан приехала погостить некая Огюстина Бро, дальняя родственница (по линии птицелова) Софи-Виктории; впоследствии эта девушка, дочь рабочего-портного и женщины легкого поведения по имени Адель Бро, была «усыновлена» Жорж Санд. Стареющая Адель Бро, личность довольно гнусная, решила извлечь выгоду из молодости своей дочери, обещавшей быть на редкость красивой. Санд, защитница обиженных, вмешалась и предложила Адели компенсацию, если она отдаст ей свою дочь. И Огюстина стала подругой детей Жорж. Морис, как и следовало ожидать, хорошо отнесся к этой красивой девочке. Соланж держалась с важностью баронессы и относилась к своей кузине с высоты своей баронской короны. Образовалось два лагеря: Санд и Морис защищали Огюстину, Соланж и Шопен на нее нападали. Жорж больше любила покорную, нежную Огюстину, которую она называла «своей настоящей дочкой», чем жесткую Соланж. Она говорила о ней Морису в каждом своем письме:

> Титин неизменно красива и добра. Она старается стать настоящей сельской жительницей не только внутренне, но и внешне, если не считать того, что она еще принимает смородину за золеный горошек. Титин загорела на солнце, и ее жалят комары, но это к лучшему. Она набирает сил и здоровья, как истая крестьянка. Она всегда мила и очаровательна, и Соланж не может без нее обходиться, хотя разговаривает с ней свысока…

Лето 1846 года было очень жарким.

> *Жорж Санд — Мари де Розьер, 18 июня 1846 года:* Шопен страшно удивляется, что он потеет. Он огорчается из-за этого; он говорит, что сколько он ни моется, все равно от него дурно пахнет! Мы смеемся до слез, глядя на это эфирное создание, которое не согласно потеть, как все на свете… Я прогнала своего садовника — он меня обкрадывал. Шопен в растерянности от этого резкого поступка. Он не может постичь, что нельзя всю жизнь терпеть то, что терпишь в течение двадцати лет…

> *8 августа 1846 года:* Он очень мил в этом году, с тех пор как вернулся. Я тогда немножко разозлилась, и это вышло к лучшему, так как, набравшись храбрости, я отчитала его как следует и пригрозила, сказав, что мне это все уже порядком надоело. С этого момента он пришел в себя, а вы знаете, как он бывает мил, обаятелен, прелестен, когда не сумасшествует…

Осенью Соланж объявила, что она невеста. Она покорила соседнего помещика, Фернана де

Прео, молодого человека Знатного рода и олимпийского величия. Морис сделал его портрет, написав величественный и немного смешной бюст в античном стиле. Жорж в общем не возражала, но и не торопилась с этим делом. Соланж было всего восемнадцать лет: ее чувства (по словам ее матери) еще не пробудились: «Ей хотелось выйти замуж только для того, чтобы ей говорили мадам». Санд предпочла бы какую-нибудь страсть такой пустоте. «Молодой человек красив и необыкновенно добр, — говорила она. — Он не умен, особенно в разговоре… Что до меня, то я его люблю всем сердцем. Но этот человек не произведет впечатления в Париже. Он совершенный невежда в современной цивилизации; всю свою жизнь он провел в лесах, с лошадьми, кабанами, волками, привык им пробивать голову рукояткой хлыста… Принцесса его любит и верховодит им…»

> *Жорж Санд — Этцель (П. Ж. — Сталь):* Моя дочь, самая высокомерная из всех Эдме в романе «Мопра», позволила увлечь себя молодого человеку типа Бернара Мопра, но не такого грубого и жестокого; этот, наоборот, мягок, обходителен и ангельски добр; он деревенский житель, лесной человек, естественный, как сама природа, ходит в охотничьем костюме, красив как бог; косматый, как дикарь, благородный и великодушный, как наш друг Волчонок. На сегодняшний день у него нет ни гроша в кармане, и он легитимист. Так что все местные буржуа говорят, что мы сумасшедшие, и я уверена, что мои друзья республиканцы бросят в меня камень. Сознаюсь, что я представляла себе моего будущего зятя совсем другим — во всяком случае, не дворянином, не роялистом и не охотником на кабанов. Но жизнь полна неожиданностей, и оказалось, что этот ребенок — больший приверженец всеобщего равенства, чем мы, и что он под своей львиной гривой ласков, как ягненок. Итак, мы его любим, а он любит нас…

Другого брака Жорж желала гораздо больше, чем этого, — брака Мориса с Огюстиной. Но слабовольный Морис не решался на него. Санд клялась, что между молодыми людьми была только братская, «святая дружба», однако существует ее письмо Морису (написанное позже), в котором по поводу одного увлечения своего сына она вспоминает Огюстину:

> В первый раз, когда ты полюбил, ты не потерял рассудка. Тем лучше для тебя, так как эта особа не могла тебе принадлежать. Во второй раз ты был капризен, нерешителен, часто несправедлив, под конец отнюдь не героичен и довольно жесток. Тем хуже для тебя… Речь идет о твоей неустойчивости, о вечной смене увлечения и отвращения, а это заставляет жестоко страдать другого человека… Подумай хорошенько; нельзя повторять серьезных ошибок, нельзя принимать поспешное решение, чтобы написать мне потом из Гильери: «Мой отец не склонен к этому, и, возможно, он прав». Ты не смеешь больше вести себя, как ребенок.

По-видимому, Морис подал Огюстине большие надежды, а затем укрылся за мифом о Казимире. Прозрачный предлог для отступления. Однако Соланж, ревниво относясь к смуглой Огюстине, рассказала Шопену, не имея на это никаких доказательств, что молодая девушка была любовницей Мориса. В целомудренном Шопене это вызвало негодование. В Ноане опять воцарилась удушливая атмосфера ссор. «Нужно выработать в себе такой душевный склад, — говорила Санд, — чтобы все внешние впечатления скользили бы по душе, не оставляя следов…»

Конец осени был тягостным. Кузины следили одна за другой, ненавидели друг друга, но прогуливались, нежно обнявшись. Шопен хандрил, делая исключение только для Соланж,

которой он прощал все, потому что в «баронессе», как и в нем самом, были сильны классовые предрассудки; все остальные подвергались нападкам его холодного гнева. Он говорил о бедной Огюстине с ужасной горечью. Морис, на которого Шопен нападал за его отношения с кузиной Бро, заявил, что он хочет уйти из дому. «Этого не могло быть, не должно было быть, — пишет Санд. — Шопен не вынес моего вмешательства во все это, хотя оно было необходимо и законно. Он опустил голову и сказал, что я его разлюбила. Какое богохульство после восьми лет материнской самоотверженности! Но бедное оскорбленное сердце не сознавало своего безумия…»

В ноябре 1846 года Шопен уехал из Ноана. В тот день он был далек от мысли, что больше не вернется туда никогда! Он продолжал посылать Санд дружеские письма, часто даже веселые, но когда он писал другим, он начинал с насмешливой вольностью осуждать эту семью, гостем которой он был. Брак Соланж послужил еще одним поводом к его раздражению. Шопен одобрял помолвку Соланж с Фернаном де Прео. Этот аристократический претендент соответствовал его предрассудкам. Но когда Соланж в 1847 году приехала с матерью в Париж для того, чтобы заказать приданое, в их жизнь внезапно вторгся новый человек, «шумный, беспорядочный, бывший кирасир, а теперь скульптор, который вел себя повсюду так, как если бы он находился в кафе своего полка или в своей мастерской». Этот Огюст Клезенже в марте 1846 года написал Санд забавное письмо, полное высокого пафоса и орфографических ошибок, испрашивая разрешения «выгравировать на вечном мраморе трогательное имя Консуэло». Она ответила согласием.

> *Огюст Клезенже — Жорж Санд, 19 марта 1846 года:* Будьте счастливы, сударыня, и гордитесь той милостью, которую вы ниспослали бедному молодому человеку; он будет говорить об этом во всеуслышание, так как он надеется всегда вспоминать в своих произведениях Жорж Санд, которой он обязан тем, что он стал именно таким…

В феврале 1847 года, как только обе женщины прибыли в Париж, кирасир со своей всклокоченной бородой набросился на них с просьбой оказать ему честь и разрешить изваять их бюсты из «вечного мрамора». Он изобразил Соланж охотницей, с трепещущими ноздрями, оголенными плечами, распущенными волосами, и эти сеансы позирования так подействовали на девушку, что она накануне заключения брачного контракта расторгла свою помолвку с виконтом де Прео. «Он слишком гипсовый», — заявила Соланж и выбрала мрамор. «Я очень огорчен, и мне жаль молодого человека, — писал Шопен, — потому что он достойный молодой человек и влюблен…» Сама Санд писала: «Бедняжка, она бросила его, а он был благородным мальчиком, проявил чисто французское рыцарство…» Но ей нравился кирасир, или, как она его называла, «мраморщик». А между тем ей сообщали о Клезенже очень дурные сведения: он был неистов, груб, кругом в долгах и пил. Напрасно пыталась она разлучить Соланж со скульптором, увезя ее срочно в Ноан. Бородач появился в Ла Шатре и своим бешеным напором сумел вырвать согласие у Санд.

> *Жорж Санд — Морису:* Ну вот, это произойдет, потому что этот человек хочет этого, потому что он делает все, что он хочет, в тот же час, в ту же минуту; при этом ему не нужно ни спать, ни есть. Вот уже три дня, как он здесь, не проспал и двух часов, и чувствует себя превосходно. Это напряжение воли, не знающее ни усталости, ни слабости, поражает меня и нравится мне. Я вижу в этом верное спасение для мятущейся Соланж. Она будет слушаться его…

Несколько позже «Соланж заболела, так как впервые она безумно влюблена и, знаешь, этот Клезенже прямо пылает страстью…». В действительности же Жорж с опаской любовалась этим бандитом. Друзьям она объяснила свое быстрое согласие тем, что бешеный кирасир с согласия Соланж намечает план похищения: «Нужно, чтобы этот брак свершился стремительно, свалившись как снег на голову…» Жорж Санд — Морису, 16 апреля 1847 года: «Обо всем этом ни слова Шопену, это его не касается, когда Рубикон перейден, все если и но причиняют только зло…» Сама она старалась благосклонно отнестись к неудачному выбору, дала богатое приданое дочери, хвалила жениха: «Клезенже прославит свою жену и меня, он выгравирует свое имя на мраморе и на бронзе…»

> *Жорж Санд — Гржимале, 12 мая 1847 года:* Еще не знаю, выйдет ли моя дочь замуж здесь через неделю или в Париже через две. В любом случае я приеду в Париж в конце месяца на несколько дней и, если Шопену можно двигаться, привезу его сюда… Я все думаю, как он должен страдать, сидя в своем углу, ничего не понимая, ничего не зная и не имея возможности дать совет. Правда, с его советами в житейских делах невозможно считаться. Он ни в чем никогда не сумел разобраться, никогда не мог понять до конца человеческой сущности; он весь в поэзии, в музыке и не терпит, когда сталкивается с чем-то чуждым ему. Кроме того, его вмешательство в мои семейные дела лишило бы меня уважения и любви со стороны моих детей… Поговори с ним, постарайся в общих чертах дать ему понять, что он вообще не должен входить в их дела, пусть воздержится от этого… Это трудное и щекотливое дело, я не знаю никакого средства, чтобы успокоить, вылечить эту больную душу, которую раздражает всякое усилие, предпринимаемое для ее исцеления. Это несчастное существо терзается и морально и физически, и меня это убивает уже давно. Я вижу, что он уходит, и никогда я не могла принести ему счастья, потому что беспокойная, ревнивая и недоверчивая любовь, которую он испытывает ко мне, является основной причиной его грусти…

Так как Соланж была несовершеннолетней, необходимо было получить согласие Казимира Дюдевана. Клезенже помчался в Гильери. Исход переговоров между этой олицетворенной грозой и Казимиром Благочестивым не вызывал никаких сомнений. Наконец, надо было, но как можно позже, сообщить Шопену, который только что перенес серьезную болезнь. Все в Клезенже шокировало Шопена, вплоть до его буйных скульптур. «В будущем году, — говорил он печально, — мы увидим в Салоне маленький зад Соланж!» Шопен — своей семье, 8 июня 1847 года: «Мать обаятельна, но у нее ни на грош нет здравого смысла… Морис на стороне Клезенже потому, что он ненавидит де Прео, человека очень воспитанного и из хорошей семьи…» Свадьба состоялась 20 мая в Ноане. Казимир приехал из Гильери: он был очень учтив с «каменотесом» и с Жорж.

> *Санд — Шарлю Понси, 21 мая 1847 года:* Никогда еще не было свадьбы, которую бы сыграли с такой готовностью и так проворно. Господин Дюдеван прожил у меня три дня… Мы пригласили мэра и кюре как раз тогда, когда они меньше всего об этом думали, и мы их поженили как бы неожиданно. Итак, это кончено, и мы вздохнули…

Но кончено не было. Соланж и ее супруг после краткого свадебного путешествия возвратились в Ноан. Морис пригласил туда своего друга, Теодора Руссо, известного художника-натуралиста. Руссо влюбился в прекрасную Огюстину, и Санд приложила все усилия, чтобы он

попросил руки той, по отношению к которой она чувствовала себя в долгу.

> *Жорж Санд — Теодору Руссо, 15 мая 1847 года:* Если бы видели как зарделись ее щеки, как наполнились слезами ее глаза, когда я ей показала ваше чудесное письмо — у вас на душе стало бы так же ясно, так же светло, как и у нее. Она бросилась ко мне в объятия, говоря: «Значит, есть человек, который полюбит меня, как вы меня любите!»

Санд готова была даже обещать в случае согласия Руссо на брак дать Огюстине приданое в 100 тысяч франков из ее будущих авторских гонораров: это было больше чем великодушно. Но тут вмешалась грозная Соланж, которая ненавидела Огюстину и которой совсем не хотелось, чтобы Санд дала ей такое громадное приданое, и которая, кроме того, хотела оказать услугу своей новой семье, поскольку младший брат Клезенже тоже был влюблен в Огюстину. Соланж поручила кому-то сказать Руссо, что «кузина» любит другого и хочет выйти замуж за Руссо только из чувства досады. Встревоженный Руссо сказал Санд, что Огюстина ему, конечно, нравится, но что касается женитьбы…

> *Жорж Санд — Теодору Руссо:* Отвратительные люди! Они хотят представить меня в недостойном виде за то, что я подобрала и спасла этого ангельского ребенка; а это благороднейшее создание, отказавшее моему сыну, потому что он любил ее не так, как хотелось ей, в силу ее законной гордости, представить как интриганку, способную, сговорившись со мной, обмануть честного человека! Ее, которая могла бы завтра же стать женой Мориса, если бы она сказала, отчего она мучается…

Жалкая интрига. Жорж должна была хитрить с Морисом, в котором при мысли, что Огюстина готова выйти замуж, пробудилась его колеблющаяся любовь; Жорж пыталась вернуть Руссо, удивленного этой «брачной политикой со стороны той, которая слыла большой противницей брака». Что же он думал? Что она хотела сделать свою «приемную дочь» любовницей близкого друга? «Если вы считаете, что я принципиальная противница брака, значит, вы никогда не прочли ни одной моей книги…» Может быть, он услышал какую-нибудь мерзкую клевету? «Я задавала себе вопрос, а вдруг вы похожи на Ламенне, с которым невозможно общаться, потому что у него галлюцинации чувств…» Расстроенный полученным анонимным письмом, обескураженный сообщениями Соланж, Руссо исчез с горизонта. Огюстина спокойна, «как розы после дождя», но между Санд и супругами Клезенже произошло бурное объяснение.

Но особенную неприязнь вызывала у Санд Соланж, «властная, упорная, холодная, циничная душа, не знающая ни жалости, ни угрызений совести».

> *Жорж Санд — Шарлю Понси, 21 августа 1847 года:* Едва выйдя замуж, она сбросила маску и открыто презирает все и всех. Она восстановила своего мужа (а он человек пылкий и слабовольный) против меня, против Мориса и, конечно, против Огюстины. Она ее смертельно ненавидит, а та виновата лишь в том, что слишком добра и слишком предана Соланж. Это Соланж расстроила замужество бедной девочки, мгновенно довела до безумия Руссо, передав ому ужасную клевету относительно Мориса и Огюстины… Она пытается поссорить меня с друзьями… Она выставляет себя жертвой, говорит, что я несправедливо предпочитаю ей Мориса и Огюстину! Она обливает грязью гнездо, из которого вылетела, заявляя, что в нем творятся гнусные вещи. Она не щадит даже меня, меня, которая ведет жизнь

монахини…

Сцены, которые происходили потом, «немыслимы… У нас здесь чуть не перерезали друг другу горло». Скульптор замахнулся молотком на Мориса. Жорж Санд ударила его кулаком, защищая сына от зятя. Соланж подзадоривала дерущихся. «Вот как мы живем. В красивую женщину черт вселился». Рассуждение Соланж: «Кто не палач, тот жертва».

Санд — Мари де Розьер: Эта дьявольская парочка по уши в долгах; бесстыдно ликуя и произведя в нашей местности такой скандал, от которого им уже никогда не оправиться, они вчера вечером уехали. В своем собственном доме в течение трех дней я была под угрозой убийства. Не желаю их больше видеть, никогда не позволю им войти в мой дом. Они переполнили чашу терпения. Боже! В чем я провинилась, что заслужила такую дочь…

Глава восьмая
Разлука

Соланж знала свою власть над Шопеном. Вместе с Мари де Розьер, у которой тоже были поводы для злобы, она начала «настраивать» Шопена против Санд. Она объяснила ему семейные раздоры не бешеным характером скульптора, а тем, что Жорж — как она намекнула, любовница молодого Виктора Бори, а может быть, также и художника Эжена Ламбера, товарища Мориса по мастерской — не хотела иметь в доме свидетелей. Соланж обвиняла брата в том, что Виктор Бори нужен Морису в Ноане как ширма для того, чтобы скрыть свою связь с Огюстиной. Шопен с готовностью всему поверил. Он доверчиво выслушал обвинительницу, не представившую, однако, ни одного доказательства, и перестал отвечать на письма Санд, заботливо приглашавшей его приехать в Ноан.

> *Жорж Санд — Мари де Розьер, 25 июля 1847 года:* Я беспокоюсь, я боюсь. Не получаю известий от Шопена в течение многих дней… Он собирался приехать, и вдруг не едет и не пишет… Я бы выехала, если бы не страх разминуться с ним и ужас при мысли, что в Париже я могу подвергнуться ненависти той, кого вы считаете такой доброй… Иногда я стараюсь себя успокоить тем, что Шопен любит ее больше, чем меня, сердится на меня и стоит на ее стороне.
>
> Наконец с утренней почтой приходит письмо от Шопена! Как всегда, мое глупое сердце обмануло меня; шесть ночей я пролежала без сна, тревожась о его здоровье, а он в это время дурно говорил обо мне с четой Клезенже, дурно думал обо мне. Это замечательно. Его письмо просто комично своим важным тоном, и проповеди этого почтенного отца семейства послужат мне хорошим уроком… Теперь я о многом догадываюсь и знаю, как моя дочь способна использовать предубеждение и легковерие человека… Но теперь я все поняла! И буду вести себя теперь соответственно; не дам себя больше на растерзание неблагодарным и извращенным людям…

> *Жорж Санд — Фридерику Шопену:* Вчера потребовала почтовых лошадей и думала поехать в кабриолете, хотя погода ужасная и я очень больна; я думала поехать на один день в Париж, чтобы узнать о вас, до такой степени я беспокоилась о вашем здоровье. А вы в это же время раздумывали, как мне ответить, и ответили очень спокойно. Хорошо, мой друг. Делайте все, что диктует теперь ваше сердце, и примите ваш инстинкт за голос вашей совести. Я все прекрасно понимаю.
>
> А дочь моя… ей бы не подобало говорить, что она нуждается в материнской любви; она ненавидит свою мать, клевещет на нее, чернит ее самые святые побуждения, оскверняет ужасными речами родной дом! Вам нравится слушать все это и даже, может быть, верить этому. Я не буду вступать в подобную борьбу, меня это приводит в ужас. Я предпочитаю видеть вас во враждебном лагере, чем защищаться от противницы, которая вскормлена моей грудью и моим молоком.
>
> Заботьтесь о ней, раз вы считаете долгом посвятить себя ей. Я не буду сердиться на вас, но вы должны понять, что я устраняюсь, чувствуя себя оскорбленной матерью… Довольно быть обманутой, довольно быть жертвой! Я прощаю вас и отныне не пошлю вам ни одного упрека, поскольку ваша исповедь искренна. Она меня немного удивляет, но если при таком положении дела вы себя чувствуете свободнее и непринужденнее, то я не буду страдать от этого фантастического изменения ваших

взглядов.

Прощайте, мой друг. Скорее поправляйтесь от всех ваших болезней, я надеюсь на это теперь (у меня есть основания для этого), и я буду благодарить бога за эту необычайную развязку девяти лет исключительной дружбы. Давайте иногда знать о себе. Возвращаться ко всему остальному бесполезно.

Нет ничего печальнее и глупее, чем ссора между двумя людьми, любившими друг друга. Чаще всего, в сущности, не происходит ничего важного. Слова, никогда не произнесенные или произнесенные необдуманно, в момент отчаяния, передаются третьими лицами по злобе или из угодливости. От обиды или из гордости оклеветанный отказывается дать объяснение. Затянувшееся молчание кончается тем, что люди умирают друг для друга. Так разбивается любовь. Чем чувство было сильнее, тем скорее из разочарования рождается ненависть. Сколько друзей в момент разрыва сжигают все, что они боготворили, и заходят слишком далеко в своей суровости, так же как раньше они не знали меры в своих похвалах! Жорж Санд была слишком великодушна, чтобы пойти по дороге ненависти, но чувствовала, что нервы ее на пределе. Отныне она хотела знать о Шопене только одно — как он себя чувствует.

Жорж Санд — Карлотте Марлиани, 2 ноября 1847 года: Шопен открыто стал на ее (Соланж) сторону против меня, ничего не узнавая об истинном положении вещей; это доказывает большую неблагодарность по отношению ко мне и необъяснимую привязанность к ней. Не подавайте виду, что об этом знаете. Я предполагаю, что ей удалось до такой степени «обойти» его только благодаря его ревнивой и подозрительной натуре и что это она и ее муж пустили нелепую клевету о моей якобы любви или исключительной дружбе с тем молодым человеком, о котором вам говорят (Виктор Бори). Иначе я не могу объяснить эту настолько дурацкую историю, что никто в мире никогда бы и подумать не мог о ней! Я даже не хочу знать ничего об этой мелкой гнусности…

Уверяю вас, что я не сержусь на то, что по его (Шопена) желанию я больше не буду руководить его жизнью, за которую его друзья, да и сам он, хотели сделать меня даже чрезмерно ответственной. Его характер озлоблялся день ото дня; он дошел до того, что в присутствии моих друзей и детей устраивал мне сцены ревности, вымещая на мне свое дурное настроение и свою раздражительность. Соланж с присущей ей хитростью воспользовалась этим; Мориса это возмутило. Зная и видя целомудрие наших отношений, Морис все же не мог не заметить, что этот достойный жалости, больной человек, не желая может быть, но не в силах удержаться от этого, выступал в роли любовника, мужа, хозяина моих мыслей и моих действий. Морис готов был вспылить и сказать ему прямо, что он заставляет меня, в сорок три года, играть смешную роль и злоупотребляет моей добротой… Видя, что надвигается гроза, и воспользовавшись тем, что Шопен оказывает предпочтение Соланж, я предоставила ему дуться сколько угодно, не делая попыток вернуть его.

Вот уже три месяца, как мы не обменялась ни одним словом; не знаю, чем кончится это охлаждение. Я лично ничего ни сделаю как для ухудшения отношений, так и для примирения, ибо я не чувствую за собой никакой вины и ничуть не обижена на тех, кто виноват. Но я больше не могу, я не должна, я не хочу вновь попасть под это скрытое насилие человека, желавшего своими бесконечными и зачастую очень глубокими булавочными уколами лишить меня всего, даже права дышать… Бедный ребенок не сумел даже сохранить внешние приличия, рабом которых, однако, он был в

своих принципах и в своих привычках. Мужчины, женщины, старики, дети — все вызывало в нем ужас и бешеную, бессмысленную ревность… Он устраивал сцены, не стесняясь присутствия детей, слуг, людей, которые, видя это, могли бы потерять всякое уважение, на которое мне дает право мой возраст и мое поведение в течение десяти лет. Я не могла больше этого выносить. Я уверена, что его окружение будет судить об этом иначе. Его сделают жертвой и не найдут ничего лучшего, как предположить, что я прогнала его, чтобы взять любовника…

> *Жорж Санд — Мари де Розьер, 22 ноября 1847 года:* …Я вас очень прошу сказать Шопену, чтобы он предупредил господина Плейель, что рояль увезен отсюда четыре дня тому назад. Соланж мне сказала от имени Шопена, что Плейель и не думал давать его напрокат, что это исключительный инструмент, но что я могу его оставить себе и что Шопен «взял это на себя». Я совсем не хочу, чтобы Шопен оплачивал мой рояль. Мне не нравится быть обязанной тем, кто меня ненавидит, а признания, которые делает Шопен своим друзьям — их выдали, как всякие признания, — мне доказывают, как он относится теперь ко мне… Моя дорогая, я очень хорошо знаю, почему произошел этот полный переворот в его мыслях и в его поведении. Мои глаза открылись немного поздно, но все-таки открылись, и я его прощаю от всего сердца. Я вижу, что он больше не владеет собой, и то, что у другого было бы преступлением, у него является лишь заблуждением. Я всегда предвидела, что его дружба ко мне перейдет в отвращение, так как он ничего не делает наполовину. Сейчас я успокоилась, и все прошлое мне стало ясным. Я хочу только одного, чтобы он не оказывал мне услуг…

Затем наступило молчание. Жорж больше не пыталась положить конец этому охлаждению. О последней встрече, трагической в своей простоте, рассказал Шопен в письме к Соланж 5 марта 1848 года:

> Вчера я был у госпожи Марлиани и, выходя, столкнулся в дверях передней с вашей матерью. Она была с Ламбером. Я поздоровался и сразу же спросил, давно ли она получила от вас письмо. «Неделю тому назад», — ответила мне она. «А вчера не было письма? Позавчера?» — «Нет». — «В таком случае могу сказать, что вы стали бабушкой. У Соланж родилась дочка, и я рад, что первый могу сообщить вам эту новость». Я попрощался и стал спускаться по лестнице. Меня сопровождал Комб, абиссинец. Так как я забыл сказать, что вы чувствуете себя хорошо, — важнейшая вещь, особенно для матери (теперь вы это легко поймете, мама Соланж), я попросил Комба подняться — ведь мне самому было трудно опять карабкаться по лестнице — и сказать, что вы чувствуете себя хорошо, ребенок тоже. Я дожидался абиссинца внизу, ваша мать сошла вместе с ним и с большим интересом задавала мне вопросы о вашем здоровье. Я ответил ей, что вы мне написали сами карандашом два слова на следующий день после рождения ребенка, что вы сильно мучились, но вид вашей дочки заставил вас обо всем забыть. Она спросила меня, как я себя чувствую; я ответил, что хорошо, и попросил, чтобы привратник открыл мне дверь. Мы распрощались, и я вышел на Орлеанский сквер пешком, в сопровождении абиссинца…

Сама Санд тоже рассказала об этой сцене: «Я думала, что несколько месяцев разлуки излечат рану и вернут дружбе спокойствие, а воспоминаниям справедливость… Я его увидела

вновь, на одно мгновение, в марте 1848 года; я пожала его холодную дрожащую руку. Я хотела говорить с ним — он скрылся. Теперь я могла бы сказать ему, в свою очередь, что он разлюбил меня. Я избавила его от этого страдания и положилась во всем на провидение и на будущее. Я не должна была встречаться с ним. Между нами стояли злые люди. Были также и добрые, но они не сумели взяться за это. Были и ничтожные — они предпочли не вмешиваться в такое щекотливое дело…»

Такова жизнь. Два человека дороги друг другу, дороже всего на свете, но есть огромная доля привычки в этом ежедневном общении. Пересадите их, разъедините — и вот они уже пускают корни на новой почве. Не решишься говорить пустяки тому, кому было сказано все, — и тогда возникает молчание. С какой болью в душе представляешь себе, как Санд и Шопен сходят с лестницы на улице Вилль л'Эвек и удаляются в разные стороны, ни разу не обернувшись друг на друга.

Часть седьмая
Восстание ангелов

Человечество склонилось перед великим младенцем-Прогрессом.

Артюр Рембо

Что женщина отличается от мужчины, что сердце и ум имеют пол, — в этом я не сомневаюсь… Но разве это различие, необходимое для общей гармонии, обозначает нравственное превосходство мужчины?

Жорж Санд



Глава первая
Политика в жизни Жорж Санд

У женщин нет никаких нравственных устоев, — сказал Ла Брюейр, — они зависят в своих нравах от тех, кого любят». Многие биографы пытались применить это изречение к политической жизни Жорж Санд. «У нее не было собственной теории, — говорили они, — в своих убеждениях она зависела от мужчины, которого любила». Это неверно. У нее были политические взгляды до того, как она стала любить. Аристократ Шопен и скептик Мюссе не сделали из нее ни аристократки, ни скептика. Она заимствовала идеи у Мишеля из Буржа, у Ламенне, у Пьера Леру, «но эти идеи были у нее уже раньше». Точнее, она вносила в политику свой темперамент влюбленной. В ней она была отчаянной, неосторожной, страстной, неистовой, с прекрасными порывами милосердия и с глубоко затаенным здравым смыслом. Вместе с госпожой де Сталь она — одна из тех редких женщин, которые играли роль в истории Франции XIX века. Это требует разъяснения и исследования.

Мы уже говорили, что она начала заниматься политикой раньше, чем любовью. Это было явно уже в детстве; потому, что она происходила по материнской линии из народа и любила напоминать об этом («Я принадлежу к народу как по крови, так и по сердцу… Я не самозванка в народе»); потому, что она долго была связана задушевной дружбой с крестьянскими детьми; потому, что ее первым сильным чувством была отчаянная, дикая любовь к матери, по ее мнению всеми несправедливо обиженной; потому, что мать научила ее остерегаться богатых и у нее была безотчетная симпатия к бунтовщикам; потому, что, возмущенная испорченностью господствовавшего тогда класса и вместе с тем причастная к этой испорченности, она возлагала все свои надежды на добродетели, присущие народу.

Итак, пункт первый: Жорж Санд по своему инстинкту была демократкой. Или по крайней мере верила в это. Мы увидим немного позднее, что о демократии у нее было довольно смутное представление. «Я из породы поэтов, а не законодателей, когда надо — воительница, но ни в коем случае не сторонница парламентаризма». Это довольно серьезное признание и объяснит впоследствии ее разочарования. Вместе со своими друзьями из Ла Шатра она всегда защищала республиканцев и бонапартистов от монархистов. В ее глазах каждый король, даже если он называл себя гражданином, был тиран. Когда Морис учился в одном классе с герцогом де Монпансье, она запретила сыну принимать приглашения молодого аристократа. И в данном случае это опять же был скорее инстинкт, чем убеждение. Она была республиканкой, но, как Жером Патюро, в поисках лучшей из республик.

Пункт второй: она была по происхождению, по воспитанию и по убеждению евангелической христианкой. Она считала, что христианство или должно быть всенародным, великодушным, социальным, или вовсе не быть. Никакой морали эпикурейцев, никакой морали высшего общества. Здесь чувствовался Ламенне.

Пункт третий: в 40 лет она все еще последовательница Руссо и поклонница мистицизма. В результате жизненных опытов, доказавших ей, что сердце плохой советчик, она стремится отойти от мистицизма, порожденного страстью. Несмотря на разочарование, она упорно считает, что прямое общение с богом — это наилучший способ познания; она утверждает, что эти узы существуют, но не между личностью и богом, а между богом и душой народа. Она, как Руссо, верит в естественную доброту людей; она не признает догмата первородного греха. Этим она совершенно отлична от Бальзака, который желает твердой власти, потому что страшится природных свойств человека. До 1848 года Санд будет верить в народ при условии, что ему привьют «настоящую» религиозную и социальную философию.

Наконец, пункт четвертый: когда она проповедует такие убеждения, она искренна и бескорыстна. Она лишена личного тщеславия. Феминистка ли она? Нет, если понимать это слово в том смысле, какой оно приобрело с конца XIX века. Жорж Санд никогда не требовала и не желала для женщины политического равенства. Она считала общественные обязанности несовместимыми с долгом, налагаемым материнством. «Воспитание женщин, — говорила она, — будет таким же, как у мужчин, но женское сердце останется убежищем любви, самоотверженности, терпения и милосердия. В жизни, полной грубых чувств, именно она должна спасать христианский дух милосердия. Мир, в котором женщина не играла бы этой роли, был бы очень жалким».

Она требовала для женщин гражданского равенства и равенства чувств, но не права голоса и выборов. Она думала, что рабство, в котором мужчина держит женщину, неизбежно разрушает счастье в браке, — оно возможно лишь при полной свободе. Женщины ничего бы не требовали, если бы они были любимы, как им этого хочется: «Но с ними обходятся дурно; их упрекают в идиотизме, до которого их доводят; презирают их невежество: высмеивают их знания. В любви с ними обращаются как с куртизанками; в супружеском союзе — как со служанками. Их не любят, ими пользуются, их эксплуатируют и надеются таким образом подчинить их закону верности».

Вот ее главная жалоба: этот крик, прозвучавший в дни ее молодости, пройдет через все ее творчество. Во имя какой справедливости — человеческой или божественной — можно требовать от женщины верности, которую мужчина считает ненужной и смешной, когда речь идет о нем самом? Почему женщина должна быть целомудренной, если мужчина ловелас, грубиян и распутник? «В нашем обществе, при наших предрассудках и наших нравах, чем больше мужчина известен своими любовными похождениями, тем приветливее его встречают. Особенно в провинции того, кто много пил и распутничал, называют компанейским человеком, и этим все сказано… Не таково положение женщины, обвиненной в адюльтере… Женщина должна быть всегда честна. Если она неверна мужу, то она заклеймена и унижена; она обесчещена в глазах своих детей; она подлежит позорящему наказанию, тюрьме». Санд хочет вернуть женщине гражданские права утерянные ею в браке, и отменить закон, наказывающий чудовищным образом адюльтер женщины, «дикий закон, изданный для того, чтобы упрочивать и умножать адюльтеры».

Она видит только одно средство избавиться от несправедливостей, нарушающих брак, — это свободу (тогда еще не существовавшую) расторгнуть и видоизменить супружеский союз: «Когда человеческое существо, будь то мужчина или женщина, возвышается до понимания совершенной любви, ему больше невозможно и, скажем лучше, ему больше не позволено возвращаться к прошлому, то есть к чисто животным отношениям». Физическая близость, если она не сопровождается большим чувством, ей кажется преступной и кощунственной, будь это даже в браке. Женщина должна иметь право уклониться от этого: «Я считаю смертным грехом не только обман чувств в любовных делах, но также и заблуждение, будто чувства при неполноценных любовных отношениях могли бы появиться впоследствии. Я повторяю: по-моему, или нужно любить всем своим существом, или жить в полном целомудрии». В ее глазах ошибка, грех не в том, чтобы переменить любовника и уйти к тому, кого любишь, а в том, чтобы отдаваться нелюбимому человеку, будь это даже муж.

Таков предел ее феминизма, и очевидно, что он не вовлекает женщину в политическую воинствующую деятельность.

Глава вторая
Владелица замка и социалистка

Но всякое умонастроение формируется или меняется под влиянием идей своего времени, в зависимости от того, следует ли оно по течению или оказывает ему сопротивление. Основной характер периода 1830–1848 годов — это призыв к социальной революции, идущей на смену политической революции 1789 года. В 1830 году буржуазия завершила захват власти. Режим золотой середины был триумфом господ Попино, Камюзо и Кардо. Но проницательным умам уже стало ясно, что религиозная революция XVIII века должна повлечь за собою пролетарскую революцию. Почему рабочие массы, не верящие больше в загробную жизнь, будут мириться с нищетой в этой жизни? Почему какой-то Бальзак думает, что только восстановление католицизма, как духовной власти, спасет общество от анархии; и наоборот, такой реформатор, как Сен-Симон, стремится установить на развалинах католицизма власть духа, который направит завоевания промышленности, науки и искусства к высшей цели: «Как можно скорее улучшить судьбу самого многочисленного и самого бедного класса».

Хотя их системы имели будущее, в то время еще не предвиденное, Сен-Симон и его последователи в глазах своих современников потерпели поражение. Этот век, «обильный преждевременными теориями», осмеял реформаторов и предался культу денег. Осмеянные, посрамленные, Сен-Симон и Фурье умерли в одиночестве. Они не оказали глубокого влияния на Санд. Мишель из Буржа пытался сделать ее борцом; это ему не удалось. Тем не менее он познакомил ее со смелыми теориями о собственности и ввел в прогрессивные группы. Ламене, хотя его собственные убеждения были неясны, приблизил Жорж к христианскому социализму. Но настоящим ее наставником был Леру.

Леру дал ей новую религию. Он считал себя пророком и хотел христианское милосердие заменить человеческой солидарностью. Санд, которая, по словам Сент-Бёва, прислушивалась к словам людей, во многих отношениях стоящих ниже ее, «переняла от Леру идею о совершенствовании человека (золотой век еще придет); идею о бессмертии не личности, а рода; идею о коллективной собственности. Только общество могло распределять блага соответственно работе. Собственность не считалась воровством (такая постановка вопроса уменьшала угрызения совести владелицы Ноана), но и тем более не была правом, и лишь коллектив мог изменить ее распределение. Леру утвердил Санд в социализме менее грубом, чем социализм Мишеля, но более стойком и более искреннем. В 1843 году Сент-Бёв называл Беранже, Ламенне, Санд и Сю «четырьмя великими социалистическими и филантропическими силами нашего века».

Как же у нее выражался этот социализм? Сентиментально — поддержкой, которую она оказывала пролетарским поэтам: ткачу Магю, булочнику Ребулю, парикмахеру Жасмену и главным образом Шарлю Понси, каменщику из Тулона, которому она писала: «Дитя мое, вы великий поэт, самый вдохновенный, самый одаренный среди всех прекрасных пролетарских поэтов… Вы можете стать самым великим поэтом Франции…» И также:

> *23 июня 1848 года:* Страдающее человечество — это не мы, литераторы; это не я, не знавшая (возможно, к несчастью для меня) ни голода, ни нищеты; это даже и не вы, мой дорогой поэт, который найдет в своей славе и в признании своих братьев высокую награду за свои личные горести; это народ, невежественный, обездоленный народ, полный необузданных страстей; его то подстрекают на что-нибудь дурное, то отталкивают назад, не обращая внимания на ту силу, которую бог все же не зря дал

ему…

Она добавляла: «Гюго это иногда понимал; но его душе недостает нравственного начала, чтобы он мог это прочувствовать до конца и именно тогда, когда нужно. Его сердцу не хватает пыла, и поэтому его музе — вкуса». Музе Понси не хватало гениальности и дажа таланта, но Санд обратила его в своего верного друга, во временного наперсника и в конце концов в процветающего буржуа: благодаря известности, которую она ему создала, он сделался секретарем торговой палаты в Тулоне.

Социализм Санд проявлялся также в ее произведениях, потому что она брала «сюжетом для своих новых романов пролетария городов и деревень, его работу, его нищету и противопоставляла его добродетели — эгоизму знатных богачей». Народ — хранитель божественного вдохновения; это он обладает той природной добротой, которую Руссо приписывает личности. В романе «Странствующий подмастерье» красавец столяр Пьер Югенен «из того же божественного материала», что и плотник Иисус. Когда он говорит о будущем строе, старый скептик граф де Вильпрё, у которого он работает, благосклонно отвечает ему: «Мечтайте, выдумывайте системы. Создавайте их сколько хотите и верьте в них как можно дольше!» Но Югенен презирает эту тень человека и общества. В романе «Мельник из Анжибо» Санд описывает обольстительного здорового мельника, Большого Луи, как святого, а про аристократку Марсель де Бланшмон сообщает, что та радуется потере своего богатства. Своему сыну Марсель говорит: «Понял ли ты, что ты брошен (из-за разорения) в стадо овец — по правую сторону Христа, и отделен от козлов, стоящих по его левую сторону!» И богу: «Боже, дай мне ту силу и мудрость, которые необходимы для того, чтобы сделать из этого ребенка настоящего человека. Чтобы сделать из него патриция, мне ничего не надо делать!» К этому времени (1840–1848) Санд также охотно считала себя коммунисткой, как и социалисткой. И правда, она не упорствует в этом и хотела бы понять более точно, что скрывается за этими двумя словами.

> *Сент-Бёв — госпоже Юсте Оливье, 3 августа 1840 года:* Госпожа Санд идет к коммунизму, к проповеди рабочим; опасаюсь, что ее следующий роман будет на эту тему. Она ведет себя глупо. И чтобы остаться с ней в хороших отношениях, я с ней не встречаюсь…

Пьер Леру некогда объявил, что он предпочитал общинность коммунизму, так как в первом случае речь шла не только о разделе благ, но и о «братском союзе душ». Но в 1848 году Жорж Санд опередила Леру; она хотела, чтобы социализм перешел к действиям, в то время как ее философ находил удовольствие только в системах.

> *Жорж Санд — Бокажу:* Подобно тому как в 50-м году нашей эры были христиане, сейчас я коммунистка. Для меня это идеал прогрессивного общества, религия, которая будет жить через несколько веков. Я не связываю себя ни с одной из современных формул коммунизма, так как все они носят довольно диктаторский характер и уверенность, что могут утвердиться без содействия нравов, навыков и убеждений. Никакая религия не утверждается силой…

Такой коммунизм выглядит скорее идиллическим, чем действенным, и было замечено, что романы, где Санд выражает свои мысли, появились в консервативных газетах: «Ле Конститюсионель», «Л’Эпок». Что же касается ее личного положения богатой женщины, то оно

ее не смущало: «У меня ненависть к земельной собственности. Единственно, к чему я привязана, это к дому и саду. Поле, долина, вересковая пустошь — все, что плоско, нагоняет на меня смертельную скуку, особенно когда это плоское принадлежит мне, когда я говорю себе, что это все мое, что я вынуждена его иметь, его хранить, огораживать колючками и выгонять стадо бедняка под страхом оказаться нищей, в свою очередь, что при известных обстоятельствах неизбежно повлечет за собой потерю чести и долга». Так находчиво толковалось ее желание сохранить Ноан и жить в нем с братской простотой.

В Беррийской провинции владелица замка госпожа Санд вместе с прогрессивной оппозицией с 1840 года проводила кампанию против Луи-Филиппа. В 1843 году она великодушно участвовала, как уже известно, в расходах по основанию «Эклерёр де л'Эндр. Политика «Эклерёр» была приблизительно такой, как у парижской газеты «Ла Реформ», где царил Ледрю-Роллен, остроумный адвокат, с величественной осанкой, любезной улыбкой, но лентяи, умеющий приспособляться к обстоятельствам, женившийся по расчету и бегавший за женщинами. Ближе к Санд был Луи Блан, социалист с коммунистическим уклоном, который не говорил: «Каждому по его труду», а говорил: «Каждому по его потребностям». Она с ним переписывалась, но, прежде чем примкнуть к его движению, задала ему «по-беррийски» несколько вопросов, «очень глупых» и очень прямых. При встрече ей очень понравился этот человек маленького роста, похожий на мальчика, смеющийся и жестикулирующий, блестяще смелый и умный. Она даже задумала женить его на «Красотке» — прозвище, данное Соланж Полиной Виардо. В романе «Ле Пиччинино» она сделала его портрет: «Громадное честолюбие в маленьком теле, вкрадчивый и мягкий голос, железная воля».

Но было бы ошибкой представить себе Жорж Санд в эти сороковые годы всецело занятой подготовкой революции. Она вела свою спокойную ноанскую жизнь.

> *Жорж Санд — Шарлю Понси:* До зимы буду в Ноане, как все годы, как всегда, так как отныне я веду жизнь размеренную, как нотная бумага. Я написала два или три романа, один из них должен появиться… Мой сын по-прежнему худ и слаб, но вообще здоров. Он самое лучшее существо на свете, самое неясное, самое ровное, самое трудолюбивое, самое простое и самое прямое, какое только может быть. Наши характеры, как и наши сердца, так хорошо уживаются, что мы не можем ни одного дня прожить друг без друга. Ему пошел 23-й год, а мне — 42-й…
>
> Мы привыкли к веселью, не слишком шумному, но в общем постоянному, что сближает наши годы; после хорошей недельной работы мы устраиваем себе большую перемену — отправляемся есть лепешки на траве, невдалеке от дома, в лесу или у каких-нибудь развалин, с моим братом, деревенским жителем, остроумным и добрым, который всегда обедает с нами, поскольку живет в четверти лье от нас. Вот так мы и развлекаемся! Морис рисует окрестности; брат дремлет на траве. Лошади пасутся на свободе… собаки носятся вокруг, а здоровенная лошадь, которая возит всю семью в чем-то вроде тачки, подходит и ест с наших тарелок…

Романы, которые она в то время писала, не все были социальны. «Вы, конечно, полагали, что я пью кровь из черепов аристократов. Ну нет! Я изучаю Вергилия и учу латынь…» Чтение Вергилия побудило ее написать «Георгики» своей провинции. В детстве она с наслаждением слушала сказки, которые мяльщик конопли рассказывал по вечерам детям. Ей хотелось достигнуть безыскусственной простоты народного рассказчика, сохранив его яркий и непосредственный тон, но несколько изменив язык, чтобы ее произведение было понятно парижским читателям. Результатом этой попытки были две приятные идиллии: «Чертово

болото» и «Франсуа де Шампи», два симметричных романа: в первом — богатый фермер женится на бедной девушке, во втором Шампи (что означает незаконнорожденный ребенок, брошенный в поле) внушает к себе любовь приютившей его зажиточной женщине. В этих трогательных, чистых пасторалях есть вся прелесть произведения искусства древности. При чтении их вспоминаются не только Вергилий, но и Феокрит, а иногда и «Одиссея». Избавившись от исследований различных теорий, увлекшись поэтичностью своей любимой провинции, Санд создала два шедевра. В 1843 году один издатель сказал Бальзаку: «Нигде больше не хотят читать Жорж Санд. «Странствующий подмастерье» убил ее, несмотря на то, что известные авторы пользуются привилегией написать двадцать скверных книг». А через год Бальзак сказал госпоже Ганской о романе «Жанна»: «Прочитайте его, это удивительно!.. Пейзаж написан рукой мастера…»

В 1847 году Санд больше была взволнована своими личными горестями — разрывом с Шопеном, драмой Клезенже — Соланж, чем политикой. «От горя я заболела душой и телом. Наверно, это горе неизлечимо, потому что стоит мне отвлечься от него на некоторое время, как оно делается еще сильнее, еще больше — хватает за душу и тревожит меня в последующие часы…» Но тем не менее ей удавалось работать, казаться, а иногда даже и быть веселой.

Жорж, наконец, нашла мужа для своей любимицы Титин. Это был некий Кароль де Бертольди, 36 лет, поляк в изгнании, учитель рисования в Тюлле, зарабатывавший 3 тысячи франков в год. Нашел его там Виктор Бори; пригласила его к себе Санд, а Огюстина сумела ему понравиться. Осталось только позаботиться о будущем молодых людей, не имеющих никакого состояния. Санд дала невесте в приданое 30 тысяч франков; затем она добилась для жениха (заставив Дюверне за него поручиться) должности сборщика налогов в Рибераке. Чтобы привести в равновесие свой собственный бюджет, обремененный долгами из-за ее щедрости и безрассудства Клезенже, она работала над десятитомной «Историей моей жизни».

> *Жорж Санд — Шарлю Понси, 14 декабря 1847 года:* Это ряд воспоминаний, размышлений, объединенных общей идеей, — произведение, которому я хочу придать черты некоторой поэтичности и большой простоты. Но я, конечно, не собираюсь раскрывать всю мою жизнь. Мне не по душе высокомерие и цинизм исповеди, и я не считаю нужным посвящать в тайны сердца людей, которые хуже нас и, следовательно, готовы извлечь из этого скорее плохой урок, чем хороший. К тому же мы настолько связаны в жизни со всеми окружающими, что нельзя было бы оправдаться в чем-либо, не обвинив при этом кого-нибудь, иногда даже нашего лучшего друга. А ведь я не хочу ни обвинять, ни огорчать никого. Это было бы мне противно, и я бы страдала больше, чем мои жертвы. Так что я думаю, что напишу книгу нужную, безопасную и благопристойную, не тщеславную, равно как и не подлую; я работаю над ней с удовольствием…

В 1847 году она уже не встречалась с Пьером Леру и после всей своей снисходительности к нему осудила его, наконец, очень сурово:

> Я ничего не знаю о долах Леру. Постепенно я начинаю думать, что он может держаться в равновесии на той воображаемой нити, которая отделяет его от современности. Я не знаю, как будет дальше, но он всегда найдет выход. С одной стороны, он не умеет вести дела, а с другой стороны, он очень ловок, настойчив и умеет очень хорошо выхватывать у презираемого им мира нужную ему помощь. Как это у него получается, что он уже столько лет влачит свою добровольную бедность и

при этом ни в чем не нуждается и полностью удовлетворяет не только свой, но еще и все желудки в семье? Это загадка. Но так как длится уже давно, значит она не должна внушать опасений. Если Буссак рухнет у него под ногами, он найдет себе приют в другом месте. У него великолепная способность находить неожиданные возможности. Он великолепно умеет заставить вас считаться с этой манерой действовать… Признаюсь, я не смогла примириться с тем, как коварно умеет он приноровить свой фанатизм, если это бывает нужно… Лицемерие — это дань, которую мятежник платит обществу.

Глава третья
Муза республики

В начале 1848 года молодой Виктор Бори, в то время постоянный гость Ноана, был в полном смятении при мысли, что в Париже произойдет революция. Жорж в это не верила, и февральская революция поразила ее, как поразила всю Францию. Жорж ненавидела Луи-Филиппа с чисто женской горячностью, но кампания банкетов для избирательной реформы, которая предшествовала и привела к падению режима, казалась ей безобидной и бесполезной. «Это склока между министрами, которых свалили, и министрами, которые хотят подняться наверх, — писала она сыну, и я не думаю, что народ примет участие в ссоре между господином Тьером и господином Гизо… Итак, я настаиваю, чтобы ты не шлялся там, потому что тебя могут изувечить без всякой пользы для правого дела… Дать убить себя из-за Одилона Барро и компании — было бы слишком глупо…» Когда началась суматоха, она удивилась, что Морис не вернулся в Ноан, как она ему советовала. Делакруа написал, что Морис находится в необыкновенном возбуждении: «Что касается Мориса, то он сияет: он только что ушел отсюда, он похож на пьяного; я не думал, что он способен на такое возбуждение». В тревоге она поехала за сыном.

По приезде в Париж у нее создалось впечатление, что наступил великий день и что свершилась победа не просто республики, но республики социальной. У власти были ее друзья, и она отправилась к маленькому Луи Блану в его Люксембургский дворец. Мраморные галереи были усеяны длинными вереницами пролетариев. Луи Блан сиял: «Нужно, чтобы сила народа, — сказал он ей, — показала себя внешне спокойной; спокойствие — это величие силы». Разговаривая с Ламартином, она смотрела на проходящее шествие из окна дома Гизо:

> *Жорж Санд — Огюстине Бро:* Это было красиво, просто трогательно; от церкви Мадлен до Июльской колонны собралось 400 тысяч человек; ни одного жандарма, ни одного полицейского, а между тем такой порядок, такая благопристойность, сосредоточенность, взаимная вежливость, что никому не наступили на ногу, никому не измяли шляпы. Это было удивительно. Народ Парижа — первый народ мира!..

Республика была установлена, и теперь от нее никто бы не отступился, и для защиты ее умерли бы на баррикадах. Правительство, составленное из честных людей, не было, может быть, на высоте задачи, для которой нужен был бы «гений Наполеона или сердце Иисуса». Тем не менее большинство этих людей делало что могло.

Санд никогда не была в близкой дружбе с Ламартином. В 1843 году, на следующий день после произнесения им речи, направленной против государственного строя, она его поздравила. Обрадованный ее письмом, он попросил о встрече. Она еще спала в пять часов вечера, но поднялась, чтобы принять его, и появилась «в полурасстегнутой рабочей блузе. Она велела принести сигары, и они стали беседовать о политике и человечестве. Впервые эти два великих гения говорили с глазу на глаз. До этой встречи можно было думать, что Жорж Санд слегка презирает его…» Когда в феврале 1848 года она вновь увидела его в Париже, он был опьянен своей ролью. «Я только что говорил речь и обнимался со стотысячной толпой», — сказал он ей. Она считала его скорее Верньо, чем Мирабо, больше поэтом, чем человеком действия. Но республике он был еще нужен; он был ее «обаятельным Герольдом». Его голос, сильный и приятный, смягчал слово революция.

Санд наблюдала вождей временного правительства, которых рабочие и буржуа тянули

каждый в свою сторону. Рабочая блуза против редингота; картуз против шляпы; социалистическая республика против буржуазной — в этом 1848 год. Санд, в экстазе от победы, была против этого конфликта. Буржуа и рабочие вместе опрокинули «гнусный режим». Они должны протянуть друг другу руки.

> Народ, писала Санд, готов даровать буржуазии все свое доверие. Буржуазия не злоупотребит этим. Она не позволит ввести себя в заблуждение коварными советами, пустыми тревогами, ложными слухами, клеветой на народ. Народ будет справедливым, спокойным, мудрым и добрым, если средний класс покажет ему пример…

В эти первые дни она была тем более оптимистичной, что неожиданно ощутила себя могущественной. Она устроила своих друзей комиссарами республики в Шатору и в Ла Шатре. В Бурже она добилась смещения своего бывшего любовника Мишеля, который, говорила она, изменил демократии из-за страха перед демагогией. Еще прежде, при поддержке Ледрю-Роллена. Санд сделала Мориса мэром Ноана. Полина Виардо благодаря хлопотам Санд удостоилась разрешения написать музыку «для новой «Марсельезы» на слова Дюпона. «Это я руковожу всем этим», — гордо говорила Санд. Жорж имела постоянный пропуск на вход в любое время к членам временного правительства. Ледрю-Роллен, «со свойственной ему горячностью и ветреностью», поручил ей редактировать «Бюллетень Республики». Она становилась музой революции. Деятельность опьяняет художников; они еще не испытали ее опасностей; у них кружится голова. Они верят, что реальный мир так же легко поддается лепке, как и миры фантастические. Пробуждение внезапно и тягостно. Ибо этот прекрасный сон не может длиться долго, это свойственно снам. Богатые боялись: бедные тоже. Народ, хранивший плохое воспоминание о 1830 годе, когда король-гражданин незаконно лишил его республики, не складывал оружия. В марте 1848 года Санд уже писала: «Я видела, как недоверие и скептицизм проникали в сердца богатых; я видела, как честолюбие и обман спрятались за маской согласия». Она боялась рабочих тринадцатого часа, республиканцев завтрашнего дня, тех, которые уже смешивались с манифестантами, чтобы добиться их поражения.

Она поспешила в Ноан, чтобы возвести на трон Мориса и узнать настроение провинции. На деревенской площади был устроен сельский праздник; беррийцы прибыли на лошадях, с ружьями на перевязи через плечо: у них был вид миролюбивых шуанов. Но буржуа в Ла Шатре проявили враждебность. «Я возвратилась сюда, — чтобы по мере моих сил помочь моим друзьям революционизировать Берри, который очень уж неповоротлив… И все же!.. Республика не погибла оттого, что Ла Шатр ее не хочет…» Однако эта неудача ожесточила Санд, и ее поведение сделалось более агрессивным. Она вернулась в Париж и с гордостью решила, что она — мозг и перо режима.

> *Жорж Санд — Морису, 24 марта 1848 года:* Вот я уже и государственный человек, так же занята. Сегодня я написала два правительственных циркуляра: один для Министерства народного просвещения, другой для Министерства внутренних дел. Меня забавляет то, что это все адресуется мэрам[53] и ты получишь официальным путем распоряжение твоей матери. Ах! Ах! Господин мэр, вы должны слушаться, и для начала вы будите каждое воскресенье читать вашей национальной гвардии «Бюллетень Республики…» Я не знаю, кого и слушать. Меня зовут справа, слева. Я лучшего и не желаю.

Она была возбуждена большим и искренним порывом веры. Ламартин казался ей очень

вялым и очень буржуазным.

> *Жорж Санд — Ламартину, апрель 1848 года:* Но почему сомневаетесь вы? Вы ведь можете судить о чудесах, которые всемогущее провидение бережет, чтобы вразумить слабых и угнетенных, с точки зрения великих откровений, озаривших вашу душу, душу поэта и художника?.. Вы думаете, что бог будет ждать века, чтобы воплотить в жизнь ту волшебную картину, которую вы предвидели по его воле? Вы ошиблись в сроках, великий поэт и великий человек!.. Почему вы с теми, кого бог не пожелал просветить, а не с теми, кого он просветил?.. Если только страх может привести их в смятение и победить, присоединяйтесь к угрозам этих пролетариев, с тем чтобы завтра встать на их пути и помешать им выполнить свои угрозы…

Бальзак, который никогда не витал в облаках, деловито оценивал шансы нового режима: «Так как республика не продержится больше трех лет — это самый длинный срок, — нужно постараться не упустить случая…» Будь у него деньги, он воспользовался бы паникой и купил бы, как спекулянты в его романах, ценные бумаги и земли по самой дешевой цене. «Чтобы установить республику, — писал он госпоже Ганской, — нужно все разрушить и все построить заново. Это работа, для которой нет настоящих людей. Таким образом мы возвратимся — я думаю, довольно быстро — к пределам возможного…» О границах этого возможного у Бальзака и его друга и приятельницы Жорж не было общего мнения.

Приближались всеобщие выборы. Санд делала все, что было в ее власти, чтобы привлечь народ «к нужному голосованию», то есть к голосованию за кандидатов, поддерживающих правительство и революцию. Но вся провинция, кроме нескольких промышленных городов, оказалась такой же консервативной, как Ла Шатр. Однако Жорж не допускала мысли о своем поражении. Она пошла даже на то, чтобы установить различие, и при том опасное, между большинством и единогласием:

> Идеал выражения всеобщего суверенитета — это не большинство голосов, зто единогласие. Придет день, когда с человеческого разума спадет пелена и сознание избавится от нерешительности, — тогда на собраниях ни один голос не поднимется против правды… Да, в любую эпоху истории бывают решающие часы, когда провидение решается на испытание и даст свою санкцию подлинным чаяниям при электризующем одобрении масс. Бывают часы, когда единогласие предстает перед лицом неба и когда большинство не идет в счет перед ним…

В «Бюллетене» № 16, который стяжал печальную известность, она угрожала:

> Выборы, если они не дают торжествовать социальной правде, если они выражают интересы только одной касты, предавшей доверчивое прямодушие народа, эти выборы, которые должны были быть спасением республики, станут ее гибелью — в этом нет сомнений. Тогда для народа, строившего баррикады, остался бы лишь один путь спасения: во второй раз продемонстрировать свою волю и отложить решения псевдонародного представительства. Захочет ли Франция заставить Париж прибегнуть к этому крайнему, достойному сожаления средству?.. Избави бог!..

Это был призыв к мятежу. Госпожа Санд не боялась его. Ей казалось, что правительство, пресса, вся Франция разделены на республиканцев чисто политических, около которых сплотились монархисты, и на республиканцев-социалистов, среди которых была она сама.

Военное счастье, только оно одно, думала она, могло склонить решение этих двух блоков в ту или иную сторону. Выборы не внушали ей никакого доверия, потому что они были направлены против «коммунистов», но коммунистов фантастических, которые потребовали бы аграрного законодательства, хищений, воровства.

> Если под коммунизмом вы подразумеваете заговор, подготовленный для захвата диктатуры, как об этом говорили 16 апреля, то мы вовсе не коммунисты… Но если под коммунизмом вы подразумеваете волю и желание, чтобы оскорбительное неравенство, чрезмерное богатство, чрезмерная бедность благодаря всем законным средствам, признанным общественным сознанием, исчезли с сегодняшнего дня, уступили место началу истинного равенства, — да, тогда мы — коммунисты, и мы осмеливаемся вам об этом сказать, вам, кто нас спрашивает честно, потому что мы думаем, что вы такие же коммунисты, как и мы…

Между тем крайняя левая (Бланки, Кабе, Распайль, быть может, Луи Блан, «большое честолюбие в маленьком теле») готовила удар к воскресенью 16 апреля. Это привело к серьезному поражению: вся национальная гвардия, вся буржуазия и огромная часть предместий кричала: «Да здравствует республика! Смерть коммунистам!»

> *Жорж Санд — Морису, 17 апреля 1848 года:* Так как ты ничего не поймешь из газет, хочу тебе рассказать, как все это произошло. Но храни мое сообщение в тайне. За восемь дней было три или, вернее, четыре заговора. Сначала Ледрю-Роллен, Луи Блан, Флокон, Коссидьер и Альбер хотели принудить Марраса, Гарньо-Паже, Карно, Бетнона, в общем всю партию умеренных, выйти из временного правительства. Они сохранили бы Ламартина и Араго, которые сидят между двух стульев и, предпочитая власть убеждениям (которых у них нет), присоединились бы к ним и к народу. Этот заговор был хорошо организован… Он мог бы спасти республику, немедленно провозгласив уменьшение налогов с бедных, приняв меры, которые, не разоряя состояния, добытые честным путем, могли бы вытащить Францию из финансового кризиса; переменить форму избирательного права, которая плоха и сделает выборы местными, узкими; наконец, оказать народу все добро, возможное в данный момент, вернуть народ республике, так как буржуазии удалось во всех провинциях внушить отвращение к ней, и обеспечить нам Национальное собрание, которое нам бы не пришлось насиловать…

Итак, с этого момента, в предвидении неудачных выборов, прогрессивные умы правительства начали устраивать заговоры против своего собственного режима. Успех контрманифестации укрепил умеренное крыло. Многие читатели «Бюллетеня» № 16 объявили «поджигательский» текст Жорж Санд ответственным за эти беспорядки. Спрашивали: кто разрешил ей публиковать его в официальной газете. Разумеется, ни Ледрю-Роллен, ни Жюль Фавр (генеральный секретарь «Бюллетеня») не признали своей ответственности в том, что заказали эту статью, и действительно, в соответствии с самыми прочными административными традициями, ни один из них не прочел статью перед тем, как отдать ее в печать.

Жорж Санд пыталась объяснить в других газетах, что она равным образом осуждает манифестацию и контрманифестацию, «Касту и секту», как она говорила. Каста, то есть так называемый господствующий класс; секта, то есть маленькая группа фанатиков, — проповедующих насилие. Но в действительности она поощряла секту, и общественное мнение

было очень сильно настроено против нее. 20 апреля, в день праздника братства, она получила реванш.

> *Жорж Санд — Морису, 21 апреля 1848 года:* Миллион душ… Этот праздник был прекраснейшим днем истории… Он значит больше, чем все интриги 16-го. Он доказывает, что народ не интересуют наши разногласия, наши оттенки убеждений, но он живо чувствует великие события и желает их…

23 апреля состоялись выборы, и избранное собрание было умеренно-агрессивным. Массы, с которыми впервые советовались, оказались еще более консервативными, чем граждане, имевшие уже избирательный стаж. Париж, издав указ о всеобщем избирательном праве, лишил себя в пользу провинции права управлять. Парижский мятеж мог оспаривать законность власти, установленной при отсутствии всеобщего голосования, ни никак не власти, поддержанной большинством голосов в стране. Бурбонский дворец побеждал ратушу. Французы приняли революцию политическую, но не социальную. «Мы понимали, что выборы будут скверными, — высказалась «Ла Реформ», — нужно сознаться, действительность превзошла наши ожидания».

Санд имела еще доступ к министрам. 10 мая, в то время как собрание приступило к выборам директоров, «Ледрю-Роллен лежал на лужайке палаты депутатов вместе с госпожой Санд; часовой не позволял никому приближаться… Немного позднее к ним присоединился Ламартин…» Толстый Ледрю, оппортунист, извлекший из выборов урок, решил присоединиться к Ламартину и к умеренным. Луи Блан был исключен из правительства. 15 мая рабочие Парижа выполнили то, что госпожа Санд советовала им в «Бюллетене» № 16. Во главе с двумя ветеранами парижских мятежей — Барбесом и Бланки — они захватили Бурбонский дворец, объявили собрание распущенным и провозгласили социалистическое правительство. Но законное правительство приказало бить сбор; национальная гвардия из богатых кварталов освободила собрание; Барбес и рабочий Альбер были арестованы. «Демократы взяли верх одновременно над ретроградами и демагогами». Такое чувство было у друзей Ламартина; обидный эпитет не мог нравиться ни друзьям Луи Блана, ни Жорж Санд.

Она не допускала, что сила была проверена на опыте, и думала, что народ еще покажет свою волю. Монктон Милнс, член британского парламента (будущий лорд Хаутон), проезжая через Париж, дал здесь в начале мая завтрак, на котором среди приглашенных присутствовали Санд, Огюст Минье, Алексис де Токвиль, Карлотта Марлиани и Проспер Мериме. «У одной из дам, — писал Мериме, — были удивительно красивые глаза, она часто опускала их. Она сидела напротив меня, и мне казалось, что ее лицо мне знакомо. В конце концов я спросил ее имя у моего соседа. Это была госпожа Санд. Она мне показалась бесконечно красивее, чем прежде. Как вы понимаете, мы с ней не разговаривали, но все время поглядывали друг на друга. После обеда я угостил сигарой полковника Д., который подошел к госпоже Санд и предложил ей эту сигару от себя, и она ее мило приняла. А я держался от нее, как говорят моряки, на почтительном расстоянии. «A long spoon to eat with the devil»[54]. Токвиль, у которого не было личных воспоминаний, связанных с писательницей, интересовался Санд как «политическим деятелем». Он был сильно предубежден против нее, но его пленила открытая и естественная простота ее манер и языка.

> То, что она говорила, меня очень поразило. Я впервые общался непосредственно и дружески с человеком, который мог и хотел рассказать мне о том, что происходило в лагере наших противников. Партии никогда не знают одна другую; они приближаются друг к другу, нападают, схватываются, но друг друга не видят. Госпожа Санд в деталях

> и с исключительной живостью обрисовала мне положение парижских рабочих, их организацию, их количество, вооружение, приготовления, мысли, страсти, ужасные решения. Я подумал, что все это сильно преувеличено, но это было не так: последующие события это доказали. Казалось, что она испугана за себя этим народным триумфом и очень сочувствует нам, предвидя угрожающую нам судьбу. «Постарайтесь добиться от своих друзей, мсье, — сказала она мне, — чтобы они не выталкивали народ на улицу, беспокоя или раздражая его; так же, как и я хотела бы внушить моим единомышленникам терпение, потому, что если битва завяжется, верьте, вы все там погибнете…»

Эта удивительная вера в триумф своих идей в момент, когда они были в такой сильной опасности, была следствием избытка жизни в ней. Чувствуя себя сильной, она верила, что социальная республика была такой же сильной. В своих статьях она выражала сочувствие социалистам-республиканцам и враждебность к безотлагательному коммунизму, «который представляет собой даже отрицание коммунизма, так как он хотел бы действовать путем насилия и уничтожения евангельского и коммунистического принципа братства». Она считала момент таким серьезным, что даже не присутствовала в Берри 6 мая 1843 года на свадьбе своей любимой Титин.

О чем могла думать молодая девушка, давно влюбленная в своего кузена, когда он, Морис, как мэр Ноана, соединил ее с Бертольди в браке по рассудку. Можно себе представить печаль, с какой Огюстина должна была покинуть дом, где она пережила столько надежд и имела такой громадный успех в домашних спектаклях. Конечно, иногда ей приходилось там и страдать, но зато ее там дивно забавляли. Выйти замуж за этого старого холостяка, за этот «страшный банковый билет» и разделить жизнь с заурядным чиновником — это значило, по ее мнению, примириться со скучной, обывательской жизнью.

15 мая разразилась буря, предсказанная Токвилю Жорж Санд. Поводом послужила манифестация в пользу угнетенной, «распятой» Польши. Осторожный министр Ламартин отказался втянуть Францию в безнадежную кампанию, и польская эмиграция неистово спорила с ним. Такова была явная причина демонстрации. В действительности она должна была показать могущество народа и заставить провести новые выборы. Многие демонстранты наивно верили лозунгам и кричали: «Да здравствует Польша! Да здравствует республика!» Мало-помалу стало слышно: «Да здравствует Луи Блан!» И Бланки увлек толпу на штурм Национального собрания. Ламартину, Ледрю-Роллену, даже Барбесу не давали говорить. Бланки и Луи Блан провозгласили демократическую и социальную республику. Они требовали немедленного отправления армии в Польшу. В это время услышали, что бьют сбор. Национальная гвардия шла на помощь собранию. Все было проиграно. Паника овладела толпой. Кричали: «Смерть Барбесу!» Он был арестован. Это был конец.

Где же была Жорж Санд 15 мая? На улице Де Бургонь, в толпе. Она увидела в окне нижнего этажа незнакомую даму, которая обратилась с краткой речью к народу: ей устроили овацию. Жорж Санд спросила, кто эта героиня. Ей ответили — Жорж Санд! Морис рассказал, что это была шутка каких-то зевак. Он же сам вместе с беррийцем Адольфом Дюплом отправился разыскивать пушку военной школы, но нашел только пивные кружки. «День памятный, вызывающий смех», — писал он. Очевидно, Санд не принимала в нем активного участия. Однако газеты все же не сняли с нее ответственности за сказанное в «Бюллетене» № 16, а именно, что народ имеет право защищать республику, пусть даже против Национального собрания. На это Санд ответила, что «Бюллетень» появился задолго до 15 мая и не мог быть прямым поводом, и это было правдой.

Вечером 15 мая она пришла к выводу, что дело социальной республики погибло; теперь у нее было только одно желание: возвратиться в Ноан. Все же она ждала два дня, потому что говорили, что ее собираются арестовать. Ей не хотелось, чтобы ее заподозрили в бегстве. В ожидании обыска она сожгла все свои бумаги и свой «Интимный дневник». Но никто не собирался ее беспокоить, и вечером 17-го она спокойно уехала.

> Я хотела быть под рукой у правосудия, если бы оно вздумало свести со мной счеты. Опасение моих друзей было маловероятным, и мне ничего бы не стоило разыграть опасную особу и сбежать, в то время как никто не оказывал мне чести думать обо мне — разве что несколько господ из национальной гвардии, которые негодовали по поводу того, что позабыли о таком опасном заговорщике.

Глава четвертая
Ноан, 1848–1850

Принципов нет; есть только события.

Бальзак

Когда Санд на улице Де Бургонь вечером 15 мая вспроминала о Ноане, он казался ей лучшим убежищем. Однако ей пришлось разочароваться. В провинции, где она служила мишенью для злобных выпадов реакционеров, она чувствовала себя в большей опасности, чем в сумятице Парижа, где о ней забыли. Ее соседи обвиняли ее во всех заблуждениях и преступлениях.

> Здесь, в моем Берри, таком романтическом, тихом, добром и спокойном, в этом краю, который я так нежно люблю и где я доказала бедным и простым людям, что я помню о моем долге перед ними, на меня, именно на меня смотрят, как на врага рода человеческого; и если республика не сдержала своих обещаний, то, очевидно, причиной тому я…

Рассказывали, что она получила от «господина герцога Роллена» все виноградники в округе, все земли и все луга и что она приказала посадить в башню Венсеннского замка лучших депутатов.

> *Жорж Санд — Карлотте Марлиани:* Мне приходится своим присутствием удерживать на почтительном расстоянии довольно порядочную банду глупцов из Ла Шатра, которые все время грозят, что подожгут меня. Они трусливы и физически и морально, и, когда они сюда приходят гулять, я выхожу и присоединяюсь к ним, — они снимают предо мной шляпы. Но, пройдя, они осмеливаются кричать: «Долой коммунистических!»

Отец Олар, новый мэр Ноана, политический противник, но личный друг Санд, советовал ей покинуть Ноан до того времени, когда весь этот ропот и гнев утихнут. Она уехала в Тур, и в газетах над этим издевались: «Куда делась Жорж Санд?.. Из Парижа нам сообщили, что Жорж Санд, озадаченная, или озадаченный, исходом июньских дней, велела упаковать свою мебель, коробку с сигарами и лишила Париж своего присутствия, чтобы отправиться на житье в Тур. Просто — перевозочная контора получит работу…»

Делакруа написал ей, что она хорошо сделала, уехав:

> Вас, возможно, обвинили бы в сооружении баррикад. Вы очень хорошо сказали, что в такие времена, как эти, пристрастность не убеждает и что ружейные выстрелы или штык становятся единственными аргументами, вошедшими в употребление… Ваш друг Руссо, никогда не видевший другого огня, кроме кухонного, где-то в приступе воинственного духа восхвалял высказывание одного польского воеводы, заявившего по поводу своей беспокойной республики: «Malo periculosam libertatem quam quietum servitium».
>
> Эта латынь обозначает: «Безмятежному рабству я предпочитаю свободу, чреватую опасностью». Я же, увы, пришел к обратному мнению, особенно убедившись в том, что

> эта свобода, купленная ценой сражений, на самом деле не та настоящая свобода, когда ты чувствуешь себя спокойно, размышляешь, обедаешь вовремя и имеешь еще много других преимуществ, которые не уважаются во время смут. Простите мне, дорогой друг, мои реакционные рассуждения и любите меня, несмотря на мою неисправимую мизантропию.

После разгрома восстания и кровопролитного июньского избиения появилось множество политических ссыльных. Социальная республика была побеждена, а возможно, и республика вообще… Между буржуазией и рабочими была снова вырыта залитая кровью пропасть. Санд была в отчаянии и перестала писать для газет.

> *Жорж Санд — Эдмону Плошю, 24 сентября 1848 года:* Вы спрашиваете, для какой газеты я пишу. Я вообще не пишу, по крайней мере сейчас; я не могу высказывать мысли, находясь в осаде. Следовало бы сделать уступку так называемым требованиям времени, но я не чувствую себя на это способной. А кроме того, с некоторого времени я пришла в полное уныние, душа моя разбита. Боль не уходит, надо ждать выздоровления…

Шопен (он был в Лондоне) говорил с возрастающим недоброжелательством о несчастьях своей бывшей подруги: «В последнее время она опустилась в страшную грязь и втащила с собою туда еще многих других. Ей приписывают мерзкие воззвания, которые разожгли гражданскую войну…»

К горестям общественным прибавились интимные, очень болезненные конфликты. Отец Огюстины, портной Бро, опубликовал памфлет под заглавием: «Современница. Биография и интриги Жорж Санд». В нем он обвинял ее в том, что она завлекла Огюстину в Ноан, чтобы сделать ее любовницей Мориса и потом, скомпрометировав молодую девушку, выдать ее замуж за первого встречного. Это был шантаж, так как Бро (который объявил о том, что он намерен издать еще и другие брошюры на эту же тему) преследовал одну цель — выманить деньги у Санд, но никак не портить репутацию своей дочери. Жорж попросила совета у известного адвоката Шедетанж. Она утверждала, что между ее приемной дочерью и ее сыном была лишь братская, святая дружба: «Их отношения проходили на моих глазах, мы жили в деревне дружной семьей». Шедетанж запугал портного, вторая его брошюрка никогда не была напечатана; но и на этот раз Шопен взял на себя роль обвинителя: «Одним словом, грязная авантюра, о которой говорит сегодня весь Париж. Со стороны отца это было гнусностью, но это правда. Вот он, этот акт благотворительности, против которого я боролся всеми силами, когда молодая девушка вошла в дом…» Принц Кароль пришел к тому, что стал ненавидеть Лукрецию Флориани. В письме к Соланж, оставшейся другом Шопена и часто получавшей от него гвоздики и розы, Санд говорила: «Я не могла отвечать на его ярость и ненависть ненавистью и яростью. Я часто думаю о нем, как о больном, озлобленном, сбитом с толку ребенке…»

И еще раз рабочий стол стал ее крепостью против нападок враждебного мира. Она вновь принялась за «Историю моей жизни», а также по совету Роллина, вспомнив удачу своих сельских романов, вернулась к этой счастливо найденной теме. Начиная «Маленькую Фадетту», она написала прелестное предисловие «Почему мы возвратились к нашим баранам». Она в нем привела свой разговор с Франсуа Роллина, благодаря которому книга была написана:

> И, разговаривая о республике воображаемой, о республике реальной, мы очутились в тенистом местечке, покрытом богородичной травкой; это место было

создано для отдыха.

— Ты помнишь, — сказан он, — мы проходили здесь год назад и просидели целый вечер? Именно здесь ты рассказала мне историю Шампи, а я тебе советовал написать ее в таком же непринужденном стиле, каким ты пользовалась в разговоре со мной.

— Я подражала тогда манере нашего мяльщика конопли. Я помню это, но мне кажется, что с того дня прошло десять лет.

— Но ведь природа не изменилась, — возразил мой друг, — ночь по-прежнему ясная, звезды по-прежнему блещут, дикий чабрец пахнет по-прежнему хорошо… Как бы мы ни были разочарованы и печальны, никто не может отнять у нас прелести любви к природе и отдохновения, которое мы находим в ее поэтичности. Ну что ж: если мы ничем другим не можем помочь несчастным, будем опять заниматься искусством, как мы его понимаем, то есть тихонько прославим эту тихую поэзию природы и, как сок целительного растения, прольем ее на раны человечества.

— Раз так, — сказала я моему другу, — вернемся к нашим баранам, то есть к нашим пасторалям…

Эта новая пастораль вернула ей любовь ее читателей. Не то чтобы в этом предисловии или в своих статьях она отрекалась от своих убеждений; нет, она только отказалась от воинствующей политики. Она говорила, что отныне одобряет два рода собственности: во-первых, индивидуальный, который один в состоянии вернуть согласие между классами, и, во-вторых, коллективный, которому она желала бы наиболее успешного процветания.

Жорж Санд — Жозефу Маццини: Только при общем участии — будь то реакционная буржуазия, или буржуазия демократическая, или социалисты — должен управлять народ. Чтобы идти по дороге просвещения, ему нужна миролюбивая и законная борьба всех этих различных элементов…

В первый день рождества (25 декабря 1848 года) в Монживре умер Ипполит Шатирон: «В продолжение почти двух лет болезни он вином поддерживал в себе возбуждение. Он ничего не ел, но каждый день пил все больше… Он не заметил, как пришла к нему смерть…»

В 1849 году Огюстина родила своему мужу Бертольди сына, которого назвали Жоржем, как и внука Мари Дорваль. Состарившись, потеряв все связи, Мари Дорваль была теперь только страстной бабушкой. Ее дочь Каролина (рожденная от ее связи с Пиккини, во время ее вдовства в молодости) вышла замуж за актера Рене Люге; эта супружеская чета не пользовалась успехом в театре, но на их шее было трое детей; парализованный Мерл был калекой; на плечах Дорваль лежали тяжкие заботы. Она мужественно без конца ездила в гастрольные поездки, ее нуждающаяся семья не имела других средств, кроме жалованья бродячей актрисы. Маленький Жорж рос хилым. Чтобы Дорваль могла взять его с собой на юг (когда была приглашена в Ним, Авиньон, Марсель), Санд оплатила все расходы по этой поездке с малышом. И все же он умер от воспаления мозга. Дорваль пережила его только на один год.

Рене Люге — Жорж Санд, 33 мая 1849 года: Дорогая госпожа Санд, эта изумительная и несчастная женщина умерла! Она оставила нас безутешными. Пожалейте нас!..

Дорогая госпожа Санд, она вас так любила, она так вами восхищалась, позвольте мне поделиться с вами, рассказав хоть часть ее страданий!.. Ведь она умерла от горя!

От полного отчаяния! Ее убило пренебрежение!.. Да, пренебрежение… Все эти выброшенные за двадцать лет, при каждом успехе, посредственности воспользовались паузой в творчестве, чтобы всем объединиться; и вот эти существа, ставшие влиятельными — кто в силу богатства, кто — страсти, а кто в силу личной заинтересованности большинства директоров, — все эти твари заполонили театр; в театр вторглась панель… И когда эта несчастная талантливая женщина ходила из одного театра в другой, люди, которых именуют директорами, широко открывали глаза при имени Дорваль… Ее талант? Кому он был нужен?.. У нее не хватает одного или двух зубов… Ей сорок лет… Она в черном платье, она слишком серьезна… Все это не привлечет в театр никого из этих ничтожеств — полуденди, полупривратников, которые заполняют наши театры при одном имени Аманды, Фризетты или Розы Помпон… В самый разгар этого разложения пришло наше первое большое горе: умер мой Жорж.

Жизнь неудержимо уходила от бедной Мари… Две глубокие раны: смерть обожаемого существа… презрение, несправедливость, полное забвение, нищета дома! И так наступило 10 апреля. Я был в Кане. Она должна была присоединиться ко мне, но прежде хотела сделать последнюю попытку, последний шаг, чтобы иметь во французском театре угол и 500 франков в месяц: хлеб! Директор театра, господин Севест, сказал ей при мне, что о 500 франках нечего и думать, но что вскоре благодаря ловким подсчетам он сумеет сэкономить 300 франков на освещении и тогда подумает, может быть, удастся победить отвращение комитета! Но он ни за что не отвечает и не берет на себя никаких обязательств! Вот так Мари, которой жизнь уже нанесла два удара ножом, получила третий удар — кулаком — от этого палача!.. Она остановила своим ангельским взглядом страшный взрыв моего возмущения. Для нее это было последним ударом. Она уехала в Кан и, прибыв туда, свалилась. Через 2 часа боли приняли такой сильный характер, что я был вынужден пригласить врачей. Положение сочли очень серьезным: злокачественная лихорадка и язва в печени!.. Я выслушал этот безнадежный диагноз с тем же чувством, как слушал бы свой смертный приговор. Я не мог поверить своим глазам, и когда я смотрел на этого ангела скорби и смирения, который ни на что не жаловался и лишь, печально улыбаясь, казалось, говорил: «Люге, вы здесь… Вы не дадите мне умереть», — о госпожа Санд, я задыхался! У меня помутился разум. Я проклинал бога!..

Врачи говорили, что дорога для нее смертельно опасна, но я видел, что она умрет вдали от Парижа — весь день, всю ночь она призывала смерть так жалобно, что я дрожу при воспоминании об этом, — и я нанял места в почтовой карете… На следующий день она была в своей комнате, среди всех нас, но болезнь, ослабленная поездкой, возобновилась с еще большей силой, и 20 мая в час дня она нам сказала: «Я умираю, но я к этому готова… Моя дочь, моя милая дочь, прощай… Верный Люге…» Вот, мадам, ее последние слова, вот ее последнее движение. Потом, улыбаясь, она испустила последний вздох… О! Эта улыбка! Она стоит перед моими глазами… Дорогая госпожа Санд, я убит. Ваше письмо разбередило мои мучения. Обаятельная Мари… вы были ее последним поэтом. Я читал «Фадетту» у ее изголовья, потом мы долго говорили о всех чудных книгах, которые вы написали. Мы плакали, вспоминали все трогательные сцены из этих книг. Потом она рассказывала мне о вас, о вашем сердце…

Ах, дорогая госпожа Санд! Как вы любили Мари, как вы понимали ее душу! И как я вас люблю, и как я несчастен…

Но я вижу, что мое письмо получилось длинным. Нужно остановиться и ждать того блаженного дня, когда я смогу говорить с вами о нашей несчастной Мари… По приезде в Париж вы подарите мне один час, и тогда я вам расскажу о тех поразительных вещах, которые этот ангел поведал мне в те дни горя и грусти…

Дорваль дала знать Дюма-отцу и Сандо, что хочет их обоих видеть. Дюма прибежал, успокоил Мари, которая боялась быть «брошенной в общую могилу», обещал найти 500–600 франков, необходимых для покупки нескольких футов земли. А маленький Сандо пришел слишком поздно на это последнее свидание. На могиле был водружен крест из черного дерева: «МАРИ ДОРВАЛЬ, умершая от горя». В продолжение всей жизни ее проклинали, предавали и забрасывали грязью; она была «жертвой искусства и судьбы»; память о ней была восторженной, любовной, и Жорж Санд великодушно приняла участие в ее внуках Жаке и Мари Люге, которые долгие годы проводили свои каникулы в Ноане.

Шопен умер 17 октября 1849 года, не повидавшись с Жорж. Рассказывают, что он шептал перед смертью: «Она мне говорила, что я умру на ее руках», но рассказов о его последних днях так много и они так противоречивы, что никто не может что-либо утверждать точно. Соланж (одна из тех женщин, которые были у изголовья агонизирующего Шопена) слышала прерывающееся от рыданий пение графини Дельфины Потоцкой. Когда Жорж узнала о его смерти, она вложила данный ей когда-то Шопеном его локон в бумажное саше и написала на саше: «Poor Chopin![55] 17 октября 1849». Приходит на память: «Moja bieda»[56].

Через два года, будучи на русско-польской границе, Александр Дюма-сын получил в руки письма Санд к Шопену. Сестра Шопена привезла их из Парижа в Мысловицы; боясь нескромности таможни, она оставила их у своих друзей; чтобы развлечь молодого Александра, эти друзья и передали ему любовные письма француженки, о которой они ничего не знали.

Жорж Санд — Дюма-сыну, 7 октября 1851 года: Так как у вас хватило терпения прочитать это собрание довольно незначительных однообразных писем, которые, по-моему, представляют интерес только для моего сердца, то вы знаете теперь, какая материнская нежность наполняла девять лет моей жизни. Конечно, в этом нет никакой тайны, и я скорей могу гордиться, нежели краснеть, что заботилась и утешала, как моего ребенка, это благородное и неизлечимо больное сердце…

И это была правда.

Со времени своего разрыва с Листом Мари д’Агу жила в Париже. Помирившись со всеми своими близкими (за исключением мужа), она завела политический салон в своем «розовом доме» на Елисейских полях и под псевдонимом Даниеля Стерна опубликовала серьезные работы: «Очерк о Свободе», «Письма республиканцев», «Наброски о морали». В период написания «Истории Революции 1848», в трех томах, она пожелала вновь сблизиться с Жорж Санд, которая, будучи участницей этой драмы, могла помочь ей своими воспоминаниями. Обе женщины были в ссоре уже 11 лет.

Мари д’Агу — Жорж Санд, 11 октября 1850 года: Один из наших общих друзей сказал мне от вашего имени (верно ли, что от вашего?) слова, которые дошли до моего сердца. Я не решаюсь еще всецело предаться той радости, которую они мне доставляют. Если бы вы были одна, я немедленно поехала бы к вам, чтобы узнать от вас самой, действительно ли разрыв наших дружеских отношений доставил вам некоторое сожаление и верите ли вы, как и я, что наша дружба была из тех, что не

умирают и не могут быть заменены никакой другой. Люди считают, что каждая из нас была очень виновата перед другой. Я готова признать свою вину, если, по вашему мнению, я виновата, но, говоря по правде, я полагаю, что мы обе можем упрекнуть друг друга только в одном: в нашей молодости. Мы были молоды, а значит легковерны, требовательны, вспыльчивы. Мы наивно доверяли, когда нам передавали — коварно или по меньшей мере необдуманно — какие-то сплетни. Наша глубокая нежность, почувствовав себя преданной, возбуждалась, изливаясь в несправедливых речах, но, несмотря на все, я убеждена, и этого убеждения у меня не отнимет никто: если бы в каждый час, в каждую минуту в течение этих печальных лет каждая из нас могла бы читать в душе другой, мы нашли бы под этими отголосками гнева любовь истинную, глубокую, нерушимую. И все же я и сейчас колебалась: взяться ли мне за перо? Это чувство, которое я сохранила, будет ли оно вам дорого? Увы! Годы, сделавшие меня несколько лучше, быть может, отняли у меня в большой степени мою привлекательность. Белокурая Пери где-то сбросила свои крылья; фантастическая Принцесса совлекла с себя голубое платье; божественный луч исчез с чела Арабеллы; из всего того, что вы с вашим талантом видели во мне, осталась лишь женщина, скорее мужественная, чем сильная, медленно идущая одинокой тропой, влача за собой длинный-длинный траурный шлейф… Это траур по погибшим надеждам… Что бы ни было, рискуя всем, я вам пишу. Вы почувствуете, что мои слова серьезны и искренни; я должна их сказать во имя всего того, чем вы были для меня. Жорж, когда я пишу это дорогое мне имя, мне кажется, что молодость оживает во мне. Все мои сомнения уходят. Внутренний голос говорит мне, что наша дружба возродится, такая же нежная, но более крепкая. Ничего я не желала так горячо! А вы, Жорж, а вы?

Ответ доктора Пиффёль разочаровал Арабеллу, которая считала, что ее поступок очень великодушен. Опять был поставлен вопрос обо всем прошлом.

Мари д'Агу — Жорж Санд, 23 октября 1850 года: Почему вы заставляете меня, мой дорогой Жорж, высказывать претензии, напоминать, уточнять горькие воспоминания, когда я хотела одним пожатием руки стереть до последнего следа нашу взаимную неправоту? Почему вы настойчиво возвращаетесь к тому, что вы называете загадкой моего поведения в отношении вас? Разве вы не могли быть уверены a priori[57] в том, что гордый, привыкший властвовать над своим сердцем человек не пошел бы первым навстречу, если бы не чувствовал за собою такого же права на прощение, как и у вас? Я испытываю почти непобедимое отвращение к тому, чтобы вернуться опять на путь обвинений, как вы мне предлагаете, потому что я чувствую, что он вместо того, чтобы сблизить, отдалит нас; но в конце концов, если вы не можете себе объяснить ни моего гнева ни моего молчания, я принуждена указать вам хотя бы главную причину.

Особа, имевшая тогда на меня очень большое влияние, заставила меня поклясться, что я никогда не буду с вами говорить о ней. Казалось, она боялась, что когда-нибудь мы с вами будем откровенно обсуждать некий щекотливый вопрос. Я считала великодушным по отношению к ней дать это обещание; я его сдержала, хотя это мне стоило дорого.

Вас обвиняли очень серьезно, очень точно; мнение общества, мнение всех моих друзей и даже некоторых ваших придало вес этим обвинениям, и именно они вызвали в Италии мой первый гнев; я выразила его несколько иронически, что не соответствовало моим чувствам, противоречило им. Когда я вернулась в Париж, я уже

не сомневалась в том, что обвинения были несправедливы. Но в то время, когда мы пытались сблизиться, Лист передал мне письмо, полученное им от вас. Я его храню… Это письмо с жестокой суровостью осуждало меня и, простите, было вероломным, поскольку было адресовано человеку, страстно мною любимому, — с целью лишить меня его любви и его уважения!.. Но опять-таки зачем возвращаться к этому горестному прошлому? Ваше письмо мне доказывает, что у нас совершенно различное душевное состояние. Вы говорите, что забыли меня, я же вас не забыла… Такое впечатление, что вы руководитесь аристократическим духом; я бы сказала — почти (простите мне это слово) священническим. Вы очень хотите произнести надо мной Absolvo te[58]. И видите: я, которая еще сейчас ежедневно обращается к урокам XVIII века и Французской революции, я теперь за равенство, и до такой степени, какой вы себе не представляете. Я ни за кем не признаю права отпущения грехов, привилегии милостыни. После июньских дней я признаю только взаимную амнистию. Она кажется мне невозможной между нами, потому что вы не чувствуете никакой вины за собой и, кроме того, вас больше не тянет ко мне… Что же делать?

Может быть, вы правы, и сейчас я сожалею, что слишком доверилась словам друзей, их благожелательным иллюзиям. Они мне говорили, что вы сожалеете обо мне, и я по наивности сочла это совершенно естественным. Они напоминали мне о сердечности, о поразительной любезности, с которой некогда писательница Жорж протянула руку беглянке — Принцессе. Я решила поэтому, что теперь я должна сделать первый шаг… Я знала, что вы тоже пережили горе, другого характера, чем я, но тоже глубокое. И вот совсем некстати я нарушила ваше уединение — сперва несвоевременным порывом, а потом, сейчас, неприятными обвинениями…

Жорж не была настроена враждебно к мысли о полупримирении, но, прежде чем на это согласиться, она считала нужным вскрыть нарыв, осветить все вопросы, оставшиеся неясными.

Мари д’Агу — Жорж Санд, 28 октября, 1850 года: Безусловно, вы лучше меня! Вас не рассердило письмо, которое, на вашем месте, вероятно, возмутило бы меня, и вы — с простодушием и чистосердечием, как и должно быть между нами, — даете мне возможность вновь увидеть вас радостной и доверчивой.

Строго говоря, нельзя утверждать, что я верила в то, будто вы играли двойную роль между Листом и мной. Я убеждена в том, что всякая другая женщина на моем месте не колебалась бы (и вы с этим согласитесь, когда я вам расскажу эту длинную историю в какой-нибудь свободный вечер, когда мы будем наедине у вашего камина или моего), но было так: сегодня я верила, а на следующий день сомневалась. Я была одинаковой как в дружбе, так и долгое время в любви, то есть в один и тот же час я то признавала достоверным самое противоположное, самое несовместимое, то отказывалась от этого. Те два письма я написала в тот момент, когда ваша роль в отношениях с Бокажем-Мальфилем-Шопеном, представленная мне в самом ужасном свете, заставляла меня поверить в вашу измену: это, конечно, не оправдывает моих писем, это их объясняет. Это не было ни капризом, ни странностью с моей стороны. У меня и мысли не было нанести вам вред, ибо я очень хорошо знала, что пишу любящей вас женщине (ни за что на свете я бы не написала так вашим врагам). Я была оскорблена и сделала необдуманный поступок. Эти два письма заслуживали одного — быть брошенными в печку.

Влияние на меня Листа, свидетельствующее против меня, так изменилось с тех

пор; он так всецело доверился теперь той личности, которой раньше не доверял; он настолько резко порвал с несчастной женщиной, слушавшейся его советов, что сейчас я не вижу в этом повода для угрызений совести. Может быть, когда я вложу в ваши руки нить, которая с момента нашей первой встречи в 1835 году ведет через настоящий лабиринт интриг, недоразумений, двусмысленностей, вы поймете и будете судить о многих вещах так же, как я. И если нашей дружбе не суждено возродиться, то обвинять в этом надо не прошлое, а настоящее и будущее. Об этом у меня был разговор в двух словах с нашим «примирителем». На этой почве у меня какое-то тревожное предчувствие в душе. Между вами и мной много сходства, и прекрасного сходства, наше представление об идеалах почти совпадает. Но на практике, в будничной жизни, в наших вкусах, в наших привычках, в наших второстепенных мнениях, в нашем окружении возникают контрасты, которым, по-моему, вы придаете гораздо больше значения, чем я. Если вы встретите у меня кого-нибудь, чей вид вам не понравится; если вы заметите на нескольких серебряных ложках герб, не снятый либо по равнодушию, либо из экономии, либо из страха показаться трусливой; если бы я не одобрила пути и средства некоторых из ваших политических друзей и т. д. и т. п., вы были бы шокированы; если бы у меня говорили глупости, вы сделали бы меня за это ответственной; наконец, если долгая привычка к одиночеству и сосредоточенности делают меня иногда менее экспансивной, чем я бы этого хотела, вы сделаете вывод, что я недоверчива и расчетлива. Вот, дорогой Жорж, что заставляет меня немного бояться, однако не настолько, чтобы я отказалась от попытки овладеть землей обетованной.

На самом же деле дружба между этими женщинами была уже невозможна. Они слишком много сказали, слишком много написали друг другу. Каждая из них знала, что думает о ней ее соперница и противник. Порыв откровенности не прощается. Он оставляет в душе другого осадок беспокойства, вызванного слишком ясным, жестоким приговором, который может вновь повториться. В дружбе должна быть взаимная уверенность; и уважение, даже притворное, приятнее в дружбе, чем суровая искренность, часто, впрочем, являющаяся лишь проявлением плохого настроения или злобы.

Дети Санд мало менялись. Соланж и ее мраморщик по-прежнему переходили от страсти к разрыву и от разрыва к страсти. Отель Нарбонн был продан за бесценок по постановлению суда, «вследствие того, что кредиторы предъявили иск за уплату процентов по залогу». Дочь потеряла приданое из-за своего расточительства, и мать великодушно согласилась давать ей ренту в 3 тысячи франков, что было для нее тяжелым бременем. 10 мая 1849 года, находясь у отца в Гильери, Соланж родила девочку: Жанну Клезенже. Получившему медаль первой степени в Салоне 1848 года каменотесу дали в следующем году орден Почетного легиона. Соланж «закружилась в вихре парижской жизни»; она давала обеды писателям, артистам; у нее были лошади, карета, английский кучер. Один бог знает, как она оплачивала все это!

Морис, нерешительный, слабовольный, все еще мечтал об устройстве семейного очага. Беспочвенные разговоры. «Да нет, — писала ему мать 21 декабря 1850 года, — я совсем не трагически отнеслась к твоей мысли о женитьбе… Не думай, что я тебя упрекаю за прошлое. Я тебя ни в чем не упрекаю; я лишь говорю с тобой о прошлом…» Она советовала ему расширить в Париже круг своих знакомых и бывать в разных слоях общества, если он действительно ищет жену: «А вот тебе и еще другой круг людей: не хочешь ли ты повидать госпожу д’Агу, которая принимает у себя цвет самых высоких умов? На словах мы с ней помирились; хотя я не собираюсь ее часто посещать, ты можешь ее повидать. Она примет тебя с распростертыми

объятиями, потому что горит нетерпением помириться окончательно… У нее дочери. Очевидно, бывает молодежь. И затем одно знакомство влечет за собой другое…» Главным образом она просила Мориса, чтобы он принял решение только после серьезного выбора: это важное дело не только для него, но и для нее, потому что ей придется покинуть Ноан, если она не поладит со своей невесткой. Наученная опытом, Жорж Санд напоминала сыну, что единственное средство быть счастливым в браке — это внести в него всю свою волю, а не какие, — то неясные, расплывчатые мечты. Она уговаривала его быть всегда верным в браке; это звучит довольно странно, но ведь она всегда проповедовала верность в любви.

> Брак без любви — это пожизненная каторга… Недавно ты сказал, что не считаешь себя способным к любви навсегда и не отвечаешь за свою верность в браке. В таком случае не женись, потому что ты будешь рогоносцем и вполне заслужившим это. Рядом с тобой окажется или запутанная жертва, или ревнивая фурия, или дура, которую ты будешь презирать. Когда любишь, то всегда убежден, что будешь верен. Ты можешь ошибаться, но все-таки веришь в это и даешь клятву от чистого сердца; и пока ты упорен в своей вере, ты счастлив. Если такая исключительная любовь невозможна на всю жизнь (это мне еще не доказано), по крайней мере живешь какое-то время в радостной уверенности, что она возможна… Я буду спокойна в тот день, когда увижу тебя уверенным в себе.

Морис привлек в Ноан много своих сверстников, товарищей по мастерской, политических друзей. Некоторые из них: Эжен Ламбер, который рисовал кошек, гравер Александр Мансо, журналист Виктор Бори, юрист Эмиль Окант — подолгу жили у него. Санд приобщила их к своей жизни и заканчивала свои письма Эжени Дюверне такими словами: «Дружеские пожелания вам обоим от Мориса, Ламбера и Бори». Эти молодые люди по очереди сменялись в Ноане. Санд — Морису: «Ламбер уехал сегодня утром и будет вечером в твоих объятиях. Он был очень мил, очень предан, очень внимателен ко мне в нашем уединении. Теперь очередь Мансо, который тоже очарователен…»

Так четыре молодых человека состязались в усердии, желая угодить своей знаменитой подруге и служить ей. Окант, ловкий и изворотливый, станет деловым человеком, на которого возложат переговоры с издателями; впоследствии он будет получать жалованье от Санд. Ламбера, бывшего долгое время в фаворе, разлюбят с момента, когда он решит, что его карьера художника нуждается в длительных отлучках в Париж. Госпожа Санд требует, чтобы Ноан воспринимался как центр мира. Ламбер жаловался на суровое обращение.

> *Эжен Ламбер — Эмилю Оканту, 30 мая 1852 года:* Госпожа Санд заканчивает свое письмо словом «жестокий»!.. Я много плакал, друг мой, получив этот упрек, а между тем я его не заслужил. Если я покидаю госпожу Санд на два или три месяца, то потому, что это требует мое будущее. Я так и сказал ей в моем ответе: «Нужно, чтобы время от времени я работал в Париже — иначе я пропал!» Я вложил в это письмо всю душу, но мне ничего не ответили! Все кончено. И вот десять лет выброшены на ветер потому, что я несколько задержался в Париже. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, надо бы любить людей немного больше для них, немного меньше для себя… Смотри, как бы вокруг нее не образовалась пустота в один прекрасный день! Никто не может так любить, как она! Но и никто не разбивает так быстро свою прежнюю любовь…

> *4 июня 1853 года.* Каждое лето я буду проводить в Ноане. Как только я понадоблюсь ей для какой-нибудь пьесы, я буду в ее распоряжении… Но я хочу прежде всего сохранить мою свободу… Как бы ничтожна ни была эта маленькая размолвка, все же она охладила ее сердце; мое же не изменилось; я никогда в жизни не забуду того, что она сделала для меня…

Начиная с 1850 года в чин любимца госпожи Санд был произведен Мансо; он остался им навсегда. Мансо сочетал в себе все, что ей было нужно для удовлетворения ее политических предрассудков и ее инстинктов двусмысленного материнства: он был на 13 лет моложе ее, он был худ, слабогруд, красив и к тому же человек из народа, сын сторожа Люксембургского сада. Он был гравером по меди, художником своего дела. Начав с секретарства у Жорж Санд, он вскоре становится ее доверенным лицом. Непрочный мир между ним и Ламбером поддерживался только благодаря Санд. Записи Мансо 1852 года: «Мансо и Ламбер хотят драться. Мадам велит им обнять друг друга…» При своих поездках в Париж Санд хотела останавливаться у Мансо: Морис был против этого, он боялся, что, несмотря на зрелый возраст матери, могут начаться сплетни.

> *Жорж Санд — Морису, 24 декабря 1850 года:* Я буду жить там, где ты захочешь. У Мансо мне будет удобнее, чем у тебя. Никаких сплетен не было бы, если бы ты был со мной и ночевал в его мастерской. Но их не будет, даже если ты не будешь там ночевать… Подумай, ведь, кроме привратника, никто не будет знать, что я там!.. Ничего нет особенного в том, что молодой человек предоставляет свою квартиру даме из провинции, особенно если этой даме 46 лет! Может же случиться, что ты завтра предложишь свою квартиру Титине, даже если ты будешь в Париже. Никто не может сказать ни слова, стоит только тебе уйти спать в другое место…

Супруги Бертольди жили в Рибераке, где поляк был назначен особым сборщиком податей, но у прекрасной Титин, скучавшей в Перигоре, проявилось вдруг большое тщеславие, и она часто стала наезжать в Париж, останавливаясь в «Отеле дю Эльдер». В Ноане сожалели об ее отсутствии тем более, что там ставили комедии и не хватало молодых героинь.

> *Жорж Санд — Огюстине де Бертольди, 15 января 1850 года:* О тебе особенно вспоминают, когда ставят комедии. Ламбер и Морис понимают, что они потеряли лучшую героиню. Госпожа Флёри элегантна и с помощью косметики кажется молодой, но она слишком слезлива и жеманна… Помнишь Мансо, друга Мориса и Ламбера, он теперь наш первый актер. Он играет и серьезные и комические роли; в отношении костюмов или умения придавать лицу определенное выражение, или в смысле установки декораций он поразительно искусен! Пантомимы доведены до такой степени совершенства, что ты даже себе представить не можешь, и они были бы идеальны, если бы Коломбина была такой красивой, как ты. Но с дамами у нас это не получается, и принято решение сделать Коломбину в шуточном жанре, чтобы ее играл переодетый юноша…

Итак, Арлекин и Коломбина заняли в жизни Жорж места Ледрю-Роллена и Луи Блана. Как всегда, после всех ее жизненных бурь она вернулась в тихую пристань — в Ноан, а когда раздражение соседей улеглось, она вновь стала наслаждаться там спокойной жизнью, красотой ирисов и вереска, спорами и весельем молодежи. Забота о Мансо, любовь к сыну, управление

домом, двадцать страниц романа каждую ночь — жизнь опять пришла в норму.

Глава пятая
Богоматерь доброй помощи

Тем временем Луи-Наполеон Бонапарт был избран президентом республики. Магическое имя оказало действие. Для Жорж Санд новый президент не был незнакомцем. В молодости он был либералом и даже карбонарием. В 1838 году она встретилась с ним в одном из парижских салонов, и они объединились в ненависти к Луи-Филиппу. Заговоры Луи-Наполеона были открыты, и он был заключен в форт Гам; там он сочинил довольно туманную систему, в которой смешивались порядок и революция, социализм и процветание, либерализм и власть. В 1844 году он опубликовал брошюру об искоренении пауперизма. Луи Блан посетил его в тюрьме и написал о нем статью, которую Санд поместила в «Л’Эклерёр де л’Эндр».

Принц знал, что госпожа Санд заинтересовалась им, и просил передать ей, что если она смогла бы приехать в Гам, это было бы для него, «отлученного от церкви, настоящим праздником». Она не поехала, но в письме очень вежливо указала ему на свою позицию республиканки: «Оцените хотя бы то, как мы защищаемся от соблазнов, которыми вы нас искушаете благодаря вашему характеру, уму и положению…» Она признавала одного повелителя — народ: «Никакого чуда, никакого олицетворения народного гения в одном лице…» Луи Наполеон ответил с такой же откровенностью.

> *Форт де Гам, 24 января 1845 года:* Мадам, поверьте, что лучший титул, какой вы можете мне дать, — титул друга, потому что он указывает на близость, которой я буду гордиться, если она установится между нами. Вы, обладающая достоинствами мужчин и лишенная их недостатков, не можете быть ко мне несправедливой…

Мысль поверить в искренность молодого Бонапарта была соблазнительной; друзья ее предостерегали, но когда его избрали президентом, она написала в «Ла Реформ» статью, отнюдь не враждебную по отношению к нему: «Отвергнув любимца собрания[59], народ выразил протест не против республики, в которой он нуждается, но против той республики, которую преподносит ему собрание. Поверьте, что в том-то и заключается большое влияние Луи Бонапарта, что он еще ничего не сделал при буржуазной республике…» Она испытывала некоторое удовольствие, видя поражение этих умеренных, которых она беспрестанно предостерегала. Своему издателю Жюлю Этцелю она писала:

> Я опять стала спокойной… Это произошло оттого, что большинство народа голосовало за Луи Бонапарта. Тогда я почувствовала, что я безропотно преклоняюсь перед волей народа, который как будто говорит: «Мне некуда торопиться, и я пойду той дорогой, которая мне понравится». И я тоже взялась за мою работу, как хороший рабочий, который вновь принимается за свое дело, и намного продвинула мои мемуары. Эта работа мне нравится и не утомляет меня…

В ноябре 1851 года она приезжает в Париж на репетиции своей пьесы «Замужество Викторины», сыгранной в театре Жимназ 26 ноября 1851 года. Соланж присутствовала на премьере со своим мужем и со своим покровителем графом д’Орсэ. Отношения супругов Клезенже переходили от разрыва к примирению и от примирения к разрыву. В следующем году (1852) суд должен был положить конец бурной семейной жизни этих супругов-врагов. Леди Блессингтон умерла в 1849 году, Альфред д’Орсэ, очень влиятельный при новом режиме,

привязался к юной Соланж и рикошетом покровительствовал матери своей подруги.

Все говорили о возможном государственном перевороте. Кто мог быть против? Буржуа? Они были монархистами. Рабочие? Почему они будут защищать собрание, которое приказало в них стрелять? Эмманюэль Араго сказал Санд 1 декабря: «Если президент не поторопится с государственным переворотом, значит он не понимает своего положения — сейчас самый благоприятный момент». Вечером Жорж Санд вместе с Соланж и Мансо отправились в цирк. Проходя в час ночи мимо Елисейского дворца, они заметили, что ворота двора закрыты. Их охранял только один часовой. Глубокое молчание; свет уличных фонарей на грязной и скользкой мостовой. «Это еще не завтра!» — сказала, смеясь, Санд. И она крепко спала до утра.

На следующий день, 2 декабря, Мансо сказал ей: «Кавеньяк и Ламорисьер — в Венсенне, собрание распущено». Это не произвело на нее никакого впечатления. Умирающая республика уже давно стала ей чужой. На улицах люди соблюдали спокойствие, но вечером в Жимназ «Замужество Викторины» играли при пустом зале. «Я так теперь владею собой, — сказала Жорж одному своему другу, — что больше ничто не возмущает меня. Я расцениваю дух реакции как слепой рок, который нужно победить временем и терпением». Она провела ночь у своего камина, прислушиваясь к шумам извне: «Ничего! Молчание смерти, глупости или страха». В течение нескольких дней она надеялась, что новый повелитель попытается примирить французов.

> *Жорж Санд — Жюлю Этцелю, 24 декабря 1851 года:* Некоторые люди думали, что между очень близкой и очень непрочной победой социализма и тем, что произошло и этом месяце, был компромиссный выход: конституционная республика. Теперь вы убедились, что народ этого не хотел, и это очень объяснимо. Величайшие страдания требуют крайних средств, будь то даже шарлатанство; они предпочитают неизвестное известному, колдовство паллиативам… Если человек нашего времени не безумен, он же должен понять, что его сила в народе. И только он один может быть теперь сильным, потому что только он один может собрать 6, 7 или 8 миллионов избирательных голосов, хотя бы даже при помощи вымогательства…

Но первые шаги нового режима были кровавыми и тираническими. Как во времена белого террора, ультра требовали, чтобы принц завесил статуи Милосердия и Жалости, чтобы он был «жестким, суровым человеком, непреклонным и справедливым» и чтобы он прошел весь мир «с твердым мечом в руке». Все, кто оставался верным республике, были грубо выброшены. Репрессии были усугублены еще и мстительностью на местах. «Одна половина Франции доносит на другую», — писала Жорж Санд. По постановлениям, не подлежащим обжалованию, вызванным анонимной клеветой, несчастных арестовывали, вывозили в Африку, ссылали в Кайенну. Паника охватила Берри. Многие близкие друзья Ноана были в тюрьме, другие намечены к изгнанию. Пьер Леру, Луи Блан, Ледрю-Роллен, Виктор Бори добровольно покинули родину. Говорили, что Санд будет арестована. Она не хотела бежать; наоборот, она жаждала встретиться с Луи-Наполеоном.

В действительности она ничем не рисковала. Принц-президент уважал ее. Но она настаивала на аудиенции: она хотела выступить на защиту своих друзей. Префект полиции Мопа послал ей пропуск; 25 января 1852 года она приехала в Париж и написала принцу:

> Я всегда смотрела на вас как на человека, проникнутого духом социализма… Исполненная святой веры, я считала бы преступлением среди приветственных возгласов бросить упрек небу, нации, человеку, которого вознес бог и принял народ…

Он ответил собственноручно на бланке Елисейского дворца: «Сударыня, я буду счастлив принять вас в любой из дней, назначенных вами, на будущей неделе в 3 часа дня…» Она боялась, что не успеет за короткое время сказать все, что хотела, и потому приготовила длинное письмо. В нем был призыв к милосердию.

> Принц, я не госпожа де Сталь. У меня нет ни ее таланта, ни ее гордости, которые она вложила в борьбу против двуличия гения и власти… И все же я обращаюсь к вам с очень смелой просьбой… Принц, друзья моего детства и моей старости, те, кто были моими братьями и усыновленными мною детьми находятся в тюрьмах или в изгнании; ваша суровость тяготеет над теми, которые приняли, соглашаются принять или подчиняются званию республиканцев-социалистов. Принц, я не позволю себе спорить с вами по политическим вопросам; это было бы глупо с моей стороны; но из глубины моего неведения и моего бессилия я взываю к вам с глазами, полными слез: «Остановись, победитель, остановись! Пощади сильных так же, как пощадил слабых… Будь добрым и гуманным, ведь ты сам этого желаешь. Столько невинных, столько несчастных созданий нуждаются в этом!» Ах, принц, слово «ссылка», это непонятное наказание, это вечное изгнание под чужое небо — вы не можете желать этого; если бы вы знали, в какой ужас это приводят людей даже самых уравновешенных и самых равнодушных!.. А предварительная тюрьма, куда брошены больные, умирающие, где заключенные спалены в кучу на соломе, в зловонной атмосфере, где они замерзают от холода! А тревоги матерей и дочерей, ничего не понимающих в государственных делах, а изумление мирных рабочих, крестьян, говорящих: «Разве сажают в тюрьму людей, которые не убили и не украли? Что же, мы все туда попадем? А мы в то время так радовались, голосуя за него». Ах, принц, мой прежний дорогой принц, прислушайтесь к голосу человека, находящегося внутри вас, который и есть вы сами и который никогда не сможет управлять государством, закрывая на многое глаза, политика, несомненно, свершает великие вещи, но только сердце творит чудеса. Прислушайтесь к вашему сердцу!
>
> Амнистию! Скорей амнистию, принц! Если вы меня не послушаетесь, — не все ли мне равно перед смертью, что я сделала последнюю попытку? Но мне кажется, что бог не рассердится на меня, что я не унижу своего человеческого достоинства и, главное, что я не лишусь вашего уважения, которое мне дороже спокойных дней и спокойного конца…

Луи-Наполеон взял обе руки Санд в свои и с волнением выслушал ее слова в защиту амнистии, ее просьбу воспретить личную месть, для которой политика служит только предлогом. Он сказал ей, что он высоко ценит ее душевную силу и что он сделает для ее друзей то, о чем она просит. Он ее рекомендовал министру внутренних дел Персиньи, и она добилась освобождения многих беррийцев. Персиньи сказал ей, что префект департамента Эндра вел себя, как болван. Отрекаться от своей вины очень легко, а профессия исполнителя приказов всегда будет ненадежной.

За этим следует длительный период, делающий честь Жорж Санд: она боролась мужественно и стойко, чтобы добиться милости для несчастных. Задача вдвойне неблагодарная, так как ее настойчивые хлопоты могли ожесточить правительство; в то же время ее отношения с правительством навлекали на нее неодобрение друзей республиканцев. Тем не менее она ни от чего не отказалась. Министру Персиньи она говорила: «Я республиканка, но в 1848 году я провела многие часы в канцелярии, теперь она стала вашей, — выпрашивая милосердие у тех,

которых вы свергли». Республиканцев она убеждала, что остается верной им и не боится компрометировать себя, защищая тех, кто на нее клевещет: «Мне не надоедает исполнять мой долг; он, как мне кажется, прежде всего состоит в том, чтобы просить сильных за слабых, победителей — за побежденных, кто бы они ни были и в каком бы лагере ни находилась я сама…» Ее основным тезисом было: «Вы можете преследовать действия, но не убеждения. Мысль должна быть свободной». На этом пути ей помог кузен президента, принц Наполеон-Жером (Плоплон), которому граф д'Орсэ ее представил и который стал для нее настоящим другом. Баловень семьи бонапартов, «принц партии Горы», этот якобинец защищал против Тьера «гнусную толпу» и заручился таким образом уважением прогрессивных умов. Близкий друг своего кузена Луи-Наполеона, он мог себе разрешить все, что угодно, и его поддержка была для Жорж очень ценной. Она виделась с ним часто. Неопубликованная записная книжка: 8 февраля 1852 года. «Завтрак у Наполеона Бонапарта. Мансо сохраняет на память кончик сигары и недопитый фужер Наполеона, говоря: «Кто знает? Когда-нибудь… Он так похож на своего дядю!»

В течение многих месяцев Санд носилась от министра к министру, от принца к префекту, спасая больных заключенных, добиваясь помощи их семействам, задерживая целые группы политических ссыльных, посылая ссыльным книги и деньги, составляя прошения, которые не унижали бы достоинство просителей, вырывая у солдат, ведущих на расстрел четырех молодых людей, приговоренных к смерти. Коммунисты называли ее «святой из Берри»: изгнанник Марк Дюфрэсс — «богоматерью доброй помощи»; Альфред д'Орсэ ей писал: «Вы прелестная женщина, помимо того, что вы и лучший мужчина нашего времени». Когда на ее пути возникало слишком много препятствий, она, не колеблясь, снова обращалась к президенту:

> Пусть все знают, что вы действительно сказали мне: «Я не преследую убеждения, я не наказываю мысль». Но в ожидании амнистии, которую ваши истинные друзья обещают нам, сделайте так, чтобы ваше великодушие стало известно в наших провинциях; знайте же, что говорит народ, избравший вас: «Он хотел бы быть добрым, но у него жестокие слуги, и сам он не хозяин. С нашей волей не посчитались; мы хотели, чтобы он был всемогущим, а он им не стал…»

Она продолжала верить в честность бывшего узника Гама, ставшего лунатиком Елисейского дворца.

> *Жорж Санд — Жюлю Этцелю, 20 февраля 1852 года:* Я убеждена, я всегда буду убеждена, что президент неудачник, он жертва заблуждения и внезапной верховной власти. Обстоятельства, то есть честолюбивые стремления его сторонников, вынесли его в самый центр бури. Он воображал, что одолеет ее, но он уже наполивину затонул, и я сомневаюсь, что в настоящее время он может отвечать за свои поступки…

Когда его почти единодушно провозгласили императором, она перестала видеться с ним и впредь — при необходимости оказать поддержку или помощь какому-нибудь несчастному — обращалась к императрице, к принцу Наполеону или к принцессе Матильде. Все поведение Санд в этот тяжелый период было прекрасным, достойным и великодушным. В течение нескольких недель, с марта по май 1848 года, она была целиком увлечена политическими страстями; после правительственного переворота она взяла верх над ними и отдалась делам благотворительности.

Записи Мансо, 5 декабря 1852 года: Провозглашение империи в Ноане: Наполеон III, император французов… Вся наша пожарная команда идет слушать это сообщение. Потом все возвращаются. Работают. Мадам поднимается к себе в 11 часов 30 минут. «Прессуар»[60]. Ламбер уезжает завтра.

Глава шестая
Марионетки

Таким образом, Жорж Санд вышла сухой из воды. Правительство щадило ее: она пользовалась его доверием; она вышла из схватки если не совершенно невредимой, то по крайней мере в дальнейшем неприкосновенной. Но она получила тяжелый удар. Еще раз поиски абсолюта привели ее к горестному разочарованию.

Разгром — время расцвета драматургии. В сумятице годов, последовавших за поражением 1848 года, Жорж Санд нашла спасение в театре. Она всегда его любила по семейной традиции. В Ноане еще со времен Шопена ставили пантомимы и маленькие пьески, наполовину импровизированные. Затем в 1848 году Морис положил начало театру марионеток. Он вырезал фигурки из стволов липы, а мать делала для них костюмы, вкладывая в это и выдумку и вкус.

> *Жорж Санд — Огюстине де Бертольди, декабрь 1848 года:* Морис и Ламбер смастерили театр марионеток, он поистине удивителен. Декорации, перемены на глазах, перспективы, дворцы, леса, лунный свет и заход солнца, транспаранты — все это действительно красиво; есть очень много удачных находок. У них два десятка персонажей, и они заставляют говорить и жестикулировать всех действующих лиц кукольного театра самым забавным образом. Они сами пишут сценарии, иногда очень хорошо, пишут даже мрачные мелодрамы… Сделана целая масса костюмов для всех этих деревянных актеров.

Там были все персонажи итальянской комедии; более сотни других ролей были придуманы в Ноане: Баландар, директор труппы, важный, привлекательный в рединготе и белом жилете; Бассине, сельский полицейский; Бамбула, негритянка; полковник Вертебраль и графиня де Бомбрекулан с колоссальной грудью. Костюмы были превосходны: гофрированные воротнички, вышивки, шляпы с перьями. Женщины в этой труппе могли носить открытые платья, а мужчины могли бороться с обнаженным торсом, так как бюсты фигурок были покрыты кожей.

В 1851 году мать сделала Морису сюрприз, построив ему настоящий театр в старинном бильярдном зале замка. Эту большую сводчатую комнату в нижнем этаже дома соединили с комнатой Соланж и отдали для драматических представлений. В глубине была сцена для актеров из плоти и крови; в центре — публика; в алькове — театр марионеток. Он был оборудован лучше, чем любой другой в мире. Благодаря особому вращающемуся приспособлению, которое было подвешено наверху, солнце и луна следовали обычным путем. Шел дождь; молнии бороздили задник. Декорации, нарисованные Морисом, создавали впечатление глубины. Для одного персонажа сделали несколько фигур разного роста; появляясь из глубины сцены, персонаж, приближаясь, делался выше. Все куклы были поставлены на пружины, такие чувствительные, что достаточно было дуновения, чтобы заставить их двигаться. Когда одна из кукол говорила что-нибудь, другие начинали двигаться в нужное время. Морис, великолепный импровизатор, любил, чтобы публика задавала марионеткам вопросы, на которые они блестяще отвечали.

> *Жорж Санд — Огюстине де Бертольди, 24 февраля 1851 года:* Да, театр привел Мориса в восторг. Приблизительно три недели назад он приехал утром. Театр был закрыт. Вечером я ему завязала глаза и отвела в бильярдную. Он увидел, как поднимается занавес, на сцене были декорации Клоди, все было так чисто, так хорошо

освещено! Представляешь себе его изумление! С момента его возвращения играли всего два раза. Я позволяю играть только раз в две недели, потому что в конце концов нужно работать. Вчера было блестящее представление. Пьеса в духе «Пилюль Дьявола», наполовину разговорная, наполовину пантомима, со всякими неожиданностями, чертями, ракетами в каждой сцене. Было шестьдесят человек зрителей. Не все шло гладко. Но все кричали, топали, и актеры были возбуждены…

28 апреля 1851 года: Мы играли мою последнюю пьесу. Ах! Как ты была нам нужна! Меня вынудили играть героиню. Лицо может сойти, когда я наштукатурю его как следует, но внушить себе, что я молода, — для меня непреодолимое препятствие; я не чувствую себя той особой, какую представляю, и потому не могу хорошо играть…

«Никто не знает, чем я обязана марионеткам моего сына», — пишет Санд. И это была правда. В трудные дни благодаря этой игре Санд забывала о себе, в чем и заключается значение всякой игры. После опытов, из которых многие были жестокими и мучительными, Жорж, прожив почти полвека, ясно увидела нити, которые приводят в движение марионеток — людей. По вечерам, в то время как за большим столом в Ноане Жорж кроила и шила костюмы для Арлекина и Коломбины, для Баландара и Бамбулы, она думала о почти таких же простых пружинах человеческих страстей. Познав за свою жизнь несметное количество людей, она могла их теперь свести к нескольким амплуа. Тут были и «старые графини» ее детства, и женщина из народа — жестокая и возвышенная, реформатор, болтун и попрошайка, лирический оппортунист вроде Мишеля, герой — пылкий и чахоточный, героиня — ищущая любви. С момента их выхода на жизненную сцену она уже знала теперь, что они будут делать. В пятьдесят лет искушенный человек» находит большой соблазн в том, что забавляется человеческим механизмом, затем отказывается от этой бессмысленной игры. Театр — это очищение страстей; он может стать также их смертью.

Но лучшие из зрителей выходят за пределы комедии. Они учатся у нее «убивать в себе марионетку»: они начинают понимать, что в человеке после победы над марионеткой остается кое-что другое. Жорж Санд искала идеальную любовь: она не нашла ее; она не жалеет о том, что желала этого. Она продолжает думать, что женщина должна в любви желать всего или ничего. Она надеялась на идеальную республику; она увидела крах своей мечты; она не жалеет о том, что мечтала. Она еще верит, что в человеке, несмотря на мгновения низости, есть громадные запасы величия и что лучше говорить ему «о его свободе, чем о его рабстве». Она подтверждает зло; она сохраняет веру в добро. Матушка Алисия и аббат де Премор были некогда правы, поверив в нее, несмотря на все ее ошибки, потому что, старея, она идет к ясности духа, к которой каждый из нас должен стремиться.

Часть восьмая
Зрелость



Глава первая
Опасный возраст

Опасный возраст» переживают только те женщины, которые не жили жизнью женщины. Когда их тело начинает стареть, в них просыпается сожаление о пропущенном времени, и это приводит их к разным формам безумия. У Жорж Санд была любовь, и у нее есть слава; ей не нужно, как многим другим, грустно задавать себе вопрос: что у нее могло бы быть в жизни. Она помнит о том, что было. Несомненно, в 1852 году она переживает «состояние неизбежной слабости, связанной с возрастными изменениями в организме», но разве ее может волновать то, что поблекнет ее красота? Авторитет Жорж Санд спасает ее от людского равнодушия. Когда настанет момент перейти на характерные роли, та, которая всегда отказывалась быть только предметом роскоши, отнесется к этому если и не безразлично (каждая женщина спрашивает свое зеркало), то почти спокойно. Несмотря на свой возраст, Жорж Санд больше чем когда-нибудь сознает себя центром притяжения. Всесильный «матриарх», она царит в Ноане. Друзья Мориса — Бори, Мансо, Ламбер, Окант — благоговейно ухаживают за ней. Эжена Делакруа поразило, что в Ноане прочно обосновалось так много молодых людей.

Дневник Делакруа, 21 февраля 1852 года: «Странное впечатление производит эта бедная женщина в окружении нескольких молодых людей…», — так как Делакруа, поклонник традиций, любимец режима, уважал Санд, но с примесью некоторой суровости и жалости. А Санд считала, что единственное средство быть молодой — это жить среди молодежи: «У меня развлекаются, и потому я всегда весела…»

Морис Санд оставил нам в своих четырех альбомах с карикатурами изображение этого немного грубого веселья. Там мы находим в смешном виде и глазеющего по сторонам Ламбера и коротышку Бори. Мансо показан более деликатно. У него небольшие, тщательно подстриженные усы, он тощ и дрожит от холода после ледяного купания в Эндре. Мансо по-прежнему был любимцем госпожи Санд. Это был принц-консорт, почтительный, услужливый, золотое сердце. «Если бы вы его знали, вы поняли бы, что такую душу надо особенно ценить и бережно хранить…» Морис и Ламбер работали зимой в Париже; Бори, возвратившись из Бельгии, стремился разбогатеть, служа в парижском банке; Мансо и Мадам (он всегда ее так называл) оставались наедине. Мансо, с его сильным характером, с его честностью, приобрел такое влияние на Санд, как никто прежде. Она не могла обходиться без него, брала его с собой в путешествия и в Париж. Она посвятила ему пять своих произведений. Благодаря его вниманию она была освобождена от всех домашних забот. Каждый вечер он следил за тем, чтобы на ее письменном столе лежали тетради и стоял стакан подслащенной воды. «Все-таки, — говорил Теофиль Готье, — Мансо здорово оборудовал Ноан для ее работы! Не успеет она присесть в какой-либо комнате, как перед ней чудом возникают перья, синие чернила, бумага для сигарет, турецкий табак и линованная бумага…»

> *Записи Мансо, 23 июня 1852 года:* Сегодня утром приехал Ламбер. Разжирел. Получил заказы на картины; завивает себе усы пробочником… Идет дождь; невозможно выйти. Разговоры. Работа. Обед. Музыка. Вышивание. Морис сочиняет пьесу. Ламбер спит. Госпожа Соланж тоже. Отправляются спать в полночь; Мадам уходит писать письма.

> *Записная книжка Жорж Санд, 13 января 1853 года:* Барвинки, лавр-тимьян, мох, примулы, левкои, лиловые и белые. Японская айва цветет уже пятнадцать дней. Всюду

изобилие фиалок — в лесах и в саду. Куст розовых пионов покрылся большими бутонами… Сильных заморозков еще нет… Мы все еще читаем Бальзака. Я написала и отправила очень добродетельный разбор Леона Леони. Перечитала «Лукрецию», чтобы завтра опять сделать разбор…

14 января 1853 года: Довольно холодная погода. Морис уезжает завтра. Мы читали Бальзака и старались смеяться весь вечер — надо же как-нибудь мириться с неизбежностью…

28 января 1853 года: Наконец получила письмо от Мориса. Погода прелестная: розы, барвинки, левкои трех цветов; мальвы — двойные, простые, пестрые; зацветают гиацинты; миндальные деревья в разгаре цветения. Вчера вечером я написала пятнадцать страниц романа. Сегодня вечером — вышивание по канве. Читаем Ivangoe[61]. Бори спит и храпит; Соланж привязывает ему к волосам хвост от бумажного змея… Он бесится, ругается и вырывает вместе с лентой пряди волос. Вопит и бушует, бегает за Соланж, говорит ей грубости. Мансо веселится.

Записи Мансо, 1 февраля 1853 года: Госпожа Соланж встает в девять часов; она поднимает на ноги всех слуг, будит всех, кто еще спит, и даже Мадам! Это находят очаровательным. Только не я… Мадам вышивает весь день, чтобы закончить спинку с ирисами для кресла. Она погружена в свои мысли и очень красива с рукоделием в руках. Вечером Мансо вслух читает «Портскую красавицу». Бори и Эмиль уходят спать, все расходятся в полночь…

14 февраля 1853 года: Прекрасная погода. Мадам встала с мигренью, которая продолжается, все усиливаясь, весь день до восьми часов вечера… К обеду Мадам были поданы чай и хлеб с маслом. Но я делал все возможное, чтобы ее развлечь: мы ходили по саду, сажали цветы на острове; я острил, дурачился, веселился — ничего не помогало!..

Записная книжка Жорж Санд, 18 февраля 1853 года: Опять письмо от Наполеона, с охранным свидетельством господина де Мопа для Патюро…

Записи Мансо, 27 февраля 1853 года: Холодно, туманно и противно. Мадам чувствует себя хорошо. Предисловие к роману «Звонари» и поправки к роману. Мадам посвятила этот роман Ламберу. Спрашивается, достоин ли подобного счастья этот бесчувственный негодяй?..

Когда дом в Ноане был полон или когда приезжали друзья из Ла Шатра, монастырские правила соблюдались не менее строго: завтрак, час прогулки, работа, обед, домино, наконец чтение «вокруг стола». Этот большой овальный стол был произведением деревенского столяра, старика Пьера Боннена, знавшего Аврору Дюпен, когда ей было четыре года, и говорившего Жорж Санд, когда она приходила, в мастерскую повидать его: «Уходите отсюда, вы мне мешаете работать!» Вечерний стол играл в Ноане важнейшую роль. На его терпеливой спине лежало столько разнообразных вещей:

Шуточные и серьезные работы, прелестные рисунки или безжалостные карикатуры, картины, писанные акварелью или клеевой краской, макеты всех видов,

наброски живых цветов при вечернем свете, эскизы, написанные по памяти, или зарисовки во время утренней прогулки, препарированные насекомые, картонажи, нотные рукописи, эпистолярная проза одного, шуточное стихотворение другого, куча шерсти и шелка всех цветов для вышивания, всевозможные украшения для декораций театра марионеток, костюмы ad hoc[62], партии в шахматы или пикет, — что еще? Все то, чем можно заниматься в деревне в долгие осенние и зимние вечера, ведя непринужденные разговоры в кругу своих…

«В тот день, когда стол будет на чердаке, а я в земле, — говорила Жорж Санд, — здесь все изменится». Читали вслух, сидя вокруг стола. Пришлет ли Гюго свои «Созерцания» — Дюверне читает их вслух; идет спор о рифмах; хвалят лиризм поэта. Чаще всего госпожа Санд молча раскладывает пасьянс, или вышивает до полуночи, или шьет костюмы для марионеток, вышивает им платья. В полночь она закрывает заседание. Мансо зажигает лампу и провожает Санд до кабинета, где она сидит до шести часов утра, пишет, курит сигареты, бросая окурки в стакан с водой.

После полудня она занимается домом и садом. Это не малая работа. В доме громадный персонал: восемь или девять человек постоянной прислуги да еще поденщики в дни, когда замок полон гостей или когда Мадам готовит варенье из смородины, потому что она варит его сама и гордится своим рецептом. Столяр Боннен и художник работают круглый год. И все хорошо оплачиваются; у Санд правило — платить немного больше, чем ее соседи. Она не хочет, чтобы говорили: хозяева и слуги. Нельзя быть хозяином свободного человека. Есть «служащие дома», у каждого свои обязанности. Жорж любит хорошую работу и потому требовательна. Но никогда она не требует унизительных услуг. Она не признает ни ливрей, ни разговора в третьем лице. Отдавая распоряжение, она применяет беррийскую формулу: «Не хотите ли вы это сделать?» И любит ответ: «С удовольствием». Качество, которое она больше всего ценит в тех, кто ей служит, — скромность. Никто не должен рассказывать о том, что происходит в Ноане. Это осталось еще со времен ее юности, полной приключений и тайн.

Эта революционерка, управляя своим домом, неожиданно оборачивалась буржуазкой; и так же неожиданно в этой романтической натуре обнаруживалось верное «чувство науки». Странное сочетание слов, очень характерное для нее. «Учиться видеть, — говорила она, — вот и весь секрет изучения естественных наук». Но она к этому добавляла, что нельзя «видеть» — будь это даже только один квадратный метр сада, — если изучаешь что-либо без элементарного понятия о классификации. «Классификация — это нить Ариадны в лабиринте природы». Со времен Дешартра она обогащала свои гербарии. Дешартр уже давно умер: другой спутник в ее исследованиях, бедный Мальгаш, был при смерти. Для разведения гусениц она старательно продолжала искать вереск, четыре его разновидности: «Обыкновенный — пепельный, бледно-красный и растущий группами — лучший на мой взгляд. Но самого прекрасного из всех — бродягу — мы не нашли». Опьяненная природой, она больше не чувствовала ни вкуса к Парижу, ни нужды в нем: она ездила туда только по делам театра: «Я стряхнула с себя грязь этого проклятого города».

Наблюдая природу, легче переносить изменения в человеческом теле. Пожелтевшие осенние деревья предвещают приход зимы, но не заставляют проклинать ее; так и Жорж равнодушно принимает приближающуюся старость.

Старая женщина, — говорит один из ее персонажей, — что ж, это другая женщина, это мое другое «я», которое только начинает жить и на которое мне еще нечего жаловаться. Эта другая женщина не знает о моих прошлых ошибках. Она их не

> знает, потому что теперь не могла бы их понять, а также потому, что чувствует себя неспособной повторить их. Она кажется мягкой, терпеливой и справедливой, между тем как другая была раздражительной, требовательной и резкой… Она искупает все зло, которое делала другая, и, помимо всего этого, она ей прощает то, что та, другая, мучимая угрызениями совести, не могла сама себе простить…

Такова в лучшие дни позиция Жорж Санд на пороге ее пятидесятилетия. Она хотела бы, чтобы побудительной причиной ее поступков была не страсть, а доброта. Это свойство было у нее всегда, но иногда его заглушали вспышки ее неистовой натуры. Она была доброй рывками, а впредь она хочет быть такой всегда. Она считает свои искания законченными. Не то чтобы она смирилась, но последствия ее бурных страстей внушили ей отвращение к этим страстям. Она хотела бы в дальнейшем бороться только за счастье других, не ненавидя никого, не питая злобы ни к кому.

Это душевное состояние не будет постоянным. Старость не отличается от всей предыдущей жизни: у нее есть взлеты и падения. У Санд будут рецидивы, она будет раздражаться, желать, раскаиваться, проявлять слабость и несправедливость, откуда и ее приступы веселости. «Легкомыслие — это неистовое состояние», и шум заглушает внутренние голоса. Однако, желая быть последовательной, она не только прощает себе прошлое, но с чистой совестью преображает его, чтобы оно было достойным принятого ею решения, — быть милосердной. Мюссе? Она была ему ангельски предана, и больше ничего. Она уже забыла, что была возлюбленной, впившейся в свою жертву… Мистика страсти? Ненависть к замужеству? Это все было романтической модой. Порицания заслуживает эпоха, но не писатель.

Что касается ее прежних романов, свидетелей этого беспорядочного прошлого, то она их переиздавала, добавляла к ним новые, не печатавшиеся ранее предисловия, приспособляя их к своей новой философии. Это раздражило некоторых ворчунов, вроде Барбея д’Оревийи, который саркастически пародировал ее:

> Вы думали, что я была врагом брака… и что насчет пристойного союза между мужчиной и женщиной у меня есть свое довольно свободное представление? Так вот, после того как я тридцать лет поддерживала эти иллюзии, я могу теперь признаться, что это не так. Я не настолько умна для этого; я этого никогда не видела и не хотела так многого! Я наивная гениальная женщина, которая приносит романы, как персиковое дерево приносит розовые цветы, и которая всегда домогалась только одного — быть приятной…

В своих новых книгах она будет представлять институт брака все более и более достойным уважения. Да, конечно, любовь, угодная богу, диктуется сердцем, но тем она и отличается от инстинкта животных, что выбирает объект при помощи разума, и потому этот выбор исключителен и должен быть длительным. «А если любовь умирает, может быть, ее следует искать в другом месте?» — спрашивает персонаж романа «Констанс Веррье», актриса София Моццелли, чьим прообразом была Мари Дорваль. «Почему в другом месте? — возражает героиня. — Вы говорите, что властны над своим сердцем, так вылечите его от преступной скуки». Убить в себе жестокого демона желания, ближе узнать человека, с которым вы связаны, — это лучше, чем искать другого, — таков секрет счастливого брака. Было время, когда Бальзак радовался тому, что он учил этому Санд, но время в этих случаях лучший учитель, чем друзья.

Жорж Санд — Сент-Бёву, 15 декабря 1860 года: Я как дорога, которая то поднимается вверх, то катится под гору независимо от моего желания. Жизнь ведет меня, куда хочет, и уже много лет я так равнодушна к вопросам любви, что не защищаю себя ни от чего; я пересекаю ясные сферы и благодарю бога за то, что он меня в них впускает, но как это случилось, я не знаю. Может быть, благодаря моим хорошим намерениям: «Pax hominiblis bona voluntatis[63]».

Глава вторая
Семейный круг

Эта новая философия брака пришла к Жорж слишком поздно для того, чтобы укрепить супружеское благополучие бедного Казимира; но вряд ли вообще можно было спасти этот союз. Бывает так: чем больше женщина изучает характер мужа, тем менее находит в нем приятных черт. В таком случае напрасно проповедовать примирение. Санд должна бы знать это лучше, чем кто-либо. Но старые женщины рассматривают житейские драмы под другим углом зрения, чем молодые. Они начинают об этом размышлять тогда, когда это касается не их самих, а их дочерей, невесток, внучек, и тогда у них вдруг появляются силы противостоять страстям других. Мать Соланж Клезенже не могла ни судить, ни чувствовать, как жена Казимира Дюдевана.

Соланж и ее мать относились сурово друг к другу. Санд и Морис образовали блок против этой злой маленькой девочки, которая нашептывала всем и каждому в отдельности свои доносы так коварно и так правдоподобно, что в конце концов все вокруг нее стали беспричинно ненавидеть один другого. «Вплоть до петухов, становившихся более воинственными, вплоть до собак, становившихся более злыми во время пребывания Соланж». С самых юных лет она была свидетельницей всех любовных связей своей матери; сначала она осуждала их, а потом завидовала им. «Когда я говорила с ней о боге, — говорит Санд, — она смеялась мне в лицо». Нужно признать, что Соланж прошла хорошую школу легкой любви. Но Жорж этого не понимала. Она не видела себя такой, какой ее видела Соланж. «Она льстит себя надеждой, — писал сурово Сент-Бёв, — что никогда не поверят правде и что пустословие в конечном счете одержит верх». Поведение Санд было гораздо более искренним, чем он думал. Грубый ум Соланж, ее наглый цинизм шокировали в госпоже Санд одновременно мать, буржуазку и романтика. Называя друг друга «моя толстушка, моя милочка, моя дорогая», эти две женщины не любили друг друга. Во времена Шопена между ними было тайное соперничество. Соланж вела себя тогда недостойно. Прошло время, Санд захотела простить дочь и даже поверила в это. Она дважды давала своей дочери приданое: сначала отель Нарбонн; потом, после наложения ареста на него, — ренту; ей хотелось, чтобы по крайней мере не распался брак с Клезенже.

Из этого ничего не вышло. Сумасбродный Клезенже за год наделал столько долгов, что продажа заложенного особняка оказалась неизбежной; он разорил жену и очень дорого обошелся своей теще, так как Санд — хотя и тщетно — пробовала спасти его. Однако Соланж, верная системе — клеветать на близких, — рассказывала своим друзьям Бакан, что ее преследуют «кредиторы матери». Скрытная по природе, она не делилась с матерью своими семейными переживаниями. «Я о ней знаю только то, что она хочет мне сказать, а она говорит только то, что считает выгодным для себя рассказать…» Благодаря рождению маленькой Жанны Клезенже, Нини, отношения между матерью и дочерью как-то стали лучше, но не ближе. «Из них двоих Клезенже безрассуднее, но не хуже», — говорила Санд. В феврале 1851 года Соланж и Нини прибыли в Ноан.

> *Жорж Санд — Огюстине Бертольди, 24 февраля 1851 года:* Что касается серьезных дел, то скажу тебе, что Соланж появилась здесь накануне приезда Мориса и провела у нас четыре дня вместе со своей дочкой, очень хорошенькой, но нелегкой девочкой. Соль приехала с решением быть любезной и действительно была любезной с большим апломбом, как светская дама, совершенно равнодушная в глубине души. Вот все, что я могу о ней сказать, так как понять причину этого визита и сокровенную суть намерений Соланж никто не может. Она говорит о том, что хочет провести где-то

поблизости несколько летних месяцев, что ищет помещение; она его не найдет, потому что здесь нет таких помещений. Я не знаю, возможно, это был прием, чтобы заставить нас пригласить ее. Я ей сказала категорически, что не хочу брать к себе ни ее мужа, ни ее домашних, ни ее друзей, ни ее лошадей, ни ее собак, что возьму к тебе только ее и Жанну, при этом буду начеку и приму меры предосторожности против ее выходок; на это она ответила, что она вовсе не намерена жить у меня, так как мой дом не мог бы выдержать тот образ жизни, какой ведет она. Она сказала, что ее муж зарабатывает много денег. Я этому верю. Вопрос только в том, платят ли они долги. Она всегда его защищает, говоря, что у него плохой характер, но доброе сердце. Тем лучше, если она довольна. Мне кажется, что она видит свое счастье в одном: она хочет быть светской женщиной; но все окружающее ее общество она поносит и жестоко высмеивает. К сожалению, она плохо себя чувствует, по-моему, виновата она сама — она сделала себе выкидыш и уже на следующий день ездила верхом; в результате уже несколько месяцев она никак не может поправиться. Она мне пишет претенциозно-нежные письма. Я все обдумала и решила — больше я не сержусь, не огорчаюсь, меня уже никто не обманет. Я смотрю спокойно на то, что есть и чего нельзя изменить…

Так велик был ужас, внушаемый Санд этими супругами, что она считала их способными на преступление. Она умоляла Мориса не обедать у своей сестры.

Жорж Санд — Морису, 2 января 1851 года: Мне очень не нравится, что ты у них обедаешь… Клезенже сумасшедший, Соланж бессердечна. Они оба беспринципны, безнравственны, так что в какой-то момент они могут быть способны на все… Для них выгодно, чтобы тебя не было на свете, а выгода для них важнее всего. Соланж всегда бешено ревновала к тебе. Они тебя добиваются. Клезенже ходит за тобой по пятам… Будь крайне осторожен у них, и еще раз говорю, не ешь и не пей… Сожги мое письмо, но помни о нем. Преступление не всегда таково, как о нем думают. Это не принятое заранее решение, но роковое стремление, которое медленно созревает у злодеев. Это акт бреда, и чаще всего порыв безумия…

Она признавалась, что не испытывает к дочери никакой привязанности: «Для меня она брусок холодного железа, существо незнакомое, непонятное…» Самой Соланж Санд писала тогда: «У тебя какая-то невероятная жизнь, моя дорогая толстушка, прямо фантастическая, и чем дальше, тем меньше я в ней понимаю…» Фантастическая? Да, Соланж действовала очень странно. На некоторое время она отправилась к отцу в Гильери, и бедный Казимир, не очень уверенный в том, что заслужил честь этого отцовства, взвалил бремя на свои плечи, что не помешало Соланж жаловаться на него. Клезенже изменил ей, Соланж захотела отомстить ему, и, так как она отличалась оригинальной красотой, была блестяще остроумна и эффектна, она легко нашла поклонников. В 1852 году она оставила Клезенже, который «обращался с ней как с натурщицей». Впоследствии из монастыря, в котором она нашла себе временное убежище, она продолжала жаловаться.

Соланж Клезенже — Жорж Санд, 23 апреля 1852 года: Неужели так и пройдут лучшие годы моей жизни? Без родных, без друзей, без ребенка, наконец, даже без собаки, которая бы помогла заполнить пустоту?.. Одиночество среди движения и шума, а рядом развлекаются люди, скачут лошади, поют женщины, играют на солнце дети, рядом существа, любящие друг друга, счастливые! Такое одиночество не скука,

это безнадежность. И еще удивляются, что бедные девушки, неразвитые и необразованные, дают себя увлечь удовольствиям и пороку! А разве женщины со здравым смыслом и с сердцем всегда умеют уберечься от этого?..

Жорж Санд — Соланж Клезенже, 25 апреля 1852 года: Я много прожила, много работала, одна, в четырех грязных стенах, в лучшие годы моей молодости, как ты говоришь, и не жалею, что я это узнала, что я пошла на это. Одиночество, на которое ты жалуешься, — другое дело… Это следствие твоего поведения. Возможно, что твой муж не заслужил такой неприязни и такого бурного разрыва. Думаю, что можно было расстаться иначе, с большим достоинством, терпением и благоразумием. Дело сделано, его не поправишь… Но я нахожу, что у тебя нет оснований жаловаться на последствия твоего решения: ты его приняла самостоятельно, забыв о родных, друзьях и ребенке, отсутствие которых ты чувствуешь сегодня. Из-за ребенка ты должна была потерпеть; друзья этого хотели; а родные, ведь ты говоришь обо мне, настоятельно просили, чтобы ты выбрала лучший момент и чтобы мотивы были бы более доказательными… Я не вижу, чтобы друзья, которыми ты себя окружила в свете, по доброй воле отойдя от меня, остались более верными тебе, чем те, которые к тебе перешли от меня… Нет ни одного из моих старых друзей, который не был бы готов простить тебе твои заблуждения по отношению ко мне и принять тебя, как раньше… Количество их, правда, невелико, это люди небольшого веса и невысокого полета. Это не моя вина. Я не родилась принцессой, как ты, и устанавливала отношения, следуя моим простым вкусам… Итак, самое большое несчастье твоего положения, что ты моя дочь, но в этом я ничего не могу изменить.

Тебя могли бы утешить деньги, много денег. В роскоши, в лености, в опьянении жизни ты могла бы забыть пустоту твоего сердца. Но чтобы дать тебе то, что ты требуешь, я должна была бы работать вдвойне, иначе говоря, умереть через полгода, потому что уже та работа, которую я сейчас делаю, превышает мои силы… Деньги у тебя все равно не удержались бы, значит это ничему не поможет, ведь наследство после меня не сделает вас богатыми — твоего брата и тебя. Кроме того, если бы я даже стала работать вдвое больше и прожила еще несколько лет, — я не уверена, что мой долг состоит в том, чтобы обречь себя на жизнь каторжника, сделать из себя рабочую лошадь только для того, чтобы доставить тебе роскошь и удовольствие?..

Я дам тебе больше, чем могу. Мой дом будет открыт для тебя до тех пор, пока ты не внесешь в него сумятицы своими глупостями или отчаяния своими злобными выходками. Я буду заботиться о твоей дочери, воспитывать ее, сколько ты захочешь, но не буду обращать внимания на твои жалобы относительно безденежья или лишений, которые тебе придется терпеть в Париже… Рассуждения в твоем письме о женщинах со здравым смыслом и с сердцем, иногда предающихся, подобно необразованным девушкам, удовольствиям и порокам, заставляют меня думать, что Клезенже не всегда лгал, рассказывая о некоторых твоих угрозах. Если у тебя сумасшедший муж, то и ты не лучше его… бывают минуты, когда ты не соображаешь, что думаешь и что говоришь. В таком состоянии ты и была, когда написала мне этот странный парадокс… Если ты часто говоришь подобные глупости, то я не удивляюсь, что Клезенже сошел с ума… Ты считаешь, что трудно, будучи бедной и одинокой, не погрязнуть в пороке? Тебе, видишь ли, тяжело, потому что ты сидишь в четырех стенах, а до тебя снаружи доносится смех женщин, галопирование лошадей? «Велика беда!» — как говорит Морис. Настоящая беда — это иметь мозг, в котором может родиться такое

рассуждение, как твое: «Мне нужно либо счастье, либо порок…» Попробуй-ка испытай порок и проституцию… Да ты неперeступишь порога двери, чтобы пойти за роскошью, забыв о своей врожденной гордости… Обесчестить себя не так просто, как ты думаешь. Нужно представлять собою нечто более необыкновенное и по красоте и по духовному содержанию, чем ты, чтобы тебя преследовали или хотя бы домогались покупатели. Или же надо быть более безнравственной, заставлять желать себя, симулировать страсть или распущенность — словом, делать много гадостей, о которых ты, слава богу, ничего не знаешь. Мужчины, у которых есть деньги, хотят женщин, умеющих отрабатывать их, а эта наука наполнит твое сердце таким отвращением, что переговоры не будут долгими…

Я знала молодых женщин, боровшихся против страсти, против любви или чувственности и в тоже время пугавшихся домашних неприятностей, в безумном страхе не устоять перед невольными увлечениями. Но я не видела ни одной, которая, получив такое воспитание, как ты, прожив в атмосфере достоинства и нравственной свободы, встревожилась бы тем, что лишилась благосостояния, что стала одинокой, указывая на ту опасность, которая может последовать за этим. Женщина с сердцем и здравым смыслом, как бы сильна она ни была, может опасаться, что ее увлечет любовь, но не алчность. Знаешь, будь я судьей в твоем процессе и прочитай я твои сегодняшние афоризмы, я, бесспорно, не отдала бы тебе дочери…

Соланж должна была горько смеяться, читая: «Получив такое воспитание, как ты, прожив в атмосфере достоинства и нравственной свободы…» Тем не менее мать писала ей эти слова, веря в них. Она могла бы понять прекрасную, бескорыстную любовь, но она не могла допустить продажности. Соланж ответила ей: «Тебе легко говорить о бескорыстии: ты всегда была богата. У меня же нет ничего, кроме жалкой пенсии, которую ты мне даешь; и на это надо жить». Разрыв с Клезенже сопровождался процессом (нереальным) о возврате приданого и ссорами по поводу Нини, которая была, к счастью, отослана в Ноан.

Соланж Клезенже — Жорж Санд, 29 апреля 1852 года: Мой муж сумасшедший; он всегда им был… Я всем сердцем согласна, чтобы ребенок был передан тебе. Ты или я — это одно и то же. Но ни в коем случае я не могу доверить ему дочь на два месяца в год… Теперь она слишком мала, чтобы оставить ее подобному человеку, у которого она во всем будет нуждаться. Позднее, когда она станет девушкой, будет не менее опасно оставлять ее у такого грубого, такого циничного человека…

У Жорж Санд уже был опыт по похищению детей. Чтобы защитить Нини от мраморщика, она привела Ноан в состояние обороны; в случае необходимости она может мобилизовать пожарных Мансо. Теперь, когда ей доверили воспитание внучки, она вновь обрела радость, которую некогда испытывала, живя с детьми. Она с наслаждением сделалась бабушкой. Чувство нежного покровительства было у нее на первом месте. Ее подлинным призванием было — обучать. Нини и Жорж стали неразлучными: они вместе украшали «кукольный сад», который когда-то госпожа Дюпен создала для Авроры, называвшей его маленьким Трианоном. В нем были миниатюрные горы, крошечные швейцарские домики, дорожки, покрытые мхом, и водопады, которые снабжались водой из цинкового водоема, скрытого среди деревьев.

Жорж Санд — Огюстине де Бертольди, 28 октября 1853 года: Целыми днями я работаю в моем маленьком Трианоне: перевожу на тачке камни, вырываю и сажаю

плющ; к вечеру я устаю в этом кукольном саду, благодаря чему сплю и ем как нельзя лучше…

Жорж Санд — Соланж Клезенже: Я купила ей соломенную шляпу для сада, четыре утренних платья, обувь и т. д. Теперь ей нужна только шляпа по твоему вкусу, простенькая и дешевая, но которая по крайней мере не будет в ужасном вкусе Ла Шатра… Я купила также чулки. Нагруднички и панталоны уже готовы. Наша девочка очаровательна, поразительно здорова, читает довольно внимательно. Мы с ней не разлучаемся с полудня до девяти часов вечера. Утром она с Мансо, который ее обожает…

«Королева всех Нини» царила в Ноане. «Она соглашается на клизмочку только при условии, что цветы и ленты будут развеваться вокруг клистирной трубки, а Мансо во время этой операции будет насвистывать какой-нибудь мотив». Когда в тихий период кратковременного примирения Соланж снова берет к себе девочку, «без которой она не может жить», бабушка выражает протест: «Я буду заботиться о Нини столько, сколько нужно. Бедный ребенок не будет ни спокоен, ни счастлив, пока этот спор не разрешится». Санд особенно не желает этих вечных поездок туда и обратно: «К моему горю, я очень привязываюсь к существам, о которых забочусь, и не люблю всяких неожиданностей… Если примирение не состоится, ты привезешь мне Нини, больную, сбитую с толку, раздражительную, неуживчивую…» Действительно, так и произошло, но обаяние Ноана снова подействовало.

Жорж Санд — Соланж Клезенже, 21 сентября 1852 года: Нини чувствует себя чудесно, ее характер неузнаваем… Со мной она восхитительна… Ее нервы успокаиваются. Она пополнела, красива, как никогда. Она часто о тебе говорит, но не скучает без тебя и уверена, что завтра ты вернешься. Она удивительно понятлива, очень любит описывать сад, говорит, что солнце «надевает свой серый плащ», что у звезд «золотые лапки», что цветок — ночная красавица — раскрывается вечером в то время, когда закрываются мальвы, описывает светлячков и т. д. Одним словом, нет ничего милее этой маленькой девчурки…

Неопубликованные записные книжки Жорж Санд, которые чаще всего вел Мансо, а иногда и она сама, сохранили нам воспоминание об играх бабушки и внучки, об их занятиях в беррийском Трианоне и странных вечерах в Париже, — куда Жорж увозила с собой Соланж, Нини, Мориса и Мансо — обедать у Маньи, — а потом тащила в Одеон или в Амбигю этого четырехлетнего ребенка, которого ни мать, ни бабушка, обе изголодавшиеся по театру, не знали, куда девать на время спекгакля.

Записная книжка Жорж Санд, 19 апреля 1853 года: Я навожу последний лоск на мой маленький Трианон. Мансо устраивает водопад, я — рощу Вакха. Эмиль потрясен; соловьи тоже… Я одна, читаю последний том моих воспоминаний…

20 апреля 1853 года: Погода восхитительная, немного пасмурно, но тепло. На глазах распускаются листья. Я сделала горку около Трианона, но Мансо за два часа разрушил ее! Вместо нее он поставил дольмен, а в нем есть резервуар, из которого льется струя воды в грот Трианона. Какой сюрприз для Нини, а еще больше для меня, более ребячливой, чем она!.. Струя воды льется в продолжение двух часов… Я абсолютно ничего не сделала сегодня, только вышила один нарцисс на ковре… Брожу

без цели. Ах! Если бы это могло продолжаться! Мы отправляем первый том «Звонарей» Дютаку…

21 апреля 1853 года: Весь сад заново переделан и вычищен. Он великолепен. Тюльпанов еще нет, но зато в маленьком лесу нарциссы, целые ковры императорских фиалок. Анютины глазки очень красивы. Маргаритки, первоцвет, терн… Сделала второй холмик в Трианоне, чтобы покрыть резервуары… Начала вышивать птичьи гнезда на кресле…

Здесь Мансо продолжает запись: Она также начинает продолжение «Моей жизни»: четвертую часть седьмого тома…

13 апреля 1853 года: Нини становится премилой. Но она все еще пытается есть суп пальцами, а бабушка возражает… Нини будет совсем милой, когда ее мамочка приедет строить для нее гроты своими розовыми ноготками…

16 июня 1853 года: Госпожа Соланж должна приехать завтра, значит она не приедет…

17 июня 1853 года: Госпожа Соланж не приехала, черт возьми!

18 июня 1853 года: Госпожа Соланж явилась сегодня утром… Вечером она заставила Нини обедать совсем голой, а утром жаловалась на холод и на деревню. Боже мой!..

Записная книжка Жорж Санд, 29 августа 1853 года: Дождь и холод. Правлю мемуары. Я выхожу из дому только после обеда. Погода хорошая; небо светлое; я отлично вижу комету в очень красном закате. Мансо — отшельник. Морис — Бертран, Ламбер — Лелия и т. д. — импровизируют пьесу в декорациях леса. Можно умереть со смеху, глядя на их костюмы. Спектакль очень красивый и забавный по своей напыщенности и нелепости. Меня он очень развлек, тем более что я совершенно этого не ожидала… Па-де-де и балет исполняли Ламбер (чертовка) и Мансо (монах), изображая искушение святого Антония; великолепная штука!.. Пьеса называется «Вера и Сомнение»…

Записи Мансо, 17 ноября 1853 года: Уезжаем из Ноана в 3 часа утра. Морис хотел поспать часок; отказывается есть вальдшнепы, которые Мансо так ловко разрезает. Мы приезжаем в Шатору около шести часов; нельзя было сдержать лошадей! В Париж отправляемся в 9 часов 30 минут… Мы занимаем только одно купе! Поезд прибывает в Париж в 6 часов вечера. Жан забирает весь багаж. Обед у Маньи. Возвращаемся. Мадам приводит в порядок белье и ложится спать в 10 часов 30 минут.

19 ноября 1853 года: Мадам чувствует себя довольно хорошо… Репетиция первых шести картин. Купюры. Ваёз в ярости от актеров. Обед у Маньи, потом отправляемся с Морисом, госпожой Соланж и Нини смотреть «Шампи» в Одеоне…

Записная книжка Жорж Санд, Ноан, 19 декабря 1853 года: Превосходная погода. Я с Нини и ее куклой отправляемся в экипаже в лес Манье. С нами Жан: он на козлах с

лопатами и корзинами. Мы шлепаем по грязи, но зато увозим славный урожай для Трианона… Нини очень мила; по дороге она задает мне много вопросов о «том, что делается с людьми, когда они умирают…»

27 декабря 1853 года: Весь день идет снег. Рыб затянуло льдом: стараются их высвободить. Птицы молчат. Мой Трианон напоминает Швейцарию… Я пишу письма и переписываю понемногу начисто «Теверино»… Отец Олар и Черный Пьер приходят обедать. Крестьянин ест плохо (потому что они никогда не пробуют блюд, которых не знают). Эмилю удается заставить его отведать померанцевой водки. Играю в карты с Мансо, потом считываю «Даниеля» с Эмилем. Поднимаюсь к себе в 10 часов. Пишу стихи для отца Олара и для Эмиля, затем «Теверино»…

Записи Мансо, 28 декабря 1853 года: Много снега. Мадам чувствует себя хорошо и, чтобы немного размяться, разгребает снег лопатой; делает она это с таким рвением, что ей становится жарко, как в августе! Карпы продолжают умирать. Мансо за всю жизнь никогда не убьет дрозда….

29 декабря 1853 года: Нини возвращается от госпожи Перигуа со множеством игрушек. Она ошеломлена платьями, которые прибыли сегодня утром от ее мамочки.

Как это было некогда с обеими дамами Дюпен, внучка объединяла на несколько дней мать и бабушку. Вместе они восхищались ее словами.

Жорж Санд — Соланж Клезенже, 9 февраля 1854 года: Милее всех здесь Нини; веселье всего дома в ней и Мансо, который настолько ставит себя на ее уровень, что она часто спрашивает меня: «Бабушка, неужели я еще глупее его?» Она обворожительна!..

Жорж Санд — Огюстине Бертольди, 12 марта 1854 года: В Ноане обычная жизнь. Соланж сейчас здесь; нельзя сказать, что она развлекается до потери сознания: поэтому пребывание ее будет недолгим. Самое умное, что она делает, она оставляет мне Нини, которая прелестна и без которой я не могу жить. Мансо заботится обо мне, как могла бы это делать добрая старушка. Это превосходный малый, как бы я ни хмурилась, он преданно составляет компанию мне. У Мориса в Париже успехи…

Но между Соланж и ее кирасиром не могли долго продолжаться хорошие отношения. В мае 1854 года произошла новая катастрофа. Клезенже, узнав о связи своей жены с графом Карло Альфиери, депутатом Альбы в пьемонтском парламенте, ворвался в комнату Соланж. После ужасающей сцены он схватил все письма любовника и отослал их своему адвокату Бетмону с такими Словами: «Что мне делать? У меня хватило мужества, чтобы не убить ее…» После чего он покинул супружеский кров, явился в Ноан в сопровождении «человека с орденом», забрал Нини и потребовал развода с неверной женой, на этот раз в свою пользу. Снова бедная девочка переходила из рук в руки: то ее поручали крестной матери, госпоже Бакан, то отцу; наконец она была помещена отцом в пансион. Письма Жорж Санд к госпоже Бакан показывают, что в течение месяца она не знала, где ее внучка и что с ней.

Происшествие дало первый результат, совершенно неожиданный. Соланж, сломленная столькими переживаниями, пожелала обратиться к вере. Ее кузен, Гастон де Вильнёв, человек очень набожный, направил ее к отцу Равиньяну. И она нашла себе пристанище в монастыре

Сакре-Кёр: «Если я не уверую в бога, это будет не по моей вине. Во всяком случае, я украду у Генриха IV его поговорку и скажу: «Моя дочь стоит обедни». В надежде на поддержку неба Соланж в первый раз в жизни проявила некоторое смирение: «Нужно чудо, чтобы мне вернули мою дочь. Бог делает чудеса. Но заслужила ли я, чтобы он совершил одно для меня? Нет…» Жорж Санд немедленно воспользовалась этими словами: «Если ты действительно настроена так богобоязненно, помирись с Огюстиной, пора вам с ней дружески обняться». И удивительно изменившаяся Соланж согласилась на это примирение.

Желанное чудо произошло 16 декабря 1854 года. Суд, расторгнув брак супругов Клезенже, доверил заботу о ребенке бабушке.

> *Жорж Санд — Соланж Клезенже, 17 декабря 1854 года:* Какое счастье, дочь моя! Вот чем укрепится твоя вера! Бог нам помог, и, к какой бы религии ни принадлежать, видишь эту помощь, когда ее ищешь и молишь о ней. Возвращайся немедленно, но с Жанной…

Приближался день Нового года. Какой праздник устроил бы Ноан для Нини, если бы она вернулась в этот момент! Увы! Надо ждать утверждения приговора. Клезенже может еще обжаловать решение, а адвокат Бетмон неумолим. 1 января 1855 года Соланж могла только отнести игрушки в пансион Делиньер, на улице Шатобриан. Сама же Соланж, как в детстве, нашла под своей дверью четыре строчки, написанные Жорж в духе народной песенки; это слова растроганной и взволнованной матери:

> Всю, всю любовь в прекрасный день такой
> моей Соланж отдам я дорогой.
> Она разумной очень хочет стать,
> и ей бы только мужества достать.

Временное постановление задерживало ребенка в пансионе. «Отец в январе месяце выводил дочь гулять, — писала Санд, — не обращая внимания на то, что она в летнем платье!» Вечером он привозил ее обратно совершенно больную и отправлялся на охоту далеко от Парижа, а куда — никто не знал. Санд была встревожена. 29 декабря 1854 года: «День gloomy[64]. Все мои мысли о Нини. Пишу письма. Неотвязные мысли». Увы, мрачные предчувствия быстро подтвердились. У Нини обнаружилась скарлатина, и бедная малютка умерла.

> *Жорж Санд — Шарлю Эдмону, 7 февраля 1855 года:* Ужас в том, что ее убили, убили мою несчастную девочку… Я должна была за ней поехать; суд доверил ее мне. Из самолюбия отец противился… Он подал в суд апелляцию, и поэтому решение суда нельзя было выполнить сразу… Напрасно я писала этому черствому и холодному адвокату, что за моей крошкой плохо смотрят в том пансионе, куда он ее поместил!.. Пригласили ее мать и позволили ей ухаживать за девочкой уже тогда, когда было ясно, что она погибает. Нини умерла на руках матери, улыбаясь, разговаривая, задыхаясь от опухоли в горле; она говорила: «Нет, мамочка, уходи, я не поеду в Ноан. Ведь я не выйду отсюда…»

> *Записи Мансо, 14 января 1855 года:* К 10 часам нарочный из Шатору принес телеграмму, извещавшую, что страдания бедняжки Нини кончились в ночь со вчера на

сегодня. Мадам в глубокой скорби, я мы все вместе с нею…

16 января 1855 года: Прибывают Соланж, Ламбер, Эмиль… и Нини! Ее переносят в церковь. Урсула, Перигуа, Вернь, госпожа Десер и госпожа Перигуа пришли на похороны. В половине второго маленькое тело опущено в землю Бонненом, Жаном, Сильвеном и садовником.

Записная книжка Жорж Санд, 17 января 1855 года: Оплакав таившееся в душе горе, я заснула. Я упорно думала о ней, и мне кажется, что она мне отвечала. Соль подавлена и потому спокойнее. Пишу несколько писем… Соланж поднимается к обеду. Перечитываем «Лауренсию». Соланж старается слушать. Ухожу к себе в час мочи. Сердце обливается кровью.

18 января 1855 года: Сегодня ничего нового. Я не работаю. Бесцельно брожу. Разговариваю весь день, а на душе печально. Земля покрыта снегом. У Соланж насморк. Она совсем больна. Читаем Купера. Вышиваем. Морис и Ламбер рисуют клеевой краской. «Лауренсия» — исправления.

Записи Мансо, 22 января 1855 года: Мадам чувствует себя довольно хорошо. Оттепель… Мадам вместо с госпожой Соланж пишет о бедной Нипи (она собирается писать «После смерти Жанны Клезенже»). Обед. Спор о будущих мирах. Вышивание. Купер. У госпожи Соланж насморк; ее лечат пластырями. Мадам возьмется за свой очерк о Нини сегодня ночью, после нашего ежедневного дневника.

Не нужно строго судить эту непреодолимую потребность, которую испытывала Санд, — написать статью о смерти своей внучки. У писателя самые искренние чувства превращаются в слова и фразы. Часто он чувствует только то, что может написать. Жорж Санд пыталась работать, потом начинала разглядывать куклы Нини, ее книги, ее тачку, ее лейку, ее маленькие работы, сад, который они создавали вместе. «Провидение очень сурово к человеку, особенно к женщине», — говорила она.

Жорж Санд — Огюстине де Бертольди, 18 января 1855 года: Моя дорогая, благодарю тебя за письмо. Я разбита, сердце обливается кровью. Я не больна, мужества у меня сколько нужно, не беспокойся. Соланж все время возбуждена и поэтому, насколько возможно, сильна; вчера мы похоронили это несчастное дитя подле моей бабушки и моего отца. Мы все в подавленном состоянии. Не знаю еще, как долго моя скорбь будет такой глубокой. Будь уверена, что я сделаю все возможное, чтобы она не убила меня. Я хочу жить для тех, кто у меня остался. Я люблю тебя и целую от всей души, моя дорогая дочь. Соланж растрогана твоей нежностью. Она чувствует ее и понимает…

Бывают такие добрые души, которые никогда не могут насытиться чужим горем. Им всегда хочется, чтобы несчастные пострадали еще немного. Санд осуждали за то, что она, несмотря на траур, ходила смотреть на прыжки саламандр в маленьком пруду; за то, что она спрашивала Мориса, была ли Соланж «хороша и красочна» 23 февраля на обеде у принца Наполеона; за то, что в июле возобновились спектакли в Ноане. Но Жорж Санд, как Гёте, была против того, чтобы культивировать скорбь. «Минуя могилы, вперед!» — под таким девизом она могла бы подписаться.

После смерти Нини «мальчики» Санд — Морис, Окант и Мансо, — чтобы развлечь ее, решили увезти в Италию. Это было прекрасное путешествие, сначала морем от Марселя до Генуи, «где мы завтракали на свежем воздухе под апельсиновыми деревьями, сплошь покрытыми плодами»; потом сушей через римскую равнину, «сидя друг на друге в чем-то вроде дилижанса», во Флоренцию, через Фолиньо, мимо озера «Тразимен, где Аннибал дал взбучку римлянам». Это фраза Мориса Санд, который описал Титин путешествие в фантастическом стиле: «Мы пересекаем владения герцога Моденского, где все из белого мрамора, все, начиная с изгороди крестьянской хижины до герцогской короны. Эти владения имеют 12 лье в окружности; войско состоит из 13 человек, включая музыкантов, и все его подданные торгуют мрамором…»

Из «безграничного юмора» можно понять, что путешествие было веселым, что домашние художники рисовали грубые карикатуры во вкусе Санд, что Мансо подстриг свои усы и целовал ногу святого Петра, что Санд, окрепнув, взбиралась на горы, усталая, веселая, что были обнаружены неизвестные растения и насекомые, что охотились за бабочками на развалинах Тускулума, короче говоря, что весь настрой этого итальянского похода был не такой, какой мы видим в «Письме к Фонтану». Санд была счастлива, но твердо решила находить все плохим и на каждом шагу сожалеть о Франции. Отсюда такие удивительные суждения: «Не верьте ни одному слову, когда будут говорить о величии и особой красоте Рима и его окрестностей. Для того, кто видел другое, все это незначительно; хотя и очаровательно в своей кокетливости… Рим во многих отношениях настоящие качели; нужно быть сторонницей Энгра, чтобы всем восхищаться… Это любопытно, это красиво, это интересно, это удивительно, но это слишком мертво… Город отвратителен в своем уродстве и грязи! Это Ла Шатр, увеличенный во сто раз…» О, беррийка!

А истина была в том, что она воспринимала зрелище Рима с заранее решенной враждебностью. Своему другу Луиджи Каламатта, упрекавшему ее в том, что она говорит только о нищих и мошенниках, а в Риме ведь существует и честный народ и мученики за свободу, она ответила, что императорская цензура не разрешила бы ей говорить об итальянских либералах, о Маццини и о Гарибальди, которых она любит: «Раз нельзя говорить о том, что в Риме сейчас молчит, парализовано, исчезло, то надо ругать в Риме то, что в нем ясно видно, что в нем культивируется: грязь, лень, бесчестность… Все-таки надо было когда-нибудь сказать о том, что получается, когда подпадают под власть сутаны, и я правильно сделала, сказав об этом, чего бы это мне ни стоило…»

Эта вспышка антиклерикализма тем более удивительна, что она проявилась вскоре же после намерения поместить Нини в монастырь, и в тот момент, когда у Санд было так много друзей — священников в окрестностях Ноана. Приписать ее можно, с одной стороны, тому, что в Санд было живо еще вольтерьянство, всегда готовое вторгнуться в ее ум, а с другой — тому, что она затаила в душе злобу против тех, кто подал ей напрасную надежду на чудо — на жизнь внучки, но главным образом тому, что политика Второй империи, не религиозная, а клерикальная, внушала ей отвращение. Она видела, что свобода мысли была под угрозой, что молодых педагогов преследовали; она считала необходимым реагировать на все это. Книга, которую она написала о своем путешествии по Италии, «Даниелла», — скорее памфлет, чем роман, — доставила ей много неприятностей. Газету «Ла Пресс», опубликовавшую ее, как роман с продолжением, хотели закрыть. Жорж Санд обратилась за помощью к императрице, которую тронула своим рассказом о судьбе корректоров и ни в чем не повинных рабочих. Императрица постаралась исполнить ее просьбу, что со стороны набожной испанки было смелостью, но тем не менее благосклонность госпожи Санд ей не удалось завоевать.

Глава третья
Беспощадная коса времени

Во время путешествия по Италии Жорж узнала о смерти бедняги Мальгаша; а она так радовалась, что привезет неизвестные ему растения. В старости ум становится кладбищем. И самые любимые и нелюбимые — все бродят ночью среди могил. Красавец Ажассон де Грансань умер в 1847 году, Ипполит Шатирон — в 1848 году, Шопен и Мари Дорваль — в 1849 году, Бальзак и Карлотта Марлиани — в 1850 году, Латуш и тетя Люси Марешаль — в 1851 году, Плане — в 1853 году, Нини Клезенже и Неро — в 1855 году.

Тем не менее Ноан был переполнен гостями. Мансо никогда не покидал своего поста; другие «мальчики» приезжали в Ноан при первой возможности. Морис беспокоил мать разбросанностью своих интересов. Он делал довольно хорошо множество вещей, но ни одной превосходно. Его карикатуры были забавны, его иллюстрации изобретательны и поэтичны, мелодрамы, которые он сочинял для марионеток, очень смешны; он даже написал роман. Однако он не выходил из безвестного существования. Бремя материнской славы давило его. Санд, любившая сына всем сердцем, помимо своей воли сохраняла покровительственный тон, говоря с ним о его работе: «Покажи твой роман Бюлозу, он возьмет его, чтобы доставить мне удовольствие».

Художника не так ободряют. Морис приближался к сорока годам; в этом возрасте уже трудно быть только сыном своей матери. Она бы очень хотела, чтобы он женился, и в этом отношении он тоже не сделал выбора. Санд все еще сожалела, что Морис не женился на «дорогой Титин», с которой она регулярно переписывалась. Бертольди всегда о чем-нибудь просили. Ни Огюстина, ни ее муж никогда не были довольны своим положением. Если они были в Люневилле — они хотели жить поближе к Парижу. Если Санд устраивала назначение в Сент-Омер — они предпочитали по климатическим условиям Антиб! Огюстине, которая была все еще очень красивой, хотелось, чтобы Жорж Санд представила ее своему могущественному покровителю принцу Наполеону.

> *Жорж Санд — Огюстиие де Бертольди: Я* не хочу показывать тебя принцу. Мне не к лицу представлять ему такую красивую особу, как ты, в качестве просительницы. Откажись от своего упрямства, откажись от мысли, что я могу при этом режиме просить милостей и протекции… Мне, седой женщине, не пристало торчать в приемной у мальчишки, который мог бы быть моим сыном. Даже если бы речь шла о моей жизни и смерти, я не стала бы унижаться… И не рассчитывай, что я тебе дам рекомендательное письмо. Мне не подходит роль сводницы, посылающей красивую молодую женщину к молодому человеку, любящему женщин… Морис еще с нами, но ненадолго. Он целует тебя, Мансо тоже, хотя у него еще нет седых волос. Боюсь, что у него их никогда не будет. Бедный, бедный мальчик..

Действительно, Мансо кашлял и сплевывал весьма подозрительно, а Санд в этом разбиралась слишком хорошо. Что касается Соланж, то она носилась по всему свету, как это делают свободные женщины «большой красоты и маленькой добродетели», гоняющиеся за мужчинами. Она уезжала то в Бельгию, то в Лондон, то в Турин.

> *Жорж Санд — Соланж Клезенже, 25 июля 1855 года: Я* бы посмеялась над твоим пристрастием к путешествиям — ты рассказываешь обо всем этом очень забавно, —

> если бы не опасалась, что под этим весельем скрывается горе или безумство. Сейчас ты опять задумываешься, опять не знаешь, куда направить свои стопы, как будто Ноан не был бы тебе полезнее и душевно и физически… Но черт тебя толкает неизвестно куда. Говори мне по крайней мере всегда, что ты делаешь. И когда ты устанешь развлекаться, приезжай сюда хотя бы поскучать, но зато с некоторой возможностью отдохнуть…

На что Соланж ответила, что Ноан без ее собак и лошадей будет для нее невыносим:

> Откровенно признаюсь тебе, что Берри теряет много очарования в моих глазах, когда я на него смотрю не из экипажа… К несчастью, мне только двадцать семь лет, и, хотя я часто болею, во мне осталось слишком много жизни и энергии, чтобы я могла провести целую зиму за вышиванием, игрой на рояле или переписываясь с моими многочисленными друзьями. Мне нужно что-то делать — бывать в театрах, в салонах, на скачках и т. д., наконец ездить верхом — последнее успокаивает меня больше всего…

Но Жорж не хотела тратить деньги на корм для лошадей Соланж; к тому же в первый раз в жизни она сама захотела быть подальше от Ноана. Содержание дома, семьи, помощь изгнанникам, помощь внукам Мари Дорваль и многим другим, жившим на ее деньги, за счет ее пера, — все это заставляло ее работать больше, чем когда бы то ни было. Измученная ежедневной вереницей посетителей Ноана, из которых многие просили ее влиятельного ходатайства перед принцем Наполеоном, она стала мечтать о каком-нибудь более уединенном месте для своей работы. И вот в одну из своих поездок вместе с Мансо в гористую долину Креза, или, как она ее назвала, в маленькую беррийскую Швейцарию, она открыла деревню Гаржилес, на берегу реки того же названия, и сразу была ею очарована. Нужно признать, что это было действительно очень красивое место. Крутые берега, сплошь покрытые вереском, обрамляют черные скалы, между которыми течет Крез с его голубой водой, с рядами белых утесов и с пенистым водоворотом. Приветливая атмосфера, гостеприимная предупредительность жителей ей понравились. Ловец форели, Моро, повел их из Пена в Гаржилес, деревню, расположенную в глубине воронкообразной ямы, где благодаря двадцати родникам сохраняется прекрасная, почти африканская, растительность, настолько жаркий климат благоприятствует этому. В этой деревне 700 жителей, римско-византийская церковь, романтический замок, алжирские бабочки. «Мы мечтали, — сказала Санд, — мы, которых ничто не вынуждает жить в Париже, мы мечтали устроить себе в деревне уютный уголок… В каждом любящем деревню художнике живет мечта — окончить свои дни в простых условиях, сделать свою жизнь похожей на пастушескую…»

Она захотела немедленно купить домик в Гаржилесе. Это стоило примерно от 500 до 1000 франков. «Верный возлюбленный» попросил у нее позволения сделать ей подарок; он нашел на берегу реки подходящий домик, купил его и вскоре говорил только о своем крыльце, о своих лугах и о своей кухне.

Мансо сговорился, что за 300 франков будет перекрашен и обставлен этот домик; он его оборудовал, как речное судно с очень маленькими, но комфортабельными каютами. Госпожа Санд пристрастилась к этому домику. Как только у нее возникало желание работать в тишине, она оставляла Ноан и вдвоем с Мансо укрывалась в Гаржилесе; там они оба находили идиллическое счастье. Морис приезжал туда, и актриса Беранжер тоже, но Гаржилес был в отношении Ноана тем, чем был Марли для Версаля: местопребыванием только для некоторых избранных. Санд редко давала кому-нибудь этот адрес. Позднее Виктор Гюго обессмертил

маленькую речку:

Жорж Санд владеет Гаржилесом,
Как Гораций — Анио…

В 1857 году умерли Альфред де Мюссе и Гюстав Планш; у последнего была ужасная агония, во время которой около него преданно дежурил Бюлоз. Планш в своих статьях до конца поддерживал Жорж Санд, которая его считала «единственным серьезным критиком нашего времени». Она хотела сказать: единственным, который писал о ней. Сандо его оплакивал: «Бедный Планш, бедный Тренмор, как мы его называли… никто не знает, как я его любил…» Знал ли он сам об этом, когда Планш был жив? Что касается Мюссе, то его сердце, «его несчастное сердце» было преждевременно истощено безумной, распущенной жизнью. Он пытался заменить кем-нибудь Жорж и никогда не мог ее забыть. В 1851 году он совершил путешествие в Италию, и там его охватили воспоминания:

О превратность судьбы непокорной, слепой!
О сладчайшая мука любить!
Неотвязная память, верни мне покой,
дай мне эти глаза позабыть!

Он повторял эти стихи каждый раз, когда помимо его воли в мечтах «проплывали мимо него темные и глубокие» бархатные глаза неверной, но незабываемой венецианской любовницы.

В 1834 году во времена, когда он подготовлял «Исповедь сына века», Жорж ему написала: «Я не могу рассказывать в каком-нибудь произведении о тебе в том душевном состоянии, в каком я нахожусь; а ты делай, что захочешь: пиши романы, сонеты, поэмы; говори обо мне, как найдешь нужным, я вверяюсь тебе, закрыв глаза…» В 1858 году после смерти Мюссе, помирившись с «Ревю де Дё Монд» (после семнадцатилетнего разрыва), она предложила Бюлозу дать ему автобиографический роман о трагедии, происшедшей в Венеции: «Она и Он». Убежденная в своем беспристрастии, Санд приписала себе возвышенную роль в этом романе. Ее героиня Тереза Жак отдавалась своему любовнику только из чувства христианского милосердия. Прочитав рукопись, Бюлоз посоветовал представить Терезу не таким совершенством и вкладывать в ее уста меньше святых выражений. Изменив с возрастом свою любовную философию, Жорж еще раз вернулась к прошлому, чтобы придать единство своей жизни. Это человечно и, быть может, мудро. Но этот роман вызвал гнев Поля де Мюссе, и он ответил жестокой и несправедливой книгой «Он и Она». И наконец, последовала низкая, трусливая месть: Луиза Коле, писательница, столь же лишенная таланта, сколь богатая темпераментом, написала «Он» — памфлет, в котором ненависть переливалась через край.

У Жорж Санд были любовные письма Мюссе, так же как и ее собственные. К 1860 году она захотела их опубликовать, чтобы неопровержимыми документами восстановить истину. Конечно, эта переписка была доказательством взаимной страсти. Но была ли такая публикация своевременной? Санд решила посоветоваться об этом с Сент-Бёвом, некогда свидетелем их раздоров с Мюссе. Она потеряла его из вида, но между ними никогда не было ссоры. В тайниках своих шкафов, полных яда, он не был нежен к ней: «Кристина Шведская в кабачке», — писал он в своих секретных записных книжках. Но в 1859 году Соланж встретила его в академии в день принятия в академики Жюля Сандо. Сент-Бёв милостиво говорил с молодой женщиной о Жорж

и пригласил Соланж к себе в гости. Соланж намеревалась тогда писать о жизни маршала Саксонского, своего прапрадеда. Сент-Бёв отечески дал ей советы. «Он играет в папашу со мной, это очень трогательно».

Сент-Бёв — Соланж: «Вот и наступила хорошая погода. Вы, возможно, уже уехали в Версаль. Во всяком случае, господин Судье (хранитель музея; он живет в замке) предупрежден о приятном знакомстве, которое может выпасть на его долю. Вы хорошо сделаете, если поговорите с ним о вашем деле по поводу маршала Саксонского. Он, несомненно, кое-что знает. Тысяча уверений в моей почтительности и нежности». Сент-Бёв принимал Соланж на улице Монпарнас, в комнате с белыми и золотыми панелями в стиле Людовика XV, перед двумя окнами которой виднелись сливовое дерево и вьющийся ломонос. Горничная, пожалуй слишком красивая, была похожа на госпожу де Помпадур. За дверью кошка кормила котят. Сент-Бёв расточал перед прекрасной гостьей бесконечные сокровища своего ума и эрудиции. Из этих разговоров, правда, не родилась жизнь маршала Саксонского (Соланж так же быстро надоедала работа, как и любовники), но зато возникла дружба.

Сент-Бёв писал Жанне де Турбэй, Даме с фиалками, любовнице Эрнеста Бароша, сына всемогущего министра юстиции: «Итак, вот дело, которым я бесконечно интересуюсь. Вопрос в том, чтобы расположить нашего друга господина Бароша в пользу очаровательной дочери госпожи Санд, Соланж, процесс которой слушается во вторник; этот процесс в настоящее время в связи с возрастом господ советников кажется довольно скомпрометированным. Но сын хранителя печати может многое, чтобы привлечь внимание тех, которые разговаривают, вынося приговор. И к тому же товарищ прокурора! Значит, теперь вы знаете все, и я считаю, что господин Барош в курсе дела…»

Письма Соланж напомнили Санд то время, когда Сент-Бёв ее успокаивал и ободрял. «Никто лучше его не умеет говорить милые вещи; он им придает приятную и в то же время серьезную форму». Она послала на улицу Монпарнас Эмиля Оканта и копию своей переписки с Мюссе: «Итак, дорогой друг, я прошу у вас два часа вашего драгоценного времени на чтение всех писем, а затем один час на разговор с подателем письма, чтобы он дополнил все то, чего не хватает в этом письме, — все «если» и «но». А потом, когда вы сможете, — один час размышлений и окончательное решение, которому я последую…» Мнение советчика было непреклонно. Публиковать не следует.

> *Жорж Санд — Сент-Бёву, 6 февраля 1861 года:* Мой друг Эмиль познакомил меня с содержанием вашей последней беседы и с вашим окончательным мнением. Оно правильно, и я ему последую. Письма появятся только после меня. Думаю, они докажут, что три ужасные вещи не лежат на совести вашей подруги: зрелище новой любви на глазах умирающего; угроза, мысль запереть его в сумасшедший дом; а после его душевного выздоровления — желание снова сблизиться с ним, увлечь его, хочет он того или нет… Таковы грязные обвинения; а письма доказывают только одно: в основе двух романов, «Исповедь сына века» и «Она и Он», лежит правдивая история, которая свидетельствует, может быть, о безумии одного и о любви другой, даже о безумии обоих, если хотите, но ни о какой гнусности, ни о какой подлости в их сердцах, ни о чем, что могло бы запятнать искренние души…

Растроганный доверием Санд и узнав от Соланж, что ноанская община в материальном отношении не процветает (Жорж, по ее словам, не имела возможности прошедшей зимой купить себе ни манто, ни платья, что немного странно звучит), Сент-Бёв возымел идею заставить Французскую академию присудить великой романистке премию Гобера в 20 тысяч франков.

Виньи поддержал это предложение: в нем было довольно величия души, чтобы литературные заслуги поставить выше личной неприязни. Гизо с множеством похвал и сожалений выступил против автора «Она и Он», цитируя «скандальные» фразы о браке и о собственности. Мериме и Сент-Бёв протестовали. Проголосовали: подали 18 голосов против Санд, и было только шесть рыцарей — Сент-Бёв, Понсар, Виньи, Меримо, Низар и Сильвестр де Саси. Жюль Сандо не пришел! Когда нужно было голосовать во второй раз, при полном составе института, Мериме, защищавший интересы Жорж, несмотря на смешные воспоминания, выбранил в письме «маленького Жюля». Но Сандо не прощал той, из-за которой он в юности потерпел крушение. Премию получил Тьер.

Двор, где продолжали покровительствовать госпоже Санд, вопреки ее воле, был рассержен этим провалом. Императрица подсказала, что, может быть, академия вместо премии предоставит Санд кресло академика. Позднее появилась брошюра: «Женщина в академии»; ее анонимный автор описывал прием в академию одной женщины, которой могла быть только Жорж Санд. Она ответила брошюрой: «Почему «Женщины в академии?» В ней она изложила, что, несмотря на свое уважение к обществу и полное признание талантов членов академии, она не имеет никакого желания быть причисленной к организации, которую считает устаревшей, неактуальной. Люди станут говорить: «Зелен виноград…» — «Вовсе нет, — отвечает Санд, — этот виноград уже переспел».

Глава четвертая
Женитьба Мориса

В 1861 году Морису Санд было тридцать восемь лет; его матери — пятьдесят семь. Чувствуя приближение старости, Жорж Санд сильно настаивала, чтобы сын женился. Она страстно желала опять иметь внуков. Образ жизни прекрасной Соланж не благоприятствовал материнству; Морис оставался последней надеждой. В 1854 году он просил руки Берты Дюверне, но она вышла замуж за Сиприена Жирера. Совсем недавно два проекта женитьбы, предложенные при посредстве д’Оканта не осуществились — ни один, ни другой.

> *Жорж Санд — Жюлю Букуарану, 31 июля 1860 года:* Вряд ли вам удастся его женить, если вы будете искать для него жену в каком-нибудь ханжеском или легитимистском кругу. Я бы предпочла протестантскую семью. Посмотрите, впрочем, что нам скажут, тогда сообщите мне об этом. Я очень хочу, чтобы он, наконец, решился и стал отцом семейства. Если бы нашли очаровательную девушку из почтенной семьи, с серьезными склонностями, с приятной внешностью, умную, родители которой не навязывали бы молодой чете своих взглядов и привычек, а старались бы воздействовать только на их чувства, — мы бы сильно снизили наши материальные претензии…

«Я бы предпочла протестантскую семью…» Связь Жорж Санд с католицизмом все более и более ослабевала. Во время ее пребывания в английском монастыре она любила католические торжественные обряды. Потом она перестала соблюдать их и сохранила только христианство в известных пределах, как она говорила, по евангелию от Жан-Жака, — христианство савойского викария, которому Пьер Леру и Жан Рейно придали новую форму. Ее бог был богом добрых людей, богом Беранже и Виктора Гюго.

Жорж Санд — Флоберу: «Христианство (1848 года) было для меня мимолетной страстью, и я признаю, что во все времена оно соблазнительно, если видеть в нем только его чувствительную сторону. Меня не удивляет, что Луи Блан с его возвышенной душой мечтал увидеть христианство очищенным и возвращенным к своему первоначальному идеалу. У меня тоже была такая же обманчивая надежда, но стоит только сделать шаг к этому прошлому, как становится ясным, что оно не может воскреснуть…» Тем не менее она сохранила в память аббата де Премор большое расположение к иезуитам, в которых она видела (в ее глазах это было большой похвалой) еретиков, очень близких к ее философии. «Учение Лойолы остается единственной осуществимой религией».

Но Морис женился не на протестантке, а на двадцатилетней итальянке, выросшей на его глазах, дочери старого друга Санд, гравера Луиджи Каламатты. «Люби ее или не женись», — сказала мать. Лина Каламатта была очаровательной девушкой, некоторое время воспитывавшейся в Париже, очень красивой, умной и, что в глазах Санд было очень важным, «горячей римской патриоткой». Между свекровью и невесткой не могло быть ссор по вопросам политики.

> *Жорж Санд — Лине Каламатте, 31 марта 1862 года:* Дорогая Лина, положись на нас, положись на него и верь в счастье. В жизни есть только одно счастье — любить и быть любимой… Я хорошо знаю, что буду тебе хорошей матерью; ведь мне так нужна дочь, а лучшей дочери, чем дочь нашего друга, я не найду. Люби Италию —

это прекрасно, дитя мое, это признак великодушного сердца. Мы тоже ее любим, особенно с тех пор, как она восстала в своих героических порывах…

В Ноане обе женщины отлично ужились. У Лины был прелестный голос, свежий и бархатистый, который доставлял радость ее свекрови. «Она естественна и оригинальна, сердита и нежна, восхитительно поет, делает нам сюрпризы, готовя вкусные лакомства, и всегда во время наших развлечений устраивает нам маленькие праздники…» Юная итальянка была необычайно впечатлительной натурой — она хохотала, смотря на летящую муху, плакала на спектакле марионеток, если там был трогательный конец. Вскоре, как и все в Ноане, она помешалась на геологии и ископаемых, что не мешало ей кроить распашонки и подрубать пеленки, потому что молодые супруги ждали прибавления семейства. Религиозная проблема не была решена. Санд готова была согласиться на католический брак, это видно из письма от 10 апреля 1862 года, где она говорит Лине, в то время невесте: «В нашей вере мы трое дадим отчет только богу, потому что брак — это акт веры в него и в нас самих. Слова священника ничего не прибавляют к этому… Мы все одного мнения по этому вопросу, и в то время, когда священник в церкви будет бормотать молитвы, мы будем молиться истинному богу, тому, который благословляет искренние сердца и помогает им выполнить их обещания…»

В этом вопросе Морис был более принципиален, чем его мать, и Лина Каламатта, которую долгое время угнетала ее святоша мать (принявшая после смерти своего мужа пострижение под именем сестры Марии-Жозефы де ла Мизерикорд), разделяла чувства своего жениха. Так что брак был чисто гражданский, но как воспитывать детей? Можно было бы написать целую книгу о Жорж Санд в поисках самого лучшего протестантства. Она писала пасторам, взвешивала их доктрины, искала раскольников, которые были бы не слишком раскольниками, в расчете на то, чтобы ее внуки могли бы иметь все же позднее убежище и поддержку официальной церкви. Ведь речь шла о Морисе и детях, а не о самой Жорж Санд, выбор которой был сделан раньше. После того как Морис и его жена сделались протестантами, их обвенчали в церкви, и вскоре пастор Мутон крестил Марка-Антуана Дюдеван-Санд, прозванного Кокотон, родившегося 14 июля 1863 года, в годовщину взятия Бастилии. Его засунули в ванну с бордоским вином: «Стреляли из маленькой пушки (из той, 1848 года), пришел овернский странствующий музыкант, и мы слушали самые примитивные галльские песни…»

Рождение Кокотона проходило, как и все в Ноане, в живописной и легкомысленной обстановке. Театр занимал в этом доме больше места, чем сама жизнь. Драматические спектакли, марионетки, репетиции и представления стали ежедневными. Мансо, как актер, был «верхом совершенства». Молодая деревенская девушка, Мари Кайо, сначала называлась «Мари-птичница», потому что она ведала птичьим двором; после обучения у госпожи Санд, посчитавшей ее очень способной, она превратилась в девушку для поручений: и, наконец, принятая Мансо в труппу, Мари сделалась в ней звездой. Каждый вечер играли, ужинали. Потом Мадам, как говорил Мансо, ложилась спать на часок: после чего Мансо будил ее, и она работала. Тем временем Мансо «потихоньку кашлял», а Лина вязала детские вещи.

В течение весны и лета 1863 года Санд без конца посещала театр Ла Шатра, куда она приглашала артистов на гастроли. 2 июля набожная вдова Каламатта прибыла на роды своей дочери. Она была изумлена, найдя полный дом актеров, репетировавших «Замок Пиктордю». Мансо, несмотря на свою лихорадку, Мари Кайо, Жорж и даже беременная Лина купались в реке; один Морис не купался, его мучил ревматизм. Когда пришли сроки родов, в Ноане поселилась акушерка; ее тоже взяли с собой в Ла Шатр посмотреть «Сына Охотника» и «Тридцать лет, или Жизнь игрока». Весь дом был в театре, когда Лина почувствовала первые схватки, часть ночи она терпеливо и напрасно ждала возвращения своей сиделки; впрочем,

Кокотон не стал хуже оттого, что его в свой фартук приняла Жорж Санд.

* * *

Первый из друзей, кого Жорж Санд оповестила о рождении Марка-Антуана, был Александр Дюма-сын. Она уже давно испытывала прочную привязанность к этому «дорогому сыну», который называл ее мамой, был на 20 лет моложе ее, но у которого был такой же великодушный характер, такой же вкус к «воинствующей» литературе, такое же рвение защищать женщин и детей, как и у Санд. Ей очень хотелось заманить его в Ноан, но удалось ей это только в 1861 году, потому что Дюма был по уши влюблен в русскую аристократку с «зелеными глазами и длинными янтарными волосами», княгиню Надежду Нарышкину, с которой он был в связи. Наконец он дал обещание приехать.

> *Александр Дюма-сын — Жорж Санд, 20 сентября 1861 года:* Я нас благодарю за ваше почтенное, как сказал бы г-н Прюдом, письмо от 15-го числа и берусь за перо, чтобы выразить вам мою искреннюю благодарность. Я узнал, что моя хозяйка написала вам… Не скрою от вас, что для нее поездка в Ноан и встреча с вами являются большим праздником… Остается невыясненным вопрос о ее дочери; ей не хочется оставлять девочку одну в сорока четырех комнатах большого барака, и она просит у вас позволения представить ее вам. Девочка будет спать в комнате матери, на диване. В качестве юной путешествующей москвички она будет в восторге от этого. Так что не опасайтесь трудностей в отношении нее. Однако трепещите… Тут же и капля дегтя: у меня есть толстый приятель, он напоминает ваших ньюфаундлендов; зовут его Маршаль, весит он 182 фунта, а ума у него хватит на четверых. Он может спать где угодно: в курятнике, под деревом, у фонтана. Можно его прихватить с собой?

Дюма восхищался марионетками или по крайней мере утверждал это; читал по вечерам за круглым столом стихи Мюссе, удивив всех этим выбором. Гигант Маршаль имел большой успех. «Маршаль и Морис написали пьесу для марионеток… Маршаль становится моим толстым ребенком…» Он долго жил в Ноане после отъезда Дюма, написал портрет Мориса, потом портреты Санд, Мансо, Мари Кайо, но огорчил госпожу Санд, не написав ни одного «письма из дворца», — после длительного пребывания в Ноане, во время которого он познакомился с принцем Наполеоном и получил от него заказы.

> *Дюма-сын — Жорж Санд, 21 февраля 1862 года:* Я никогда больше не решусь вводить кого бы то ни было в ноанский дом, где все так слаженно между друзьями, что малейшая песчинка может испортить всю механику! Итак, наш друг Маршаль оказался уже неблагодарным? Слишком рано! Он должен был хотя бы поблагодарить вас за полученный заказ на 6 тысяч франков, ведь принц сделал это лишь благодаря вам. Увы! Увы! Я начинаю бояться, что человечество отнюдь не лучшее творение господа бога…

> *26 февраля 1862 года:* Я сегодня в ярости, и молчание моего мастодонта сильно этому способствует! Я не больше вашего знаю, где он сейчас. Отсутствие воспитания, продолжающееся даже в зрелом возрасте, очень похоже на отсутствие сердца. Этот бедный малый еще не знает, что когда пользуешься гостеприимством такого человека,

как вы, гостеприимством столь длительным, столь сердечным и столь полезным, то следует по меньшей мере отвечать на письма, которые ты получаешь еще сверх всего!..

Конечно, мастодонт был эгоистом, но у него было обаяние. Санд его простила и даже сохранила к нему большую нежность. Опять-таки Дюма привел Жорж к биржевому маклеру Эдуарду Родригу.

> *Дюма-сын — Жорж Санд, 8 марта 1862 года:* Этот Родриг поистине художественная натура. Он очень музыкален, большой любитель искусства (в хорошем смысле этого слова). Так, например, он выдал замуж малютку Эмму Флёри из французского театра за молодого, талантливого скульптора, дав ей 40 тысяч франков приданого. И это без всякой естественной причины, а из чистой благотворительности… Вот человек, питающий к вам такое восхищение, что мне было бы трудно выразить его, если бы он сам не нашел слова своей признательности: «Благодаря госпоже Санд я стал лучше…» По-моему, эти слова так трогательны и так подходят к вам, что я решил послать их вам, и вот посылаю…

Когда «дорогая мама» приехала зимой в Париж, она согласилась пойти с Дюма обедать к Родригу, «в его золотой уголок», и биржевой маклер обещал оказывать материальную поддержку нескольким нуждающимся «сыновьям».

Любимые темы Санд стали такими же и для Дюма. Они оба любили «пьесы с ярко выраженной тенденцией». «Франсуа ле Шампи» Дюма переделал в пьесу «Побочный сын», сюжет которой, естественно, был близок его сердцу. Клодина — брошенная девушка-мать, заслуживающая, больше чем всякая женщина, уважения людей, вдохновит его на «Взгляды госпожи Обрэй», затем на «Денизу». Наконец, «Замужество Викторины», восхваление неравного брака, показалось им обоим таким прекрасным сюжетом, что Санд сделала из пьесы роман «Маркиз де Вильмер», а Дюма-сын помог ей переделать его — вторично — в пьесу; Дюма был прирожденным драматургом и легко сочинял фабулу пьесы, а у Санд этой способности не было, что не мешало Дюма безумно ею восхищаться. «Она мыслит, как Монтень, — говорил он, — фантазирует, как Оссиан, пишет, как Жан-Жак. Леонардо рисует ее фразу, а Моцарт передает ее в музыке. Госпожа де Севинье целует ей руки, и госпожа де Сталь становится на колени, когда мимо них проходит Жорж Санд».

«Маркиз де Вильмер» — банальная история о молодой компаньонке, которая выходит замуж за сына хозяина дома; остроты, которыми Дюма-сын пытался оживить это нравоучительное произведение, не отличались особенным блеском. И все же пьеса имела успех, и вот почему. Жорж Санд была возмущена религиозной нетерпимостью императорской власти, раздражена, видя свободу совести и слова в опасности, и поэтому становилась все более и более антиклерикальной.

> *Жорж Санд — принцу Наполеону, 26 февраля 1862 года:* Император боялся социализма; пусть! С его точки зрения он должен был его бояться, но, ударив по нему слишком сильно и быстро, он помог возвышению на руинах этой партии другой партии, гораздо более ловкой и опасной, партии, объединившей своим кастовым и сословным духом дворян и священников; а противовеса в буржуазии, к несчастью, я больше не вижу. При всех ее недостатках буржуазия раньше имела преобладающее значение, что было полезно. У буржуа — скептиков или вольтерьянцев — был также свой корпоративный дух, свое тщеславие выскочек. Буржуазия оказывала

сопротивление священникам и из зависти презрительно относилась к дворянству. В данный момент она ему льстит; сейчас восстанавливают титулы, принимают в свою среду и проявляют уважение к легитимистам; вы сами видите — удалось ли их победить! Буржуа захотелось быть в хороших отношениях со ставшими влиятельными дворянами; священники играют роль посредников. Люди сгановились набожными, чтобы попасть в салоны легитимистов. Чиновники подали пример, здоровались и улыбались во время мессы, и женщины третьего сословия с жаром устремились в легитимизм, так как женщины ничего не делают наполовину…

Жорж Санд антиклерикальна, но не была и не хотела быть антирелигиозной.

> *Жорж Санд — Александру Дюма-сыну:* У меня отрадные и даже веселые мысли о смерти, и я надеюсь, что заслужила счастье в будущей жизни. Я не требую, чтобы меня вознесли на седьмое небо, где я буду вместе с серафимами постоянно созерцать лик всевышнего. Прежде всего я не верю, что у него есть лицо и профиль, а кроме того, возможно, что быть на первом месте очень приятно, но я в этом потребности не испытываю… Я оптимистка, несмотря на все пережитые страдания; возможно, это мое единственное достоинство. Увидите, вы придете к тому же. В ваши годы — и морально и физически — меня мучили так же, как и вас, а болела я больше вас. Устав терзать других и себя самое, я в одно прекрасное утро сказала: «Все это мне безразлично. Вселенная велика и прекрасна. Все, что мы считаем очень значительным, преходяще, и об этом не стоит думать. В жизни есть только две или три вещи, настоящие и серьезные; именно этими вещами, такими ясными и простыми, я пренебрегла, не понимая их, mea cupla![65] Но я была наказана за свою глупость; я страдала столько, сколько можно было страдать; я должна быть прощена. Примиримся же с господом богом!..

Итак, мир с богом, но она не могла верить ни в черта, ни в ад. То, что бог в своей доброте может осудить на веки вечные, ее возмущало. Она была далека от того, чтобы представить себе, насколько, в свою очередь, она шокировала людей, от природы суровых и мрачных. Ничто так не раздражает раненые сердца, как оптимистическая безмятежность. Бодлер ее ненавидел:

> Женщина Санд — это Прюдом безнравственности. Она всегда была моралисткой. Только в прежнее время она проповедовала мораль наизнанку. Но она никогда не была художником. У нее пресловутый гладкий слог, столь ценимый буржуа. Она глупа, тяжеловесна, болтлива; в понятиях о нравственности у нее точно такая же глубина суждений и тонкость чувств, как у привратниц и женщин легкого поведения. Что она говорит о своей матери… Что она говорит о поэзии… Ее любовь к рабочим… То, что несколько человек могли втюриться в нее, только доказывает полное падение современных мужчин.

Посмотреть только предисловие к «Мадемуазель Ла Кэнтини», где она утверждает, что истинные христиане не верят в ад. Санд стоит за бога хороших людей, за бога привратниц и слуг-мошенников. У нее довольно причин, чтобы желать упразднения ада.

> Дьявол и Жорж Санд. Не надо думать, что дьявол соблазняет только умных людей. Он, конечно, презирает дураков, но не пренебрегает их содействием. Он даже

возлагает на них большие надежды. Посмотрите на Жорж Санд. Главная ее особенность, что она дура, но она бесноватая. Это дьявол внушил ей полагаться на свое доброе сердце и на свой здравый смысл, чтобы остальные дураки, по ее внушению, полагались бы на свои добрые сердца и на свой здравый смысл. Я не могу без содрогания думать об этой тупой твари. Если я ее встречу, то не смогу удержаться, чтобы не стукнуть ее по голове кропильницей.

> Жорж Санд — одна из тех старых актрис-инженю, которые никогда не хотят уйти с театральных подмостков.

Реакция несправедливая, но естественная. Тревога должна ненавидеть безмятежность. Обитатели теневой стороны и обитатели солнечной никогда не поймут друг друга. Со времени путешествия в Рим у Жорж была «неотвязная мысль о черном призраке». Церковный звон, который в отрочестве и даже еще в 1834 году успокаивал и утешал ее, теперь в ее ушах, «как мрачный гром, как зловещий тамтам». И вот в 1862 году Октав Фейе, романист, на 17 лет моложе Санд, опубликовал в «Ревю» Бюлоза роман, набожный, сентиментальный и весьма посредственный: «Сибилла». Это была история молодой девушки, в детстве верующей, но затем, со времени первого причастия, одолеваемой серьезными сомнениями. Однажды вечером, в бурю, она увидела, как священник бросился, один, в лодке, спасать находившихся в опасности моряков. Тогда она стала судить о религии не по словам, а по делам, вернулась к богу и позднее, влюбившись в скептически настроенного молодого человека, постаралась, в свою очередь, обратить его в веру и умерла, возвращаясь при лунном свете с «теологической и сентиментальной» прогулки.

Эта книга возмутила Жорж Санд, и в следующем году в том же «Ревю де Дё Монд» она ответила — выпадом на выпад, — написав роман: «Мадемуазель Ла Кэнтини». Она сохранила в нем прежнюю стремительность замысла и выполнения. Положение, выдуманное Фейе, было перевернуто наизнанку. За героиней, набожной генеральской дочерью Люси, ухаживал молодой вольнодумец, которого она любила. У него было против католицизма четыре возражения: ад, отрицание прогресса, плотский аскетизм и особенно исповедь. Женщина, говорил он, не может одновременно доверяться мужу и духовнику. Молодой Эмиль возмущался тем, что он должен разделять мысли своей жены со священником, который выведен в этом романе полурасстригой, человеком опасным и подозрительным. Эмилю удается освободить ум жены от заблуждений и привести ее к истинной религии, то есть к религии автора.

Спор увлек литературный мир, и Сент-Бёв был судьей в этой борьбе.

> Автор «Сибиллы» поднял в этом романе большие проблемы, возможно более значительные, чем «он предполагал: проблемы теологические, социальные, проблемы настоящего и будущего. Как известно, это очень взволновало Жорж Санд: могучая орлица была раздражена, как в день своего первого взлета; она ринулась на белую голубку, подняла ее очень высоко в поднебесье над вершинами гор, над бурными потоками Савойи, и сейчас ее жертва висит в вышине, схваченная ее когтями. Тезис против тезиса, теология против теологии, и все в форме романа; это немного резко…

Санд поблагодарила его: «Я прочитала вашу превосходную статью о Фейе, оканчивающуюся чересчур блестящим отзывом обо мне. Я уже слишком старый орел, чтобы набрасываться на молодые таланты и расправляться быстро с ними…» В период официального клерикализма эта позиция дала Жорж Санд в глазах молодежи положение великой

оппозиционерки. Она стала значительной личностью и знаменем. Когда Одеон объявил о пьесе-инсценировке «Маркиз де Вильмер» и разнесся слух об интригах против Санд, студенты и рабочие приготовились поддержать ее. Она была очень спокойна: волновался один Мансо. На самом деле никаких интриг не было. Император и императрица присутствовали на премьере и аплодировали с показным усердием людей, на душе у которых неспокойно.

> *Записная книжка Жорж Санд, 29 февраля 1864 года:* Премьера «Вильмера». Ужасная погода. Идет дождь. Париж — река грязи. Мы едем с Майаром в карете покупать цветы, перчатки у Жувена. Визит к принцу… Остаток дня я принимаю студентов, которые приходят группами по четыре человека с визитными карточками просить билеты! С десяти часов утра они стоят в очереди у театра, на площади Одеон, кричат, поют… Император и императрица; принцесса Матильда; принц и принцесса Клотильда — я вхожу к ним в ложу… Успех неслыханный, безумный, пение, крики «ура», вызовы актеров. Это почти мятеж, потому что 600 студентов, которые не попали в театр, пошли петь гимны у дверей католического клуба и дома иезуитов! Их разгоняют, сажают под арест. Я выхожу из театра, иду между шеренгами людей, кричащими: «Да здравствует Жорж Санд! Да здравствует Ла Кэнтини!» Меня провожают до кафе Вольтера и кричат еще там; мы спасаемся. В фойе больше двухсот человек пришло меня приветствовать, среди прочих Дежазе, Ульбах, Камиль Дусе, Александр, Монтиньи, Лезюер… и т. д. и т. д.

«Маркиз де Вильмер», почтенная мелодрама, использовала свою популярность. Касса резко поднялась: 4300 франков, 4500 франков, 5000, 5310, тогда как обычный сбор Одеона был не больше 1500 франков. «Нужно видеть, — писала Санд, — персонал Одеона вокруг меня… Я для них — кумир».

Среди друзей, стоявших на ступеньках Одеона по сторонам Санд во время этой овации, был Гюстав Флобер, который «плакал как женщина». Нераскаявшийся романтик и кающийся реалист, он всегда восхищался талантом Жорж. Он встречал ее иногда за обедом у Маньи, где бывали Ренан, Сент-Бёв, Теофиль Готье, братья Гонкур. Она садилась рядом с ним, робко смотрела на всех и шептала на ухо Флоберу: «Я не стесняюсь здесь только вас одного!» Между тем братья Гонкур любовались «красивой, очаровательной головкой», в которой со дня на день все больше обнаруживался тип мулатки, и «чудесной тонкостью маленьких рук, прятавшихся в кружевах манжет».

> *Записная книжка Жорж Санд, 12 февраля 1866 года:* Обед у Маньи с моими юными приятелями. Они меня приняли как нельзя лучше. Кроме великого ученого Бертело, они все блестящие люди… Готье, как всегда, ослепителен и склонен к парадоксам; Сен-Виктор очарователен и благовоспитан; пылкий Флобер мне симпатичнее других. Почему? Я еще не знаю. Гонкуры слишком самоуверенны, особенно младший… Удивительно красноречив и остроумнее кого бы то ни было — это дядя Бёв, как его называют… Платят по 10 франков с человека; обед посредственный. Много курят; говорят, кричат изо всех сил, и каждый уходит когда ему заблагорассудится… Я позабыла о Луи Буйе, который напоминает Флобера; он держится скромно… Я встретила госпожу Бори. У себя я застала портниху, потом пришли Камиль и Люсьен Арман. Я приглашена на обед к Сент-Бёву…
>
> *9 апреля 1866 года:* Обед у Маньи, со мной молодые приятели: Тэн, Ренан, Сент-

Бёв, Готье, Сен-Виктор, Шарль-Эдмон, Гонкуры… и Бертело, который не произносит ни слова. И он и я — оба молчим. Сын Гаварни, красивый мальчик, и еще один — того я не знаю. Бурная, блестящая беседа, в которую беспрерывно вторгается Готье со своими парадоксами. Тэн рассудителен, слишком рассудителен. Все это гораздо ниже веселья и детского обаяния актеров.

Как-то вечером, на обеде у Маньи (14 сентября 1863 года), когда Санд была в Берри, собеседники попросили возвратившегося из Ноана Теофиля Готье описать свое пребывание там:

— Там весело?

— Как в монастыре моравских братьев. Я приехал вечером. Это далеко от железной дороги. Чемодан был брошен в кусты. Вошел через какую-то ферму, полную собак, они меня напугали!.. Меня пригласили к обеду; кормят неплохо, хотя слишком много дичи и цыплят. Это не в моем вкусе… Там были: художник Маршаль, госпожа Каламатта, Александр Дюма-сын…

— А как проходит день в Ноане?

— Завтракают в 10 часов. С последним ударом, когда стрелка показывает положенное время, все садятся за стол. Является с видом лунатика госпожа Санд и так сидит, сонная, в течение всего завтрака. После завтрака все уходят в сад. Запускают волчок — это ее оживляет. Она усаживается и начинает разговор. Говорят в это время главным образом о произношении, например, о произношении слов ailleurs и meilleur. Тем не менее все очень довольны этой беседой, ведь такое развлечение помогает пищеварению.

— Ба!

— Но, например, ни малейшего словечка об отношениях мужчины и женщины. Думаю, что вас выставят за дверь при малейшем намеке на эту тему… В три часа госпожа Санд поднимается к себе и пишет до шести часов. Обедают; но обедают несколько торопливо, чтобы осталось время для обеда Мари Кайо. Это горничная дома, маленькая Фадетта, которую госпожа Санд взяла в дом, как актрису для своего театра, и которая по вечерам приходит в гостиную… После обеда госпожа Санд молча раскладывает пасьянс до полуночи…

Такая старость, цельная и могучая, замыкающаяся в молчании, в своих странных причудах, является эмблемой силы.

Готье наблюдал Санд, как Гегель — горы: «Это так».

Глава пятая
Не переселиться ли нам в Палезо?

> *Жорж Санд — Огюсгине де Бертольди, 31 марта 1864 года:* Успех «Вильмера» позволяет мне вернуть себе, хотя бы частично, свободу, которой я была совсем лишена в Ноане все эти последние годы по милости добрых беррийцев. Все они, начиная от сельских сторожей Берри и до друзей моих друзей — бог знает, существуют ли они вообще! — хотят пристроиться благодаря моему большому влиянию. Моя жизнь проходила в ненужной переписке и в ни к чему не ведущей услужливости. И при этом посетители, которые никак не хотели понять, что вечер — время моего отдыха, а день — рабочее время. Дошло до того, что у меня для работы оставалась только ночь, а я уже не могла выдержать это. И к тому же Ноан обходится невозможно дорого — я должна беспрерывно продолжать эту изнурительную работу. Теперь я меняю этот образ жизни; меня это радует, и мне смешно, что меня жалеют. Моим детям это тоже понравится, ведь они были заточены в Ноане из-за парижских визитов; мы поселимся в Париже близко друг от друга и будем возвращаться вместе в Ноан, когда нам захочется провести там некоторое время. По этому поводу было много сплетен, и я смеюсь, когда мне говорят: «Вы нас покидаете? Как вы сможете жить без нас?» Эти славные беррийцы! Уже довольно много времени они живут только благодаря мне…

Жорж не говорила Огюстине всего; совсем другие причины объясняли ее желание покинуть Ноан. Уже давно Морис Санд и Мансо были во враждебных отношениях. Морису было тяжело видеть своего товарища, сверстника, человека, по его мнению, посредственного, в роли признанного фаворита Санд. Морису было унизительно сознавать, что Санд передала «старику Манселю», как секретарю, счетоводу и quasi[66] режиссеру, все права фактического управления Ноаном. В Мансо было поразительное сходство с популярными героями романов Жорж Санд. Его бескорыстие переходило в одержимость: как только у него появлялись хотя бы четыре су, он стремился отдать их. Санд, своей Даме, он был предан, как собака; с остальными — мрачно горделив. Кроме того, он был талантлив. Искусствоведы считали его превосходным гравером; он обнаруживал некоторое понимание театра; он написал, со значительной помощью Жорж, маленькую пьесу в стихах, которую сыграли в Одеоне; он руководил вместо Санд репетициями, читал пьесы актерам. Друзья дома — Дюма, Флобер, граф д'Орсэ обращались с ним самым сердечным образом: принцесса Матильда приглашала его к обеду; принц Наполеон присутствовал на его премьере.

Гонкурам, которых поразили важность, невозмутимость, полусонное состояние и монотонный, почти как у автомата, голос госпожи Санд, Мансо, слегка напоминая человека, показывающего феномена, объяснял ее исключительную работоспособность: «Ей безразлично, если ей помешают… Предположите, что у вас открыт кран; к вам входят, вы его закрываете… Вот так у госпожи Санд!..» Преданность была взаимной. Дюма-сыну Жорж пела хвалы в адрес Мансо: «Вот человек, которого вы можете уважать, не боясь разочарования. Это существо — сама любовь, сама преданность! Очень возможно, что те двенадцать лет, которые я провела с ним с утра до вечера, примирили меня в конце концов с родом человеческим…»

В 1863 году натянутые отношения в Ноане стали невыносимыми. Морис и Мансо ссорились из-за Мари Кайо, которая, опьянев от своих успехов на сцене и в жизни, стала беззастенчиво фамильярной. Как во времена Шопена, Морис предъявил матери ультиматум: «Он или я… Один из нас должен покинуть Ноан». На какое-то мгновение показалось, что она пожертвует Мансо.

Записи Мансо, 23 ноября 1863 года: В результате неизвестного мне разговора мне объявляют, что я свободен и могу уехать в ближайший Иванов день; было пролито много слез по этому поводу! Но продолжалось все это недолго! Вот и вся благодарность за пятнадцать лет преданности! Я предпочитаю отметить это здесь, чтобы никогда не плакать об этом в будущем и надеяться, что позднее это заставит меня улыбаться. Но все равно: человечество в большей своей части печальная штука… Итак, я вновь обретаю свободу, и если захочу полюбить еще раз кого-нибудь и опять быть преданным, так как вся радость моей жизни в этом, то сумею сделать это совершенно свободно… Свобода! Это прекрасно…

Здесь слова, добавленные позднее, почерком Мориса Санд: «Перечитайте «Тартюфа»! — Морис».

Но после ночи размышлений Санд решила, что сейчас положение иное, чем в 1847 году. Морис женат, у него есть сын, отныне он может обходиться и без постоянного присутствия матери; Мансо, серьезно больной Мансо, не должен быть брошен. 24 ноября Жорж сделала выбор: Мансо и отъезд.

Записная книжка Жорж Санд, 24 ноября 1863 года: Я не грущу. Почему? Мы все это знали, ведь все шло плохо. И я тоже получаю мою свободу… И мы же не расстаемся, и все довольны переменой. Я же мечтала, чтобы хотя как-нибудь переменилась эта жизнь, полная огорчений и несправедливости. Уедем, дружище. Уедем без досады, без злобы и никогда не будем расставаться… Все им, все для них, кроме нашего достоинства и самопожертвования… Никогда[67].

Здесь надпись почерком Мориса Санд: «Перечитайте роль отца в «Тартюфе». Моя мать всегда обманута. — Морис».

Последовали тяжелые дни. Госпожа Санд, потрясенная серьезностью решения, заболела и спала «одетая» на своей кровати. Мансо «с натянутыми нервами» сновал взад и вперед между Ноаном и Парижем в поисках помещения в деревне. А марионетки, несмотря на все, продолжали свои игры.

Записи Мансо, 26 декабря 1863 года: Мадам чувствует себя, наверно, нехорошо сегодня. Она немного нервничает. После полудня она спит. Вечером с увлечением занимается костюмами для марионеток. Это уже не игра, это помешательство… А когда марионеток не будет?..

Потому что, победив, Мансо стал беспокоиться при мысли, что он лишает Мадам ее привычной семейной жизни. Год закончился обычным ритуалом.

Записная книжка Жорж Санд, 31 декабря 1863 года: Холод. Я не выхожу. Я разговариваю с Морисом о «Снежном человеке»… Лукуллов обед: молодые куропатки, начиненные трюфелями, зеленый горошек, меренги; потом сигареты, домино. Лина поет. Бьет полночь. Все смотрят друг на друга. Приносят Кокотона; он проснулся и весел, как птичка. Раздаем друг другу новогодние подарки. Грызем конфеты.

* * *

В Париже вместо привычных собеседников появились другие. Санд жила с Мансо на улице Фёйянтин, 97; она встречалась с Майарами, кузенами Мансо; биржевой маклер Родриг, бывший сен-симонист, продолжал великодушно помогать ей в благотворительных делах; встречалась с Ламберами, с сотрапезниками на обедах у Маньи. Она вставила себе зубы, через день ходила в театр и обегала все предместья, чтобы найти «домик». Майар, живший в Палезо, между Версалем и Лимуром, предложил домик. Только что умер Делакруа. Санд принадлежало более двадцати его полотен («У меня их на 70 или 80 тысяч франков, ручаюсь в этом», — писала она). Она решила продать все эти полотна, за исключением двух: «Исповедь Гяура» — это был первый подарок художника, и «Кентавр» — последнее его подношение. Эта сделка должна была позволить Санд «передать Морису очень приятную ренту в 3 тысячи франков вместо ничего не приносящего богатства» и приобрести маленькое поместье. Родриг помог в этих финансовых мероприятиях. «Вилла Жорж Санд» была куплена на имя Мансо, который обязался завещать ее Морису.

Последнее посещение Ноана — для прощания. Старый мэр — крестьянин, «отец Олар» — плакал. Морис и Лина поучали мудрости мать, оставшуюся слишком молодой сердцем.

> *Записная книжка Жорж Санд, 25 апреля 1864 года:* Воздержание! В чем воздержание, дураки? Воздерживайтесь всю жизнь от того, что является злом. Разве бог сотворил благо, чтобы мы от него отказывались? Воздерживайтесь радоваться прекрасному солнцу и смотреть на цветущую сирень!.. Я работаю… не воздерживаясь от сожаления, что не работала больше. Но мне наскучила работа, и нет в ней интереса… Сегодня вечером читаем роман Мориса. Я училась сегодня днем делать gnocchi[68], буду готовить это в Палезо.

> *Записи Мансо, 11 июня 1864 года:* Последний вечер в Ноане Думаю, что мы все будем о нем вспоминать. Нечего писать оо этом последнем ночном бдении. Но помимо своей воли я думаю о том, что за 14 лет, проведенных здесь, я больше смеялся, больше плакал, больше пережил, чем за предшествующие 33 года… И вот отныне я один с Ней. Какая ответственность! Но зато какая честь и какая радость!

Здесь добавлено почерком Мориса Санда: «Какой фат! Какой глупец!»

Ссор никаких не было, все прошло вполне корректно. «Ноан свернули перед длительным отсутствием», так как Морис и Лина также отказались нести бремя этого огромного жилища: «Мои дорогие дети не хотят управлять Ноаном; они не совсем правы, это же в их интересах… но они стесняются из какой-то деликатности, очень хорошей по существу и сердечной…» Они решили уехать в Гильери, к Казимиру, оставшемуся последним прибежищем для его детей и очень любимым и Морисом и Линой.

Жорж Санд «улетела в Палезо», сопровождаемая стенаниями беррийцев, которые посылали ей вслед грустные ходатайства и почтительные прошения. В Шатре говорили о семейных неладах. Санд протестовала: «Слава богу, мы всегда живем в полном согласии: но если жители Шатра, по своему обычаю, не обвинили бы нас, это значило бы, что они заболели…» Она полюбила новую «квартиру в Париже, малюсенькую, но восхитительную, удобную, чистую, хорошего вкуса». Палезо ее очаровало.

> *Записная книжка Жорж Санд, 12 июня 1864 года:* Я в восхищении от всего: от местности, от маленького сада, от вида, от дома, от обеда, от служанки, от тишины. Это волшебство! Добрый Мансель подумал обо всем; это совершенство!

13 июня 1864 года: Крепкий сон. Оказывается, ветрено и гремит гром. А я этого не заметила… Мы проводим день, распаковывая и расставляя вещи. Так приятно размещать свои вещи в новых шкафах и в таком чистом месте. Люси готовит нам вкусный обед и подает с аппетитной опрятностью. Мы едим землянику из нашего сада, рыбу, яйца и кофе. Это все добывает Мансель?.. Замечательно!..

Жорж Санд — Морису, 14 июля 1864 года: Это — блюдо зелени с маленьким бриллиантом воды в середине, вписанное в дивный пейзаж, настоящий Рюисдаль… Здесь хорошо спится, тихо, как в Гаржилесе, — как ночью, так и днем… Деревья великолепны, луга и хлеба роскошны, но, несмотря на такое усиленное возделывание почвы, по краям тропинок и ручьев совсем немного растений. Сегодня утром я сделала небольшую прогулку и принесла домой жимолость — розовую, голубую и сиреневую, которой у нас нет. Но что бы я хотела вам послать, это розовую таволгу с восхитительного куста из моего садика.

Едва поселившись в Палезо, Жорж Санд узнала ужасную новость: маленький Марк-Антуан Кокотон заболел в Гильери.

Записи Мансо, 19 июля 1864 года: Мы получили ужасное известие, что Марк умирает. «ГОРАЗДО ХУЖЕ. МАЛО НАДЕЖДЫ». Мы послали молодых людей сказать Майару, чтобы они нас ждали на вокзале в Со. Мы укладываем чемоданы и уезжаем Мы могли сесть на поезд из Бордо в этот же вечер, но наш поезд опоздал, и мы пропустили поезд из Орлеана — он ушел пять минут назад. Теперь мы можем уехать только завтра… Мы проводим ночь на улице Фёйянтин. Мы хорошо сделали, взяв с собой Люси…

20 июля 1864 года: Новая телеграмма: «ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ЕГО УВИДЕТЬ, ПРИЕЗЖАЙ». Приход Майара и Камиля, которых мы уговорили ехать с нами. Мы обедаем у себя, одни, на улице Фёйянтин и отъезжаем с вокзала в 7 часов 45 минут. Мы в двухместном купе…

21 июля 1864 года: Между Перигё и Ажаном мы завтракаем в нашем купе. В Ажане в половине одиннадцатого мы застаем ожидающую нас почтовую карету и срочно направляемся в Гильери, куда прибываем в 2 часа. Вот уже полчаса, как мы узнали от сельского почтальона, что приехали слишком поздно: ребенок умер сегодня утром. Первый человек, кого мы встречаем, — Морис; потом господин Дюдеван и госпожа Далиа; потом госпожа Морис…

Это последняя встреча Санд со своим мужем.

Казимир, которому было неприятно принимать ее под своей крышей, сказал: «Я не могу помешать ей приехать, чтобы увидеть внука». Когда объявили: «Карета госпожи баронессы», — Дюдеван вышел со своими друзьями на крыльцо. Аврора привезла с собой доктора Камиля Леклерка и Мансо. Она тихо прошептала: «Казимир…» — «Мадам, — сказал он, — вы знаете свою комнату; со времени вашего отъезда в ней никто не жил». Наложница вежливо сопровождала законную жену, которая сказала ей: «Я вам вверяю моего старого мужа».

На Жорж Санд было странное платье, приподнятое на красной нижней юбке; она курила огромные сигареты. Во время обеда она не сказала ни слова. Присутствующие в Гильери заметили «ее удрученный вид, ее полноту, ее отвислые щеки». На следующий день она уехала.

«Какое впечатление произвела на вас последняя встреча с вашей супругой?» — спросил у Казимира доктор Сельси. — «О! — ответил он. — У меня не было желания называть ее Авророй; она была скорее похожа на заходящее солнце…»

Морис и Лина возвратились в Ноан, Санд — в Палезо. В этой скорби еще раз она удивила своих друзей силой сопротивления горю: «Какое несчастье! И однако, я требую, я приказываю иметь второго ребенка, потому что надо любить, надо страдать, надо плакать, надеяться, создавать…» Обеды у Маньи, водевиль, Жимназ, Одеон — жизнь снова пошла по замкнутому кругу. Мансо кашлял, приводил в порядок Палезо, а по вечерам играл в безик со «своей Дамой».

Глава шестая
Страдания и смерть Мансо

1865 год был скорбным. Мансо кашлял, его лихорадило; он угасал с ужасающей быстротой. Жорж тоже жаловалась на тысячу болезней, но, как всегда активная, возилась в грязи в своем саду, сажала луковицы, присланные из Ноана; ездила каждый вечер в Париж, в театр; изматывала Мансо и Майара поездками и покупками. 23 января Майар внезапно скончался от перитонита, и «Мадам была очень добра и нежна ко всем». Но через несколькс дней она потащила Мансо под проливным дождем в Палезо, чтобы присутствовать на ярмарочном спектакле «Воспоминания дьявола». Она не могла противиться искушению посмотреть марионеток.

По правде говоря, были моменты, когда она не могла сопротивляться никакому искушению. Она отыскала в Париже в 1864 году молодого художника Маршаля, мастодонта, ставшего благодаря ей завсегдатаем принцессы Матильды, Дюма-сын вторично сблизил их, попросив Санд добиться у принца орденской ленты «для этого жирного Апеллеса, который любит красный цвет». В результате этого ходатайства жирный Апеллес прибыл в Палезо принести свою благодарность. Умирающий Мансо в эту пору дошел до полного отчаяния. Ухаживать за ним стало трудно. Санд, которая была доведена до крайности, вдруг решила провести несколько дней в Гаржилесе с Маршалем. Записи Мансо, 29 сентября 1864 года: «Маршаль нагл, как слуга палача».

Но это была последняя эскапада. В 1865 году, видя, что Мансо погибает, она поклялась себе, что не оставит его, и сдержала слово. Он «дышал как собака» и иногда харкал кровью. Видя, что он мрачнеет все больше и больше, Жорж надумала писать с ним роман «Счастье», чтобы он ближе приобщился к ее жизни. «Мадам работает над нашим романом». Однако она посылала его в Париж «за насосом и другими вещами». Он возвращался изнуренный: «Дорогая Мадам на вокзале, она ждет меня так, как будто она — это я, а я — она! Это очень мило…» 30 мая 1865 года: «Она грустна, моя Дама, видя меня таким. Но как только лихорадка забывает обо мне, я делаю все возможное, чтобы рассмешить ее».

Она заботилась о нем с преданностью сестры милосердия, сама делала растирания, обмывания, влажные окутывания. Теперь она одна вела дневник, но Мансо прочитывал все записи каждый день, и она должна была поддерживать трудное равновесие между неправдоподобным оптимизмом и отчаянием, которое могло напугать умирающего.

> *Записная книжка Жорж Санд, 18 июня 1865 года:* Сегодня утром он сказал мне: «Я меньше потею, мне, несомненно, лучше». После завтрака он крепко спал; тем лучше, ведь ночью его сон все время прерывается! Он немного работает и читает мне, не кашлянув, несколько страниц. Ему хочется выехать в экипаже, если будет тепло, но все время очень холодно… Я не живу больше! Какое горе — видеть его страдания! Сегодня вечером после растирания он принимает две пилюли… Ему холодно, даже после растирания…

> *25 июня 1865 года:* Печальный день. Он в унынии, раздражен, отчаивается. Я только плачу, и это ничему не помогает. Он обвиняет меня в том, что не выздоравливает, что врачи несерьезно относятся к его болезни. Весь день у него лихорадка, до обеда он прокашлял два часа, и у него до крайности напряжены нервы. Он ворчит на доктора Морена, на друзей, на весь мир…

6 июля 1865 года: Грозовой день. Тропическая жара! Она его изнуряет. В час дня наступает момент успокоения, и он кричит мне об этом сверху. Бедный друг! Но это длится недолго. Лихорадка его терзает, и он слабеет, слабеет. И все же он ест. Но как в том состоянии, в каком он находится, бороться с этой жарой, которая ослабляет даже здоровых? Я вижу, сколько мужества он в это вкладывает, а я, вместо того чтобы ободрить его, не могу справиться со слезами. Он был моей силой и моей жизнью! Чем он слабее физически, тем я слабее душевно…

8 июля 1865 года: Все более слабый и более раздражительный. Ужасный день. Вечером приезжают доктор Фюстер[69] со своим секретарем и Камиль. Доктор Морен тоже приходит. Фюстер осматривает и выслушивает его. Все то же: одно легкое совершенно здорово; неопасная точка в другом. Ничего серьезного нет, но лихорадка, но нервы, но раздражительность!.. Фюстер говорит, что больной должен сам лечить себя усилием своей воли и подчинением режиму, который надо соблюдать во всей его строгости. Нужны обмывания холодной водой, нужны без опоздания, без раздумья. Он мне сказал, мне лично, что вылечил больных гораздо более опасных, но что я не должна уступать, пусть даже он меня возненавидит… Бедное дитя! Он кричит во время омовений, это разрывает сердце. У меня желание убить себя. Нет! Нужно заботиться о нем и спасти его… спасти вопреки его воле…

18 августа 1865 года: Он кашляет беспрерывно всю ночь и весь день. Сорок восемь часов! Это ужасно, и все-таки он гораздо спокойнее, чем в предыдущие дни. По-видимому, он все же забывается на какое-то время, потому что удивляется, когда ему говорят, который час: он не отдает себе отчета в истекшем времени…

19 августа 1865 года: Увы! он прочитал все предыдущие записи. Я то боялась его рассердить, смягчая запись о его страданиях, то боялась, чтобы он не узнал серьезности своего безнадежного положения. Я знаю это уже больше месяца; какую борьбу мне пришлось выдержать, чтобы скрыть все от него! Теперь ему совсем плохо. Он спит, задыхаясь, измученный лихорадкой, даже не кашляет больше. Неужели это последний сон?..

Понедельник, 21 августа 1865 года: Умер сегодня утром в 6 часов, после, казалось бы, совершенно спокойной ночи. Проснувшись, он говорил немного, но голосом уже мертвым, потом слова, неясные, как во сне, потом какие-то усилия дыхания, потом бледность и потом ничего! Надеюсь, он был без сознания. В полночь он говорил со мной охотно и ясно. Он говорил о поездке в Ноан… Я его переодела, все привела в порядок на его кровати. Закрыла ему глаза. Положила цветы. Он красив и кажется совсем молодым. Ах! Боже мой! Мне не придется больше заботиться о нем…

22 августа 1865 года: Я провела ночь одна подле этого вечного сна! Он лежит на своей кровати, теперь уже навеки спокойный. Ничего безобразного, ничего пугающего. Никакого дурного запаха. Положила ему свежие розы… Теперь одна, а он здесь, рядом со мной, в этой маленькой комнате. Мне не нужно больше прислушиваться к его дыханию и будущей ночью тоже, больше ничего, одинокая; как никогда… И теперь уже навсегда…

За всю жизнь у Жорж Санд было немного поступков более трогательных, чем это долгое бодрствование у постели больного, чем эта мужественная ложь, чем эта деятельная нежность. В течение пяти месяцев она ни на один день не покидала умирающего. Сразу же после его смерти она написала Морису.

> *Жорж Санд — Морису, 21 августа 1865 года:* Страдания нашего бедного друга кончились. Он уснул в полночь в полном сознании… Я совершенно разбита, но после того, что я одела его и привела в порядок смертное ложе, я все еще полна такой силы воли, которая не дает мне плакать. Я не заболею, будьте спокойны, я этого не хочу; я присоединюсь к вам тотчас же после того, как позабочусь обо всем необходимом для захоронения его бренных останков, приведу в порядок дела умершего и мои; они одновременно и ваши…

Ибо Мансо, хотя у него еще были живы родители и незамужняя сестра Лор, завещал все, чем владел, Морису Санд.

> *Жорж Санд — Морису, 22 августа 1865 года:* Уже две ночи я одна подле моего дорогого усопшего, который больше не проснется. Какая тишина в этой маленькой комнате, куда я входила на цыпочках во все часы дня и ночи! Мне все еще слышится его душераздирающий кашель; теперь он спит: его лицо спокойно; он покрыт цветами. Он как будто из мрамора, он, который был таким живым, таким стремительным! Никакого дурного запаха; он окаменел. Его сестра, идиотка, приехала сегодня утром и не захотела его видеть, говоря, что это на нее слишком подействует…

После похорон, «дня переживаний и слез», Морис увез ее в Ноан. Дневник Жорж Санд, 23 августа 1865 года: «Мой сын — моя душа. Я буду жить для него, я буду любить эти честные сердца. Да, да, но ты… ты, который так меня любил! Будь спокоен, твое место в моем сердце не займет никто…» Лину, беременную на четвертом месяце, она нашла «очень посвежевшей и пополневшей, дом очень чистым, приведенным в полный порядок… Была в саду, у животных, повсюду. Все хорошо содержится и очень красиво». Морис и Лина, по-видимому, все более и более привязывались к Ноану. Невестка была деятельной, нежной, послушной. Санд провела здесь несколько недель, потом вернулась в Париж, и ее снова можно было видеть во французском театре, в Одеоне. Она переживала горе, но не культивировала его. Об одной женщине Жорж сказала: «Она вся полна внешним, ребяческим выражением своих страданий; тоска становится еще страшнее, а чувство долга не пробуждается. Она проводит ежедневно по нескольку часов на могиле сына, но не для того, чтобы молиться или размышлять о бессмертии душ, а для того, чтобы созерцать уголок земли, где от ее сына осталась лишь временная оболочка его бессмертного существа… Время затягивает раны, если раненый упорно не растравляет их».

Письмо Флоберу, который в этом испытании был ее дружеским и преданным посетителем, передает очень искренне состояние ее духа.

> *Жорж Санд — Гюставу Флоберу, 22 ноября 1865 года:* Вот я и одна в моем домике… И все же мне грустно здесь. Это абсолютное одиночество, всегда бывшее для меня приятным перерывом в работе и отдыхом, делит теперь со мной мертвый, который угас, как угасает лампа, и навсегда остался здесь. Я не считаю, что он несчастен в тех сферах, где теперь обитает; но мне все время кажется, что его образ, или, вернее, отражение его, оставшееся подле меня, жалуется мне, что не может

говорить со мной. Ну что ж! Грусть не вредна для нас, она не дает нам черстветь. А вы, мой друг, что делаете вы в этот час? Вы тоже усердно работаете и тоже в одиночестве, потому что ваша матушка, наверно, в Руане. Должно быть, там тоже красиво ночью. Думаете ли вы иногда о «старом трубадуре на трактирных часах, который воспевает и будет всегда воспевать идеальную любовь»? Ну что ж, несмотря ни на что, скажу — да! Вы не признаете целомудрия, монсеньер, что ж, это ваше дело. А я говорю, что в нем есть хорошие стороны. На этом я вас обнимаю от всего сердца, пойду постараюсь написать о людях, любящих друг друга по старинке. Вы не обязаны отвечать мне, если у вас нет настроения. Настоящая дружба возможна только при асодютной свободе. На следующей неделе в Париже, затем уже в Палезо и потом в Ноане.

О чем же она думала во время этого уединения в Палезо, на пороге старости? В вопросах религии она признала свое полное неведение. Человек недостаточно умен, чтобы дать определение бога; и он не может утверждать того, что не может определить. И все же она готова верить.

Жорж Санд — Депланшу, 23 мая 1866 года: Наш век не может ничего утверждать, но будущее, надеюсь, сможет. Поверим в прогресс; поверим в бога с сегодняшнего дня. Чувство ведет нас к этому. Вера — это необычайное возбуждение, энтузиазм, состояние духовного величия, эти чувства надо беречь в себе, как сокровище, а не разменивать на своем пути на медяки, на пустые слова, на ложные псевдонаучные разглагольствования… Предоставьте действовать времени и науке. Это дело веков — понять деяния бога во вселенной. Человек еще ничего не знает: он не может доказать, что бога нет; он тем более не может доказать, что бог есть. Уже то хорошо, что нельзя отрицать бога безоговорочно. Удовлетворимся пока этим, голубчик, ведь мы же художники, то есть люди чувства… Поверим, несмотря ни на что, и скажем: «Я верю!» Это еще не значит: «Я утверждаю»; скажем: «Я надеюсь!» Это еще не значит: «Я знаю». Объединимся в этом понятии, в этом пожелании, в этой мечте, свойственной добрым душам. Мы знаем, что для того, чтобы быть милосердным, необходимо надеяться и верить, так же как, чтобы иметь свободу и равенство, нужно братство…

Итак, «она любит бога», как предсказывала это мать Алисия; но, оставаясь спиритуалисткой, она не отлучает от церкви материалистов. «Место атеистам. Разве они не обращены, как и мы, к будущему. Не борются, как и мы, с мраком суеверия?»

В политике она не теряет надежд, хотя и относится скептически к немедленным действиям. Империя ничего не говорит ее сердцу, несмотря на дружеские отношения к ней дворца: она не очень-то верит в либерализм, которым Наполеон III начинает щеголять. В одном романе, который она тогда писала, «Господин Сильвестр», два человека противопоставлены в диалоге: это Санд разговаривает с той же Санд. Господин Сильвестр, старый анахорет, участник событий 48-го года, не верит больще ни в какой общественный строй, потому что опыт показал ему, что справедливость никогда не побеждает; его собеседник, молодой человек Пьер Соред не может допустить, что скептиком становятся от досады, от невозможности устроить рай на земле. Зачем навязывать народу совершенные законы? Доктрина терроризма: братство или смерть; такая же у инквизиции: вне церкви нет спасения. Добродетель и вера, предписанные правительством, — уже не вера и не добродетель; их начинают ненавидеть. Пусть люди на досуге сами поймут преимущества объединения и пусть сами его создадут, когда для этого наступит время.

Итак, мистическая и романическая революционерка начинает мало-помалу мыслить

критически. Санд думает, что этим она обязана занятию науками. В другом романе этого периода, «Валведр», она с нежностью и уважением дает портрет человека науки. «Не говорите мне, что изучение законов природы и исследование причин охлаждают сердце и задерживают взлет мысли; я вам не поверю». Одновременно с Ренаном и Бертело госпожа Санд переходит от популярного романтизма к романтизму научному. Эволюционируя вместе со своей эпохой, она остается, «как звонкое эхо», в центре новых мыслей.

Она знает, что книги, написанные ею в то время, не очень хороши. Это идейные романы, где выступают друг против друга не живые существа, а претворенные в плоть и кровь доктрины. Искусство должно быть более конкретным. Истинный гений Санд был связан с любовью к земле; он сияет последним блеском в ее коротких письмах.

> *Жорж Санд — Морису, 1 февраля 1866 года:* Путешествие было очень интересным, я видела восход солнца над Черной Долиной, фантастический, изумительный: все оттенки золота — тусклые, холодные, горячий, красные, зеленые, серые, багровые, фиолетовые, голубые, с палитры великого творца, создавшего свет; все небо, от зенита до горизонта, сверкало огнем и красками; деревня очаровательна, вокруг луж розоватой воды дикий терновник…

Валведр — плод рассудка, герой тенденциозного романа, в котором не чувствуется жизни. Но Санд движется упрямо вперед, подобно тому, как ходят беррийские быки, низко опустив головы, и медленно, но упорно делает свое дело. Она счастлива? Да, потому что она хочет быть счастливой.

> *Жорж Санд — Шарлю Понси, 16 ноября 1866 года:* Счастье зависит от самого человека, надо только умело взяться за это: иметь простые вкусы, известное мужество, некоторую самоотверженность, любовь к труду и прежде всего чистую совесть. А значит, счастье не призрак, теперь я в этом уверена; с помощью опыта и размышления можно многого достигнуть; волей и терпением можно даже укрепить свое здоровье… Будем же принимать жизнь такой, какая она есть, и будем благодарны за нее…

Эту философию ей некогда, в эпоху великих событий, проповедовал Сент-Бёв. Потому она ему и послала «Господина Сильвестра» со следующей надписью: «Сент-Бёву, нежному и дорогому светочу моей жизни». Но это благоразумие, пришедшее с возрастом и опытностью, не содержит в себе ни извинений, ни сожалений. В 1866 году было модно высмеивать «болезнь века», от которой некогда она страдала вместе со всеми своими друзьями-романтиками. Она поднимает это старое, продырявленное знамя: «Может быть, наша болезнь обладает большими достоинствами, чем реакция, последовавшая за ней; чем эта жажда денег, грубых удовольствий; чем это необузданное честолюбие. По-моему, все эти качества характеризуют здоровье века со стороны малоблагородной».

Часть девятая
Искусство быть бабушкой

Несмотря на все, что я перенес, становясь старше и мудрее, я прихожу к мысли, что все в жизни — благо.

Софокл



Глава первая
Мой трубадур

Смерть Мансо вернула Жорж Санд в Ноан. Но из-за странного пристрастия к многочисленным жилищам она сохранила за собой и домик в Палезо и большую квартиру в Париже. В Париж ее влекла любовь к театру, обеды у Маньи, репетиции пьес. Она посмотрела во французском театре комедию Мюссе «С любовью не шутят». «Старая история, очаровательная пьеса», — отметила она. Да, старая история, где она нашла свои собственные слова и воспоминания об угасших страстях. Иногда она приглашала гиганта Маршаля в цирк или в театр Жимназ.

> *Жорж Санд — Шарлю Маршалю:* Ты слушал «Дон-Жуана» в Лирическом театре? Я заказала на вторник два места. Возьмешь одно? Если да, пообедаем вместе где хочешь. Если нет, назначь мне где-нибудь свидание, я хочу обнять тебя и благословить до отъезда в Ноан. В четверг я уезжаю из Парижа, а до этого, в понедельник, — из Палезо. Оставь мне в понедельник записочку на улице Фёйянтин, чтобы я смогла отдать второе место на «Дон-Жуана» кому-нибудь другому, если у тебя не будет возможности воспользоваться им. Как живешь, мой жирный кролик? Я хорошо. Разве что восточный ветер меня раздражает. Целую тебя…

Но друг, вертевшийся среди красивых натурщиц, часто обманывал, и его было трудно чем-нибудь соблазнить, даже обедом за 10 франков у Маньи или у Бребана.

В Палезо за порядком в доме заботливо следили постоянные сторожа Жак и Каролина, благочестивая и плодовитая чета. «Хорошие слуги: часы всегда заведены, листок календаря сорван», как при Мансо; и Жорж могла, когда ей вздумается, проводить там спокойные вечера, не предаваясь особенно грусти, в тишине и сосредоточенности. Но в душе она оставалась беррийской сельской жительницей и всему предпочитала свой дорогой Ноан.

Редкий год проходил без того, чтобы Санд — девочкой, молодой девушкой, женщиной — не возвращалась в Ноан — побродить по знакомым буковым аллеям, прийти в соприкосновение со своей землей, со своими дорогими умершими. Кладбище, заросшее травой, полусгнившие громадные вязы, крытая черепицей колоколенка, паперть из неотесанного дерева — «все становится милым и близким нашей памяти, когда долго проживешь среди этого спокойствия и молчания». Вокруг крестьянские домики, где живут товарищи детских игр, их дети и их внуки. Старый друг — звонарь-могильщик. В старину, может быть, владелица замка вызывала негодование деревни. Некоторые уверяют, что видели в парке чертей и слышали странную музыку и танцы: маски и бергамаски, полонезы и мазурки, но сейчас с этим покончено. Теперь госпожа Санд — Добрая Дама, покровительница Ноана, личность легендарная, «прославившая гармонический Берри».

С ней живут не только Морис и Лина, но и внучка Аврора — «заказ» Жорж Санд, данный после смерти Кокотона, был выполнен. Аврора, по прозванию Лоло, красива, свежа и весела; у нее глаза бабушки — черные, бархатные, «руки и ноги восхитительные, взгляд серьезный, даже когда она смеется». Аврора IV «непременно хочет говорить и упражняется в этом самым необыкновенным образом, произнося согласные носом и горлом». В 1868 году ей исполнится два года, и бабушка в этот праздничный день сделает ей подарок — букет белых примул из сада Трианон.

Дом был по-прежнему гостеприимным, всегда открытым для друзей. Изменились только

сами друзья. Бори, всесильный директор Учетного банка, зарабатывал теперь, к великому возмущению Жорж, двадцать пять тысяч франков в год [70]. Ламбер — преуспевающий художник, награжденный орденом, выгодно женившись, жил на широкую ногу. «Вот он и богаче меня и живет в лучших условиях, лучше одевается, лучше ест, чем я, — говорила Санд. — Так что же? Он вступает в жизнь, а я скоро умру». Мало-помалу вокруг нее собралось новое поколение «сыновей». Среди них был ее многолетний корреспондент — Эдмон Плошю; этот знаменитый путешественник утверждал, что после кораблекрушения он спасся на Боа-Виста, одном из островов Зеленого мыса, только благодаря своему преклонению перед Жорж Санд, благодаря тому, что он всегда носил с собой альбом с автографами Эжена Сю, Кавеньяка и Жорж Санд. Перенесший грубое обращение негров, изгнанный так называемым консулом Франции, он, наконец, к своему счастью, встретился с одним образованным португальцем и показал ему свой альбом-талисман. Всемирная слава Дамы из Ноана спасла его. В 1861 году он появился в Тамарисе: у него был нос пирата и борода конквистадора, Санд приняла его в число своих «сыновей». Были еще в Ноане Шарль Эдмон — председатель правления газеты «Тан», Генри Гаррис — американец, обедавший у Маньи, известный в Америке специалист по Христофору Колумбу и по Жорж Санд; представители второго поколения беррийцев: Максим Плане и Анжель Неро, и представители третьего поколения — внуки Ипполита Шатирона: Рене, Эдме и Бебер Симонне. Но самым большим другом в ее старости был Гюстав Флобер. После смерти Мансо он, наконец, решился и приехал в Палезо, чтобы развлечь ее. Санд ответила на это приездом в Круассе, и этот «союз» оказался на редкость удачным.

> *Дневник Жорж Санд, 28 августа 1866 года:* Приезжаю в Руан в час дня. На вокзале нахожу Флобера, экипаж. Флобер везет меня осматривать город, прекрасные памятники, собор, городскую ратушу, Сен-Маклу, Сен-Патрис; это чудесно. Старая бойня и старые улицы; это любопытно. Мы приезжаем в Круассе… Мать Флобера — очаровательная старушка. Место прелестное, дом уютный, красивый, в большом порядке. И отличные удобства, чистота, вода, предусмотрено все, чего только пожелаешь. Я катаюсь как сыр в масле!.. Вечером Флобер читает свое великолепное «Искушение святого Антония». Мы болтаем в его кабинете до двух часов ночи.
>
> *Среда, 29 августа:* в 11 часов мы уезжаем на пароходе, едут: госпожа Флобор, племянница Флобера, его приятельница — госпожа Ваас со своей дочерью, госпожой де ла Шоссе. Мы направляемся в Ла Буй. Погода ужасная. Дождь и ветер. Но я остаюсь на палубе, смотрю на воду… В Ла Буй останавливаемся на десять минут и возвращаемся с приливом. В час мы дома. Затопили камин, мы сушимся, пьем чай. Я иду с Флобером осматривать его владения: сад, террасы, фруктовый сад, огород, мызу, «крепость», очень курьезный старый деревянный дом, который служит ему виннным погребом. Стезя Моисея. Вид сверху — на Сену… Очень высоко, прекрасное место. Земля там сухая и белая. Очаровательно и очень поэтично… Я переодеваюсь. Хороший обед. Играю в карты с двумя старыми дамами. Потом разговариваю с Флобером и ложусь спать в два часа ночи. Превосходная постель: спится хорошо. Но я снова кашляю; мой насморк свирепствует, тем хуже для него!
>
> *Париж, четверг, 30 августа:* В полдень отъезд из Круассе с Флобером и его племянницей. Мы ее высаживаем в Руане. Опять осматриваем город, мост; это огромно и величественно. Красивая часовня для крещения в церкви иезуитов… Флобер меня отправляет.

Санд — Флоберу: Я по-настоящему тронута оказанным мне сердечным приемом: в такой спокойной среде, как ваша, появление столь необычного бродячего животного, как я, должно было быть стеснительным. А вместо этого меня приняли так, как будто я член семьи, и я чувствовала, что эта изящная обходительность идет от сердца. Не забывайте меня, хотя у вас и очень хорошие друзья… А ты — великий человек, но ты еще и славный малый, и я люблю тебя от всего сердца…

Она возвращается в Круассе в ноябре 1866 года.

Дневник Жорж Сайд, 3 ноября 1866 года: В час дня отъезд из Парижа вместе с Флобером. Стремительный курьерский поезд, прелестная погода, очаровательный край, приятная беседа… На вокзале в Руане мы видим госпожу Флобер и ее второго сына, врача. В Круассе прогулка по саду, беседа, обед, вновь беседа и чтение до половины второго ночи. Удобная постель. Крепкий сон.

4 ноября 1866 года: Погода восхитительная. Прогулка до фруктового сада. Работа. Мне очень хорошо в моей комнатке, в ней тепло. За обедом — племянница, ее муж и старая дама Крепе… Она уезжает завтра. Пасьянс. Потом Гюстав читает мне феерию. В ней есть удивительные, очаровательные места, это чересчур растянуто, чересчур богато и полно. Опять мы разговариваем до половины третьего ночи. Я голодна. Спускаемся в кухню за холодным цыпленком. Выходим во двор, к насосу, за водой. Тепло, как весной. Едим. Возвращаемся наверх. Курим. Опять беседуем. Расстаемся в четыре часа утра.

5 ноября 1868 года: Погода все время прелестная. После завтрака идем гулять. Я тащу за собой Гюстава — он ведет себя геройски; одевается и провожает меня в Кантеле Это в двух шагах, на вершине холма. Какой чудесный край! Какой спокойный, открытый, красивый пейзаж! Нагружаюсь камнями причудливой формы. Больше ничего не нахожу. Возвращаемся в три часа. Работаю. После обеда вновь беседа с Гюставом. Читаю ему «Кадио». Опять разговариваем и ужинаем кистью винограда и тартинкой с вареньем…

6 ноября 1866 года: Идет дождь. В час дня мы отправляемся с матерью Флобера на пароходе в Руан. Захожу с Гюставом в кабинет естествоведения. Нас принимает господин Пуше; он глух, как пень, болен и делает неслыханные усилия, чтобы быть очаровательным. Разговаривать с ним немыслимо, но временами он начинает объяснять, и это интересно… Гнездо, окружностью в 80 метров, полное яиц… Птенцы вылупливаются уже с перьями… Коллекция превосходных раковин. Кабинет господина Пуше: паук, поедающий птиц, крокодил. Мы спускаемся в музей ботанического сада. Потом осматриваем фрагменты памятника Корнелю… Обед у мадам Каролины Комманвиль. Потом зверинец Шмита. Великолепные звери, ручные как собаки. Зародыши. Женщина с бородой. Пантомима. Ярмарка Сен-Ромэн. Мы возвращаемся в Круассе в половине первого ночи с матерью Флобера; она бодра, хотя и сделала большую прогулку пешком. Разговариваем до двух часов ночи…

Началась интересная переписка. Он называл ее: дорогой маэстро или дорогой, горячо любимый маэстро; она — мой бенедиктинец или мой трубадур; она любила повторять, что Флобер и она, сидящие перед камином и поджаривающие себе ноги, похожи на старых

трубадуров со старинных часов. Если судить поверхностно, эта взаимная нежность была удивительна, так как никогда два существа не были такими различными. У нее была цыганская натура, она любила ходить, путешествовать. Он был привязан к своему павильону в Круассе, к рукописям и комфорту.

> *Гюстав Флобер — Жорж Санд, 12 ноября 1866 года:* Здесь все вас любят. Под каким созвездием вы родились, что соединяете в себе столь различные, многочисленные и редкие качества? Не знаю, какого рода чувство у меня к вам, но я испытываю какую-то особую нежность, до сих пор у меня такой не было ни к кому. Мы хорошо понимали друг друга, не правда ли? Это было так мило… Я спрашиваю себя: почему я вас люблю? Потому ли, что вы великий человек или очаровательное существо? Право, не знаю…

> *27 ноября 1866 года:* Наши ночные беседы были прелестны. Были моменты, когда я еле удерживался, чтобы не чмокнуть вас как большой ребенок…

> *Жорж Санд — Гюставу Флоберу, 12 октября 1867 года:* Ты не так легок на подъем, как я. У меня ноги всегда на ходу. Ты не вылезаешь из халата, великий враг свободы и действия…

Флобера интересовала в жизни только литература. Санд писала для заработка, но и другие занятия ее привлекали, «Меня интересует научная классификация; я почти педагог. Я люблю обшивать и наряжать детей: я почти служанка. Я очень рассеяна: я почти идиотка…» И далее: «Пресвятая литература, как ты ее называешь, для меня всегда на втором месте. Всегда я любила кого-нибудь больше, чем ее, а мою семью — больше, чем этого кого-то…» Флобер отказывался писать тенденциозные или автобиографические романы: «Романист не имеет права выражать свое мнение о чем бы то ни было. Разве господь бог когда-нибудь высказывал свое мнение?.. Первый встречный гораздо интереснее господина Гюстава Флобера; в нем больше общих черт, и потому он более типичен…» Санд отвечала: «Я считаю, что художник должен отражаться в своих произведениях как можно сильнее». Флобер потел над одним словом всю ночь; Санд в течение ночи могла настрочить тридцать страниц и, закончив один роман, через минуту начать другой.

> *Жорж Санд — Гюставу Флоберу, 29 ноября 1866 года:* Меня всегда удивляет, как трудно вы работаете. Это кокетство? На вас это не похоже!.. Что касается стиля, мне он обходится дешевле, чем вам. Ветер колышет мою старую арфу, как ему нравится. Все бывает: взлеты и падения, грубые звуки и замирания; в сущности, мне это все равно, только бы это было вдохновение, в самой же себе — я ничего не могу найти. Это другая поет как хочет — плохо или хорошо, и, когда я начинаю понимать это, мне делается страшно, я говорю себе, что я ничто, ровно ничто… Дайте же ветру слегка пробежать по вашим струнам. Думаю, что вы вкладываете труда больше, чем следует, и что вы чаще должны предоставлять свободу действий другому. Все пошло бы так или иначе, и без напряжения…

Иногда она была менее уверена в себе: «Когда я вижу, как надрывается старик над своими романами, меня начинает пугать моя легкость в работе, и я говорю себе, что пишу кое-как…» Флобер отвечал скромно: «У вас мысль течет широким, неиссякаемым потоком. У меня же она льется тоненькой струйкой. Мне нужно проделать большую художественную работу, чтобы

добиться каскада».

Они часто обсуждали вопрос о чувственности художника. Санд всегда страстно интересовалась этой стороной жизни.

> *Жорж Санд — Гюставу Флоберу, 21 сентября 1866 года:* А ты, мой бенедиктинец, все так же одинок в своей очаровательной обители, работая и никуда не выходя?.. Вы существо весьма своеобразное, очень загадочное и к тому же кроткое, как ягненок. Мне безумно хочется расспросить вас кое о чем, но меня останавливает громадное уважение к вам; я могу легко относиться к своим собственным горестям, но не к тем, которые претерпевает великий ум, для того чтобы войти в творческое состояние; такие горести мне представляются священными, их нельзя касаться ни грубо, ни легко. Сент-Бёв, хотя и любит вас, все же утверждает, что вы ужасно порочны. Вероятно, у него грязное воображение… Я же вполне допускаю, что у интеллектуального человека могут быть странные склонности. У меня их не было по недостатку смелости…

Вспоминая то, что она проделала в молодости, поражаешься этой фразе, но, правда, многочисленность — это не многообразие, Жорж знает лучше кого бы то ни было, что художник бережет для творчества всю свою силу и часто даже не способен испытывать те наслаждения, которые описывает.

> *Санд — Флоберу, 30 ноября 1866 года:* Я не верю в тех донжуанов, которые в то же время Байроны. Дон-Жуан не писал поэм, а Байрон, как говорят, был плохим любовником. У него, конечно, были — хотя их можно пересчитать по пальцам — минуты полного захвата души, ума и чувственности; для того чтобы стать одним из поэтов любви, он довольно в этом сведущ. Таким тончайшим созданиям, как мы, больше и не нужно. Беспрерывное веяние жалких вожделений уничтожило бы их…

Флобер отослал ее к главе из книги «папаши Монтеня»: «О некоторых стихах Вергилия».

> *Флобер — Санд, 21 ноября 1866 года:* Его мысли о целомудрии совпадают точно с моими. Прекрасно стремление, а не воздержание. Иначе пришлось бы проклясть плоть, как это делают католики. И бог знает, куда бы это завело! Выдающиеся натуры, которые именно и хороши, прежде всего щедры и, не задумываясь, растрачивают себя. Надо смеяться, плакать, любить, работать, наслаждаться и страдать — словом, быть в постоянном возбуждении. Вот, мне кажется, в чем заключается истинно человеческое.

Они обсуждали судьбу Сент-Бёва, который в старости оставался по натуре распутником и был «в отчаянии оттого, что не может посещать рощи Киприды». Санд бранила его: «Он сожалеет о том, что менее всего заслуживает сожаления, если понимать, как понимает он». Флобер был более терпим: «Отец Бёв не иезуит, не девственник, а вы так к нему суровы!.. Мужчины всегда будут считать, что самое важное в жизни — наслаждение. Женщина для всех нас — это ступень к бесконечности. Это не благородно, но такова истинная сущность самца…» Она не могла с этим согласиться.

> *Санд — Флоберу, 16 февраля 1867 года:* Нет, я не католичка, но меня возмущает мерзость. По-моему, когда безобразный старик покупает девушек, тут нет ни любви, ни Киприды, ни устремления, ни бесконечности, ни самца, ни самки, а есть нечто

> противоестественное, потому что не желание толкает молодую девушку в объятия старого урода; там же, где нет свободы и взаимности, есть только посягательство на святую природу…

Так как Флобер работал тогда над «Воспитанием чувств», он задавал сотни вопросов той, которая была свидетельницей событий 48-го года. Флобер был суров к людям 1848 года: верная своим друзьям, Санд защищала их: «Разве не с 89-го года все запуталось? И разве не путаница привела к 48-му году, когда запутались еще больше, но все ради того, чтобы прийти к тому, что должно быть?..» Она боялась, что Флобер может быть несправедлив: «Ты меня тревожишь, говоря, что в своей книге обвинишь патриотов во всех грехах; так ли это? И потом побежденные! Довольно того, что они побеждены по своей вине, зачем тыкать им еще в нос все их глупости. Имей жалость. Ведь сколько же было благородных душ'»

Как они были различны и даже противоположны! Но они были «два старых трубадура, которые верят в любовь, в искусство, в идеал и воспевают это даже тогда, когда людской род свистит и невнятно бормочет. Мы — молодые безумцы этого поколения. Те, кто заменит нас, несут в себе старость, пресыщенность, скептицизм…» На что Флобер ответил: «Ах, я охотно последую за вами на другую планету; в ближайшем будущем наша планета станет необитаемой из-за денег. Даже самый богатый должен будет беспокоиться о своем состоянии; всем придется ежедневно проводить многие часы, пересчитывая свои капиталы. Это будет прелестно!»

И ненависть у них была общая: «Дорогой маэстро, милая возлюбленная божества, порычим на господина Тьера! Трудно себе даже представить, как меня тошнит от этого старого дипломатического дурака, который взращивает свою глупость на буржуазном навозе!..» Гораздо легче быть заодно против кого-нибудь, чем против чего-нибудь. Ей хотелось привлечь Флобера в Ноан. Именно там молодые люди становились ее сыновьями… Но Флобер заканчивал книгу и не соглашался приехать: «Сейчас объясню, почему я не еду в Ноан. Вы знаете, как было с амазонками! Чтобы легче им было стрелять из лука, они выжигали себе правую грудь. По-вашему, это хорошее средство?..» Санд находила такое средство очень плохим. Несмотря на «спасительные» сюртуки и мужские брюки, она никогда не была амазонкой. Наоборот, она пробовала быть в одно время и художником и женщиной, быть художником, оставаясь женщиной. Яснее, чем Флоберу, она объясняла в 1868 году это одной молодой и красивой женщине, которой она очень доверяла.

Глава вторая
«Моя дорогая девочка»

К 1860 году Жюльетта Ламбер была начинающей писательницей; сама она была приятная женщина, но у мужа ее был несносный характер. Ее отец, доктор Жан-Луи Ламбер дал ей образование в духе идеалистической и передовой доктрины, то есть во вкусе госпожи Санд; ее муж, адвокат Ла Мессин, позитивист, консерватор, плохой любовник, до крайности раздражал ее. Появившись в Париже, она понравилась всем своей живостью и обаянием. Ее хорошо приняли не только ее политические друзья, республиканцы, но и такие деятели Второй империи, как Мериме. Впервые она выступила с маленьким томиком, где защищала женщин от нападок Прудона и, в частности, пылко хвалила Жорж Санд и Даниель Стерн (Мари д'Агу) за смелость их личной жизни. Она была немедленно приглашена графиней д'Агу, которая открыла политический салон. А Жорж Санд поблагодарила молодую писательницу письменно, но к себе не пригласила, так как знала, что Жюльетта побывала у ее врага. История с Карлоттой Марлиани послужила ей уроком, она стала остерегаться разорванной дружбы и переносчиков сплетен. Открытая ссора, думала она, лучше, чем злословие за спиной. «В тот день, когда вы поссоритесь с госпожей д'Агу, вы узнаете, что Жорж Санд вам друг и что вы можете явиться к ней…»

Юной Жюльетте госпожа д'Агу показалась элегантной и мужественной. «Я дожила до мужского возраста», — говорила Даниель Стерн. Это было неправдой; у нее сохранились женские нервы. Когда она выдавала себя за демократку и принимала Греви, Пелетана, Карно, все улыбались, настолько корона ее белых волос, покрытая черным кружевом, имела аристократический вид. Она не устояла перед искушением очернить Жорж в глазах неофитки: «Моя дорогая девочка, позвольте мне дать вам совет. Не знакомьтесь с госпожой Санд. Вы разочаруетесь в ней. Как женщина, простите!..как мужчина, она ничтожна. Никакой способности к беседе. Жвачное животное — она сама это сознает. На это у нее глаз есть. Впрочем, очень красивый глаз». Мари не признавала за Жорж никаких достоинств. Ее доброта? «Она презирает людей, которым делала добро… Ее любовники — для нее кусок мела, которым она рисует. Закончив картину, она бросает этот мел под ноги, и от него остается только быстро улетучивающаяся пыль». Молодая женщина разрешила себе выразить сожаление: «Как жалко, что хотя бы для того, чтобы показать пример младшим, такие великие, как Даниель Стерн и Жорж Санд, не могут примириться!» У «великой» вырвалось с нервным раздражением: «Никогда».

Когда Жюльетта Ла Мессин оставила своего мужа, госпожа д'Агу одобрила это и поддержала ее. Но во время их совместных прогулок она постоянно возвращалась к Санд: «Ведь в ней есть порода: поэтому я не могу простить ей отсутствия воспитания, неумения одеваться, грубых проказ в Ноане и манер подмастерья в ее возрасте… Она из хорошей семьи: нельзя же в старости оставаться уличным мальчишкой!..» Это речи старой графини, сказала бы Софи-Виктория Дюпен.

В 1867 году Ла Мессин умер. Жюльетту это очень обрадовало, и она решила в самый кратчайший срок выйти замуж за человека, которого давно любила, — Эдмона Адама, журналиста и политического деятеля. Все друзья поздравляли ее, за исключением госпожи д'Агу. «Несчастье вдов заключается в том, — сказала она, — что у них появляется желание опять выйти замуж. Надеюсь, вы не сделаете этой глупости? Мыслящая женщина должна оставаться свободной». Узнав о новой привязанности Жюльетты, она вышла из себя самым непристойным образом, обозвала Жюльетту провинциалкой и дурой и предсказала ей, что через

два года она превратится в мещанку и перестанет писать. Эта сцена была похожа на приступ безумия, и действительно, не прошло и года, как госпожа д’Агу попала временно в клинику доктора Бланш.

Ссора с госпожой д’Агу дала, наконец, возможность Жюльетте увидеть Жорж Санд. Она попросила свидания и была приглашена на улицу Фёйянтин, 97. Волнуясь, она вошла в гостиную и увидела очень маленькую женщину с папиросой в руке, которая знаком указала ей место подле себя. Жорж зажгла папиросу; казалось, она хочет, старается что-нибудь сказать, но не может. Гостья залилась слезами; Санд материнскиоткрыла ей объятия. Жюльетта бросилась к ней на грудь, и эта немая сцена была началом долгой дружбы.

По мнению Жюльетты Ламбер, Жорж Санд значительно превосходила Даниель Стерн тонкостью чувств, благородством сердца, пониманием жизни и душевным спокойствием, завоеванным ценой жестокой школы. Жорж Санд сразу же решила удочерить эту умную женщину. Она пригласила Жюльетту на обед к Маньии представила ее своим друзьям. Присутствие хорошенькой женщины оживило сотрапезников, и они стали рассказывать непристойные истории. Санд рассердилась: «Вы знаете, что я ненавижу такие разговоры, они мне просто противны!» Дюма-сын похвалил красоту Жюльетты: «Надеюсь, что она бездарна. Зачем ей с такой фигурой, с такой рожицей быть синим чулком?» — «Александр Младший, — сказала Санд, — пожалуйста, будь осторожнее в своем презрении к синим чулкам! Держу пари, что ты будешь учить Жюльетту любви!» — «Конечно! Зачем быть писателем, если есть все это…» — «Дитя мое, — сказала Санд, — не слушайте этих людей. Вам надо прочесть, что они делают с влюбленными женщинами, такими, как госпожа Бовари, госпожа Обрэй, Жермини Ласерте: они вам дадут плохой совет». — «А вы, — сказал Дюма, — вы никого не любили, кроме будущих героев ваших произведений, марионеток, которых вы наряжали по своему вкусу, чтобы заставить их играть в вашей пьесе. И это называется — любить?»

Иногда Жорж, закуривая папиросу и бросая ее после нескольких затяжек в вазу с водой, пробовала извлечь из своей бурной жизни полезный для Жюльетты урок: «Когда мы сойдемся ближе, я вам расскажу, какими путями я шла по жизни. Они были еще труднее оттого, что я искала всегда более легких… Доброта, которая обычно делает человека проницательнее и уравновешеннее, во мне проявлялась, как бурная стихия, как неудержимый поток, стремящийся разлиться. Стоило только мне почувствовать жалость к кому-нибудь, как я уже была взята целиком. Я так слепо стремилась скорей сделать добро, что это чаще всего оборачивалось злом. Проверяя себя, я вижу, что у меня были только две страсти в жизни — материнство и дружба. Я не выбирала любви, я принимала ту, которая сама шла ко мне, и поэтому вкладывала в нее или требовала от нее нечто совсем другое, чем то, что она давала мне. Те люди, которым я дарила любовь, могли бы стать моими друзьями, сыновьями. Два раза сделав выбор, я уже не имела права предлагать дружбу. Для этого необходим нравственный авторитет. Мужчины неохотно идут на дружбу. Они могут испытывать наслаждение с первой встречной. Но им хочется получить не только чувственное удовольствие, но и любовную привязанность».

Этот точный самоанализ мог очень удивить врагов Жорж Санд, видевших в ней женщину, помешанную на своем теле. Однако она говорила правду. Она отдавалась сначала из милосердия; позднее потому, что у нее, как она говорила, больше не было «нравственного права предлагать дружбу»; а еще позднее по привычке и по потребности в чьем-либо присутствии. Эпоха диктовала образ действия. Аврора Дюдеван была молода в то время, когда все поколение художников стремилось любить и чувствовать не так, как буржуа. «Каждое мгновение мы могли утонуть, ведь мы презирали берега, мы плавали только в открытом море, поднимаясь над бездной. Дальше от толпы, дальше от берегов, всегда как можно дальше! Сколько из нас погибло телом и душой! Те, кто был выносливее, отказывался тонуть, отбивался, — те были отброшены в

сторону, встали на ноги и, прикоснувшись к земле, а особенно сблизившись с здравомыслящими людьми и простым народом, сделались такими же людьми, как и все. Сколько раз я возрождалась среди крестьян? Сколько раз Ноан лечил и спасал меня от Парижа?..» Она делала вывод: «Мы делали большую ошибку, примешивая плоть к нашим сентиментальным чувствам».

Это было примерно в то время, когда насмешливый Александр Дюма-сын, купаясь с Санд в Шере, спросил у нее: «Да, кстати, что вы думаете о «Лелии»?» Жорж, продолжая плавать, ответила: «Лелия»? Не говорите мне о ней! Недавно я хотела ее перечитать и не могла дочитать первый том до конца». Потом она добавила: «Все равно! Когда я ее писала, я была искренна…» Но кто бы сказал, что Лелия закончит свою жизнь в бабушкином замке, сочиняя сказки для внуков?

А спустя какое-то время, толкуя в сотый раз Жюльетте, что Мюссе был «лучшим поступком ее жизни» и что у нее не было «другой мысли, как только спасти его от него самого», она умоляла свою «избранную дочь» в случае, если будут в ее присутствии обвинять Жорж Санд в вероломстве, отвечать так: «Если Жорж Санд потеряла право быть судимой как женщина, она сохранила право быть судимой как мужчина, и в любви она была самой честной из вас. Она никогда не обманывала, никогда у нее не было одновременно двух любовников. Ее единственная вина была в том, что в те времена, когда искусство было на первом месте, она всегда предпочитала общество людей искусства и мужскую мораль ставила выше женской. И еще вы не должны, Жюльетта, забывать, что женщина прежде всего должна оставаться женственной, иначе вы попадете в невыгодное положение. Помните это всегда, ведь вы окружены мужчинами — так было и со мной, — вы любимы, вы, без сомнения, обожаемы многими из них, лучшими вашими современниками, — запомните это хорошо: выдающийся человек для исключительной женщины может быть желанным другом; а как любовник, он один и тот же для всех женщин, и часто он лучший любовник для женщины самой низкой и самой глупой. У меня есть опыт в любви, увы, очень полный! Если бы я могла начать жизнь заново, я была бы целомудренна!»

Жюльетта и ее дочь Алиса, прозванная Топаз, сделались постоянными спутницами госпожи Санд; с этими двумя подругами она ездила в Фекамп, в Дьепп, в Жюмьеж. Именно Жюльетта и ее «жених» — республиканец, похожий на доброго пса, — Эдмон Адам сопровождали Жорж Санд на выставку 1867 года.

> *Дневник Жорж Санд, 22 сентября 1867 года:* Вчера мне попался превосходный кучер, сегодня он снова приехал за мной. Я еду к Жульетте — она живет очень высоко! Но зато у нее очаровательное маленькое гнездышко и прекрасный вид из него. Мы отправляемся на выставку — Адам, Тото и я. Китайский гигант великолепен, это для варваров — Аполлон. Ужасный китайский карлик; некрасивая китаянка — у нее такой вид, как будто ей страшно надоели глупости, которые ей говорят. Какая же теперь глупая и грубая публика!.. Сальвиати. Румынские костюмы. Бананы, мороженое. Обед у Жюльетты; очень мило. Возвращаюсь в 10 часов, правлю «Кадио»…

Жюльетта уехала на зиму в Гольф-Жуан. Вилла Брюйер, подаренная ей родителями, была по соседству с Гран-Пэн, владением «доброго пса». Госпожа Санд приняла приглашение, и жизнь на вилле Брюйер протекала очень приятно. Погода была превосходная; вилла комфортабельная и светлая. Эдмон Адам, которого Санд называла «мой хороший уа-уа», так же как и его будущая жена, предался всей душой своему старому и знаменитому другу. Вместе с Жорж Санд прибыла и вся ее свита: Максим Плане, Эдмон Плошю, который каждый вечер рассказывал о своем кораблекрушении и о том, как его спас альбом с фотографиями; и Морис, «трогательно, отечески обращавшийся со своей матерью, — заботился о ней, развлекал и

охранял ее». Лина, беременная третьим ребенком, осталась одна в Ноане. «Она вот-вот должна родить, — говорила Санд, — и чтобы Соланж не испортила мне пребывание здесь (ведь Соланж боится одного Мориса), Лина сама захотела, чтобы ее муж меня сопровождал». У Соланж в это время была связь в Каннах с каким-то иностранным принцем; госпоже Санд не хотелось с ним встречаться. Морис очень нравился хозяевам; они находили, что в нем есть и талантливость и жизнерадостность. Его прозвали Сержант, потому что он унаследовал от маршала Саксонского страсть к военному делу. Завтраки на свежем воздухе, экскурсии в Валлори, «целую деревню горшечников, очень интересную»; прогулки на лодке, собирание растений; изучение ладанника, мастиковых деревьев, душистого вереска, толокнянки, анемонов; погоня за насекомыми; игра в крокет или в шары — в саду; вечерами игра в почту, рассказывание всякой чепухи, музыка; каждый день был полон такими наивными развлечениями.

Веселая ватага совершала недалекие поездки в Ниццу, Канны, Ментону, Монако. В Монте-Карло, в казино Морис разыгрывал из себя наивного беррийца и приставал к людям, рассказывая им, что он крестьянин, что он приехал играть, но не знает, как за это взяться. Одни называли его дураком: другие давали ему советы; его спутники умирали со смеху. Кончилось тем, что полиция выгнала их из игорного зала. Госпожа Санд веселилась: «В других она любила еще молодость, но в себе обожала старость — этот счастливый возраст, когда можно быть только другом, матерью и бабушкой». Эта совместная жизнь давала столько радости, что строили планы и впредь жить сообща: основать аббатство Тел ем, объехать в фургоне Францию. Ватага стала армией. Жорж Санд была полковницей, Морис — Сержантом, Плошю и Плане — стрелками, Адам горожанином, Жюльетта — маркитанткой. Уже перед отъездом Морис произвел маркитантку в чин подполковницы, и госпожа Ламбер очень этим гордилась. Расстались, унося в сердце милые и веселые воспоминания, и поклялись встретиться в Ноане, куда Жорж спешила, чтобы обнять родившуюся в ее отсутствие новую внучку, Габриель Санд.

Глава третья
Ноан перед войной

После свадьбы, в июле 1868 года, Адам и Жюльетта появились в Ноане. С ними был их спутник по поездке — американец Генри Гаррис, надоедавший им тем, что педантично играл роль чичероне, а еще тем, что этот Христофор Колумб навыворот считал, что Берри открыл он. Но так или иначе они полюбили поэтичность этого дома. Вечерами, глядя через открытое окно на звездное небо, вдыхая вливающиеся в дом запахи сада, они слушали Санд, прекрасно исполнявшую Моцарта и Глюка. С портрета работы Ла Тура, висевшего на стене, на них смотрел маршал Саксонский в сверкающих латах, в пудреном парике; а с другого портрета — прекрасная Аврора Кёнигсмарк, на которую так был похож Морис. «Предки производят на вас впечатление», — смеясь, сказал Морис Жюльетте. Она согласилась. Королевская кровь в соединении с простотой семейства Санд удивляла эту республиканку.

На следующий день состоялся праздник Бабушки. Морис стрелял из пушки; каждый подносил букет полевых цветов. Вечером было дано представление марионеток. Лучше всех описала их Жюльетта, давно уже ими интересовавшаяся:

> Мы знали их по именам, прежде чем увидели: Баландара, Деревянного петуха, капитана делла Спада, Изабеллу, Розу, Селесту, Иду, всех, всех… Мы в вечерних туалетах, декольтированные, как на премьере. Повсюду висят программы вечера. Марионетки представляют «Алонзи Алонзо — внебрачный ребенок, или Разбойники из Лас Сиеррас». Морис работал двадцать ночей, чтобы на один час развлечь свою обожаемую мать… Наконец торжественный момент наступает. Мы проходим очень серьезно, церемониальным маршем, в том порядке, который указывает госпожа Санд. Входим в залитый светом театральный зал, которого до этого момента мы не видели. Налево большая сцена для представления комедий; напротив нее — театр марионеток, с изумительным занавесом, нарисованным, конечно, Морисом. Занавес поднимается; в глубине сцены — декорация с необыкновенной перспективой. Мы переносимся в Испанию, в Лас Сиеррас. Мы предупреждены, что имеем право подавать реплики актерам, что действие и сама развязка могут быть подсказаны зрителями. Морис признает только этот вид одобрения публики.
>
> Входит Баландар, директор труппы, и сообщает нам то, о чем я только что рассказала; персонаж одновременно очень важный и симпатичный, он добавляет: «Будем веселиться». О! Баландар! Этот сюртук, безукоризненный белый жилет, огромная шляпа — то она у него на голове, то он ее держит в руках, — этот величественный вид! Его портной — Жорж Санд, и он этим беспрестанно хвастается…
>
> …Завсегдатаи театра, которые знают персонажей, так сказать, вне их ролей, вернее во всех их ролях, — в особенностях их характеров (Морис очень считается с этим), в их жанре, так как у каждого персонажа есть определенное амплуа, и он никогда не играет роли, не соответствующей его способности, его нравственным качествам, или порокам, — повторяю, завсегдатаи театра как бы знают часть их жизни еще до начала спектакля. У каждого есть свои любимцы, бывает даже и слабость к тому или иному персонажу. Всем известно, что Плошю, видя мадемуазель Олимпию Нантуйе, не может скрыть своего удовольствия. Лина нежно любит Баландара У госпожи Санд явно выраженная склонность к дожу Венеции и к Гаспардо, лучшему

> рыбаку Адриатики. Плане ухаживает за мадемаузель Идой. Мне надо сделать выбор. Деревянный петух никогда никого не любил. Он презирает женский пол и относится к нему очень часто непочтительно. Но у меня с ним любовь с первого взгляда. Я признаюсь ему в любви при всех; он отвечает мне…
>
> — Как, и ты, Деревянный петух, ты тоже влип, несчастный? Ты же был до сих пор верен своему имени! — кричит Лина.
>
> — Что поделаешь! Жюльетта в моем вкусе.
>
> Адам протестует и кричит:
>
> — А! Нет! Только этого недоставало!
>
> Мы помираем со смеху. Восхищенная госпожа Санд объявляет, что Адам попался на удочку, что это одна из самых больших удач Мориса…

Супруги Адам поняли, что Санд бывает сама собой только в Ноане. «Если я отсюда убегала, то только потому, что я бродяга», — смеясь, говорила она. Ей все больше хотелось думать, что ее «кавалькады» были только случайными шалостями, что они были вне ее единственно любимой деревенской жизни. Гостями Ноана тогда были Дюма-сын (который в 1864 году женился на своей зеленоглазой княгине); Готье; добряк Тео, который после первого знакомства с Жорж Санд решил, что она враждебно к нему относится, потому что она смотрела на него, не говоря ни слова; Флобер, которого с трудом убедили приехать и который дразнил Жюльетту Адам, уверяя, что будущая республика будет триумфом зависти и глупости; Тургенев, привезенный Полиной Виардо, от романов которого Санд была в восхищении («Он поражается, когда я говорю ему, что он великий художник и великий поэт»); а однажды даже вся труппа театра Одеон, комический роман на гастролях, пение и смех, замороженное шампанское, до трех часов утра.

Распорядок дня не менялся. Санд — Флоберу: «Каждый день забираюсь в реку, сижу по горло в воде и полностью восстанавливаю свои силы в этом холодном и тенистом ручье, который я обожаю; в нем я провела много часов моей жизни, набираясь сил после слишком долгого пребывания наедине с чернильницей…» Летом купание в ручье, всегда прохладном, так как он течет в тени. В полдень общий завтрак, потом продолжительная прогулка в парке, осмотр цветов, работа или занятия с Авророй; Санд даже находит время обучать игре на трубе горниста пожарной команды.

> *Жорж Санд — Жюльетте Адам, 10 января 1869 года:* Ну и занятие! Но теперь я умею это делать! Побудка, сигнал, отзыв, тревога, барабанный сигнал, место сбора, скорый шаг, обычный шаг и т. д. Пользуюсь случаем, чтобы преподать элементарное понятие музыки славному малому — подручному мельника: он не умеет читать, но смышлен — научится…

В 6 часов обед. После вторичной прогулки по саду возвращаются в голубой салон, и Санд играет на фортепьяно классические произведения, испанские мелодии или старинные беррийские песни. Дети уходят спать; все усаживаются вокруг стола. Санд раскладывает пасьянсы или кроит платья для внучек; Морис рисует карикатуры; другие играют в «морской бой», в домино; иногда кто-нибудь читает вслух. Флобер, Тургенев, сама Санд проверяют на этой публике свои еще не напечатанные вещи. Но чаще всего подшучивают друг над другом, дурачатся, как дети, Жорж Санд молчит, но ей нравится, чтобы вокруг нее была эта шумная суета. «Веселье — говорит она, — лучшая гигиена тела и души». Она верит в веселость так же, как в здоровье, как в доброту. Она хочет его henaurme[71], как говорит ее друг Флобер.

Шестидесятилетний возраст не избавил ее от любви к проделкам. Вместе с Морисом они прячут в деревянный сундук в комнате четы Адам петуха, и несчастный Эдмон всю ночь не может сомкнуть глаз. Жюльетта не остается в долгу: она подкупает звонаря-могильщика, чтобы он изо всех сил звонил к вечерней молитве и таким образом разбудил весь дом. Флобер ворчит. Как и следовало ожидать, «он невыносим в театре марионеток, потому что все критикует и не соглашается, что это глупо». Санд в виде дружелюбной мести посвятила ему роман. «Катящийся камень», в котором марионетки Ноана превращены в литературные персонажи.

Она продолжала еще писать романы, не очень в них веря. «Но привыкаешь рассматривать это, как военный приказ, и идешь в огонь, не спрашивая себя, будешь ли ты убит или ранен… Я иду своей дорогой, глупа я как пробка, а терпелива, как беррийка…» Каждую ночь, уложив гостей спать, она заполняет своим твердым почерком двадцать страниц. Она никогда не переписывает и редко исправляет. «Я занимаюсь литературой, как другие садоводством», — говорит она. Это не первоклассно, но «старый отставной трубадур поет иногда при луне свою несложную песенку, не очень заботясь, хорошо или плохо он поет, только бы это был тот мотив, который вертится у него в голове…» Она сама скромность. Ее по-настоящему восхищает не собственное творчество, а «Воспитание чувств». Она приходит в отчаяние, видя, что враждебные статьи огорчают Флобера. «Трудно даже вообразить, — говорит она, — до какой степени Флобер честен, как художник, как добросовестно относится к своей профессии». Но тут же она делает хитрую оговорку: «Его стесняет то, что он не знает, поэт он или реалист; а он и то и другое».

Такие же верные критические мысли обнаруживаются в письмах, которые она тогда посылала молодому писателю, встреченному у Маньи, Ипполиту Тэну: «Вы поставили Бальзака на подобающее ему место, в котором ему было отказано при жизни. Высокие умы не признавали его, он страдал из-за этого. Сколько раз я ему говорила: «Успокойтесь! Вы всегда будете на вершине». Когда Тэн послал ей Томаса Грэндоржа, она похвалила его, сказала, что работа талантлива и умна, но сделала при этом оговорки.

> *Жорж Санд — Тэну, 17 октября 1867 года:* Мне не нравится выдумка, которая служит фоном для размышлении господина Грэндоржа. Мне не нравится его имя, мне не правится его педикюр и еще менее его танцовщица. Все это, по-моему, передано холодно, все не к месту и отдает английским юмором, то есть непонятным вам и невеселым. Французский ум продпочитает правдоподобие, логически мыслящий Мольер является его выразителем во все времена. Тристам Шенди вызывает в нас удивление, но не развлекает нас, и по существу, нам нравится только чувствительная и изящная сторона произведения. Непонятно, почему господин Грэндорж, первоклассный художник, тонкий критик, изысканный артист, выставлен в смешном и странном виде, а еще менее понятно, почему он порочен. У автора есть какая-то своя мысль, но она неуловима: эта загадка огорчает или выводит из терпении.

Вот это поистине французское и великолепно изложенное суждение.

Сама же Дама из Ноана ищет сюжеты для своих произведений вблизи себя. Так, роман «Мадемуазель Меркем» явно был написан по мотивам жизни ее дочери Соланж. Под именем Эрнесты дю Блоссэ она описывает свою дочь: «Натура надменная, капризная, склонная к противоречиям, иногда причудливая, иногда практическая, умеющая извлекать все выгоды из своего положения». Как Соланж разорвала свою помолвку с беррийским дворянином Фернаном де Прео, чтобы выйти замуж за Клезенже, так и Эрнеста разрывает свою помолвку с неким господином Ла Торонэ, местным дворянином, чтобы выйти замуж за Монрожэ. Создается

впечатление, что Жорж Санд спустя двадцать один год обратилась к старым письмам, которые либо сохранились у нее самой, либо были ей возвращены. Соланж оставалась загадкой. У этой сорокалетней красавицы были богатые любовники из почтенных семейств; она получала от них весьма ощутительную денежную помощь, что не мешало ей брать деньги и у отца и у матери.

Итоги подведены, страсти улеглись, и Жорж счастлива: «Буду ли я плакать на развалинах Пальмиры? Нет, это пройдет, как говорит Ламбер. Беда моих современников в том, что они хотели бы возвратиться в прошлое. Ничто не возвращается; все проходит; все мы, как вода, журчим и струимся, но если нам удалось отразить прекрасные вещи, которые мы любили, которые воспели, — не пора ли перестать журчать и струиться? Продолжать — скучно, начать снова — страшно. Человек старится в одиночку, печальный или сосредоточенный, но спокойный, все более спокойный!..» Она чувствует себя превосходно, она загорела на солнце, ее кожа приобрела кирпичный оттенок; она еще способна ходить целый день и, вернувшись, выкупаться в ледяном Эндре.

> *Жорж Санд — Жозефу Дессо, 5 июля 1863 года:* У меня шестьдесят четвертая весна. Я не ощущаю тяжести лет. Я хожу, как и раньше, работаю, как и раньше, сплю так же хорошо. Мои глаза утомлены, но я ношу очки с давних пор, и вопрос лишь в номере, вот и все. Когда я не смогу работать, надеюсь, я потеряю и желание работать. И потом все почему-то боятся приближающейся старости, как будто уверены, что доживут до нее. Никто не думает о том, что с крыши может упасть черепица. Самое лучшее быть всегда к ней готовым и наслаждаться старостью так, как мы не умели наслаждаться молодостью. В двадцать лет теряют столько времени и так расточают жизнь! На склоне лет дни считаются вдвойне: вот наше утешение…

Идут годы, и постепенно старшее поколение уходит от нас. В 1869 году умер Сент-Бёв — первый духовный пастырь Жорж Санд. К концу своей жизни он вызывал отвращение у Флобера восхвалением Наполеона III: «Это при мне-то! Расхваливать Баденге! А ведь мы были одни!»

> *Гюстав Флобер — Жорж Санд, 14 октября 1869 года:* Мы увидимся в субботу на похоронах бедняги Сент-Бёва. Наша маленькая ватага все уменьшается! Потерпевшие кораблекрушение исчезают с плота Медузы…

> *29 июня 1870 года:* Нас было семеро, когда мы начали обедать у Маньи, теперь осталось трое: я, Тео и Эдмон де Гонкур! Ушли один за другим в течение восемнадцати месяцев: Гаварни, Буйе, Сент-Бёв, Жюль де Гонкур, и это еще не все!..

Казимир был еще жив. Его жена продолжала издали наблюдать за ним и предостерегать Соланж и Мориса против опасности завещания в пользу внебрачной дочери, что лишало их Гильери. Побуждаемые ею, они начали процесс со своим отцом по поводу истолкования завещания баронессы Дюдеван. Жорж Санд вела все переговоры «со страстью матери, тонкостью женщины и ловкостью юриста». Этот судебный процесс огорчал Казимира, лишая его сна и здоровья. У него никогда не было сил бороться против Авроры. От него потребовали продажи Гильери. От продажи он оставил себе 149 тысяч франков; Морис и Соланж разделили остаток (130 тысяч франков). Казимир удалился в деревню Барбаст, в шести километрах от Гильери, где и умер 8 марта 1871 года. Горести привели его к слабоумию, омрачили его рассудок, и в мае 1869 года он отправил императору странное письмо, в котором «барон Дюдеван, бывший офицер Первой империи», просил крест Почетного легиона:

> Я подумал, что наступил час, когда я могу обратиться к сердцу Вашего Величества, чтобы получить почетное вознаграждение, думаю, заслуженное. На склоне моих дней я претендую на крест Почетного легиона. Это высшая милость, которой я добиваюсь от Вашей императорской щедрости.
>
> Прося об этой награде, я опираюсь не только на мои заслуги с 1815 года перед страной и законной властью — заслуги, быть может, скромные и незначительные, — но еще и на выдающиеся услуги, оказанные моим отцом с 1792 года до возвращения с острова Эльба. Более того, я осмеливаюсь сослаться на домашние несчастья, которые принадлежат истории. Женившись на Люсиль Дюпен, известной в литературном мире под именем Жорж Санд, я жестоко пострадал в моей привязанности супруга и отца, и я убежден, что заслужил сочувствие всех тех, которые наблюдали мрачные события, отметившие этот период моего существования…

Наполеон III не считал, что брачные невзгоды, будь они даже исторические, заслуживают креста, но он счел письмо пикантным и, очевидно, показывал его, так как в 1870 году после его отречения от престола оно было найдено на письменном столе.

Жорж в голову не приходило жалеть Казимира. После стольких жизненных трудностей она наслаждалась могучей, уважаемой, победоносной старостью. Жизнь Санд воскрешала в памяти друзей картину старости одной из прежних ее безумных героинь — Метеллы: «Ею восхищались и в том возрасте, когда любовь уже не своевременна; и в почтительности, с какой ее в кругу прелестных детей Сары приветствовали, чувствовалось волнение, возникающее в душе при виде неба, чистого, гармоничного и безмятежного, только что покинутого солнцем». Однажды она вновь открыла свой альбом с романтическим названием «Sketches and Hints»[72], в котором во времена Мюссе, а потом и Мишеля она запечатлела свои пылкие чувства. Ее удивило и не понравилось ей то существо, которым она была когда-то.

> Сентябрь 1868 года: Я случайно перечитала все это. Я была влюблена в эту книгу, я хотела в ней написать прекрасные вещи. А писала одни глупости. Сейчас мне все это кажется высокопарным. Но тогда я верила в свое чистосердечие… Я вообразила, что пришла к окончательному выводу о себе самой. Разве можно прийти к этому выводу? Разве можно знать самого себя? Разве когда-нибудь можно быть кем-то? Я этого больше не знаю. Мне кажется, что меняешься со дня на день и через какое-то число лет становишься новым существом. Сколько я ни разглядываю себя, никак не нахожу следов той, какой была: озабоченной, неспокойной, недовольной собой, раздраженной другими. Конечно, у меня была несбыточная мечта о величии. Это была мода времени, все хотели быть великими и, не достигнув этого, приходили в отчаяние. Мне пришлось достаточно потрудиться, чтобы остаться доброй и искренней. Но вот я очень стара и благополучно переживаю мой шестьдесят пятый год. По странной прихоти судьбы я гораздо лучше себя чувствую, я более сильна и более проворна, чем в молодости; я хожу больше, работаю по ночам лучше; легко просыпаюсь после великолепного сна… Я совершенно спокойна, моя старость так же целомудренна своим рассудком, как и своими делами, ни малейшего сожаления о молодости, никакого стремления к славе, никакого желания денег, разве только чтобы оставить немного моим детям и внукам. Никакого недовольства друзьями. Я сожалею только о том, что человечество живет плохо, общество повернулось спиной к прогрессу, но кто знает, что скрывает эта вялость? Какое пробуждение таится в этом оцепенении?.
>
> Буду ли я долго жить? Эта удивительная старость, которая наступила для меня без

болезней и без изнеможения, что она: знак долгой жизни? Умру ли я сразу? Да нужно ли это знать, если каждый час можно погибнуть от несчастного случая? Смогу ли я еще приносить пользу? Вот о чем нужно себя спрашивать. Думаю, что да. Я чувствую, что могу быть полезной более лично, более непосредственно, чем когда-либо. Я достигла, не знаю как, большего благоразумия. Я могла бы воспитать детей гораздо лучше, чем прежде. Как всегда, я верующая, бесконечно верующая в бога. Вечная жизнь. Зло, когда-нибудь побежденное знаниями. Наука, озаренная любовью. Но символы, образы, культы, боги человечества? Прощайте! Я уже прошла через все это… Ошибаются, думая, что в старости все идет на убыль. Наоборот, идешь в гору, и огромными шагами. Работаешь так же быстро умственно, как ребенок — физически. Это не значит, что мы как бы отдаляем срок нашей смерти; нет, мы просто смотрим на него как на конечную цель, не боясь его…

Глава четвертая
Война и коммуна

1 июля 1870 года Жорж Санд исполнилось шестьдесят шесть лет. «Здоровье в порядке, самочувствие очень хорошее, бодра, не ощущаю тяжести лет», — отмечала она. Знойная жара охватила Ноан; термометр в тени показывал 45 градусов; ни одной травинки; деревья пожелтели, листья опадали; африканская жара придавала всем предметам какой-то предсмертный вид. И затем бедствия, лесные пожары, волки, в растерянности бродившие вокруг дома, эпидемии. «Никогда не было такого печального лета, в довершение всего объявлена война…»

В довершение! Это дополнительное бедствие казалось скорее нелепым, чем опасным. Санд могла бы понять войну для освобождения Италии, но между Францией и Германией «в данный момент это только вопрос самолюбия, хотят узнать, у кого оружие лучше». Плошю, очень шовинистически настроенный, писал ей из Парижа, что народ «ревет в восторге». Она отвечала грустно: «В провинции это не так. Все удручены: все видят в этом игру властителей…» Флоберу: «Я считаю эту войну постыдной… Мальбрук в поход собрался… Какой урок для народов, которые хотят абсолютной монархии!»

Начало августа было ужасным. Никаких вестей из армии. Это мрачное ожидание становилось мучительным. Газетам заткнули рты, они ничего не сообщали. Жорж Санд наблюдала ярость крестьян против императора: «Нет ни одного, который не говорил бы: «Мы всадим первую пулю ему в голову»!» Они этого не сделают; они будут очень хорошими солдатами… Но это недоверие, нелюбовь, решение наказать при будущем голосовании». Жюльетте Адам: «Нужно одним ударом покончить с пруссаками и империями». Морис хотел было служить в армии, но все было как-то непонятно. «К оружию! Какому оружию?» Не хватало ружей, продовольствия, всего. «Три пруссака могли бы взять Ла Шатр; никаких мер не было принято на случай вторжения».

К концу августа начали распространяться сведения о происшедшем бедствии. Дневник Жорж Санд, 4 сентября 1870 года: «Наконец официальная телеграмма. Зловещая!.. Единственное утешение: император в плену. Но наши бедные солдаты! Сколько должно быть убито, чтобы сорок тысяч солдат сдались… Это конец империи, но при каких условиях…» 5 сентября 1870 года: «Морис разбудил меня и рассказал, что в Париже без сопротивления объявлена республика, событие громадное, единственное в истории народов… Бог покровительствует Франции. Она вновь стала достойной его взора…» Эдмону Плошю: «Все-таки да здравствует республика!..»

В сентябре эпидемия оспы опустошила Ноан. Нужно было удалить маленьких девочек. Вся семья уехала в Крез. Лоло и Титит играли в пруссаков с ружьями из стеблей тростника. На деревенских площадях мальчики заменяли ружья палками. Жорж страдала одновременно как француженка и как пацифистка. Она горестно удивлялась немцам: «Они приходят холодные, суровые, как снежная буря, неумолимые в своем упорстве, свирепые, когда это им нужно, хотя внешне производят впечатление добрейших людей. Они ни о чем не думают: сейчас не то время; размышление, жалость, угрызение совести ждут их у домашнего очага. В походе они действуют, как военные машины, бессознательные и ужасающие…» Как Жюль Фавр, Санд хотела мира, но не позорного.

Возвратившись в Ноан, она узнала, что два воздушных шара, названных «Арман Барбес» и «Жорж Санд» покинули осажденный Париж. «Барбес» привез в Тур молодого депутата, уже известного оратора Леона Гамбетту, который утверждал, что еще можно вооружить Францию и выиграть войну. Жорж в это не верила: «Наши диктаторы в Туре настроены слишком

оптимистично». Импровизированные Гамбеттой армии не внушали доверия осмотрительной крестьянке Жорж Санд. Настоящая, узаконенная выборами республика была ее мечтой, но продолжительная диктатура, не подтвержденная даже успехом оружия, внушала ей ужас.

> *Дневник Жорж Санд, 7 декабря 1870 года:* Никто ничего не понимает; все сходят с ума. Мы обречены на одиночество, мы похожи на пассажиров судна: со всех сторон его бьют ветры, и оно не может сдвинуться с места…

> *11 декабря 1870 года:* Правительство переезжает из Тура в Бордо. Гамбетта отправился в армию Лауры. Может быть, он намерен командовать ею лично? Тогда он — или консул Бонапарт, или отчаянная голова, которая потеряет все. Сейчас для него начался пятый акт. Он должен либо выиграть, либо дать убить себя… А я все работаю, и чем ближе опасность, тем с большим увлечением. Я хотела бы все задуманное довести до конца, чтобы умереть с удовлетворением, трудясь до последней минуты…

В разгар войны сторонники разных партий сталкивались. В Париже угрожали красные. Санд, у которой среди них были старые друзья, вроде Феликса Пиа, профессионального революционера с 1830 года, не боялась их. Она больше боялась монархистов, бонапартистов или диктатуры. Чистка, которую производил Гамбетта, ее неприятно поражала: «С сожалением наблюдаю новые назначения чиновников и магистрата, принимающие колоссальные размеры». Она считала особенно опасным и незаконным пренебрежение выборами. Сторонники крайних мер в Париже, так же как и правительство Бордо, хотели опираться на «активное меньшинство». Забыв, что сама поддерживала этот тезис в 1848 году, теперь она его осуждала: «Пренебрежение к массам — вот преступление в данный момент». Когда из-за бомбардировки Парижа ее друзья: Жюльетта Адам, Эдмон Плошю, Эжен и Эстер Ламбер, Эдуард Родриг — оказались в опасности, она рассердилась на Гамбетту: «Было пагубной ошибкой верить, что храбрости достаточно там, где нужно основательное представление о действительности… Бедная Франция: нужно было бы все же открыть глаза и спасти то, что от тебя осталось!» Она считала Гамбетту честным и убежденным, но сожалела о полном отсутствии у него здравого смысла: «Это большое горе — считать себя способным на великие дела…» Она порицала речи, которые заканчивались рефреном, как кантата: «Итак, терпение! Мужество! Дисциплина! Поставив много восклицательных знаков в конце своих депеш, господин Гамбетта считает, что он спас родину».

Перемирие дало возможность правительству Парижа взять Францию в руки, и у Жорж Санд было впечатление, что Гамбетта пытается оттянуть выборы, чтобы поддержать диктатуру Бордо и противодействовать миру. Она твердо приняла сторону Парижа: «Я многое бы дала за уверенность в том, что диктатор подал в отставку. Я начинаю его ненавидеть за то, что он заставил людей страдать и умирать без всякой пользы. Его поклонники раздражают меня, повторяя, что он спас нашу честь. Наша честь была бы отлично спасена без него. Франция не столь подла, чтобы ей понадобился учитель мужества и самоотверженности перед лицом врага. В этой войне все партии имели своих героев, все сословия дали мучеников. Мы имеем полное право проклинать того, кто обещал привести нас к победе, а привел к отчаянию. У нас было право требовать от него хотя бы таланта, а у него не было даже здравого смысла». Но она добавляла: «Да простит его бог!»

> *Дневник Жорж Санд, воскресенье, 29 января 1871 года:* «Ах! Господи, наконец, наконец! Подписано перемирие на двадцать один день. Созыв собрания в Бордо. Туда направляется один из членов парижского правительства. Больше ничего не известно.

Гамбетта в ярости. Теперь он подавится своей диктатурой… Как будет снабжаться Париж?.. Будет ли мир в результате прекращения военных действий? Будет ли у нас связь с Парижем? Субпрефект, который в два часа принес нам депешу, думает, что Гамбетта окажет сопротивление. Тогда это будет гражданская война? Он способен предпочесть ее, но не отказаться от власти!

Как и в 1848 году, выборы оказались чреватыми и сверхчреватыми своими последствиями. Партия мира торжествовала всюду, кроме Парижа. Дневник Жорж Санд, 15 февраля 1871 года: «В Париже герой дня — Луи Блан, самый ненавистный и самый непопулярный человек в мае 1848 года. О, превратности судьбы! В провинции герой дня Тьер, избранный двадцатью департаментами. Два историка современной эпохи. Оба карлики: впрочем, дело не в росте. Великие умы, они, возможно, договорятся, если не будут слишком завидовать друг другу…» Санд, огорченная жестокими условиями мира, тем не менее присоединялась к мысли, что с войной нужно покончить.

Жорж Санд — Эдмону Плошю, 2 февраля 1871 года: Не огорчайся, не огорчайтесь: вы все исполнили свой долг… Горе не марают, и если Франция в крови, она не в грязи… Сейчас нужно заключить мир, добиться по возможности лучшего, но не настаивать упорно на войне — из гнева или из мести за наши несчастья…

Санд понимала, что Франция воспрянет быстро. Всем своим существом беррийской крестьянки она знала, что Франция для своего возрождения обладает бесконечными ресурсами и необычайными возможностями. Она, часто стоявшая на пороге самоубийства, всегда побеждавшая эти душевные кризисы, чтобы пережить снова молодость, сама казалась символом Франции.

Тьер, так презираемый ею когда-то, сделался в ее глазах наименьшим злом. Тьер примирился с республикой с тех пор, как стал ее вождем. Он думал, что достаточно ему руководить республикой, и она будет тем образом правления, который «меньше всего вносит раздор между нами». Дел было несметное количество: освобождение территории, перестройка страны, государственное устройство. Тьер чувствовал себя способным привести все к общему благу. Но патриотический Париж не соглашался на договор; социалистический Париж не соглашался на реакционное собрание; Париж, столица, не соглашался, чтобы правительство было в Версале. Санд с тревогой наблюдала, как восстают предместья.

Дневник Жорж Санд, 5 марта 1871 года: Пруссаки вступили утром 1 марта на Елисейские поля, а ушли утром 3-го, не общаясь с населением. Париж вел себя очень благоразумно и с достоинством, но есть опасение, особенно после ухода пруссаков, что произойдет повторение июньских дней. Посылают войска в Париж. Избежим ли мы припадка отчаяния партий?..

8 марта 1871 года: Гаррис пишет мне, что город вновь принимает свой внешний элегантный вид: появился газ, показались кокотки. Но он все-таки верит, что «день» близок; я в это еще не верю…

19 марта 1871 года: Волнение больше чем когда-либо. Париж охвачен безумием. В течение вчерашней ночи пробовали взять обратно пушки Монмартра с помощью отряда, который, окружив Авентинский холм, как его называют, был, в свою очередь, окружен вооруженным населением Бельвилля и отказался воевать. Рассказывают о

> стремительной перестрелке, немедленно прорванной из-за отказа солдат стрелять в народ… Днем правительство послало депешу, объявившую, что оно все целиком в Версале и нужно выполнять только его приказы; это может быть доказательством того, что захвачена ратуша и что в Париже взяли верх революция, мятеж или заговор. Не июньские ли это дни? Я от этого больна. Антуан и де Вассон пришли обедать. Все печальны…

Затем наступила Коммуна. Париж покрылся баррикадами, пушками, пулеметами. На этот раз Санд относилась враждебно к восставшим. Дневник Жорж Санд, 22 марта 1871 года: «Толпа, которая следует за ними, отчасти одурачена и безумна, отчасти неблагородна и зловредна…»

> *Четверг, 23 марта 1871 года:* Ужасная авантюра продолжается. Они грабят, угрожают, арестовывают, судят. Они мешают судам работать. Они потребовали из банка миллион, от Ротшильда 500 тысяч франков. Их боятся, им уступают. Начинаются уличные бои; на Вандомской площади они стреляли и убили многих демонстрантов. Они захватили все мэрии, все общественные учреждения. Они расхищают боевые и съестные припасы. Их газета «Офисиель» подла. Они смешны и грубы, и чувствуется, что они уже сами не знают, как кончать этот путч. Правительство в Версале реакционно до тупости. Оно не хочет примирения. Жюль Фавр еще реакционнее его. Он возбуждает Версаль против Парижа. Тьер более ловок, лучше владеет собой, хотя чувствуется, что он очень оскорблен. Правительство противится ему и мешает ему выступать…

Она порицала своих друзей, республиканцев Парижа, которые допустили низвержение правительства. «Письмо от Плошю. Он один из тех, кого я сравниваю с нанимателями квартир, которые согласны, чтобы горел их дом и они вместе с ним только для того, чтобы насолить домовладельцу…»

Это продолжалось с марта по июнь, потом Тьер восторжествовал.

> *Дневник Жорж Санд, 1 июня 1871 года:* В Париже все очень хорошо кончилось. Сносят баррикады; хоронят трупы; появляются новые, так как многих расстреливают и производят массовые аресты. Отвечать за более виновных, которые скроются, будут невиновные или виноватые отчасти. Александр говорит, что он освободил многих, пользуясь доказательствами науки физиогномики, преподанной доктором Фавром. Вообще письмо какое-то странное, и я не понимаю, как ему удается заставить военные суды прислушиваться к его советам по применению этой науки. Гюго совсем сошел с ума. Он публикует совершенно бессмысленные вещи, в Брюсселе были демонстрации против него…

> *7 июня 1871 года:* Подробности о разрушениях в Париже. Они огромны, и был план все сжечь. Это господство Таманго. Неизвестно, что происходит. Трусливый буржуа, переживший все это, хотел бы теперь всех убить. Неужели продолжается расстрел на месте? Это страшно…

Непомерные репрессии, жестокие, как и во времена Коммуны, привели Жорж Санд, как это часто бывает у прямолинейных людей, к разладу со всеми. Политические друзья упрекали ее в том, что она не понимала необходимости баррикад; враги — в недостатке твердости. Она оставалась верна доктрине, которую называла «Евангелие от Жан-Жака».

Мне не нужно спрашивать себя, где мои друзья и где мои враги. Они там, куда их бросил шквал. Те, кто заслужил мою любовь, хотя и смотрят на все другими глазами, чем я, остались мне дороги. Необдуманное порицание тех, кто меня покидает, не заставляет меня рассматривать их как врагов. Всякая несправедливо отнятая дружба остается неизменной в сердце, не заслужившем оскорбления. Это сердце выше самолюбия; оно умеет ждать возврата справедливости и привязанности.

Насильственные меры и низости сторонников двух лагерей лили грязную воду на мельницу пессимиста Флобера: «Романтики получат по заслугам за свою безнравственную чувствительность. Заботятся о взбесившихся собаках, а не о тех, которых они искусали…» Жорж Санд призывала его к благоразумию.

> *Жорж Санд — Гюставу Флоберу, 1872 год:* Не надо быть больным, не надо быть брюзгливым, мой старый трубадур. Нужно кашлять, сморкаться, выздоравливать, говорить, что Франция безумна, человечество глупо и что мы — животные несовершенные; и все же нужно любить друг друга, себя, своих близких и особенно своих друзей… Впрочем, возможно, что это хроническое чувство негодования является потребностью твоего душевного склада; меня же оно убьет… Ты скажешь, что нельзя жить спокойно, когда человеческий род так нелеп? Я покоряюсь, говоря себе, что я, быть может, так же нелепа, как и весь людской род, и что пора мне подумать о том, чтобы исправиться.

Это была сама мудрость. Если бы вместо того, чтобы бранить свое время, каждый подмел перед своей дверью, улица стала бы немного чище. Прошли месяцы, и Флобер продолжал гневаться. Собрание колебалось теперь между монархией, и республикой.

> *Флобер — Санд:* Общественное мнение мне кажется все более и более подлым. До какой глубины глупости мы дойдем? Франция тонет, как гнилой корабль, и мысль о спасении кажется несбыточной даже наиболее сильным… Я не вижу возможности выдвинуть сейчас новый принцип, равно как и уважать старые… Пока что я повторяю про себя слова, сказанные мне как-то Литтре: «Ах, друг мой! Человек — это весьма непостоянный состав, а земля — это худшая из планет…»

На самом деле эги слова были не очень умными. Худшая планета? Хуже какой? На Сатурне или на Марсе дела идут лучше? Санд была согласна с Ренаном, что относительного спасения надо ожидать от осторожной республики. «Она будет буржуазна и мало совершенна, но начинать надо с самого начала. У нас, художников, нет терпения. Нам немедленно нужна Телемская обитель; но прежде чем сказать: «Делай что хочешь!», придется пройти через: «Делай что можешь!» А вернуться к абсолютной форме правления, по ее мнению, было бы бедствием.

Всеобщее избирательное право, то есть выражение общей воли — хорошо оно или плохо, — это предохранительный клапан, без которого вы получите опять вспышки гражданской войны. Как? Этот чудодейственный залог безопасности вам был дан, этот значительный социальный противовес был найден, а вы хотите его ограничить и парализовать?

Это не был больше революционный дух 1848 года, но уже мудрость Третьей республики. В этом были свои хорошие стороны.

Глава пятая
Nunc dimittis… [73]

> *Жорж Санд — Гюставу Флоберу, 6 ноября 1872 года:* Послушай, почему ты не женишься? Одиночество тягостно, губительно и, кроме того, жестоко по отношению к тем, кто вас любит. Все твои письма огорчают и расстраивают меня. Неужели у тебя нет женщины, которую бы ты любил или хотел бы, чтобы она тебя любила? Возьми ее к себе. Может быть, где-нибудь есть малыш, отцом которого ты можешь себя считать? Воспитывай его… Стань его рабом. Забудь о себе ради него… Словом, сделай что-нибудь. Жить только самим собою — плохо…

Она сама жила так, как советовала. Во все годы после войны Жорж Санд прежде всего была пылкой бабушкой. Какой радостью было для этой преподавательницы по призванию обучать чтению Титит, преподавать Лоло географию, историю, слог. Аврора оставалась любимицей. «Очень беспокоит меня моя Аврора. Она слишком быстро все схватывает, и надо бы вести ее ускоренным аллюром. Ее увлекает только познавание, к знанию она относится с отвращением». Зрелище мира вновь обретает свою ценность, когда его можно благодаря детскому взору заново открыть для себя. Маленькие девочки шныряли в вереске, как кролики, вокруг старой женщины. «Господи, как хороша жизнь, когда все, что любишь, живет и копошится около тебя!»

Теперь уже вместе со своими внучками она могла наслаждаться путешествиями, природой, солнцем, цветами. Ее труд романистки? Она любила его не больше, чем прежде. Она пекла по два или три романа в год, потому что нужно было выполнять обязательства по договору с Бюлозом и по новому договору через Шарля Эдмона с «Тан»; но главным образом потому, что ее семья и ее друзья нуждались в деньгах. Она справлялась со своей задачей довольно хорошо, потому что владела мастерством, но темы ее романов почти не обновлялись: деревенская идиллия («Марианна Шеврез»), похищение детей («Фламаранд» и продолжение: «Два брата»). Она предпочла бы отдых и вышивку, если бы могла выбирать. Флобер побуждал ее читать молодых: Эмиля Золя, Альфонса Доде. Ей нравились их книги, но она находила их слишком мрачными.

> *Жорж Санд — Гюставу Флоберу, 25 марта 1872 года:* Жизнь вовсе не кишит одними подлецами и негодяями. Честных людей не так уж мало, раз в обществе существует порядок, и безнаказанных преступлений не так много. Правда, преобладают глупцы, но существует общественное мнение, которое на них воздействует и заставляет уважать право. Пусть показывают и бичуют мошенников — это хорошо, это даже нравственно, но пусть нам покажут и расскажут о тех, кто противостоит им; иначе наивный читатель, а он-то и есть главный читатель, впадет в уныние, в тоску и в панику и не будет вас признавать, боясь прийти в отчаяние.

Уже давно критики перестали высказываться о ее новых романах; даже Гюго не посвятил ей ни одной статьи, несмотря на то, что она это делала для него; в литературном мире она чувствовала себя одинокой. Однако несколько человек нового поколения принялись хвалить ее идеализм. Литературный мир, как и мир социальный, качается вокруг неизменной точки Jutus et reditus[74]. Маятник возвращается на свое место. Некий Анатоль Франс воздавал должное прекрасному таланту госпожи Санд и всем возвышенным и темным страстям этой великой и наивной любимицы судьбы.

Тэн писал: «Мы были реалистами до крайности; мы слишком настаивали на животной стороне человека и на испорченности общества», и он утверждал, что Санд больше чем когда-нибудь предстоит играть большую роль и что французы ожидают от нее многого.

> *Ипполит Тэн — Жорж Санд, 30 марта 1872 года:* Живите еще долго для нас; помимо того, что задумано вами, что продиктовано вам сердцем, дайте нам то, о чем я вас просил: произведение более доступное для народа и более светлое; это будет проповедь, увещание для людей раненых и разбитых, призыв, ободрение, которого ждут французы; они не желают более слушать социальные тезисы, даже нравственные тезисы — никаких тезисов, но хотят слушать искренние и благородные голоса таких героев, как хозяин Фавилла, Шампи, Вильмер, чтобы почерпнуть в них уверенность, что есть мир героический, по крайней мере в пределах возможного; и что, хотя бы немного возвысившись, наш мир мог бы быть на него похожим…

Короче, он хвалил ее за то, что она спасает веру, надежду и милосердие. Она этим была восхищена и изумлена, «потому что Флобер, который от всего сердца любит меня как друга, не столь любит меня как литератора. Он не находит, что я на правильном пути, и он не единственный из моих друзей, которые считают меня скорее доброжелательным человеком, чем художником…»

Бедняга Флобер не успокаивался. Он с пеной у рта говорил о политике. Его преследовала «клика Гольбаха», и комедии его «Кандидат», «Слабый пол» провалились со страшной силой. Людям, обладающим хорошим вкусом, не было места в этом мире. Однако он продолжал верить в искусство для искусства, в точно найденное слово, в ритм фразы, в блестяще отделанное произведение. Для него не имело значения то, что было сказано, если это было сказано хорошо. Санд его нежно бранила: «Ты только ищешь хорошо составленную фразу; это кое-что значит, но это не все искусство, это даже не половина его». Она умоляла его приехать в Ноан, снова предаться веселью, найти новые силы в той любви, которую испытывает к нему их семья.

«Не все ли равно, что у тебя сто тысяч врагов, раз тебя любят два — три хороших человека!»

Но в 1872 году он отказывался от этого. Напрасно Полина Виардо, с которой он часто виделся, хотела увезти его; он предоставил ей уехать в Ноан одной с двумя Полиночками — Марианной и Клодиной Виардо. То был короткий, но прекрасный визит. Как во времена Листа, как во времена Шопена, в Ноане царила музыка.

> *Дневник Жорж Санд, 26 сентября 1872 года:* Какой день, какое волнение, какое ясновидение в музыке! Полина поет днем и вечером… Она необычайна, удивительна, несравненна. Я плачу, как теленок… Лоло жадно слушала музыку. Девочки Виардо пели прелестно… Кристальные голоса. Но Полина, Полина, какой гений!..
>
> *1 октября 1872 года:* Полина заставляет петь своих девочек и поет с ними переложенное ею в трио Фра Галина; это очаровательно. А потом она поет Альцесту: «Божества Стикса…» Это прекрасно, прекрасно! Трепет, неистовое волнение. Я пьянею от этого. Это мешает мне думать обо всем другом…
>
> *2 октября 1872 года:* Полина поет немного и обещает повторить вечером. После обеда организуются шарады. Лоло участвует: она изображает собаку… Она очень мила и уходит в разгар игры, не говоря: «Уф!..» Это продолжается до десяти часов, а затем Полина поет «Панчито» и пять или шесть испанских восхитительных вещей, «Весну»

> Шумана и еще «Леди Макбет» Верди, от которой я не безумствую, но как хорошо она это поет! Потом финал «Сомнамбулы» и «Орфей». Это идеал, она передает радость и скорбь…

Наконец на пасху 1873 года глубокочтимый отец Крюшар, как прозвал себя Флобер, совершил паломничество в Ноан, и Тургенев к нему присоединился. Его посвятили во все безумные обычаи дома. Неистовые танцы. Все переодеваются по три раза в день. Флобер кончил тем, что переоделся в костюм андалузской танцовщицы и протанцевал что-то вроде фанданго: «Он очень смешон, но задыхается через пять минут. Он гораздо старее меня! У него всегда чересчур работал мозг в ущерб плоти. Наш содом его оглушил…»

> *Дневник Жорж Санд, 17 апреля 1873 года:* Все прыгают, танцуют, поют, кричат, надоедают Флоберу, которому всегда хочется прекратить всю эту суету, чтобы говорить о литературе! Он выбит из колеи. Тургенев любит шум и веселье. Он такой же ребенок, как и мы. Танцует, вальсирует; какой он добрый и славный — этот гениальный человек! Морис великолепно читает нам «Балладу ночи». Имеет большой успех. Он ошеломляет Флобера на каждом шагу…

> *18 апреля, 1873 года:* Оживленная, остроумная болтовня Флобера; но он хочет говорить один; и Тургеневу, который гораздо интереснее его, с трудом удается вставить словечко. Вечером, до часа ночи состязания всякого рода. Наконец прощаются. Завтра утром они уезжают…

> *19 апреля 1873 года:* Для жизни важнее натура, чем ум и величие. Мой дорогой Флобер утомляет меня, я коченею из-за него. И все же я его люблю, он милейший человек, но слишком преувеличенно выражает все свои чувства… Он может довести до изнеможения. Сегодня вечером шумят, играют, дурачатся с наслаждением. Жалеют об отъезде Тургенева, которого знают меньше, которого любят меньше, но у которого прелесть настоящей простоты и обаяние добродушия…

Но Флобер по возвращении поблагодарил от всего сердца.

> *Гюстав Флобер — Жорж Санд, 23 апреля 1873 года:* Не прошло и пяти дней после нашей разлуки, а я уже как дурак скучаю по вас. Я скучаю по Авроре, по всему дому, вплоть до Фаде. Да, именно так. У вас так чудесно! Вы все такие добрые и такие остроумные!.. Ваши друзья, Тургенев и Крюшар, рассуждали об этом от Ноана до Шатору, удобно устроившись в вашей коляске, запряженной быстро мчавшимися лошадьми. Да здравствуют форейторы Ла Шатра! Но остаток пути был исключительно неприятен из-за соседей в нашем вагоне. Я успокаивал себя крепким напитком, так как дорожная фляга милейшего московита была наполнена превосходной водкой…

Летом она обычно увозила из Ноана свой выводок птенцов. Сейчас она предложила Швейцарию; ее детям хотелось поехать к океану. «Согласна на океан! Мне лишь бы путешествовать и купаться, тогда я схожу с ума от радости… Я совершенно такая же, как мои внучки, которые беспричинно упоены заранее…» Но когда она была в Ноане, она не изменяла речной воде. Она ходила к реке вместе с Плошю и, погружаясь в воду, воскрешала в памяти вереницу исчезнувших теней.

Дневник Жорж Санд, 21 июля 1872 года: Погружаясь в воду, я думаю о тех, которые некогда купались здесь с нами: Полина и ее мать, Шопен, Делакруа, мой брат… Мы купались даже по ночам. Приходили пешком и так же возвращались. Все умерли, кроме мадам Виардо и меня. Этот бедный сельский уголок видел множество знаменитостей, не подозревая этого.

Политика больше не занимала ее. Иногда у нее был страх Генриха V: «Я чувствую, как до нас доносится запах ризницы». Нужно сказать, что главный губернатор Парижа под предлогом, что эта вещь может нарушить общественный порядок, запретил пьесу, инсценированную по роману «Мадемуазедь ла Кэнтини». Санд послала своему другу принцу Наполеону пожелание счастливого года, но не бонапартистской реставрации.

Жорж Санд — принцу Наполеону-Жерому, 5 января 1874 года: Вы говорите, что даже в политике мы понимаем друг друга; я об этом ничего не знаю, так как мне неясно ваше настоящее видение событий и я не понимаю, какие у вас надежды на будущее Франции. Желаете ли вы, чтобы мы искали лекарство от наших бед в лице ребенка? Нет, вы не можете желать этого. Я скорее поняла бы честолюбие личное, но, хотя ваше честолюбие было бы оправдано большим умом, первым врагом у вас будет партия вдовы и ребенка. Словом, я не думаю, чтобы сторонники империализма отныне и на бесконечно долгое время могли собрать избирательные голоса…

Она ждала спасения только от умеренной республики. Наконец в 1875 году эта республика установилась, победив при голосовании большинством в один голос. Такова Франция.

С 1873 года Соланж жила рядом с Ноаном в замке Монживре, который она благодаря своим деньгам, добытым очень грязным путем, купила у своей кузины Леонтины Симонне, дочери Ипполита Шатирона. В 1871 году из-за войны она на время помирилась с матерью и Морисом. Однажды она явилась к ним, умоляя приютить ее. Добрая Лина выступила в ее защиту; Соланж, укрощенная опасностью, спрятала свои когти и, так как она унаследовала от Софи-Виктории ее таланты, оказывала большие услуги Лине, то есть кроила и шила платья ей и ее девочкам. Наступивший мир вновь все испортил. Санд запретила приобретение Монживре, не желая, чтобы «эта сова» сторожила ее с высоты своей башни. Соланж не посчиталась с матерью и купила замок через подставное лицо — госпожу Бретилло; за это ее пенсия была отменена, и кончилось тем, что Ноан стал для нее почти закрытым, так как она критиковала все, что там делалось. Но время от времени она, как ветер, врывалась в дом. Девочки, испытывавшие к ней священный ужас, дежурили у бабушкиных дверей, чтобы остановить тетю Соланж.

Прежние друзья, прежние недруги продолжали исчезать. 5 марта 1876 года умерла принцесса Арабелла. К концу жизни она вновь обрела свой разум и гордость. В своем ожившем салоне она принимала новое поколение республиканцев. Она прожила достаточно, чтобы увидеть Листа аббатом и Анри Лемана — президентом Академии изящных искусств.

Жюль Сандо очень опустился. С годами он распух и облысел, от лености и упадка духа отяжелел, но еще угадывалось, что в молодости он был очарователен. В кабинете на стене висел его портрет, некогда нарисованный карандашом Авроры Дюдеван. «Только у нас, лысых, могло быть столько волос», — говорил он. Когда он сидел в Пале-Рояле, в кафе «Ротонда», прохожие говорили: «Смотри, это Сандо, первый любовник Жорж Санд». Его единственный почетный титул.

Мастодонт Маршаль вызывал беспокойство у Санд и Дюма. Впрочем, послевоенное время дало ему надежду на успех. Его картина «Эльзас», получившая премию в Салоне, была

немедленно оттиснута во множестве экземпляров. После этого Маршалю поручили иллюстрировать произведения Эркмана Шатриана. Ему заказали декорации к патриотической пьесе. Но он был ленив, небрежен, неточен. Никогда он не доставлял вовремя гравюры или макеты. Кончилось тем, что большинство заказов было аннулировано. Он потерял своих двух могущественных покровителей: принца Наполеона и принцессу Матильду, которые со времени падения императорского режима жили вне Франции. Он очень опустился, был кругом в долгах, изворачивался любыми средствами. «Вино и женщины его погубят», — писала Санд, и в этой фразе слышится давно знакомая нота, В другом месте слышатся слова из писем Санд к Мюссе. «За десять лет материнской привязанности не удалось, — пишет она, — изгнать двух жестоких бесов: лень и разврат». Словом, надо сознаться, что и женщины меняются мало и мужчины.

Ортанс Аллар, циничная подруга романтической Жорж, очень постарела. Основываясь на своем любовном опыте, она написала смелую книгу «Чары Пруденции». И Санд была «очарована этими «Чарами». Я только что прочитала эту изумительную книгу. Вы действительно великая женщина». Великая? Скорее откровенная. Но Жорж, которая была не так откровенна, уважала эту смелость. Дневник Ортанс Аллар, 6 апреля 1 873 года: «Я получила письмо от королевы в ответ на два моих; в последнем я высказывалась против того учения, что существуют падшие женщины. Она верно говорит, что падшая женщина принадлежит совокупности того прошлого, которое Жорж не признает (ад, лицемерные священники)… Она считает, что все это изменится. Она уверяет, что во мне нет никакой старости и что до самой смерти я не потеряю своей энергии…»

Сама Жорж Санд в 72 года не чувствовала приближения старости и начала думать, что доживет до преклонного возраста. Она закончила на редкость пустую книгу «Персемонская башня» и тут же начала другую — «Альбина Фиори», роман в письмах, историю незаконнорожденной девушки, появившейся на свет от связи знатного вельможи с актрисой. Еще раз предки — Саксонский и Ринто — оказались полезными. Главным же образом она продолжала писать волшебные сказки для Лоло.

> *Записная книжка Жорж Санд, канун поста, 29 февраля 1876 года:* Собиралась работать, но это невозможно… Обхожу сад, он весь покрыт цветами: фиалки, подснежники, крокусы, анемоны — все пускает ростки. Абрикосовое дерево подле оранжереи в цвету. Готовлю себе костюм, затем прибегают девочки, помогаю им одеться, любуюсь ими: Титит — фея, Лоло — валахиня; они очень красивы в этих костюмах. Рене — Пьеро, Морис — китаец, Плошю — младенец, Лина — индианка… Танцуют, и я играю на пианино до девяти часов вечера, когда дети уходят спать. Тогда все переодеваются, кроме Плошю, который надевает блузу, фальшивый нос и отправляется на деревенский бал…

С начала весны 1876 года она стала время от времени прихварывать. Всю жизнь она жаловалась на печень и на упорную болезнь кишок. Она примирилась со своими болями и несравненно больше беспокоилась о невралгии Мориса.

> *Записная книжка Жорж Салд, 19 мая 1876 года:* У Мориса приступ от пяти до половины восьмого. Аврора сидит около него и не хочет обедать без него. Они весело обедают вместе, и вечер проходит без рецидива… Мои боли не оставляли меня весь день. Давала урок Лоло, писала письма и читала. Закончила том Ренана: «Философские диалоги и отрывки».

20 мая Морис и Лина пригласили из Ла Шатра доктора Марка Шабена под предлогом получить у него консультацию о невралгии Були [75], на самом же деле потому, что недомогание матери внушало беспокойство семье. Санд заявила врачу, что «у нее в течение двух недель запор, но что голова работает так же легко, как прежде, и что у нее хороший аппетит». Она добавила, что «это состояние скорее помеха, чем болезнь», что она именно так рассматривает его. 23 мая она написала в Париж своему врачу Фавру:

Несмотря на возраст (скоро мне 72 года), я не чувствую приближения старости. Ноги не болят, зрение лучше, чем двадцать лет назад, сон спокойный, руки действуют так же уверенно и ловко, как в молодости. Когда я не страдаю от моих жестоких болей, я всем своим существом чувствую себя сильной, подвижной… У меня была легкая одышка, больше я не страдаю этим. Я поднимаюсь по лестницам так же проворно, как моя собака. Но поскольку часть жизненных функций почти совершенно вычеркнута, я задаю себе вопрос, что же это такое и не пора ли в одно прекрасное утро ждать внезапного отбытия…

Смерть — гостья смиренная и осторожная. Она входит без шума. В последних строках дневника Жорж Санд не чувствуется никакого страха.

> *29 мая 1876 года:* Погода прелестная. Я не очень страдаю. Обхожу сад. Даю урок Лоло. Перечитываю пьесу Мориса. После обеда Лина уходит в Ла Шатр на спектакль. Я играю в безик с Санье. Рисую. Лина возвращается в полночь.

Этими словами заканчивается дневник Жорж Санд, но у нас есть дневник ее соседки, Нанси де Вассон.

> *28 мая, в воскресенье,* — пишет госпожа де Вассон, — я провела с Нини день в Ноане из-за отъезда Полэн к своим родным в Кудрэ. Мы завтракали без госпожи Санд; как обычно, ей нездоровилось, но не было ничего серьезного; с давних пор она испытывала довольно сильные боли, но они никому не внушали особого беспокойства. После завтрака мы с Линой гуляли в аллее подле огорода и долго разговаривали на разные темы… Спустя некоторое время госпожа Санд вышла к нам. Мы немного прошлись вместе с ней, любуясь полевыми цветами, которые она так любила, — они усеяли всю траву; она даже повела нас на круглую поляну маленького леса, чтобы показать нам очень редкий ятрышник. Потом мы возвратились, чтобы посидеть возле дома. Госпожа Санд говорила о предполагаемой поездке в Париж. Разговор тянулся немного вяло; с госпожой Санд он никогда не был оживленным, у нее всегда голова была полна тысячью мыслей. Она сказала одну вещь, которая меня поразила. Восхищаясь птицей, разгуливавшей перед ней, она заметила: «Как странно, кажется, ко мне возвращается зрение, я вижу гораздо лучше, чем в очках…»

В последующие дни госпожа Санд очень страдала. «У меня как будто дьявол в животе», — говорила она. Ужасные боли от заворота кишок исторгали у нее резкие крики. Ее друг, доктор Папе, сказал Морису: «Она погибла». Только немедленная операция могла бы спасти ее. Но Санд хотела, чтобы из Парижа приехал доктор Фавр, она доверяла ему, а это был «лжеученый, болтун без медицинской практики». Его просили привезти с собой какого-нибудь известного консультанта. Он явился один и сказал, даже не видя больную: «Это грыжа, я ее размассирую». Первый театральный триумф семнадцатилетняя Аврора Дюпен пережила в английском монастыре, поставив там «Мнимого больного». И теперь она умирала, окруженная мольеровскими врачами, которые предпочитали пожертвовать ею, чем своим самолюбием.

Наконец, местные диафуарусы решили позвать хирурга Жюля Пеана, но тот полагал, что вскрытие кишок невозможно, и сделал только брюшной прокол. Страдания госпожи Санд продолжались еще шесть дней; она горячо призывала смерть, ее мучил унизительный характер болезни. 7 июня она захотела увидеть своих внучек. «Мои дорогие крошки, как я вас люблю! — сказала она. — Поцелуйте меня. Будьте послушными». В ночь с 7-го на 8-е она сказала несколько раз: «Смерти, о господи, смерти!» Соланж была теперь при ней вместе с Линой. Морис послал записку в Монживре: «Наша мать больна, и ее состояние серьезно… Если хочешь, приезжай». Соланж была в Париже; получив телеграмму от своих домашних, она приехала после того, как смиренно просила назначить ей час.

Соланж и Лина одни дежурили у постели, когда они услышали: «Прощайте, прощайте, я умираю», потом еще одну невнятную фразу, заканчивающуюся: «Оставьте зелень». А после этого, хотя в ее глазах, в пожатии руки и было что-то очень доброе и нежное, она уже ничего не произносила и казалась отсутствующей. «Прощай, Лина, прощай, Морис, прощай, Лоло, про…» — это были ее последние слова. Она умерла в 6 часов утра. В полдень за обедом Соланж заняла за столом место матери и распоряжалась всем, Морис был подавлен горем.

* * *

Жорж Санд похоронили на маленьком кладбище в Ноанском парке, подле ее бабушки, родителей и внучки Нини. Моросил холодный мелкий дождь; ветер завывал сквозь суковатые тисы и буксы и сливался с литаниями старого певчего. Все окрестные крестьянки, преклонив колени на влажной траве, молились, перебирая четки. К большому удивлению друзей Санд, похороны были совершены по католическому обряду. Этого требовала Соланж, Морис уступил; аббат Вильмон, кюре Вика, запросил разрешения у буржского архиепископа де Ла Тур д’Овернь, и архиепископ без всякого колебания дал просимое разрешение. «Он был прав, — сказал Ренан, — зачем сбивать с толку простых женщин, которые пришли сюда, покрыв головы платками, с четками в руках, молиться за нее. Что касается меня, то я очень пожалел бы, если бы прошел мимо паперти, укрывшейся под большими деревьями, и не зашел бы внутрь».

Из Парижа прибыли человек пятнадцать близких Санд людей: принц Наполеон, которому в 1872 году снова разрешили жить во Франции, Флобер, Ренан, Дюма-сын, Ламбер, Виктор Бори, Эдуард Кадоль, Генри Гаррис и Кальманн Леви. Было замечено отсутствие гиганта Маршаля, но он всегда был большим эгоистом. По просьбе отсутствовавшего Виктора Гюго Поль Мерис прочитал его послание:

> Я оплакиваю мертвую и приветствую бессмертную… Разве мы ее потеряли? Нет. Великие люди исчезают, но не рассыпаются в прах. Больше того: можно было бы сказать, что они воскресают. Став невидимым под одной внешностью, они становятся видимыми под другой. Величественное преображение. Человеческий образ — это покров. Он прикрывает истинное божественное лицо, которое есть мысль. Жорж Санд была мыслью; она вне плоти, и вот она свободна; она умерла, и вот она жива. «Patuit dea…»[76]

Литераторы не могут слушать текст — будь это даже у могилы, — чтобы не вынести о нем профессионального суждения. Флобер нашел речь Гюго очень хорошей; Ренан сказал, что это ряд общих мест. Оба были правы, потому что штампы Виктора Гюго и делают Виктора Гюго хорошим писателем. Но вдруг так дивно запел соловей, что многие подумали: «А вот это

настоящая речь, которая здесь нужна…»

> *Флобер — Тургеневу, 25 июня 1876 года: Я* бесконечно скорблю о смерти моей милой матери Санд. Дважды я плакал на ее похоронах, как теленок: первый раз, когда поцеловал маленькую Аврору (чьи глазки в тот день напомнили мне глаза Санд, как будто она воскресла), а второй раз — когда мимо меня пронесли ее гроб… Бедная, дорогая, великая женщина!.. Надо было знать ее так, как я ее знал, чтобы понимать, какая женщина была в этом великом человеке, какая безмерная нежность — в этом гении… Она останется одной из тех, кто составляет славу Франции, и при этом единственной в своем роде…

Могла ли она желать лучшего надгробного слова, чем слезы ее старого трубадура?

Глава шестая

— Консуэло, какое смешное имя! — сказал граф.

— Прекрасное имя, светлейший, — возразил Андзолетто. — Это означает утешение.

Жорж Санд

Нравственно Гюго, конечно, был ниже епископа Бьенвеню. Это я знаю. Но из всей беспорядочной сумятицы своих страстей этот земной человек сумел создать образ святого, стоящего на голову выше обычных людей. Так же и жизнь Жорж Санд, заурядная, искалеченная, неудавшаяся, как любая жизнь, не помешала ей написать ее «Консуэло», ни с чем не сравнимый образец того, чем каждая женщина захочет быть, в которой каждый мужчина поймет, что он должен искать и любить в женщине.

Как любая другая, Жорж Санд была земной женщиной. И даже, без сомнения, более чем другая, из-за полного раздоров детства, из-за вечной борьбы в ней двух классов и двух веков, из-за слишком ранней самостоятельности, из-за мучительного опыта замужества, недостойного ее гениальности. Да, жизнь ей не удалась, как не удается никакая жизнь. Но уж слишком не удалась!

Своему творчеству она придавала мало значения, ее истинным стремлением было стремление к абсолютному — сначала в земной любви, потом в народной, наконец, в любви своих внучек, — к природе и к богу. Однако многие ее произведения, о которых она говорила с таким смирением, живы до сих пор. «Жорж Санд бессмертна романом «Консуэло», произведением «пасхальным» — да, но также и своим «Интимным дневником», «Письмами путешественника», своей обширной перепиской, такой непринужденной, такой точной по стилю, такой решительной по мыслям и пронизанной неумирающими идеями. Много тезисов, которые она защищала и которые в ее время удивляли читателей, лишенных воображения, сделались теперь политикой лучших людей. Она требовала равенства для женщин, и они теперь на пути к получению его; она требовала для народа равенства, всеобщего избирательного права, более справедливого распределения благ, и нет теперь такого честного человека, который не согласился бы с ней в этом.

Многие порицали Санд за ее любовные похождения, но яростная жажда ее поисков объясняется невозможностью найти то совершенство, за которым она гналась. Жизнь Жорж Сакд заставляет вспомнить те романы Грэма Грина, в которых на протяжении трехсот страниц несчастный герой совершает все возможные преступления, и только в последнем абзаце читатель открывает, что спасен будет грешник, а не фарисей. Пламенные души, становящиеся великими святыми, часто переживали бури в молодости.

Вся жизнь направляется скрытой метафизикой. Философия Санд была простой. Мир сотворен добрым господом богом. Сила любви, живущая в нас, дана нам им. Единственный грех, который не может быть прощен, — это намеренное умолчание и ложь в любви, тогда как любовь должна быть полным единением душ. Я не говорю, что Санд всегда жила по этим принципам: никто из нас не живет всегда по велению своих идей; но нужно судить людей по достигнутым ими высотам, а не по их падениям.

Потомство в этом не ошиблось. Мы помним, что маленький беррийский город, расположенный недалеко от Ноана, выносил в 1830 году суровый приговор Авроре Дюдеван. А что мы видим сегодня в центре Ла Шатра? Статую Жорж Санд. Отверженная грешница стала

покровительницей края. Те, кто был ее друзьями: Неро, Папе, Дюверне, Флёри — живут в памяти, рядом с ней. А где те, кто порицал ее? Кто помнит их имена и их негативные добродетели?

В сотую годовщину смерти Шопена, в 1949 году, все беррийцы собрались в Ноане. На этот день прибыли и поклонники Жорж Санд из отдаленных мест. Гостей восхищало все: смешные, с острой выдумкой марионетки, на танцы которых смотрели Дюма и Флобер; и ателье, где работал Делакруа; и луг, где развевался в ночи белый шарф Мари д’Агу; потом они пошли в маленький лесок, темный и унылый, осматривать надгробные плиты, которые рассказывают с поучительной краткостью смерти эту необыкновенную и прекрасную историю.

Мария-Аврора Саксонская, графиня де Орн, вдова Дюпен де Франкёй, 1748–1821… Морис Дюпен, подполковник 1-го гусарского полка, 1778–1808… Антуанетта-Софи-Виктория Делаборд — эпитафия ее, заросшая мхом, в настоящее время неразборчива… Амантина-Люсиль-Аврора Дюпен, баронесса Дюдеван, Жорж Санд, рожденная в Париже 1 июля 1804 года, умершая в Ноане 8 июня 1876 года… И подле этого великого поколения другие покойники: Марк-Антуан Дюдеван (это Кокотон); Жанна-Габриель (это Нини, и ненавистное имя Клезенже не высечено на надгробном камне); затем Морис Санд, барон Дюдеван (1823–1889); Лина Санд, урожденная Каламатта (1842–1901); Соланж Клезенже-Санд, мать Жанны (1828–1899) и, наконец, Габриель Санд, супруга Палацци (1868–1909). Эта последняя некогда называлась Титит.

Что же касается внучки Лоло, ставшей госпожой Авророй Лаут-Санд, то она, деятельная и ловкая, несмотря на свои 83 года, носилась по аллеям, быстро взбегала по старой каменной лестнице, показывала большой овальный стол работы столяра Пьера Боннена, миниатюрный секретер, на котором была написана «Индиана», пианино, которого касались пальцы Листа и Шопена, и поглядывала на прибывших в Ноан почитателей Жорж Санд своими черными бархатными глазами, так похожими на глаза бабушки. Когда наступила ночь, все собрались на террасе; светила луна; против террасы возвышались черные кедры и плакучие ивы. До восторженных паломников доносился запах роз, посаженных еще самой Санд. Из окон голубой гостиной, выходящих в сад, слышались музыкальные фразы Шопена — его прелюдии или ноктюрны, — создававшиеся в этом доме, когда рука подруги касалась плеча поэта. Они походили на признание, неясные и грустные, сказанные шепотом, услышанные в легком вздохе. И каждый тихо, про себя, перебирал свои печальные воспоминания. Потом раздалась торжествующая нота, а вместе с ней родилась и надежда. Казалось, два великих голоса говорят толпе: «О маловеры, поверьте нам. Ссоры любовников угасают, а произведения, вдохновленные любовью, остаются. Поверьте, что в этом мире могут существовать и нежность и красота!» Консуэло восторжествовала над Лелией. Таков безмолвный приговор поколений.

Заметки по поводу рождения Соланж Дюдеван-Санд

Существуют две противоположные точки зрения на это рождение. Госпожа Аврора Лаут-Санд считает, что Соланж была законной дочерью Казимира Дюдевана. Это законное рождение ей кажется тем более очевидным, что Соланж уже во взрослом возрасте очень хорошо приняли и великодушно приютили в Гильери. Именно там она родила двух дочерей от брака с Клезенже. Никогда барон не оказывал особого предпочтения Морису. «Очевидно, — говорит госпожа Аврора Лаут-Санд, — в 1827–1828 годах моя бабушка предприняла последнюю попытку полного примирения со своим мужем».

Противоположное мнение у нынешнего графа де Грансань, автора «Краткой истории семьи де Грансань». Он ссылается на поразительное сходство между его родной дочерью, виконтессой дю Мануар и портретом Соланж кисти Шарпантье. В его генеалогической работе после упоминания о законном сыне Стефана (Поле-Эмиле-Танкреде Ажассон де Грансань, умершем в 1902 году) он добавляет: «У Стефана была с Жорж Санд внебрачная дочь, ставшая госпожой Клезенже, не оставившая после себя потомства».

* * *

Поль-Эмиль Ажассон де Грансань (1842–1902), сын Стефана, был профессором математики в парижском ремесленном училище, затем главным редактором «Монитор де ла герр». В 1876 году он становится ответственным издателем «Монитер женераль», официального органа муниципалитета Парижа. В этом издании был отдел: «Переписка и поставленные вопросы». В номере от 6 января 1900 года можно было прочитать следующий ответ на ранее «поставленный вопрос»:

> Таким образом, как мы и говорили, у нас имеется 123 неопубликованных письма Жорж Саяд, написанных в период с 1820 по 1838 год… адресованных тому, кто был для нее всем; тому, кому она обязана частью своих знаний и своего громадного писательского таланта. В Берри все знают, что с 16 или 17 лет Аврора Дюпен была связана очень интимной дружбой со Стефаном Ажассон де Грансань, создателем общедоступных библиотек. (…) Письма, о которых идет речь, очень интересны, но слишком своеобычны, чтобы их можно было опубликовать. Если бы они стали известны, они опрокинули бы все принятые представления о характере жизни этой почтенной женщины, которая была славой нашего века. (…). Однако мы можем сказать, что несколько раз в этих письмах речь идет о Соланж, дочери Жорж Санд, которая вышла замуж за скульптора Клезенже…

Судя по всему, вышеуказанная заметка была редактирована Полем-Эмилем де Грансань, ответственным издателем газеты, в которой она появилась. В 1858 году он был представлен Жорж Санд. Во время пребывания в Берри его дядя, Жюль де Грансань, взял его с собой в Ноан. (Ему было тогда 16 лет.) Позднее он вновь видел Санд в Париже и даже в Палезо. «Много раз она выражала желание, чтобы никогда ее переписка со Стефаном не была опубликована», — добавляется в заметке «Монитер женераль».

* * *

А вот несколько других данных этой проблемы; 13 декабря 1827 года, то есть ровно за девять месяцев, день в день, до рождения Соланж, родившейся 13 сентября 1828 года, Аврора Дюдеван была в Париже и писала оттуда остававшемуся в Ноане Казимиру. Париж, 13 декабря 1827 года: «…Завтра я увижусь с Бруссе, если Стефан сдержит слово. (…) Так как Стефан приезжает сегодня утром, если он сможет уехать в понедельник, подумаю, может быть, и не буду продолжать лечение…

Полдень. Стефан вынужден провести здесь понедельник; он меня умоляет уехать только во вторник; я вынуждена отложить мой отъезд…»

Через девять лет, в момент развода супругов Дюдеван, Казимир составил меморандум, в котором мы находим эти многозначительные строки: «Ноябрь 1827 года. Поездка в Париж со Стефаном Ажассон де Грансань под предлогом болезни!»

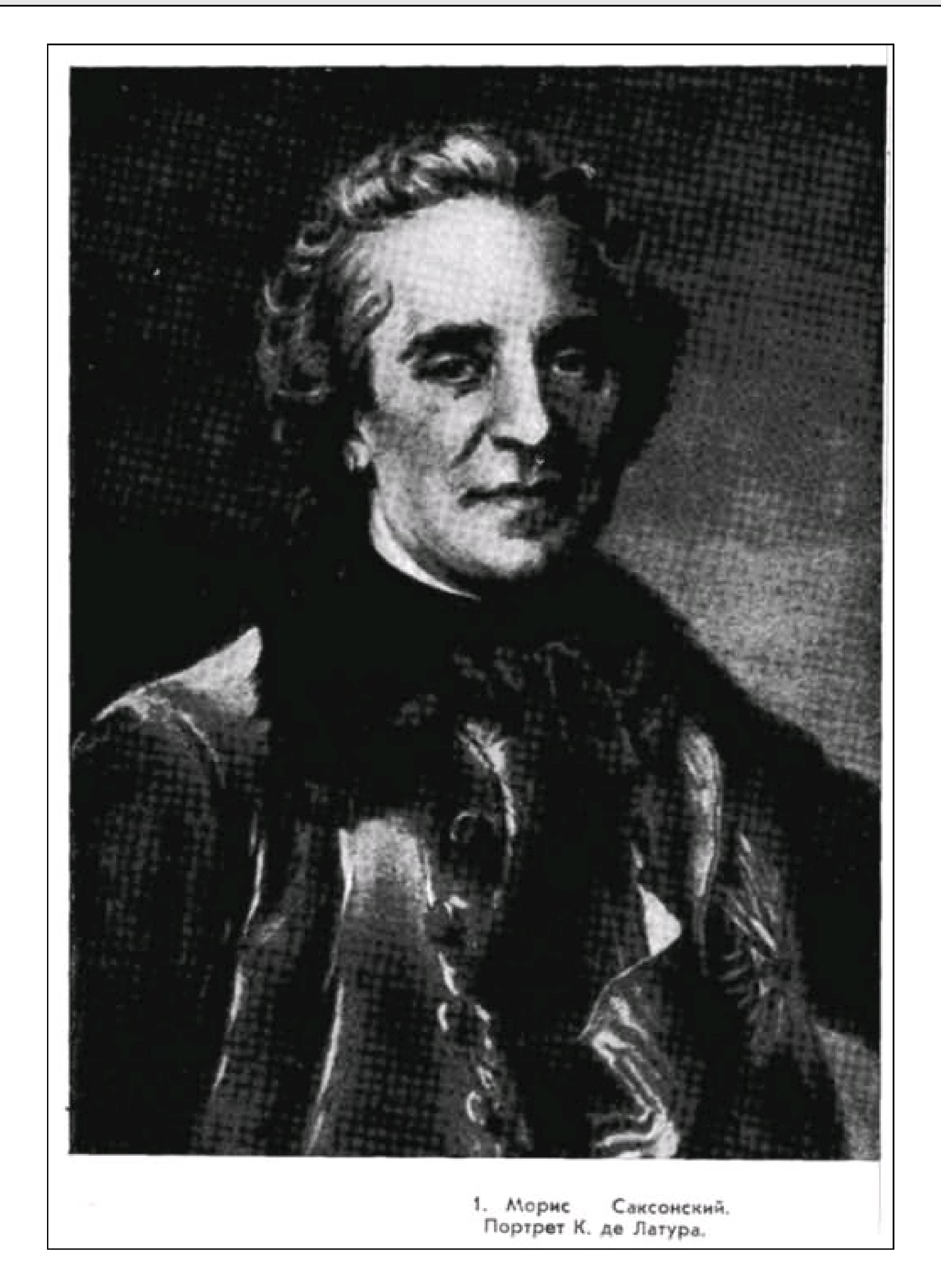
Луиза Винсен в своей диссертации (стр. 122) также дает справку: в Нераке помнят еще, что в 1837 году, когда Жорж Санд появилась в Гильери, чтобы забрать Соланж, похищенную Дюдеваном, она сказала: «Самое смешное, что он требует ребенка, отцом которого не является».

По-видимому, Ипполит Шатирон тоже слышал разговоры в Берри о том, что Соланж была внебрачным ребенком. В письме к своему зятю он намекает на этот факт. Этот документ имеется в Шантильи. Ипполит — Казимиру, 28 июня 1836 года: «Что касается до воспитания Соланж, право, ты должен примириться с этим. Без дальних слов… После всего, что я слышал, ты должен легко примириться с этим!»

Наконец Луиза Винсен за отсутствием писем Санд к Стефану смогла ознакомиться с другими документами, относящимися к этому романтическому приключению, потому что она пишет:

«Письма не входят в коллекцию Спельберха. Порвав с Мюссе, Жорж Санд сокрушается по поводу своих несчастий… Уже до Жюля Сандо у нее был любовник, о котором Жюль не знал. В другом неопубликованном письме она приносит извинения госпоже де Грансань. Она просит простить, что заставила ее страдать, простить, что любила ее мужа. Она рассчитывает на великодушное прощение за причиненное ею зло…»

Иллюстрации



1. Морис Саксонский.
Портрет К. де Латура.



2

2. Мадам Дюпен с сыном Морисом.

3. Дюпен — дед Жорж Санд.



3



4. Аврора Дюпен, семи лет.

7. Дом, в котором жила Жорж Санд в Жоржелез на берегу Креза.

8. Бульвар Пуассоньер.



7



8

5. Ипполит Шатирон, сводный брат Авроры Дюпен.

6. Ноан, фасад.



5



6

9. Ледрю-Роллен и Жорж Санд. Современная карикатура.

10. Карикатура на Жюля Сандо.



9



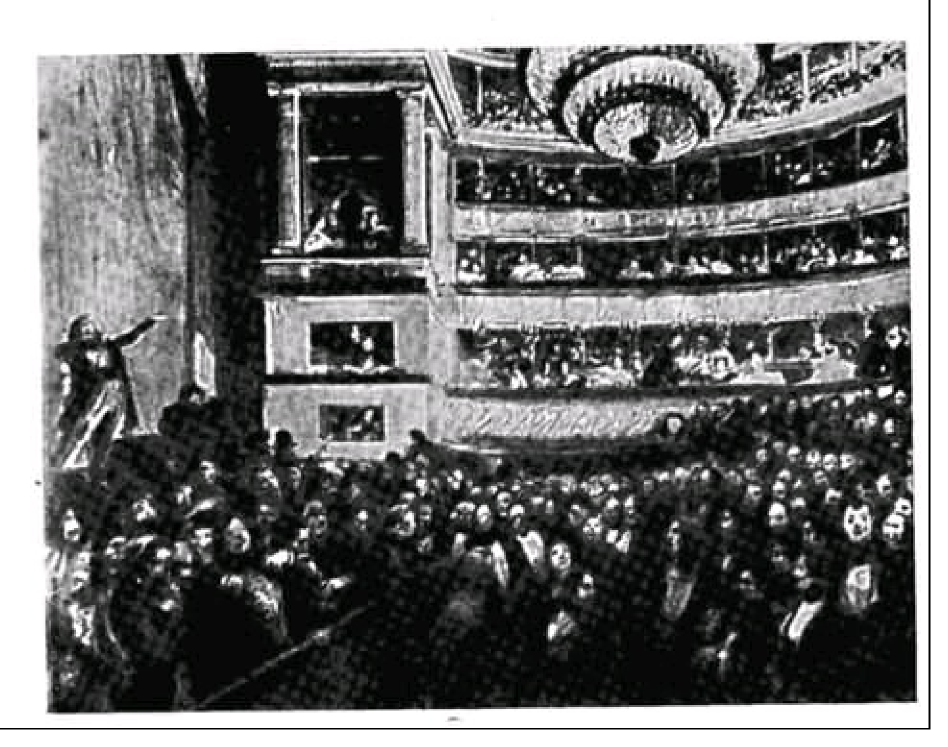
10

11. Мериме. Портрет А. Девериа.

12. В театре во время премьеры «Эрнани».



11



12



13

13. Жорж Санд. Карикатура 1845 года.

14. Автограф А. де Мюссе.

14

Je prend la liberté de vous envoyer quelques vers
Que je viens d'écrire en relisant un chapitre d'Indiana,
celui où Noun reçoit Raimond dans la chambre de sa
maîtresse. Leur peu de valeur m'aurait fait hésiter à
les mettre sous vos yeux, s'ils n'étaient pour moi
une occasion de vous exprimer le sentiment d'ad-
-miration sincère et profonde qui les a inspirés.

Agréez, Madame, l'assurance de mon
respect —

Alfd de Musset



15. Альфред де Мюссе. Портрет Ланделя.



16. Альфред де Мюссе в костюме пажа. Рисунок А. Девериа.



17. Жорж Санд. Рисунок А. де Мюссе.



18. Жорж Санд.
Рисунок А. де Мюссе.



19. Жорж Санд. Рисунок
А. де Мюссе, 1833 год

20. «Озорное зеркало».
Карикатура А. Лотенса.

21. Пьер Леру пронзает Баррю.
Карикатура Домье.



20



21



22

23



22. Набережная Малапер, начало XIX века.

23. Жорж Санд. Рисунок Гаварни.



24



25

24. Франц Лист, мадам д'Агу и Пиктэ беседуют на философские темы. Рисунок Жорж Санд.

25. Франц Лист. Карикатура Жорж Санд.



26



26. Франц Лист.

27. Рисунок Пиктэ, изображающий путешествие Листа, мадам д'Агу и Жорж Санд.

28. Мари Дорваль в роли Марион Делорм. Литография А. Девериа.





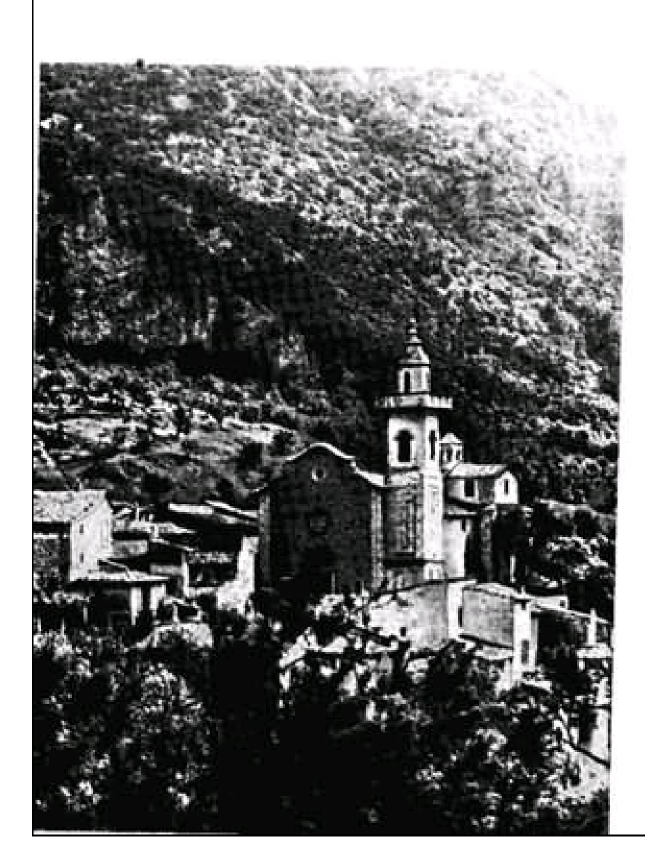
29. Сент-Бёв.



30. Фредерик Шопен в 1844 году.



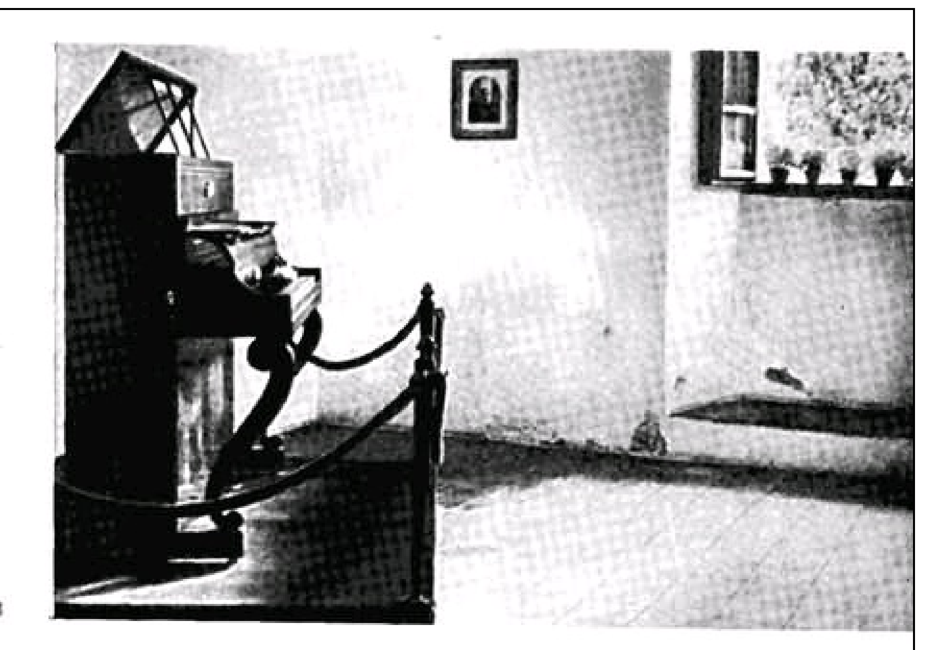
31



32

31. Пароход, на котором Жорж Санд с Шопеном совершали путешествие на Балеарские острова.

32. Монастырь в Вальдемозе.



33

33. Фортепьяно Шопена. Вальдемоза.

34. Монастырская аптека в Вальдемозе



34

35. Фредерик Шопен.

36. А. Дюма, В. Гюго, Ж. Санд, Паганини, Россини, Мари д'Агу слушают импровизации Листа. Автор неизвестен.



35



36

37. Мари д'Агу. Портрет А. Лемана.

38. Кафе де Пари на Итальянском бульваре в Париже.



37

38





39

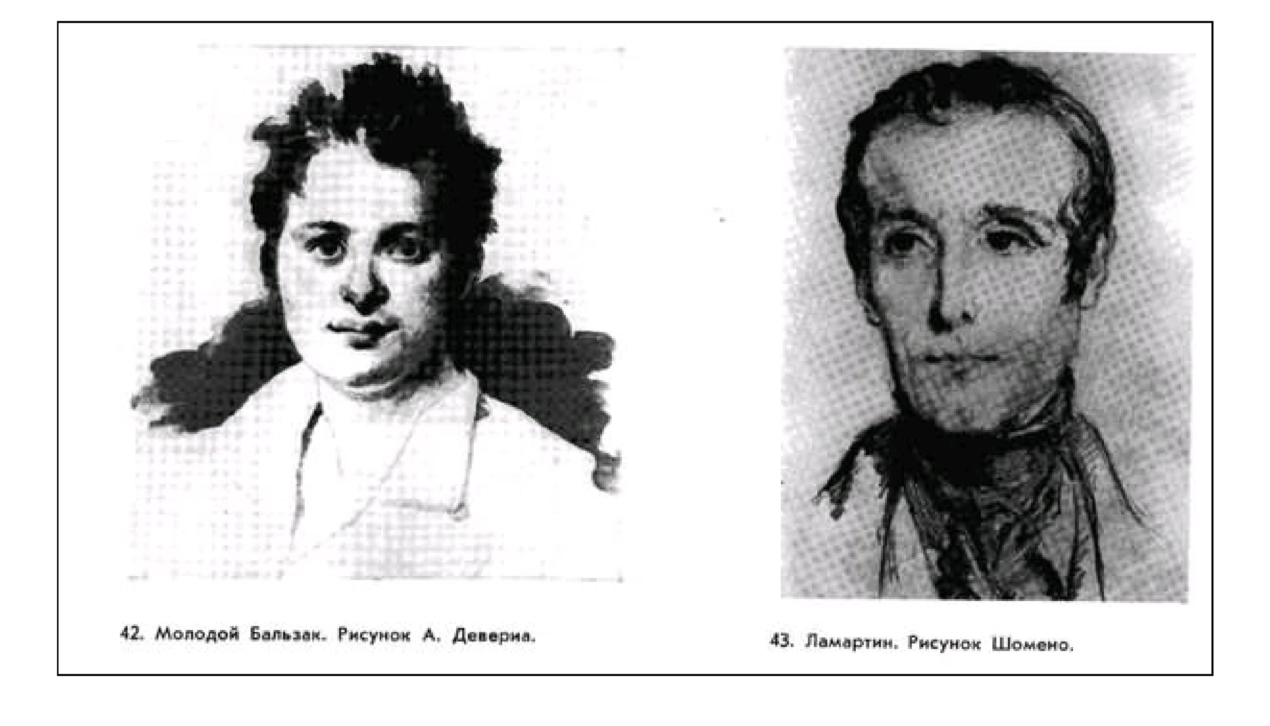
39. Морис. Рисунок Жорж Санд.

40. Соланж. Карикатура Жорж Санд.

40



41. Жорж Санд. Портрет Жюльена.



42. Молодой Бальзак. Рисунок А. Девериа.

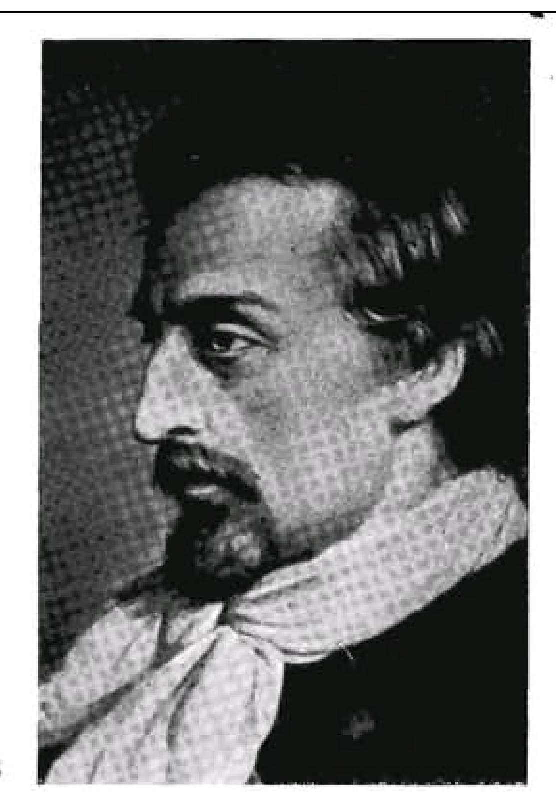
43. Ламартин. Рисунок Шомено.



44. Салон мадам Санд. Рисунок Мориса.

45. Генрих Гейне.

46. Черная Долина.

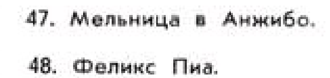


45



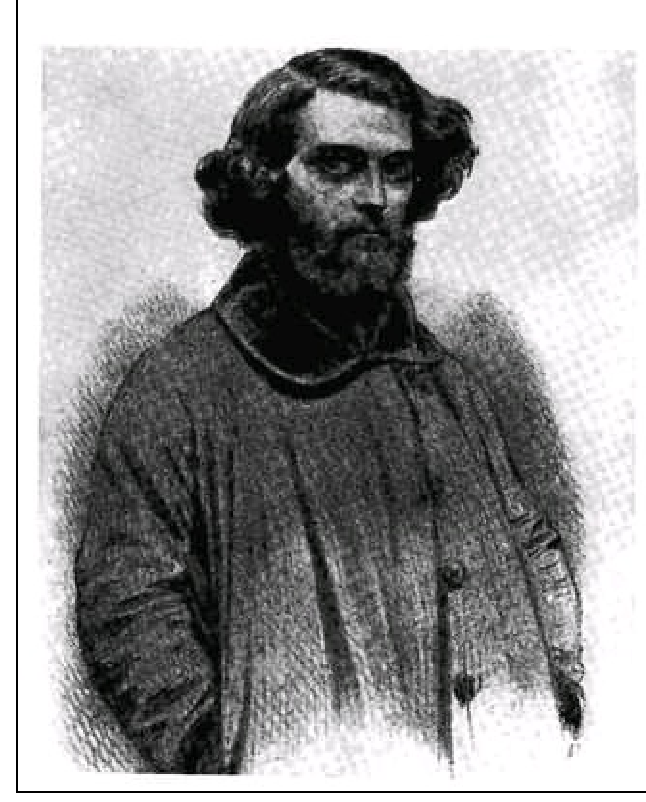


47



47. Мельница в Анжибо.

48. Феликс Пиа.



48



49. Жорж Санд. Портрет Делакруа.



50. Жорж Санд. Портрет Делакруа.



51



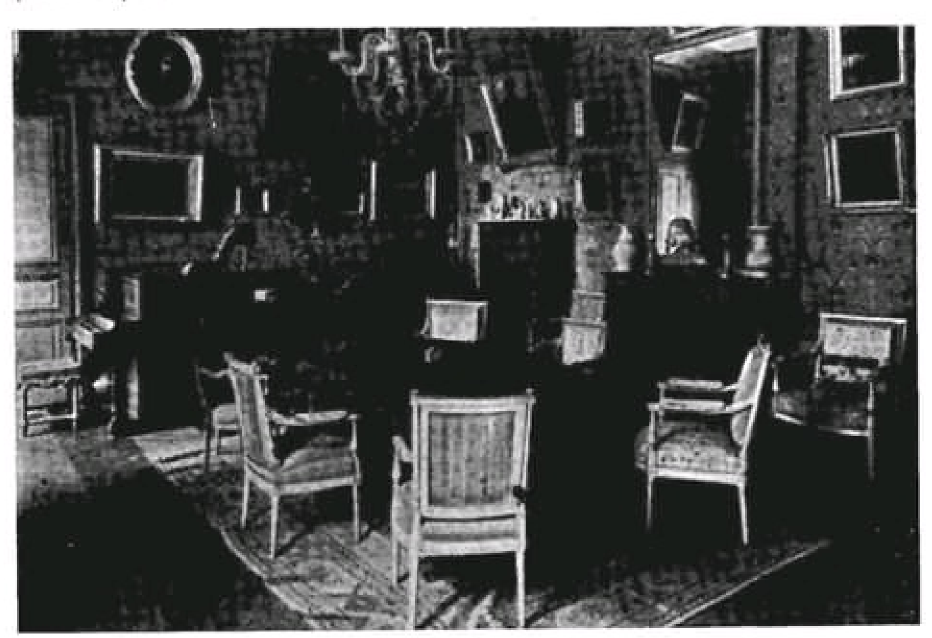
52

51. Морис на занятиях в студии Делакруа.

52. Бальзак.



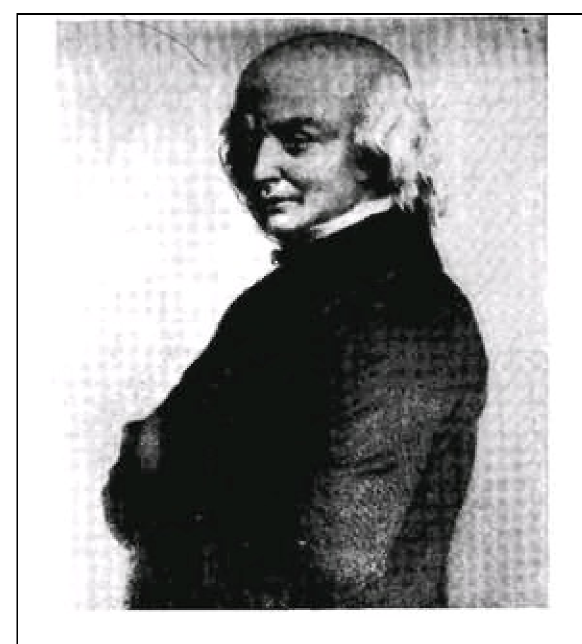
53. Вид на Ноан со стороны ворот.



54. Ноан, гостиная.



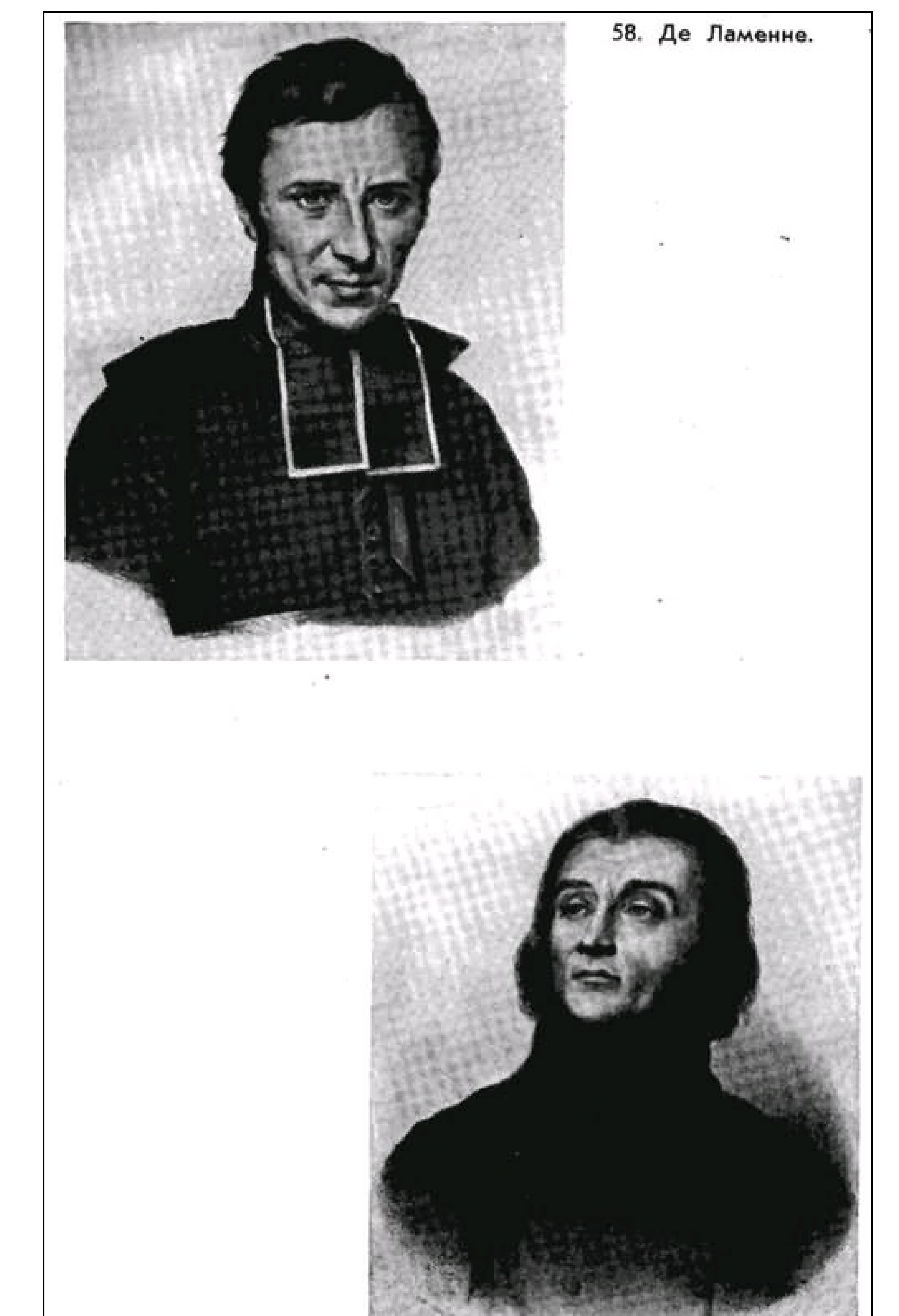
55. Веер, расписанный Огюстом Шерпантье, с карикатурой на обитателей и гостей Ноана.



56. Беранже. С линогравюры Алофа.



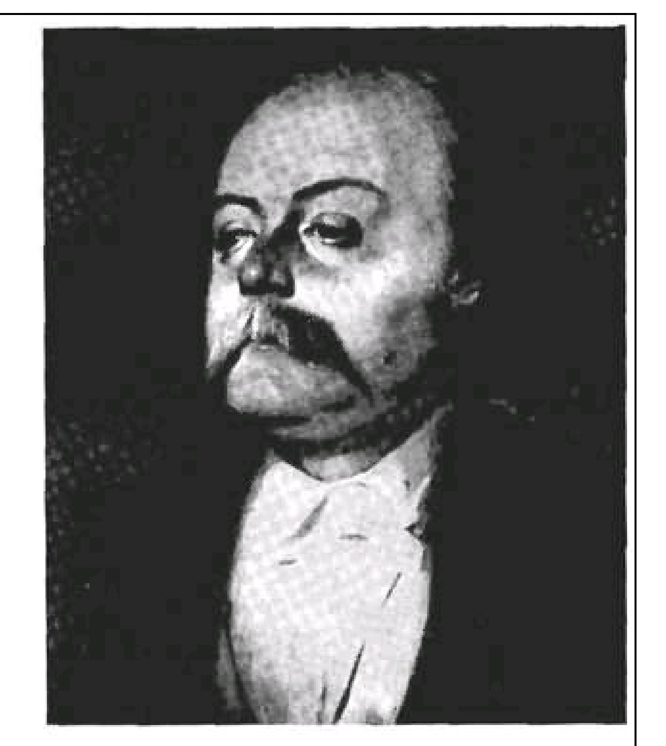
57. Сент-Бёв.

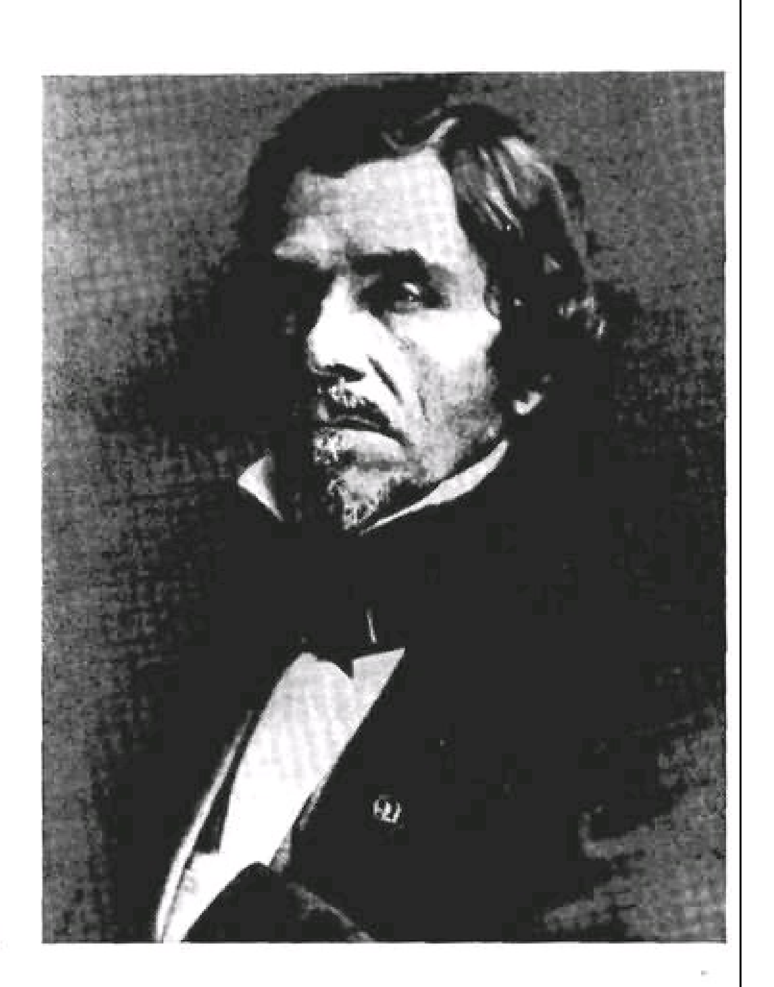


58. Де Ламенне.

59. Мицкевич.

60. Флобер.





61. Делакруа.
Фото Надара.



62. Могила Жорж Санд в Ноане.

Основные даты жизни и деятельности Жорж Санд

1804, 1 июля — У Мориса и Антуанетты-Софи-Виктории Дюпен родилась дочь Амантина-Люсиль-Аврора.

1808, 12 июня — Рождение младшего брата Авроры Дюпен, вскоре после этого умершего.

1808, август — Смерть Мориса Дюпена, отца Жорж Санд.

1818—весна 1820 — Аврора Дюпен воспитывается в женском Августинском монастыре.

1821, январь — Смерть Марии-Авроры Дюпен де Франкёй, бабушки Авроры Дюпен. Аврора становится полновластной хозяйкой Ноана.

1822, 10 сентября — Брак Авроры Дюпен и Казимира Дюдевана.

1823, 30 июня — У супругов Авроры и Казимира Дюдевана родился сын Морис.

1828, 13 сентября — Рождение Соланж.

1830, 30 июля — Знакомство с Жюлем Сандо.

1831, 4 января — Госпожа Аврора Дюпен уезжает в Париж, откуда она вернется знаменитой писательницей Жорж Санд.

1831, январь — апрель — Первые совместные выступления Авроры Дюдеван и Жюля Сандо в периодической печати под общим псевдонимом Ж. Сандо.

1831, осень — Выход в свет романа «Роз и Бланш» в соавторстве с Жюлем Сандо.

1832, май — Выход в свет романа «Индиана». Роман этот уже подписан: «Жорж Санд».

1832, лето и осень — Сотрудничество в журнале «Ревю де Дё Монд». Работа над романом «Валентина».

1833, май — Отъезд Жюля Сандо в Италию. Выход в свет романа «Лелия».

1833, декабрь—1834, август — Поездка в Италию с Альфредом де Мюссе, завершение работы над романом «Жак», знакомство с Паджелло.

1835, осень — Работа над романом «Мопра».

1836, конец года — Решение суда о разделе имущества супругов Дюдеван.

1837, январь — Возобновление работы над романом «Мопра».

1837, август — Смерть Софи-Виктории Дюпен, матери Жорж Санд.

1837, октябрь — Знакомство с Ф. Шопеном.

1838, ноябрь—1839, февраль — Поездка с Шопеном и детьми на Майорку, совместная их жизнь в Вальдемозе. Работа над романом «Спиридион», переработка «Лелии».

1843 — Выход в свет романа «Орас» в «Ла Ревю Эндепандант». Выход в свет романа «Странствующий подмастерье».

1844 — Выход в свет романа «Жанна», работа над романом «Лукреция Флориани».

1846 — Отъезд Шопена из Ноана.

1847, 20 мая — Брак Соланж с Огюстом Клезенже.

1848–1850 — Работа над «Историей моей жизни», выходит в свет роман «Маленькая Фадетта».

1851, 26 ноября — Премьера пьесы «Замужество Викторины».

1852 — Соланж оставляет Клезенже.

1854, 16 декабря — Суд расторгает брак супругов Клезенже.

1855, 13 января — Смерть Жанны, дочери Соланж.

1855 — Выход в свет романа «Даниелла».

1862 — Женитьба Мориса на Лине Каламатте.

1863, 14 июля — у Мориса и Лины родился сын — Марк-Антуан Дюдеван-Санд.

1863 — Выходит в свет роман «Мадемуазель Ла Кэнтини».

1864, 29 февраля — Премьера «Маркизы де Вильмер» — инсценировки романа «Мадемуазель Ла Кэнтини».

1865, 21 июля — Смерть внука.

1866 — Выходит в свет роман «Господин Сильвестр».

1869 — Выходит в свет роман «Катящийся камень».

1871, 8 марта — Смерть Казимира Дюдевана.

1876, 8 июня — Смерть Жорж Санд.

---

notes



Примечания

1

Дом *(англ.)*

2

Игра слов: «somebread» *(англ.),* также и французское Дюпен означают «хлеба!».

3

Сумасбродка *(англ.)*.



4

Озорница *(англ.)*.

5

Сборник упражнений по правописанию *(англ.)*.



Сад души *(англ.)*.

7

Очаровательна *(англ.)*.

8

Чем вы подавлены сегодня, Дюпен? Что с вами? *(англ.)*

9

Возьми, читай (латин.)

10

Евангелие.

11

Aur — начальные буквы имен Aurora и Aurellen.

12

«О природе вещей» *(латин.)*.

13

Частично (латин.).

14

То же самое (латин.).

15

Игра слов: detrousser по-французски имеет два значения — обирать, грабить, а также опускать подобранное платье.

16

Святая простота! *(латин.)*.

17

Bevue — ошибка *(франц.)*.

18

Удивительная любовная пара! *(англ.)*.

19

Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо *(латин.)*.

20

Санд

21

Красивый костюм (итал.).

22

Уходит (латин.).

23

Наша любовь к Альфреду *(итал.)*.

24

Гвиччиоли — возлюбленная Байрона.

25

Не глядя, молча, дотронуться до руки безумца, который завтра уезжает… *(итал.)*.

26

Прозвище, данное Ж. Санд Адольфу Дюплому.

27

Муженек *(итал.)*.

28

Люди (франц.)

29

Одиночества *(итал.)*.

30

Ребята *(англ.)*.

31

Длинный нос *(франц.)*.

32

«День гнева» — первые слова католической молитвы *(латин.)*.

33

«Каков будет страх» — стихи из католической заупокойной обедни *(латин.)*.

34

«Отче наш…» — первые слова молитвы.

35

Лесной царь *(нем.)*.

36

Святой Джиорджио! *(итал.)*.

37

Пришел, увидел, уснул. (лат.) Перефразировка знаменитых слов Цезаря: пришел, увидел, победил.

38

Ваш *(итал.)*.

39

Миф. Пелион, гора в Фессалии, рядом с горой Осса. Когда гиганты, взбунтовавшись против Зевса, захотели взобраться на небо, чтобы напасть на богов, они нагромождали гору Пелион на гору Осса.

40

Вполголоса *(итал.)*

41

Приятнейшая особа *(итал.)*.

42

Следовательно *(латин.)*.

43

Господин *(португ.)*.

44

Повеса *(англ.)*

45

Своего рода *(латин.)*.

46

Кавалер *(испан.)*.

47

Для помощи (испан.).

48

Так, графиня… (латин.).

49

Игра слов: вместо Emacipatrice — освободительница *(франц.)*.

50

Заранее *(латин.)*.

51

Гостиница трех девушек (итал.).

52

Этих людей *(англ.)*.

53

По-французски слова «мэр» и «мать» звучат одинаково.

54

Длинная ложка, чтобы есть с чертом *(англ.)*.

55

Бедный Шопен *(англ.)*.

56

Мое горе *(польск.)*.

57

Заранее *(латин.)*.

58

Отпускаю тебе *(латин.)*

59

Генерала Кавеньяка.

60

Драма из сельской жизни, над которой работала Жорж Санд и которая была сыграна в театре Жимназ 13 сентября 1853 года.

61

Айвенго *(англ.)*.

62

Для данного случая *(латин.)*.

63

«Мир людям доброй воли» *(латин.)*.

64

Мрачный *(англ.)*.

65

Моя вина *(латин.)*.

Якобы *(латин.)*.

67

Жорж Санд подчеркнула три раза слово «никогда».

68

Домашняя лапша *(итал.)*.

69

Доктор Фюстер, профессор университета в Монпелье, считал, что открыл средство для лечения туберкулеза. Газеты хвалили «великолепное лечение»; Жорж Санд списалась с ним и применила этот режим для Мансо. Она, не колеблясь, вызвала Фюстера для консультации из Монпелье в Палезо, к изголовью своего больного.

70

Около пяти миллионов франков 1951 года.

71

Безмерно *(франц.)*.

72

Наброски и намеки *(англ.)*.

73

Ныне отпущаеши… *(латин.)*.

74

Уход и возвращение *(латин.)*.

75

Прозвище Мориса.

76

Открылась богиня *(латин.)*.